

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ**

---

**С. В. Прожогина**

# **ПРОТИВОСТОЯНИЕ**

**(мир гор в творчестве магрибинских писателей  
XX–XXI вв.)**

**Москва**

**2022**

ББК 83.3. (6Ал + 6Ту + 6Мар)  
П 80

*Рецензенты:*

Крылова Н.Л  
Ткаченко А.А

*Ответственный редактор:*

Ильина Н.Ю

*Утверждено к печати  
Издательской комиссией Ученого совета  
Института востоковедения РАН*

**П 80 С.В. Прожогина.** Противостояние (мир гор в творчестве магрибинских писателей XX–XXI вв.) /Отв. ред. Ильина Н.Ю, – М.: ИВ РАН, 2022, 740 с.

**ISBN 978-5-6047604-1-3**

В книге С. В. Прожогиной собраны многочисленные примеры осмысления в творчестве магрибинских писателей (Алжира, Марокко и Туниса) традиционного мироустройства жителей гор Северной Африки, процессов этно-социальных и политических трансформаций, происходивших здесь в XX и начале XXI столетия, а также метафорической интерпретации мира охранения традиционных ценностей и их разрушения под натиском современной цивилизации и вызовов Времени.

Работа предназначена для широкого круга читателей и специалистов по культурной антропологии Магриба и литератур арабо-берберского региона постколониальной эпохи. (Данный текст является заново отредактированным, расширенным, дополненным и актуализированным переизданием книги автора «Мир Гор». М., 2013.)

На обложке: Тинторетто.Фрагмент росписи Scuola San Rocco.

**ISBN 978-5-6047604-1-3**

© ФГБУН ИВ РАН, 2022

© С.В. Прожогина, 2022

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                  |   |
|------------------|---|
| К Читателю ..... | 5 |
|------------------|---|

### **Часть I.**

### **ОПЛОТ НЕЗЫБЛЕМОСТИ ТРАДИЦИИ**

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Глава 1. Локус охранения чести мусульманки и вызовы времени ..... | 10 |
|-------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Глава 2. Обитель кровной мести как защиты «чести племени» и своей Земли ..... | 89 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Глава 3. Гора как метафора защиты человека и народа от натиска времени ..... | 146 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Глава 4. Горы как «тупики» жизни, или Предчувствие необходимости Перемен ..... | 197 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|

### **Часть II.**

### **ГОРЫ КАК ОПОРА ВЕЧНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ «ЧУЖОМУ» И СИМВОЛ ПОВСТАНЧЕСТВА**

|                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Глава 5. «Восхождение в Гору»: вступление в битву за Независимость и неизбежность Войны ..... | 227 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Глава 6. «Спуск» с Горы: утрата цели и сомнения в необходимости «кровавого конфликта» ..... | 243 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Глава 7. Горы как напоминание об идеалах Освобождения и как пространство поиска новых горизонтов ..... | <b>315</b> |
| Заключение .....                                                                                       | <b>346</b> |
| Библиография .....                                                                                     | <b>348</b> |

## **ПРИЛОЖЕНИЕ**

|                                                                                              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Тассадит Ясин.</b><br>Этнология чувств в Кабилии: любовь и ее выражение (фрагменты) ..... | <b>359</b> |
| <b>Мари-Люс Желар.</b><br>Опорный столб (фрагменты) .....                                    | <b>379</b> |
| <b>Ассия Джебар.</b><br>Любовь и фантазия. Роман (фрагменты) .....                           | <b>401</b> |
| <b>Аззедин Бунемёр.</b><br>Разбойники в горах Атласа (повесть) .....                         | <b>451</b> |
| <b>Каддур М'Хамсаджи.</b><br>Молчание пепла (повесть) .....                                  | <b>619</b> |

## К ЧИТАТЕЛЮ

Современная литература Магриба (Алжир, Марокко, Тунис), во всяком случае ее значительная часть, написанная на языке французском<sup>1</sup>, — особое зеркало и истории его стран, и даже их географии: ведь практически все литературные лейтмотивы так или иначе связаны со спецификой *образов-топосов*, становящимися некими метафорами, либо символами событий, литературой отраженных. Это и атрибуты магрибинской земли и неба над ней: ее Солнце, ее Море, ее Пустыня, ее природные катаклизмы... Так или иначе о них — этих основополагающих мотивах магрибинской поэтики, мной написано немало<sup>2</sup>. И о **Горе** (или, точнее, о жизни людей в горах Магриба как протяженности Атласа) я написала еще в 2013 г., зафиксировав изображение жизни горцев в разных литературных источниках как эпохи и еще колониальной, так и независимого развития магрибинских стран. В настоящей работе — многое обобщаю, многое уточняю, ввожу и ранее не исследованные мной произведения, которые воссоздают мир магрибинских гор во всей их специфике, и ранее опубликованные оригиналы, на мой взгляд, весьма ставшие актуальными, учитывая события сегодняшней Истории, свидетельствующие о необходимости понимания специфики мотивации противостояния «мира Гор».

---

<sup>1</sup> Об истории и эволюции этого феномена см. наши работы, в том числе изданную в Главной редакции восточной литературы издательства «Наука» трехтомную «Историю национальных литератур стран Магриба». М., 1993 (в соавторстве с Э. Ализде, Ф. Асадуллиным, О. Власовой, О. Дёмкиной и др.).

<sup>2</sup> См.: Новая жизнь соляных мотивов в творчестве франкоязычных писателей арабского Запада. — в: «Семантика образа в литературах Востока» (сост. и отв. ред. И. В. Стеблева). М., 1998; Пустыня как литературное пространство. — в кн. С. В. Прожогина. Между мистралем и Сирокко. М., 1998; С. В. Прожогина. Метаморфозы образа Моря. М.: ИВ РАН, 2010.

Зачем это нужно? Не только для полноты поэтологического пространства литературы магрибинцев, для показа широты и глубины их мировоззренческого отношения к изображаемому, а следовательно, и для выявления различных способов художественного постижения окружающей их реальности. Внимательный читатель заметит, как почти этнографическое бытописание мира Гор постепенно превращается в творчестве магрибинцев в особые, концентрированные в определенном локусе, смыслы современной писателям реальности стран Магриба. А это значит, что для их постижения важны не только в глубинах горной орографии (*рельефной* их номинации<sup>3</sup>) таящиеся особые **знаки Жизни**, или Судьбы, но и реальные события, развертывающиеся на их *склонах* или даже *вершинах*. А в Магрибе (и не только) этот — внутренний — **Мир Гор** особо значим для его и этно-социальной, и культурной, и конфессио-нальной, и политической Истории. Ведь Мир Гор, конечно, не существует сам по себе: *снизу* дуют особые ветры, несущие в него перемены, вторгающиеся в казалось бы саму его *неколебимость*: и контекст окружающей *Гóры Жизни*, лежащей у их подножия, в долинах, простирающихся либо к *мору*, либо к *пустыне*, — влияет на особый, не только географический, «климат» этого особого края земли. ... И литература по-своему запечатлевает эти перемены.

В мотиве Горы у современных магрибинцев, как и у многих народов мира, конечно же, «отстоялись» и древние общечеловеческие представления, во многом мифологизированные, об этом географическом локусе<sup>4</sup>. Играла роль и

---

<sup>3</sup> Ср., напр., «Лысая Гора», «Чертova Гора», «Гора Медведь», «Гора Льва» и проч. Орография часто сопряжена и порождена различного рода верованиями, преданиями и легендами того или иного горного края.

<sup>4</sup> Гора — это некая мифологическая трансформация *Древа мирового*, как сообщает нам энциклопедия «Мифы народов мира». Гора часто воспринимается как образ мира, *модель вселенной*, в которой отражены все основные элементы и параметры космического устройства. Гора в древнем, мифопоэтическом сознании находится в *центре* мира — там, где проходит его *ось* (axis mundi). Продолжение мировой оси *вверх* (через *вершину* Горы) указывает положение *Полярной звезды*, а ее продолжение *вниз* указывает место, где находится *вход в нижний мир, в преисподнюю*.

широко распространенный мотив берберского фольклора Магриба о Горе как *убежище* и даже местообитании Великанов, Людоедов и пр. «нечистых сил», которые в фольклорных вариациях нередко обретают и черты неких особого рода «спасителей» тех, кто попадает в их «логово», в их пещеры или гроты...<sup>5</sup>

В предлагаемом Читателю конкретном материале, связанном с **реальным Миром Гор** в Магрибе второй половины XX в. и начале нынешнего, XXI в., можно услышать все эти древние «эхо» или просто отголоски и образов Мировой Горы как Вертикали, соединяющей Небо и Землю, т. е. Мир «Верхний» с миром «Нижним», и служащей порой своеобразным *избавлением* от последнего, *лестницей восхождения* к первому как *спасению*, и увидеть некоторые мифологические параллели, объединяющие современность с древностью... Можно понять и некоторую степень *мифологизации реальных гор*, связующих как-то Человека с историей его народа, оказавшегося именно в этом крае...

Можно даже констатировать необычайную «живучесть» древних поверий, связанных с *Высокими Горами*, с их не-

---

Там, где образ *мирового древа* отсутствует (либо отнесен), то могут быть **совмещение их образов: Гора, покрытая лесом или садом** (нередко понятия Горы и древа — леса — передаются словами **общего корня**).

**Мировая Гора трехчленна:** *на вершине обитают боги, под Горой (или в ее нижней части) — злые духи, принадлежащие к царству смерти, на земле (посередине) — Человеческий род.* Нередко наиболее детализированы описания — в мифах **верхней и нижней** частей мировой Горы, в ряде случаев очень близкие по структуре описания *неба и нижнего мира* (см. Мифы народов мира. М., 1980, с. 314). Вообще *мотив Горы как хранилища богатств или неких тайн (заключение в Горе красавицы, братьев-героев, правителя-короля и т. п.)* — один из **частых** в мифологии... В других случаях, *«стражи Горы»* открыто **враждебны** человеку, *заманивают* его, *устраивают землетрясения*, изрыгают **огненную лаву**. С этими *особенностями* Горы соотносимы Мотив горы как входа в **нижний мир**.

Параллельный ему мотив — Гора как вход в **мир верхний** (мотивы фольклорные: **спуск в колодезь вход в пещеру** или **подъем на Гору**, на дерево по лестнице, цепи, веревке). Эти все мотивы могут и *совмещаться*: отсюда и мотив *культы пещер*, распространенный в ряде традиций, и его теснейшая связь с **культу Гор**.

<sup>5</sup> Об этом см. подробно научное исследование известного алжирского писателя и ученого Набиля Фареса «Великанша-Людоедка в берберском фольклоре» (N. Farès. L'Ogresse dans la littérature orale berbère. P., 1994). С берберским фольклором можно ознакомиться по многотомной «Антологии берберской литературы» («Кабилы». «Риф», «Туареги». М.: ИВ РАН, 2002–2012.

*приступными вершинами, где обитают духи, имеющие связь с Божеством, или с подножием гор, где обитает нижний, «злой» мир и его духи, которые пытаются разрушить особый Мир Гор...*

Можно услышать и древний мотив (часто звучащий и в наше время) Горы как места *охранения сокровищ*, как место обитания этих богатств, будь то «кладами» *традиций* родной земли или «лучезарным кладом» человеческой души, который связан с древней мифологемой *прародителя, гения Земли, «вечно обитающего на горе»...*

Можно и подтвердить, что неискореним и по сей день в сознании и магрибинских горцев мотив *поклонения Горе* как месту, где вымаливают *благодатный Дождь* после *засухи земли*, и что этот мотив становится неким символом и современной эпохи, сотрясаемой новыми «набегами Дьявола», гражданскими войнами, угрозами **Миру Гор**, хранящему память народа об отвоеванной когда-то Свободе...

Конечно, *Гора* в литературе магрибинцев может служить и неким простым локальным указателем места действия того или иного произведения. Но в контексте предыдущих либо последующих обращений литературы к этому мотиву и этот *простой* индикатор может пополнить *содержательность* самого художественного образа, частотность обращения к которому в художественной словесности Магриба столь интенсивна, что ее нельзя не назвать уже традиционной. А если так, то и восходящей к своему образному человеческому Изначалу. Так или иначе, но этот лейтмотив — одна из основных мелодий и интонаций Эпохи, которую упорно запечатлевали писатели, показавшие миру, что такое Магриб, увидев его глазами жителей и его «цветущих долин», и суровых горных краев.

Недаром люди говорят, что Гора всегда похожа на дремлющий вулкан: он может и долго спать, и выстрелить, и пролиться огненной лавой... Сегодня мы все — свидетели этих процессов. В *других горах* (Кавказ, Афганистан, к



примеру) опять всё в движении, и люди воевали и воюют, настаивая на том, что защищают *свой мир*, свой «кодекс чести», свою веру. Так что повод есть и вполне актуальный в плане географического расширения необходимости *понимания* Мира Гор, знания его особенностей и его проблем. И если литературовед может ознакомить Читателя со своими «наглядными иллюстрациями» — изложением текстов произведений и их анализом, то в Приложении, им данном и к этой работе, показать и подлинные образцы некоторых текстов, наиболее значимые для эпохи Алжирского Сопротивления, и работы этнологов, подтверждающих исторически сложившиеся особенности существования горцев Атласа, без чего не могут быть объяснены и поняты многие процессы в окружающей нас реальности, где и Восток, и Запад уже давно «сошли со своих мест» и даже уже «стоят у края Земли лицом к лицу»<sup>6</sup>... Главное — не перейти этот «край», чтобы не погрузиться в бездну *взаимонепонимания*<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Я имею в виду известное стихотворение Р. Киплинга.

<sup>7</sup> Здесь, как и повсюду в тексте моей книги, выделено курсивом или жирным шрифтом особо значимый для меня смысл. — С. П.

## ЧАСТЬ I

### ЛОКУС ОХРАНЕНИЯ ЧЕСТИ МУСУЛЬМАНКИ И ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

*«Земля недвижна; неба своды,  
Творец, поддержаны тобой,  
Да не падут на сушь и воды  
И не подавят нас собой...»*

(А. С. Пушкин. «Подражания Корану»)

## Глава 1

### ЛОКУС ОХРАНЕНИЯ «ЧЕСТИ ЖЕНЩИНЫ» И НАДЕЖДЫ НА ВОЗРОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ

Прежде чем приблизиться к миру гор, присмотримся к сущности женской проблематики в творчестве магрибинцев, ибо с ней во многом связано само понимание восточными народами Традиции как «Завета Предков». В середине прошлого, так стремительно пронесшегося XX в., многие страны, в том числе и Магриб, выходили на дорогу Свободы, пытаясь избавиться от колониального угнетения. За этим трудным и даже мучительным процессом следили не только историки, политики, социологи.

Художникам, писателям особенно, он также был не просто безразличен, но глубоко интересен именно тем, что это были **муки рождения нового мира, нового человека**, которому предстояло идти по новому пути.

Но могла ли долгожданная политическая Независимость как шаг в Будущее гарантировать реальное избавление от Прошлого? Ведь в нем — не только груз колониализма, но и многовековое наследие тех эпох, которые не очень заботились о **Свободе личности**. Тем более, об освобождении женщины-мусульманки. Поэтому для современных художников-магрибинцев процесс освобождения человека — это реальная картина Настоящего времени, в котором надо суметь различить и истоки, и преграды, мешающие обретению человеком тех идеалов, с которыми он совершал свой шаг в Будущее. И для многих писателей именно образ Женщины в окружавшем их мире стал средоточием основной боли Новой эпохи, — в нем словно сконцентрировался конфликт Настоящего и Будущего, ибо Прошлое оставалось живым и почти застывшим именно в пространстве женской судьбы...

...Мусульманский Восток долго, почти до XIX в., больше воспевал Красоту женщины, Любовь к ней (в «классической» поэзии почти соединяя эти концепты с Божественной сущностью<sup>1</sup>), и только на волнах пробуждавшегося национального самосознания, в контексте новых историко-политических событий и острых социальных противоречий восточные «просветители» — и философы, и писатели — обратились к ее судьбе и жизни в *современном мире*. Ставили вопросы (и предлагали свои решения) и о необходимости получения женщиной светского образования, и о ее гражданских правах и свободах... (Египет, Сирия, Ливан, Турция отличались в этом плане особой настойчивостью и упорством, можно сказать даже и отвагой.) Действительно, зачем было «реформировать» всё то, что так основательно, детально, так *почти заботливо* изложено в основе мусульманской религии, в Коране, где сказано всё о главном долге

---

<sup>1</sup> В Магрибе особенно ярко это проявилось в лирической поэзии эмира Абд-эль-Кадера (или Абд-аль Кадира) [1808–1883 гг.], считающегося основателем идеи независимого Алжира, возглавившего сопротивление его племен французским колонизаторам еще в середине XIX в.

и предназначении Женщины, о ее роли в семье, ее обязанностях, как и правах и обязанностях мужчин в отношении к ней? Ее судьба — и в ее настоящем, и в ее будущем — была предопределена в Священной Книге мусульман, а, значит, и узаконена главным Законом их жизни...

Однако, Коран, видимо, не смог дать ответы на все поставленные и постоянно встававшие перед человеком Нового и Новейшего времени вопросы в процессе исторического развития исламских обществ. И как всегда это было в Истории, о Женщине писали, спорили, решали ее Судьбу, в основном мужчины.

Это сегодня в Тунисе уже введен в научный обиход неологизм — **écrivaine** (жен. род от *écrivain* — «писатель», — слово во франц. яз. всегда бывшее только мужского рода, несмотря на наличие именно в истории именно французской литературы значительных имен женщин...). «Отряды» и тунисок, и марокканок, и алжирок, пишущих и по-арабски, и по-французски (особенно с конца XX в.), настолько уже велики в общем писательском «корпусе», что о «женской литературе» пишутся специальные исследования<sup>2</sup>. Но еще и в середине прошлого, XX века, голоса женщин в литературе и культуре Магриба в целом — вообще позднее, чем другие арабские страны обратившегося к «женской проблематике» как таковой, — раздавались крайне редко. (Исключением были разве что Ассия Джебар и Лейла Дебеш.) И если образ женщины-мусульманки где-то константно возникал в литературе, то, конечно же, это были «голоса» мужчин (Д. Шрайби, М. Диб, М. Маммери, Т. Бенджеллун и др.). Во франкоязычной литературе алжирцев, марокканцев и тунисцев — как основном предмете наших исследований — «женский портрет» мусульманки на фоне историко-культурных, социальных и даже полити-

---

<sup>2</sup> См., напр., работы Jean Fontaine, Guy Dugas, Charles Bonn и др. 1990–2000-х годов. Подробная библиография — в моей книге: Прожогина С. В. Магрибинки рассказывают... М., 2019.

ческих проблем впервые возникает в Алжире только в 20-е гг. XX в. в творчестве, к примеру, А. Хаджа Хаму<sup>3</sup>, и позднее — в творчестве Улд Шейха<sup>4</sup>, т. е. еще в колониальную эпоху, когда собственно алжирский, автохтонный пласт национальной культуры только начал формироваться.

Но в контексте колониальной литературы в целом (представленной, в основном, европейцами), эти первые ласточки алжирской литературы, хотя и считавшиеся в плане художественном лишь образцами «литературного ученичества», впервые затронули проблему *положения мусульманки*, с образом которой была связана именно ее социальная и культурная роль передачи и сохранения «вечных» ценностей жизни и ее религиозных традиций.

Так, героиня А. Х. Хаму *противопоставлена* писателем своему мужу, который, нарушая заветы Аллаха, предавался пороку алкоголизма, доведя свою семью до полной нищеты. Появившись на страницах французского литературного альманаха, этот роман только в 1977 г. был напечатан в нескольких номерах алжирской газеты «Эль-Муджахид», вызвав критические оценки, суть которых сводилась к тому, что это было произведение «в духе колонизаторов», искавших причину всех бед алжирского народа «в нем самом». Были и другие, полагавшие, что писатель пытался в своем романе «соединить европейский образ жизни с *исламским кодексом чести*»<sup>5</sup>. Но так или иначе, именно в этом произведении читатели, естественно франкоязычные, могли встретиться с образом современной им алжирки-мусульманки, что само по себе было уже значительным в плане постепенной трансформации женской проблематики в литературе Магриба.

---

<sup>3</sup> Роман «Зохра, жена рудокопа»: A. Hadj Hamou. Zohra, la femme du mineur. Alger, 1925.

<sup>4</sup> Роман «Мирием среди пальм»: Ould Cheikh. Miriem dans les palmes. Alger, 1936.

<sup>5</sup> См. «El-Moudjahid-culture», № 246, 1977.

В «Мирием среди пальм» (переизданном только в 1985 г.<sup>6</sup>), в плане создания женского портрета **в контексте современности**, автором создан образ алжирской Матери, дети которой от смешанного брака с французом (что само по себе было редкостью в колониальную эпоху, — чаще алжирские мужчины женились на француженках, особенно в эмиграции), хотя и получили европейское образование, **должны были, так считала их Мать, продолжить те традиции жизни, которые позволяют им «не офранцузиться до конца»**. Мать осуществит свою мечту, найдя мусульманку-невесту для своего сына и мусульманина-мужа для своей дочери, сохранив тем самым своим детям их **«алжирскую сущность»**...<sup>7</sup>

Можно не соглашаться с французскими исследователями, не видящими «особой эстетической ценности» в первых художественных опытах алжирцев в недрах колониального общества<sup>8</sup>, но даже относясь к ним как образцам литературного «ученичества», нельзя не обнаружить в них примет Нового времени, услышать его дыхание: это была эпоха становления национального самосознания и подготовки алжирцев к движению за Независимость. **И опора на «традиционные ценности» жизни, ее религию, на собственные устои**, помогавшие алжирцам *самоопределиться* в недрах колониального мира и как-то сохранить и свою *самобытность*, и свою *целостность* — не разрушиться, не *разъединиться* — была, на мой взгляд, и задачей этих писателей, и основным смыслом их произведений.

Но вот уже почти в канун битвы за освобождение Алжира от колониализма, в 1947 г., раздался и другой голос — на этот раз самой женщины, «алжирской мусульманки», как об этом почти с гордостью свидетельствовали газеты, журналы, рекламные анонсы, — Джамили Дебеш, чья по-

<sup>6</sup> Ould Cheikh. Myriem dans les palmes. Oran, 1985.

<sup>7</sup> Наш подробный анализ этого романа см. в «Литературе Алжира». М., 1993 (авт. коллектив).

<sup>8</sup> См., напр., J. Dejeux. La littérature algérienne contemporaine. P., 1975.

весть «Лейла, алжирская девушка»<sup>9</sup> была напечатана на страницах издававшегося французами женского литературно-художественного и общественного альманаха.

Героиня этого повествования, наоборот, **бросает вызов именно традиционному обществу**, своей семье, отказываясь жить в «четыре-х стенах» родительского дома, «вдали от прогресса», не желая продолжать свое «арабское образование», требуя права на свою «личную свободу», уходит из родного гнезда и остается жить у знакомых французов, принявших ее «как дочь» в лоно своей семьи...

Сама Дж Дебеш, принадлежа к благополучной среде алжирских буржуа, получила образование в европейской школе и продолжила учебу в университете, работая впоследствии над юридической диссертацией об «избирательном праве» алжирских женщин (точнее, об отсутствии такового и его последствиях — политических и социальных). И первая ее повесть — это, в сущности, по собственному признанию автора «Лейлы», — «романизированный вариант» ее научной работы. Таким образом подчеркивалась главная цель и забота молодой алжирки, решительно защищавшей **идеи «социального прогресса»** и требовавшей хотя бы предоставления мусульманке права избирательного голоса, что было в то время сродни требованию вообще изменения ее гражданского статуса в целом.

С точки зрения тех соотечественников Дж. Дебеш, которые отстаивали прежде всего идею *политической свободы Алжира*, его *национальной независимости*, «Лейла, алжирская девушка» являла собой пример полной «оксидентализации», т. е. своей «прозападной», «ассимиляционистской» позиции, занимаемой той частью идеологов колониализма, которые отстаивали «социальный прогресс для автохтонов», чье общественное устройство полагалось ими «варварским», «диким», «отсталым». И таким образом

---

<sup>9</sup> Débeche Dj. Leila, la fille algérienne. — In: «Revue sociale féminine littéraire artistique», № 1, 25/IX—1947.

алжирские националисты решительно относили начинавшую писательницу к лагерю *«защитников колониализма»*...

Однако, Дж. Дебеш не сложила своего «оружия» и уже в разгар национально-освободительной войны опубликовала свою вторую книгу — роман «Азиза»<sup>10</sup>, где открыто полемизировала и с защитниками «национальных идей», совмещенных с *традиционализмом*, и по-своему критиковала *«традиционные устои»* жизни, отнимавшие у женщины-мусульманки *личную свободу*, право на собственный выбор своей судьбы, своего места в окружающем и быстро меняющемся мире. И средоточием Власти Традиции не случайно выбрала Горы...

Не случайно и то, что роман «Азиза» (его тематическую интерпретацию я начну с необходимой, с моей точки зрения, экспозиции) — а это уже было произведение «полноценного» художественного жанра — был опубликован в то время, когда шла Алжирская антиколониальная война (1954–1962), хотя очевидно, что события, описанные в нем, относятся к концу сороковых — самому началу пятидесятих: и позиции французов здесь еще довольно сильны, и действия алжирских политиков и «активистов» еще несут печать зависимости, «подготовительного» периода, стихийной «митинговости» или «подпольности». Однако автору важно было показать именно эту стадию политической «кухни», когда зрели и еще долго проявлялись те внутренние разногласия и противоречия в лагере и тех, кто был на одной стороне, и тех, кто стоял на другой (что само по себе создавало довольно редкую картину — в литературе Алжира — жизни мозаичного колониального общества **в преддверии его конца**).

«Мозаика» колониального Алжира складывалась не только из сосуществования на одной земле разных этносов (и европейцы были «многосоставны», и среди алжирцев были и арабы, и берберы, и представители других этносов), разных

---

<sup>10</sup> «Aziza», Alger, 1955.



конфессий, разных культур, но и социальных слоев, где были не только крупные колонисты и промышленники, но и мелкие землевладельцы, коммерсанты, интеллигенты (школьные учителя, преподаватели лицеев и высших учебных заведений, писатели, журналисты, художники и т. д.), среди которых были и выходцы из автохтонного населения страны, сумевшие получить французское образование. И фиксация этих «примет» колониальной жизни — довольно интенсивна в романе Дж. Дебеш и в биографиях друзей и героини, и в описании различных кварталов и столицы, и других крупных городов, и алжирской «глубинки». Но и сама «интрига» завязывается в недрах колониального общества, его *«смешанного состава»*, когда молодая алжирка, сотрудница французского агентства печати, оказывается на приеме в доме крупного журналиста, где встречает в кругу званных и именитых соотечественников и «сливок общества» своего друга детства, который, как и она — родом из далекой деревни, но успешно начинающего свою карьеру, став модным адвокатом.

Оба «соплеменника» выглядят «почти европейцами», одетые в европейское платье, прекрасно говорящие по-французски даже между собой, мало чем отличаются от окружающих...

Но Дж. Дебеш пишет свой роман, стремясь, скорее, ограничить его сюжет чисто «любовным планом», а потому ее зарисовки своей, привычной и ей, и ее героям среды, не столько самоцель, сколько фон, на котором развивается действие, задуманное как событие, связанное в основном с личной жизнью Азизы. Да и словно «наугад» выхваченный из текста Корана («II; 235») эпиграф («наугад», потому что не вполне точно соответствует смыслу оригинала во французском переводе: в обращенных в Коране к мужчинам наставлениях речь идет, как следует из предыдущих его строф, о «вдовах», а не «невестах», роль которой вскоре будет суждено играть Азизе), настраивает именно на этот, любовный «лад» (но и «разлад» тоже): «На вас греха не будет в

том // Коль к этим женщинам намеком тайным // Вы обратитесь с предложением о браке // Или сокроете в своей душе намерение это, — // Ведь ведает Господь о том, // Что Вы о них в заветной памяти храните, // Но тайных обещаний не давайте им // И речь пристойную. ведите. // На узы брака с ними не решайтесь, // Пока не истечет назначенный им срок<sup>11</sup> // И знайте — ведает Господь // Всё, что сокрыто в ваших душах. // Остерегайтесь гнева Бога... (Коран. Сура 2, аят 235. М., 2001. Пер. В. Пороховой. **Все** переводы на русск. яз. имеют именно **этот** смысл. — С. П.).

Но как и в несколько расширенном писательницей смысле этого коранического **послания мусульманским мужчинам** («Желание жениться на женщине... абсолютно не делает вас виновными перед Богом, — переводит Дебеш. — Он знает, что вы не можете помешать себе думать о женщинах...»<sup>12</sup>), изначально слышится некий диссонанс, так и в изображенном ею «фоне» — среде, где завязывается действие, — почти сразу же отмечается некий «распад», расслоение его на очевидно **разнородные части**, хотя и связанные рамками одного общества: мусульманскую — алжирскую и европейскую.

Алжирцы, пришедшие на великосветский прием со своими *закутанными в белые покрывала* женами, тяготели друг к другу, стояли несколько поодаль от других гостей, образуя отдельную группу, а те — свою. И в отличие от своей бойкой подруги, тоже алжирки, но сразу отдавшей предпочтение европейскому кругу гостей, Азиза, хотя и больше похожая именно на них, почувствовала некую «неловкость»: **«Ни там, ни здесь я не ощущала себя на своем месте»** (признаётся она себе самой) (с. 9).

---

<sup>11</sup> «Четыре месяца и десять дней» было отведено Аллахом вдовам, чтобы выждать возможность их очередного замужества.

<sup>12</sup> Из эпиграфа к роману «Азиза»: «Le désir d'épouser une femme, soit que Vous le fassiez paraître, soit que Vous receliez dans Vos coeurs, ne Vous rendra point coupable devant Dieu. Il sait que Vous ne pouvez Vous empêcher de songer aux femmes. Mais ne leur promettez pas en secret, à moins que l'honnêteté des discours ne voile votre amour» (По свидетельству специалистов, русск. переводы ближе к тексту арабского оригинала. — С. П.).

Свои, алжирцы, казалось, слишком подчеркнуто противопоставляли себя французам, разговаривая между собой по-арабски, хотя и привели сюда своих женщин, что противоречило исламскому обычаю... А среди европейцев были и те, которых Азиза старалась избегать еще со времен своей учебы в Университете, где они преподавали: в их речах она не раз слышала презрение к мусульманским студентам, недоверие к их возможностям и способностям постижения «современной науки»...

Были и журналисты, не стеснявшиеся сказать вслух о том, что, «несмотря на столетие колонизации», алжирцы так и не восприняли «цивилизацию». «Эти дикари никогда не станут культурными людьми. Им и два века будет недостаточно» (с. 10). Заметив этих людей на приеме, Азиза, несмотря на то что сама была здесь принята как «равная среди равных», почувствовала себя *чужой* среди всех этих «своих»... Спас Азизу от плохого настроения Али, которого представила ей ее французская подруга.

В сером европейском костюме и ярком галстуке молодой адвокат был неотразим... Они вспомнили друг друга, свое детство, проведенное в родном обоим селении, вспомнили, что оба принадлежат к одному довольно знатному и древнему роду, восходящему, как говорят, к знаменитому арабскому племени Корейшитов, из которого — «сам пророк Мохаммед»; улыбнулись тому, что, несмотря на все свое благородное происхождение, *они оба не остались со своей родней в горной деревне*, уехали в город учиться, предпочли жизнь и учебу в столице, французскую школу, Университет; и вот теперь, спустя столько лет, жизнь снова свела их в этом престижном обществе и салоне...

Девушка, давно осиротевшая, жила со своей старой кормилицей, зарабатывая на жизнь собственным трудом. Али — в родительской семье, перебравшейся к нему в Алжир. Пригласив Азизу в гости, он не скрывал своих чувств

к ней и надеялся, что и его родные вспомнят о ней и полюбят ее тоже...

**Так Азиза снова оказалась в кругу традиционной семьи**, где отец сохранял почетное звание Шейха (совершив в молодости хадж к святым для мусульман местам) и все обращавшиеся к нему с приветствием и не называли его иначе, целуя при этом его руку... Авторитет его был непрекаем. Мать носила традиционную одежду — длинное, глухое, с ручной вышивкой платье-кафтан, подпоясанное широким поясом, покрывала голову платком и никогда не выходила на улицу одна, без сопровождения старшего сына. Тот тоже придерживался «арабского образа жизни», был дружен с теми, кто состоял в «политических группировках, защищавших национальные традиции» (с. 19). Он честно сказал пришедшей в дом к Али Азизе, что знает о чувствах молодых людей, но не разделяет выбор своего брата и желает и Азизе, **«давно живущей на западный манер»**, подобрать себе в мужа «кого-нибудь из европейцев» (с. 20). Хотя и он, как и Али, носил костюм английского покроя и тщательно подобранный к нему галстук, не покрывал, как отец, голову феской, что заставило Азизу усомниться в «искренности его предостережения». Видимо, подумала, старший брат «подобрал» в жены младшему «кого-то позначительнее», чем она... Но, несмотря ни на что, дружба Азизы с Али продолжалась, хотя официального предложения он ей не делал. Но любовные стихи читал ей *по-арабски*, зная многое наизусть из классики, давая ей понять, как дорога она ему, как «оживляет пламень его души»...

Однако со временем Азиза стала замечать, что характер его менялся, он казался нервным и чем-то встревоженным. Все чаще ему приходилось выступать на политических судебных процессах, защищая тех, кого обвиняли в «антифранцузской деятельности». Страна вступала в полосу тяжелого политического кризиса, в обществе нарастало дви-

жение протеста против французского колониализма, а вместе с этим росли настроения глубокой неприязни к тем, кто «служил делу Запада», став «последователями и проводниками его цивилизации», его культуры.

Окружение Али, его алжирских коллег и товарищей, как и его брата, не могло не «смущать», что Азиза живет «свободно», одна, самостоятельно обеспечивая себя, работая во французском агентстве печати. Да и сам Али не мог не видеть, что его выходы с ней в «общественные места» — кафе, кино, рестораны — вызывали косые взгляды алжирских мужчин: **мусульманской женщине надлежало оставляться дома...** (с. 25). И самый близкий друг Али — Джерид, который уже был под надзором французской полиции, — не скрывал своего раздражения «западным стилем жизни» его невесты, рьяно защищая «экстремистские», с ее точки зрения, теории, решительно осуждая всё, что так или иначе было связано с «западной цивилизацией» (с. 28). Его позицию разделяли и другие товарищи Али, настаивая на том, чтобы и он «окончательно» сформулировал свое отношение к французам и свои адвокатские усилия облек в политическую борьбу... «Параллелизм» личного и общественно-го бытия был уже невозможен: слишком далеко отстояли они друг от друга, и чтобы не оказаться в бездне этого разрыва, и Али, и Азизе надо было делать **свой выбор**.

Встреча Азизы с подругами по годам учебы лишний раз подтвердила, что алжирки, даже образованные, жили в основном «согласно воле родителей», редко выходили из дома, не закрыв лица, соглашались на брак с тем, кого им **выбирал отец** (порой, как это было в случае с Миной, дочерью богатого коммерсанта, **не видя и не зная даже своего будущего мужа до самой свадьбы** (с. 37). Но об Али, который был теперь очень популярен, блистательно выступив в суде в защиту своего друга Джерида, *рьяного «традиционалиста»*, все подружки Азизы знали, что он — ее жених, и настойчиво расспрашивали о том, когда ее свадьба...

Знал об их отношениях и ее французский друг — известный журналист, помогавший в свое время устройству Азизы в престижное агентство печати. Как-то встретив ее в редакции, он грустно заметил, что она, «ставшая *совсем похожей на европейку*», теперь «отдалится от них»: «Мы теряем свои ряды...» (с. 43). И хотя он был из тех французов, которые не считали Алжир «чужой» страной, свободно говорил и читал по-арабски, искренне желал алжирцам «социального и культурного прогресса», приобщая их к *своей* цивилизации (в конце концов колонизация имела и эту цель!). Французский друг столь же искренне сожалел, что алжирцы, *дорожа «только своими ценностями»* жизни, любой ценой хотят добиться только одного — независимости...

Азиза после разговора с ним подумала «об этой странной оппозиции» *двух* сообществ, существовавших уже так долго на *одной* земле. И что сама она стала и средоточием, и «живым воплощением, и отражением этих общественных противоречий»... (с. 46).

Но ветер весны гнал прочь печальные мысли, а запах цветущего жасмина, проникая во все щели дома, кружил голову. Она ждала Али из очередной его «командировки», в которые он все чаще уезжал, и, наконец, неожиданно он появился и сделал ей предложение, сказав, **что свадьбу они сыграют не здесь, в столице, а в их родном горном селении — дуаре**, как здесь говорили. Не придав этому обстоятельству особого значения, Азиза немедленно согласилась, подумав только о том, что «весна будет еще прекрасней»!

...Только старая кормилица почему-то без особой радости встретила это известие об их отъезде, заметив, что, «видно, речь идет о *традиционной церемонии... как это было у наших предков*» (с. 53).

Для Азизы это все было лишь «формальностью»: главное — Али любил ее. Но кормилица продолжала рассуж-

дать вслух: «Так зачем тогда надо было уезжать, покидать наш дуар?» Азиза, не понимая озабоченности старой женщины, продолжала верить в свою «волшебную сказку», мечтая о предстоящем путешествии как о чем-то «чудесном и самом прекрасном в ее жизни» (с. 53). Ради Али она готова была уехать сейчас «хоть на край света» (с. 54).

...Родной Али **Горный Край**, старый дуар был далеким и бедным. Солнце выжгло его и ветер измучил. Старики, женщины и дети выживали там лишь благодаря скудным денежным переводам, которые отправляли своим семьям молодые мужчины, уехавшие на заработки в города или эмигрировавшие. «Селение становилось почти безлюдным» (с. 55). Маршрут к нему был долгим, с остановкой в Сетифе — городе, где Азиза бывала в юности. Али *спешил в дуар*, поэтому особо нигде не задерживались. Наконец, их машина выехала на каменистые и пыльные проселки — вдали, на горном склоне, уже виднелся родной Бени-Ахмед — несколько домишек жались друг к другу... Пока добирались, стемнело; вокруг было пустынно. Потом, видно, люди заметили их, слышались крики детей, взрывы петард, голоса женщин. Деревня была предупреждена о «радостном событии»: женщины что-то запели, и Азизе на мгновение показалось, что она слышит «провансальские фарандолы», звуки которых ее очаровали когда-то в ее путешествии по Франции... Потом при свете факела в руках какого-то мальчонки Азиза увидела вышедшего навстречу им приветствовать жениха и невесту старейшину деревни — седобородого шейха Хассана, почитавшегося здесь местным святым, «марабутом». Он помнил их еще детьми, обнял Али, радужно обратился к Азизе и дал знак детворе: ребята бросились к «молодым» целоваться...

Азизу пригласили войти в дом, который показался ей здесь самым маленьким. Оказалось, что это — жилище Шейха, которое он предоставил госте, перебравшись в дом к родным жены — здесь почти все уже были родствен-

ники... В глубине комнаты стояли вдоль стен несколько женщин — и молодые, и пожилые — «старухи», как подумала Азиза, «возраст которых трудно было определить». Лица всех женщин были украшены традиционной татуировкой — на лбу, подбородке, щеках, — одеты они были в яркие цветастые длинные платья, на их шеях висели тяжелые бусы из старинных монет вперемешку с кружочками драгоценного здесь непрозрачного янтаря (из пустыни, бывшей, видимо, когда-то дном моря) и душистыми плодами гвоздики. Женщины бесстрастно смотрели на входившую Азизу, и понять, рады они ей или нет, было нельзя. Скорее, взгляд их был исполнен недоверия...

Однако, как отметила Азиза, в комнате, слабо освещенной керосиновой лампой, был свежевыбелен известкой потолок, на полу лежали домотканые яркие коврики — значит, здесь готовились и ждали ее, а потому она смело шагнула навстречу женщинам, заговорив на их языке, который она не забыла и гордилась, что сохранила местный акцент. И те радостно приветствовали ее гортанными трелями, а потом стали наперебой задавать вопросы... Сели на пол вокруг маленького низенького столика и болтали, угощая гостью и друг друга домашними лепешками и мятным чаем. Ждали, когда принесут багаж Азизы. Вошел мальчик, поставил в комнате чемоданы. Хозяйка дома — жена Шейха — распорядилась, чтобы он их отнес в соседнюю комнату, отделенную от первой занавеской. И за весь вечер больше, кроме него, в доме не появился ни один мужчина.

Азиза напрасно ждала, что к ужину придет Али, но его тоже, сразу же по прибытии, увели в *мужское общество*...

Азизу разместили в «спальне», где стоял на ножках широкий матрас, застеленный красным женским покрывалом — хаиком — и длинным ярким шарфом, которые деревенские женщины обычно закручивают на голове в виде тюрбана... Рядом с постелью были тазик и белый фаянсовый кувшин, в противоположной стене она заметила дверку,



которая, видимо, вела во двор. В углу стоял арабский кованный сундук, куда и выложила содержимое своих чемоданов Азиза. Женщины, собравшись теперь здесь, с любопытством разглядывали ее гардероб, особенно радуясь просторным, в цветочек, платьям-сарафанам, которые предусмотрительно посоветовал ей приобрести Али, знавший, видимо, вкусы здешних модниц...

Наконец, достав со дна сундука какие-то старинные флаконы, хозяйка обрызгала из них гостью и всю комнату настоем из мускуса и лепестков роз. Азиза сполна погрузилась в эту необычную атмосферу, в которой, как она полагала, будет жить какое-то время. Попыталась спросить у женщин, почему так долго не идет к ней Али, но они быстро покинули ее, оставив на ночь, не сказав ни единого слова... Остались только две молодые женщины — *стеречь ее сон*. Для них были приготовлены на полу циновки. А на своем ложе Азиза обнаружила белые, из тонкого полотна простыни и мягкую подушку, поняв, что Али позаботился *заранее* обо всем этом, не забыв положить в ее багаж и электрический фонарик... Так, с думой о своем будущем муже, она встретила первую ночь своей новой жизни, поняв, что отныне ее существование не просто изменилось, но было **«потрясено до основания, перевернуто»** (с. 73) и что отныне она должна попытаться **стать** как все женщины здесь. Жить их жизнью, есть их пищу, носить такие же, как и они, платья, ходить по земле босой, брать воду из ручья, печь хлеб, покрывать голову ярким платком, спасаясь от палящего зноя или ветра, украшать себя тяжелыми бусами и браслетами. **И быть во всем послушной воле мужчины...**

Нравилось ли ей все это? Пока она еще не знала, лишь только исполнилась предчувствием...

Проснувшись утром, она обнаружила, что вокруг никого нет; только откуда-то издалека доносился голос пастуха, созывающего стадо. Али не появлялся; бесшумно зашла

только одна из женщин, которые спали в ее комнате, — принесла кофе и хлеб на завтрак. «Си<sup>1</sup> уехал в город, — сказала она. — С моими братьями. Они вернутся поздно вечером».

Азиза, вскочив с кровати, попробовала возмутиться: «Но я тоже хочу с ними в город!», — но встретила полный удивления и непонимания взгляд, окончательно поняв, что ее удел отныне — **только смиряться** (с. 76). Вновь стать ребенком, как эта женщина, с желанием которой не считаются, советов не спрашивают. И закричала, не сдержавшись: **«Я ненавижу ваши старые обычаи!»**

Женщина молча налила ей в чашку кофе, положила кусочек сахара. Потом, посмотрев на Азизу, улыбнулась, сверкнув зубами, до блеска натертыми скорлупой грецкого ореха. Она была по-своему красива в свете утреннего солнца, если бы не синяя татуировка на лице. Азиза сказала ей об этом. Та спокойно ответила: **«Но и у тебя скоро тоже будут эти отметины!»** Азиза окаменела от ужаса, вспомнив, как в детстве она убежала к бабушке и скрывалась в ее доме от этой «экзекуции», и бабушка спасла ее... Теперь же, в приступе слепого гнева она опрокинула столик с чашкой и кофейником; чашка разбилась. Азиза стала трясти за плечи Бахийю — так звали пришедшую, восклицая: «Ты с ума сошла?!» Та в ужасе убежала, решив, что *«бесы овладели Азизой»*...

Остаться одной и успокоиться не удавалось: в комнате не было двери, а там, где она была, не было замка, поэтому к Азизе снова пришли. На этот раз — хозяйка дома, которая после долгих традиционных приветствий и пожеланий объявила, что сам Шейх хочет побеседовать с ней.

...Марабут сообщил, что свадьба их с Али назначена на завтра, что жители его дуара счастливы тем, что молодая пара почтила их своим прибытием, что женщины объясняют ей, как следует вести себя в день церемонии *согласно их*

---

<sup>1</sup> Господин.

традициям. «Послушайся их. И да благословит тебя Аллах!» — сказал он на прощание. Уже уходя от него, Азиза услышала, что Бахийя, «ее сестра», прощает ей ее гнев. «Она любит тебя. *Доверяй своим*». (с. 78).

Во дворике, разделявшем два дома, женщины уже готовили кускус<sup>1</sup>; Азиза хотела было присоединиться к ним, но ей вежливо напомнили, что невесте не следует выходить из дому раньше, чем начнется приготовление ее к свадьбе. Она больше не возмущалась; даже одарила Бахийю отрезом на платье, попросив прощения. Та назвала ее в ответ «**своей звездой**».

...Снова приходили женщины, приводили детей, те просили Азизу натереть им ладошки и подошвы босых ножек хной — все готовились к празднику. И когда на небе возшла молодая луна, слышались звуки флейт и местных там-тамов — глиняных полых кувшинов с туго натянутой тонкой сухой, почти прозрачной кожей, — полились гортанные женские трели. Азиза поняла, что свадьба ее близка. Снова зажгли факелы, и наблюдая в оконце — простое отверстие в стене — за разворачивающимся спектаклем, Азиза вспоминала детство и свои ощущения праздничной суеты. Теперь она стала свидетельницей приготовлений собственного праздника, но чувства были иные: «Всё это сведет меня с ума. Но что делать?» Потом под села к женщинам, собравшимся в «зале», и стала вместе с ними хлопать в ладоши, в такт доносившейся с улицы дробы древних там-тамов, постепенно сливаясь с этим ритмом тысячелетий и словно погружаясь в забвение всего окружающего... Но на исходе ночи, когда всеобщее возбуждение и эйфория от предвкушения завтрашней церемонии улеглись, она решила: «**Я здесь ни за что не останусь**» (с. 81).

Однако наутро начались «сборы» невесты. Ей принесли белое длинное платье-рубаху, подпоясали широким шелковым кушаком и сказали, что надо идти к *источнику*. Уже за

---

<sup>1</sup> Местный плов, но не из риса, а из крупной манки.

завтраком Азиза увидела двух черных женщин, с юга страны, которые иногда приглашались в этот дуар для *особых ритуалов*.

Одна из них отметила, что не была здесь уже целый год, но видит, как засуха и печаль иссушали селение, давно уже не знавшее радости... И вот теперь настала пора Праздника.

Черным женщинам предстояло разжечь жаровни, приготовить невесту к *омовению*. Жаровни, кувшины, тазы, кофейники и чайники, запасы провизии были погружены на тощего мула; все остальные сопровождавшие Азизу женщины двинулись босыми пешком по каменистым тропам. На Азизу надели бабуши — кожаные тапки без задников. «Потом, — сказали ей, — и ты будешь бегать сюда босая»... (с. 83).

Она, поддавшись всеобщему веселью, заглушала печальные мысли, идя в этом женском караване, возглавляемом женой Шейха...

Сделали привал, подкрепились, потом двинулись снова. Полуденное солнце нещадно палило, но все упорно шли к цели. Это была **женская дорога**, и никто, ни один мужчина не встретился им на их пути. Им предстояло важное дело: *приготовление тела невесты к свадебной церемонии*. И вот, наконец, источник, ручей, его холодная горная вода. Женщины побежали с кувшинами, наполняли их, переливали в таз, стоящий уже на жаровне, огонь в которой разжигали негритянки... Пока согревалась эта вода, другие пили ледяную, прямо из кувшинов, радостно смеялись, шутили, но не забывали, кто был *«королевой дня»*. Она едва смочила губы, передав кувшин жене Шейха. Та оценила ее благовоспитанность. В нагревавшийся таз с водой бросали благовония. Запах ладана и мускуса кружил голову, приводил в возбуждение. Негритянки приготовили белые простыни, ловко и быстро вымыли девушку, натерли ее кожу и волосы пахучими маслами, укутали и оставили слушать

песнопения и рассказы женщин о чудесах, которые случаются в жизни...

Азизе пошли навстречу, когда она отказалась покрасить волосы хной, как это *обычно* здесь делают все женщины. Согласились с ней, что «натуральный цвет» — лучше, во всяком случае, не так уж и плох... Потом все пили чай с мятой, кофе, ели домашние лепешки. Азизу напоили еще каким-то настоем из трав: то ли «любобным напитком» (здесь называют его «фильтром», приворотным зельем), то ли просто местным «лекарством», придававшим силы и сохранявшим хорошее настроение...

И только один неприятный инцидент испортил его: Азиза, надевая на себя после всех омовений и умачений свою белую рубаху и повязывая вокруг головы длинный белый шарф, нечаянно задела за стоявший глиняный кувшин с настоем из пахучих трав. Кувшин опрокинулся, но не разбился. Однако содержимое *разлилось*, хотя сразу же ушло в песок...

Черная женщина испустила крик ужаса; потом внимательно изучила очертания мокрого пятна на земле, словно читала какие-то таинственные письмена и знаки... Потом с выражением сильного беспокойства на лице взяла руку Азизы и стала изучать, разглядывая линии на ее ладони. «Я вижу, — сказала она наконец, — что смех и песни продлятся недолго. *Праздник твоей жизни соседствует со смертью*. Но ты не умрешь, только обильные слезы потекут из твоих глаз... Их будет так много, что они смогли бы доверху наполнить этот кувшин. И будешь ты страдать за тех, кто сделает тебе зло; но и они не будут счастливы. А любовь твоя еще долго будет с тобой...» (с. 88).

Азиза с трудом удержалась на ногах: она верила в приметы. Женщины вокруг нее плакали, били себя по лицу и груди — так было принято выражать крайнюю степень отчаяния... Потом негритянка сказала им: «Послушайте! Давайте станем заклинать судьбу. Это возможно!» И они за-

жгли костер, бросили в него какую-то траву; снова начали готовить какие-то натирания, на этот раз из золы. Азизе намазали ноги и заставили семь раз прыгать через жаровню с углями; при этом негритянки читали молитвы и произносили свои заклинания; женщины хором подхватывали их. Через какое-то время было решено, что «злую судьбу отвели». Все вздохнули с облегчением, и вскоре инцидент был как бы забыт...

Подкрепились и снова затянули свадебные песни. Хотя было очевидно, что женщины дуара еще долго будут рассказывать об этом случае с новобрачной...

Когда все двинулись в обратный путь, утешением и успокоением был аромат чудесных пахучих трав, из которых был сделан настой, пропитавший тело и одежду невесты: благовоние, словно облачком, окружало ее и парило над женщинами, следовавшими за ней...

Когда уже к вечеру приблизились к дому, Азиза увидела всех приглашенных на свадьбу. Женщины были одеты в старинные кафтаны, шитые золотыми и серебряными нитями; тяжелые украшения были на их руках и ногах. Глаза были сильно подведены сурьмой... Перед домом поставили несколько палаток, где расположились гости. Там слышались смех и пение. На свадьбу пригласили и старую слепую музыкантшу, искусно игравшую на старинном барабане... Невесту нарядили в белое пышное платье, вышитое яркими цветами; ожерелье ей одолжила одна из «родственниц» — без него, этого традиционного для кабиллов убора невест из серебра и кораллов, свадебный наряд (его выбрала сама Азиза, думая, что он понравится Али) был бы незавершенным...

Но пока шли приготовления к свадьбе, она не переставала размышлять о том, зачем понадобилась эта вся *традиционная церемония*, позволявшая Али оставить ее *наедине с женщинами*. Неужели только затем, чтобы снова *приучить ее к старинным обычаям*? Или же затем, чтобы *доставить*

удовольствие «своим»? Ведь нельзя же было объяснить все происходящее его склонностью к экзотике? И почему он не предупредил ее, не посоветовался с ней? Но разве во имя своей любви к нему она не должна, уговаривала себя Азиза, *претерпеть* всё это?

Так, в ожидании его объяснений и прошел этот день, показавшийся ей похожим на приготовление к какому-то **«странному карнавалу»** (с. 91): бледное свое лицо, увиденное в зеркале, тоже напомнило ей какую-то маску...

По обычаю, женщины и мужчины, собравшиеся на свадьбу, находились в разных помещениях. *Жених был там, где были мужчины.* Ближе к полуночи, когда праздник был в разгаре, невесту привели в приготовленную новобрачным спальню. На пороге стоял Шейх и позади него — Али, одетый в белую гандуру (длинное платье-рубашу) и красные бабуши. По выражению его лица Азиза поняла, что он и сам страдает не меньше ее... Шейх повернул их лицом друг к другу, сказал им свое благословение и произнес молитву — первую суру Корана. Обряд бракосочетания состоялся. Молодые поклонились марабуту, благодаря за скрепление и освящение их союза. Закрыв за собой дверь спальни, они услышали, что все «свидетели» удалились. Но гортанные трели женщин еще долго звенели. **Все ждали доказательств реального свершения брака, его «консумации» и, конечно, доказательства девственности невесты<sup>1</sup>.** Но выноса свадебной простыни или рубашки не-

---

<sup>1</sup> Установленная еще Ветхим Заветом связь мужчины с Богом через обрезание детородного органа, а женщины — через супружество, в Коране усилена еще и мотивом «чистоты» («невинности»), т.е. **девственности взятой в супруги как залога чести и самого мужчины.** Обычай, существующий в странах Магриба, особенно в горной местности, вынесения в первую брачную ночь простыни или рубашки на всеобщее обозрение с доказательством девственности, но одновременно и потенции супруга заставляет собравшихся на свадьбу родственников переживать не только гордость, но и тревогу. Даже уверенные в «непорочности» невесты родители беспокоятся за реальную консумацию брака дочери; родители же жениха особенно тревожатся за «честность» всего свершившегося: если невеста окажется не «чиста», не девственна, как их уверяли, то она может быть с позором возвращена в родительский дом. Если же происходит все **«честь по чести»**, то всеобщему ликованию нет предела... (Здесь, как и далее — не только зафиксированные литературой обычаи, но и личные свидетельства автора данной книги. — С. П.)

весты не было: Али сам наотрез отказался (и Шейх пошел ему навстречу) выполнить это единственное, но почти **главное условие Традиции**, пощадив Азизу, для которой это стало бы окончательным свидетельством и «дикости» всего затеянного Али, и самоунижением...

Но отныне Али, тем не менее, становился единственным и «полноправным» ее ХОЗЯИНОМ.

Их первые дни и ночи после свадьбы проходили вполне счастливо для обоих, и молодой муж даже развлекал Азизу арабскими сказками и любовной поэзией, особо выбирая то, где воспевалась **«женская верность», преданность и покорность супруги...** Но ей почему-то вспомнился тот день, когда он не явился на их свидание, прислав записку с извинениями... На мгновение вернувшись к **той реальности**, она остановила себя, не захотев омрачать воспоминаниями «медовый месяц». Хотя и задумывалась иногда о том, **как и куда** они вернутся в Алжир и будут жить дальше...

Так прошли три недели, которые для Азизы были особого рода *«каникулами»* — по-другому воспринимать окружавшую ее жизнь в дуаре Азиза и не хотела... Али был *«спокоен и доволен»*: жена научилась местной кухне, готовила ему сама его любимые блюда, пыталась даже печь хлеб, хотя он предусмотрительно запасся всем необходимым, привезя из города привычные продукты. Она, правда, как-то заметила ему, что здесь ей не хватает «современной посуды», кастрюль и прочей кухонной утвари; Али нахмурился, но Азиза беспечно утешила его: «В Алжире всё встанет на свои места!..» (с. 97). Он прервал ее, сказав, что завтра едет в Сетиф и привезет из города все то, что ей здесь необходимо: «Составь список». Ничего не подозревая, Азиза согласилась. Ей всё казалось, что они *«играют в какую-то особую игру»*...

На следующий день муж объявил, что к вечеру не вернется, возвратится из города, когда завершит какие-то



«важные дела». Облачко пыли, словно длинный шарф, долго вилось за его машиной, постепенно исчезающей из виду...

В эту бессонную ночь Азиза думала, что ей, конечно, не нужна ни новая кухонная утварь, ни вся эта жизнь в окружении милых, заботливых, но *бесконечно далеких ей людей*. Она скучала по «своему миру», по «своим книгам», по «нормальной работе», по своим друзьям и знакомым, по столичной суете и оживлению большого города. Она уже знала, что хочет **любой ценой вернуться в свою прежнюю жизнь** (с. 100). И утром она была полна решимости сказать обо всем своим гостеприимным хозяевам. Правда, ограничилась только фразой со словами благодарности. Шейх не придавал этому особого значения, даже не предполагая их возможный отъезд, ответив: «Али и ты — мои дети»...

...Когда вернулся Али, Азиза отметила, что он в новом костюме, хорошо пострижен и чисто выбрит. Он привез полную машину и провизии, и кухонной утвари, и много других мелочей, удобных для быта. Отметив и какую-то особую озабоченность Али, Азиза не отважилась сказать и ему о принятом ею решении.

О чем-то долго проговорив с Шейхом, Али только вечером пришел домой и, одарив жену дорогим кольцом, сообщил, что он должен занять очень престижное место, которое только что освободилось в адвокатской конторе в Сетифе, а потому ей придется на несколько месяцев задержаться в деревне...

Азиза умоляла его взять ее с собой, уехать отсюда куда угодно, но муж был непреклонен. «Это невозможно», — больше ничего объяснить он не пожелал. Наутро уехал, оставив записку, что вернется не скоро. Азиза поняла, что это означает только одно: он требовал от нее *смирения*. Вернувшись через два дня, он объявил, что его работа требует

от него длительного пребывания в городе, и просил Азизу «потерпеть»...

Начались бесконечные ожидания его приездов и отъездов, потекло *время тоски*. Азизу ничего не радовало вокруг, разговоры женщин не отвлекали, деревенские «развлечения» казались убогими, скучными и однообразными, звуки барабанов и бубнов, тягучие песнопения были не по душе... Ей хотелось в минуты грусти читать, *но Али упорно не привозил ей книг*; она мечтала в тоске о той своей жизни, которую так бездумно оставила, не прислушавшись к словам старой кормилицы, предупреждавшей ее по-своему о том, что ее ждало **«в глуши»**...

В отсутствие мужа Азиза была под *постоянным надзором*; ей не советовали *«выходить из дома одной»*, *«принимать гостей»*. **«Ты — мусульманка»**, — напоминали ей. *«Не забывай о том, что ты должна подчиняться Закону нашего племени»*, — говорил ей теперь и Али (с 108). Он так и не привез ей книги, о которых она просила...

О переезде в Сетиф или Алжир она уже не могла вести и речи. «Ты должна жить в деревне, — настаивал Али. — Это мое желание. **Так надо**» (с. 106). Он вдруг предстал перед Азизой в совершенно новом облике: **рьяно держался за свои мужские привилегии, данные ему религией и обычаем, запрещая жене противоречить ему**.

Ни жаркие споры, ни ласки не помогали; Азизу обуревали теперь только горькие чувства, разочарование, страстное желание **бежать отсюда** куда глаза глядят. Удерживал ее только страх окончательно потерять Али. Здесь без него жизнь будет совсем невыносимой...

Пошатнулось здоровье, сдавали нервы, она почти ничего не ела; ее мучила **бесполезность** существования. Часами сидела не двигаясь у стены дома. Однажды не смогла встать с постели. Бредила.

Али приехал, пробыл с больной несколько дней. Когда ей стало лучше, уехал снова. Прошло еще три месяца...

К Азизе приехала — «навестить» — старая кормилица. Увидев, как слаба и несчастлива здесь ее «почти дочь», решила «забрать ее домой».

«Но Али не хочет, чтобы я уезжала отсюда». Шама — так звали кормилицу — сделала вид, что не слышит Азизу, и продолжала укладывать ее вещи... Али вернулся снова, поселился в семье Шейха, оставив Азизу наедине с Шамой. Долго уверял жену, что «она ему дорога», но что если она все-таки хочет уехать в Алжир, он сможет их проводить «только до вокзала в Сетифе». Азиза, не вполне поняв причины такой «отговорки», сказала ему, что жизнь здесь больше *невозможна*. «Я не вернусь с тобой в Алжир... Смогу только изредка приезжать, по обстоятельствам... Но ты ни в чем не будешь нуждаться. Я буду о тебе заботиться, — заверил ее Али. — Мой новый служебный долг требует большой самоотдачи, и я не могу обещать, что посвящу свою жизнь только тебе. Влиятельные люди, принадлежащие к крупной политической группировке, просят меня быть их адвокатом», — объяснил он (с. 112). Азиза продолжала не понимать, при чем тут их личная жизнь. «Вся эта комедия казалась ей одиозной» (с. 113). Тогда Али сказал наконец правду: **«Ты должна знать, что моя карьера будет испорчена, если людям, доверяющим мне, станет известно о нашем браке. Ты слишком похожа на европейскую женщину, усвоив западный образ жизни. И это — главная причина, по которой я держу тебя здесь и хочу, чтобы ты оставалась в дуаре. Время постепенно делает свое дело; и то, что не хотят принимать сегодня, примут через несколько лет... Тогда и мое положение в обществе изменится... А ты не хочешь стать моей верной подругой»** (с. 104).

...Али вдруг показался Азизе совсем «незнакомым» — столь «низменны были его расчеты». Ни о каком «благородстве его души» она и не вспоминала больше, ей было ясно теперь, что она *«доверилась другому человеку, за*

внешним видом которого скрывалась чуждая ей сущность» (с. 114). Али же продолжал уверять ее, не стесняясь, что он будет черпать свое вдохновение, думая о ней, только для «продолжения своей блестящей карьеры» (с. 114).

...Шейх молча выслушал весть о том, что Азиза покидает дуар и уезжает **одна**, без Али, в Алжир. Никто не стал удерживать Азизу. Они не одобряли ее, даже «враждебно», как ей казалось, настроились по отношению к ней. Но ей уже было все равно. Оставив почти все вещи в доме, она рано утром покинула дуар. Али повез ее и Шаму на вокзал в Сетиф.

Стояла ужасная жара. Было безлюдно и бесшумно. Никто не вышел проводить отъезжающих. В дороге тоже все молчали. Когда выехали наконец из долины, окружавшей холм, на котором ютилась деревня, Азиза облегченно вздохнула. Кормилица прошептала какую-то молитву.

На вокзале в Сетифе были развешаны предвыборные плакаты с портретами кандидатов в органы новой местной администрации: среди них были и известные алжирцы, в том числе и муж Азизы. Другие лица, вероятно, и были новые друзья и покровители Али. «Теперь ты можешь быть спокоен за свое будущее, — подумала Азиза. — **У тебя больше нет неподобающей защитнику национальных ценностей жизни жены.**»

Чтобы не смущать Али, Азиза с кормилицей стояли в сторонке на платформе, пока он занимался багажом. Посадив их в вагон, он сказал на прощание Азизе: «Не суди меня строго. Подумай хорошенько обо всем. В Алжире мы еще поговорим». Она протянула ему руку. «Успеха вам всем. И удачи...» (с. 117).

...В Алжире ее уже никто не ждал. Место на работе было безнадежно утрачено. В других французских редакциях газет и журналов ее также приняли не особенно радушно: в столице слухи расползлись быстро, и о ее браке с «алжир-

цем-националистом», ее пребывании в дуаре Бени-Ахмед, благословении *марабута* — совершенном над ней мусульманском обряде бракосочетания — было давно известно. Все знали и о том, что ее муж не хочет «официальной регистрации» их брака. Алжирские же друзья упрекали Азизу в том, что она «сбежала от мужа», **«не подчинилась традиции»**, вступила **«в противоречие с мусульманской доктриной»** (с. 123)<sup>1</sup>, «мы вас предупреждали, что вы делаете необдуманый шаг», «ваше поведение извинить невозможно» (с. 134). Словом, осуждали за то, что она **«бросила вызов всем алжирцам»**. «Но почему, — возмущалась Азиза, слушая упреки подруг и знакомых, — почему вы все видите причину в моем французском образовании! Ведь вы все сами говорите по-французски, учите своих детей в *их школах*, гордитесь тем, что *ваши* сыновья и дочери могут у *них* учиться!.. Пусть я живу “на западный манер”, как говорите вы, но это не мешает мне помнить о моих истоках, о моих корнях!» (с. 123). Однако она слышала возражение: **«Ты не склонилась учтиво перед нашими обычаями, не сумела жить, как все женщины-алжирки. И потому никто из нас не поверит в твою искренность... Ты — не настоящая му-**

<sup>1</sup> В Коране, однако, не сказано, является ли «грехом» уход женщины из дома мужа; указано лишь на «негреховность» в этом мужчины: «А если они сами покинут [ваш дом], то нет греха на вас за то, что они предпримут согласно обычаю» (Сура 2; 240). Не указано также, по каким причинам женщина вправе оставить дом мужа. На этот счет есть лишь замечание в комментариях, что, если муж *«не приближается к жене»* в течение четырех месяцев, жена по истечению «срока ожидания» может выйти замуж за другого (см.: Коран. Пер. Н.О. Османова. М., 1995, с. 418, коммент. 171). В то же время в Коране есть предупреждение и мужчинам и женщинам: «Бойтесь же Аллаха, именем которого вы предъявляете друг к другу [свои права], и [бойтесь] разорвать родственные связи [между собой]» (Сура 4; 1). Следовательно, сам по себе этот *разрыв* не угоден Аллаху, а потому может быть осужден с этой точки зрения людьми. Но в этой же Суре есть указание и на то, что *нельзя обижать жен*, если они не «прелюбодействуют», верны своим мужьям и *повинуются им* (Сура 4; 34).

О случаях возможного «развода», право на который предъявляется со *стороны женщин*, предусмотренных в различных толках мусульманского права (порой включающих *местные обычаи*), см.: *Деро А.* Различные воззрения на статус женщины в шариате. — Перевод в: Прожогина С. В. Женский портрет на фоне Востока и Запада. М.: Наука, 2006.

**сульманка**, если бросила мужа, вернувшись сюда жить по-европейски...» (с. 124) (везде выделено мной. — С. П.).

Когда Азиза спросила, отчего же тогда среди алжирцев-мужчин так «много тех, кто женится на французенках», ей ответили, что это — другое дело: «Эти европейки *сами приехали к нам*<sup>13</sup>, а ты перешла на другую сторону...».

Азиза была в смятении. «Я больше так не могу. Я чувствую себя обреченной, приговоренной, отброшенной сообществом, которое я все-таки считала своим, несмотря ни на что. Я стала той, которая разрушила все связи со своими... Мне хочется кричать и плакать» (с. 124).

Так оказался человек в бурной реке жизни, где, «отплыв» от одного берега на встречу с другим, он не пристал и к нему, почувствовав *удаленность и «своего», и «чужого»*... И тот берег, казавшийся когда-то почти достигаемым и даже «близким» девушке, сумевшей выучиться в европейской школе (что не всякой алжирке в колониальное время было доступно и по силам), теперь тоже отдалялся от нее все больше, считаясь с «условностями» своего «сообщества», принимавшего в свои недра только тех, кто «до конца» разделял его цивилизационное превосходство, а значит, и формы своего «присутствия» на алжирской земле. Французские друзья недвусмысленно, без намеков, сказали ей, что Али, став практически их **политическим противником**, компрометирует и Азизу: сотрудничество с мусульманами, с алжирцами в целом становилось делом опасным в условиях, когда «националисты» все решительнее требовали предоставления стране Независимости...

И даже покровительствовавший когда-то Азизе «крупный журналист, так хорошо говоривший по-арабски», отделался только смутными обещаниями «помочь со временем с работой»...

---

<sup>13</sup> На самом деле Коран разрешает мусульманам (но не женщинам!) осуществлять брак с представительницами других религий (монотеистических).

Началась черная полоса в жизни Азизы. К тому же подруги сообщили новость об *официальной женитьбе* Али на дочери одного из видных мусульманских лидеров... И хотя Азиза уже считала себя «свободной» и ничем не связанной с человеком, которого она хотела «выбросить из своего сердца» (с. 125), новость потрясла ее. Теперь ее положение в обществе будет действительно странным и двусмысленным, и даже драматичным: ее могло ждать полное одиночество. Утешала только верная ей кормилица, надеявшаяся на «милость судьбы» и «волю Аллаха»...

Не будем забывать, что объемный роман написан женщиной и что повествование в нем идет от **первого** лица, а потому франкоязычный автор не только формально «слит» со своей героиней, разделяя ее сомнения, ее тревоги и обиды, но и будет бороться за ее судьбу, очевидно сочувствуя ей. И судьба окажется, как хотела того старая Шама-кормилица, милостивой к Азизе. И не только потому, что ее бывший избранник будет несчастен со своей новой женой и со временем станет просить Азизу «вернуться к нему», хотя она твердо решила, что **«в прошлое свое не вернется никогда»**: «Начать всё снова?! Нет! Вернуть ничего нельзя» (с. 179). Когда-то полученное Азизой именно «европейское образование» на сей раз помогло трезво проанализировать и ситуацию, и дать объективную оценку личности бывшего возлюбленного: «эгоист», «карьерист» (*arriviste*), «двуличный лжец». Ведь скрывая ее в деревне, **в горах**, муж не просто «подстраивался» к рядам традиционалистов (для которых ее «побег» был почти что преступлением, **отказом от мусульманского Закона**), но и «таился» сам от французских властей, официально не регистрируя свой брак с Азизой: с ними и ему, и его коллегам по политической деятельности приходилось не только быть в «оппозиции», но и сотрудничать. Речь ведь шла и для одних и для других о *борьбе за Власть в стране*, и порой приходилось и «торго-

ваться», и договариваться, прежде чем вспыхнет настоящая **народная война...**

Как и в реальности, так и в романе Дж. Дебеш именно «сам народ» разберется в истинных намерениях тех «лидеров», которые на словах рьяно отстаивали «национальные идеи», «национальное дело, национальные традиции»: на митинге, «разрешенном официально», т.е. французскими властями, тот самый «влиятельный мусульманский политический деятель», зятем которого стал Али, был освистан собравшимися на площади алжирцами, назван «предателем», «состоявшим в сговоре» с колониальными властями, «дирижировавшими» оппозицией, даже «подкармливавшими» ее... Молодежь, уже активно вступавшая в реальную борьбу за национальное освобождение, кричала выступавшему, читающему свою речь «по бумажке»: «Продажная шкура! Коллаборационист!» (с. 141–142).

...«Известный журналист», покровительствовавший Азизе в начале ее пути прислал письмо из Парижа, где пообещал устроить ее во Франции на работу, хотя бы «на какой-то срок»... Пусть и неопределенное, но это обещание приободрило Азизу. Однако она уже многое переоценила в своей жизни и не особенно уповала на то, что Запад распахнет ей свои объятия. И если у Али, с ее точки зрения, «не было никаких твердых идеалов», кроме своих личных интересов, то ее собственные идеалы несколько померкли после всего того, что пришлось пережить...

Но, расставаясь с героиней именно в этот момент ее жизни, когда она решила ответить своему другу, что **не поедет в Париж**, автор романа и не вполне «укореняет» ее в алжирской реальности Настоящего времени. Дебеш, скорее, проецирует судьбу Азизы в Будущее, связывая его с образом *маленькой девочки*, которая бежала по аллее сада, где одиноко сидела Азиза, размышляя над своей судьбой. Какая-то женщина, *закутанная в белое покрывало*<sup>14</sup>, позва-

---

<sup>14</sup> Это — хаик — национальная верхняя одежда алжирок.



ла девочку *к себе*, и ее имя звучало как и имя героини романа... И Азизе показалось, что это бежит навстречу и к ней, и ее матери **«сама радость Жизни»**. «Теперь и время, и будущее были с ней», и она надеялась, что тяжкие муки ее не повторятся больше никогда»... (с. 151).

Во всяком случае, опыт испытания встречей с *Традицией, уводившей только в Прошлое*, научил Азизу стойкости. Искушение Западом как признаком «современности» научило переживать разочарования.

Главное, осталась *жажда Обновления жизни*. «Я хотела бы увидеть через годы, месяцы и дни, как расцветет эта встретившаяся мне новая Азиза» (с. 182). Она думала об увиденной ею маленькой девочке. А значит, о *расцвете* Будущего. Оно, несмотря ни на что, все-таки казалось прекрасным...

...Мне пришлось довольно долго знакомить читателей с практически первым, появившимся в уже с трудом, но *отделявшемся* от Франции Алжире<sup>15</sup>, произведением, где интересующая нас проблема поставлена как **основная**. Но чем полнее представлена картина жизни **традиционного мира**, воссозданного писательницей, и круг проблем, волновавших алжирскую женщину (а значит, и любую магрибинку ее социального круга, т.е. женщину, знакомую с условиями существования в другом, *нетрадиционном* по своей сущности обществе), тем, на мой взгляд, понятнее будет и цель писателей-бытописателей, пытавшихся запечатлеть *самобытность*, а значит, и защитить *особость* своего мира от трансгрессии Чужого, обрекающего его на «саморазрушение». Написанный «изнутри» самого конфликта мира древних традиций и мира современности, отраженного во взгляде самого «субъекта», «главного действующего лица» этого столкновения, роман Дебеш отличался и достаточной объективностью, спокойным тоном наррации, «классиче-

---

<sup>15</sup> Официальный статус этой «де-факто» колонии был «заморский департамент Франции», т. е. он как бы являлся *частью* Метрополии.

ским» стилем литературного письма и почти документальной реалистичностью.

Но не поэтому в годы начавшейся национально-освободительной борьбы современники встретили роман «Азиза» с некоторой настороженностью<sup>16</sup>. Художественные образы и историческая реальность были столь тесно переплетены в книге Дж. Дебеш, что франкоязычная писательница оказалась «не устраивавшей» ни «истинных патриотов», ни традиционалистов, ни защитников «французского Алжира», ибо «недостаточно четко» (для идеологов!) формулировала свою позицию по отношению ко всем им. Она как бы вскрывала «внутренние противоречия» в лагере защитников сохранения исламских норм жизни, но не избежала и имплицитных обвинений в адрес тех, кто «по определению» своему (Франция — страна *республиканских прав и свобод*!) мало что сделал для социального прогресса страны, порой искусственно сохраняя и поддерживая «отсталость», «невежество», «средневековые нормы жизни» мусульманской семьи (особенно в «глубинке»), избавляя себя от «последствий просвещения»...

Надо сказать, что в этом плане писательница не была одинока: защитниц и защитников именно **социального прогресса** (еще не выдвигавших сугубо политических требований Независимости) было немало в среде автохтонной интеллигенции. Но именно на нее и оказывалось известное давление как со стороны «своих», так и французов (французы, как писал Франц Фанон, «всегда обвиняли своих выучеников — адвокатов, врачей, учителей и др. — в “дикости”, если видели, что их жены оставались, по мусульманской традиции, на положении полурабынь в доме»; алжирцы же своих интеллигентов обвиняли в том, что их жены слишком «европеизированы»<sup>17</sup>). И именно к ней, этой но-

<sup>16</sup> Это отмечено в книге: *Mosteghanemi Ahlem. Algérie. Femmes et écritures*. P., 2002, p. 39.

<sup>17</sup> *Fanon F. Sociologie d'une révolution: l'an V de la Révolution algérienne*. P., 1959.

вой части алжирцев, оказавшихся и на рубеже культур, и на рубеже эпох, относились с недоверием и те, и другие, и «свои» и французы. И в этом нередко была драма «порубежников».

Но если произвести некую «семантическую редукцию» всего текста и контекста романа Дебеш, то для поколения читателей, весьма уже удаленного во времени и пространстве от колониальной эпохи, произведение это, может быть и не вполне еще художественно «созревшее», почти документальное<sup>18</sup>, сполна запечатлело реальный опыт восприятия традиционного мира и типизировало портрет женщины, пытавшейся выйти на другую дорогу, отличную от той, по которой уже прошли миллионы ее соотечественниц за почти тринадцать столетий... Писательница со своей героиней сделала свой первый шаг, **уйдя от Прошлого** и ступив, пусть в еще неясную, туманную, но даль того Будущего, о котором позволила себе мечтать Азиза. И это важно и сегодня, и не только потому, что проблемы, связанные с положением женщины-мусульманки в традиционном обществе, все еще остаются актуальными. Но именно ее голос, этой женщины, алжирки, был одним из первых голосов в Магрибе, который поведал о том, **как** вызревали ростки нового самосознания и как было необходимо это робкое «цветение» Времени Надежд во время разбушевавшейся Войны миров, где один мир, защищая свою с а м о с т о я т е л ь н о с т ь , свою с а м о б ы т н о с т ь от колониального угнетения и попыток его полной культурной ассимиляции в другом, доказывая свою п о д л и н н о с т ь и п о л н о ц е н н о с т ь , отстаивая **свои ценности**, отвоевывала свою Н е з а в и с и м о с т ь , отстаивали таким образом именно свою **Свободу**. И малость локуса изображенного в романе Дж. Дебеш (крошечное горное селение),

---

<sup>18</sup> Сравнить степень документализма можно, прочитав в «Приложении» к данной работе фрагменты книг алжирского этнолога Т. Ясин и французского социолога М. Л. Желар.

где свято охраняют и берегут **свои традиции** люди, только усиливает, сгущая (или концентрируя) заряд их Надежды на это свое освобождение. А это уже само по себе немало.

...Полвека спустя после выхода в свет первого произведения Д. Дебеш (с чего я начала свое повествование) появилась книга новелл Асси Джеббар «Оран, мертвый язык» (1997)<sup>19</sup>, которая поведала миру о том, во что превратился сам концепт «**охранительности**» *Традиции*. Лейтмотив новеллы, давшей название всей книге, звучит и в других «коротких историях», где, как в калейдоскопе, фрагменты чужих жизней, *чужих смертей* складываются, совмещаются в причудливые узоры холодных осколков стекла, бесконечно множащих одну и ту же печальную мелодию, которая не может не тронуть сердце читателя, к которому обращена книга, — мелодию *исчезновения жизни, медленного умирания страны, когда-то отчаянно и смело заговорившей с миром о возможности своего самостоятельности существования* и добившегося его ценой тогда огромной для своего народа, потеряв в борьбе за Независимость миллион алжирцев... Но неожиданно резко перейдя на «язык смерти», обращаясь на нем к «**самой себе**», вновь обескровливая свои силы на сей раз в **гражданской войне**, не совершала ли страна ошибку, которую не «поправят» уже никакие памятники «мученикам», жертвам антиколониальной Войны (гордо возносимые сегодня к небу Алжира как напоминание о прошлом)? «Мертвый язык» Орана в книге Джеббар постепенно становится синонимом и бессмысленной «немоты» окружающего мира, и безнадежного плача повергнутых в отчаяние, молчаливого ужаса тех, кто был запуган смертью, загнан страхом, обречен на смирение в

---

<sup>19</sup> Djebar A. Oran, la langue morte. P., 1997 (Город Оран — столица горной местности Орес.)

творящемся кровавом кошмаре, развязанном исламистами<sup>20</sup>.

Но ведь не странным же и болезненным «притяжением» к этому «молчанию бездны», где царила Смерть, охвачены те, кто так или иначе **возвращаются** в свою страну, на свою родину, в отчий дом, либо «просто» даже под прицелом, угрозой своего уничтожения, не оставляют **эту землю**, попавшую во власть **Зла**.

Или упорно продолжают свое дело, свою работу, упрямо надеясь, веруя в то, что не погибнут, не исчезнут и в этом водовороте Истории, и вели **свой** разговор с Жизнью, защищая ее до конца. «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю», — видимо, в этих пушкинских словах таится правда *особой возможности человеческого существования*, которая удерживает его на Земле даже в минуты крайней опасности. Во всяком случае, герои А. Джебар, даже осознавая свою обреченность, даже точно зная, **когда** погибнут, даже видя, что «Город, его улицы, его дома, их стены, мечети и люди в них **выталкивают** их из Жизни, особенно когда заходит солнце, когда вместе с опускающейся ночью угасает и последняя надежда увидеть завтрашний день» (с. 50), — возвращаются в этот Город, находящийся в горном крае Орес, как рассказчица «короткой истории», названной «Билет туда и обратно?», несмотря на неумолимо сужающийся здесь круг Жизни... Но смерть не обязательно была связана здесь с деянием «врага», «из-за угла» убивающего свою жертву. **Люди становились «чужими» друг другу, боровшись раньше совместно за одни идеалы, защищая одну Свободу**, но постепенно, осознав, увидев, не приняв «обратной» стороны медали обретенной Независимости. Вот и бывший солдат Революции, позволивший своей дочери *учиться*, но не согласный с тем, что *она может си-*

---

<sup>20</sup> Только 28 сентября 2003 г. СМИ сообщили, что в Алжире началась «масштабная акция» государства и Армии против движения исламистов и террора, развязанного в стране в 1989 г., в результате которого погибли *десятки тысяч алжирцев*.

*дочь в кафе за столиком с мужчиной*, запирает ее в доме, а мать, боясь и угроз мужа, и страданий дочери, сама подталкивает ту к краю обветшавшего балкона дома, **ускоряя ее самоубийство**. Дочь и сама уже была готова к этому последнему своему шагу навстречу смерти, которая избавляет **от жизни в тюрьме мусульманских запретов...** А именно эти, вновь ужесточившиеся запреты, с яростью вспомненные защитникам шариата, стали вдруг царить в стране, как бы перебросив в иное, более жесткое русло смысл традиции **охранения чести женщины...**

И посчитав дочь нарушившей религиозный обычай, а себя «обесчещенным» ею, гибель ее отец воспринял как **«восстановление чести семьи»** (с. 68)...

«Город убийц», — откомментировала событие рассказчица, возвращавшаяся время от времени в родные края, чтобы «не откореняться», не чувствовать себя на чужбине, где она живет *«апельсиновой кожурой»*, *«отбросом» под ногами прохожих...* Теперь она сомневается, брать ли ей билет, как всегда это делала, улетая «обратно», с «возвращением» назад, в родной город. Но фраза, завершающая рассказ и стоящая в его названии — *«Retour non retour»* («Возвращение» — «Не возвращение») — как **несуществующая форма билета** (обычно называемая *«Aller — Retour»*, то есть **«Туда и обратно»**), — превращается, скорее, в **формулу сомнения**, в печальное раздумье в финале, становящееся неким внутренним «уравнением», где приравниваются друг к другу две эмоциональные величины: и *необходимость возврата рассказчицы на родину*, и **невозможность, невыносимость встречи с ней**, несовместимость желания обрести, почувствовать «корни» в родной земле с тем, что происходило здесь, где воцарился «мертвый язык», «Воля Дьявола», как скажет М. Диб в своем романе *«Si Diable veut»* (1998).

Но само по себе «возвращение» в реальность свершающегося становится неизбежным, — так, во всяком случае,

поступают герои и героини книги Джебар, несмотря на то, что происходило в стране. Известия о ней настигали повсюду: в сообщениях радио, телевидения, по телефонным звонкам, в газетных статьях, в письмах друзей... Известия о гибели знакомых, писателей, журналистов, ученых, педагогов, студентов, общественных деятелей<sup>21</sup>, или просто целого горного поселка, жители которого стали жертвами ночного «налета бандитов»... Среди погибших — и бывшие бойцы Сопротивления колонизаторам, и представители нынешней власти, и военные, и, казалось бы, *ни к чему не причастные* гражданские лица... Подозревать в преступлениях можно было *кого угодно*, не только «исламских фанатиков», но так или иначе кольцо смерти все туже затягивается, ее дыхание — все ближе, а это заставляет многих снова браться за «старые ружья», а тех, чье оружие — перо, — писать, чтобы освободить людей от отчаяния, вселить в них желание «выжить», «пережить, преодолеть страх, отвращение к творящему вокруг» (с. 71). Получив «угрозу» или заподозрив «слежку», они скрывались, уходили в «подполье». Но те, кто не успевал это сделать, были обречены. *Особенно женщины*, как это показала А. Джебар.

Им исламисты снова, как и полвека назад, *националисты* не прощали ничего: ни обретенную (особенно после провозглашения в стране Независимости) возможность ходить с *открытыми лицами*, ни европейскую одежду, ни право на *самостоятельность*, на *работу*, ни знание *другого* языка, ни *свободный выбор* в любви. В одной из новелл книги «Оран, мертвый язык» — «Покушение» — герой-журналист Мурад — решил «выйти» из «подполья», нарушить «молчание» и, разбудив ночью жену, прочитал ей свою новую статью, которую хотел опубликовать *под своим собственным именем*, а не под псевдонимом, как это делал уже долгое время... Статья была острая и решитель-

---

<sup>21</sup> Документальные факты об этом Ассия Джебар собрала в своей книге «Белый траур Алжира» (Le blanc de l'Algérie. P., 1995).

ная, направленная против бездействия власти, против всеобщего «иммобилизма», «оцепенения», угнетенности народа террором, разгулявшимся в стране...

С потоком угроз в свой адрес он уже свыкся, но сейчас, словно забыв о возможных последствиях, решился открыто выступить, пренебрегая советами «доброжелателей» держаться «от всего подальше». Жена тоже давно предлагала ему уехать куда-нибудь всей семьей подальше, где-нибудь «отсидеться», переждать смутное время, пожалеть больного сына...

Но слышала в ответ обычные для мужа возражения: «Оставь! **Разве** ты еще не поняла, что я буду жить **здесь, здесь**, и умру **здесь**, в этой стране! (с. 143)...

За прошедшие годы почти все друзья, товарищи по борьбе с «исламистами» погибли — кого убили в упор, кого — из-за угла, кого-то зарезали в темноте. И вот теперь он сам, как опасалась жена, «подписывает свой смертный приговор»... (с. 145). «Но кто-то же *должен* сказать обо всем творящемся **вслух, ясно, громко?!** Не сердись, Наима! — говорил он, надеясь, жене. — **Я** только начну, а за мной пойдут и другие...» (с. 146). Он был уверен, что выигрывает свой бой...

...Через десять минут после того, как они, выйдя из дому в то утро, когда Наиме было пора отправляться в школу, где она преподавала арабскую литературу, а Мураду надо было купить в соседнем киоске газету со своей статьей, она услышала выстрел. Ему выстрелили, подойдя вплотную, в висок. Он упал на тротуар; выскользнув из его руки, газета прикрыла ему голову. Подбежавшая жена увидела только, как черное пятно расплывается на бумаге... И как воцаряется вокруг «невозможная тишина»...

Сорок дней ее «поддерживали», как могли, соседи, коллеги, ученики, родственники, друзья. Но потом, столкнувшись в школе с *недоверием* какого-то «правоверного» старшеклассника, «прицепившегося» к ней за ее **оговорку**



(она на *французском языке* произнесла поставленную ему за сочинение отметку) и с сарказмом усомнившегося вслух в том, «*уже не попал ли он на урок французского вместо арабского?*» — Наима решила уехать из страны. «Разве Мурад не боролся за **современную школу?** Так где же она?!» (с. 156). И разве французский язык, как и говорящие на нем алжирцы, здесь «**чужие**»? В этой *огромной стране*, где все еще так много тех, для кого этот язык давно стал своим? Наиме невыносимо было само молчание класса, где *ее* ученики могли не доверять ей...

Но что означало для нее «покинуть эту страну»? «Пересечь бездну, пустоту, оставшуюся после убитого Мурада» (с. 161). Она, эта бездна, увы, все расширялась, и в ней могла оказаться и она сама, и ее сын, и ее родня. Может быть, отъезд *куда-то* «на год или два» и будет ее спасением?

Ведь другой ее коллеге, тоже учительнице литературы, так и не удалось удержаться на краю этой «бездны», — ей просто *перерезали горло* ворвавшиеся прямо на ее урок «фанатики», на глазах ее учеников. Только за то, что она в течение пяти дней комментировала с ними одну и сказок «Тысячи и одной ночи» (*о женищине, которую убил, расчленил, ревнивец-муж, несправедливо обвинив ее в «измене»*). Эту сказку убийцы учительницы посчитали «**бесстыдной**», полной подробностей, не совместимых с «**нормами их морали**»... Но главное, конечно было в том, что кто-то на одном из уроков пытался сравнить время султана Харуна ар-Рашида с *нынешними временами*, а виселицу, приготовленную им для «настоящего преступника», раба, которого искали, но которого скрывал его собственный хозяин, с «*неправедным судом*», который вершился по всей стране каждый день...

Обычные в «нормальной школе» европейского образца комментарии, которые призваны развивать логическое мышление учеников (традиция, оставшаяся в Алжире от

французов), превратились, по чьему-то доносу, в «предательство», в насаждение «чуждой морали в «политически опасное» дело, а сказка о «Женщине, чье тело, раз рубленное на куски и спрятанное в сундук»<sup>1</sup> и утопленное на дне реки, обернулась былью для молодой учительницы, чью отрезанную голову, подняв и показав ученикам, убийцы положили на письменный стол... Казалось, что голос учительницы еще продолжал раздаваться в онемевшем от ужаса классе...

...«Силы порядка», — так называли они себя, — ворвавшись на ее урок, почему-то успели крикнуть по-французски: «Контроль!». Возможно, зная, что урок героини этой новеллы (названной как и арабская сказка) шел по-французски... Атика, — так звали учительницу, выросшая в годы после Независимости, когда уже повсюду говорить было принято только на арабском (в стране постепенно воцарялась «политика арабизации» всего населения), любила французский с детства: часто слышала его в доме, когда ее арабские родители не хотели быть понятыми детьми и, прекращая говорить на родном, переходили на французский, выученный когда-то в школе... И когда выросла сама, сказала, что будет преподавательницей именно французского: «Вот увидите, мои ученики будут по-настоящему двуязычными, и этот язык поможет им лучше знать и другие языки, и другие предметы!» (с. 168). И она так и прожила в этой убежденности своей всю свою короткую жизнь, пока и ее не «приговорили к смерти»... Зачем стране надо пересказывать какие-то подозрительные сказки, да еще на «чужом» языке? Да еще *осуждая мужа, «несправедливо» убившего свою жену*, да еще и султана, *«неправедно» творившего свой суд*... Страшная сказка будто так и не кончалась, вопреки канону «1001 ночи»... Как и сама Ночь, которую обязательно должен был сменить День.

---

<sup>1</sup> В русском переводе Салье название сказки из «1001 ночи»: «Женщина с отрезанными руками».

И один из учеников будто даже «услышал» голос уже убитой Атики, которая сказала: «Ночь — это теперь наш каждый день, прожитый здесь нами...» (с. 213)... «Конца» ее речи он, правда, не услышал. В класс вошли санитары и завернули молодую женщину в *белый саван*... Как *ту*, расчлененную, в *сказке*...

С тех пор Омар, — так звали этого внимательного ученика, не выносит **белый цвет**. Ни молока, ни свежей извести, которой красят старые стены домов а арабской части города...

...Ассия Джебар почти дословно пересказала услышанную в Оране (а этот город — *как метонимия горного края — Ореса*) «короткую историю», еще раз подтвердив свою мысль, что страна продолжает говорить на «мертвом языке». И завершила этой «старинной сказкой», ставшей повседневной реальностью страны, первую часть книги, названную *«Алжир между желанием и смертью»*...

Почти как у Л. Арагона — *«Между шпагой жизни и шпагой смерти»*... Но А. Джебар было важно не только воссоздать всеторжествующую и на исходе XX в. поступь Смерти на ее земле, но и бездну контрастов между желанием алжирцев **жить** в Алжире и вынужденностью преждевременно **умереть** на его земле...

Внимательный читатель заметит, что герои новелл А. Джебар — не только этнические алжирцы (берберы или арабы), — среди них есть и те, кто представляет другие народы, издавна на этой земле жившие. Но все они, даже переживая жестокие моменты истории страны, от земли своей «отрываются» с трудом, уехав или на учебу, или под угрозой смерти, или не согласные с новым миропорядком.

Но они *все* продолжают считать себя «алжирцами», часто возвращаются обратно, так или иначе с этой Землей связанные, не думая об опасности.

Однако, уже в I части книги Джебар есть и особый мотив «связанности» этой Земли с Францией, мотив беско-

нечно длящегося и «приближения», и «разъединения» их: наследство Истории не может бесследно исчезнуть из жизни, культуры, «тяготении» современной цивилизации... Остался какой-то постоянно действующий «механизм» **притяжения и отталкивания**, который несмотря на все перипетии истории образовал странные узы «любви-ненависти», которые и до сих пор связывают эти страны... Не в последнюю очередь сказывается, конечно, общее «средиземноморство», «европейская история» арабов VIII–XV вв., но в первую, несомненно, — колониальная зависимость Алжира и вековое «присутствие» Франции на его земле. Даже антиколониальная война обнаружила эти узы, — французы, европейские поселенцы в целом, уходили из Алжира с болью, — исход был не просто политически ожесточенным, но и психологически трудным, — ведь для многих, покидавших Алжир, Франция была совсем не Родиной... И мечта о «возвращении» в среде «пье-нуар» («черноногих», «африканских» французов) жила долго, да и до сих пор искры ее не угасают... И тем более понятно и ожесточение, и драматизм расставания с родной землей тех, «исконных» алжирцев, кто и уезжал в вынужденную эмиграцию (и «политическую» и «трудовую») в годы антиколониальной войны, и вынужденно отправлялся в изгнание, и скрывался во Франции уже в годы независимости, будучи несогласными с новой Властью. Но и жертвы сегодняшних «будней», «повседневности», похожей снова *на противостояние миров*, снова оказываются так или иначе во Франции, и эта страна становится «убежищем», притягивая к себе, несмотря на кровавый конфликт в прошлом, которое и разъединило, и связало две страны. И таким образом, и сегодня, в минуты опасности, разделяющие семьи, «разводящие мосты» между жизнью, которую мечтали построить и которая не свершилась, между идеалами Независимости и невозможностью их воплотить, «замкнувшись», оперевшись только на свои силы, время Смерти и время

Жизни как бы смыкаются в сочетании когда-то, казалось, невозможном — «родной земли» и «чужбины», становящимися двумя составными половинками *одного пространства*, равно необходимыми человеку...

Вторую часть своей книги Ассия Джебар так и назвала: **«Между Францией и Алжиром»**, — подчеркнув не столько постоянство движения ее героев «туда-обратно», сколько их внутреннюю *«раздвоенность»*, то есть состояние тяготения то к одной, то к другой стороне, либо состояние «неделимости», *естественной соединенности в себе* «частиц» и того, и другого мира, но вновь ставшей мишенью для тех, кто хочет их разделенности и нового противостояния.

«Я слышу шум дождя, даже если это не дождь. Но ночь»<sup>1</sup>, — в этих словах Р. Шара, взятых эпиграфом ко II части книги, А. Джебар символически объединила три атрибута современной алжирской жизни: дождь (как необходимость ее *очищения*), мрак и жажду человека, мечтающего об *исходе этого мрака* (как зла), опустившегося над родной землей, мешающего рассвету, «обновлению» земли. И этот Дождь, и эта Ночь становятся своеобразными нотами мелодии этой части, где всего два рассказа, но в каждом из них — словно квинтэссенция темы **р а з р ы в а и с о е д и н е н и я** в человеке Алжира и Франции.

Первый — печальная и «банальная» история **«смешанной пары»**: она — француженка, из провинции, он — алжирец, эмигрант, они случайно знакомятся в Париже, женятся, живут какое-то время вместе, потом расходятся; но родившийся ребенок **их связывает**, хотя жена увозит его к своим родителям, где девочка подрастала, изредка встречаясь с приезжавшим навестить ее отцом, не имевшим ни постоянной работы, ни своего жилья. Но однажды после прогулки с ним она больше не вернулась...

---

<sup>1</sup> «J' entends la pluie même quand ce n'est pas la pluie. Mais la nuit» (Chants de la Balandrane).

Полиция была предупреждена, видимо, слишком поздно, потому что отцу уже удалось пересечь границу, сесть на самолет и **улететь с девочкой «к себе», реализовать свой статус мусульманского мужчины, осуществив свое «главное право», царившее в его стране — право только отца на своего ребенка...**

Живя во Франции одна, мать время от времени тоже «имела право» — на получение фотографий дочери; но прежде чем она, их получал ее *отец, тоже по праву мужчины*, хотя бывший зять и знал, что особенного одобрения брак дочери с алжирцем у того никогда не вызывал... Но фотографии, так или иначе, оказывались и у матери, и она видела, что ее малышка выросла и постепенно «окружалась» стайкой других ребятешек, — видимо, новых детей бывшего мужа, — своих братишек и сестреноч...

И вот мать, не выдержав разлуки, начала ходить на курсы берберского языка, где и приобрела подругу, у которой теперь останавливалась, когда приезжала в Алжир, чтобы добраться **до горного селения, где могла бы повидаться с дочерью...** (Рассказ ее о своей жизни этой подруге и лег в основу новеллы «Анни и Фатима»).

А дочь уже носила «*чадор*» — темное мусульманское покрывало на голове, как взрослая, говорила по-арабски и по-берберски, могла, если хотела, немножко поддержать разговор с матерью и по-французски, но спрашивала ее, в основном, о том, соблюдает ли та **мусульманский пост, и осуждала мать за то, что та «не следует законам Аллаха»...** «Я пыталась ей объяснить, что есть разные религии и даже есть люди, которые не исповедуют *никакой*... Но дочь глядела на меня холодно и отчужденно» (с. 233).

Тем не менее, каждое лето теперь несчастная мать добиралась с немалыми трудностями до *горной деревушки*, чтобы повидаться с той, которую продолжала любить и которую, как поняла здесь, в Алжире, она **никогда не вернет себе...** Бывший муж никогда не встречался с

не ей во время ее «визитов» к дочери, и Анни (так звали француженку) боялась, что отец «перехватывает» ее письма к Фатиме — «ее девочке», которой старательно *писала мать по-берберски*, рассказывая о своей жизни... А жизнь не «складывалась»: замуж Анни больше не вышла, о другом ребенке и не мечтала, и так и жила «по разные стороны моря», изредка видя ставшую почти **чужой** дочь и снова мечтая о встрече с ней...

Обычно Ассия Джебар включала в свои почти документальные short-stories рассуждения своих героев и героинь о «времени и о себе»: женщина-писательница в Магрибе (в целом) была всегда связана с традицией «просветительства», не отказывая себе в комментариях событий. Так и здесь, поведав об обычаях своей страны, но спроецировав их на экран сегодняшних событий, автор подвела печальный итог, хотя и разместила его в начале повествования, как в «увертюре», где «проигрываются» основные мотивы дальнейшего действия: «...глухая пульсация прошлого толкает людей навстречу друг с другом, несмотря на то, что декорации в мире уже переменились. И несчастные, они не ведают о том, что и само прошлое-то уже *вывернуто наизнанку и стало давно двуличным и двусмысленным*... Но несчастные воображают, что они своей любовью *продолжат Историю, протянут ее в Настоящее*... И в конечном счете сталкиваются с ее темным и мрачным наследием, с ее мизмами, которых становится все больше и больше. Можно подумать, что действуют какое-то колдовство или яд, пробуждающие *желание смерти, людоедства даже!*» (с. 221).

Диалог с Настоящим на «языке Жизни» (будь то злободневная статья журналиста или старинная сказка), как показала в книге «Оран, мертвый язык» А. Джебар, — не получался; в стране воцарялся язык Смерти, на котором и шел разговор с Прошлым, и множилась цепь человеческих жертв, шла переключка **войн**, и повседневность превращалась в ожидание не *будущего*, но *прошлого*. Но оно в книге

Джебар — **не остановленное время** (как в романе «Земля и кровь» М. Ферауна, другого классика алжирской литературы<sup>22</sup>), **сохраняющее, охраняющее законы** Жизни, традиций, защищающих «честь рода», позволяющих акт мести только в отношении **виновного**, совершившего преступление, т.е. *преступившего закон традиционного Миропорядка*. В «Оране, мертвом языке» воцаряется особый «*беспорядок вещей*», он возникает не по **вине** убитых, но именно **недовольных** тем, что кто-то позволил себе **идти вперед, не останавливаясь во времени, не задерживаясь, не увязая, в Истории**, но **преодолевая инерцию** Традиции, удерживающей *только Прошлое*. И неслучайно, что и в романе Джамили Дебеш «Азиза», и в новелле Асси Джеббар «Анни и Фатима» местом *удержания* Прошлого становится глухой горный край, словно отделенный от другого мира неизбывающей в его *неприступности* властью «охранения чести женщины» как только атрибута сохранения статуса мужчины-мусульманина<sup>23</sup>. Но разве не ему, во всяком случае в Алжире, выпала и историческая миссия **Восстания**, когда в стране в 1954 г. разразилась национально-освободительная война, и он взял в руки факел, осветивший Дорогу Свободы? В том числе и путь к новым горизонтам, открывшимся мусульманкам...<sup>24</sup>

Но вот и конец XX века, и начало XXI, и кажется даже, что и в Марокко, где когда-то, еще в 20-е годы XX в., возникла и была подавлена в горах Рифа революция за Освобождение страны от колонизаторов (пришедших сюда в 1912 г.), происходят радикальные социальные изменения. И страна, воплощенная когда-то его писателями в образе женщины с «призрачным существованием», чьи попытки «взятия слова» и даже выхода из тюрьмы «оков прошлого» обречены на неудачу, просыпается навстречу Прогрессу, и

<sup>22</sup> О нем подробно см. далее.

<sup>23</sup> Об этом подр. см. в Приложении к данной работе.

<sup>24</sup> О них см. подр.: Прожогина С. Во имя собственное. — в кн.: Крылова Н. Л. и Прожогина С. В. Путь к себе. М., 2013.



женщины сами берутся за перо, рассказывают свои невыдуманные «истории жизни», учатся, работают, обретают вполне «западный облик», бесстрашно выходят на дорогу современности, становясь и архитекторами, и дизайнерами, и дикторами... Появляется со временем даже целый «отряд» чисто женской марокканской (как и тунисской) литературы, их новеллы и даже романы, публикуются во всех издательствах крупных городов Марокко, они не скрывают ни своих имен, «ни лика», и даже порой вступают в творческое соревнование с такими мастерами в литературе Марокко, как Д. Шрайби и Т. Бенджеллун, А. Серхан, А. Катиби, повествуют о судьбе женщины-мусульманки с не меньшей силой художественной выразительности, создавая и образ «новой» марокканки, и тех поколений женщин, которые все еще либо истово привержены традиции «старой» жизни, либо стали жертвами ее<sup>25</sup>.

Но время заставляет писателей размышлять и о том, что является не только «маркером» каких-то *перемен* в социальной реальности страны, но и свидетельствами *причин* особой динамики свершения ее исторической судьбы, и даже цепями, скрепляющими ее все еще продолжающуюся зависимость и от Запада, и от более «могущественных» стран Востока...

Так, казалось бы два почти «параллельных» рассказа — самого Т. Бенджеллуна и его современницы, о судьбах двух женщин-марокканок, одной — из новеллы писателя «Безумная любовь»<sup>26</sup>, другой — из книги Хурийи Бусседжры «Незаконченные женщины» (2000) — разнятся между собой. Разрыв во времени публикаций этих новелл — всего 5 лет, но образ реального Времени родной страны, уходящий корнями в «седую старину», где женщину и

---

<sup>25</sup> См., напр., книги Хурийи Бусседжры «Сокрытое тело», «Незаконченные женщины» и др. [Boussedjra H. Le corps dérobé (1998), Les femmes inachevées (2000)]. Подр. см. в нашей работе «Магрибинки рассказывают...». М., 2019.

<sup>26</sup> Ben Jelloun. «L'amour fou», in: «Le premier amour est toujours le dernier». P., 1995.

покупали, и продавали, держали в гаремах, в оковах несвободы — у Бенджеллуна «озвучен» в судьбе именно уже как бы абсолютно «новой» женщины — певицы, из интеллигентной семьи, путешествующей, умеющей распоряжаться своим «графиком жизни», гастролей и пр., а у Х. Бусседжры — в исповеди простой служанки из *далекой горной деревни*, «заброшенной» в город на заработки и претерпевшей все возможные унижения в доме своих разных «господ». Но и та, и другая женщина так ли иначе оказались в «современном рабстве» где-то «в Аравии», проданными и преданными «новыми хозяевами» своей страны, одна — в гарем «какого-то шейха», захотевшего каждый день наслаждаться ее пением, а другая — в бордель той же «Аравии», для оказания услуг, «особо востребованных». Судьба и одной и другой, естественно обобщены и запечатлены воображением художников, хотя и основаны на подлинных и многочисленных фактах современности страны, где «людским товаром» торгуют не только на центральных площадях старинных марокканских городов, особо посещаемых «разного рода туристами», но в избранных «салонах», где богатые и «сильные мира сего» услаждают свои слух и вкус... Однако, в новелле писателя искусно и даже в особо присущем писателю «поэтическом ключе». «Безумная любовь» становится обличением именно новой «современности» родной страны, а в новелле Хурийи Бусседжры — только подтверждением извечно длящейся зависимости «обычных» женщин, извечной обреченности мусульманки, возвращающейся «на круги своя», даже после нелегкой попытки избавиться (пусть и «обманным путем из тюрьмы зависимости...»<sup>27</sup>

И то, и другое и для литературной, и для «социальной» эволюции в Марокко — важно, но для Т. Бенджеллуна является показательным в смысле константности воссоздания им образа женщины своей страны, у которой

---

<sup>27</sup> Подр. см. в кн. «Магрибинки рассказывают...», с. 247–275.

«отнят голос», а если он и «прорывается» на встречу к Свету, то окутывается снова и снова плотным саваном «Мрака», который разорвать могут лишь «вещие голоса» безумцев, бесстрашно идущих только к Рассвету... Это — не пессимизм, но скорее бесконечные «раны» жизни, долго заживающие «шрамы памяти», боль сердца и души, беспредельно любящих свою «солнечную страну»...

В романе «Это ослепляющее отсутствие света»<sup>28</sup> писатель как бы транспонирует в минорную тональность константное звучание мотива Света и в его творчестве, и многих других магрибинских писателей, взывающих к нему как Истине, как Абсолюту, почти сакрализующих звучание солярных мотивов и в поэзии, и в прозе, и в драматургии, хранящих и некий экзистенциальный смысл этого могущественного Светила как *сущностного атрибута самой магрибинской земли*, определяющего бытие человека на ней. Наполняя образ Солнца **разными** смыслами и значениями, порой полностью десакрализуя его и делая знаком царящей в стране Власти или засилья догм старых традиций, «иссушающих», испепеляющих, обрекающих народ и страну на «вечную жажду» Свободы (М. Хайреддин, Р. Буджедра, А. Серхан), писатели Магриба постепенно вводили в художественное пространство и образ «угасающего», «умирающего», «зарезанного» Света как символ опустившихся над страной Сумерек жизни (З. Морси, А. Лааби, А. Серхан)<sup>29</sup>. И появившийся в 2001 году роман Тахара Бенджеллуна «Это ослепляющее отсутствие Света» (или «Ослепляющий Мрак») был по-своему закономерен в этой своеобразной эволюции «солнечного мотива», превращавший изначальный образ в его противоположность, антипод, жизнь не рождающий, но убивающий.

<sup>28</sup> Ben Jelloun T. Cette aveuglante abscence de la lumière. P., 2001.

<sup>29</sup> Подр. см. в гл. «Эклиптика солярных мотивов» в нашей кн. «От Сахары до Сены». М., 2001.

Однако, писатель не мог не расширить диапазон звучания этого лейтмотива в творчестве многих марокканцев. «Вызовы», которые бросала современность, подбрасывали, словно в костер, и новые темы и новые образы быстро меняющегося мира. Так, в романе, созданном еще в начале 90-х годов «Опустив глаза»<sup>30</sup>, родное Марокко и ставшая для героини произведения второй родиной Франция — по-своему даже впускают «свет прозрения» в душу человека, открывая для него «светлую даль»... А на «родном берегу» — будет и *вечно храниться «лучезарный клад», зарытый в горах*. Хотя на другом — *сиять свет нового знания*... (Тунисец Мустафа Глили тоже создает почти в это же время свой роман «Гора Льва», запечатлев нечто подобное. См. ниже.)

...Героиня книги «Опустив глаза» — безымянна. Но однажды ей приснился сон, что ее Возлюбленный называет ее Радией — Лучезарной. В этой метафоре<sup>31</sup> для марокканца Т. Бенджеллуна важна некая обобщающая смысловая функция этого персонажа — знака определенной человеческой судьбы — человека не «*потерявшегося*». Она особо не ощущает чуждости «разных берегов», что «блуждает» между них, а порой сразу живет на обоих, не бросая якорь ни на одном из них... В русле ее жизни как бы навечно запечатлевается проблема уже очевидной североафриканской диаспоры, противоборство «своего» и «чужого» и особая «раздвоенность» души, до конца не принимающей идею выбора «пристанища» (ведь «родной берег» — так близко...). Для нового произведения Бенджеллуна примечательно именно это свойство: в образе новой героини, хотя и размещающемся в круге константных для художника мотивов, запечатлеваются и черты нового

<sup>30</sup> Bendjelloun T. Les yeux baissés. P., 1991.

<sup>31</sup> Часто используемой магрибинцами — см., к примеру, роман алжирца М. Диба «Бег по дикому берегу» (1964).

человека, уже претерпевшего определенную психологическую эволюцию в жизни «на чужбине».

Если раньше (в начале 70-х гг.) герой-эмигрант Бенджеллуна однозначно был обречен на невозможность «укоренения» и «одионое заключение», то героиня романа «Опустив глаза» по-своему даже «срастается» с новым берегом своей жизни, хотя порой мучительно и почти физически ощущает свои «корни»<sup>32</sup>, оставшиеся в родной земле.

В этих «корнях» не только реальность воспоминаний о нищем детстве в *глухой берберской деревне на горном юге Марокко*, но и волшебство *тайны* своего чудесного рождения на этой земле, *собственной предназначенности для этой земли*. Старинная легенда ее племени гласила о том, что однажды родится девочка с особым сиянием глаз. Отметина на ее ладони укажет «точный план», где **именно в горах спрятано сокровище**. И это сокровище должно спасти людей племени от нищеты и страданий, избавить их от зла, «долго царившего на их иссохшей земле»... И хотя в предании указывалось место, где зарыто сокровище («под четвертой оливой к востоку от могилы святого» — покровителя племени<sup>33</sup>), никто не нарушал завета предков. Все ждали, когда родится именно та девочка, сияние глаз которой озарит путь во мраке ночи и позволит точно найти место, где «под грудой камней на красной земле — самой субстанции жизни» (с. 10) и будет обнаружен спасительный клад...

Последней хранительницей завета предков

<sup>32</sup> Мотив «корней», засыхающих без них «куста», «дерева», вырванных из родной почвы, характерен для всех магрибинских произведений об эмиграции, начиная с Д. Шрайби («Козлы», 1956), как и мотив необходимости даже сохранения «горсти родной земли» (М. Хаддад), включая молодых писателей — «бёров», «франко-арабов», активно использующих этот мотив в конце XX в.

<sup>33</sup> В странах Магриба, в Марокко особенно, среди берберов наряду с ортодоксальным исламом сохраняются еще и древние верования, в том числе и марабутизм — поклонение местным «святым», отшельникам, мусульманским монахам.

посвященной в тайну племени, была бабушка героини. Но она откроет внучке смысл ее предназначенности только на пороге своей смерти, встречи с «вечной ночью», обретения «долгожданного покоя». Бабушка знала, что смерть — это «прерывание света» (*l'interruption de la lumière*) и она наступает, когда меркнет свет в глазах человека. Найдя необходимый для жизни людей своего племени свет в глазах внучки, бабушка словно переливает и свой свет, свое знание в душу девочки. А «свет» бабушки был особый — она умела различать, «что такое зло, что должно быть чуждо человеку, о чем должна сожалеть его душа» (с. 11). Но участь ее, ее собственная судьба были ограничены пределами молчания<sup>34</sup>. Не в силах ничего изменить она наблюдала, как люди «упорно взращивали собственное несчастье, сеяли ложь и предательство», помогали земле постепенно «поглощать» их, «рыли собственными руками себе могилы». Бабушка терпеливо ждала возвращения к этой земле той, у которой есть ключ от «сокровища», завещанного предками для спасения земли и ее людей...

Бабушка словно копила, наращивала свет своего знания, ждала тот миг, когда другая, умножив этот свет на *свой*, т.е. нового знания жизни, спасет их землю от медленного умирания. «Ты увидишь, — когда-то говорил ее дед, — как свет, вначале занявшись в твоих глазах, постепенно озарит ручьи и горы. Каждая ночь оставит в твоих глазах частицу грез, и они, соединившись, свяжут воедино жизнь и прошлую, и будущую, и тогда утренний свет прояснит смысл тайны». У этой «тайны» был особый «алфавит»: «Есть сокровища, скрытые в море на островах. Наше —

---

<sup>34</sup> Для писателя мотив «молчания» несет особую символическую нагрузку: называя одну из своих первых поэм «Люди под саваном молчания», он как бы уравнивал удел векового бесправия своего народа со смертью, особо подчеркивая участь женщины-марокканки, страдающей от «двойного гнета» (социума и религии). Поэтому не случайна в его творчестве именно роль женских персонажей, «берущих слово», освобождающих себя и свой народ, выступающих «проводницами» в «другую жизнь», хранящих историческую память, несущих свет истины и вершащих праведный суд. (См. подр. нашу работу «Взятие слова». М., 2022.)

зарыто в горах. Мы — дети земли, где нет моря, и мы не знаем, что такое остров. Мы должны знать свою землю, научиться читать ее, как книгу». Дед признавался, что не до конца прочел эту «книгу», но одно он твердо знал: клад, хранящийся в «субстанции самой земли, где жив двух прародителей», не должен быть потревожен «чужой рукой». И если рука чужестранца коснется его, земля загорится» (с. 9–11).

Именно *девочке* бабушка должна была передать «эстафету». И тогда эта девочка, когда вырастет, поможет «пересечь последний рубеж», прорвать «паучью сеть з л а», «выпустить на свет Божий» чудо спасения людей своего племени (с. 10).

...Все это героиня осознает, вернувшись на родину. Двадцать лет она провела во Франции, куда ее ребенком увезли родители. Они бежали от нищеты, спасаясь от правящей в деревне смерти — голода, болезней, мрака невежества...

«Время траура» — так героиня называла годы, проведенные в детстве на родной земле. Поначалу отец уехал на заработки, оставив семью на попечение сестры. Но не только унижения и побои, недоедание и холод, чувство «брошенности», забытости и сиротства вспоминает героиня. Она помнит, что мечтала научиться грамоте: письма, которые присылал отец, в деревне мог с трудом прочитать только лавочник, а в школу при мечети разрешалось ходить только мальчикам. Однажды, когда заболел младший брат, девочка, одевшись как он, пришла в школу, решив обмануть слепого шейха. Но тот, словно учуяв «осквернение» святого места, жестоко избил ее и выгнал. Казалось, что обидам не будет конца. Никто не мог защитить, накормить досыта, обути и отогреть зимой. Ненавистная бездетная тетка заставляла девочку за кусок хлеба пасти скот.

Неприветливое, «источающее мрак души» лицо тетки,

ее горящие злобой глаза, вечная месть за свое одиночество, способность «колдовать» и навлекать беду на других казались девочке воплощением зла, тяготевшего, «как проклятие», над их деревней. Там давно высохли колодцы, не шли благодатные дожди, растрескалась земля под нещадно палившим летом солнцем и холодным ветром зимой. В деревне жили только старики, женщины без мужей да один за другим умиравшие дети. Умер и младший брат, отравленный, как казалось девочке, теткой...

Круг несчастья смыкался. Можно было лишь смотреть на горизонт, забравшись на дерево, и ждать появления отца, способного защитить, избавить от горя, а может, увести с собой далеко за море...

Недетская тоска человека, познавшего «лицо зла», увидевшего близко с м е р т ь , сознававшего «жестокость мира», заставляла девочку неистово молить небо о возвращении отца. Чтобы он приехал вызволить их из «места, созданного на земле по ошибке...» (с. 20).

И хотя в глубине сердца жила нежность к родным холмам и деревьям, людям, с которыми встречалась она на пыльной дороге на пастбище, и жалость к тем, кого всю жизнь учили только терпению, заставлявшему жить «опустив глаза», девочка все чаще смотрела на горизонт, протягивая к нему руки, «пытаясь коснуться его» (с. 13). Она жила надеждой с м е н и т ь з е м л ю (с. 51), уйти по дороге в ч у ж у ю с т о р о н у , потому что на своей, казалось, не избывает з л о .

Таким образом, писатель, оставаясь и в этом произведении верным точности психологического анализа (ведь его профессия по образованию — социопсихолог), запечатлевает необычную стадию процесса «откоренения» (*déracinement*), начавшегося на родной земле (обычно ощущаемого героями книг магрибинских писателей в *exil*, на чужбине). Впоследствии его героиня объяснит свое



неистовое желание уехать «за горизонт», «подальше от родных корней» так: **для того чтобы «полюбить их еще сильнее»** (с. 52). Но в детстве ей казалось, что спастись, спрятаться от «черного крыла птицы ночи» (с. 22), нависавшего над маленькой жизнью, можно, лишь *покинув* этот печальный край.

Для матери, жившей в постоянном страхе за детей и мужа, которого, ей казалось, всегда подстерегал на чужбине «несчастный случай» (с. 21), эмиграция представлялась продолжением несправедливости (*l'injustice*, с. 45); она знала из рассказов, как мужчины плачут там слезами бессилия. Ютась в тесных каморках, живя в бесправии и нищете, усталые и одинокие, они полны горькими воспоминаниями о тех, кого оставили на родной стороне (с. 48)<sup>35</sup>. И хотя мать говорила, что отца там окружают плотным кольцом «глухие стены» — завода, города, эмигрантской зоны, — их троих связывала ниточка надежды на встречу, на «просвет» в жестокой судьбе. Девочка молила небо, чтобы «не погасли звезды, не погасло солнце, не затянулся туманом или гарью горизонт, не заросла бы дорога», по которой должен вернуться отец.

...Опоздав на похороны сына, отец по приезде в деревню отправился на его могилу и вскоре сообщил всем, что забирает семью с собой. «Итак, мы больше не останемся здесь одни. Мы — и я и мама — тоже будем эмигрантами, уедем во Францию, переделаем нашу жизнь, и отец будет нас защищать...» (с. 53).

Тетка Фатима кричала вслед уезжавшим: «Опасайтесь! Вспомните слова предков: “Тот, кто покинет землю свою, станет человеком потерянным. Тот, кто вырвет корни свои

из истоков своих, обрушит проклятия неба на свою

---

<sup>35</sup> У алжирца М. Ферауна в романе «Земля и кровь» (1953) это ярко запечатлено, как и у Д. Шрайби (роман «Смерть в Канаде» и др.

голову!» (с. 58)<sup>36</sup>.

Тягостное молчание царило, когда семья прощалась с деревней. Но выбора не было. **Время смерти (*l'âge du deuil*) надо было менять на время жизни.**

...Позднее стало известно, что злая тетка сошла с ума, стала жить на кладбище, прослыла колдуньей. Если кто-то обвинял ее в шарлатанстве, она отчаянно защищалась, и ее уста исторгали жестокие, но странно похожие на горькую правду слова: «Я слеплена из камня и глины... Меня не назовешь ни доброй, ни послушной. Да разве жизнь располагает к добру? Каждая морщина на моем лице — бороздка от крови тех, кто прошел по этой земле... Я не чудовище, я — зеркало, ваше зеркало, в которое всем вам не хочется смотреться... Я отражаю ваши страх и неуверенность в себе... И если я уродлива, значит, недалеко ушла от ваших помыслов. Потому что они нечисты. О бесполезные люди! Что сделали вы со своей жизнью? Разве я могу чем-то помочь теперь? Я не верю в добро. Только зло помогает мне выжить и вытерпеть вас... Я так устала нести на лице своем ваше уродство. Идите работать или ворочать камни, если вам нечего делать. Но вы предпочитаете просить милостыню и заставляете попрошайничать ваших детей у чужестранцев... Да, я — ошибка природы. Я не должна была появляться на свет, уж лучше бы мне остаться на дне бездны... Душа моя полна мрака. Но разве можно заточить ее в тюрьму, найти на нее управу в полиции, наслать на нее проклятие религией? Разве можно одолеть мрак души, которая никогда ничего не знала, кроме черных и сырых стен нашей вечной темницы? Меня ничто не может испугать. Я уже прожила

---

<sup>36</sup> Видимо, у всех народов есть общность в оценке подобных явлений: русский православный И. А. Бунин, размышляя о тех, «кто покинул страну свою из-за страха смерти», использует это изречение из Корана как эпиграф к стихотворению «За измену», где писал:

Их господь истребил за измену несчастной отчизне...  
Воскресил их пророк: он просил им у Господа жизни.  
Но позора Земли никогда не прощает Земля...

свою жизнь в одиночном заключении, среди пустыни, презрения и тоски... (с. 62–67).

Вещуны, пророчицы, юродивые, нередко, как показано выше, и в произведениях Т. Бенджеллуна изрекают слова обличения, пытаются усовестить власть имущих или заставить «прозреть народ». Смело разоблачающие социальный и политический порядок в Марокко (и «подменяющие» в этом случае автора: «Что взять с безумцев?»), обычно — носители доброго, преобразующего мир начала. Фатима в романе «Опустив глаза», воплощая в себе жизнь *несостоявшуюся*, стала знаком беды, от которой бежали люди. «Привязанная к трагедии сказочной, наделенная чертами злой колдуньи, Фатима, воплощая образ реального времени, не только стала как бы сгустком уродств действительности, подталкивающей людей к исходу с родной земли, но и вобрала в себя тревогу о судьбе земли, *остающейся без людей*.

Это показано в романе и через образ природного «распада», расторжения всех «уз» в недрах земли — землетрясения (реально случившегося в Агадире летом 1966 г., запечатленного позднее, в 1967 г., в романе М. Хайреддина «Agadir») как метафоры «вырывания корней» из земли, отторжения от нее людей, родившихся на ней (с. 61). В отличие от М. Хайреддина, создавшего сугубо политизированный символ катаклизма как предупреждения монархии, эта метафора Т. Бенджеллуна была шире, запечатлевая образ *Времени перемен*<sup>37</sup>.

Возможно, это было самое трудное для марокканской земли время — не прошло и десяти лет после получения страной независимости. Страна постепенно станет лечить раны и будет ждать как благодати не только дождей и обновления всего, но и возвращения своих «детей», чтобы они помогли ей подняться из руин. Но пока, как об этом

---

<sup>37</sup> См. подр. наше исследование «Катаклизм как условие общественной трансформации в творчестве писателей Магриба» в «Геном Востока», сост. А. Петров. М., 2004.

свидетельствует роман Т. Бенджеллуна, люди бежали прочь (*je sentais que c'était une fuite*, с. 70), на «огонек цивилизации» («Там хоть и тяжело работать, но все-таки можно жить!» — говорил отец). «Цивилизация! Это слово и сегодня звучит для меня, как волшебное, способное открыть для тебя все двери, раздвинуть горизонты, преобразовать жизнь и дать ей возможность стать лучше. Но как войти в эти двери?..» (с. 55).

...В Париж прибыли на рассвете. Было холодно и пасмурно; улицы, дома, тротуары, вся земля вокруг, люди и их одежды — все показалось «серым» (с. 69), угрюмым и неприветливым. Однако надо привыкать к цвету «чужой страны, которая должна стать новой родиной», — рассудила десятилетняя девочка, не умевшая ни писать, ни читать. По ночам ей снилось солнце, его «ослепительный свет», и еще что ноги, «словно пригвожденные» к **той** земле, не хотят двигаться, идти дальше и что бесполезно кричать — «солнце поглощало крик, едва вырвавшийся из груди» (с. 70–71).

Но память о жизни, «поглощенной» солнцем, постепенно стиралась, надо было начинать жить рядом с другими деревьями, домами, «в другом языке»: «Я была просто атакована новыми предметами, новым миром и хотела все понять. Мне казалось, что я как глухонемая, а все ко мне в этом чужом городе повернуты спиной и никто не хочет остановиться, посмотреть на меня, поговорить со мной» (с. 71). Девочка думала, что из-за смуглой кожи она в окружающей мгле невидима, слилась с этим сумрачным пространством, с темными стволами деревьев и что ее могут принимать за одно из них... И если бы здесь было побольше *настоящих* птиц («голуби, какие же это птицы?»), размышляла она, то ее из-за худобы, наверное, могли принять и за чучело... И она прощала людей, не обращавших на нее внимания. Зато ей не мешали сидеть на лавочке и считать проносившиеся мимо автомобили,

слушать музыку их гудков, сирен скорой помощи, вдыхать странный и одновременно волнующий запах города...

Отец с утра и до вечера пропадал на работе, мать пыталась устроить новый быт, почти не выходила из дома, не общалась с соседками и постоянно молила Бога, чтобы «уберег мужа и дочь от дурного глаза, несчастного случая гнева своего». Она, как всегда, жила, исполняя свой долг: «принимать все как есть и плакать, сколько душе угодно» (с. 74). Мать осталась душой там, где была могила сына. Она как бы разделилась на две половины, одна из которых жила на том берегу моря, а другая здесь, как «автомат», что-то постоянно мыла, чистила, стирала, шила, гладила, готовила и училась сводить концы с концами. А еще мать пела нескончаемую песню: «Сердце мое кровоточит, // Ранил его твой прощальный взгляд, // Земля ненасытная отняла тебя, // И я рыдаю на камне, // Между дюной и солнцем. // О, видят глаза мои только мрак колодца...» (с. 75).

Предоставленная себе девочка жалела мать, ставшую похожей «на призрак, в котором поселилась «невозможность забвения». Она мысленно просила у матери прощения за то, что потихоньку отдаляется от нее. Девочка приручала к себе окружающий мир, а себя к нему, постигала новые звуки, приспосабливалась к новому времени. «Я должна выучить французский, и я выучу его, и стану врачом или архитектором, и верну маме радость» (с. 75). Девочку «сжигала страсть» все понять, узнать и выучить — «счет, алфавит, город, машины». Здесь не было животных, не было полей и гор, здесь «все куда-то бежали», но надо было жить *далее*, а поэтому постигать новый мир. «А может быть, я научу их видеть, как танцуют цветы, когда дует ветерок. Как они танцуют! Такие нежные и беззащитные. Я никогда не срывала бы их и не делала букеты...» (с. 76).

...В 11 лет девочка пошла в школу. Она удивилась, что

детей не бьют и что у учителей нет палок, как у старого шейха в родной деревне. За месяц она научилась считать и писать. «Меня одолевал голод познания» (с. 78). Она спала, положив под подушку словарь в картинках, и за год прошла программу двух классов. Летом, когда все школьники уехали, девочка бродила по городу, открывая для себя красоту нового пространства — большой реки, мостов, дворцов, храмов. Ее волновали неведомые ранее цвета — северного неба, воды. Ее поражал мир, где не стирают в реке, где дети не пасут на берегу скот и не бегают босиком, где женщины не стесняются выходить на улицу с открытым лицом... Правда, девочке по-прежнему казалось, что и «река, и город хранят какую-то тайну» (с. 83), но она уже привыкла к лабиринту улиц, шуму, толпе людей. Появилось даже ощущение, что «ноги прирастают к этой земле, пускают здесь корни» (*j'ai l'impression d'être enracinée*, с. 81).

Девочка не уставала открывать для себя новый мир, «двигаться дальше», «благодарить» страну, когда-то разлучившую ее с отцом, но теперь даровавшую ей новые горизонты...

Деревня, образы детства постепенно вытеснялись из памяти новыми образами и ощущениями — постепенно совершилось «новое рождение» человека в другой стране, которое помогло забыть о «медленной смерти» на родине. Девушку даже смущало, что ее друг — португалец (так же как и она, из семьи эмигрантов) поклоняется дереву в Люксембургском саду, напоминавшему ему о родном Лиссабоне. Он называл это дерево «деревом надежды» и мечтал о встрече с родиной... (с. 90).

Ощущение «оторванности», или погружение в забвение своей деревни, было резко прервано отцом. Он напомнил дочери о «долге мусульманки», запретил встречи с юношей-христианином и заставил в с п о м н и т ь, что «Франция — не наша страна. Мы здесь, чтобы заработать

на жизнь, а не отдавать ей дочерей» (с. 92). Героине показалось, что родителям «стыдно» и теперь они смотрят на нее, как бы «опустив глаза». Оказалось, что дочь не просто выросла, но переросла родителей. Она преодолела тяжесть якоря, державшего их на «иссушенной» земле, где женским уделом были лишь смирение, покорность, молчание. Отдав девочку в «христианскую школу», отец совершил своего рода «революционный поступок». Он не спал несколько ночей, решаясь на этот отчаянный шаг. И теперь дочь почти что слышала голос сомнений, терзавших отца. Его страх и душевные страдания как бы предупреждали ее: «Знай, что здесь даже взрослые могут потеряться. Знай, помни: наши религия и мораль отличны от той, что исповедуют твои одноклассники. Мы не будем здесь жить, мы здесь навсегда — чужестранцы» (с. 95).

Однако смятение родителей не испугало девушку. За несколько лет она вполне освоилась с новым миром, и он пока не пугал ее. Наоборот, она почувствовала «ненависть к прошлому и всему тому, что связывало с деревней, этим истоком нашей отсталости. Наша земля не сумела уберечь и удержать нас, и это означает, что когда-то посеяны были на ней зерна раздора, зерна разлада (*la discorde*), зерна нашей нищеты» (с. 96).

В отличие от своих предков, «не знавших моря» и всегда видевших пустыню и скалистые горы, девушка мечтала только о море, его вольном и свежем дыхании. Она хотела утолить в его безграничном просторе свою жажду жизни, остудить ярость, свой протест против деревни, где у людей были «стертые лица, опустошенный взор, где небо, казалось, раздавливало землю...». Море становилось наваждением, кружившим голову, как «вихрь света и воды» (с. 97), «неистовавшим» в ней.

Отец исполнил желание дочери, но ее постигло разочарование: море оказалось не голубым, синим или даже пепельно-черным, но серым (с. 99). Оно как бы было

безразличным, отсутствующим, «откатившимся далеко-далеко»; вокруг было много песка и так мало моря. «Может быть, небо, бездонное небо выпило его?» Своеобразное «наложение» серого цвета (как при первом столкновении с чужим городом) и схожесть ощущения «исчезновения» пространства окружавшего мира (небо, «раздавлившее» землю на родной стороне, и небо, «выпившее» море здесь) как бы неожиданно дали почувствовать героине, что она прощается с мечтой «встретить остров сокровищ», войти в свой «тайный сад», стать «пленницей света», окунуться в бездонную «грезу», обрести полную свободу, познать «прекрасную безмятежность». Ту, которая, наверное, отражалась в глазах прапрадеда, завещавшего свое «сокровище», надеявшегося на то, что именно оно спасет землю, возродит ее и людей, живущих на ней... (с. 98).

А еще девушка вдруг ощутила, что с мечтой о море была подспудно связана народившаяся в ней глухая тоска по *тишине*, способной избавить от уже тяготившего голоса окружавшего пространства: «Море было для меня с а д о м , где однажды мне случится остаться одной, вдали от *шума*». Она по-прежнему любила город, где жила, но смотрела на него теперь уже по-другому. Ее больше не раздражал свет, который застыл в глазах ее соседей-эмигрантов, свет, который словно шел «откуда-то из глубины веков». В этом свете, казалось, жила «верность родному дереву, чьи могучие корни и здесь давали людям силу выжить, перенести ссылку...» (с. 100–101).

То, что однажды девушка увидела, и то, что стало обычным для соотечественников-эмигрантов, заставило ее как бы очнуться от «очарованности» Западом. Это случилось во время полицейской облавы — «охоты на арабов», «на крыс» (*une ratonnade*, как говорили «национал-патриоты» из партии Ле Пэна). Девушку пронзили слова старика соседа, из рук которого во время



обыска жандарм вырвал Коран: «Святотатство! Они ненавидят нашу религию, они ведут себя так, как раньше поступали с нами в колониальном Алжире! Что мы, эмигранты, сделали им? Разве мы виноваты, что живем на чужой земле? Справедливость! Где она?» (с. 101–102). Опынение открытием нового мира сразу прошло, она увидела *другие его грани*.

В школе девочка по-прежнему училась лучше всех, но почему-то от ее понимания ускользала необходимость *согласования времен* во французской грамматике... Она «путала» разные формы прошедшего — в чужом языке их было много<sup>38</sup>, в ее родном, берберском, как и в ее жизни, — одна: «Мое прошедшее было простым, понятным. В нем все однообразно повторялось, в нем не было ничего неожиданного». Она не задумывалась раньше над теми «сложными узлами», которые сплетали цепь «всех времен». Ясным стало одно: *разделенность времен* своего настоящего и того прошедшего, в котором словно пребывали все еще и отец и мать, оставшиеся навсегда во «времени своей деревни» (с. 104).

«Простота», однозначность своего «прошедшего»<sup>39</sup>, из которого так просто, казалось, «выйти», и незавершенность прошлого, продолжающегося в жизни родителей, и реальность настоящего, в котором «безупречно спрягались глаголы “быть” и “иметь”, но которое не могло не заставить думать о будущем, и сопоставлять былое с реальным, все как бы по-иному начинало складываться в ту самую «цепь времен», завязанную сложными узлами. «Собственное время» постепенно, казалось, распадалось на

<sup>38</sup> Passé composé; Passé simple; Imparfait; Plus que parfait; Passé antérieur; Passé immédiat и т. д.

<sup>39</sup> На обыгрывании этой французской формы прошедшего (*le passé simple*) построено содержание знаменитого романа марокканского писателя Дриса Шрайби («Le passé simple. P., 1954), герой которого решительно порывает со своим прошлым, отвергая патриархальное устройство традиционного общества, и смело выходит на дорогу, ведущую в «новое время». Он уезжает искать справедливость и свободу на Запад (об этом подробнее см.: Прожогина С. В. Дрис Шрайби, или Новое время в литературе Марокко. М., 1986).

части: девочка начинала чувствовать себя не «где-то посредине» (*du milieu*) обеих его «половинок», но «сразу в двух его составляющих», ощущая, однако, каждую из них отдельно (с. 128). Ночами ей снился умерший брат, она стала уступчивее и начала понимать родителей, соблюдавших мусульманский пост и отмечавших все берберские и арабские праздники... Одновременно ее окружал собственный мир, книги, друзья, огни города, привычные серые стены и даже понравившийся запах снега — все, из чего так нелегко вылепился образ новой родины... (с. 109). Она словно дополняла «список» времен во французской грамматике неким «*passé dans le présent*»...

Девочка понимала, что у людей должен быть спрятан в сердце «какой-то кусочек, какой-то уголок их родной страны, оставшейся далеко-далеко». И когда она пыталась забыть деревню, родители «восстанавливали» прошлое по частицам, связывая их ниточкой в своей душе. Некоторые из соотечественников продолжали здесь жить так, как будто они и не покидали родные края, хотя, «куда бы они ни шли, всюду была чужая страна, напоминающая только о себе» (с. 109).

Но, пожалуй, окончательно отрезвил героиню выстрел террориста 27 октября 1971 г. (факт реальный), убивший пятнадцатилетнего алжирца. «Траур тогда соблюдали все североафриканские эмигранты... В тот день я словно вступила в другое время, в другой возраст. Как будто сразу постарела на несколько лет. Я перестала быть маленькой девочкой, жаждавшей чуда. Смерть поразила меня в самое сердце... В тот роковой день жизнь приобрела горький вкус, и я поняла точный смысл слова “расизм”» (с. 111).

Люди говорили, что юношу убили только за то, что «он был мусульманином и алжирцем, а с Алжиром, дескать, еще не все французы рассчитались» (с. 111–113). В Париже разгоралась (и по сей день не везде угасающая) «ненависть к чужому», обосновавшемуся на французской земле,

превратившему предместья столицы в подобие своих деревень... Многим североафриканцам из-за страха быть «случайно» убитыми пришлось тогда уехать в провинцию. Перебрались в другой город и родители девушки. Она стала вести дневник, записывая в него имена тех, кого продолжали убивать: «Бессмысленные смерти. Напрасные жертвы, позорящее эту страну...» «Ни за что убитые. Разве только для того, чтобы показать всему миру уродливые черты этого общества...» «Так же, наверное, расправлялись немцы с евреями и цыганами... Бабушка сказала бы, что мир “вывернул себя наизнанку”...» (с. 117–119).

Начался «бунт души». И прежде всего против родителей за то, что «они терпели все это». За то, что жили, «опустив глаза», погрузившись в «свое время», храня обычаи и привычки *той* жизни. Но одновременно героиня чувствовала перемены и в себе: все чаще всплывали старые воспоминания (она, девочка, с неприязнью смотрит тогда на спящую тетку, но только сейчас понимает, что при этом не «опускает» в смущении глаза и испытывает не стыд, а *страх*). Этот страх, полагала она, был причиной того оцепенения, в котором продолжали жить ее соотечественники, родные ей люди, ее «деревня». И этот страх, преодоленный ею, продолжал отталкивать ее от них и поныне, выталкивал из времени, в которое мечтал вернуться отец, решивший вместе с детьми (их теперь было много — родились братья<sup>40</sup>) отправиться за море, в отпуск...

...Почему люди не испытывают ностальгию по родине? Вспомним слова Г. Р. Державина («Арфа», 1798) «Отечества и дым нам сладок и приятен.... Помним, конечно, и эти слова — о «дыме Отечества» — из монолога Чацкого, но может быть и не знаем, что иронично цитируя

---

<sup>40</sup> Это поколение североафриканцев, родившихся во Франции, французы назовут на верлане «бёрами», будут считать «франко-арабами», хотя и гражданами («по праву почвы») своей страны, но второсортными. О них подр. в нашей работе «Восток на Западе». М., 2003.

Г. Р. Державина, А. С. Грибоедов невольно напомнил нам об их латинском истоке — изречении, **утверждающем** именно *сладость* этой горькой «субстанции»: «Et fumus patriae dulcis»...

А исток этот, как полагают исследователи, пленивший Державина, восходит к Гомеру: для его Одиссея и смерть, пусть в объятиях Калипсо, но в плену, была бы сладостна, — лишь «видеть бы дымок, на кровлях вьющийся домов родной Итаки»...

Да и Овидий, в своих «Понтийских посланиях», тоскуя в изгнании, жаждал иметь возможность «хоть дым увидеть с очагов родных»... «Невыразимая сладость» родной земли, даже в образе горького дыма, пленив поэтов, не позволяет человеку забыть о себе.

Наверное, если удалиться во времени и еще глубже уйти и в историю, и в литературу, то можно зафиксировать уже в изначале перемещений народов по земле это странное чувство, посещающее человека на чужбине или при возвращении его домой из долгих странствий...

Странно оно, это чувство, и сейчас, когда все чаще и чаще люди уезжают с родины, сознательно покидая ее или удаляясь на время.

Странно потому, что связи с родиной стали и проще, и возможнее, и чаще... И тем не менее. И временное расставание с ней, и томительное долгое ожидание встречи, и даже осознание своего невозможного возврата не обходятся без этого особого ощущения, овладевающего человеком, — ощущения какой-то боли, утраты, потери, даже чего-то отнятого навек, но также вечно живущего в душе, в сердце. Говорят, что это «болят корни», связывающие человека с его родной землей. «Ностальгия», — это реальная болезнь, и разве что абсолютно нездоровые люди не страдают ею. Однако уезжают, покидают, продолжают жить вдали от родной земли. И если возвращаются, то жаждут что-то изменить, бывают чем-то

недовольны, мечтают о «новой жизни», потом привыкают к «старой», потом снова куда-то тянутся, к далеким маякам, а некоторые путешествуют без усталости, страдая, как определил эту тягу к постоянной смене «декораций» жизни А. С. Пушкин, — «охотой к перемене мест», «весьма мучительным свойством» человеческой природы и даже «немногих добровольным крестом»... Но и они о «дыме» Отечества вспоминают, — пусть даже *горьком*. Хотя, чем дальше уходит образ Родины, «растворяясь» в пространстве и времени, тем «светлее» становится и этот «дым», тем нежнее кажется его аромат. Помните, у В. Набокова, во сне увидевшего ночь своего *расстрела*: «И весь в черемухе овраг...»...

Кто долго жил вдали от родных берегов или странствовал без усталости, или даже продолжает жить без мысли о возвращении обратно, согласится со мной. Мне довелось знать таких, беседовать с ними, и даже с теми, кто уже забыл родной язык... Но «корни» свои помнят все, и у многих они, особенно «отрезанные» насильно, болят. И эти «фантомные» боли нередко замещаются книгами воспоминаний, повестями о жизни, о современниках, о событиях, потрясших и родную страну, и мир, заставивших эмигрировать, поселиться «навсегда» на чужбине...

...Героиня Т. Бенджеллуна вернулась в Марокко почти уже взрослой. Много забыв, смотрела на знакомые места глазами «чужестранки». В отличие от матери и от отца, она не проронила ни слова радости, не пролила ни слезинки и «впервые поняла, что такое безразличие» (с. 131). И если сначала она чувствовала жалость при виде нищей своей родины, то потом в ее душе воцарились «бездна и пустота» (*le néant*), и даже на миг возникло отвращение: грязь, бездорожье, голод, лохмотья детей — все, как и прежде... Казалось, все застыло и «приросло к камням, как старики у дороги». «Может быть, — думала она, — это время их раздавило, прибило к земле?.. Они все как будто чего-то

ждут, замкнутые кольцом гор на этой земле, где жизнь будто исчезла вовсе...» (с. 132).

Так характерный для творчества Т. Бенджеллуна мотив «забвения» (*l'oubli*) (начиная с «Харруды» (1973), развиваемый им из книги в книгу), погружения человека (народа, нации в целом) в «небытие», «недеяние», мотив, связанный с темой «неподвижности», застоя (общества, страны), в романе «Опустив глава» дополняется мотивом «созерцательности», «очарованности» мифами: «Эти скалы, воплощавшие забвение, стоявшие как вкопанные, в вечном ожидании чего-то, завораживали их... Люди ждали, когда они оживут, заговорят, восстанут, наконец, когда полетят их булыжники, камни, колючие кустарники, объятые яростью, безудержной жадой мести. Ждали, *когда пробудятся горы*, терпеливо стерегущие их день и ночь...» (с. 135).

Но это ожидание только истощало людей, обрекало их на неподвижность и еще больше повергало их в разорение и нищету. Вокруг царил «упадок». Лишь девочка Сафия все еще мечтала, так же как героиня в детстве, выбраться «из этого ада» (с. 137) и стыдливо «опускала глаза»<sup>41</sup>...

Глаза героини романа увидели другой мир, другую жизнь, в них запечатлелись (*imprimés*) другие лица и другие образы. Ее взгляд сделался сначала «безжалостным и беспощадным, а потом уставшим». «Мне скучно и одиноко», — скажет она (с. 133). И тоже начнет ж д а т ь . Однако верит, что вернется туда, где открылся ей *свет нового знания*, с особой яркостью высветивший *причины мрака и упадка родной деревни*.

...Девушке предстояла еще одна встреча — с бабушкой, которая ведала «тайну». И она обладала другим, *сокровенным* знанием, хранила его особый, *внутренний свет*, который должен был осветить и пробудить уснувшую

---

<sup>41</sup> После попытки военного переворота, совершенного против власти Хасана II в начале 70-х годов, в стране ужесточились репрессии, и время было нелегкое все 80-е и 90-е годы...

душу девушки и напомнить о ее п р е д н а з н а ч е н и и .

У бабушки сохранилась прекрасная память. Она терпеливо все эти годы ждала внучку и теперь учила ее: «Ты выросла, изменилась. Но ты осталась той, кто ты есть, — дитя своих родителей и своей земли. Ты можешь говорить и думать на чужом языке, жить в чужих странах, но место твоего рождения, дом, где ты родилась и росла, люди, которые любили тебя, руки, которые приняли тебя в этот мир, приложили к материнской груди, ветер, который приносил тебе прохладу в летний зной, дерево, укрывавшее себя своей тенью, — все они, где бы ты ни была, не забыли тебя и не забудут никогда. Это есть твоя страна, ее лицо. От этого избавиться нельзя, даже если ты будешь много учиться. Твои корни — всегда здесь, и они ждут тебя, и они-то и будут твоими свидетелями в Судный день...<sup>42</sup> Берегись видимостей, не доверяй бликам на воде — все они исчезнут, а останется в уголке сердца только земля, где ты родилась. Все мы — в руках Бога и все возвратимся к нему, в него. Так вот, земля твоя — это тоже Бог, и мы принадлежим ей, вышли из нее, ее холмов, ее гор, и в нее войдем, вернемся к ней. Ступай, дочь моя, живи, учись, читай, считай, познавай море, движение звезд на небе, иди по дороге знания, хоть и пролегает она на чужой стороне, но не забывай никогда, откуда ты родом, и не хули никогда место, где ты родилась... Напрасно ты будешь стремиться уехать отсюда подальше, уйти на другой край света, пытаться сдвинуть что-то здесь, приукрасить, сделать милосерднее... Мы — такие, какие есть. Ты первая женщина в нашем племени, ходившая в школу, и не важно, что она — христианская. Но знай, что и мы не пустые: в нас живет то, чему не научат тебя ни в какой школе. Мы учились у самой природы. И наша память, как и наше тело,

---

<sup>42</sup> Согласно Корану, отсутствие «верного друга» (а в романной метафоре «корни» выражен именно этот смысл верности, надежности) в Судный день является страшным наказанием и признаком греховности человека (см.: Коран.69, 33–37) (Пер. М.-Н.О. Османова).

пронизана солнцем, пронизана дождем. И наше знание завещано нам предками». И предупредив девушку о предназначенной ей предками миссии, бабушка сказала на прощание: «Опасайся тех, кто захочет прочесть линии твоей руки...» (с. 138–139).

*Опустив глаза*, внучка с почтением выслушала эти слова. У нее не было ни сил, ни желания задерживаться здесь, ни удержать этот «забытый Богом край» в своей душе. Если раньше она понимала желание родителей вернуться сюда, то сейчас чувствовала лишь одно — поскорее избавиться от опасности «медленной смерти», которая здесь, в деревне, казалось ей, продолжала наступать каждого, царила повсюду (с. 139)...

Однако теперь ею владело не то детское безоглядное стремление «бежать» отсюда: *знание*, приобретенное в другой стране, не могло не приглушить бурю протеста, неприятия «остановившейся» на родине жизни. Иллюзии, связанные с переменой мест, были давно разрушены. Но обострившееся именно здесь, в краю родном, *одиночество* толкало к поиску взаимопонимания, близкой души, которой не обрела она здесь и знала, что никогда не обретет: «Я возвращалась во Францию не для продолжения учебы, — потом вспомнит героиня, — но с надеждой научиться любить» (с. 144). Ей хотелось обрести, почувствовать и понять то, что она никогда не видела «среди своих», — здесь не обменивались нежными взглядами или поцелуями... Традиция запрещала ласку, проповедовала стыдливость, учила смирению и покорности. А девушка мечтала увидеть «свет в глазах возлюбленного» и ответить ему «светом своих глаз» (*lumière sur lumière*, с. 149).

Возникло желание описать то, что окружало ее, тех людей, которые понимали ее и которых понимала она. Парадокс был в том, что, вернувшись во Францию, девушка вдруг обнаружила, что смотрит теперь на всё



«другими глазами». Так знание, полученное в родной стране, осветило новым светом жизнь другую.

...Персонажи ее воображаемой книги предстали перед ней не просто «элементами», естественными частицами других пространства и времени, живущими в «периметре границ города», но пленниками, «потерявшимися в его тумане» (с. 236).

В эмигрантских кварталах, как оказалось, жили не просто хорошо знакомые, понятные и близкие люди, но жертвы города и цивилизации, обречших их на «медленную смерть». «Глухие» стены и «глухой взгляд» окружающего чужого, так и не ставшего родным мира, как оказалось, заместили старый горизонт, прежние камни и скалы (с. 155).

Юная Рабийя (называвшая себя Ребеккой), потихоньку спивавшаяся, и Ясин (ставший здесь Жаком), мечтавший об Америке, и Рашид (теперь Ришар), мечтавший уехать за океан, и Мох, пять раз в день совершающий молитвы, обратившись лицом в сторону Мекки, и мечтатель-бродяжка Виктор, и красавица Малика, ставшая почти бесплотной, — все они раньше вызывали дружеские чувства, а теперь вдруг показались жалкими и хилыми ростками, с трудом пробившимися между бетонных плит города и обреченными на смерть в его мрачном лабиринте... (с. 159).

И все чаще снилась по ночам родная горная деревня, хотелось писать о ее «призрачном» существовании, о ее «неподвижности» в том месте земли, где поселилась смерть (*un mouir*. «Умиральня»<sup>43</sup> с. 183). Но именно туда, где все вокруг «плавилось» под «свинцовым солнцем» (с. 168) и где все вечно ждали чуда, все чаще уносились ее думы. И все больше вникала она в смысл легенды, которую рассказал старейшина деревни. Эта легенда была о воде,

---

<sup>43</sup> Своеобразный неологизм, совмещающий в себе и основу глагола «mourir» — умирать, и созвучность с «тігігі», зеркалом, как лишь отражением момента жизни...

которую у этой земли отняли, *повернув русло ручья в угодыя того, кто колонизовал ее*. О предательстве кайда (вождя) племени, укравшего у своего народа воду. Много раз жители возвращали воду в свои края, и каждый раз это был «праздник сродни возвращению их ч е с т и и достоинства» (с. 177–178). Но с тех пор «утекло много воды», и земля снова жаждала ее...

Девушке приснилось, что она слышит какой-то женский голос, раздававшийся с минарета<sup>44</sup>. Этот голос напоминал о том, что даром женщины в этой стране закрывают лица покрывалом: «Это не только наша одежда, но и наш саван...» (с. 187).

У героини постепенно исчезало б е з р а з л и ч и е и появилось сострадание. Но главное, она начала понимать, почему люди радовались их возвращению, почему с такой надеждой смотрели на нее, названную предком «провидицей», спасительницей «сокровища, зарытого в горах», способного вернуть жизнь земле. Героиня, раньше относившаяся к этому преданию как к красивой сказке, теперь пыталась и разгадать с м ы с л о ж и д а н и я , и постигнуть глубину надежды.

Небо над родной деревней вспоминалось не как цвета «вечного терпения», а «разгоравшегося пожара» (с. 191) и казалось обещанием пробуждения земли.

Научившаяся постепенно — и здесь, на Западе, и там, на Востоке, — различать мир во в с е х его красках, героиня простила и отцу, что он не «покидал своего времени», а хранил его в сердце, «внутренней стране», и не расставался с надеждой.

Увидела она во сне и «всадника в белом плаще на светлой лошади» (в поэтике магрибинцев, а Т. Бенджеллуна особенно, — образ частый, манящий в

---

<sup>44</sup> Этот образ уже возникал в романе Т. Бенджеллуна «Молитва об отсутствующем» (1981). Там женский голос призывал к «пробуждению», он звал народ воспрянуть, защитить свою честь, вспомнить о свободе, за которую боролись предки... Подр. о творчестве писателя см. нашу работу «Взятие слова». М., 2022.

светлую даль, зовущий к счастью). Раньше, в детстве, он часто грезился девочке, но теперь возвещал о том, что скоро «сокровище» будет найдено: «Близится день... Рука, достойная нас, укажет место... И хотя она пока не с нами, она спасет нашу честь и вернет нашу доблесть... Мы подождем и достойно встретим ту, которая избавит от проклятия...» (с. 194).

Как наваждение, все чаще звучали слова, которыми старейшина упрекнул отца. Эти горькие слова были о том, что люди, отправляясь в эмиграцию, бросают землю на произвол судьбы, а значит, обескровливают ее, обрекают на «разруху» и забвение (с. 197). Привиделась и старая тетка Фатима: она гневно увещевала ее «вернуться и дожидаться смерти там, где сейчас только пепел сожженной солнцем земли...» (с. 100)<sup>45</sup>.

Освободиться от этой «фантазмагии» или поверить в «сказку»? Душа девушки блуждала между двумя мирами, слишком разными и непохожими, и в этой разности парадоксально смешивались реальность и фантазия, быль и легенда. Возможно, потому, что (так считали родители, друзья и даже преподаватель) в «сказке» была не только доля истины, но и правда жизни и надежды тех людей, которые считали себя «проклятием клейменными» и так истово верили в чудесное спасение.

Но героиня трезво оценивает ситуацию: «Я и не думала, что еще раз решусь на путешествие, возвращусь туда. В моем возрасте уже не верят в подобные сказки... Я часто говорила себе, что нищета сделала людей глухими и порождала их предрассудки. Они способны выдумать все что угодно, лишь бы приукрасить себе жизнь...» (с. 215).

Однако искушение и воссоздать *жизнь сказки* в сознании людей, обреченных на «медленную смерть», и

---

<sup>45</sup> Согласно Корану, «сокрушительная беда», «Судный день», **отмщение** настигают людей тогда, когда они «рассеяны, словно мотыльки» (101, 4). (Пер. М.-Н.О. Османова). Недаром в романе старики, верные земле, не покидают ее, не «рассеиваются по миру, а хранят единство, надеясь на «спасение»...

связать *два пространства*, пусть разных, но где жили одни и те же «персонажи», которые «обманулись в своих ожиданиях», заставляло задуматься над возможностью возвращения к родным истокам.

Блуждание души между двумя мирами утвердило девушку в мысли, что «надо писать, чтобы не сойти с ума». Но главное, она поняла, что надо обрести корни, «зацепиться за них, чтобы понять причину долгого и томительного молчания жизни» (с. 232).

Здесь, на чужбине, это молчание прорывалось лишь жалобами и сетованиями людей, сменивших «одну нищету на другую». Там, на родной земле, — молитвами о дожде, которого, как помнила девушка, люди ждали все время (с. 245) Она и сейчас слышала эти молитвы и видела «красную землю», усыпанную камнями... В детстве она молилась ветру, чтобы дал ей крылья и унес прочь с этой земли. Теперь она молилась, прося ветер о возвращении...

...Все ту же безжалостную землю увидела она, все те же лица, все те же глаза с мольбой во взоре, все с той же надеждой смотревшие на гору, где было спрятано их «сокровище»... И снова слышала голос бабушки: «Я ждала тебя. Я знала, что ты вернешься. Ты родилась на этой земле, потому она — самая прекрасная земля на свете. Но красота ее — незаметная... Чудо ее — в обнаженности» (с. 254). С точки зрения бабушки, это свидетельство «открытости» земли надежде, ожиданию «нового своего рождения». И именно внучка теперь должна указать дорогу людям своего племени, идти с ними, как завещал предок, «два дня и две ночи» и отыскать то, что спасет землю. Напомнила бабушка и о «смирении», и о «покорности» традиции, о долге следования заветам предков...

Героиня заставляла себя относиться ко всему *р а с с у д о ч н о* (к этому приучил Запад), понимая, что бесполезно разубеждать людей, отнимать у них сказку. Она не хотела объяснять, что приехала сюда «как чужестранка»,

чтобы запечатлеть образы этого мира, сопоставить их с воспоминаниями детства, проверить ощущения, подумать о «параболе» предания, которое собиралась положить в основу книги...

Это никого не интересовало. Люди готовили ее к обряду посвящения и «проводницы»: заставили надеть белые одежды, покрасили ладони хной. А когда взошла полная луна, посадили на лошадь и отправились в горы искать сокровище.

У девушки возникло чувство, будто ее готовят к бракосочетанию и ей, как невесте, надо только «стыдливо опускать глаза» и молчать... Отличие от свадьбы было только в том, что в руках у ее спутников были заступы и лопаты. И «повенчанной с тайной» вдруг показалось, что «все это больше походит не на свадьбу, а на похороны...» (с. 268)<sup>46</sup>.

Уступив желанию бабушки, решив оставить свое племя *жить в пространстве сказки*, девушка испытывала только стыд, видя иступленные лица людей, горевших желанием найти «сокровище».

...Когда-то знаменитый писатель, тоже живущий в «отдалении» от родной страны, советовал ей написать книгу и понять «право на мечту людей униженных и оскорбленных» (с. 278). Она последовала его совету, но теперь страдала, зная, что обманывает ожидания людей. Однако, романное пространство заполнялось сказочными видениями...

...Лошадь внезапно остановилась и не хотела двигаться дальше. Хна на татуированных ладонях превратилась в темные пятна, под которыми исчез рисунок «линий судьбы». Девушка попыталась сказать свою правду людям: «Сокровище надо заслужить. Вы десятилетиями, ничего не

---

<sup>46</sup> Позднее, в 1998 г., Мохаммед Диб, классик алжирской литературы, запечатлел нечто подобное, происходящее *в глухой горной деревушке в 90-е годы XX в.*, в своем романе «Если захочет дьявол...» в эпизоде возвращения алжирского эмигранта в родные для его матери места. (См. ниже).

делая, ждали чуда. Ваша земля истощилась. Не трава покрывает ее, а камни. Видите, на моих ладонях линии жизни больше ничего не означают». Она хотела вернуть соплеменников к реальности, заставить действовать, стараясь изменить свою землю, но им показалось, что «чужестранка» насмехается над ними. А может, даже хочет «продать план местонахождения сокровища христианам...». «Она изменила! — слышались голоса. — Женщина, покинувшая свою деревню, потеряна не только для нас, но и для себя. Даже если она вернулась, она не наша!» (с. 279–280). В нее полетели плевки и камни, брызги крови слетали с рук людей, потому что они неистово рыли землю там, где остановилась лошадь.

...Девушка проснулась на рассвете у подножия дерева. Одна. Возможно, это был только сон. Но окружившие ее дети сказали, что «все ушли, как только взошло солнце, и вернутся ночью, когда рыть легче...». Она уже не понимала, где сказка, а где реальность, и то ли ей во сне почудился голос, то ли она сама знала, что люди б у д у т рыть, пока не забьет вода. И если они приведут воду на свою землю, то и земля их с т а н е т садом (с. 284)<sup>47</sup>. «Если понадобится, — продолжал голос, — они будут рыть до скончания времен. А потом будут защищать воду, чтобы никто не смог повернуть ее в другую сторону...» (с. 287).

Тот же голос звал ее пробудиться ото сна, внушал, что реальность страны — сильнее, «безумнее, непредвиденнее, чем все фантазии мира». Он говорил о правоте предков, предвидевших, что земля может погибнуть от засухи, исходящей не только с неба, но и из человеческих сердец. Легенда о «сокровище» была неосознанной мечтой людей о воде, а не о золоте и серебре — просто они не знали, что вода — бесценнее... И когда они начали освобождать

---

<sup>47</sup> «Да будет вам известно, что Аллах оживляет землю после того, как она иссохла», — сказано в Коране (57, 17). (Пер. М.-Н.О. Османова). Повествование Бенджеллуна, по своему интерпретируя священные слова, как бы наполняет их новым смыслом, показывая, что мечта (или «чудо») осуществляются в упорных деяниях человека.

землю от камней, то увидели, что она пропитана влагой. И отныне будут приходить в горы каждую ночь и копать, пока не брызнет вода, холодная и чистая... «Теперь, — продолжал голос, — и я буду рыть вместе с ними. Но я не плод твоей фантазии, не твой персонаж. Я человек, который хочет стать *полезным* этим людям...» (с. 185).

Может, это был ее внутренний голос, голос совести, проснувшейся души, обретшей наконец свои «Корни»? Поэтическое призвание автора романа, его писательское воображение, зов легенды, печать действительности, слившись воедино, заставили героиню произведения взглянуть на все происходившее другими глазами, «примирить в душе непримиримое» (с. 286). Ей вдруг захотелось поиграть с детьми, «смешаться» с людьми, которые придут в горы... «Лишь бы нашли они воду, лишь бы нашли. Иначе они сойдут с ума, дойдут до Мараккеша или Агадира, разрушат и сметут все, что встанет на их пути... Лишь бы нашли они свою воду...» (с. 290).

Она, конечно, уедет обратно. Ее возлюбленный говорил, что сердцу человека надо, *чтобы знать, как жить*, «либо разбиться, либо забронзоветь» (*il faut que le cœur ou se brise ou se bronze*, с. 295). Ее сердце, оттаяв, оледенело снова. Ее словно отторгала эта земля, не принимала, чувствовала чужой. «Эта страна была уже не моя. Родная сторона — это не только знакомые лица и лики ее, но и ноги, у которых должен быть якорь в этой земле. Но якоря-то и не ощущалось. Охватывала неуверенность: «Где она, моя родная земля?»» (с. 293). Одно знала твердо — что уезжает *изменившаяся*. «Поиск своих корней — испытание трудное» (с. 291). Так что же? Искать дальше или «смириться и молчать»? Ждать, когда и в твоей судьбе свершится чудо обретения «воды», дающей новое рождение, новую жизнь? Видимо, да. Хотя героиня романа пока не нашла еще место, где бы чувствовала себя «на своей земле». «Я думал, — писал ей возлюбленный, — что ты находишься между двумя мирами, между двумя

культурами, но на самом деле ты не здесь и не там, но где-то в т р е т ь е м месте (*troisième lieu*). И оно — пока — ни на твоей родной стороне, ни на той, которая стала тебе приемной матерью» (с. 296). Однако, она будет ждать чуда обновления Жизни.

Изменив центральный образ своей ранней поэтики («женщины, покрытой саваном молчания») на женщину, прорывающуюся к Свету, идущую на встречу с истиной, правдой жизни, прокладываящую себе дорогу через пустыню или мрак леса (как в романах «Молитва об отсутствующем» или «Святая Ночь»), писатель в романе «Опустив глаза» создает героиню, познавшую жажду людей «напоить свою землю» чистой водой. «Третье» место, где пребывает героиня, это *мир надежды*, безусловно равно нужной как на том, так и на другом берегу. И если на Западе надеждой героини было бесконечное расширение горизонтов знания, то на Востоке она мечтает о *новом начале истории* родины, ее пробуждении, новой жизни. И недаром в эпилоге романа есть строки письма, полученные ею из родных мест. Они словно озвучены в душе героини ударами заступов, разрушающих камни, добывающих воду, шумом воды, стекающей с гор, орошающей наконец поля; смехом девушек, в глазах которых видится ей отблеск зари, взошедшей над ее землей, которую, **«наконец, напоили, вспахали счастливые руки...»** (с. 297)...

Земля и утраченная, и земля обретенная научили человека, умеющего «поднять глаза», понимать главную земную ценность — способность людей, «тружеников земли» (с. 297) освободить ее от тяжелых оков, от бесплодных камней, напоить и беречь, п р е о б р а з о в ы в а я .



## Глава 2

### ОБИТЕЛЬ КРОВНОЙ МЕСТИ КАК ЗАЩИТЫ «ЧЕСТИ ПЛЕМЕНИ» И СВОЕЙ ЗЕМЛИ

Прошло более полувека со дня публикации романа алжирского писателя, ныне классика новой магрибинской литературы, родившейся на исходе колониализма, Мулуда Ферауна (1913–1962 гг.) «Земля и кровь»<sup>1</sup>. Казалось бы, описанное в нем должно кануть в историю — страны, народа, его культуры. Тем более, что издан роман был за год до начала битвы Алжира с Францией, — долгой, восьмилетней войны, изменившей политическое развитие, общественный строй и даже характер внутриэтнических отношений<sup>2</sup> бывшего «заморского департамента», завоевавшего свою независимость, освободившегося от длившегося сто тридцать с лишним лет колониального господства Франции.

Этот роман М. Ферауна как бы не «успел» запечатлеть ни подъем национального самосознания алжирцев, ни их готовность вступить в борьбу за свое «лучшее будущее». Тем не менее, именно творчество убежденного «пацифиста» — Мулуда Ферауна, кабила, учителя по профессии, «просветителя», свято верившего в возможность достижения «мира» в вопросе предоставления его стране независимости (писатель, увы, был расстрелян накануне этого собы-

---

<sup>1</sup> M. Feraoun. «La terre et le sang». P., 1953. Пер. на русск. язык: Мулуд Фераун. Земля и кровь. М., 1961. О творчестве писателя см. подр. Г.Я. Джугашвили. Алжирский франкоязычный роман. М., 1976. Цитаты в тексте данной работы приводятся по французскому изданию в моем переводе (С. П.).

<sup>2</sup> Я имею в виду развернутую уже независимым Алжиром политику «тотальной арабизации культуры», когда, особенно в 70-е годы XX в., пострадала немалая часть берберского населения страны.

тия<sup>3</sup>) сыграло огромную роль в создании **реального образа** своей родины, мироощущения своих земляков — жителей горного края, «коллективного портрета» того общества, которому предстояло шагнуть на порог своей новой Истории...

В сущности, все книги М. Ферауна<sup>4</sup> содержат **честный ответ** на вопрос «Кто мы, алжирцы?», и в этом ответе — и способ их жизни, и их умение сохранить себя в условиях власти «чужого», и особенности существования народа, населяющего «глухой» горный край, далекий от того образа Алжира, к которому привык тогдашний читатель А. Камю или А. Жида... В книгах М. Ферауна (как и других его соотечественников 50–60-х гг. — М. Дибя, М. Маммери, Ка-теба Ясина и др.) все было ново, абсолютно ново, ибо со-держало **простую правду**, написать о которой **не-алжирцу** было почти невозможно: мало было просто хорошо знать Алжир, надо было еще и прожить жизнь его народа, связав с ним свою судьбу. Надо было не только запечатлеть его, Алжира, «пейзаж», его особую «географию», где разность «стихий», контрастов природы (пустыни и моря, гор и до-лин) способны породить в сознании художника миф о че-ловеке, находящемся здесь во власти Солнца, его испепе-ляющей душу силы, обрекающей его на вечный бунт его горячей крови... Но надо было понять и восстановить и ре-альность Истории, и **реальность повседневности**, запечат-леть пульсацию «окружающей среды» — той человеческой реальности, которая называлась тогда «колониальным об-ществом», разнородность, разноставность, «многоцвет-ность» которого рождала и невозможные иллюзии его пре-

---

<sup>3</sup> Расстреляли его как «патриота» формально «оасовцы» [члены «вооруженной сек-ретной организации» (O.A.S.)], французы, противившиеся предоставлению Алжиру неза-висимости, но свою роль сыграло и известное недоверие к писателю тех «радикальных» революционеров-алжирцев, которые не разделяли «мирных» намерений Ферауна и счи-тали его даже «предателем» — С. П.

<sup>4</sup> «Сын бедняка» («Le fils du pauvre». Р., 1950); «Дни Кабилии» («Jours de Kabylie». Р., 1954); «Дороги, ведущие в гору» («Les chemins qui montent». Р., 1957), посмертно неоднократно изданные «Дневник» («Le journal») и «Годовщина» («L'Anniversaire»).

образований, и утопические картины его будущего, но и необходимость трезвого взгляда на возможности свершающихся перемен.

Не всем писателям европейского происхождения, хотя и родившимся в Алжире или выросшим в нем, удалось запечатлеть **реальный** Алжир (разве что Э. Роблесу, Ж. Руа, Ж. Пеллегри), но при этом, в основном, ту его часть, которая была представлена средой обитания европейцев — горожан или французских колонистов. К «автохтонной» же среде, сообществу тех, кого в Алжире относили к «**communauté musulmanne**», будь они арабы или берберы (среди последних, правда, были и обращенные в христианство), французские художники прикасались довольно робко, справедливо полагая, что здесь необходимо «**знание изнутри**». И этим знанием, обширным и доскональным обладали именно те, кто выучившись в европейских школах, благодарно усвоив опыт и гуманистический дух французской литературы, порой «прямые» ученики Р. Рандо, А. Камю и других французских «альжерианистов», взяли на себя миссию и историков, и летописцев, и бытописателей, и создателей и «коллективного», и индивидуальных портретов своего народа. Сегодня без их произведений, если всерьез изучать и страну, и ее культуру в ее соотношении и с прошлым, и с настоящим, ее место в мировой, обойтись нельзя: книги М. Ферауна, М. Дибба, М. Хаддада, М. Маммери, М. Таос, А. Креа, Катеба Ясина и др. писателей и поэтов 50–60-х гг. — это не просто *новая литература в Алжире* (к которой по праву принадлежат и имена некоторых европейцев, таких как Ж. Сенак, А. Греки и др., принявших алжирское гражданство уже и в новом, независимом Алжире), но и **история новой национальной литературы**, влившей в мировую свой собственный голос, свою тему, свою особую мелодию, показавшей миру особые краски, особый колорит своей страны. И творчество Мулуда Ферауна в этом плане сыграло свою громадную роль, прозвучало особыми «но-

тами» и не только потому, что его имя было окружено ореолом «жертвенности» и навсегда связано с его сомнением в необходимости «кровавого конфликта» (даже когда речь шла об отвоевании независимости); в его книгах прежде всего — святая любовь к его родному горному краю — Кабилии, к своему отечеству, несмотря на всю трезвость и порой даже суровость его взгляда, и главное — неколебимая уверенность в том, что человечеству необходимо оставить *подлинный облик* этого края, в словах сохранить все то, что со временем так тщательно, «по черепкам», восстанавливают археологи, изучают историки, «по кирпичику» складывая цельный образ мироздания, — восстанавливая связь времен, бережно собирая *все звенья* огромной цепи мировой цивилизации...

И таким малым, но бесценным «звеном» становится для Ферауна его «малая родина» — родная Кабилия, ее высокие горы, спрятанные в них глухие деревушки, хранящие тысячелетние традиции, древние поверья, живущие порой словно **вопреки** свершающимся вокруг переменам<sup>5</sup>...

Но даже невольно смешиваясь с чем-то привнесенным извне, удерживая в себе, что способно привиться и пустить новые корни, эта земля оберегала *свою собственную жизнь*, питая ее невидимым соком, без чего любой, даже самый совершенный ее «пейзаж», написанный умелым художником, но которому не ведом вкус этого «сока», будет немым и бесплодным.

Но Фераун не ставил целью только *описание* своего края, хотя в «этнографическом реализме», да и в зарисовках природы родной Кабилии ему мало равных. В его «портрете» прежде всего **взгляд на мир** его народа, его

---

<sup>5</sup> Интересно отметить, что эта же тема — «удержания времени» как «самосохранения» — характерна и для другого магрибинского писателя, марокканца Дриса Шрайби, обратившегося уже в 80-е гг. XX в. к описанию жизни другого берберского племени, живущего в горах Рифа и ставшего в творчестве Шрайби символом *неподвластности* «внутренней жизни» народа, его традиций, его веры, его обычаев тому миропорядку, который диктует ему или навязывает государство, «Верховный правитель», не считающиеся с *Законами Жизни* своих народов... [см. подр. далее].

представления о «жизнеустройстве», его психология, его социальные правила, его понимание личностного и коллективного, его концепты чести и долга, его ощущения красоты, добра и зла. Все, что хотел М. Фераун сказать *своему времени о своем народе*, он сказал в «Земле и крови», поведав всего лишь об одной трагической судьбе человека, вернувшегося на родину из эмиграции. Но одновременно воссоздал и портрет определенной эпохи, того исторического перелома, начавшегося в судьбе народа, который, вынужденно отплывая от родных берегов, пройдя испытания чужбиной, возвращался к своим «корням», отягощенный новым знанием о мире, которое не всегда было во благо, порой влекло беду, но чаще служило новому «прочтению» своей земли, почти «открытию» ее в своей новой с ней встрече. Ну, а поскольку романский жанр обязывал писателя к соблюдению определенного «канона», то книга Ферауна не только о Родной Земле, но и о Любви...

«Читатель должен быть предупрежден, — писал Фераун в начале повествования, — что история эта реально прожита в одном глухом уголке Кабилии, там, где нет больших дорог, крошечная школа, да белая мечеть...» (с. 7). И разве можно было вообразить, что в этой далекой деревушке, Игиль-Незмане, могла поселиться и жить, **как все**, француженка, да еще парижанка? Вот эту, почти невообразимую (шел 1925 год!) сюжетную канву и разворачивает неспеша писатель, хотя канва эта соткана из событий бурных, мятежных, мрачных, суровых...

«**Как все**» — в этом словосочетании было и изначальноное удивление красавицы Марии, добровольно добравшейся со своим мужем Амером до его родной деревни, куда он возвратился из эмиграции, из теперь уже далекой Франции; и осознание своего дальнейшего долга, своих обязанностей по отношению ко всему тому, что окружало ее теперь...

Люди, жившие здесь, выросшие на этой земле, привыкшие к ее суровой природе и древним обычаям, поначалу

восприняли ее, Марию, не просто как «чужую», «руми» (так называли в Алжире французов), но и с известной долей ревности и зависти — особенно женщины.

К ней будут долга привыкать и никогда не перестанут называть «Мадам», — полууважительно, полуиронично... Однако, заметят вскоре, что сама Мария, быстро преодолевшая свое удивление («**Вот они какие, кабилы!**» (с. 8), ведет себя не гордо, не кичится ни своим французским происхождением, ни своим достатком, заметным здесь. Ведь в бедном доме старой матери Амер появилась какая-то мебель, привезенная из города, новая кухонная утварь, да и «европейские» платья, которые носила Мария, вызывали и зависть, и восхищение местных девушек. Но главное «достояние» Марии, конечно, — муж, Амер, который, судя по его внешнему виду, стал весьма благополучным, по здешним меркам, человеком: молод, силен, хорошо одет, уверен в себе, легко сходится с соотечественниками, угощает их, участвует во всех собраниях в деревне, затевает какое-то строительство, откупил когда-то принадлежавшую его семье земельку...

Уехав в 12 лет вместе со старшими родственниками во Францию на заработки (алжирцы начали «трудовую эмиграцию» еще в начале XX в.), Амер мечтал не только о куске хлеба, о работе, о возможности что-то скопить и поддерживать оставшихся в Кабилии родителей, сколько о *новой жизни*, о возможности своими глазами увидеть всё то, о чем рассказывали возвращавшиеся порой на побывку к родным эмигранты...

За прошедшие пятнадцать лет вдали от Родины (куда Амер так ни разу и не выбрался), он что-то, конечно, заработал на шахтах и рудниках Франции, не брезгуя никакой подработкой и в Париже, куда перебрался и где жил последние годы, женившись на Марии. Теперь, имея репутацию человека с достатком, даже богатого на фоне поражавшей своей нищетой деревни, Амер порой краснел,

смущаясь тех, кто жил здесь бедно и трудно, словно извинялся за то, что вернулся цел и невредим, с женой, с чемо-данами, полными всякого добра. А главное — за то, что, забыв о родителях, не посылая им денег, довел и мать, и отца до крайней бедности, что вынудило их продать принадлежавшую их семье землю, как-то еще кормившую... После смерти отца, мать Амера практически жила на подаяние. Люди не забывали ее, хотя родственники, приобретшие землю, обделяли своей помощью, осуждая ее сына, забывшего о своем долге перед родителями...

Но старая Камума — так звали мать Амера — теперь, казалось, дождалась своего часа. Ее почти развалившийся домишко «молодые» уже перестраивали, заполняли какими-то нужными вещами, и еды было вдоволь, и невестка оказывала ей внимание...

В деревне интерес ко вновь прибывшим был в общем-то тоже удовлетворен: многие узнали теперь, кто этот, давно «*потерявшийся сын*» старухи Камумы (всех своих других детей она успела похоронить...), о котором ходило в своем время столько всяких слухов, да и сама мать которого считала *потерянным навсегда*. К «Мадам», поначалу вызвавшей в некоторых сострадание (как «ничего не понимавшей по-кабилски» и только всем улыбавшейся, особенно ребятишкам), постепенно попривыкли тоже. Один Амер жалел жену по-настоящему, зная, как ей, горожанке, трудно в здешнем неустроенном быте, без удобств, без воды (надо было ходить к источнику), с грязноватыми, пыльными улочками, теснотой, с отсутствием обычных для европейцев кровати, стола, стульев... Здесь спали на полу, ели за низеньким столиком, сидя на подушках, пользуясь самой примитивной посудой... Но в то же время, зная характер жены, Амер был уверен, что она справится, да и предупреждал он ее обо всех этих трудностях...

Сама же Мария воспринимала окружающее как *должное*, не протестуя и не сетуя на новые жизненные обстоя-

тельства: невзгод и трудностей и *там*, у себя, было предостаточно... Сейчас она даже испытывала некоторую *гордость*, понимая, что рядом с этими кабилками — и молодыми, и старыми — она выглядит куда как *значительнее*, — и это было чувство, ранее почти ей не испытанное там, на Западе.

Нищета, царившая вокруг, конечно, удручала. Даже видавшая почерневшие от дыма окраины французских городов, где были бедняцкие эмигрантские поселения, их мрачные трущобы, Мария с тяжелым сердцем смотрела теперь на глинобитные хижины, пропахшие дымом очагов, разведенных прямо на земляном полу, на убогие жилища и скудный быт соотечественников мужа. Однако она знала: к этой бедности ей «надо было привыкать» (с. 10), — так она решила сама, и сразу, понявшая, что если мать Амера *приняла* ее, француженку, взяла в *свой* дом, то будет ждать, как и все, именно ее, Марии, *добровольного согласия* на эту новую жизнь. Старуха, встретившая ее беззубой улыбкой, сказавшая что-то приветливое на своем гортанном языке, как бы сразу впустила ее на порог этой, *другой жизни*, не так давно вдруг обозначившейся на горизонте Марии, и ей оставалось только перешагнуть через этот порог...

В обычаях деревни не было принято уделять много внимания, возвращавшимся на побывку эмигрантам. Но этот случай был особый: француженка интересовала молодых женщин, они изучали покрой ее платьев, расспрашивали, как могли, объясняясь часто на пальцах, о ее косметике, о рецептах ее кухни, не стесняясь, поглаживали ей щеки, «как куколке» (им нравилась ее пока еще не огрубевшая здесь кожа), учили ее говорить на своем языке... Казалось даже, что и Амера они не ревнуют к выбору жены не из «своих» невест... Они поведали Марии и грустную историю жизни его матери, которую женщины деревни поддерживали в трудные для нее годы, чем могли, принося ей кто хлеб,



кто муки, кто чашку драгоценного здесь кофе, кто дров, пользуясь и ее гостеприимством, и ее советами...

*У женщин здесь была своя солидарность, порой даже вопреки вражде мужчин из разных семей...* В привычках местных женщин было и не очень церемонное представление себя «новеньким», — здесь просто целовались друг с другом, и Мария, таким образом, перецеловалась почти со всей деревней. Потихоньку научилась и спать, и сидеть на куче циновок, есть со свекровью за низеньким столиком, привыкла ко вкусу козьего молока, местной пищи, ходить за водой, ухаживать за огородом и садом...

И постепенно резкость контрастов прошлой и новой жизни смягчалась; стирались и какие-то, порой еще звавшиеся назад, воспоминания. И для нее, и для Амера в Игиль-Незмане оживало давнее правило местной жизни: **«Когда кабилы возвращаются в свои горы после долгого отсутствия, время, проведенное где-то вдали, должно казаться не более, чем сном. Плохим, хорошим ли, но только сном. Реальность обретается только здесь, в родной деревне»** (с. 12)<sup>6</sup>.

И пусть она стоит на этой неблагоприятной, сухой, каменистой земле, где люди с трудом выращивают свои оливы, живут в вечных заботах об урожае, но именно эта земля, эти сланцевые горы, этот вечный труд и борьба за существование взращивают гордость человека за свои усилия сохранить дарованную ему здесь жизнь, пусть не сладкую, не богатую, но свою, собственную, дающую вечную надежду, хранящую память о предках, их веру, их понятия доблести и чести, их наследие, передающееся из поколения в поколение: эти горы, небо над ними, **саму способность людей выстоять на этой земле**. И пусть здесь всё «еще больше постарело, сморщилось, почернело» (с. 13), — как показалось Амеру, — все-таки что-то потихоньку и менялось:

---

<sup>6</sup> Везде подчеркнуто мной. Это — моя «педадь» для выделения особо значимых, на мой взгляд, смыслов. — С. П.

появились новые домишки на месте совсем разрушившихся, разрослись деревья, молодежь переустраивала жилища, доставшиеся от дедов... Но сам *способ жизни* пока еще не был наполнен «новыми веяниями». (Попутно замечу, что писатель меньше всего сосредоточен на проблемах политической истории страны, и присутствие в Алжире французов почти не ощущается в романе, словно *изолировавшем* этот глухой уголок Кабилии от «внешнего мира», хотя сама по себе тема *эмиграции* и вернувшихся на родину эмигрантов уже содержит эту особую составляющую жизни рисуемого «традиционного общества»...)

Отметив кое-какие перемены, пусть даже не к лучшему, Амер на следующий же день по приезде понял, что он — «дома». Что его *приняли*, впустили туда, несмотря на давно утраченные с этим миром связи. И это ощущение ему нравилось, словно прошлое, сама жизнь, сама Земля набросили на него «какую-то невидимую сеть» (с. 13), окружили атмосферой *доверия*, заново родили утраченное чувство «*enfant du pays*» («сына своей земли» (с. 13)). Оставалось лишь заново научиться жить, как «*все они*», — а это означало и ответить на *их* ожидания, связанные с его приездом: потратит ли он все привезенные деньги на благие дела, поможет ли людям, или только построит себе дом да откупит свое поле... Стариков, к примеру, не волновали ни объем его багажа, ни его европейский костюм (здесь все быстро теряло свой непривычный для этих мест лоск), ни слишком «белый цвет кожи» и его, и его жены (здесь всё быстро «чернеет» под палящим солнцем и суховеем)... А вот сумеет ли он занять «*достойное*» место, или заживет «*незаметно*», как «обычный феллах», уходящий на рассвете обрабатывать свое поле, свой клочок земли?..

Амеру было приятно осознавать, что на него, вернувшегося к «родным корням», люди возлагают какие-то надежды. Семейства здесь, в горах, часто соперничали, враждовали даже, но старейшины старались поддерживать «общинный»

дух, заботясь **о вкладе каждого в «общее дело»** (будь то мечеть, иль школа, иль больница, иль строительство дороги).

Собрание жителей деревни и решало такие **«общие дела»**. И вот Амер становится заметной теперь на этих собраниях фигурой... Он тоже почувствовал какую-то свою *значимость*, ощутив *прилив счастья*: он обрел в этом, *своем мире*, другую меру человеческой ценности, и эта — **истинная** — мера «вещей и людей» была ему по душе, выводя его из бесконечного круга *«второсортности»*, где длилось так много лет его существование на Западе. Выводила на **собственное место** на этой земле, заставляя его не просто выживать, но даже что-то «творить», замысливать что-то такое, что раньше казалось не по силам... «И как мог он забыть о своей деревне, о родном доме, о поле, о друзьях? Как случилось, что и они забыли о нем, что отца похоронили другие люди, а мать перестала уже ждать возвращения сына? Амер теперь упрекал себя во многом, но решил заново обосноваться, прочно ступить на эту землю, окунуться в ее реальность (*«reprendre pied dans la réalité»*), — встать снова на ноги и начать жить сначала (с. 15–16).

### **Так обреталась забытая родина.**

...Она, родина, конечно, так или иначе присутствовала там, на **чужбине**, в облике соотечественников, их речи, их привычках готовить пищу, разводить очаг прямо в домах, в самодельных печурках, в их сообщениях о полученных из Дома весточках, в их рассказах после побывки в родных краях... Они, как и он, в поисках лучшей доли обосновались на Западе, но многие жили только **мечтой о возвращении «навсегда»**.

Но Амер не задумывался о судьбе оставленных там, за морем, родителей, — новая жизнь завертела и закрутила его, и его старики, знавшие «по слухам», что он жив и здоров и даже неплохо зарабатывает, решили, что он **«потерян»** для них.

Сейчас, возвратившись, Амер узнал, как было трудно выжить матери, сколько унижений претерпела она, старая Камума. Такое не забывается быстро, но Амер надеялся «на прощение»: никогда не поздно «поправить ошибки молодости» и стереть из памяти матери «злой период» ее жизни... Но «потерянный сын», возникнув, словно из небытия, даже не столько был радостью для Камумы, сколько новым ее напряженным ожиданием: — он жив, возможно даже и богат, **но что теперь их всех ждет?** Какие события развернутся? *У нее были для этого основания*, хотя теперь «любые изменения казались к лучшему»... (с. 17).

...Происходя из рода когда-то знатного, но обедневшего, выданная в раннем возрасте замуж, испытав тиранический гнет свекрови и свекра, похоронив всех своих детей, кроме Амера, живя на подаяние после смерти мужа, продавшего землю ее двоюродным братьям (в деревне многие состояли и в близком, и в отдаленном родстве друг с другом), Камума терпеливо ждала **«поворота судьбы»**, вознаграждения... Но в глубине души жила обида. Жила потихоньку занимавшимся *огоньком мести*. И это было вполне нормально для старой кабилки, в которой понятия **«земли»** и **«чести»** соединены неразрывно. Кузены, налетевшие, как вороны, на скудное достояние семьи Каси (мужа Камумы), почти разорившейся, казались многим здесь людьми **«недостойными»**. Но ведь и сын мог помочь, да оставил мать нищенствовать... Вот и получалось, что выжила она благодаря подаяниям женщин, которые, пользуясь здесь относительно свободой, могли собираться на свои «посиделки» в одиноком доме Камумы, поверяя друг другу свои секреты и маленькие тайны. Ведь у источника, куда ходили они по воду, встречаясь и судача друг с другом, «ушей» было куда больше...

Но случались и суровые зимы, и соседки редко забегали к ней, не приносили ни дров, ни кофе, ни лепешек, и в доме не зажигался очаг, не было горячей пищи, приходилось по-

рой толочь желуди, чтобы как-то продержаться... Мало-помалу она привыкла к лишениям, высохла, но не сдавалась, ждала... «Бог рано или поздно подаст» (с. 28). В Кабилии «бедность, как и богатство, надо уметь скрывать, не выставлять на вид» (с. 29). Поэтому здесь редко встречаются и те, кто на жизнь жалуется, и кто бахвалится. «За все надо платить. И настоящий бедняк, — если он человек с достоинством, — отмечает автор, — это тот, кто умеет ждать» (с. 29). Конечно, ожидание не может быть вечным, может и смерть прийти; но в таком случае, — полагают кабилы, — уже «сама смерть есть избавление от нищеты, а значит, и некоей за всё компенсацией»... (с. 30) И возвращение «потерянного сына» было, действительно, похоже на благодать. *Хотя прошлое не забывалось.*

Сын был готов к тому, что встретят его здесь не с распростертыми объятьями, — «общественное мнение здесь сурово» (с. 41). Но надеялся, что со временем сумеет «показать себя», и соотечественники простят его столь долгое отсутствие... Беспокоила больше мать, несмотря на приветливость и расположение к его жене, спросившая его однажды с тревогой: «Ты сказал, что женат на ней. Что это значит, ты подписал какие-то бумаги?» (с. 39). Получив утвердительный ответ, она знала теперь, что сын **нарушил древний обычай**, введя навсегда в дом «чужую», не свою, не здесь, в Игиль-Незмане выбранную женщину... И хотя времена менялись, и французы жили давно «по соседству», в том числе и поселившиеся в Алжире другие европейцы, и даже родившиеся здесь, — они были не в диковинку, — но обычаи кабиллов оставались в силе, и в сердце матери закралась еще одна печаль: у сына могла бы быть другая жена, другая судьба, *согласная с правилами их жизни...*

Мария же продолжала с улыбкой и упорством «заполнять» чужой дом своим присутствием, настойчиво учила язык, приноравливалась и к свекрови, и к окружающим. «L'épreuve d'adaptation» (с. 34) — «испытание адаптацией»

происходило для нее гораздо лучше, чем мог представить Амер. Девушки и женщины деревни приняли его жену в «свой круг», посчитав ее мужа давно и безнадежно «потерянным» для них. Конечно, кто-то еще и ворчал с подозрением: «Посмотрим, посмотрим, как выдержит она здесь нашу зиму!.. Еще пожалеет, что уехала из Франции»... (с. 36). Но в целом, все с интересом и внешне благожелательно наблюдали *за развитием событий*. Желали счастья и Камуме, зная, что та всю жизнь мечтала о внуках, способных «согреть ее старость». «Теперь она может жить спокойно», — полагали люди (с. 37).

Ну а те, кого заботило, будет ли Мария, как все они, благочестивые мусульмане, соблюдать *их пост*, знали, что до месяца Рамадана еще далеко... «В общем, — заключает автор, — казалось, что «Мадам» была принята, скорее, с симпатией. Казалось даже, что наши женщины ее жалеют больше, чем своих» (с. 37). Ну, а что до трудностей жизни, здесь каждый знал, что должен терпеть то существование, «которое *уготовано судьбой*»... (с. 39). Это был, скорее, опыт **горькой** жизни. Но кабилы, особенно женщины, не спорили с ее правилами.

Мужчины Игиль-Незмана не размышляли об «адаптации». Они знали, что Амер прибыл сюда «занять свое место», хотя кто-то и посчитал его женитьбу на француженке «делом скандальным» (с. 50), — они были уверены, что **«правила жизни» менять нельзя**, даже если «времена меняются»: «судьба все равно отомстит» горькой долей...

Молодежь даже завидовала. Но Амер не обольщался. Главное, как сказал ему один из старейшин деревни, — это **«восстановить свое имя»** (с. 40). А оно *было запятнано*, и не только нищетой его родителей. В прошлом его была еще *одна история*, но ее-то он и хотел забыть, окунувшись с головой с новые заботы по устройству своего хозяйства, по откупу земли, права на которую надо было восстановить, сохранить и передавать дальше, — детям, внукам. «Пусть

выведет тебя Господь на правильный путь, — учили старики» (с. 40), и Амер, поняв упрек, старался жить *по правилам*.

Хотя долгая привычка жизни на Западе, конечно, выделяла его на фоне соотечественников. И они, уважая его «другой» опыт, частенько прислушивались к его советам, когда они касались общих для всех проблем благоустройства деревни...

...Кузены перепродали ему землю, признав его право на владение. А для Марии, присутствовавшей при этой «сделке», наступал «новый час» ее жизни, обретавшей новый смысл: она вместе с мужем становилась полноправной *хозяйкой*, и эта, новая роль нравилась ей, испытавшей в прошлом немало унижений, хлебнувшей нищеты и горя у себя на родине...

...Как полагали эмигранты, жившие в маленькой гостиничке, которой владела ее мать, Мария была ее незаконнорожденной дочерью. И отцом считали не мужа хозяйки, поляка Андрэ, но кабила Рабаха, давно жившего во Франции и помогавшего соотечественникам устроить свои дела, найти работу... Мария рано ушла из дома, скиталась, попала в руки сутенера, безжалостно обращавшегося с ней, родила ребенка, который прожил недолго, оказалась без средств, работала уборщицей, судомойкой, вела жизнь подневольную, радостей знала мало, пока не встретила случайно Амера, помнившего ее еще девочкой, сидевшей на коленях у матери своей, Ивонны, в гостинице, в которой жил когда-то он сам. Мария полагала, что счастье, давно отвернувшееся от нее, потихоньку возвращалось. И теперь на этой, пусть нещедрой, но ставшей по закону «своей» земле, ощутила его, это «счастье». Она знала, что у нее — твердая воля и много сил, чтобы их хватило на достойное существование. Она была, действительно, «*suffisamment armée pour la vie*» (с. 45), «достаточно вооружена», чтобы **жить дальше**, и обретенная здесь земля словно помогала

ей. Она даже нашла эту «далекую Кабилию» «очень красивой», а «свой», Амером откупленный участок земли, — просто «превосходным»: два небольших треугольных отрезка, разделенных ручьем... Но на них росли оливы, несколько апельсиновых деревьев, немного и других, дававших небольшой урожай черешен и инжира, совсем мало виноградной лозы, да, в основном, кактусы. Но «Мадам» с удовольствием ходила, как и все, в «свою рощу», обрабатывала землю, боролась с сорняками, восхищаясь всем этим «своим», неожиданным «богатством». Всё, обретенное в Кабилии, — и дом, и земля, и люди, — казались «богатством» в сравнении с той «*vie de chien*» («собачьей жизнью»), которая была в Париже...

**Та бедность** — в убогой квартире, в сомнительной репутации квартале, среди тех, кто презирал ее, пользовался ее молодостью, ее необычной красотой, беззащитностью, платил ей гроши, унижал, намекая и на ее «незаконное» рождение, и ее ребенка (она была несовершеннолетней), и на ее собственное «смутное» прошлое (отец — «араб»!<sup>7</sup>), **та бедность** и нищета были, действительно, бедностью и нищетой. А здесь, в Кабилии, она зажила «богато», просто почувствовав и как-то сразу обретя и свое *человеческое достоинство*, и свое право и возможность на *нормальную жизнь*...

...У Амера же были свои причины искать Марию после долгих лет скитаний, но это — особая история, о ней речь — впереди, хотя она вся в прошлом, в *истоке причины их женитьбы*, а сейчас важно *настоящее* (недаром с него начинается повествование), обретение Марией ее «королевства», в котором она оказалась, подобно Золушке, и где все показалось ей созданным «по ее мерке», где вдруг пригодились и ее упорство выживания, и ее здравый смысл, и ее

---

<sup>7</sup> Французы всех североафриканцев, без этнических различий, называют «арабами» или «норафами» (nordaf's), хотя среди них заметное большинство — именно берберы из Кабилии (сегодня их 1 млн только во Франции). Эмиграция из Алжира началась еще в 10-е годы XX в.



трудолюбие, и ее независимый характер, и все, «чем может гордиться любая девушка из народа» (с. 45). Из существа, жившего почти в «рабской униженности» *там*, на своей родине, Мария как бы становилась внезапно в «первый ряд» *здесь* жителей, заметная и своей красотой, и доброжелательностью. «С унижениями покончено» (с. 46), — вот сегодняшняя *опора* Марии, изменившая и ее самовосприятие и мироощущение: она считала, что «выиграла», вернула себе счастье (с. 46) приехав на *эту землю*, где обрела свое человеческое достоинство.

Молодая женщина не была тщеславна, но ее новое положение доставляло ей удовольствие, и даже казалось, что свекровь постепенно успокаивалась, как и муж, старавшийся *забыть о прошлом*.

Камума, действительно, с удовлетворением наблюдала, как «чужая кровь» постепенно *совмещается с этой землей*», и что в планы невестки не входит ни перепродажа их родового владения (что по закону, если не будет наследников после смерти мужа, было возможно), ни скорый отъезд обратно, ни безделье. Камума внимательно наблюдала за тем, как Мария старалась понять *законы их жизни*. А та спокойно уверяла ее: «Я хочу быть *среди вас*. Я — на *своем месте*» (с. 46).

Амер, знавший на своем опыте жизни, как трудно быть «чужим», как нуждаются в любви и понимании те, кто оказался волею судеб на чужбине, с напряжением следил за тем, как Мария и его мать строили свои отношения. Жена как-то сказала ему, что сама она «спокойна», зная, что «у нее есть мужчина, способный, в случае чего, оградить, защитить ее». Но когда она спросила его, как будет по-кабийски «*мама*», и обратилась потом к Камуме, назвав ее именно так, то Амер понял, что Мария **решила** уже эту трудную для всех проблему — «*свое*» и «*чужое*»...

Но путь к этому был слишком долг. И прошлое не так легко отступало. Особенно если в нем было то, что основные участники событий **хотели забыть...**

...Повествование Ферауна течет медленно, плотно, оно, начинаясь как бы уже почти «с конца» событий, постепенно спрессовывает пружину фабульного действия, потихоньку прижимая «верхний» виток (изначально) к «нижнему», выдавливая капля за каплей воспоминания о прошлом из памяти героев, наполняя страницы книги событиями давними, накладывая спирали пространства и времени, накапливая энергию сжатия этой «пружины», чтобы в конечном счете эпически-спокойное «бытописание» взорвать трагической развязкой сюжета, поначалу формировавшегося в интонациях умиротворения.

Но Кабилия — **край горный**, и народ, живущий там, привык и к неожиданно резкому ветру, и грозному сходу снежных лавин, и бурным потокам весенних вод, и к испепеляющему зною солнца, и полыханию лесных пожаров. И словно сливаясь с непредсказуемой природой этого края, повествование Ферауна уводит порой читателя на крутые и извилистые тропы жизни его героев — детей этой горной страны, которую не обошли и ветры Истории...

Амер, вернувшись из эмиграции, конечно, понимал, что его земля — край нищий и отсталый от другого мира, но что менять здесь жизнь — трудно, — слишком много упорства в сохранении людьми **ее основ**, слишком крепки корни ее традиций, уходящих в глубь этой земли, в прошлое ее народа. «За текстом» романа — в этом прошлом остались все пережитые Историей захваты страны, нашествия чужеземцев, их господства, менявшие политические устройства, смешавшие этносы, их культуры, насаждавшие новые религии. Но (в подтексте) романа), оставшееся как лейтмотив Истории народа, — его стремление *самосохраниться*, выжить, уберечь свои «корни». Возможно поэтому, долго отсутствовавший здесь Амер удивился, что «морщин» и

«трещин» на родной земле стало еще больше, что она только «постарела», «подряхла», но «не выросла»... (с. 48). Подобно кряжистым оливам, покрывающим ее склоны, от черных стволов которых веет печалью...

Амеру, как дереву, когда-то вырванному с корнем, теперь предстояло укорениться заново. Но он помнил еще боль «отрыва» своего от этой земли, когда хмурым зимним утром (шел 1910 год!) он покидал деревню. Помнил, как плакала мать, как сдерживал слезы старый отец, внушая сыну, чтоб тот не «боялся чужбины»: «Святые этой земли не покинут тебя там...» (с. 50). Возможно, старый отец и понимал, что надо кому-то *прорвать круг нищеты*, зависимости от земли, которая не всегда была способна накормить своих детей. Но только при условии сохранения с ней связи: потому и напутствовал сына с этой уверенностью в перемещение его на чужбину **вместе с добрыми духами этой земли, охраняющими ее, согласно местным верованиям, и защищающими того, кто верен ей...** Помимо Аллаха, здесь издавна еще веровали и в других, своих, местных «святых», способных избавить от горя, осенить благодатью...

Но Амер «пересек море» только со скудным своим багажом, «да парой здоровых рук», как и все его соотечественники, уезжавшие в чужие края на заработки. Он привык там к тесным каморкам, где поначалу жил вместе с другими эмигрантами, обслуживая их, кухаря, стирая, убираясь, а потом и к жесткому графику работ на угольной шахте, куда его, подростка, устроил Рабах — двоюродный брат его матери, давно живший и работавший во Франции, тогда остро нуждавшейся в рабочей силе эмигрантов (да и по сей день не избавившейся от этой своей необходимости). Шахтерам платили прилично, и несмотря на адский труд, опасности, подстерегавшие в мрачных туннелях и рудниках при взрывах пород, жизнь нравилась Амеру, — он ощущал здесь особую свободу — распоряжаться собой, своим досу-

гом. Знал, что будет «продавать себя» — свой труд, но зато будет радоваться тому, что после работы сможет одеть «чистую и приличную» одежду, поесть досыта, а по воскресеньям и вкусно... Для молодого человека открывался и другой, ранее неведомый ему мир, — удовольствий, развлечений; границы прежнего, патриархального, однообразного бытия раздвигались, впуская его туда, где *не властвовала традиция* строгого соблюдения древних обычаев, где **власть старших** кончалась, когда вместе со своими друзьями за столиком в кафе он позволял себе «пропустить» стаканчик-другой вина... Среди его соотечественников, конечно, не все поддавались соблазнам западной жизни, копили деньги, возвращались в Кабилию, потом приезжали снова, — начинать всё сначала: работать, копить... Но кто-то и не возвращался: заработанное позволяло обустроиться на родине, обзавестись семьей и остаться навсегда. Но кто-то и эмигрировал снова, чтобы содержать многочисленное семейство<sup>8</sup>... На «побывку» же домой, здесь это называлось «каникулами», отправлялось большинство. Но Амер никогда. Он, как и Рабах, который ему покровительствовал, привил вкус к «местной» жизни, к вину, к удовольствиям, к женской любви, здесь доступной и без особых церемоний, о родине почти и не вспоминал. Однажды решившись, «стиснув зубы и с болью в сердце» уехать с Родины, он эту свою «авантюру» — эмиграцию на Западе — сносил довольно легко, пережив разве что первое потрясение от вида огромного города, грохота вокзала, метро, темных тупиков и длинных мрачноватых улиц, где стояли узкие и высокие дома-гостиницы, в которых было много людей, говоривших на его родном языке...

Амеру даже показалось, что здесь собрались все жители его деревни. Но эмигранты, найдя работу, быстро расста-

---

<sup>8</sup> И по сей день кабилейская эмиграция и ее представители уже во втором и третьем поколениях — самая многочисленная во Франции. Материальная поддержка оставшихся в родных селениях родственников всегда играла и играет особую роль в жизни горцев.

ются. Повезло и Амеру, которого «дядя Рабах», хорошо говоривший по-французски, а потому работавший еще и посредником по найму рабочей силы, взял с собой, в северный городок, где Амер и приучался постепенно к новой жизни, и стал, как и другие эмигранты, шахтером. Рабах, дальнее родство которого по матери (он был сыном ее дяди по отцовской линии) все равно для кабилов весьма значимое, ибо оно стягивало их **«кровными узами»**, к «племяннику» своему относился по-отечески, опекал, защищал, учил, наставлял, что для юного, наивного, легко уязвимого «новичка» было существенной помощью. И Амер был ему благодарен, и через несколько месяцев уже почти забыл, откуда приехал. Все вокруг казалось теперь красивым и значительным, не смущали ни теснота эмигрантской каморки, ни поначалу унижительная для мужчины работа по обслуживанию соотечественников. Время бежало быстро, и когда и его взяли в шахту, он «расцвел» окончательно. Тело становилось мускулистым, кожа огрубела, но трудная работа заставляла только гордиться собой, и он не чувствовал усталости. Ему тогда внушали, что в шахтах работают «настоящие мужчины»...

В маленькой гостинице, где они квартировали, хозяйкой была Ивонна, с которой в холле, где было кафе, часто посаживали многие эмигранты, Амер в том числе, но чаще других — Рабах. У Ивонны был муж, поляк Андрэ, работавший вместе с Рабахом в шахте, в одной бригаде, куда взяли и Амера. Маленькую девчушку, дочку Ивонны, которую эмигранты называли «феей», нянчили, угощали, баловали, вспоминая своих детей, тайно считали «дочерью Рабаха»... Вечно угрюмые, в чем-то друг друга подозревавшие, недоверчивые земляки, сохранявшие и здесь, на чужбине, свои «кланы», всегда озабоченные только заработком, завидовавшие друг другу, словно «просветлялись», «очищались» при виде этого ребенка, объединялись, смягчались в своей любви к нему. Рабах, казалось, не обращал

внимания на «сплетни», недолюбливая вообще своих соотечественников, считая их жадными и «не умеющими жить», как все «нормальные» люди... На вид спокойный, грузный Андрэ всегда молча пил пиво и не бросал «презрительных взглядов на «горцев», как Амер, любовавшийся своими «мускулами» и не понимавший «худобы» и «черноты» своих вечно во всем себе отказывавших земляков. Их лишения, их терпение, убогость их существования на чужбине не трогали его, считавшего, что люди эти **«просто не хотят менять своей прежней жизни»**... (с. 61). О «странном» сосуществовании Андрэ, Рабаха и Ивонны Амер не задумывался вовсе. Рабах только заметил как-то, что к «этой даме» он привозил в гостиницу клиентов еще до ее знакомства с Андрэ... А что до «ее дочери» Марии, то малышка вроде бы особо и не интересовала Рабаха...

**Амер и не подозревал, какой удар готовит Андрэ.**

На шахте Амер должен был по его приказу отцеплять пустую вагонетку, отправляя ее вниз, и прицеплять наполненную углем, пришедшую по рельсам наверх. Вагонетку вызывал звонком снизу и принимал внизу, в конце туннеля, Рабах. Обычно звонок раздавался вовремя (сигнал для Андрэ), и действие вершилось в привычном для всех ритме. Уголь, добытый внизу, разгружали, и вагонетка снова катилась вниз... В тот день Амер вдруг, в обеденное время, когда обычно шахтеры, поев, позволяли себе и вздремнуть немного, получил приказ от Андрэ отправить вагонетку вниз. Он **не слышал звонка**, но Андрэ объяснил ему, что звонок уже прозвучал, а Амер, видимо, спал и пропустил сигнал Рабаха... Амер удивился, но приказ выполнил. И отправленная им вагонетка раздавила спавшего на рельсах Рабаха...

Тогда Амер понял, что Андрэ отомстил сопернику. Он даже назвал Андрэ «преступником», но тот невозмутимо ответил, что формально вагонетку отправил Амер, пригрозив сказать об этом в случае «разбирательства дела»...

Все понимали, что к эмигранту-«арабу» будут в любом случае относиться не так, как к «белому» Андрэ. (Поляков-эмигрантов в те времена на шахтах Франции было не меньше, чем североафриканцев.) Суд принял во внимание «смягчающее вину» обстоятельство: во-первых, Андрэ уверял, что **сигнал прозвучал**, во-вторых, у Амера не было оснований убивать родственника, **проливать «кабильскую кровь»** (с. 63). Словом, Андрэ сумел *«дело об убийстве Рабаха»* уладить, «замять», и все предстало как *«несчастный случай»*...

Но Амер был не просто удручен и опечален: его охватил и настоящий, может быть впервые здесь испытанный **страх**: люди из Игиль-Незмена могут всерьез подозревать его в убийстве, никто из них не станет разбираться, был сигнал или не был, — главное, *Рабах раздавлен вагонеткой, отправленной рукой Амера*... А игильнезменцев в городке было немало. **И все они знали, что отныне «честь» того семейства, к которому принадлежал Рабах, должна быть защищена. И кровь Рабаха должна быть смыта кровью его убийцы. Таков был закон той земли, откуда здешние кабилы были родом**... Так учили «предки», и они не простят, если убитый не будет отмщен, а **«их суд»** может даже и выше, чем суд Господен... Оттого испокон веков враждуют на этой земле разные семейства, даже порой состоящие в дальнем родстве. Амер знал этот **закон своей земли**, а потому решил с шахты бежать. Сел в поезд и уехал подальше, почти к границе с Германией... Но в поезде уже говорили о начале мобилизации — приближалась Первая мировая война. 2 августа 1914 года Амер сошел в Аррасе. Но там уже стояли немцы... Начались его скитания, он пытался вернуться обратно, узнать, удалось ли похоронить Рабаха на родине, отправив его тело; что стало с Ивонной и ее дочкой, но никого не нашел. Все куда-то спешно уезжали, эвакуировались, эмигранты пытались вернуться обратно... Амер проел и пропил последние деньги, ночевал в са-

ду на скамейке. Там его и встретил один из его соотечественников — Рамдан. Он знал об убийстве Рабаха, просил Амера честно все рассказать, понял, что вины его прямой нет, хотя он и струсил в суде и не свидетельствовал против Андрэ... *Но получалось, что все-таки Амер как-то причастен ко всей этой трагедии, ибо «трусость» его для кабилов — преступление не меньшее, и кровь Рабаха, обогрившая шахту, все еще «стучит», требуя мести...* «Ведь ты был самым близким ему человеком, — намекнул Рамдан. — И честь его была в твоих руках. А ты был согласен с ложным свидетельством. Готов ли ты теперь отомстить Андрэ?» (с. 64). Амер не знал, что предпринять, но среди тех эмигрантов, кто остался здесь, были и те, которые стыдили Рамдана, требовавшего мести. Говорили о войне, о том, что «во Франции другие нравы», да и о том, что время уже упущено, и уж если надо убить Андрэ, убивать его следовало тогда на месте, в шахте... (с. 65). Словом, страсти как-то поутихли, и все пришли к выводу, что **каждый из кабилов** мог бы отомстить за смерть соотечественника, если бы очень хотел, когда, к примеру, Андрэ пришел посмотреть на свою жертву... Вспомнили и о том, что друзья Рабаха не советовали ему «спать в шахте на рельсах»... Андрэ, видимо, знал об этой странной привычке друга своей жены. И поскольку именно он, **Андрэ, был «настоящим убийцей»**, то Амера постепенно оставили «в покое», тем более зная, что выполнить ему «свой долг» здесь, во Франции, где «арабов» не очень-то любят, почти невозможно...

Они знали, что главный их «долг» здесь — добывать хлеб для своих детей. И «поднимать голову», *требуя мести, здесь было излишне*. Надо знать «свое место», осознавать «свою нищету» и свою «беспомощность» (с. 66), — твердили некоторые, а кто-то даже заметил, что «вокруг — все богатые, образованные, сильные», и куда уж им, бедным эмигрантам, со своими *понятиями о «чести»*... Да и Рабах, в сущности, свою смерть заслужил: ведь Андрэ сам



защищал *свою честь*... Хотя очевидно было и то, что **честь Рабаха все-таки попорана его убийством. И остается не-отомщенной...** Круг «честь» «замыкался», и замыкался все-таки на Амере, о котором теперь говорили, что он «сам повесил себе этот камень на шею»... (с. 66).

Однако, разговоры соотечественников все больше сводились к «большой войне», которая была сейчас поважнее всего остального. Кто-то срочно собирался на родину, паковал чемоданы, кто-то собирался в Париж, подальше от границы, — газеты сообщали о наступлении немцев...

Патруль вылавливал всех «подозрительных». И Амеру не удалось избежать фронта, он был отправлен сражаться «с врагами Франции», попал в плен, побывал во многих лагерях для «перемещенных лиц», на каторге, испытал и голод, и холод, и унижения, и побои... И все-таки, хотя и похожий на скелет, выжил. Вернулся после войны туда, где началась его трудовая жизнь, зашел в гостиницу, где тепло встретился с Ивонной, увидел ее уже повзрослевшую, двенадцатилетнюю дочку, которая с удивлением смотрела, как мать тепло и радостно приветствовала Амера... Ивонна жила одна, об Андрэ никто ничего не знал...

Дальше жизнь продолжалась снова, на шахтах и стройках, без друзей и родных, без близких — «никто не согрел ему сердца». Кабилы говорят, что человеческое существование — это «сплошной бег с препятствиями», вечное «брыканье лошади судьбы» (с. 69). Что-то подобное происходило и с Амером, который после войны оказался совсем «чужим на празднике жизни», среди людей, охваченных «безумием обретенной свободы». Но о возвращении своем на родину и не помышлял — не было ни средств, ни уверенности в том, что **там** его ждут, скорее всего — забыли... С вновь прибывавшими во Францию соотечественниками не очень хотел сходитья: страна снова переживала подъем, ее разрушенному войной хозяйству нужны были рабочие руки, и наплыв эмигрантов был особенно велик, но Амер

их не любил, как и раньше. Их скудную жизнь, их «жадность», их особую замкнутость на себе, на своей общине, своих «кланах», их отчужденность от окружающего, их нежелание «включаться» в здешнюю жизнь, их вечное ожидание момента своего возвращения... «Собирая» немалые деньги на работах на заводах и шахтах, они словно влачили повсюду за собой свою нищету, и только уезжая обратно могли вздохнуть свободно. Амеру их жизнь на чужбине казалась «абсурдной», подобной жизни «вьючных животных», «рабочей скотины», не знающей кроме ярма ничего другого. Его тянуло, скорее, к тем, кто, заработав, мог «одним махом» промотать всё. Потом клял судьбу, менял местожительство, пока не обосновался, наконец, в парижском квартале Барбес, где на тесных и мрачных улочках стояли отельчики, в которых жил небогатый приезжий люд... Там было полно и североафриканцев, но Амер держался от них подальше, особенно от тех, кто говорил покабильски, сам выдавал себя за «европейца», особенно среди «черных», — благо, по-французски теперь он говорил свободно. А соотечественников побаивался. Особенно их разговоров о родной земле, о «долге» перед теми, кто остался там, о «чести рода», «семьи», о людях, которые *ждут там*... Тогда что-то жгло изнутри душу, становилось тяжело на сердце...

...Никто, конечно, не верил ему, что он — «француз», как не поверила и Мадам Гарэ, в маленькой гостиничке которой он остановился. Что делать «французу» здесь, в этом бедняцком квартале? Но разговорившись с Амером, за чашкой кофе поведавшим ей о своей жизни, Мадам Гарэ вдруг сказала, что знала и Ивонну, и Андрэ, и Рабаха... Знала всё и о трагической смерти последнего: ее муж был тогда полицейским в том городке, где работал Амер на шахте. Мадам Гарэ не испытывала особой любви к Андрэ и считала его виновником смерти «кабила». И она невольно

стала как бы связной между прошлым Амера и его настоящим, оказав услугу и его будущей жизни.

Рассказав, хотя и не сразу, своему клиенту о том, что за прошедшие годы многое изменилось в жизни «той семьи», что война разорила Ивонну, что Мария, повзрослев, ушла из дома, претерпела много жизненных невзгод, скиталась по разным городам, потом осталась в Париже, но счастье ей так и не улыбнулось... Для Амера этот рассказ Мадам Гарэ перевернул всё в душе, где давно жила и смутно давила его вина перед Рабахом, перед «своими», но он все загонял это чувство вглубь, не задумываясь, и вот, в одночасье, он решил «всё вернуть», всё поставить на свои места, за всё рассчитаться и начать жить по-новому. А это означало найти Марию, ведь если она в самом деле была дочерью Рабаха, значит, — и его, Амера, дальней родственницей, и женившись на ней (а он помнил ее красавицей-девочкой), он **искупит свою вину**, отомстит за жертву, *спасет «кабийскую честь»*... Он искренне захотел *«всё поправить»*, хотя прежде и не очень-то уважал «кабийскую жизнь» (с. 72). По словам Мадам Гарэ, как-то увидевшей Марию, оказывалось, что та — в руках «какого-то негодяя», «грязного типа», использовавшего ее молодость и ее красоту. Но с тех пор, как уверяла Амера хозяйка гостиницы, прошло два года, и многое могло измениться... Долго не давая Амеру адреса, где она повстречала Марию, Мадам Гарэ все присматривалась к нему, пока не убедилась в искренности его намерений. И вот однажды, пойдя на место их встречи, Амер увидел Марию в том же самом кафе, где поведала она Мадам Гарэ свою печальную историю.

Похудевшая, почерневшая от горя, плохо одетая, Мария, узнав Амера и даже обрадовавшись ему, стала его новой путеводной звездой. Для него началась «новая эра» жизни — «plus digne» — «более достойная» (с. 74). Первый раз он ставил перед собой благородную цель и не испытывал никакого страха перед будущим...

«Можно написать целый роман, — заметил автор, — о том, как они стали жить вместе в Париже, какие трудные и окаянные дни пережили они, как вели вдвоем борьбу за себя, за свой существование, за то, чтобы добыть, наконец, себе покой и немного счастья, хотя бы на оставшуюся жизнь» (с. 74). Но Фераун **этот** «роман в романе» не написал, а просто подвел итог парижского этапа жизни своих героев, сказав только, что сердцем Амера в конечном счете овладела *«необъяснимая глубокая тоска по родному краю»*, и эта тоска заставила «молодых» покинуть Францию, чтобы ответить на «таинственный и властный **призыв Своей земли**» (с. 74). Отныне уже ничто не останавливало Амера; он сам устремлялся на встречу со своей судьбой, зная, что люди его края могут и не простить его...

...Эта земля жила особой жизнью: конгломерат различных родовых «кланов», больших, разветвленных семейств, время от времени еще враждовавших друг с другом, но время от времени и находивших возможность для мирного сосуществования, хранил «заветы предков», — общие для всех кабиллов традиции и право каждого свято охранять «честь» своего рода, если кто-то покушался на его «достоинство», на его владения, на его «доблести», сохраненные *памятью о прошлом...* Племя Аит-Хаммушей гордилось своим прошлым по заслугам. Именно у них, по преданию, был предок, который первым **освоил** эту землю, проведя на ней первую борозду и построив первый дом на склоне горы... И до сих пор, каждый год, после первого дождя в октябре, один из потомков, принадлежащий роду Аит-Хаммушей, выводил своих быков, и плуг его проводил символическую борозду, после чего все остальные жители Игил-Незмена, феллахи, могли начинать полевые работы. У каждого рода была «своя мифология», свои легенды, передававшиеся из поколения в поколение, как пишет Фераун, — но Аит-Хаммуши были почитаемы особо, им было чем гордиться. А еще у них была особая ветвь, которая достиг-

ла своего апогея славы в конце XIX в., когда во главе рода стояли три брата: Слиман, Саид и Али. У Слимана было пять дочерей, среди которых — и мать Амера, Камума. Но сыновей не было. Землепашец, умевший предсказывать погоду, выращивать прекрасный урожай, Слиман был мирным человеком, много работал, мало ел, скопил для дочерей приданое и сумел выдать их всех замуж... У среднего брата — Саида, было, напротив, двое сыновей — Рабах, похожий на своего удачливого дядю, и младший брат, названный Слиманом в честь к тому времени уже скончавшегося брата их отца. Третий брат, Али, был бездетным. Но любимцем и баловнем всей большой родни. Ему с детства прощали все шалости, но Али был не глуп, и когда подростком одним из первых кабиллов отправился во Францию, «поглядеть на мир», и первым из деревни совершил хадж в Мекку. У него повсюду было полной друзей, «важных» знакомств. И он первым здесь, в Игиль-Незмине, добился открытия первой «мавританской кофейни», — тогда это в Кабилии было в диковинку. Но люди, мужчины, конечно, стали иметь возможность вместе делить досуг, собираться, спорить, решать совместные и даже домашние дела, — и кофейня в этом горном селении стала местом любимым и поначалу процветающим... Потихоньку обустроилась, обросла садом, обставилась по тем временам с большим «шиком» и было там всегда полно народу. Теперь, после смерти Али, от этого места остались одни руины, но об этом его «детище» старики вспоминали с теплыми чувствами (хотя и говорили, что Али наделал долгов и разорился). Все семейства, весь род Аит-Хаммушей постепенно как-то захирел. Умер и средний брат, Саид, оставив своих сыновей заботиться о своей судьбе самостоятельно. Рабах покинул деревню, уехав в эмиграцию во Францию, а Слиман остался жить на скудные доходы от земли, оставленной в наследство. Их дядя Али, уже разорившись, незадолго до смерти, узнав о гибели своего племянника Рабаха, решил,

вникнув в детали, что *во всем виноват был все-таки Амер, сын другой своей племянницы — Камумы*. Али не знал, что предпринять: с одной стороны, он понимал, что «честь рода» надо спасать, но, с другой стороны, Амер ведь тоже доводился ему «внучатым племянником, а потому надеяться на «кровную месть» было *неудобно, убивая члена своего же семейства...*

Но все Аит-Хаммуши еще больше невзлюбили Камуму, в свое время выданную замуж за Каси, представителя *соперничавшего рода* Аит-Ларби, и она давно жила заботами своего семейства... Младший брат убитого Рабаха — Слимман — был особенно жестокосерден к своей кузине: когда Камума осталась вдовой, без средств, без помощи сына, он за бесценок скупил ее землю и потом ничем не помогал, будучи от природы человеком желчным, злобным, некрасивым, неудачливым, да еще и бездетным... Но он был еще и достаточно труслив, а потому, поняв намек дяди Али, сказавшего перед своей смертью, что *«в их роду никогда не было трусов»*, больше всего боялся стать исполнителем закона **«кровной мести»**. Но, казалось, что вся родня, словно по молчаливому уговору, — ибо Амер был из их рода тоже, — желает только одного: чтобы сын Камумы никогда больше не вернулся бы в деревню, и тогда все «будет забыто»... Однако, Слимману пришлось все-таки дать обещание умиравшему Али **«исполнить долг»**, иначе — «божий суд, — сказал Али, — *а он не простит Слимману за неотомщенного брата своего...*». И вся дальнейшая жизнь его потекла в смутном ожидании чего-то ужасного. И так приходилось туго: Слимман все еще выплачивал долги покойного дяди, а сам с молодой женой перебивался с хлеба на воду. Жена же его — Шабха, была дочерью того самого Рамдана, которого повстречал Амер во время своих скитаний, и который знал **всю правду** о гибели Рабаха... Шабха была молодой и красивой, мужа своего терпела, вела хозяйство, стараясь соблюдать правила жизни замужних женщин и уважая своих

бедных родителей, нашедших для своей единственной дочери жениха из уважаемого в деревне рода...

Вернувшись в Кабилию еще во время войны, Рамдан пытался уверить своего зятя Слимана в *невиновности Амера* и отговорить от свершения «кровной мести», пытался «стать адвокатом» того, кто только выполнил приказ Андрэ — своего начальника... Но Слиман был в дополнение ко всем своим качествам и человеком, отличавшимся особой подозрительностью, и не верил ни Рамдану, ни Амеру, был одинаково ко всем враждебен и даже был зол на погибшего в шахте брата: если бы тот не уехал во Францию, может быть, и не зачах бы их род. Да и Амер, если бы не уехал, не стал бы этим «оружием в руках Андрэ», как уверял Рамдан, и не сослужил бы плохую службу своим дядьям... Права, видно, кабийская поговорка, — думал Слиман: «Растишь племянника, а оказывается, что это удав на твоей шее...» (с. 81).

Но время неумолимо шло вперед, Амер вернулся, и Слиман окончательно потерял покой. Казалось даже, что он заболел: избегал встреч с родственниками, пожелтел, иссох, словно сжигала изнутри его *«haine stérile»*, неутоленная ко всем ненависть. Он боялся встретиться лицом к лицу с Амером, боялся, *что все увидят*, что он, Слиман, лишен *«чувства чести» (le sens de l'honneur)* (с. 81) — главного атрибута здешних жителей, — в душе обзывал покойного старика Али «ханжой», свалившим на Слимана и **«долг отмщения»**. Ведь поначалу Али и сам не хотел карать племянника, но поразмыслив, посчитал его поведение *«недостойным кабила»*. Но кто полагал, что день исполнения «гнева людского» настанет так скоро?

Благожелательство, окружившее Амера и Марию, особенно дружба Шабхи — жены Слимана — с Марией, еще больше смущало душу Слимана, раздражало и пугало: он понимал, что *все знали*, что у Амера здесь есть *враг*, и все, делая вид, что *ничего особенного не происходит*, с напря-

жением ждали чего-то. И именно от Слимана. В какой-то мере это даже его «поднимало» в собственных глазах, возможно даже как-то «приобщало» к былой славе Али и всего рода... Но само *свершение* ожидаемого от него *поступка* «пригвождало к стене», «убивало» его самого, было выше его сил, заставляло лишь афишировать его и без того известную всем его «haine sterile»... Возможно, зная Слимана, эту особую его «стерильность», окружающие поуспокоились как-то, полагая, что Амер не очень-то рисковал, возвратившись в деревню... Да и Камума приговаривала, успокаивая сына местной, *странной*, правда, в устах матери поговоркой: «Бог не дает рогов ослу» (с. 83), намекая на трусость Слимана...

**Поговорка эта, однако, обернулась противоположным смыслом.**

...Камума, по одной ей ведомому *тайному умыслу*, а может, и **по тайному «голосу крови»**, а возможно и не в силах больше совладать со своей двойной обидой — и на злобу кузена, оставившего ее один на один со своей горькой вдовьей долей, и на «*потерянного сына*», забывшего о родителях, не вспоминаявшего о матери долгие годы, — осуществит свой хитроумный план, подтолкнув Слимана к «поступку», от которого он сам отступал, совершить который боялся и даже согласился на невыгодную для него сделку с Амером об обратной уступке земли, на которую тот претендовал... Устроив встречу наедине Амера и Шабхи, фактически бросив жаждавшую ласки, тайно завидовавшую счастью Марии жену угрюмого Слимана в объятия своего сына, которого старая кабилка считала достойным любви «*здешних*» невест и женщин, Камума обрекла Слимана на **свершение мести**.

...Свое «кузенство» с Амером Мария всерьез никогда не принимала, считая своим отцом Андрэ; Амера же по-своему ценила, любила, а за «кабийский подарок» — особю. Но она недооценивала одно из главных условий здеш-



ней жизни: *семья должна иметь наследников*, способных не только продолжать и укреплять род, но и сохранять его землю. Иначе, по закону, в случае смерти мужа, земля достается жене (бездетный Слиман недаром был зол на весь мир), а та может и перепродать ее, а именно так и кончается родовое владение, *так избыывает и сила рода, и сила земли*. После давней смерти ребенка Марии они с Амером пока не заводили своих детей. Камуму это беспокоило особенно, — откупленная сыном земля могла достаться «Мадам», а она — как-никак **«чужая»**. Свекровь Марии не волновали разговоры о том, что Рабах — ее предполагаемый отец. Больше волновала старую мать способность ее сына иметь детей: в Кабилии «молодые» уже прожили год, но «новостей» она от них пока не слышала. Мало ли что могло случиться с Амером во Франции?! Так кто же, как ни молодая красавица-кабилка, полная сил, могла стать подтверждением либо разрешением сомнений матери? Пусть таким — тайным и позорным — образом «соединенные» Амер и Шабха, но они избавят оба семейства (беспокоились и родители тоже пока бездетной Шабхи) от всех подозрений, хотя в случае со Слиманом все и так были уверены, что именно он — «виновник» бесплодия их пары, — «полный только желчи», он не способен иметь потомство... А потому, молясь за дочь, прося у Господа детей для нее, и старая мать Шабхи поддавалась на уговоры старухи Камумы. Договорившись между собой, каждая преследуя свои цели, сгорая желанием узнать «правду», они подстроили встречу Амера и Шабхи таким образом, что те с удовольствием продолжали свои тайные свидания. А Шабха и не противилась этому замыслу, искренне любя Амера, да и тот давно уже и сам приметил пришедшую к его жене новую ее «подружку» и не раз провожал ее домой, если та засиживалась в его доме допоздна... Время было такое, что Слиману часто приходилось уезжать по делам в город, и Шабха ночевала одна...

Но однажды их бурное свидание на «тайной тропинке» заметил сосед Амера, тоже его дальний родственник, — здесь родня селилась, как правило, на одной улице... И поползли по деревне слухи. Слимман долго не верил, но однажды и сам стал свидетелем измены жены, случайно подсмотрев за любовной сценой в новой, еще незаконченной, пристройке к дому Амера, и поразился хладнокровию Шабхи, спокойно возвратившейся домой, сказав, что «задержалась у Марии»...

Теперь уже откладывать исполнение «долга чести» (речь уже шла не только об убитом брате, но и о себе самом) было бессмысленно, и Слимману казался «вещим» увиденный недавно им сон, в котором явился дядя Али как напоминание о неизбежности «кровной мести»... И хотя дервиш, к которому отправился Слимман вместе с Рамданом за советом, «расшифровывая» его сон, сказал, что надо «положиться на волю Бога» (с. 91) и ничего не предпринимать, «не тревожить мертвых», Слимман решил действовать самостоятельно...

Да и соседи Амера, знавшие о его «тайной связи», Хосин и его «зловредная» жена Хемма, сведшая в могилу вторую жену мужа, бедную сироту, но, в отличие от Хеммы, принесшую ему наследника (а здесь «бесплодие» пары было «проклятием божьим»), без усталости сплетничали по всей деревне, словно подстрекая Слиммана отомстить Амеру. **Все жили теперь в ожидании развязки.**

Доходили слухи и до Марии, «пригревшей Шабху», восхищавшуюся «Мадам» и ставшую ее подругой... У ручья, где женщины без умолку обсуждали «происшествие», Мария видела косые взгляды, а иногда и понимала сказанные в ее сторону колкости.

Шабху оскорбляли уже открыто, но та стыдливо молчала, зная свою вину, — она была замужней... Мария же, соблюдая достоинство, старалась не реагировать на «доносы», отшучивалась: она раз и навсегда для себя решила ос-

**таться здесь, жить среди этих людей, ничем не отличаться, ужитья со свекровью, понять ее, их обычаи, язык их жизни.** Она сама **пыталась выжить** и видела, что **здесь** люди это умеют. А потому, *«покончив с прошлым»*, она приняла настоящее таким, каким оно представало перед ней. И искала теперь *«только покоя души»* (с. 94). И если еще совсем недавно жизнь здесь представлялась ей похожей на бессмысленное существование и борьбу за него *«муравьев»* (с. 94), то постепенно именно здесь, на этой земле, Мария ощущала свое возрождение, — как словно *«отмывается»*, слушивается с нее *«короста прошлой»*, *«стыдной и жестокой жизни»*, и это свое *обновление* она ценила больше всего. Обретая свою *«чистоту»*, она доверилась течению *другого времени*, заслужила, как ей казалось, *«уважение людей»* (с. 118), а это дорогого стоило... И люди вокруг теперь казались *«нормальными»*, разве что немного сдержанными, хотя и умели быть искренними и приветливыми... Без особых усилий она освоила хозяйство *«по-кабильски»*, без труда разжигала очаг, обрабатывала огород, мела двор, не поднимая пыли, научилась пользоваться ручной мельницей, когда молола зерно... Училась не быть тщеславной, довольствоваться малым, ценить каждый прожитый день. К ней тоже постепенно привыкали, кое-кто и поглядывал даже с тайным восхищением, хотя теперь не все разделяли ее смирение с изменой мужа: *«адюльтер»* здесь, как и любая другая измена, жестоко осуждался. Случались, конечно, и здесь какие-то *«казусы»*, но если *«секрет»* не был раскрыт, то всё обходилось, и молчание окружающих было свидетельством *«порядка»*, а он предполагал *строгость нравов*, соответствовавших суровости здешней жизни. А ее законы — *«доблести и чести»* — были превыше самой Любви. *«L'austérité des mœurs était le fait de la nécessité et de l'habitude. Ce qui importait le plus — c'est la vie, pas l'amour»* (с. 95). И эти главные проблемы — **жизнь, земля, продолжение рода** — вытесняли всё другое, были основ-

ными заботами людей, ценностями их существования, его смыслом. Но именно этот смысл, обретенный здесь Марией, ставший и ее миропониманием, теперь отодвинул, словно на задний план, историю Амера и Шабхи, словно и *не мешавшей ей вращаться в эту землю...* Ей уже давно казалось, что постепенно уходило из ее души ощущение «каникул», приближающих их с Амером возврат во Францию. И все больше укреплялось ее чувство, что «эта земля» послана ей в испытание **на ее человеческую прочность**. И если прошлое «умерло», «то будущее ее уже не пугало» (с. 100). А свойственный ей практицизм и здравый смысл, возможно даже некая «скроенность по мерке этих людей», что окружали ее (не тайный ли голос крови Рабаха?), подсказывали ей, что она «преодолеет круг нищеты», как и все другое, что **«горы сами защитят»** и ее, как защищали этих людей, и она **«устойт»**. «Она была реалисткой», — замечает автор (с. 174). И в общем, сам ее союз с Амером был хорошо рассчитан, «*bien raisonnable*», тем более, что покоился на обоюдном согласии и необходимости друг другу... Тот же «здравый смысл» подсказывал ей и теперь, что Амеру «по-настоящему» нужна была бы «кабийская жена», может быть даже именно такая, как Шабха, «стоящая, как и все кабилки, *ближе к жизни* — своей единственной школе» (с. 38), да еще такая умненькая, хорошенькая, сноровистая, настойчивая. Как-то даже Мария **сама** обратила внимание мужа на зачистившую к ним в гости молодую женщину, которую не останавливало недоброжелательство Слимана, ее мужа...

Амер и ценил, и уважал жену за эту ее способность многое понять, а потому, догадываясь, что Марии известно о его связи с Шабхой, даже и не думал о том, что в доме его возможен какой-то «скандал»: в любом случае, он никогда не разорвал бы своего союза с Марией. Избавившись от одиночества, от скитаний, от чужбины, и он стремился,

возмужав и многое поняв, обрести «свое место» на родной земле.

Так, оба, **уверенные в своей судьбе**, ничего не захотели менять в уже устоявшейся жизни. И Мария, однажды вволю поплавав, узнав об измене Амера, знала, что **не останется ОДНА**, и скорее всего люди, с которыми она уже «срослась», будут на *ее стороне*. И странное чувство охватило ее: она не ощущала себя «униженной», как это часто и гадко бывало с ней *там*, во Франции (с. 226). И вместо гнева, должного, по идее, обрушиться на Шабху, она проявила к той «снисхождение» и терпеливо сносила ее «визиты», позволяя дружить с собой, замечая, правда, что Шабха даже «не краснеет» при встрече.. Жизнь шла своим чередом, и все пытались сохранить спокойствие. Старались заниматься главным здесь делом, общим для всех: «**Sauver la terre**» (с. 144), **спасти землю**, самое дорогое наследство, завещанное предками. Даже если порой это наследство истощалось, обрекало на голод, заставляло людей бежать на чужбину, — всё равно, все знали, что своя земля, **свой род на ней, свои в ней корни** — это то, что нужно **сберечь**, иначе все рассеется по ветру: «Земля и кровь! Это здесь две составные части судьбы каждого. А мы все — лишь ничтожные песчинки в руках всемогущего!» (с. 124)...

...Любовная история, изложенная мной выше (ибо я не уверена, что объемный оригинал кем-то будет прочитан сегодня), положенная в основу роман Ферауна, конечно, могла «завлечь» тогдашнего читателя, подогреть его интерес к еще абсолютно новой литературе, возникшей в стране, сто с лишним лет зависимой от Франции, считавшей и франкоязычных писателей Алжира некоей формой «собственности», — своей культуры, своего языка, своей школы. Часто по праву и вполне объективно подчеркивая некую «филиальность» того, что рождалось в культуре страны в период колонизации.

Но поколение М. Ферауна по-своему совершило трудный «отрыв» от материнского лона французской культуры, оставив при себе всё усвоенное, всю «школу письма», эстетической мысли, умения преобразовать в художественную картину мира жизнь окружающую. Именно это последнее, в качестве объекта избранное, доступное и понятное только им — алжирцам, оказалось решительным отличием их от французов-«альжерианистов». **Реальность** описанной в романе истории не могла повергнуть в сомнение — о «выдумке» здесь не могло быть и речи, столь пространны и убедительны были авторские размышления, комментарии и отступления, обильно сопровождавшие фабулу. Но «алжирство» (и даже «кабильскость») прозы Ферауна была не только в доскональном знании нравов горцев («коллективный портрет» его общества был исполнен и психологической глубины), их обычаев, традиций, в конце концов, это знание было доступно каждому этнографу. Поражала **слитность** предмета изображения (его «субъектов» и «объектов», самого действия романа) не только с процессом его фиксации в тексте, абсолютного соответствия «означаемого» и «означенного», замысла и финального смысла показанного, но и автора со всеми его героями, авторское присутствие, словно «разлитое» во всем действии, его собственное участие и соучастие и одновременно его какое-то таинственное отстранение, словно стороннего наблюдателя, объективно, бесстрастно, бесхитростно, почти с документальной точностью ведущего рассказ с места событий... Эта особая слитность со своей реальностью, эта естественность обращения с проблематикой, касавшейся национальной действительности, ее этнических особенностей, этот «собственный», пристрастный, но в то же время объективный взгляд на свой мир — порой с укоризной, порой с любовью, порой с раздражением и даже с резкой критикой, порой снисходительный, но главное — не «чужой», не допускающий и тени сомнения в достоверности смысла изо-

бражаемого, — всё это и стало событием в колониальной литературе, где решительно отделялся от прежней традиции романтизации «алжирской специфичности» тот слой словесности, в котором реальность Алжира представляла во всей своей «неприкрашенности».

Такой подход мог и насторожить соотечественников Ферауна: ведь порой объективный показ жизни как бы **фиксировал ее неизменность, застылость, какую-то даже обреченность на неподвижность**. (*«То, что срослось с нашей землей, — неподвижно и вечно»... «Мы — пленники своих обычаев»*, — писал Фераун и в последующих своих произведениях)... Но ведь в этой «неподвижности» и была та самая сумма «постоянных элементов», та **константа** «внутренней» жизни народа, которая пусть трудно поддается движению времени вперед, но и оберегает его **самобытность**, его способность защитить себя от неумолимой коррозии, от разрушения при вторжении чего-то «чужого». «Обычные люди, как и все, — кабилы, — писал Фераун. — Только вынуждены жестоко бороться, чтобы выжить» (с. 102)...

Отсюда и кажущийся ход вечности по кругу, *бесконечность цепи традиции*, — слишком неравную борьбу ведут эти люди с неумолимо надвигающимися переменами, — ведь все больше и больше это «чужое» входит в их жизнь, даже вместе с ними самими, порой возвращающимися с чужбины к своей земле. Вот и держатся они крепко за эту «нерушимую» цепь, в звеньях которой не только **«доблесть и честь»**, но и **связанные с этими понятиями невозможность забвенья «благородства», невозможность «прощения», месть, кровь и смерть**. «Нам хотелось бы быть и душевно щедрыми, иметь благородные намерения, не поддаваться искушениям, но реальность такова, что благие наши пожелания остаются часто неисполненными, и это трудно скрыть, несмотря на все усилия...» (с. 103), словно извиняясь за все еще царящую на его земле **жестокость**

**обычаев**, писал Фераун, но одновременно и зная, что рождены они, эти обычаи, **жестокостью самой жизни**, то вырвавшейся из плена чужеземцев, то из плена нищеты...

И как бы ни кружилась над землей и ее законами любовная история, начавшаяся почти благородно на чужбине (брак с Марией был для Амера своеобразным искуплением его молчания на суде после гибели Рабаха) и завершившаяся почти коварно супружеской изменой и новой любовью Амера, как бы долго ни шла она вразрез с законами *здешней* жизни (брак с чужеземкой; бесчестившая обоих любовь Шабхи и Амера), всё возвращалось на круги своя, к восстановлению **извечного здесь равновесия: земли и крови, как бы несущей Традицию жизни, питающей «корни» жизни, без чего невозможно само ее продолжение во времени**. И напряженная тишина, и странное спокойствие повествования, — все оказалось лишь занавесом для исподволь созревавшей трагедии.

...Осознание своего «бесчестья», неисполненного долга, — воли предков, было почти равно смертному приговору. Но так уж повелось, что главным в Кабилии стало не «приговорить самого себя к смерти, но знать своих врагов», — тогда «нечего было **бояться жизни**» (с. 102), и *выжить* на этой земле становилось значительно легче. И так, как могли долго, **спасались все** герои Ферауна. Но уйти от невидимого (разве что во сне) *суда предков*, от живущего в памяти людской голоса их *крови*, этого тайного зова прошлого, этого напоминания о *традиции жизни и смерти* на этой земле было невозможно.

...Вот и Амер, как ни старался привить новое, научить соотечественников «грамотно» отстаивать свои права, формулировать свои требования, «правильно вести» свои собрания, чтобы жить «современнее», как ни старался *построить новый дом*, начать новую жизнь, забыть о былом, избежать отщепенства, оказался в плотной сети обычаев, старых нравов, устаревших, с его точки зрения, представле-



ний, в сети, стянутой тугими узлами планов и замыслов тех, кто жил по **«закону предков»**. Как ни хотел он не замечать злобы Слимана, как ни пытался себя успокоить тем, что жизнь должна быть «исполнена душевных мук и угрызений совести» (с. 198), встречая улыбку Шабхи и поддаваясь ее чарам, он не смог преодолеть круга «бесчестия», куда входил почти бездумно, только по зову страсти, но выйти из которого здесь уже было нельзя: законы предков суровы, даже если люди и бывают порой снисходительны к супружеским изменам... И он **точно знал, что его ждет расплата**.

...Вот и Шабха, бездумно раскрывшая свои объятия Амеру, умевшая долго водить мужа «за нос», не стеснявшаяся даже Марии, смелая, жизнелюбивая и упрямая горянка Шабха вдруг помрачнела, увидев нищего у дороги и подав ему хлеб: в ответ она услышала не слова благодарности, но предупреждение: «Пусть бог поможет избежать тебе катастрофы» (с. 211). В его голосе ей послышался голос СВЫШЕ, и предчувствие беды уже больше не покидало ее, — а это означало, что закон Традиции (**«не запятнай честь замужней женщины»**) (с. 208) повелевал ей вернуться на путь, предначертанный ей судьбой...

...Вот и Слиман, как ни старался уклониться от **«долга чести»**, как ни пытался восстановить отношения с «родней», получив от Амера и Марии часть их земли в аренду, что было само по себе щедрой с их стороны уступкой, — ведь Камума, помня о голоде и нищете, могла бы и запретить сыну снова отдать часть родовой земли Слиману, — как ни старался Слиман не показывать своего возмущения изменившей ему Шабхе, зная, что она *никогда не была счастлива с ним*, — не смог избежать пути, предначертанного ему Али, повелевшим **отомстить за Рабаха**. И сколько бы долго не уклонялся Слиман от этого *пути*, и сколь бы долго не слушал вкрадчивый голос Шабхи, напоминавшей о том, что «неумеренный гнев порождает безумие» (с. 208), он не

смог предотвратить «удар молнии», вдруг озарившей его разум: он словно «стоял теперь на краю пропасти» (с. 242), но знал, что это было *волей предка*, напомнившего Слиману о **законе жизни**, которая должна считаться с **законом смерти**, требовавшим мести Амеру. Старая зависть, нелюбовь к его матери, неприятие Марии, злоба за «отнятую» Амером землю, вынужденность защитить честь брата, — всё смешалось в душе Слимана... И все толкало на встречу с неумолимым долгом человека на *этой земле*... И вот теперь Слиман и сам должен был защищать *свою* собственную честь... Всё возвращалось на круги своя. **Традиция жизни была непреклонна.**

...Вот и Камума, даже она, в своих хитроумных планах отвлечения Амера от «чужой» и сведения его со «своей», кабилкой, как бы помогая Шабхе «стать матерью» и снять и заодно со своей материнской души сомнения в отношении сына, Камума не смогла преодолеть ни замкнутый круг интересов *своего рода, его «чести»*, ни интересов и чести своей собственной семьи.

Узнав, что **Мария беременна**, Камума решила, что Бог сам все «урегулировал», «помог» (с. 141), — наследник Амера становился гарантом того, что земля останется за ними навсегда: «Мы возьмем свое!» — воскликнула она, узнав от Марии эту «новость». И больше ей не нужна была Шабха, и не терзала душу ее сломанная жизнь этой женщины.

Но «неотвратимость соблазна» жены Слимана Амером, коварно задуманная Камумой, сыграла и еще одну роковую роль в судьбе обоих семейств: Камума не только по-своему «свела счеты» (с. 147) с кузеном, когда-то равнодушно сносившим ее нищету, но заодно и с собственным сыном, **убить которого теперь предстояло Слиману**. «Неотвратимость соблазна» превратилась в «*неотвратимость смерти*», которая не смягчалась неизбежностью рождения новой жизни от принесенной тоже по-своему в жертву жены Амера... Кабийская мудрость, гласившая о том, что

«тот, кто желает зла другому, рискует взять на себя его грехи» (с. 13 8), словно была создана для Камумы, пожелавшей расплаты за свою горькую судьбу, но получившей взамен **тело мертвого сына...**

...Вот и Мария (глядя на которую, увидев ее как-то в *кабийском платье*, Рамдан, отец Шабхи и зять Слимана, подумал, что она — «вылитый портрет Рабаха»), захотевшая стать «хозяйкой» на этой земле, обретшая здесь гордость, свое человеческое достоинство, захотевшая здесь жить и «участвовать в коллективных заботах и праздниках», захотевшая разделить свою судьбу с теми, кто знал, что жизнь здесь зависит не только от засухи или дождей, от урожая или голода, но главное — *от Судьбы*, которая может только «ударить», но не «подправить ход вещей» (с. 108), — вот и Мария испытала сполна этот внезапный «удар», испила горькую чашу свою и на этой земле, где даже путем своего «преображения», своего почти «слияния» с ней, так и не сумела умолить ее не свершать своей мести мужу...

...Вот и сама деревня, Игиль-Незман, где журчал источник и ворковали девушки, и сладко пахли сады по весне, и пробивалась новая жизнь, вдруг уподобляется в романе *кладбищу*: ее «пейзаж», ее улицы, на которых селились члены одного рода, действительно, были похожи на ряды захоронений с одной фамилией: «Здесь та же *диспозиция* семейных кланов, — неожиданно замечает Фераун... Кладбище — как «верная тень» (*l'homme fidèle*) деревни (с. 115)... Раньше только Слиман, в приступах злобы и желчи, считал, что его соотечественники — «черви земные, отбросы, рожденные среди отбросов», и *небо над головой казалось ему «цвета земли»*, а все живущие на ней — «падалью» (с. 130)<sup>9</sup>. Но вот и сам автор в печальной этой параллели — **деревни и кладбища** — как бы соединил, совместил уже **и жизнь, и**

<sup>9</sup> Среди мусульман Магриба *покойники* часто, особенно в деревнях, считаются почти «падалью», «отбросом» жизни, к ним относятся с брезгливостью, хоронят почти сразу же, и случается, что тело усопшего, едва прочитают над ним заупокойную молитву, убирают в «мусорный закуток», где оно ждет похорон... (примеч. мое. — С. П.)

**смерть**, не следующие одна за другой, не соседствующие даже, не сменяющие друг друга, но *уравненные, слитые воедино в одном пространстве и времени...* И любя, и возвращая своих детей к себе («если они ее подзабывали» [с. 115]), любящих ее и возвращающих жизнь на этой земле, эта земля безжалостно и забирала их *внутрь себя*, напоминая им о **«долге чести»**, заставляя свершать кровавое отмщение, словно ожидая **крови людской, как источника новой жизни...**

...Труп Амера вынесли из каменоломни. О готовящемся там взрыве его «не успели» предупредить. Повторилась почти та же история, что в шахте с Рабахом. Амер не знал, спустившись в каменоломню (где он время от времени наблюдал за работой, ведя свое строительство пристройки к дому), что у него под ногами — мина. Погиб он сразу. Слиман же, который «побежал посмотреть, что случилось с Амером», не уберется от обрушившейся на него лавины камней, вызванной взрывом... Мучился до вечера, потом умер. Люди поговаривали, что он должен был дать команду рабочему крикнуть Амеру: «Поберегись мины!», но в тот момент, когда Амер появился, Слиман обратился к рабочему с просьбой «вытащить соринку из его глаза»... (с. 243).

Как всегда, правду знал только Рамдан. Он и сказал, что Амер *почему-то* зашел в каменоломню на этот раз посмотреть на результаты труда всего лишь «за полдня работы»... И прибавил: «Не старайтесь проникнуть в замысел Божий» (с. 249)...

...Женщины деревни были солидарны в горе, плакали вместе с Шабхой и Марией, — хор отчаяния разносился над деревней. В бессильном гневе застыли мужчины Аит-Ларби, из рода отца Амера, мужа Камумы. (Отныне наставал их **черед отмщения за свою честь...**) Мужчины Аит-Хаммушей — потомки Али и кузены Рабаха — выразили соболезнование матери Амера, не забыв, что она тоже из их знатного рода...

Мария, обхватив голову руками, теперь словно оцепенела, сидя рядом с телом Амера. Ее долго не могли оторвать от него, — но женщинам здесь не положено сопровождать мужей в последний путь.

Камума тоже была рядом. Но ее душил гнев, и все знали, что в смерти сына она обвиняет Слимана. Но только Богу было известно, что чувствовала она: «Что не согнется под грузом очередного несчастья. Что будет грозить ему кулаком, мериться своей с ним силой»... (с. 252). Один только сосед — Хосин — выплеснул ей в лицо свою ненависть: «Ну, что, довольна теперь?!» (с. 252). И только старый шейх напомнил всем еще раз, что «всё в руках Господних». И что Амер — «не только сын Камумы», но и «сын господ Бога». Он и «взял его к себе» (с. 253). «Разве можно изменить судьбу?» (с. 253).

А на кого, действительно, можно было пенять? Разве каждый не заплатил **«свой долг чести»**? Этот **honorable dette** — перед жизнью и смертью? (с. 254). Разве не встретить «смерть в лицо» пошел Амер в каменоломню? Разве мог он забыть разmozженную голову Рабаха, когда того сняли с рельсов в шахте? Разве не стучала кровь Рабаха в сердце несчастного Слимана и не звала его к отмщению, настойчиво уводя и его из жизни? И был, наверное, прав местный святой, старый шейх, когда сказал всем скорбящим, что «Господь смеется над земными расчетами людей, над их ничтожными замыслами. Он просто пишет книгу их жизни, а в ней — для каждого начертана своя дорога...» (с. 254).

...Смерть, казалось, объединила разные семейные кланы, казалось, что бывшая вражда погасла, когда все вместе собирались хоронить Слимана и Амера. Одна Камума теперь и жалела, и ненавидела Шабху — жертву своего «плана» и своей «ошибки», — как она теперь считала сама (с. 251). Мать Амера и себе сейчас не прощала смерть сына, и, может быть, не пережила бы его долго. Но вот Мария,

словно очнувшись, берет руку старой матери и кладет себе на живот. И Камума вздрагивает, услышав шевеление **Жизни**. И забывает о горе, о сыне, о гневе, о смерти. «Завтра, — думает она, — когда его понесут на кладбище, Мария набросит на носилки мужа свой *красный кушак*<sup>10</sup>. И все поймут, что ее грудь полна соком новой жизни» (с. 254). **И все начнется с начала**. Еще Рамдан, увидев ее тогда в кабилском платье, подумал: «Кровь Рабаха возвращается к нам с его дочерью. На *нашу* землю» (с. 124). **«Земля и кровь»**: это были, действительно, два главных начала жизни, предназначенные им их судьбой...

Разве не удивительно, что, написав свой роман в то время, когда в Алжире уже занимался «пожар» (именно так назвал свое произведение М. Диб<sup>11</sup>) войны за независимость, когда зрели *радикальные перемены* жизни, Фераун зафиксировал, словно *остановив время*, атрибуты извечного существования людей на этой очень большой и очень **разной** земле?.. [Если я, к примеру, вспоминаю *свой Алжир*, то трудно соединить в памяти во что-то одно и море, и пустыню, и бесподобной красоты города, и горы, где, увидев однажды Кабилию, уже невозможно сразу даже мыслью «спуститься» к прекрасной цветущей долине Митидже или «вернуться» в какой-то оазис, который встретился вдруг, как мираж, на почти потерявшейся в песках пустыни дороге... Но Кабилия осталась в памяти моей особо, — не столько даже суровой красотой гор, пленивших душу, не столько даже растрогав сердце по весне обилием вёдер с черешней, которые на обочине крутых троп за какую-то совсем маленькую цену продавали кабилки, деревенские женщины, тогда (60-е гг.!) еще носившие (сумев-

---

<sup>10</sup> В Кабилии женщины сигнализируют ярким цветом своих головных платков или поясов не только об «особых днях» своей женской жизни, но и знаковых для них событий. Любопытно отметить, что и по сей день, даже в европейских городах женщины-берберки из иммигрантских слоев одеваются в яркие, цветастые платья и носят своеобразный головной убор. — С. П.

<sup>11</sup> Dib M. L'incendie. P., 1954.

шие сохранить!) свои бесценные, удивительной красоты древние серебряные украшения с красными кораллами, которые звенели на запястьях и шее, и которые здесь передавались из поколения в поколение... Не непохожестью своей на остальную жизнь осталась в памяти Кабилия, но, главное, что само по себе немало, «долгом» моим: я обещала Мулуду Маммери<sup>12</sup> (писателю, соратнику и соотечественнику Ферауна), показавшему нам свою родину, а потом навестившему как-то нас в Италии, обязательно рассказать в России о его народе, перевести книги, написать, сделать что-то, что может быть не успеет он сам, захотевший создать кафедру берберологии в Алжирском Университете, но так и не добившийся разрешения «властей», более того, они преследовали его, известного повсюду писателя (шел уже 1974 г.) за то, что вопреки политике «всеобщей арабизации» он пытается возродить берберскую культуру, реабилитировать в правах кабийский язык, изучать самобытность народа своего края... («Уж не грозит ли это расколом «национального единства», с таким трудом рожденного в боях за независимость?..») «Уж не подрывает ли это авторитет Алжира как «арабской» страны?..»)

...С тех пор много воды утекло. Мулуд Маммери безвременно и странно погиб в конце 80-х, тенденции кабийского культурного «сепаратизма» стали явлением обычным, никому особо политически не угрожающим, если на то не бывает особых причин. Но язык кабийский теперь — второй в Алжире после арабского, — в школах Кабии его преподают наравне с другими, и кафедра берберологии в Университете открыта. А еще во Франции создан и Научный Центр, изучающий берберскую этнологию и культуру — изначально он существовал на средства Маммери, с использованием его архивов, а теперь поддерживается Домом

---

<sup>12</sup> О нем см. подробно: Г.Я. Джугашвили. «Алжирский франкоязычный роман» и нашу работу в «Истории литератур стран Магриба. Алжир». М., 1993, а также далее, главу о его романах «Забывтый холм» и «Когда спит справедливость» в тексте этой книги.

Наук о Человеке, где руководила этим Центром ученица и последовательница Мулуда Маммери, замечательная женщина-кабилка, крупный ученый, Тассадит Ясин, дочь «вождя» одного из кабийских племен... С ее помощью и мы в России издали Берберскую Антологию, и мне показалось даже, что включив в нее тексты и фольклорные, и научные, и художественные, рассказав и показав все, что было в наших силах о Кабилии, о Рифе, о туарегах южного Алжира, я будто и выполнила свой «долг», свое обещание прекрасному писателю, жившему когда-то в Алжире на улице, название которой звучало для меня всегда как-то особенно «жемчужно»: «La perle y est» (Laperlier, на самом деле...).

...Я, может быть, напрасно упоминаю здесь о своем «долге» перед Кабилией, но время тогда было такое, что хотелось, действительно, рассказать всем, что такое *Алжир «изнутри»*, что люди там ждут от жизни, о чем поют и мечтают, что понимают под добром и злом, как понимают красоту и мир, что окружает их. А о Кабилии знали мы так мало, почти что ничего, потом едва успели, до нашей «перестройки», еще перевести несколько романов Ферауна, Маммери, Малека Уари. Теперь, как мне кажется, знаем почти всё. В русской «Антологии» — и поэзия, и проза, и песни, и романы, и история, и антропология, и культура, и политика... Но главное, конечно, это то, что сделали сами писатели Кабилии, сохранив для всех нас бесценные свидетельства жизни своего народа. Оставалось только перевести, осмыслить, или вот, как сейчас, вернуться к теме — извечной, столь же актуальной в эпоху странствий Улисса, как и сегодня: теме родной земли, «Дыма Отчества»...]

**Но вернемся и к «остановленному» Ферауном времени.**

Очевидно, что при желании можно всё показанное им в романе «Земля и кровь» (и показанное, действительно, путем «добросовестного анализа человеческих чувств и психологии», — так откликнулась в ту эпоху литературная



критика, единодушно присудившая писателю престижную французскую премию «Попюлист»), принять за фиксацию, намеренное *удержание* в тексте того, что «уже отжило», что как бы и не должно продолжаться во времени... Далекое, еще до Второй мировой войны случившееся, корнями уходящее в прошлое, — все словно окрашивает рассказанное Ферауном *цветом забвения*... Но услышав сегодня эти «голоса из прошлого», я, подробно описав услышанное мною **сегодня** в романе Ферауна (иначе как же убедить читателя в своих выводах?), восприняла историю о Земле и Крови как вполне современную, нередко на земле случающуюся (если знать, к примеру, юг Италии, Сицилию, Сардинию, испанские, латиноамериканские провинции, да и зачем удаляться от *наших*, южных границ?), — это если только взять основу «любовную», или обычай кровной мести. Но в задачу писателя входила ведь не только реальность фабулы. Роман Ферауна — это «*роман-метафора*» о неразрывности связи Человека с родной землей, **о вечном зове ее в его крови**, о призыве ее «корней», зовущих с далеких берегов своих сыновей, даже знающих о том, что **там** их ждет смерть. Иначе зачем об этой «боли» пишут и по сей день книги, поют песни, слагают стихи, почему не привыкнет магрибинская литература (ведь эмиграция магрибинцев на Запад длится уже второе столетие!) к этой *давней* своей теме и превращает ее в *вечную тему*, не избегающую в творчестве даже самых «упорных» (давно живущих на Западе) писателей?

Но разве только эта — вечная тема — о сладости и горечи «дыма отечества» — делает роман Ферауна современным?

Особо подчеркну и еще один важный, а может даже лейтмотив повествования: ведь если народ так упорно выживает на своей земле, так отважно смотрит в лицо смерти, так жестоко воюет за свою честь, так упрямо сохраняет свой род, так покорен своей судьбе, так мистически под-

властен голосу предков, ставших и *плотью этой земли*, и ее *духом*, — значит, в этом народном примере есть нечто *всеобщее*, значит не только о прошлом своего народа писал Фераун, но о тех его качествах, которые присущи всем «малым народам» (а может и большим), пытающимся *самосохраниться* в водовороте Истории. Нелишне напомнить, **как** художник любит свой край, который пишет, чтобы оставить людям образ мира, родившего и пленившего его. Фераун скуп на пейзажи, но если они возникают на страницах его книг, то лучшей фразы не найти, чтобы оценить запечатленное: «Кабилия бывает дивно хороша в это время года...» (с. 43). И не важно, велась ли речь о весне или осени. Главное ведь — она полна любви к своей земле, которую писатель и **сохранил** для последующих поколений. И для тех, кто еще, в будущем, родится на ней. И если сумеет, бережет ее и дальше.

...Когда-то, не оценивший щедрость Творца человек был отправлен на Землю, которую тот распростер и устроил на ней **«прочно стоящие горы»**, и закрыл «ночью день, который поспешно за ней следует»... (Коран, сура 7, аят 54). Конечно, все течет на Земле до «определенного предела». Но уповая на Совершенство этого «предела», люди *должны претерпевать* ту действительность, которая дана им в удел. И уже неважно, понимали ли герои Ферауна «необходимость перемен», ожидали ли их, хотели ли их, нужен ли им был бой за «независимость» или, как их творец, автор романа, уповали на возможность мира... Главное, они знали **силу Земли, ее традиций**, обрекающих человека на **«смертную борьбу за жизнь»**, за возвращение своего достоинства и чести, *за продолжение человеческого рода*. Чаще всего, увы, — эта борьба жестока, коварна, страшна и кровава. Но в единичном примере, запечатленном Ферауном на его Земле, **его Горы** — разве не попытка *выживания людского рода*, все еще пытающегося **сохранить** себя в братоубийственных войнах, в катаклизмах и катастрофах,

его постигающих, в вечной вражде народов, имеющих даже «общие корни», в вечных угрозах и возмездиях, в неизбежной драме человеческой «разности», в противостоянии «своего и чужого», — да разве все перечислишь?! — но порой забывающего о том, как одиноко летит она, Земля людей, в океане Вселенной... Сплотиться бы всем...

\* \* \*

Тема *охранения древних традиций родной земли* неожиданно ярко по-новому зазвучала уже в 80-е гг. и в творчестве марокканского писателя М. Хайреддина (1941–1995 гг.), дотоле широко известного и своей авангардной поэзией (книга стихов «Горечь моя» («Moi, l'aigre». P., 1970) и своей неукротимой и яростной критикой существующего в Марокко общественного устройства («Corps négatif» — «Отрицательно заряженный мир». P., 1968). Но новый поворот его творчества именно в 80-е годы был словно подтверждением того, что в «новой волне» магрибинской литературы, поднявшейся в середине 60-х годов, были скрыты прежде всего не сугубо экспериментальные, но реалистические и даже романтические потенции творчества. Социально-критические тенденции произведений художника, конечно, превалировали над его увлеченностью формальным экспериментаторством, а постоянные поиски Хайреддином адекватных своей крайней и резкой идейной антимонархической позиции эстетических форм только свидетельствовали об обычной уже для художника XX в. потребности выражения особого, личного взгляда на судьбы истории своего народа. Это главное для марокканского писателя качество осталось и на новом этапе. Повесть «Легенда и жизнь Агуншиша» (1984 г.)<sup>13</sup> — естественное продолжение тех лирических страниц, которыми полны и «Запах гари», и «Агадир», и «Разрыватель могил»,

---

<sup>13</sup> M. Khaïr Eddine. Légende et vie d'Agounchiche. P., 1984.

и «История доброго боженьки»<sup>14</sup>, страниц, посвященных выражению сыновней любви к своей прекрасной земле, заботы о ней, сострадания, бесконечного уважения к традициям своего народа, надежды на его завтрашний свободный день.

Но Хайреддин — художник не однозначный, и даже тогда, когда он пишет совсем «просто», даже неожиданно «просто», будто вернувшись в эпоху А. Сефриуйи<sup>15</sup>, как это кажется на первый взгляд в «Легенде и жизни Агуншиша». Автор — как всегда — не только свидетель, он как бы и участник событий, о которых рассказывает, а потому и бесхитростная история **о кровной мести** сопряжена с множеством проблем, раздумий, забот, связана многочисленными нитями с иными повествованиями, с иными художественными образами, рожденными не только марокканской литературой. Отсюда и смысловая объемность повествования, и метафорическая насыщенность. «Агуншиш» на одном из берберских наречий означает «сухой ствол», «мертвое дерево»; в романе Хайреддина — это человек, который, скрываясь от преследования врагов, спрятался в *горную пещеру* и там, прильнув к стене, застыл, как дерево, раскинув руки, как ветви. Преследователи взглянули в темную глубину и приняли его за корягу — отсюда и пошла кличка героя, так хитро обманувшего врага. А к уловкам прибегать приходилось постоянно, иначе ему, *одинокому мстителю за поруганную честь* (за убитую сестру), не одолеть было многочисленных врагов. Уже почти забыта изначальная причина межродовой вражды, но из века в век продолжали люди убивать друг друга, мстили жестоко за каждую новую жертву, **истощая силы племени в кажущейся бессмысленной борьбе...**

<sup>14</sup> См.: M. Khaïr Eddine. Agadir. P., 1967; Histoire de Bon dieu. P., 1968; Le déterreur. P., 1973; Une odeur de mantèque. P., 1976.

<sup>15</sup> Ахмед Сефриуйи, автор «Ларчика чудес» (перевод на русск. язык 1962 г.) — один из зачинателей марокканского бытописания: Sefrioui. La boîte à merveilles. P., 1954; Le chapelet d'ambre. P., 1956 и др.

История в повести Хайреддина восходит к далеким временам заселения марокканского юга, к появлению оседлых племен, к их борьбе за земли, к их обычаям, и нравам, закрепленным в веках традициям, верованиям, представлениям о добре и зле. И вот, наконец, рассказ подходит к тому моменту, когда герой, оставив в родном селении жену и детей, берет ружье и мула и **удаляется в горы, откуда совершает свои внезапные набеги, безжалостно уничтожая своих противников.** Его «почерк» узнавали по метким выстрелам, люди уважали его верность обычаю предков, щадили его раненую гордость и никогда не выдавали его. **Их представления о чести, о племенной солидарности были тверды, как скалы Высокого Атласа,** казавшиеся им неприступными, хотя время и здесь уже начало свою разрушительную работу...

Французы и испанцы делили Марокко, колониализм уже подбирался и к *неприступным вершинам*, умирнял враждующие племена, бомбил горы, потом «великодушно» протягивал «руку помощи» пострадавшим, внушая мысль о невозможности обойтись без современных средств ведения войны, без техники и прочего, *воюя с соседом...* Разделяли и властвовали, строили дороги, уводили людей из деревень в город, прельщая заработками, «цивилизацией». Люди, охотно расставаясь с нищетой, влекомые надеждой, растворялись потом в толпе ищущих работу и бесследно пропадали в недрах больших городов, раскинувшихся в долинах и на побережье. **И в горах совершались перемены:** вожди племен, враждовавшие друг с другом за лучшие земли, теперь вынуждены были уступать их колонизаторам под угрозой уничтожения и постепенно приходили к мысли, что **истинный враг — чужеземец, и надо убирать с дороги предателей.**

Агуншиш тоже знал, что долго одному в суровых горах не продержаться: истощались запасы, все труднее становилось добывать пропитание, приходилось экономить пули,

расчетливее выбирать цель. Один из семьи разбойников, снабжавшей Агуншиша ядом (с ним надежнее были выстрелы, разящие *его врагов*), решил обзавестись новым ружьем — ему понадобилась помощь Агуншиша, *тот знал в ружьях толк*, и вот они вместе пробирались в город... По дороге к ним примкнул спасавшийся от жандармов каид, местный богатея, у которого силой отнимали землю, — и он нуждался в помощи метких стрелков, и те согласились помочь вернуть ему власть. Теперь уже они втроем шли к землям *своего племени*. По пути попадались разрушенные селения, картины народного горя сменяли одна другую, **а там, где еще уцелела мирная жизнь, люди свято хранили обычаи предков и принимали гостей по законам традиции**, потчуют путников всем, чем бог послал, не скупясь на проявления радости, на праздник гостеприимства...

Писатель, нарочито возвращаясь к «этнографическому» реализму, в лучших традициях этого метода, живописует ритуалы и обычаи своего родного края, щедро рассыпает в тексте зарисовки пиршества, танцев, чудесных исцелений, свадебных обрядов, национальных костюмов, местных нравов. Но главная нить повествования при этом не теряется. Возникшее было сообщество «вольных людей» распадается: французы скупают земли у каида, оставляя ему формальную власть над племенем, разбойника подкупают пусть охотничьим, не боевым, но **ружьем нового образца**, разрешая стрелять *только дичь*, и Агуншиш остается **один**.

...Несомненно, что и кличка героя постепенно приобретает в повести символический характер. **Одиноким хранителем чести рода, мститель, ведущий свой бой в одиночку**, — что дерево без корней, долго не выдержит, погибнет, засохнет. Но и **солидарность людей** только тогда подлинна, когда есть **единство действий, общность цели**. А каид, разбойник и мститель — каждый шел к *своей*. Но, собственно, иначе не было бы легенды. Не было бы назидания, нравоучения, нравоописания. А Мохаммеду Хайреддину

необходимо было все это для создания полноты картины той жизни, которую на этот раз хотел написать как проживающую **реально**, а не в воображении, как в других его произведениях.

Агуншиш спустится со своих гор в долину, чтобы приглядеться к новым порядкам и разобраться в том, что происходит вокруг. **Он твердо знает, что никогда не изменит своему роду, не нарушит законов чести, не отступится от освященных временем традиций, не разрубит корней, связующих его с родной землей.** Но он видит и то, что *время меняет вековые устои*, разрушает связи с прошлым, ранит землю предков железным натиском «цивилизации». Вот и его мул, вырвавшийся из ворот гостиничного двора, где остановился, чтобы привыкнуть к городу, мятежный отшельник, был раздавлен автобусом, спешившим по многолюдным улицам... Символ ушедшего в историю прошлого — мул — был похоронен самим Агуншишем со всеми традиционными почестями, а вместе с мулом было зарыто в землю и верное ружье — символ сопротивления и несмирения. Потом Агуншиш сядет в автобус и уедет в Касабланку — на север, к морю, туда, где *властвовал прогресс...* Дальнейшее можно себе только вообразить...

Писатель словно увел героя **на встречу с настоящим**, но при этом показал, что и в будущее надо передавать от прошлого все, что хранит и бережет сама земля, ее народ, умеющий в любых обстоятельствах **отстоять свою самобытность**. А это уже немало — здесь и **истоки права на самостоятельность, свободу и независимость**, и гарантия неутраты своего лица в общечеловеческом прогрессе...

У писателя — особые причины поэтизировать легенду и реальные приметы жизни своего героя. Ему пришлось долгое время жить вдали от родины и писать только о ее и своей боли. В этой книге, наоборот, **радость обретения род-**

**ной земли**, счастье слышать родную речь, вдыхать родные запахи, слышать знакомые звуки, наслаждение пейзажами, красками, просторами, тайной, открывающейся только сыну своей земли. Но именно это высокое чувство родины, ощущение поэзии жизни родной земли повлекло за собой ту особую простоту повествования, незамысловатость и даже «заземленность» речи, в которой «легче дышать» и самой красоте земли, воспеваемой автором.

Мятежный писатель, книги которого с середины 60-х гг. XX века просто сотрясали марокканскую литературу картинами воссозданного в них «отрицательно заряженного мира»<sup>16</sup> (*corps négatif!*), в сущности, вел свой «смертельный бой» за право жить на С в о б о д н о й з е м л е , о чем беспрестанно писал, понимая эту свободу как неподвластность родного народа *ничьей несправедливой Власти*. И герой его «Легенды» тоже, в общем, отстаивает свое право на защиту от посягательств на свою пусть особую, но независимую территорию жизни, проливая кровь *своих врагов*. Но для писателя важно было, конечно, как-то разделить этого героя, Агуншиша, с Прошлым. Он уведет его, пусть вынужденно, но в **Будущее**. Оно, конечно, тоже не станет раем: о том, что ожидало Агуншиша впереди, — были, собственно, написаны уже все предыдущие творения Хайреддина, чье имя осталось в истории литературы Магриба, тесно связанным или даже слитым с номинацией его как «**бунтаря**». И он, Агуншиш, возможно, поведет и свой новый бой с окружающей реальностью, которую сотрясают социальные катаклизмы (см., напр., роман М. Хайдеддина «Агадир» (1967 г.) или пронизывает «омерзительный запах» застоя и медленного тления (о чем писатель поведал в романе «*Un odeur de mantèque*»). Ведь бой этот и для писателя, и для его героя — дело не только вынужденное или продиктованное и освященное древним Законом, *Традицией иско-*

---

<sup>16</sup> Об этом см. подр. в нашей работе «Магриб: франкоязычные писатели 60–70 гг.». М., 1980.



ренения Зла, но и настоящей душевной потребностью охранить свою родную Землю, ее красоту, неискоренным желанием вернуть ей, Земле, «молодую улыбку». Вот как М. Хайреддин написал об этом в одном из своих, быть может самых мрачных, полном горечи от несостоявшейся Свободы произведений, но несмотря ни на что и исполненном Любви и сыновней нежности к своей Отчизне: «Я люблю свою страну... Здесь — все те, кого я люблю... Эти старые земли наших селений, где я пью вкусное молоко... Старые земли, которые вскормили и наших предков... Я никогда и ни за что их не отдам никому. Они — сама моя плоть, моя кровь и кровь тех, кто будет жить на ней... И если кто-то еще посмеет их тронуть, я всё предаю огню и мечу... Здесь — свадьба солнца и тени, самих первозданных красок... Здесь начинается обретение человеком самого себя, **Своей Горы**, к которой ты пришел, чтоб посмотреть, в порядке ли могилы отца и матери, и зеленеет ли трава на могильных холмах, и цвели ли миндальные деревья, и плодоносили ли они, и был ли урожай ячменя, и не было ль нашествия саранчи, и не пересохли ли в земле колodцы... («Une odeur de mantèque», с. 153–160).

Во имя **свершения** этого вопрошания об истинной жизни восставали все герои книг писателя, «исполненные тоской по грядущему»<sup>17</sup>. В этих словах писателя и весь смысл его «бунта», и вся печаль незавершившейся истории Возмездия его героя — Агуншиша, ушедшего в легенду... Таким образом драматическая тема **кровавой мести** как *сохранения чести племени* слилась в творчестве писателя с лирическим мотивом сохранения образа родины в душе жесточившегося человека.

---

<sup>17</sup> М. Khaïr Eddine. Soleil arachnide («Паукообразное солнце»). Р., 1969, с. 90.

### Глава 3

## ГОРА КАК МЕТАФОРА ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА И НАРОДА ОТ НАТИСКА ВРЕМЕНИ

Несколько раньше, чем марокканец Т. Бенджеллун (см. выше о его романе «Опустив глаза»), традицию предков писатель-тунисец М. Тлили, хотя и долго живший на Западе, но в творчестве своем постоянно обращавшийся к теме «родных корней», Отечества, его истории и его сегодняшнему дню, уже понял и изобразил как **способ самосохранения человека** и *подлинности* его жизни. Особенно ярко запечатлел это его роман-сказание «Гора Льва»<sup>1</sup>. Героиня его — *старая женщина*, Мать, а потому — носительница и хранительница Знания об истоках своего народа, о *мире своих прародителей*, научивших ее особой мудрости. Она верит, конечно, и в «чудо» вечности старых устоев Жизни, и в неколебимость Завета Великого Предка, основателя ее рода, ее селения, *Вечного Хранителя* той части земли, где возвышается Его Гора, с которой Он, его Дух, и созерцает Жизнь, и следит за ее **правильным течением**. Но она будет решительно **действовать**, а не ждать «спасителей» в роковые минуты своей жизни. Будет сама сражаться с тем Временем, которое, вторгаясь в ее Жизнь, нарушает *привычное ее течение*, *искажает ее природное русло* и заставляет Человека принять **свои** законы, **нарушающие** Традицию существования на «священном» для Матери пространстве.

...Уже немало лет занимавшийся литературным творчеством М. Тлили работал тогда в Нью-Йорке. И в начале своего пути он одним из первых в литературе магрибинско-

---

<sup>1</sup> Tlili M. La montagne du Lion. P., 1988.

го зарубежья расширил географию темы Запада (ранее в основном представленного Францией, Европой вообще), вводя в свой роман «Нутро, горящее яростью»<sup>2</sup> образ Америки, ставшей в этой книге местом жестоких душевных страданий героя, обуреваемого жадой Справедливости, обрেকшего себя на вечные поиски идеала Свободы...

Но писатель, как бы постепенно удаляясь в своих произведениях<sup>3</sup> и от образа восточного, и от образа западного мира, от окружающего его социального и исторического пространства, всё ближе и ближе подходил к границам того мира, который находился **где-то в глубине души**, был спрятан «за семью печатями» в его сердце. Оно молчало до определенного времени, озабоченное другим, более «актуальным», теснее «прижатым» к поверхности реальной жизни, и за пределами повествований оставалось то, что, уходя все глубже, было, как выясняется в интересующей нас книге писателя, **подлинной жизнью души**, истинным ее «**све-том**», любовно хранимым и ревностно оберегаемым от «постороннего» вмешательства». «Каждый из нас, — писал Тлили в романе “Гора Льва”, — уносит с собой из приобретенного в отчем доме багажа помимо того, что необходимо человеку в битве за жизнь, несколько незабываемых образов своей собственной, теперь уже далекой истории. Эти образы призваны напомнить нам сами по себе, часто даже независимо от нашей воли, о долгой и трудной дороге, пройденной нами... Это — **образы-маяки**, в которых навечно запечатлены милые сердцу мгновения и любимые люди, утраченные нами. Они словно драгоценные частицы нас самих, которые упрятаны в нас, которые мы свято оберегаем, охраняем от банальности будней. Печальные или

---

<sup>2</sup> «La rage aux tripes». P., 1975.

<sup>3</sup> См., напр., его книги: Le bruit dort. P., 1978; Gloire des sables. P., 1982 (о них подробно наш раздел в: «История литературы Туниса». М., 1993), а также в гл. «Поиски Абсолюта» в: Прожогина С. В. Во имя собственное. — в кн.: Крылова Н. Л. и Прожогина С. В. Путь к себе. М., 2013.

радостные, воспоминания эти... принадлежат **светлому наследству, полученному нами...**» (с. 81).

Вот об этом «лучезарном кладе» души, хранившей образы родного дома, родимой земли, и решил поведать писатель (выступающий в романе в роли рассказчика), хотя и сознавал, что и огромность дистанции, разделявшей пространства Родины и Чужбины, и степень оторванности самого «exilé» (в контексте романа — «странника») от прежней его жизни могут исказить пропорции, сделав контуры проекций памяти нереальными: «Я покинул свою Деревню давно. Учеба и интернат. Потом Америка. Возвращался домой только летом на одну-две недели на каникулы. И я уже не знал все *глубинные процессы* ее жизни, все больше и больше удалялся от нее, становясь постепенно чужим. И только воспоминания детства царили в душе. Все остальное как бы непоправимо застопорилось, опрокинулось куда-то в неизвестность, ускользало уже от понимания... Конечно, я получал письма от матери, она извещала меня обо всем... Бегала по всей Деревне, просила помочь ей написать... И письма эти худо-бедно поддерживали мой контакт с домом. Поэтому когда я возвращался летом, то восстанавливал по памяти связь вещей, цепь событий, о которых она мне рассказывала при встрече по вечерам под аккомпанемент ручья... Обо всех тех больших и малых испытаниях, которым подвергалась Деревня, **ее жизнь, продолжавшаяся не смотря ни на что, упорно не желавшая что-либо менять в своем привычном русле, подобно Горе, неколебимо возвышавшейся над Деревней...** Но главного я уже не понимал. Оно как бы стало не моим. Ушло от меня. Я покинул Деревню, и она словно покинула меня. Я был теперь “étranger”<sup>4</sup> — чужим, скитальцем. Чужаком, одним словом.

---

<sup>4</sup> Вспомним, что именно так называется роман А. Камю (в русск. пер. «Посторонний», а порой и «Чужой»). В этом франц. слове — Etranger — о магрибинцев, для которых знаменитый французский писатель не просто мэтр, но и «земляк», и по сей день множество оттенков смысла, которые они обыгрывают в своих произведениях. (О них см. подр. в моих работах: «Между мистралем и сирокко», «От Сахары до Сены» и др.)

Посторонним. Так что же было удивительного в том, что я не понимал теперь, о чем мне толкует Мать, что пытается объяснить...» (с. 84).

Однако неучастие в жизни родной деревни, непонимание ее новых проблем оказываются на поверку мнимыми, воображаемыми не столько самим «exilé», сколько его окружением — близкими ему людьми, дорогими его сердцу, но считавшими из глубокого уважения к своему «доктору» (звание, которым наделяли в селении всех получивших образование — будь он медиком, инженером, юристом, журналистом либо художником, как «рассказчик»), что он столь далеко и столь высоко «занесен судьбою», что ему уж и не расслышать, и не уловить смысла всех перемен...

Но вот именно эта самая отдаленность, посторонность «exilé», от лица которого ведется повествование, эта дистанция разделенности *мира прежнего*, хранимого памятью, и *мира нового*, с которым каждый раз приходится сталкиваться, дистанция, которой опасался ставший «étranger» сын героини романа, оказывается на самом деле способной сохранять правильность пропорций, восстанавливать **истинность отношений старого и нового**, определять разность между настоящим и прошлым и видеть перспективу грядущего... Впрочем, все это, может быть, оказалось возможным прежде всего потому, что exilé **трепетно хранит свой «лучезарный клад»**, оберегая его от всех, и не позволяет никому усомниться в его «лучезарности», даже когда его самого одолевают сомнения: «Я предпочел бы исчезнуть навсегда, умереть, чем открыть своим американским друзьям, поделиться с ними тем, что томило меня. Хотя они меня и уважали... Моя родная деревня, где была “Гора Льва”, была сама по себе *большой тайной*, как бы жившей отдельно от того размеренного, разумного существования, которое я вел здесь, среди своих товарищей и знакомых, пустившись по “священной”, столь желанной материнскому сердцу дороге для своих сыновей, дороге Знания... И эта

моя тайна была моим волшебным миром, моей магической реальностью, которая не смешивалась с реальностью этого мира, и я сохранял за собой право на владение этой моей тайной жизнью и не делился этим правом ни с кем... “Гора Льва” была моим **тайным садом**. И я этим тайно гордился. Но вот эту самую гордость я утратил с тех пор, как узнал о своей деревне другую тайну. И по ночам меня теперь мучили кошмары...» (с. 90).

Какие же сокровища хранила душа в своем «тайном саду» и что мучило душу, когда-то гордившуюся своим «тайным кладом»?

...Райские образы «тайного сада» — это небольшой оазис на юге страны, в «раскаленной степи», где-то там посреди пустого «нигде» (**nulle part**), как чудо возникший и расположившийся вдоль ручья, что бежал под горой, которую местные жители называли «Горой Льва» в честь легендарных предков — «мудрецов<sup>5</sup> и воинов» (*savants-guerriers*), основавших селение. И оно тоже называлось *Montagne du Lion*, как и его Гора. Одна из легенд, свято передаваемых его жителями из поколения в поколение, гласила, *что источник, питающий ручей, забил под копытом всадника, давным-давно возникшего на горизонте, еще в те далекие времена, когда славным мудрецам и воинам «настала пора» покинуть Андалусию<sup>6</sup> и «возвратиться к родным берегам»*. ...Теперь ручей в беззаботном беге своем, сверкая и переливаясь серебром и золотом, омывал сады и огороды, обеспечивая жителям селения во все времена года «скромные, но честные доходы», а землю наделяя красотой, которая вспыхивала в многоцветье абрикосовых, гранатовых, персиковых деревьев, вечнозеленых олив и фини-

<sup>5</sup> Мудрость которых уравнена с мудростью «Царя природы» — Льва, в африканском фольклоре в целом почитаемого Царем всех животных.

<sup>6</sup> О «золотом» времени царствия арабов и североафриканских берберов на юге Испании (VIII–XV вв.!) тунисцы, как и марокканцы, и алжирцы, вспоминают часто и в книгах своих, и по причине сохранения некоторых атрибутов «далекой жизни», оберегаемых потомками тех, кто вернулся в Северную Африку после отвоевания испанцами своей земли.

ковых пальм...<sup>7</sup> В журчании ручья недаром слышится старой Хорийе — матери рассказчика — мелодия *«благочестия и признательности» предкам*, почивающим теперь в вечном блаженстве под куполами мечети. Мечеть эта со своей стрелой вознесшимся над селением минаретом — центр этого «Пространства Счастья» (Village du bonheur), от нее исходили «величие и власть», которым «не было равных» (с. 18). И к этому центру обращались в едином порыве сердца и умы живших вокруг людей...

Пожалуй, только **Гора могла соперничать с мечетью** в своем величии, и «бесконечно прекрасный» вид на нее, открывавшийся из окон домика Хорийи, внушал женщине такое же священное чувство почтения и восхищения ее могущественной, гордой неколебимостью, захватывающей дух высотой и красотой ее «охренно-зеленого» цвета, повторявшего цвет лежащей под небом земли, как голубые купола мечети повторяли цвет раскинувшегося над ними неба... И ничто не мешало Хорийе любоваться Горой, носившей имя Предка, *как бы воплотившей, собравшей в себе воедино все величие, всю мудрость, всю силу и власть его рода...* «То, чем любовалась и восхищалась Хорийя, было самой уверенностью, самым спокойствием, самой вечностью, даже если в сердце и мыслях ее вечность могла иметь только одно имя — Бога» (с. 23). Но душа старой женщины — и сын унаследовал от нее эту способность — не уставала восхищаться «могущественностью счастья» (Bonheur puissant) жить в этом универсуме, под сенью его славы, исходявшей от Горы Льва, и ощущение этого «счастья» было столь глубоким, что могло «унести человека» на встречу **«с небом», «с другими горами мира»** (с. 24)...

С Горы Льва как бы слышалось порой даже «песнопение» тех «мудрецов-воинов», славных предков, которые обосновались здесь, дав новую жизнь племени, и ручей,

---

<sup>7</sup> Здесь, несомненно, *мотив воды* связан именно с Жизнью Земли, с ее процветанием.

словно подхватывая эту их Песнь, в тишине рассветной зари или заката, когда садилась Хорийя у белой стены своего домика в розовых отсветах солнца, чтобы полюбоваться охренно-зеленой Горой, рассказывал ей своим хрустальным, прозрачным голоском о былых подвигах и походах, о благословенной Андалусии, о времени, навсегда утраченном, но вечно напоминаемом Горой Льва...

И ни прошлое это Время, застывшее навечно в Горе, ни настоящее, протекавшее вместе с ручьем в трудах и будничных заботах, не было омрачено в пространстве жизни Хорийи никаким «препятствием» (obstacle) — так называла она все, что *заслоняло* открывавшийся ее взору вид на любимую землю и гору. Этот «вид» как бы естественно переливался от самого человека к цели созерцаемого, и в естественности его душевного продолжения был **залогом спокойствия и равновесия самой устоявшейся во времени, в незыблемости Традиций и вековых границ Жизни.**

Зелено-охренное и бело-голубое пространство с розовыми отсветами солнца и алым полыханием цветущих деревьев было «**royaume**» («царством») Хорийи, ее земным раем. Вот почему земля, где жила Мать, так и осталась в душе сына «*лучезарным кладом*», превратилась и в его «*тайный сад*», сохранив там и свежесть ручья, и радостную гамму красок, и гармонию «*пространства счастья*», где два остроконечных силуэта — **минарета и Горы** — как бы служили *осями равновесия духовного и физического бытия на земле предков...*

«География бывает больше чем просто “физическая”, “экономическая” или даже просто “человеческая” — она бывает *священной* (курсив мой. — С. П.), вплоть до драмы. Да, именно священной была она и для жителей Горы Льва. В их миропонимании царивший порядок вещей, как Закон совести, так и божественный Закон вместе образовали еди-



ное целое. В этой мистической топографии права всех людей были очевидны. Всем все было ясно» (с. 19).

И вот именно эта ясность и «беспрепятственность», позволявшие как на одном дыхании свободно простираться «царству» Хорийи от дома до Горы, дававшие ей право называть эту часть земли «своей», считать ее «**законным**» **царством**, собственным владением с незапамятных времен (и никто не оспаривал у нее этого права), были теперь нарушены. Что и стало источником «драмы», как называла случившееся Хорийя...

Но прежде чем разыгаться самой драме, прежде чем наступит кровавая развязка событий (последняя часть романа так и называется — «Кровь» по контрасту с первой — «Охра»), будут постепенно меняться **цвета** — извечные цвета этого «священного пространства», будут нарастать, окрашивая его темно-красными сполохами пожаров и предгрозовых зарниц, тревожные звуки в «вечных мелодиях» Горы и аккомпанировавшего ей ручья, зашумят суховеи, пронесутся темные тучи саранчи — предвестники несчастья, прольются ужасные ливни, промчатся мутные потоки, принеся разрушения, прогремят громы и отсверкают молнии (вторая часть книги, где сгущается во всех этих атрибутах Апокалипсиса атмосфера событий, названа «Молния»). И вместе с тихой, спокойной, уравновешенной Хорийей в действие вступает ее помощник по дому, бывший капрал, потерявший ногу на войне с фашистами в Монте Катино, старый черный Саад, бесконечно преданный своей хозяйке.

Темнокожий помощник появился в доме рано овдовевшей женщины, оставшейся с двумя детьми и не имевшей, по мусульманской традиции, права отлучаться от дома, выходить за пределы окружавших внутренний дворик дома стен. Помогать нуждающимся — дело обычное в деревне, и Совет старейшин во главе с имамом позаботился о Хорийе, прислав к ней в помощники капрала, ставшего другом ее

семьи. Однако образ черного Саада в отличие от образа «светлой», всегда возникающей в романе на фоне белых стен дома закутанной в белое покрывало Хорийи несет в себе не только вспомогательную (в плане бытийном) или контрастную (в плане цветовой гаммы окружающего пространства), но и дополнительную к «спокойному» образу Хорийи функцию как источник начала «мятежного», как очаг, где зарождались искры пламени, «молний», которые сверкнули над царством Хорийи и вторгнутся в «священную географию», нарушив извечную идиллию архаики...

В противоположность Хорийе, *как бы не задетой бегом времен* (олицетворению времени ушедшего, во всяком случае уходящего), Саад — воплощение того, через кого прошло, пронеслось само Настоящее, сама свершившаяся на глазах людей История, — в него били и бьют «молнии» этого Нового времени. И он вступает в конечном счете с этим временем в единоборство, увлекая за собой и Мать — Хорийу.

Если Хорийя — «истинная дочь» этих мест, прямой потомок Эль Гариба — основателя Горы Льва, продолжательница и хранительница «славных традиций», заветов предков, страж пространства, расположенного *где-то в «нигде»*, исходящего и уходящего *в «никуда»*, чего-то не вполне даже осязаемого, но истинно достойного любования, возвращенного в душе как «таинственный сад», — словом, пространства скорее мистического, идеального, сверкающего всеми красками мечты, «царства счастья» («лучезарный клад»! — *le patrimoine lumineux*)), то Саад — человек, познавший мир в границах реальных, видевший зло, сам убивавший людей, посланный на войну (II мировую) защищать *«честь попранной врагом земли» своих же бывших хозяев* — французов, которые и сами-то «попрали» честь его собственной земли... Прошедший сквозь огонь и кровь, испытавший и муки, и страдания Саад жил в пространстве мира Хорийи, зная другую «истину». Если Хо-

рийя — само воплощение незнания того, что существует за пределами «гауаште», не умевшая ни писать, ни читать, не путешествовавшая по миру (это, полагала она, «забота» мужчин); если знаки ее мироздания — *«истинного и премудрого»*, «алфавит» ее универсума — Гора, Ручей, Дом, Небо, Розмарин, Олеандр, Олива — достаточно надежны для понимания *«бесконечности бытия»*, идущего от предков через нее в Гору и дальше — к небу, в вечность; если ее Знание — **исполнение долга**, завещанного предками Закона, необходимого человеку, чтобы **хранить свое достоинство**, оберегать свою Гору, могилу того, именем кого она названа, то Саад обладал знанием другим. Он видел и испытал на себе, как не возвышают дух и достоинство человека, **но унижают и оскорбляют его, подавляют волю, терзают его тело, вытравливают в нем человеческое.**

Но попав в юности в **«Пространство войны»**, Саад понял, что это не его дело и истинный его долг состоял не в том, чтобы уезжать за тысячи верст от родных мест бороться с «врагом» в Европе, **искоренять зло на чужой земле**, пересекать ради этого море, чтобы стать капралом в какой-то обреченной на смерть роте и нести гибель врагу его врагов. Конечно, отомстить за позор другого, доказать свою «доблесть и честь»; конечно, погасить огонь людского раздора и отстоять мир было делом большим, и он, черный Саад, даже ценой жизни решился бы на это тогда, может быть, и еще раз. Но вот спустя годы старый капрал, получивший за отвагу орден, а за увечья — пенсию, думал уже иначе. И склонен был *не столько бороться со злом вдали от родного дома, сколько защищать добро у себя, на своей родной земле.* «А кто в глубине своего сердца не способен различать добро и зло?» (с. 29). Кто в конечном счете не способен понять, где правда, а где ложь? Вот и, обнаружив однажды *в укромном гроте на Горе Льва забытый кем-то пулемет*, старый капрал осторожно припрятал его под тухлым деревом у дома Хорийи — так, на «всякий случай»,

если «враг» вдруг подступит близко и захочет лишить всех жителей *тишины и покоя*, которые царили вокруг...

Надежно спрятанное оружие было для Саада гарантом безопасности, как и являвшийся по ночам в сновидениях к Хорийе белый Всадник на белом коне — Прапредок Эль Гариб — знак того, что **предки продолжали «охранять» Гору Льва...**

Как ни странно, но обосновавшиеся на полвека в стране французы «не трогали» Гору Льва, то ли удивляясь «застывавшей здесь вечности», то ли восхищаясь редкостной красотой пейзажа и предпочитая «любоваться им издали» (с. 17)<sup>8</sup>, но так или иначе они терпеливо сносили причуды *«местной архаики»* и не вмешивались в дела жителей селения, стоявшего где-то на краю мира, где-то в *«нигде»*, обосновавшись остороженько у самого края селения, не обременяя никого своим «присутствием», своей Властью. Это было какое-то **«абсолютное время»**, в котором и жила Хорийя, и оно как бы постоянно пыталось восстановить свой ход, *растворить в себе настоящее и возродить утраченную гармонию и равновесие жизни*, «en plein milieu de nulle part». «Деревня всегда держалась в стороне от того, что не касалось ее, не было ею самой, похожим на ее жизнь, только на ее жизнь» (с. 104). Оттого и черный Саад, прошедший через годы войны, тоже стремился теперь участвовать в восстановлении **этого равновесия, этой целостности**, как бы из себя порождавшей *непрерывность существования, заветчанного предками*.

Когда Хорийя Эль Гариб смотрела на ручей, дававший жизнь всему сущему, когда размышляла о той любви, с ко-

---

<sup>8</sup> Меньше всего нужно понимать это замечание как некий способ защиты автором «французского присутствия» в Тунисе или, более того, защиту колониализма в противоположность установившемуся после независимости порядку. Напротив, здесь даже содержится скрытый намек на то, что французы вообще не очень-то «заботились» о «глубинке», осваивая в основном стратегически и экономически выгодные для себя районы страны. Но все это — за пределами смысла изображаемого в романе пространства «nulle part», избранного автором как символ «священной земли», на которую **вообще никто не может посягать**.

торой жители деревни шли к своей мечети, о той теплоте, с которой обнимали они ее, ласкали ее стены, образовывая вокруг тесное кольцо, вписанное, в свою очередь, в другое, то, что опоясывало мечеть зеленой плодородных земель; когда она вопрошала себя о судьбе всех этих людей, которые вели трудовую жизнь, воодушевленные верой, жизнь размеренную, определяемую как днем, так и ночью устоявшимися традициями и ритуалами, *обеспеченную их правом земледельцев на воду этого ручья*; молитвами, которые совершали они по призыву муэдзина, задолго готовя себя к переходу в мир иной; когда, одним словом, задумывалась Хорийя над этим круговоротом жизни, спаянной общими интересами, невидимыми, но реальными узами солидарности, **сплоченности людей и земли**, она не переставала удивляться, поражаться и восхищаться. «Почему, — спрашивала она себя в задумчивости перед этой невидимой, но теплой и плотной таинственной тканью (разрядка моя. — С. П.), которая словно спеленала всех людей деревни воедино, — почему не поверить, что все это предрешили предки, так именно и задумали, как и есть все сейчас? С самого начала, как только возникли на горизонте, они узнали уже, какое будущее завещать своим потомкам. И благодаря своей священной власти они приказали воде приносить процветание этой земле... **Они завели здесь твердый порядок вещей с тех пор, как в необъятной степи родилось это чудо...**» (с. 14–15).

В сознании Хорийи эта жизнь **под сенью благословения предков и была истинным «prospérité»** (с. 15) — процветанием, которое благословлял и сам живой «голос предков» — имам, «центр мечети». Но если в топографической системе романа, в «священной географии», мечеть — сама центр «пространства счастья» — деревни Гора Льва, то в системе художественных образов имам — «центр мечети» — персонаж все же не центральный, хотя и не рядовой, скорее даже символический. С одной стороны, имам

Садек принадлежит Традиции и является в сознании жителей селения как бы атрибутом сакральной связи между временем предков и настоящим. С другой стороны, как фигура реальная, он связан — и очень тесно — с «живой» жизнью селения, целиком и полностью в курсе всех ее текущих забот и чаяний, он непреременный участник всех событий и даже прямой «проводник» Хорийи в ее Настоящее время, в ту жизнь, которой она связана с людьми, вокруг нее существующими: это он, имам Садек, позволил ей — вопреки общепринятым религиозным правилам — **выйти из дому после войны, открыть лицо, не стесняться мужчин, пойти вместе с ними работать в поле, решать вместе с ними все важнейшие дела Деревни** (с. 47). К голосу его чутко прислушивались все, и Хорийя в том числе, с его мнением считались и ее дети. Вот почему, когда настало время «уйти французам» и прийти «новой Власти», все ждали, что скажет имам, поняв, что эта **новая Власть пытается прибрать к рукам Гору Льва, навязать жителям селения чуждое им миропонимание**. В селении появился вдруг делегат от Главы Государства, от Главы правящей в стране Партии и потребовал, чтобы все «купили билеты, свидетельствующие о принадлежности к этой партии и безраздельной любви к тому, кто объявил себя почти Богом и сидел теперь в своем беломраморном дворце, куда, как рассказывали, он явился на Белом коне, появившись после ухода французов на берегу моря...»<sup>9</sup>.

Не столько даже безумная прихоть Президента — сравнивать свою власть с властью Всевышнего — смутила людей, показалась им и подозрительной, и непригодной для их «правил», сколько неистовость Делегата, требовавшего от жителей селения «послушания и участия» в какой-то непонятной затее — «делах Партии». Раньше-то ведь никакие

---

<sup>9</sup> Первый и очень долго единственный «властелин» независимого Туниса (с 1956 г.) — президент Хабиб Бургиба (1903–2000 гг.) был и запечатлен в памятнике, воздвигнутом ему, как всадник на коне... Но и его снесли под натиском новых времен. — С. П.

президенты и депутаты не беспокоили никого и не требовали участия в жизни Государства, и никакая Столица не заботилась о Горе Льва и ее «процветании»... Гора Льва всегда и во все времена процветала сама по себе, обходилась без посторонних (с. 104). Вот почему, когда имам Садек решил «отвязаться от Делегата» и обязал мужское население купить эти самые «билеты», почти все согласились, решив, что это мудрое решение. «Собака требует кость, — рассуждал имам. — Так не лучше ли бросить ей эту кость? Лишь бы никто больше не беспокоил Деревню» (с. 105). Люди формально приняли новые «правила», но жизнь их текла пока в прежнем русле. И действительно, на какое-то время Власть оставила «Гору Льва» в покое. Забыла, казалось, туда и дорогу. Если бы не Саад. Он не купил этот «несчастный билет». Не пожелал еще раз исполнить когда-то уже однажды навязанный ему «долг». Ибо никакого «долга» и перед этой Властью за собой не чувствовал, да и угрозы Делегата **лишить жителей деревни возможности орошать свои земли и сады водой из ручья (власти грозили «отрезать» эту часть земли себе в случае, если жители не станут покупать «билеты» его Партии)** Саада в общем-то не беспокоили: ведь источник, питавший ручей, находился **во владениях Хорийи, рядом с домом, и «никто не мог отнять у них этот источник»**. Да и во всем остальном он не сомневался: ведь в жилище его, как и в Деревне его, «не вспыхнул пожар» («Il n'y a pas de feu dans le demeure») (с. 71), так зачем же преувеличивать опасность? Пока защищать нужно было только **свою честь**. От принуждения. И Саад не купил билет.

Власть отомстила Сааду за непослушание. Его пытали, старались сломить, снова заставить исполнить «долг гражданина» теперь уже перед **своим Отечеством**. И когда он вернулся из тюремных подвалов столицы со следами жестоких побоев и ожогов, то затаился, замкнулся, **решил мстить**. Но Хорийя молчала и не рассказывала никому, от-

куда вернулся Саад и почему так долго пропадал «невеста где», выйдя как-то утром из дому... **«Все чувства — сдержать. Все боли — укротить. Все рыдания — загнать внутрь. Надо смириться».** И хотя Хорийя не смогла смириться с мыслью о том, что нужно **«избавиться еще и от надежды»**, она свято верила в то, что «время несчастья» пройдет потихоньку само по себе и не следует вмешивать ни во что имама, ускорять события. **«Зло всегда разрушит само себя»** (с. 81)...

Однако *Время делало свое дело*. Теперь понятие «prosperité» — «процветание» связывалось только со строительством «туристического комплекса» в этой местности. Там для желавших «полюбоваться красотой» вместо неприглядной и неприличной теперь «автобусной стоянки» будет воздвигнут «объект» международного туристического маршрута: об этом заботился сам Президент и возвещали уже размноженные, распечатанные повсюду иллюстрированные путеводители. Туристская слава бежала вперед, и Государству было нельзя ронять своего «достоинства», нужно было строить, «возводить», «приглашать», пользоваться открывавшейся перспективой немалых доходов. Горю Льва теперь называли не иначе как **«национальным достоянием»**...

И вот в этой некогда забытой *«где-то посреди ничего»* (*«en plein milieu du nulle part»*), а теперь ставшей «экзотическим объектом» деревушке должен был вознестись «комплекс» из стекла и бетона с «караваном» сувенирных лавочек... Может быть, так все бы и свершилось по предначертанному в беломраморном президентском дворце плану, если бы он, этот план, не вторгся бы **в границы «священной географии», в пределы «мистической топографии», нарушая извечный порядок вещей.**

Этот «комплекс» должен был располагаться как раз между домом Хорийи и Горой, закрывая, таким образом, «пространство созерцания» и нарушая единство и целост-



ность «плотной ткани», соединявшей сердце женщины с вершиной Горы — гарантом незыблемости, прочности, извечности того порядка вещей, в котором жили люди по «закону предков». Прерывалась сама вековая нить, сам путь, связывавший людей воедино со своей Горой — своей крепостью... «Бог не позволит», — надеялась Хория. «Никто не должен соглашаться», — решили люди.

Но на этот раз имам не поддержал их. Смирился. «Времена изменились. Предки стали пылью. Молодежь уехала. Так пусть то, что осталось от селения, достанется туристам...» (с. 151). То ли устав сопротивляться, то ли действительно поняв неизбежность смены времен...

Вот тогда и возникло у жителей «Горы Льва» предчувствие «истинной катастрофы», ее «неизбежности» (с. 151). Если уж сам имам, некогда «защитник слабых, детей, сирот и вдов, голос Бога», теперь вместе с другими на «их стороне» (с. 161), так где же «свет истины»? Где же «кладезь мудрости?» **Мать восстала.** «Но разве же мы не имеем права на свой последний час, чтобы встретить прощальный рассвет или увидеть еще раз закат? Ведь даже бродячая собака, умирая, устремляет свой взор к горизонту» (с. 152). Этот «горизонт» ей самой все чаще застилала теперь печаль. Мать исстрадалась, когда после парижских баррикад мая 1968 г. («реальное время», «конкретные» даты, цифры все чаще и чаще вторгаются в жизнь Деревни, знавшую когда-то только «вечность») младшего сына разыскивала полиция, он был осужден Властями и как «соучастник бунтарей» приговорен к смертной казни... Сын бежал из тюрьмы и встретился в последний раз с матерью где-то на границе (друзья устроили им это свидание). Она знала, что его ищут, жила в тревоге, хотя надежда на его спасение все не покидала ее...

Страдала она и от отсутствия, столь долгого, старшего сына, почти сделавшего его «иностранцем», как говорили односельчане. «Нет такого слова у меня, — писала она ему

в его далекое далеко, заведомо зная, что письма могут и не дойти (за ней теперь тоже следила полиция), — нет такого слова, которое могло бы выразить все. И даже целая страница слов, даже тысячи страниц писем бессильны вместе сказать то, что не выдержит никакой поток слов: всю мою любовь и всю тоску, груз которых вот-вот готов прорваться своей тяжестью, заполнить все вокруг болью, затаенной в глубине моего сердца... Люди, скажите Богу, что я — всего лишь только Мать!...» (с. 180).

Но новую свою боль — **за родную Гору** — Мать изливать в письме не хотела. Да это была уже и не боль — гнев душил ее. Ярость сердца, ярость разума. Не смирение теперь, не молчание, как было прежде, когда случилось несчастье с Саадом, **но восстание стало единственной реальностью ее духа, ее новой жизни**. Многие начали побаиваться ее, посчитали безумной — ведь она собиралась вступить в единоборство с Властью. Достойно ли это женщины? Разумно ли вообще для человека? «Но разве доказательством моего ума будет то, что я откажусь от клочка своей земли, уступлю его? — возражала Мать. — **Раньше ничто не загораживало моему взору Гору**. Всегда было так. Это простая правда. Все ясно, прозрачно, как вода в ручье... Так почему же у меня отбирают то, что мне принадлежит?... В моем возрасте отказаться от всего этого — признак разумности? Нелепость...» (с. 153-154).

**Ее Гора — ее Горизонт. И он должен быть чистым.** Там, на горизонте, возник когда-то Всадник, и под копытом его лошади забил Родник. Там — *восхождение вечности, покоя, неизблемости миропорядка, его устоев, его непрерывности*. Начало той самой цепи «передачи» предками своих заветов, своих ценностей, своих «правил» живущим на земле людям — всего того, что называется теперь **Традицией**... Можно ли прервать эту линию Горизонта, нарушить ее целостность, ее чистоту? Пусть времена меняются, как говорит имам, но для Матери главное — «не замутить

воду ручья», «не замутить взор», не «прервать линию», иначе исчезнет «свет». «Лишить меня Света? Никогда!» (с. 155). Ее Свет — и Бог, и Гора, и Предок, и его Закон, и ее Земля, и ее Village, и ее дети с их Знанием, и ее Надежда...

И этот «Свет» не равен **их** «prospérité» («Все теперь твердят это слово», — писала она сыну). Она предпочитала **их** «процветанию» свою простую жизнь вблизи зелено-охренной Горы. В отличие от Президента, захотевшего вознести свой дворец, свою Власть «до самых звезд», до самого Неба, но во славу **свою**, а не небесную, воздвигнуть «новые камни, высокие и массивные, которые будут сверкать на солнце», но заслонять от Матери то, что веками на этой земле стояло само по себе или по воле Создателя. «Господи, — молилась она. — Но почему не нашла ты песчаной тучи, почему не обрушишь горы? Все эти люди думают, наверное, что я уже умерла, они заботятся только о “будущих поколениях”... Но они ничего не поняли и никогда ничего не поймут» (с. 160–161).

Последней ее надеждой был старший сын, тот самый «étranger», хранивший в своей душе «лучезарный клад». «Приезжай скорее, покажи им, что ты, доктор, на моей стороне, что понимаешь меня. Твоя мать сегодня — **одна против всех**. Защити свою Мать» (с. 161).

...Композиция произведения такова, что сын получит это письмо, когда «драма уже свершится» (с. 162). Но «неизбежность катастрофы» — условие, осознаваемое всеми действующими лицами. А «защита», которой потребовала Мать, в самом показе свершающегося, и рассказчик в этом видит и так осознает свой долг. Поэтому одним из способов «защиты» становится сам рисунок изображаемого, crescendo драматических событий. И здесь автор снова прибегает к приему нагнетания цветовой гаммы, к буйству стихий — предвестников несчастья. В них — **знаки неба**, и Мать отыскивает решение, силясь понять, что «хочет сказать Бог», в чем должен он «просветить ее» (с. 141). Молнии,

засверкавшие над Горой Льва, теперь постепенно вытесняются пурпурными лучами заката, ярко-красным маревом зари, огненно-ржавым светом солнца, расплывшегося по склону Горы и отражавшегося в ручье «костровыми» отблесками. Все рассказываемое как бы сгущается в тот единый — кровавый — цвет, который и будет последней краской драмы. «Мир сошел с ума» (с. 20). «Неколебимые» устои, атмосфера уверенности «абсолютного» пространства и времени, где жила Хория, не выдержали испытаний, которым подверг его один **«Великий безумец, захотевший занять место Бога»** (с. 146). Но Мать уже не может просто довольствоваться знанием о том, что тот, кто «не боится Бога сегодня, должен платить завтра» (с. 65). Ее терпение и ее смирение «умирают», когда она видит посягательство на свою Землю. И чтобы не дать себя «раздавить вместе с ней» (с. 72), она решается на **свою собственную защиту**.

Теперь уже не только «тени предков», обходящих дозором каждый день на заре и на закате свои владения, являются к ней, напоминая о том, **что эта земля — их «гавань»**, их священное место упокоения, *требуя защиты* (с. 27), но и покойный муж — в сновидениях — тоже требует **«защитить то, что должно остаться нетронутым»: «Защити Гору! —** говорит он ей. Все приходит в движение. Но Гора остается на месте. И она заслуживает того, чтобы мы за нее пролили свою кровь. **Пришло время...»** (с. 175).

В тот вечер впервые в жизни Хория не совершила молитвы...

Но к «восстанию» готовится не только мир теней. Вспомнил о своем собственном горе, унижении, о ранах и пытках черный Саад, старый капрал. Не выдержал, не пожелал отдать право на свою жизнь той Власти, которая позволила себе «претендовать на то, что она и есть само счастье людей» (с. 117). И если такая Власть прибегает к насилию и крови, бьет по спине дубинкой, жжет сигаретой руки, давит человека сапогом, унижает его, заставляет тер-

петь стыд, превращая в зверя, который воем от боли, которого гноят в подземельях, то такой Власти нужно **«отвечать огнем»**. И «заговорил» до поры до времени припрятанный пулемет: в ту ночь, когда и Мать, и Саад решили «восстать», капрал установил его на крыше дома, нацелив на то место, где поутру должны были начаться торжества закладки «комплекса» при обильном стечении туристов и гостей...

Так «*suppléés*» (мученики) стали «*insurgés*» (повстанцами). И на заре открыли **огонь**, поклявшись стрелять в первого, кто пойдет по дороге, ведущей к Горе Льва.

...К несчастью, по ней пошел имам — хотел, предупрежденный теми, кто узнал о затее капрала, уговорить Мать и Саада не совершать безумного поступка, отказаться от мести. Но старый капрал принял бесповоротное решение — **отомстить за несправедливость**. И стрелять он когда-то умел. Только время, видно, подвело его: что-то случилось со зрением. А может быть, наоборот, просто обезумел от **счастья прозрения, избавления от оцепенения, от молчания**, в котором прожил всю жизнь. Но так или иначе в цель он не попал. Имам остался жив. А солдаты, сидевшие в танке — одном из трех, вызванных сюда Властью вместе с войсками (так, на всякий случай, для «*поддержания порядка*»), заметили пулеметный огонь и открыли свой, ответный, по дому Хорийи... **И кровь пролилась**. На охренительно-зеленый мир с голубым минаретом, белыми стенами и розовым пламенем зари, в туманном мареве которой «мерцали тысячи миражей — бесконечно множась миражей, уходящих, убежавших вдаль, в бездонную глубину неба, высоко, высоко...» (с. 166).

У каждого персонажа романа был свой «мираж». У рассказчика, старшего сына, — «лучезарный клад», образ родной Village — Страны детства. Страны утраченного времени... У Матери — *завещанный предками мир*, почитаемый с любовью и страхом, диктовавший «правила» поведения,

хотя и имеющий свое «нулевое» присутствие (*nulle part*), свое **остановившееся время** (впрочем, *nulle part* может пониматься и как изначальное состояние мира, и «где-то» и «повсюду» суще...). У Имама — мираж своей власти (он думал, что он — «Голос Бога»). У Саада — *мираж возможности отмщения и воздаяния Небом поправленной на земле справедливости*. С ним он и погиб, думая о своей невозможной заре «цвета огненно-пепельного оперения ку-ропатов» (с. 169).

У младшего сына Хорийи — мираж революций. Он был готов совершать их везде и повсюду, где кипит бой за справедливость. Да и сам он уже становился миражом, являющимся по ночам в сновидениях только своей матери...

А автор сам подобен изменчивым контурам миража, становясь то наблюдателем событий, то рассказчиком-участником, то персонажем — «старшим сыном», то комментатором, то сочувствующим, то присутствующим на месте, то отсутствующим вовсе, как бы сливаясь с самим образом *exilé* — вечного странника, которого всегда прощает Мать: «Но разве на этой земле мы все — не странники (*exités sur cette terre*)? Пыль — не она ли наше истинное обиталище? Наше естественное жилище? Наш родной очаг?» (с. 148).

Но так или иначе, несмотря на всю «миражность» происходящего в романе, **Защита, о которой просила Мать, реально осуществилась**. Ведь роман, в сущности состоящий из писем и воспоминаний, — послание Младшему Брату: «*C'est pour toi, petit frère, que j'écris ce récit*» (с. 32). «Читай, братишка, читай. И пусть твоя ужасная ярость, от которой содрогается каждый день планета, пусть обрушится она гневным огнем на то проклятое место, где совершилась эта драма, пусть обрушится твоя месть, и отзвуки ее да услышит весь мир. Я горячо желаю тебе этого» (с. 136).

**Главное — помнить** об «ожогах и унижении», о «стыде», о «ночных кошмарах», о «невыразимой боли», о пред-

чувствии гибели **родной Горы**, о том, что сделали с родным селением, о бунте, о восстании Матери и Саада... **Помнить и знать, что люди всегда могут подняться и открыть огонь, сражаясь за свою землю, за ее честь.**

И если помнить, то снова обретется гордость за то, что человек «принадлежит своей земле», своей Village (с. 106), в условном имени которой — «Гора Льва» — Сила, Величие, Мудрость человека, сама неодолимость хранимых им вечных истин. И торжество Добра.

Марокканец Дрис Шрайби (1926–2007 гг.) — один из зачинателей новой словесности своей страны<sup>10</sup> — тоже в 80-е гг. обратится к теме **обережения традиций** как способа самосохранения человека и народа. Для него, яростного повстанца против «**наследия Прошлого**» (роман «Le Passé simple», 1954) это было не особенно характерно. Однако, чем дольше жил писатель в эмиграции, тем больше возвращался к образам родной земли. Добровольное самоизгнание Шрайби обернулось ностальгией по родине, которая, чем дальше, тем становилась все ближе, все желаннее, превращается в предмет особых забот и источник глубоких философских размышлений.

Когда-то, еще на страницах романа «Завещание»<sup>11</sup>, Шрайби писал: «Я видел, как на Западе разглагольствуют о гуманизме и совершают жестокости. И, находясь между двух закрытых дверей, я столько раз пытался кричать о человеческом братстве и взаимопонимании... И как бы в противовес всему я в своем одиночестве стал снова воссоздавать картины родной земли, цвета правды и цвета фантазии...» И если ранние книги писателя (где на примере Марокко были затронуты такие острые проблемы внутреннего развития восточных обществ, как засилье феодальных пережитков, средневековых традиций, религиозных догм,

---

<sup>10</sup> О нем подр. см. в «Истории национальных литератур стран Магриба». М., 1993; С. Прожогина. Дрис Шрайби. М.: Наука, 1986 и др.

<sup>11</sup> Chraïbi D. La succession ouverte. P., 1962.

тормозящих социальный и культурный прогресс; показана хищническая суть национальной буржуазии, неизменившаяся участь народных масс, оказавшихся и в результате завоеванной независимости (1956 г.) снова под тяжким гнетом) были плодами творчества «цвета жестокой правды», то уже роман «Это цивилизация, мама!»<sup>12</sup> скорее «цвета фантазии». И хотя Шрайби верно уловил тенденцию, рано или поздно пробующую себе дорогу, и показал своего рода **альтернативу уходящему миру** — мир восходящий, идущий на встречу с современностью, вырывающийся из плена социальной и духовной косности, — тем не менее в этом произведении — все еще только, увы, прекрасная мечта или надежда на пришествие нового Человека, вступающего в открытый бой с прошлым, в смелый диалог с будущим, бесстрашно выбирающего самостоятельно свою дорогу.

Проблемы же, поставленные в так называемых «чисто западных» произведениях Шрайби, волнуют его не просто как свидетеля, но главным образом как человека, озабоченного именно будущим развитием своей родной страны. От того, какой путь изберет Марокко, пойдет ли оно дальше, уподобляясь Западу, — а такие симптомы в его нынешней ориентации уже с очевидностью наметились, — во многом зависит, считал Шрайби, *судьба дорогого ему народа*, что, в свою очередь, диктует и определяет задачи художника. Он, полагал писатель, первым должен услышать сигнал тревоги, показать в своих произведениях пример того, каким путем *не должен идти мир, обретающий свободу*.

Действительно, если говорить о современных Дрису Шрайби североафриканских и арабских писателях в целом, то именно в романах Шрайби — и мы это старались показать — наиболее полно представлена изнанка современной цивилизации капиталистического Запада, создан яркий портрет того социального устройства, где еще царят законы расизма, звериной эксплуатации людей «второго сорта»,

---

<sup>12</sup> La civilisation, ma mère! P., 1972.



где в человеке убивают его духовное, творческое начало, планомерно и хитроумно развивая в нем такой комплекс свойств, который, обезличивая, превращает его в «человека-толпу», сформированного, запрограммированного по нормам и стандартам массовой культуры и буржуазной демагогии.

Но постоянно возвращаясь в своем творчестве к образам родины, писатель с болью осознает все еще существующую отдаленность той радужной перспективы, которая рисовалась воображению художника в эпоху создания романа «Это цивилизация, мама!», исполненного страстного желания видеть, как его страна выходит на дорогу прогресса, освобождается от феодальных пут, от вековой отсталости. И одна из проблем, волновавших Шрайби, — это не только социально-экономические или политические итоги независимого развития Марокко, но и итог социально-психологический, результат столкновения традиционной культуры, традиционного сознания, живущих в народе *ценностных ориентаций* с современной цивилизацией Запада, с усиленно проникающими на восточную почву нормативами буржуазной культуры, западного образа жизни, с явлениями зачастую чужеродными, трансплантированными извне, неорганично усвоенными.

В романе «Расследование в деревне»<sup>13</sup> создан яркий портрет восточного варианта жертвы буржуазной цивилизации, показан процесс ускоренного развития личности эскolonизованного под воздействием Запада. Гротескная фигура крупного полицейского чиновника Мохаммеда, нахватавшегося на стажировке во Франции и Америке внешних признаков «современной культуры», говорящего на смешотворной смеси арабо-франко-английского языков, заболевшего повышенной брезгливостью к своим «отсталым соотечественникам», утратившего всякую способность к контактам с ними и признающего только деньги и карье-

---

<sup>13</sup> Chraïbi D. L'enquête au pays. P., 1981.

ру, являет собой колоритный пример уродливого гибрида — продукта привития к Востоку худших ростков Запада.

Подобный тип уже мелькнул в романе «Завещание»: Дрис, летя на похороны отца, заметил в самолете «смешанную пару» — араба, соотечественника, женатого на французке. То ли ей захотелось посмотреть на экзотическую страну, откуда был родом ее супруг, то ли Бушаиб, так звали марокканца, сам посулил своей молодой жене показать чудеса и красоты своего края, только летели они оба, совсем не задумываясь над тем, что их ожидало впереди. А там, у барьера, отделявшего летное поле от аэропорта, уже целые сутки томился в ожидании своего сына старик-крестьянин, когда-то отправивший своего старшего из детей *учиться во Францию* с надеждой, что тот, вернувшись, возьмет на себя заботу о многочисленной и бедствующей семье. Теперь, верхом на своем единственном осле, с трудом добравшись из далекого селения в Касабланку, старик, рассказывая всем о своей радости, о предстоящей встрече с сыном, готов был сломать барьер и ринуться к самолету, сгорая от нетерпения сжать сына в своих объятиях. «О Бушаиб! — неистово закричал он, увидев сходящего по трапу одетого в европейское платье, выросшего, но все равно родного человека. — О Бушаиб! О как я рад, сын мой!». Но, прошедший на Западе курс наук, *научившийся стесняться нищеты* и краснеть при виде своих «неотесанных» и одетых в лохмотья соотечественников, Бушаиб объяснил своей удивленной жене, что это просто старый его слуга, который не может сдержать слез и восторгов от встречи со своим воспитанником. А отцу процедил сквозь зубы: «Возвращайся в свою деревню и подожди там меня. Я, может быть, приеду завтра или послезавтра, как устрою свою жену в гостинице. Пока!...» Дрис услышал, как потрясенный старик, излив поначалу свой гнев на прутья решетки, отделявшей его от прибывших пассажиров, обломав ее пикообразные концы, забормотал в отчаянии какую-то странную

молитву, пополам с рыданиями, рвавшимися из него: «Во имя бога всемилостивейшего и всемогущего я продал поле моего отца, аминь. И поле моего брата, аминь... Баранов, козлов, козу, кур, циновки, ружье — все продал. Аминь, господи! Да будет воля твоя и в век науки, освобождения и независимости! Денежные переводы, шестьдесят денежных переводов да еще почтовые расходы! И все это для того, чтобы он **стал человеком**, достойным моей недостойности. А трое из моих сынов умерли на работе. Ничтожна наша нищета и смертны наши тела. Аминь! А теперь он стыдится отца своего. Дорога долгá, ох, долгá до деревни, и я устал, очень устал, о господи... У меня нет сил даже умереть, и ничего не хочется больше... Но и тогда, когда все будет пусто вокруг, вечно будет сиять твой прекрасный лик, о господи...»

Бушаиб, только мелькнувший случайным персонажем в галерее образов — типов новой эпохи, нес уже, однако, предвестие появления и закрепления в творчестве Шрайби образа *человека-гибрида* (как представителя особого социального слоя), подобного высокому полицейскому чину Мохаммеду из «Расследования в деревне» и его помощнику — инспектору Али, у которых в голове *«смешались воедино заветы Аллаха и приказы Запада»*.

Писателя не просто интересует сам по себе тип «гибридной личности», а прежде всего истоки, причины, обусловившие возможность его возникновения. И Шрайби в новом своем романе справедливо усматривает их в недрах той социально-политической системы, которая продолжает сохранять угнетение народа, господство эксплуататоров, системы, олицетворением которой является монархия, ее полицейско-чиновничий аппарат, национальная буржуазия и неокOLONIZаторы, хозяйничающие в стране.

Народ и подавляющая его власть — главная тема романа «Расследование в деревне». **«Французы ушли, но рабство осталось»**, — констатирует писатель. Рабство физи-

ческое — тех, кто попал в плен к «новым хозяевам третьего мира»; рабство духовное — тех, кто либо остался в плену косных традиций, либо попал в плен массовой культуры Запада.

Хотя жители *затерянной высоко в Атласских горах деревушки*, куда приехали полицейские в поисках человека, подозреваемого и обвиняемого властями в **«подрывной деятельности против государства»**, и принадлежат к племени, живущему еще по **древним законам**, именно она, эта маленькая деревушка, оказывается в романе своеобразным **оазисом свободы**, упорно сопротивляющимся железному натиску узурпаторской власти.

Как рассуждает полуграмотный, коверкающий и французские слова, но олицетворяющий власть на месте полицейский чин, прибывший из столицы? «Независимость пришла, и новое поколение, к которому принадлежу и я, обрело свое достоинство. Мой отец был всего лишь шпик, без права решающего голоса, без полномочий, на службе у французов. А я, его сын, я уже — власть! Конечно, еще не вся, частица власти, но мне достаточно. Власть, *атиритет!* Это огромная разница — между теми колонизованными, которыми мы были вчера, и свободными существами, какими являемся теперь. *Атиритет!* В 35 лет у меня уже карьера, я шеф полиции, а мой отец всю жизнь стоял внизу служебной лестницы...»

И вот такой «авторитет», с трудом выговаривающий это «заграничное» слово, требует у обитателей горной деревни выдать «чужого». Кто же здесь чужой? **Люди гор** рассуждают так: «Нельзя остановить ветер... Деревня открыта, тут нет границ». Поэтому и жители соседних селений, и те, кто поднимаются из долины, — не чужие. Но вот те (и это им ясно), кто приходят собирать налоги, они — чужие. **«Скажите им, что у нас больше ничего нет. Мы отдали им все»**, — просят они пожаловавших сюда господ.

Племя свое люди называют «семьей» и странным образом сумели сохранить, несмотря на все перипетии с прошедшей недавно переписью населения, одну **общую для всех фамилию...** Их гора всегда стояла на месте. Одни деревья высыхали, другие росли. Но жизнь все время гнездилась здесь. Хотя в «вековой памяти» Рахо, старейшины племени, памяти, «вскормленной поколениями», жило воспоминание о другой земле, о зеленой долине, где были холмы, на склонах которых росли фруктовые деревья и была трава. Земля эта была щедра, у людей было много ее плодов. А потом посыпались, как саранча с неба, всякие захваты, нашествия от имени Аллаха и от имени «цивилизаций», и **люди племени, чтобы уберечься от завоевателей, уходили в горы все выше и выше, далеко от родной долины.** Некоторые приняли религию тех, кто пришел на их землю, но и они, если хотели жить свободно, уходили в горы, забираясь все выше и выше, а горы становились все суровее и суровее, все скупее и скупее...

Иные стали кочевниками, иные даже *переплыли море* и, пройдя две мировые войны, быть может, где-то обрели свой мир...

Куда же пойдут потомки тех, размышлял старейшина, кто сегодня укрылся высоко в горах? Как высоко им надо будет еще уходить! Там, наверху, только граница с небом... И Рахо, положив ладони на землю, совершает древний обряд. Когда-то, давным-давно, у его народа был культ земли. И вот, словно стараясь проникнуть в нее, почувствовать ее близость, извлечь из нее первозданную, чудодейственную силу, Рахо раздвигает пальцы, опирается на землю, зарывает их поглубже, **словно они — корни дерева, которые пьют ее сок, ту жизнь, что течет в глубине.** Потом простирается и слушает голос «матери-кормилицы»...

...Еще каких-нибудь два десятилетия назад Рахо был легендарным человеком. Имя «командира Филагара» — неуловимого мстителя, скрывшегося в горах и в одиночку

бившегося с солдатами колониальной армии, — было тогда у всех на устах. Оно наводило страх на вооруженных до зубов самой современной техникой и оружием французских солдат, имевших немалый опыт по «выкуриванию» партизан из лесов и гор и не так давно вернувшихся из Индокитая, а теперь ведших кровопролитную войну в соседнем Алжире. Алжирские партизаны тоже удивлялись отваге, завидной смекалке и ловкости активно содействовавшего им *неведомого борца*. Ему одному порой удавалась операция, на которую едва ли решился бы целый отряд... Алжирским муджахиддинам, сражавшимся за свободу и независимость на своей родине, неведомо было, что **в соседнем горном крае**, где жили марокканцы, жили в мирное уже для них время (оттуда французы ушли восвояси немного раньше), появился человек, никогда до этого не занимавшийся военным ремеслом, но в один страшный для него день решивший взять в руки винтовку и кинжал, чтобы разом **за всех оскорбленных и униженных отомстить тем, кто попирает достоинство человека, топчет его землю, отнимает свободу**. А ведь до этого дня он был простым крестьянином, жившим, как и все его соплеменники, в бедности, с трудом зарабатывавшим жалкие гроши, чтобы прокормить своих.

И вот однажды, когда он отнес на базар в соседний пограничный городишко несколько кур и уже возвращался горной тропой к себе в деревню, его вдруг схватил французский патруль. Офицер спросил, кто он такой. Крестьянин, с трудом подбирая французские слова, коверкая их на свой, берберский лад, ответил, что идет мол, с соседней станции (Нжи фи ля гар), где он продавал кур на базаре... «Ах, так ты феллага?!» — закричал офицер, расслышавший в ответе крестьянина звучание презрительной клички, которую дали французы алжирским повстанцам, среди которых немало было и обычных феллахов-крестьян. «*Разбойничий сброд*», «*шайка бунтарей*» — так называли теперь

солдаты колониальной армии тех, кто считал себя бойцами народного сопротивления. Но крестьянину было невдомек, что произнес он приговор самому себе. Его связали, бросили в погреб, били, истязали, издевались, требовали, чтобы он сказал, где скрываются «феллага». А он все твердил: «Не знаю ничего, продал яйца и кур человеку, который, как и я, говорил по-берберски». Когда патруль сменился, другой офицер, знавший немного язык горцев, разобрался, что к чему, и крестьянину было велено убираться прочь. **Перед ним не извинились.** Ни смелости, ни стыда признать свой промах французы не имели, однако милостиво позволили ему подобрать те медяки, которые рассыпались и закатились под стол, когда его топтали ногами и били кулаками. Ползая на четвереньках, не сдерживая слез от боли, он собирал свои честно заработанные деньги под столом, на котором его пытали. Монеты казались холодными, как сердца людей, превратившихся в собак... Он забыл, что собирался купить муки и крупы для дома и только старался перед уходом запомнить тех, кто обращался с ним, *как со зверем.*

...Семь дней и семь ночей крестьянин отлеживался в пещере. Ни ел и ни пил. На его теле постепенно заживали раны, ожоги от сигарет, которые гасили о его кожу солдаты. Но одна рана не заживала дольше, чем другие, — это была его душа, в которой вызревало неведомое ей прежде чувство мести. Надо было обрушить на человека столько ненависти и жестокости, чтобы простой и мирный крестьянин превратился в грозного «командира Филагара», не щадившего врагов «братьев своих». У него не было отряда, он сражался в одиночку, и одно время алжирцы даже думали, что это помогает им **тигр**, по ночам, еще до их прихода, нападавший на лагерь французов... Но когда они узнали — а ветер в горах быстро разносит вести — **историю мстителя**, то, назвав его «командиром», дали ему полную свободу вести **свою войну** — одинокую, но праведную. Для них он стал союзником, не ведающим страха, вольным стрелком,

который сражался за **человеческое достоинство**. А мстителю лишь надо было «остудить» свое сердце, освободить его от жгучего чувства сотворенной над ним несправедливости. Словно с каждой смертью, которую приносил врагу «командир», он обретал и собственную жизнь и защищал жизнь тех, кто, как и он, страдал от унижения. Хотя и жаль было убивать солдат — они ведь тоже были людьми, «ему подобными», но он убивал, совершая месть, восстанавливая поправленную справедливость, и плакал. *Плакал потому, что война, которую вели люди, была несовместима с к р а с о т о й окружающего мира — гор, гордо высившихся вокруг, зеленевших на склонах деревьев и сиявшего в небе солнца, луны, звезд — всего великолепия ж и з н и , которое должно было переполнять сердце только радостью...*

И вот теперь Рахо слушал землю. И она повелевала ему снова **пресечь насилие**, творимое над законами справедливости и чести, по которым жили люди, его соплеменники. Если они позволили чужим переступить порог своего дома, то, значит, оказали им доверие. Но если их **доверие обмануто**, если пришельцы применяют силу и угрозы, заставляя выдать неугодного государству человека, нашедшего убежище у них, то как должно поступить с теми, кто попирает *извечно* присущий людям закон гостеприимства? Да и кто это такой «диверсант»? В чем его преступление? Недаром одни говорят, что **там, в долине, где стоит город, пролег путь, ведущий к тюрьме**, а другие утверждают, что это — путь к свободе... Так что же скажет ему земля? Та твердыня, на которой стоят люди?

...Есть в романе притча, вложенная в уста матери Али — младшего полицейского чина, пожаловавшего с допросом в деревню. Не случайно, конечно, что именно мать рассказывает сыну простую и мудрую сказку, словно сама кормилица-земля раскрывает свою историю, передает свой завет, учит не забывать ту истину, которая в основе жизни народа. И не случайно именно в момент решающего выбо-



ра — на чьей стороне остаться — **с народом или властью** — Али вспоминает эту историю.

...Давным-давно, в незапамятные времена земля была **для людей**. Это был истинный рай. И никогда не было никакого другого. А небо — небо было «незнаемым». Оно приносило опасность. Дул ветер, летели метеориты, спускалась засуха, лили дожди, приходили большие несчастья. **Так думали предки, пока не потеряли память и не стали верить в сказки, посланные небом.** А до тех пор люди жили, не ведая страха, ненависти, не боясь смерти. Было много травы, и молока в изобилии, и земля приносила все плоды. А там, наверху, было небо и его дикие обитатели — боги. Они были ревнивы и завистливы. И со звезд насылали смерть на людей. Так рассказывали люди и передавали это из поколения в поколение. Ведь нельзя, чтобы люди теряли память, забывали о том, кто они есть... Но жители неба всегда вождели земли. Они были жадными и истощили все свои звезды. Сожгли и луну, и солнце. И небо стало пустыней. И тогда они упали на землю и захотели владеть раем людей, а их сделать своими рабами. Они хитры, эти боги! И сердце, и разум им заменяет сила. Они притащили с собой то, что называют *законом*, и свои священные книги и заставили людей прочитать их и таким способом установили *свой порядок*, изменив старый, а **на месте правды утвердили ложь**. Они даже самую жизнь разделили надвое: **на добро и зло**. И вот люди начали бороться с самими собой, стали верить в то, что небо — рай, а земля, их мать-кормилица, — ад. Кое-кто, отказавшись принять такую религию, убежал, скрылся, но большинство поддалось колдовству...

И вот так люди начали работать на своих новых хозяев как рабы, строить для них города и создавать машины. И их потомки продолжали гнуть спину все ниже и ниже и *верить в пустоту*. И это не кончится, видно, никогда. Ибо боги все перемешали в головах людей, смешав язык своей

лжи и своей магии с языком людей, и стерли постепенно их память о прошлом. К чему это привело? **Братья пошли против братьев**, все разделились, и новые слова восстали против старых слов людского племени. Боги заставили людей пролить не только жертвенную кровь животных, но и людскую, чтобы заслужить ад неба, который они называли раем. Они сделали так, что люди земли никогда больше не были довольны своей участью. А когда заметили, что их книги состарились, обветшали и сморщились, как вяленый инжир, и что из них уже ничего нельзя было вытянуть, тогда они придумали новую хитрость, которую называли *цивилизацией*. Но боги составили ее из разных племен, сделали ей многоликой, и каждый лик повернут в свою сторону, и у каждого во рту свой язык. *И люди разобщились еще больше...*

Сколько же осталось на земле людей от того **первого земного народа**? В котором, глубоко упрятанной, живет **память о своей земле**? Если и есть такие, то им надобно во что бы то ни стало уметь сохранить свою память, свою душу. Земляне, те истинные земляне, которые верили и верят в свою землю и оберегают ее, может быть, они укрылись теперь высоко в горах или притаились в пустыне или в непроходимых лесах? Они так и не перестали бежать от богов, скрываться от своих завоевателей, продвигаясь все дальше и дальше, **охраняя свою память о прошлом от новых хозяев земли...** Может быть, это они собираются иногда в долине и при свете луны и звоне старинных бубнов и звуках флейт заставляют оживать в своих песнях и танцах бывшие времена, чтобы напомнить о них и предостеречь людей о грядущей опасности? Их барабаны стучат, стучат, словно бьют тревогу. Ведь если умрут, истощив свои силы в сопротивлении, те, кто **верен своей земле**, кто хочет **сохранить ее для потомков**, тогда останутся на земле лишь те, кто будет только **разрушать ее**, как когда-то разрушили они свои светила еще до наступления времен...

Вот Рахо и **рыл теперь землю**, слушал ее, но копал яму, готовил могилу тому, кто пришел **разрушить узы людей, соединенных верой в крепость своей человеческой солидарности, в надежность своего братства, в неугасимость надежды на свободу, на пришествие царства землян, сбросивших с себя цепи рабов, уничтоживших законы господ и хозяев, и Земля словно подсказала ему решение, и народ одобрил его.**

Вещим гласом народа была Хаджа, мудрая хозяйка этого сурового края, фактическая правительница людей, решивших сохранить «чистоту» своей земли, верность традициям, несущим извечные человеческие представления *о долге, чести, о братстве, о мести врагу*. Но Хаджа — могучая, властная женщина, гнева которой боятся все мужчины деревни, упорство которой не могут сломить никакие угрозы и хитрости чиновников, приехавших из города в поисках укрывающегося от властей «смутьяна» и «бунтаря», «опасного» для правительства и государства «преступника», а не слепая фанатичка, иступленно приверженная старым законам рода. Хаджа, как и ее соплеменники, символизирует в романе тот самый *подлинный народ*, который не дает обмануть себя, затянуть в сети новой хитроумной лжи, несвободы, нового угнетения, не позволит осквернить мудрую «чистоту» своей жизни, ее извечный моральный кодекс предательством, продажностью, изменой.

Величественная как в радости, так и в горе, одновременно мудрая и наивная Хаджа, умеющая радоваться малому, петь, танцевать, готовить «царскую» пищу, знающая секрет волшебных снадобий, черную магию, владеющая и острым словом, и любым видом оружия, Хаджа организует в романе истинное народное сопротивление, противостояние наглому натиску тех, кто, нарушив древний обычай гостеприимства, силой пытались склонить людей **к предательству**.

Противопоставляя свой родной народ власти, Шрайби делает, таким образом, и Хаджу, и Рахо хранителями главного достояния страны — **способности народа к защите своей чести, верности идеалам свободы, готовности отстоять «недра» своей души, способности выжить и выстоять, бороться за лучшую долю.**

Конечно, племенной солидаризм и эгалитаризм («мы — одна семья», — говорят старейшины деревни) могут показаться и кажутся аккультурированному на западный манер полицейскому чиновнику дремучим *«пережитком средневековья»*.

Конечно, древние ритуалы и обычаи жителей деревни на фоне приобретенных этим чиновником «культурных привычек современного человека» могут быть восприняты как *анахронизм*, нелепый пережиток прошлого.

Конечно, упорное желание горцев сохранить законы своего вольного края, охранить клочок своей земли от контактов с внешним миром (*«твердыня своей земли крепче цивилизации, — думал Рехо»*) может показаться безнадежной и *отчаянной авантюрой*, ведь рано или поздно — как в этом уверен полицейский — их заставят **сдаться**, у власти есть для этого минометы...

Однако писателю важно было показать именно это **живущее в народе упорство, несмирение, это внутреннее сопротивление угнетению, твердое стремление отстоять свою независимость**, остаться «неподвластными» всякому насилию.

Вот почему «командир Филагар», о котором не перестают с восхищением вспоминать горцы, ставший легендой одинокий и грозный борец, является в романе символом вспыхнувшего народного гнева, в огне которого куется свобода. Филагар — мирный крестьянин, ставший на путь борьбы, — не террорист, не убийца, жаждущий крови, он — **народный мститель**, не смилившийся с унижением, не

потерпевший совершенного над ним и над его братьями по вере насилия и несправедливости.

Вот почему некий «смутьян», «ниспровергатель», которого разыскивают полицейские, становится постепенно в романе какой-то мифической личностью; им в конечном итоге может оказаться **каждый** — и тот, кто давно живет на этой земле, и тот, кто пришел в деревню «со стороны», **ибо жажда воли — она повсюду**. Вот почему упорство людей не могут сломить никакие угрозы и хитрости приехавших из города представителей власти.

Недаром младший полицейский чин Али, которому измученный жарой и «дикостью нравов» шеф поручает вести расследование, допрашивая всех подряд жителей деревни, **заранее знает, что это «мероприятие» обречено на неудачу**: ведь он, в прошлом сын бедного пекаря в отличие от своего начальника не забывший еще своих народных корней много раз слышал от матери (а та — от бабки, а та — от прабабки) о людях, живших извечно на этой земле, о землянах, всегда боровшихся с «инопришельцами», бросавших вызов тем, кто нарушил их покой, **ранил их землю**, вмешивался в установленный ими порядок... Али знает, что рано или поздно потомки тех землян, что были раньше здесь хозяевами, соберут свои «разрушенные богами», «разъединенные цивилизацией» силы и отомстят за себя... Али знает, уверен в глубине души, что «истинный преступник», *нарушивший законы своего народа* — это сам шеф полиции, с которым он приехал учинять допрос, и его поэтому особо не удивляет тот факт, что люди деревни **убивают того, кто посягнул на их независимость**, нарушил их законы...

Но Али, сам отравленный близостью к власти, уже предвкушающий возможность занять освободившееся «место наверху» и показать свою власть над теми, кто не «хочет жить в XX в.» и поклоняться «новым богам», обманывает горцев, ускользает от их мести, чтобы вернуться сюда

снова — на сей раз руководителем операции по «очистке местности от преступников» — с солдатами и с минометами... Однако Али встретят лишь **молчание гор и пустота вокруг. Деревня исчезла, она словно растворилась в безграничье земли и неба, ушла в вечность как напоминание о народе, не смилившемся с участью рабов, не позволившем убить себя и свою свободу...**

Шрайби, опираясь на народную эпическую традицию, сохраняя в романе как бы вневременные черты сказа (как и Тлили в своем романе «Гора Льва»), повествующего о вечных истинах, свято хранимых людьми его родины, вводит в произведение, однако, и хронологические «координаты»: намеренно документализируя повествование, насыщая его характерными чертами и приметами новой эпохи, переживаемой Марокко, писатель называет «точную дату» всего происходящего — 12 июля 1980 г. Особо заостряя, таким образом, романное время, Шрайби еще раз смело обнажает противоречия современного развития Марокко, вскрывает его «болевы́е точки», концентрируя заряд своего мастерства на основном вопросе, волнующем еще и сегодня марокканцев: независимость — да, они ее получили, но обрели ли они долгожданную **свободу?!**

Несомненная смысловая однозначность романа, его идейная ориентация, открытость и в то же время многоцветье художественных образов, колоритных персонажей, яркость и сочность языковых характеристик, обилие различных стилистических пластов при создании разных социальных типов, тонкое мастерство живописца, владеющего сложной психологической нюансировкой, — все эти качества, присущие писателю, делают это его произведение особо значимым.

Особо потому, что именно в этом романе в полную, силу зазвучала тема, которая так или иначе (и «цвета правды», и «цвета фантазии») в разных вариациях проходила через все творчество Шрайби, — тема Родины и все про-

блемы, связанные с судьбой родного народа, с участью своей страны, с исходом борьбы за независимость, в той или иной форме, с той или иной степенью интенсивности постоянно пробивавшиеся сквозь разнообразные сюжетные пласты, в этом романе сплелись воедино и придали необычайную философичность, глубину, расширили диапазон звучания произведения поначалу задуманного как острый социально-политический гротеск.

Словно излившись на свободу, тема родной земли, ее «вечный зов», продолжала увлекать в новый творческий поиск писателя. Незадолго до выхода романа «Расследование в деревне» Шрайби писал мне в одном из своих писем: «Я завершаю сейчас работу над произведением, вдохновленный “Тихим Доном”. Хочу рассказать и я о реке жизни, об истории своего народа, воссоздать его эпопею...» Через год читатели получили новый роман, который назывался «Мать Весны»<sup>14</sup> — так в переводе звучит Умм-эр-Биа — полноводная марокканская река, в устье которой и стоит город Мазаган, где родился писатель...

Если не знать конца предыдущего произведения, то можно было бы считать, что начало нового романа — продолжение рассказа о горном племени Аит-Яфельманов (что значит «Сыновья Воды»): мы снова встречаемся с Рахо в затерянной высоко в горах деревушке, и снова он слушает землю, и снова размышляет о жизни, подводит итоги. Но недаром **вступление** к роману названо «**эпилогом**». Автор не просто хотел соотнести события, о которых пойдет повествование, с теми, о которых уже было рассказано ранее, ему потребовалось особым образом «актуализировать» точку отсчета, отправной момент человеческой памяти. Вот с этого необычного начала (и финала одновременно) станет разворачиваться в романе свиток времени, который уйдет постепенно в глубь веков, и Рахо — старейшина племени, хранитель памяти своего народа — «вспомнит» всю дол-

---

<sup>14</sup> Chraïbi D. La mère du Printemps. P., 1982.

гую его историю, течение реки его жизни, судьбы, соотнесет их со временем сегодняшним и только тогда «подведет черту». Возможно, именно таким и был последний миг присутствия Рахо на той суровой земле, которая когда-то дала приют его племени, решившего теперь снова продолжить свой путь и **ушедшего «еще выше», туда, где горные вершины сливаются с безграничем неба...**

... Как и арабы, Рахо был мусульманином. Больше сердцем, полагал он, чем разумом. Он выучил их язык, простой, обыденный, да еще и язык «франкауй», чтобы как-то прожить без особой нужды и бедности, «без недоразумений».

Давным-давно, во тьме веков, судьба заставила и его народ услышать голос оружия. И теперь, столетия спустя, сын земли Имазигенов (так называют себя — *«свободными людьми»* — берберы Марокко) должен был худо-бедно стараться выжить в собственной стране. Надо было выбирать то, что необходимо. Принять то, что предлагала судьба. Смириться со своей участью и «не делать того, что не надо: умирать!»

История арабского завоевания дошла до него изустно. Сам он знал о ней очень мало. Из поколения в поколение ее передавали, переделывая и изменяя каждый на свой лад, так что со временем она превратилась в легенду. Но время оставалось временем — хозяином людей. Слова же — словами, как их ни произноси. Значение их сотрется когда-нибудь из памяти. **Останутся только горы, пустыня и долина.** А все цивилизации слов «затронут лишь их поверхность, слегка коснутся» и растворятся в веках. Сохранится земля и ее народ, который жил на ней извечно. Дело только в терпении. Вот и все. И покуда надо будет поить живительной влагой и братьев, и чужестранцев, покуда будет еще вода на земле, Рахо Аит-Яфельман будет утолять их жажду...

Сейчас он молился, хотя хорошо знал, что молитва его не получит ответа, а ладони, обращенные к небу, могут на-



полниться только дождевой водой. Когда-то Аллах обещал: «Мы сделаем бесплодную и мертвую землю плодоносящей и цветущей». Но от прошлых обетов остались только песок пустыни да скалы, которые молча хранили воспоминания о тех временах, когда то, что называли религией, было любовью к ближнему, к слабому, к сироте, к чужому. Это все Рахо пережил тринадцать столетий назад. Он в этом был уверен. История с тех пор все рассеяла по ветру, будто ничего и не было... А вот старая смоковница все стоит посреди деревни, на маленькой, выложенной булыжниками площади. На ней сейчас не было сочных, лопающихся от тяжести плодов, однако, как и в урожайный год, **дерево принадлежало всем**. Всем тридцати четырем семьям племени. Она давала тень летом, приносила свежесть. Под ней собирался народ, обсуждал свои дела. Если не удавалось что-то решить сразу, переносили на следующую пятницу. Обсуждать что-либо совместно было таким удовольствием...

Живя в ритме смены сезонов, времен года, люди горного селения приспосабливались кое-как к господину Государству. У них не было своих отдельных имен, фамилий. Все они были «братьями» по вере — «Сыновья Воды». Мать племени Аит-Яфельманов, его старейшина, совершила когда-то паломничество в Мекку пешком. И теперь ее называли Хаджа. И она позабыла свое настоящее имя. Они все были неграмотными. Чиновник, приехавший как-то на перепись населения, получил от них ответ: **«Мы все — братья»**. Чиновник ведь не знал *двух основных «опорных точек» каждого человека: земля — под ногами, небо — над головой*. Вот и не могли их пересчитать, вычислить, сколько у них женщин, сколько детей, какого пола: все они держались вместе — и свои дети, и чужие — все воедино, нельзя даже на бумаге было разъединить их *человеческое сообщество*...

Они были счастливы такими, какие есть, размышлял Рахо, без документов, без удостоверений личности, без бумаг.

Когда пришли в страну «европей» и стали ее хозяевами, племена берберов-имазигенов **укрылись в горах, уйдя туда, чтобы «сохранить свою душу»**. И вот так, несколько десятилетий подряд, они жили там. Но горы становились все более и более бесплодными. А хозяева страны жили в долинах. Но ничто не сближало народ с хозяевами, ибо ничто не могло сблизить их точек зрения на жизнь и человека. Ведь сколь бы богатыми ни были сыны Запада, они все равно не знали дороги, *«которая ведет человека к самому себе»*. Потом, вспоминал дальше Рахо, появились новые хозяева и столкновение с ними было иного рода. История повернулась так, что снова люди жили только среди своих же соотечественников. Религия связала их святыми узами. И власти тоже знали цену терпению. Но ждали, когда этот островок земли, на котором жило племя Рахо, **покорится им**. И как и другие, еще блуждающие в средневековые люди, разбросанные по всей территории страны, присоединятся к новому сообществу людей...

Новое государство потребовало, чтобы в деревне был избран мэр. На всеобщем собрании под смоковницей. Власти думали: наделяя кого-то чином, мы делаем его ответственным, т. е. **проводником закона**. Мы будем поощрять его, он станет воспринимать себя всерьез, и племя будет постепенно разобщено и в конце концов **разбито**. Разве кто-нибудь откажется от Власти? Но белая одежда мэра переходила от одного к другому, а дань с общины чиновник, приезжавший из города, так ни разу и не собрал: люди отговаривались, — нет, мол, урожая, отдадим долг в следующий раз; дом кому-то построили и т. п. Пытались разговаривать с Аит-Яфельманами через переводчика, и тогда начиналась такая абракадабра, которую ни к одному из существующих диалектов отнести было нельзя, и понять ничего нельзя было — **все люди гор приходили на помощь к «пострадавшим»**, выручали друг друга, окружая деревню, и чиновники убирались восвояси.

Да, люди его деревни, размышлял Рахо, были *хранителями души древнего народа*. И эта душа пережила всех завоевателей, выжила вопреки всем ударам истории и судьбы. А Рахо знал, что силы человеческой души неистощимы, если они связаны с родной землей. Если все его «братья» (и он тоже) из года в год прибегали к разного рода уловкам, стараясь отстоять свою независимость от власти, то делали они это не для собственного покоя, *но для сохранения своего народа и своей земли*. И знал он также, что рано или поздно настанет день, *«когда все горы будут разрушены, и их сметут с лица земли»*. И где тогда найдут люди свое убежище?

Он спросил небо — на нем не было ни облачка. Потом землю. Она задыхалась от жажды. Из поколения в поколение она давала пищу людям, кормила их, и в недрах ее еще таились богатства, и солнце было этому свидетелем.

Еще вчера можно было сопротивляться завоевателю и даже его победить. Как бы ни был он могуч — силой или числом, он был сам по себе. Это был один враг. Один завоеватель. С ним надо было сразиться на одном пространстве, в одно время. Некоторые из пришельцев даже остались в стране, пустили корни. Менее терпеливые ушли дальше. Третьи вернулись к себе... А теперь? Теперь никто не действовал в одиночку.

Чтобы поставить на колени народы, хозяева смерти, думал Рахо, передавали друг другу свою науку усмирения и подчинения. Они ставили знание на службу угнетению и подавлению. Сколько еще смогут продержаться такие вот Аит-Яфельманы, Сыновья Воды, его братья? Что можно было еще придумать для них?

Главное, и это Рахо знал точно, — **уметь сохранить свои корни в земле. Выстоять.**

...Когда Рахо сажал свою смоковницу, люди смеялись над ним. Такими хилыми казались ее веточки. А двадцать лет спустя все увидели могучее дерево со спелыми плодами

и огромную тень от него. И если люди, как и это дерево, сумеют выстоять, то, значит, и их земля будет спасена.

«И даже тогда, когда не останется уже ни единой кости от моего народа, — размышлял Рахо, — ты все равно будешь жить, моя земля. Никто тебя не победит. Никто не сможет умертвить тебя». И Рахо нарисовал на песке древний знак — *звезду и в ней рыбу* — символы солнца, источника тепла, и воды, источника жизни на земле. Земля сама позаботится о человеке, лишь бы люди верили в нее...

И та легенда, которую сохранила для Рахо память его племени, была подтверждением его веры.

Дальнейшее повествование в романе обращено в глубь истории, когда вершилось завоевание берберской земли арабами в VII в. нашей эры...

Но по прочтении книги становится очевидным, зачем понадобилось Дрису Шрайби обращение к Plus-que-parfait, к давно прошедшему времени в романе «Мать Весны». Казалось бы, призвание писателя — современная действительность, ведь все свое творчество он посвятил борьбе с силами «зла», которые в его произведениях обычно олицетворяются **в образах прошлого, должного уже завершиться**. Семантика прошедшего времени в целом в книгах Шрайби однозначна — это преимущественно *Passé simple* (именно так и назывался его первый роман), **время оконченное, которое не должно иметь места в настоящем**. Однако писатель, вдруг резко переключивший внимание от современности к глубокой старине, «изначально начал», в романе «Мать Весны» наполняет новым содержанием понятие «Прошлое», и, сообщая произведению эпический размах, категория прошедшего времени постепенно приобретает новый смысл.

Если в «Расследовании в деревне», вышедшем на год раньше, повествуется о *сегодняшнем дне* одного берберского племени и действие происходит в наши дни, то в романе «Мать Весны» воспроизводится предыстория его. Но оба

произведения вместе — итог раздумий, вывод, к которому приходит писатель, «распутывая» тугой узел нитей жизни, стянувший воедино историю и современность его народа и его земли. Шрайби, умело «вытягивая» эти нити, последовательно воссоздаёт долгую цепь событий, борьбы, покорения и «внутреннего» сопротивления, **вечного несмирения завоеванного, но не ставшего рабом человека.** Именно в этом плане смысл романов Шрайби далеко выходит за рамки конкретной и специфической для Марокко проблематики.

В сущности, оба этих романа Шрайби посвящены одной и той же теме: **неубиваемости земли**, связанной нерасторжимыми узами со своим народом, **неискоренимости жизни народа, неподлежанию завоевателю освященных веками традиций, законов чести, понятий добра и зла, особого кодекса морали.** Но, по-своему варьируясь в каждом из произведений, эта тема в рамках художественного времени актуализируется в «Расследовании в деревне» как тема неподвластности времени (**извечности народного духа**), а в романе «Мать Весны» как тема «сохранения» или «удержания» времени («внутреннего» времени народной жизни) *во имя будущего возрождения.* Несомненно, и та и другая актуализация взаимосвязаны. Но в первом романе она прозвучала как итог «накопления времени», результат его самосохранения, выводящего на новый виток все той же истории народа. А во втором романе — это скорее сам процесс (от истоков зарождения народного и национального самосознания) овладения *«собственным временем»*, понимаемым автором здесь прежде всего как *сопротивление* («терпение» или «борьба» — в зависимости от обстоятельств) народа попыткам обратить его в рабство. Причем и рабство подразумевается как духовное засилье, ибо физическое угнетение, подвластность силе — явления (так они интерпретируются в романе) преходящие, вызванные случайным стечением различного рода обстоятельств. **Смирение же «духовное» как подавление духа вольно-**

**сти**, свободолюбия, утрата собственных корней, которые лежат в недрах своей земли,— равносильно в понятиях традиционного сознания **«разрушению основ»**, фундамента жизни.

Этой цели — показу нерасторжимости уз родной земли и человека, народа и его родины — снова служит образ дерева в романе Шрайби «Мать Весны» — старой смоковницы, росшей посреди деревни. Она была символом братства, солидарности, единого рода. И в урожайный, и в неурожайный год, когда она не могла радовать людей спелыми плодами, она все равно оставалась **центром их земли**. Рахо, старейшина рода, хранитель традиций племени Аит-Яфельманов, помнил, как, сажая крошечное деревцо, заметил недоверие в глазах людей, сомневавшихся в том, что оно *приживется на каменистой, бесплодной земле*. Двадцать лет спустя люди видели уже огромную тень могучего дерева, вкушали его сочные плоды. Главное — и Рахо это знал — корни. И как неистощимы силы человеческой души, если она привязана к родной земле, так и неиссякаемы соки дерева, если оно пустило в ней невидимые, скрытые **корни**... Ведь земля вечна, она неубиваема, неборима. Рахо, чей народ и его земля неоднократно подвергались испытаниям истории, набегам чужестранцев, испепелявшим все вокруг войнам, знал это. Как знал и его предок Азлав, первый вождь племени Аит-Яфельманов, что ни народ, ни его земля **«никогда не умрут»**, если в глубине дремлют корни, которые рано или поздно «дадут молодые побеги»: земля сама «позаботится о человеческой судьбе», лишь бы «верили в нее»...

Недаром издревле марокканцы, как пишет Шрайби в своем романе «Мать Весны», считали самой большой потерей для человека утрату самого дорогого, что есть у него в этом мире: уз, которые соединяют с взрастившей и вскормившей его землей. Теряя или обрубая сам эти узы, человек больше не был ей «сыном», становясь чужим в своем пле-

мени, «как будто он отрекся от *собственных предков*». Отсюда — особое отношение народа к людям, утратившим «кровные узы» и ставшим оружием врага. Таких уничтожали в бою первыми — **как предателей**.

Так мотив Дерева, его корней, как и мотив Горы, и здесь становится не только метафорой связи человека с родной землей, но и метафорой смысла самого человеческого существования.

Искусно пользуясь приемом совмещения разных мифологем в одном, художественном образе, Шрайби в романе «Мать Весны» создает и свой вариант мифа о сотворении мира, мифа, который необходим писателю для утверждения идеи о нерасторжимости человека со своей родиной. Этот миф, рассказанный старым бербером своей малолетней дочери во время бегства их племени от нашествия врагов, начинался так: «В начале всего была земля». Именно земля, содержащая в себе исток всякой жизни. «А над ней и вокруг нее — мрак и холод». Поэтому и семь дней творения приобретают в романе Шрайби особую символику, ибо их смысловая последовательность подчинена одной, важной для автора мысли, которая проходит через весь его роман: *родив человека, отдав ему свою любовь», свои дары, земля сама нуждается в нем, в его созидательном участии и доле вклада в свою вечную и неистощимую сокровищницу богатств*. «В лоне ее было много жизней... И случилось семь сотворений. Семь раз родила земля. Свое первое дитя она родила, чтобы согреть мир, — и это было солнце. От него затем пошли его дети — звезды. А потом земля породила жителей пространства между собой и небом — и это были птицы. Чтобы заботились они до скончания веков о солнце и звездах... В третий раз — ибо все вокруг было сухо — дала земля в изобилии свое молоко, и прыснули из нее источники, и забили струи, и потекли реки, образовались моря... И появились затем рыбы в реках и морях. Чтобы пить воды земли. А потом земля укрыла свое тело, оделась зеленью, деревьями, украсилась плодами. И появились звери, чтобы

питаться плодами земли... Затем все вместе, созданное землей, соединилось воедино — и животные, и растения, и воды, и птицы, и рыбы, и солнце, — и тогда родились мужчина и женщина. И возник венец творения, гармония всех даров земли, матери-кормилицы...» (с. 92–93).

Недаром писатель, подключая к мотиву матери-земли и **мифологему воды**, делая ее, как и Гору, ее пещеры, **аналогом убежища, материнского лона, чрева, отождествляя ее с землей как воплощением начала детородного**, говорит об «иссушении» человеческого сердца, «иссыкании» в нем любви как о причине «истощения» самого *источника жизни*. Нарушение этой *кровной взаимосвязанности (человека и земли)*, этого круговорота их взаимной «самоотдачи» (как благоденствия) приводит к неизбежным катастрофам и катаклизмам: так, страшная засуха, поразившая землю людей из племени Аит-Яфельманов была призвана напомнить им о *вечном зове земли, нуждавшейся, как река, в постоянных «притоках» жизни*, способных ее обновить, влить в нее новые силы. «Живя только для самих себя», не помня нужд своей земли, и человек, и «племя людей» постепенно теряют «пространство Времени».

Тема засухи, иссыхания животворного начала, *ухода реки* как бы замещает в романе Шрайби тему исчезновения связей человека и его земли, разрыва их кровных уз: «Изжарились на полуденном солнце цветы и шмели, обуглились колосья ржи. Возгорелась солома на крышах и повалил густой и едкий дым. Превратились в прах ящерицы в своих норах и все, что осталось еще в пожухлой траве. Оголились деревья, лишившись своих обгорелых листьев, и даже вековой кедр стоял обнаженным. И едва сочился ручеек, оставшийся от вечной реки, стекали и его последние капли, словно из истощенной груди кончавшей кормить своего младенца матери... А потом все иссохло. И тогда снова взыграла кровь в жилах, и закалился страх в сердцах людей, и проснулась их настоящая отвага». Аит-



Яфельманы выходили из оцепененья, чтобы исполнить свой долг.

Отсюда — особый смысл обряда омовения в водах священной для берберов реки Умм-эр-Биа (Матери Весны), сопряженного с клятвоприношением. Та клятва, которую дает своему вождю Аззаву племя Аит-Яфельманов, прибавляя к воде несколько капель крови, «смешивая свою кровь с кровью земли»<sup>15</sup>, и есть сохранение навсегда верности этой земле, несмотря на необходимость отдаться на милость победителю, принять его веру и терпеливо ждать часа своего избавления. Ритуал омовения соотносится, таким образом, не просто с «возвращением» человека к его исходной «чистоте» (как к первоначальному), но одновременно становится началом его «нового рождения» и залогом его возрождения (весны) в грядущих веках.

Обращаясь к теме **сохранения времени**, которая естественно перерастает в тему **неподвластности времени**, Шрайби абсолютно лишает ее на сей раз оттенка горького «пассеимизма». Его «традиционализм» здесь консервативен лишь в той мере, в какой он охранителен или спасителен для жизни и судьбы народа. Главное — не *«разрушить фундамент»*, не лишиться «основы», не потерять веру в нерушимость человеческой *«солидарности»*, того братства, которое основано на законе «совместных созидательных человеческих усилий», на равенстве, на нерасторжимости человека и его родины, питающих «соками своей души» друг друга...

Отсюда — «упорство всех упорств и твердость всех твердынь», которые проявляет племя Аит-Яфельманов при любых обстоятельствах жизни, даже когда приходится отдаться на *милость победителю*, — не отупляющая и бессмысленная привязанность к прошлому, не глухая прико-

---

<sup>15</sup> N.B. В романе Шрайби — «кровь горы» имеет *зеленый цвет*, что тоже означает животворное, жизнедающее начало...

ванность к нему, но, наоборот, — освобождение от него при обретении цели своего **продвижения во времени**.

Давая присягу верности своему вождю, клянясь спасти для грядущих поколений **«самосушность» племени**, выполнить взятый на себя долг перед родной землей и сохранить в ней собственные «корни», Аит-Яфельманы из романа «Мать Весны» **открывают, таким образом, границы времени**, ибо вождь вручил им «цель» и. она стала залогом и самой Жизни. Недаром символом времени в романе является священная река Умм-эр-Биа, Мать Весны. Животворный источник, иногда пересыхающий, однако всегда возвращающийся в старое русло, «сок земли и ее кровь», несущая в себе заряд новой жизни, эта река катила свои воды в океан, как и другие реки, питая его, пополняясь и сама на пути к нему водами ручьев и речушек... И там, на «краю земли» (где останавливается даже бог войны — конница завоевателей), рождались новые «воды»: «Волна шла из глубины океана и времени медленно, плавно, могучая, мощная волна»... Волны выходили из берегов, перекачиваясь из вечности в вечность, снова рождались, набегали, одна на другую, взрывались у берега и опять возрождались, добавляя к жизни свою жизнь...

Показывая, какой ценой, какими усилиями выживает маленький народ, испытавший нашествие мощной армии завоевателей (тоже «искавших воду» и землю для своего народа, как пишет Шрайби), автор романа «Мать Весны» не ставит под сомнение ни ценности новой религии — ислама, в который был обращен народ его земли, ни ценности привнесенной извне цивилизации. Тем более писатель не стремился подчеркнуть еще существующие в Марокко противоречия между двумя основными этническими группами — арабами и берберами, где последние представляют коренных жителей этой страны и составляют почти половину ее населения. Его задача была другой: рассказать, как **народ, даже покорившись, не разрушает себя, если сохра-**

няет верность своей земле и своей реке (или Горе, как в романе «Расследование в деревне»). Главным — в плане завоевания «Пространства и Времени» — было сохранить «память народа», передать в будущее его веру в могущество человека», в предназначение земли всегда быть тем, чем была она изначально: «колыбелью рода человеческого»...

Вот почему Река Жизни (как Время Человека) носит имя Матери Весны. Ибо к весне, к заре года, к расцвету жизни направлен бег времени. Вот почему не довлеет читателю трагизм концовок обоих романов Шрайби: обреченность на уничтожение затерянной **высоко в Горах маленькой деревушки**, не желающей мириться с произволом властей, и обреченность на вечное молчание имама Филани (у него арабские завоеватели вырвали язык, когда узнали, что тот с вершины минарета предупреждал соседние племена о готовившихся захватах их земель), бывшего вождя племени Аит-Яфельманов, Азвава. Ведь и в исчезновении, уходе в «безграничье Земли и Неба» жителей горной деревушки, и в последних словах героя романа «Мать Весны» перед «молитвой сумерек», обращенных к распустившемуся у подножия минарета цветку, слышатся звуки шагов грядущего. «Я знаю, — думал Азвав, — что и другие цветы распустятся в свой час. И запоет песнь их разноцветье... И снова я увижу с высоты минарета, увижу это великолепие. И моя истинная молитва будет для моей земли, которая породила эти цветы для человека, окружившего их своей любовью» (с. 212–214). И во вневременном, притчевом финале романа «Мать Весны» звучит не скорбная интонация раздумий о вечном возвращении времени на круги своя, но реальная уверенность человека, гражданина, художника-гуманиста, показавшего то единственно настоящее время, ценность которого непреходяща, ибо оно навсегда связано с созиданием жизни, а не с разрушением и опустошением ее.

Исток этого настоящего — в прошлом, устье его — в океане грядущего. И связано оно навечно с тем, что всегда

должно принадлежать человеку и народу. Вот почему, пишет Шрайби, народы, «пройдя, как караваны», по реке времени, должны быть спокойны, что в «конце времен», если «уже ничего» не останется, «Земля, Свет и Вода» их родины будут всегда. А значит, и исток новой жизни.

Не потому ли исполнены такой особой для писателя значимости слова мудрого вождя, увидевшего однажды на рассвете, как племя его возвращается после долгого отсутствия *к своим берегам*: «Возможно ли, покинув свою родную землю, потом вернуться к ней, как будто бы ничего не случилось и не было у нее нужды в тебе? Все те, кто бежал от матери-кормилицы, при первых знаках бедствия покинули ее, озабоченные только своей судьбой, теперь вернулись и целуют свою землю... плачут от вновь обретенной любви...» Земля — она простит, преисполнившись нежности, лишь бы никогда не погас в сердце человека ее свет...

...Мы расстались с Рахо, старейшиной Аит-Яфельманов, в тот миг, когда он, подводя итоги собственных раздумий о трудной судьбе своего народа, рисовал на земле *священный знак*. Шрайби, рассказав нам историю Аит-Яфельманов, расшифровал, таким образом, этот древний символ звезды (как аналога солнца) со вписанной в нее рыбой (как метафоры воды). И вывел свою формулу **закона жизни**, где вечные мифологемы Горы, Деревя, Земли и Воды уравнены друг с другом, соотнесены с источником Света (несущего не только животворное тепло людям, но и **прозрение**, направляющего их совместные усилия на созидание Добра), умножены на скорость человеческой истории и приравнены к бегу Времени навстречу Весне как вечному Возрождению Народа.

## Глава 4

### ГОРЫ КАК «ТУПИКИ» ЖИЗНИ, ИЛИ ПРЕДЧУВСТВИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕМЕН

Нарушим хронологию в эволюции литературного франкоязычия и вернемся назад, в 50-е годы, когда с образами мира гор возникла неожиданно и другая проблема.

В эпиграфе к роману алжирца М. Ферауна «Дороги, ведущие в гору»<sup>1</sup> — кабийская поговорка, которая гласит: *«Попасть в Форт-насьональ можно разными путями, но бесполезно выбирать дорогу полегче: они все идут высоко в гору»*. И хотя действие романа, который стал своеобразным продолжением «Земли и крови», происходит в Игиль-Незмане, небольшой деревушке, добраться до нее столь же **трудно**, сколь и до гордого горного города-крепости...

Однако, с помощью Писателя мы сразу окажемся в глухом, далеком местечке, и даже заглянем в дома его жителей — основных действующих лиц романа, будто бы сосредоточенного на одной любовной истории, закончившейся трагедией. Но она — эта история — полна тех атрибутов кабийской жизни, отделенной горами от всего другого мира, которые заставляют Читателя размышлять не столько о проблеме охранения жизни и мира людей, сколько *о проблемах Традиций, уводящих не к сияющим вершинам, но в тупики человеческого существования, грозящие гибелью*.

В зачине истории — Дехбийя — одна из основных действующих лиц романа, несостоявшаяся невеста Амера, сына другого Амера, героя предыдущего романа, погибшего (как потом и его сын) *по закону кровной мести* в этом же

---

<sup>1</sup> Feraoun M. Les chemins qui montent. P., 1957.

селении. Она, Дехбийя, захочет осмыслить все произошедшее с ней и ее любимым, пересмотреть *заново историю* и своей, и его жизни и определить меру *своей вины* и *виновности других* во всем случившемся. Она сядет, подвинув к себе какой-то ящик, положит на него маленькую школьную тетрадку в зеленой обложке и станет писать при свете керосиновой лампы...

...Дехбийя до этого провела несколько часов за чтением дневника погибшего и вернувшегося из долгой эмиграции Амера, а потом и его сына... Писала по-французски, выучив его еще в школе, зная все правила, и хотя буквы выводила всё же детским почерком, но старалась как можно точнее передать всю глубину горя, овладевшего ею, выразить отчаянный крик своей души. Молила *своего Бога*: «Господи, сжался надо мною!...» (с. 12). Дехбийя начала писать, как бы продолжив дневник Амера, — с 13-й главы, на которой остановила его рука Судьбы. Она знала, что будет писать день и ночь, но что *ее ночь* уже никогда не кончится... И она сразу вспомнит тот день, когда ее мать, вернувшись из дома, где жил Амер, закричала: «Дочь моя, случилась ужасная беда! Он — мертв...» «И как будто бомба разорвала меня саму на части, когда я узнала об этом», — писала она.

...«Мать, увидев, что я сама не своя, что будто падаю куда-то в бездну, отвесила мне две здоровые пощечины. Я словно очнулась от ужаса всего обрушившегося на меня и воскликнула: «Спасибо!» и бросилась бежать...

...В его комнате лежал его Дневник, — он словно был составлен для меня. Я схватила его и вернулась домой, легла в постель и сказала матери: «Считай, что я **тоже мертва**. Займись им одна, без меня» (с. 14).

...В дом к Амеру приходили какие-то люди, французы, представители закона, выясняли обстоятельства смерти... Потом пришли за телом, чтобы захоронить. «Как будто сдохшую собаку. Без всяких церемоний» (с. 14). Соотече-

ственники не потрудились даже прочитать заупокойные суры Корана. «Как будто запрещали Богу Магомету сопровождать в последний путь Амера». Все полагали, что он покончил жизнь самоубийством. Только Дехбийя, на ночь оставшись в комнате со своей матерью, украдкой читала свою, *христианскую молитву*, выученную в Школе французского миссионера Отца Дюбуа, которую посещала в детстве. «Белые отцы» — монахи-иезуиты прекрасно говорили и по-кабийски и научили молиться маленьких детей в горной деревушке, где они жили раньше с отцом и матерью, на их родном языке. Но именно по-французски она теперь произнесла свою молитву. И произошло чудо. «Амер как бы вернулся к ней...»

И вот словно видит она его наяву, среди бела дня, когда он в последний раз зашел, чтобы объясниться с ней... Они сидели одни, матери не было в доме (сказала, что пойдет на работу — собирать плоды с олив в саду старосты деревни). И Дехбийя осмелела, пыталась выговорить всё, что наболело на душе, убедить Амера в своей *нераздельной любви* к нему, уговорить его на ласки, которых жадно ждала, закланала его вернуть их былую любовь...

...Ей показалось, что улыбка снова озарила его лицо, что он понял ее, простил, что сомнения его исчезли... Главное, чтобы Амер знал, что Мокран — соперник и враг — не сможет никогда разрушить их счастья, что она будет принадлежать только Амеру, несмотря на все попытки другого разлучить их... Она убеждала его быть осторожным, рассказывая, как Мокран ненавидит Амера, ревнует его к своей жене. Что думает даже, что та ему изменяла с Америком. Да, все в деревне сплетничали, пытались их посорить, и всё из-за того, что Амер был красив и умен, а Мокран — уродлив, и жена Мокрана — бесстыдна и беззащитна... Дехбийя не скрывала и своей ревности, зная, что та и красивее и богаче, чем она. Но была готова на всё, чтобы вернуть прежнюю к себе любовь Амера... Она уговаривала

его вместе уехать куда-нибудь подальше, бросить всё, забыть насовсем эту «печальную деревню». Она последует за ним, пойдет по дороге, какую бы тот ни выбрал, *как бы трудна и крута она ни была*. «Вдвоем будет легче. Уедем. Оставим навсегда это ужасное захолустье, этот проклятый край земли (mauvais coin). Пусть все знают, что мы уедем. Лишь бы не ведали куда» (с. 16).

Она действительно любила Амера и не могла забыть о тех счастливых шести месяцах, которые они тайно провели как муж и жена... И кто только мог внушить ему, с ужасом думала Дехбийя, что она не верна ему, что Мокран *«взял ее силой»*, чтобы обесчестить в глазах всех, чтобы отомстить за себя, за то, что его никто никогда не любил... Но как мог поверить Амер? ... Дехбийю утешало лишь одно: отныне, продолжив писать Дневник Амера, она сумеет вернуть себе свои воспоминания, свое ощущение счастья, которое она не извела бы никогда, если бы не любовь к ней Амера... И словно одна реальность меняла другую, но Дехбийя выбирала именно ту, которая осталась, как *сон, как мечта*... И эта ее **греза** нисходила к ней всякий раз, когда она воскрешала в душе образ Амера, который возвращался к ней целым и невредимым и разгонял кошмар окружающего своей улыбкой... И никто, никакой Мокран не способны были отнять у нее эту ее грезу, ставшую ее **реальностью**, ее единственным существованием. А ее мать Мельха, напротив, после смерти Амера, уважая горе своей дочери, ничего не хотела вспоминать, жила, как все, ничего не меняя в своих привычках. Но это было единственным реальным *способом заполнить пустоту, связать прошлое с будущим, забыть о настоящем*, — знать, как это делают местные мудрецы-старцы, что Оно, Настоящее, не идет в счет потому, что только непрозорливые или гордецы полагают, что *его можно изменить, вмешаться в его ход во имя будущего* (с. 12).



А ведь еще совсем недавно эта **реальность** была иной — Дехбийя, воспитанная в монастырской школе католических миссионеров, принадлежавшая среде конфессионального меньшинства их бедного селения, где в основном все были мусульмане, часто ходившая в часовню при монастыре, когда подросла, *считала себя безраздельно отданной только одному Возлюбленному — Иисусу Христу, его вечной Невестой*. Но ее родители, бедняки, как и почти все жители этого края, думали совсем о другом, — уехать куда-нибудь подальше от косых взглядов мусульман-соотечественников и выдать красавицу дочь за кого-то побогаче, иметь внуков, надежный тыл на старости лет... Однако отец, не выдержав нищеты, спился и умер, а мать, оставшись без работы, уехала в деревню Игиль-Незман, где жила ее родня — двоюродные и троюродные братья, надеясь на их помощь... Но Дехбийя и там не смотрела ни на кого, «закрываясь, как цветок, остерегаясь недобрых взглядов, и казалось, что уже так никогда и не раскроет своих лепестков» (с. 19). Так было до приезда сюда с учебы из Франции Амера, который был сыном «той самой» Мадам, давно уже жившей в селе француженки, у которой когда-то здесь погиб муж — кабил, при «роковых обстоятельствах»... К «Мадам» все уже попривыкли, считали ее почти своей, образованного сына ее уважали, с бедностью их считались, помогали по хозяйству, а Амеру подыскивали даже какую-то работу в угодьях здешних землевладельцев... Домá матери Дехбийи и «Мадам» стояли по соседству, да и в деревне, где все семьи — почти родня, у них были и какие-то общие родственники...

Поначалу Амер казался девушке гордецом, неприступным и даже каким-то надменным. А он, пристально разглядывая порой голубоглазую красавицу, идущую от источника с кувшинами воды мимо его дома, просто инстинктивно понимал, что и она, христианка, здесь, как и он, сын француженки, долго не живший на родине, **почти чужие**. По-

этому их и связывает что-то больше, чем дальнее родство или даже соседство, или общее сиротство, — ведь у обоих не было отцов...

Для Дехбийи именно это последнее обстоятельство имело особое значение — она считала его «проклятием, зная, что отец не любил никогда свою дочь, охотно принявшую другую веру (ведь все его предки были мусульманами), хотя и попавшую в школу к католическим монахам исключительно из-за нищеты, на которую он сам обрек свою семью.

Монахи тогда милостиво брали на свое содержание детей из бедняцких семей, но при этом заставляли их читать «другие» молитвы, вначале на их родном языке, кабильском, а потом и по-французски... И вот однажды, когда Дехбийя тяжело заболела (ей было всего девять лет) она услышала у своей постели голос отца, который **проклинал ее, желая ей смерти**, называл ее не «своей» дочерью... Да и мать почти пренебрегала ей, уверенная в том, что «никто из приличных здесь мужчин» никогда не возьмет дочь («христианку») замуж. А у кабилов это считалось плохим знаком. И у Мельхи — матери Дехбийи — это стало основной заботой в жизни. Поэтому, уезжая после смерти мужа к своим каким-то дальним кузенам, надеялась только на то, что те, чтобы помочь ей, примут во внимание не то, что их *разделяет*, — христианская вера ее дочери, — а то, что *объединяет*, — **общая для всех нищета...**

Но и для Амера его сиротство было «проклятием», хотя и особого свойства — родовым: закон *кровной мести* тягостел над родом его отца, который и сам погиб от руки мстителя, и сам Амер теперь тоже жил все время как бы в предчувствии какого-то несчастья, вернувшись в родной дом...

Как и Дехбийя, Амер не любил жителей своего края. За их смирение с нищетой, с мраком невежества, с покорностью колониальной Администрации, беспредельно обиравшей и без того бедняцкую деревню, обложенную, как и

все другие в те далекие уже времена, непосильными пода-  
тями и налогами. Ненавидел саму безысходность или почти  
безвыходность ситуации, в которой жили эти люди, час-  
тично родные ему по крови, но целиком чужие по духу,  
ему, уже узнавшему, что такое *«другая жизнь»* на другом  
берегу моря, далеко от родных гор...

А Дехбийя, еще когда жила в родной своей деревне, не  
любила своих соотечественников еще и за ханжество, —  
ведь многие из них, ставшие католиками, как и она, выбра-  
ли *чужую веру* не только «добровольно и искренне»,  
сколько из-за прямого расчета, из-за *«голоого интереса»*:  
быть поближе к «Администрации», получить какие-нибудь  
«теплые местечки», уехать в Город на работу (с. 24). Иные  
даже, уже обращенные в католичество, похаживали поти-  
хоньку и в мечеть, по праздникам, а уж обряд обрезания  
мальчикам делали обязательно, не стесняясь местных свя-  
щенников. Порой, даже признавая не только просветитель-  
скую, но и чисто созидательную миссию «белых отцов»,  
которые строили и школы, и больницы, и дороги, учили  
грамоте «всех желающих» (и арабской в том числе), пред-  
почитали за советами ходить к *своим* духовным наставни-  
кам — «марабутам», местным «святým», к знахарям, поку-  
пали «языческие амулеты», как бы избавляющих от хворей,  
но не шли к врачам-французам, если те практиковали в де-  
ревнях... Дехбийя называла это «глупостью», зная, что са-  
ма «открыть глаза» этим людям не может, а мусульмане их  
«открывать» и не хотели. «У них был *свой Бог, своя Прав-  
да*. А еще и своя **Сила** — их было большинство в стране, а  
значит, — считали они, — и **Правда** была на их стороне»  
(с. 25). Но главное, Дехбийя еще с детства поняла, что *раз-  
делены люди не Верой в Бога, «но количеством денег у ка-  
ждого»*. А потому знала, что до самой смерти будет тер-  
петь нищету в которой родилась, и которая казалась *неиз-  
бывной* (с. 27). Но даже считая себя жертвой человеческой  
несправедливости, она не испытывала никакой тайной за-

висти к богатству, когда узнавала, что кто-то и где-то обладает им: ведь ее богатством была ее Вера в Него, Всевышнего, который *потом* всё рассудит; и любила она Его уже, взрослая, не только в образе прелестного ребенка на руках у Матери Божьей, но и в облике прекрасного и сильного мужчины, обреченного на неземные страдания и распятого людьми на кресте (с. 29)...

...Еще будучи примерной ученицей в монастырской школе среди монахинь и «белых отцов», усердно посещая католическую часовню, Дехбийя знала, что никто из окружающих ее близких людей не был ей близок душевно, что все они, в общем, безразличны ей, не в силах понять ни ее одиночество, ни ее *особую любовь к Богу*, заменившему ей и Отца, и Возлюбленного... Все считали ее «гордячкой», а она знала, что «гордыня» человеческая есть страшный грех. Но **свой грех** она прощала сама себе, ибо знала, что многие грешны куда больше, считая себя христианами, на самом деле будучи ханжами и любя Бога своего только «на словах», «читая свои молитвы только устами, но не сердцем» (с. 30). А потому уехала с матерью (тоже давно принявшей христианство) из одной деревни в другую, **сплошь мусульманскую** (если не считать жившей в ней «Мадам» — матери Амера), без всякого сожаления. Дехбийя здесь особо никак не демонстрировала своего иноверования, — оно было глубоко ее личным переживанием и чувством, — а среди новых односельчан подметила и их не особенно-то рьяную приверженность к тому исламу, который требовал соблюдения коранических догм и «истинных правил». Конечно, никто из них не верили в то, что ее Бог воплотился во Христе, а потом и воскрес, но никто из них и не знал здесь истинных законов мусульман, низведенных здесь, в деревне, до обычаев, привычных ритуалов и немногих обязательных обрядов, за соблюдением которых мулла особо не приглядывал, надеясь на мужскую часть населения, а женщины искали в основном прибежища от своих бед и

свершения какого-нибудь чуда у подножия гробниц местных святых, что с «ортодоксальным исламом» уживается здесь, в горах Кабилии, тоже каким-то особо чудесным образом... А в основном все были, да и их с матерью теперь семья, заняты делами житейскими, земными, поисками хлеба насущного, заботами о детях, о здоровье, о подборе женихов для своих дочерей или невест для сыновей.

Дехбийя, как и все девушки, когда ходила к источнику за водой, узнавала все деревенские новости, а когда шла домой, стыдливо прикрывала платком лицо от жадных взоров мужчин, стоявших у плетней своих домов и взиравших на это почти ритуальное, ежедневное шествие женщин с кувшинами родниковой воды... Она несла ее к себе в хижину, а мать обслуживала еще и старосту, соблаговолившего оплачивать ее тяжелую работу, а иногда и помогала по дому «Мадам». Та благосклонно относилась к своим дальним родственникам, но когда Мельха как-то заговорила с ней по поводу возможной женитьбы Амера на Дехбийе (других подходящих женихов для нее в деревне мать не видела и знать не хотела), та уклонилась от ответа, сказав, что у «них, *французов*», — «другой подход к такого рода проблемам»... И Мельха поняла, что не «французскость» давно ставшей здесь, в Кабилии, *своей*, «Мадам», и не европейское прошлое вернувшегося на родину Амера разделяет их рядом стоящие дома, и их хоть и дальнее кровное родство, а бедняцкое и «недостойное» происхождение ее дочери, — ведь ее отец спился, бросив семью на произвол судьбы, их общая с матерью безысходная нищета, и их оставшаяся навсегда *христианская чужеродность* всему здешнему мусульманскому миру, опасливо, а порой и брезгливо относившегося к иноверцам. (Вспомним, что исподволь «Мадам» жители деревни считали *полукабилкой*.)

А Дехбийя уже не раз гордо отвергала посягательства женатого Мокрана, сына старосты, на свою красоту: тот подумал однажды, что она, почти нищая, примет его с бла-

годарностью вместе с блюдом кус-куса, как-то принесенного ей и поставленного на порог ее хижины, когда *матери не было дома*... Но Дехбийя разбила тогда это блюдо, бросив на землю. Мокран снес обиду и утер лицо от разлетевшихся кусков сочного кус-куса, но посягательств своих не оставил, почти преследуя девушку и не зная, что его старик-отец, тоже женатый, предложил уже Мельхе, «делку»: отдать ему молодую девушку «для утех», обещая «хорошо заплатить» Мельхе за Дехбийю... Мельха тогда тоже возмутилась, но старик бесстыдно не переставал напоминать ей о своем предложении...

...А ее дочь уже полюбила Амера, и когда шла с кувшином через площадь, где привычно собирались к вечеру мужчины на свое ежедневное деревенское собрание («обсудить всякие важные дела») и видела его лицо, и когда слышала его голос (а он часто выступал, *все надеясь призвать односельчан к переменам, вырвать их из рутины жизни, сделать ее другой*), сердце ее вздрагивало, волновалось, и она мечтала только об одном: быть с ним рядом, слушать его, слышать его и днем и ночью, учиться у него, *познать самую себя*, испытать с ним «высшее блаженство»... (с. 34). «О, если бы Амер был христианином, как и я, он бы понял меня», — полагала Дехбийя, полюбившая и его, как «своего Бога». Но, видимо, Амер был **«занят только борьбой за лучшую жизнь»**, думая, что не только французы обрекают его народ на нищету, но и собственная «леность, тупость и ханжество» его соотечественников, уезжавших частенько с родной несчастной земли, бросавших и ее, и свои семьи на произвол судьбы в поисках «лучшей доли»... Амер призывал их «к действию», к **«сопротивлению»**, к отказу от насилия и унижения, к расплате за рабство, за колонизацию, за неравенство. «Хотел, чтобы все были богатыми» (с. 40), — размышляла девушка, считая, что эти его призывы — почти безумие, хотя всё прощала Возлюбленному. Даже то, что он однажды, увидев

ее взгляд, полный мольбы о счастье, которое ей так хотелось изведать *именно с ним*, едва сдержавшись, чтобы не обнять ее и унести в дом, насладившись любовью с ней, свободной и гордой, отверг ее, грубо сказав, чтобы «она ушла!» **Не пощадив ее чувств, но сохранив ее честь...**

Старая Мельха знала, что они — «не ровня», что женьитьба их — невозможна, что Дехбийя в деревне (будь та, родная, или эта) не будет считаться никогда невестой «достойной». Но девушка мечтала о Любви, и вышло так, что изменила Возлюбленному с тем, кого презирала больше всех, — с сыном похотливого старосты, с Мокраном, — невеждой, почти уродом, нелюбимым никем, особенно — своей собственной женой, которую в деревне не «пропускал» ни один мужчина, а она без всякого стыда и не думала скрывать свою «вольную жизнь», ненавидя своего «не способного ни на что» мужа... То ли пожалев Мокрана, то ли поддавшись «*дьявольскому соблазну*», но Дехбийя как-то раз поглядела, улыбнувшись, в его сторону, — вот и случилось вскоре какая-то «странная» история, о которой она и сама смутно припоминала, будто произошло всё «*как во сне*», — однако все, кому надо, видели, как *она выходила из его дома, когда «веселой» жены там не было*. (Но может быть там, в доме, вообще ничего не случилось? До этого уже никому не было дела...) Узнала *об этом* и Мельха. Но ей уже было все равно: она научилась презирать «все эти глупые мусульманские свадебные обряды», длящиеся неделями, посещения с подарками родных невесты или жениха; с вынесением напоказ после брачной ночи окровавленной простыни «непорочной» невесты; все эти оскорбления родни той, кто оказалась не девственной; все эти «*отвержения*» немолодых жен или просто ставших неугодными мужу и «взятие» им других, а то и двух сразу «новеньких»; все эти унижения терпящих злобу и порой жестокость свекровей, порой голодающих юных невесток, которые урядкой пробирались в родительский дом поесть досыта...

Поэтому несколько уже не сожалела ни о чем, покорившись судьбе и злосчастному року, сама оставаясь вдовой; смирилась с тем, что Дехбийя уже никогда не выйдет замуж...

Амер узнал об истории с Мокраном последним, — всё верил в пылкую к себе любовь Дехбийи, целых полгода встречаясь с ней, уступив и ее, и своей к ней страсти... Но когда попросил ее ответить «Правда ли всё это?», — девушка попыталась уверить его в своей любви только к нему. Что было, конечно, правдой. Но что-то и скрыто за какой-то непостижимой для нее самой тайной, *почти нереальной*, почти «*мистической*» или просто загадочной историей, когда Мокрану, который люто ненавидел Амера за всё, — и за его красноречие, и за его красоту, и за его образованность, но главное, — за его любовь и любовь к нему Дехбийи, — удалось как-то заманить ту к себе в дом...

...Но вот теперь, читая дневник Амера, которого Мокран **убил**, пробравшись как-то ночью в его дом почти незадолго до того мгновения, когда Амер уже был **и сам готов к уходу из жизни от горя и разочарований**, от безысходности и безнадежности, Дехбийя признавалась самой себе: «О, Амер, я — виновата! Безумие толкнуло меня к такому предательству. Я была объята ревностью, я была полна несчастья, — ведь наша любовь с тобой была все равно обречена... И это я, выходит, призвала бездумно беду на твою голову... **Я повинна во всем...** Может быть потом ты бы и простил меня. Но он уже убил тебя. Зачем? Зачем он позволил тебе умереть, зачем разбил и мою жизнь? О, Господи, сжался хотя бы надо мной!...» (с. 35).

...Мокран, «разбивая» ее жизнь и отнимая жизнь у Амера, не просто свершал Зло, будучи зол на свою собственную жизнь (уродлив, никем не любим, хоть и богат), не только защищал «свою честь», будучи обесчещен ненавистью своей жены, любовью ее не к нему, мужу, а к красавцу Амеру (она и не скрывала этого, отчего Мокрану и при-



шлось даже «удалить» ее на время в дом к ее родителям), — он еще и свершал особого рода *мечь* за свой род («**так уж предписано свыше, и ничего с этим не поделаешь**» (с. 98), — сказала как-то Дехбийи Уйза, жена Мокрана). Ведь он был одним *из потомков того, кто убил отца Амера* (история, рассказанная М. Ферауном в романе «Земля и кровь»), и вся его родня словно **жила в ожидании мести** вернувшегося из Франции сына убитого. Несчастье, так или иначе, грозило подспудно, жило в подсознании, и малейшее проявление разлада в семьях (даже любовная ревность), как бы извечно уже **противостоящих по закону этой земли друг другу**, несло знак **необходимости противодействия**: обесчещенная Мокраном, но любимая Амером Дехбийя была его мезтью и за любовь своей жены к Амеру. Род Аит-Хамушей продолжал мстить роду Аит-Ларби, которому принадлежал Амер. И тот, вернувшись из Франции, пытаеь **повернуть «поток»** местной жизни в *другое русло*, встал препятствием на привычном уже пространстве существования. И эта помеха **должна была** («всё решено свыше!») **быть устраненной ценой ли защиты своей чести, ценой ли отнятия ее у другого, но лучше — убийством** того, кто стал истоком какой-то *смути*, начавшейся и без того в нелегкой жизни горного селения Игиль-Незман...

...«Любовная» экспозиция романа, запечатленная автором при чтении Дехбийей Дневника покойного уже Амера, в ее позднем раскаянии и признании «своей вины» в гибели Амера, — лишь часть истории жизни и смерти главного героя повествования. Но она и часть — основная — истории жизни всего того края алжирской земли, обычаи и нравы которого писатель-кабил Мулуд Фераун запечатлевал последовательно, с особой тщательностью и достоверностью (начиная с его первого романа «Сын бедняка», включая «Землю и кровь», эссе «Дни Кабилии») и завершив в посмертно изданном своем собственном «Дневнике» (1962 г.). Но полуроманное, полуэтнографическое повествование

писателя, развиваясь во времени, в «Дорогах, ведущих в гору», особенно тревожно сосредоточенное на судьбе Амера, убитого Мокраном, подводит Читателя к мысли о **тупике** жизни горного селения, где можно было либо продолжать *бессмысленную цепь убийств*, восходя все выше, как говорила мать Дехбийи, по «горным тропам», чтобы укрыться от опасности (т. е. постоянно *удерживая свой способ жизни*) на их «гребне» (crêtes), за которым, — конечно, — **обрыв, пропасть**, — либо **изменить условия существования**, уйти (или выйти) на дорогу «прогресса», стать хотя бы похожими на тех людей, которые принесли сюда «свою цивилизацию», — как говорил Амер. Но и сам Амер был «пленником» обычаев и законов родного ему края, осознавая трагический разлад своей мечты с упругой реальностью Жизни, отстаивавшей именно **свою разность** с Другими. Да и кто, собственно, был Амер? «Полуфранцуз» или «полукабил»? — как спрашивал он себя. Сирота с рождения, не зная своего отца, он, возвращенный французской матерью, хотя и добровольно «ставшей кабилкой», полностью признавшей **их Закон Жизни**, учился в школе у французов (и «благо» другой цивилизации в этом плане неоспоримо: колонизаторы строили свои школы повсюду), а потом и по *настоящему* матери уехал продолжать учебу и долго жил во Франции. Ему было 25 лет, когда он вернулся. И если действие романа отнести к концу 40-х — началу 50-х годов XX в., то можно представить себе залитую горечью всю глубину разочарований молодого человека и от того, что он увидел и почувствовал в Европе, и от того, с чем пришлось смириться ему на Родине.

...Его «Дневник», начатый им почти сразу после смерти его матери, писался всего 11 дней, — на двенадцатый он, начав свои записи, уже был предательски убит незаметно подкравшимся к дому Мокраном. Выстрелом из пистолета, прямо в голову, когда писавший склонился при свете керосиновой лампы над листом бумаги. А двери в кабилских

домах почти всегда не заперты. Обычай сразу открыть их неожиданным гостям или странникам и, по возможности, приютить их, существует и до сих пор и в уже знающих опасность последствий разных войн селениях... Но ведь Амер и сам был *уже готов* к смерти, уже запасся у местного «тубиба» (знахаря-лекаря) порядочной дозой снотворного, который хотел подмешать в давно начатую им бутылку абсента и выпить: уснуть навсегда, *«не чувствуя боли»*...

А она, боль, хотя и не телесная, но уже давно не дававшая ему покоя и заставлявшая страдать его душу, жила в нем. Еще с тех пор, когда он понял, что он — во Франции, — вовсе не **«полуфранцуз»**, а **«полукабил»**, а значит, — презренный «нораф» («североафриканец»), «бико» («козел»), «raton» («крысеныш»), — других имен у эмигрантов (тогда особенно из Алжира) не было, только *презренные клички*, отделявшие людей, разделявшие их, унижавшие в уже и тогда почти «смешанном» (с перебивавшимися сюда всеми правдами и неправдами бедняками, безработными и просто несогласными с колониальным порядком людьми) обществе: эмиграция из Северной Африки началась еще в 10-е годы XX в. И если «отсталость», «извечная нищета», конфессиональная нетерпимость соотечественников (всегда помнивших, что Амер и его мать — «чужие», *полуфранцузы*, так до конца и не принявших их в свою общину, не вполне доверявших ни «Мадам», ни ее, пусть и образованному, сыну) толкнули Амера рано уехать во Францию, увидеть «своими глазами», что значит «Свобода, Равенство и Братство», то именно здесь, на другом берегу Средиземного моря, он почувствовал, что значит быть на *«самом низу»*, на дне общества, ханжески провозгласившего когда-то свой великий лозунг... Повсюду он чувствовал только «презрение» и даже «ненависть», а еще хуже — *страх перед «врагом»*, — который, будучи рабом, **может восстать и убить...** (с. 126). Он словно читал во взорах французов только одно их желание. «Убирайся отсюда побыстрее,

крысеныш! Катись к себе обратно! **Беги в свои горы!**» И надо было учиться забыть, забыть навсегда о том, что ты — *один из них*, хоть и наполовину, что и отец твой, и мать прошли тоже именно здесь нелегкую школу жизни, а он сам, Амер, выучился в их, французской школе, и вот пытается продолжить учебу здесь, чтобы постигнуть *величие их культуры*, понять их ум, их силу, их превосходство», которым восхищается весь мир (с. 127)...

...Не выдержал. Вернулся на Родину. Ехал сначала поездом до Марселя, а оттуда — на пароходе до родных берегов. Он издали увидел в предрассветном тумане высокие и гордые вершины Джурджюры — кабийского горного хребта, на склонах которого *ютились его деревни и села*, где предстояло ему жить заново, и даже «вздрогнул от радости»... «О как она прекрасна, моя родина!» — воскликнул он, увидев приближавшийся берег с беломраморной громадой столицы, поднимавшейся высоким холмом над синей излучиной небесной красоты морского залива... Теперь предстояло снова «прибыться» к этой прекрасной земле, терпеливо проникнуться заново всеми ее «запахами и звуками», привыкать «к ее обычаям, ее морали, понять, что хочет она, какие у нее истинные ценности», простить самому себе свою ей *долгую измену*... (с. 156).

...Ему хватило недели, когда он возвратился в Игиль-Незман, чтобы понять, что этот «**край земли**» совсем не изменил своей бывшей для него непривлекательности, остался таким же «*диким*» со своими нравами, своими понятиями добра и зла и различием «своего» и «чужого». «Нет, жить здесь, как прожила свою жизнь моя мать, это безумие, хотя она и совершила свой подвиг!» (с. 156). Но он не захотел продолжить и путь своего отца, почти добровольно смирившегося и отдавшего во власть царившего здесь закона «*кровной мести*». Но и свои попытки что-то изменить здесь посчитал «глупостью». Понял безысходность этой борьбы и увидел **тупик** своего здесь существо-

вания: «Вот она, жизнь. Борись с нищетой, чтобы не умереть с голоду, работай на этой иссохшей земле, и твои руки покроются мозолями. Ходи босиком, и ты набьешь себе подошвы с нестерпимой болью натоптышами, и будут они на теле твоём как сандалии из собственной кожи... Учись голодать, и твои черты заострятся, лицо вытянется, станешь похожим на жуткий скелет, которого убоится сам голод... Работай, если есть еще силы, пока не издохнешь!» (с. 177).

Пока еще ничего не менялось в этой жизни. А предчувствие необходимости *перемен* только обостряло чувство невозможности их быстрого свершения: «Мы пленники своих обычаев, мы отгорожены от мира стеной невежества, и злые силы этим пользуются. Мы не росли в ту культуру, которую нам навязывали французы. Мы остались в основном той целиной, которую еще предстоит возделать. Но что стоит сейчас эта “необработанная земля”!» (с. 202).

...Никому здесь не нужный, навсегда оставшийся и здесь «чужим» и со своей верой в Будущее, и со своими мыслями, и со своим «странным» происхождением, попавший в словно заколдованный круг противоречий, Амер мучительно бился, пытаясь иногда спастись от смертельной тоски в любви к Дехбийи. Но и она не сумела оправдать его надежд... Мучила и неотвязно подступавшая мысль о близящемся конце тех, кого предстояло алжирцам «*сбросить в море*», — а ведь они, французы, как-никак, почти его, Амера, «кровные» братья, и у них, многих, тоже родившихся здесь, на этой горькой земле, *одна «родина-мать»* (с. 209). Выход, полагал он, был один — **уйти** из этой жизни. И он был уже почти готов. Мокран только **поставил точку**.

...Это потом, уже в своем «Дневнике» Мулуд Фераун, создавший портрет эпохи «*предреволюционной*», напишет, что Правда и Сила оказались на стороне тех, кто сумел ответить на все «мучительные вопросы», *взявшись за оружие*. А пока Горы молчали.

Французские полицейские, приехав на расследование случившегося в Игиль-Незмане, зафиксировали «самоубийство»: пистолет лежал рядом с Амером, а на ящике, за которым он писал свой «Дневник», стояла пустая бутылка из-под абсента и валялась обертка от порошка со снотворным... Газетные хроники тоже сообщили о *«самоубийстве» в горной деревне...*

Писатель и сам был вскоре убит («Дневник» его вышел посмертно), незадолго до провозглашения Независимости в 1962 г. Говорили и писали по-разному: и что это сделали «оасовцы», французские солдаты из «тайной вооруженной организации» (а ведь Фераун был прежде всего школьным учителем и пытался именно с помощью Знания, с оружием *культуры Франции*, образовать своих соотечественников и привить им желание необходимости *жить лучше, жить вместе, жить правильнее*, жить по закону Справедливости...) Но были и те, кто считал, что убили его «свои», алжирцы, выдав «оасовцам» писателя, т. е. предали и те, и другие, — все, кто посчитал его дело *неправедным*. Зачем был нужен Учитель, писавший по-французски свои книги, рассказывавшие всем **Правду жизни**?!

А в них — действительно, вся правда о стране, которая должна была **восстать**, и чтобы отстоять свою *честь*, и чтобы **сохранить саму себя**. Но погибший на трудной дороге своей жизни герой романа Ферауна — Амер — словно заключительный аккорд нелегких раздумий писателя о **бесмысленности жизни в замкнутом круге старых традиций, старых представлений о «чести» и «достоинстве»** Человека, у которого отнято главное — Свобода. И именно Горы, навсегда замкнувшие пружиной капкана эти традиции, словно держа людей в глубоком и глухом плену своих обычаев, словно порочно *заслоняя их от «чужого»*, навсегда могут похоронить ростки *новой жизни* во имя охранения **только старого мира...**

Собственно, уже одно из подобных «предупреждений» об угрозе **безвыходных тупиков Традиций**, обрекавших общество не на стабильность (или даже стагнацию), но на энтропию, на *избывание самой Жизни во имя Смерти за «честь и доблесть» (рода ли своего или племени)*, было сделано за год до появления романа М. Ферауна другим кабийским автором — тогда уже крупным радиожурналистом, эссеистом (у него были книги об эмиграции кабилов во Францию), Малеком Уари (1916–2001 гг.), написавшим свой первый роман — «Зерно в жерновах» в 1956 г.<sup>2</sup> Как и почти у всех алжирских писателей, ставших родоначальниками литературного франкоязычия в этой стране, главное достоинство и этого повествования — в предельно реалистическом быто- и нравоописании, в художественно-самобытном, специфически историческом дискурсе, противопоставившем определенную национальную проблематику, исполненную **не экзотики, но правды своей** Жизни, противопоставленной литературе колониальной, созданной французами. Но «Зерно в жерновах» — не только посвоему воскрешает патриархально-общинные нравы, царившие в родной Кабии, сам дух «агнатского» общества, где глава рода — непререкаемый авторитет, где извечные традиции жизни, незыблемые правила существования людей продиктованы будто и «свыше», но свято хранимы именно в недрах семейств, родовые старейшины которых, собираясь на свой, *земной Совет*, в центре деревни, поддерживают «вечный огонь» *своего мироустройства*, где люди поклоняются и местным святым, и просят у них защиты и помощи, если Всевышний не помогает, и следуют советам местных мудрецов, если талисманы «марабутов» не приносят счастья, достатка, увеличения рода, — всего того, что может желать на Земле человек, если Небо не посылает ему ответа на его просьбы...

<sup>2</sup> Ouary M. Le grain dans la meule. P., 1956.

«Зерно в жерновах» — это огромная метафорическая фреска (ибо написана на абсолютно «живом» еще тогда материале) о существовании человека, уже стоящего перед выбором либо **покорности Судьбе** либо следования **наперекор** ей, *своим маршрутом*, который ломает линию небесного Предначертания, но определяет возможность *нового* существования, *где властвует его, Человека, Воля...*

Колоритный и типичный сюжет из кабилльской жизни выбран писателем именно для этой цели, хотя детально описанные нравы и обычаи, великолепные городские и сельские зарисовки, пейзажи гор и долин будто беспрдельно расширяют фон, развивают текст, множат причины и следствия, словно уводя от главного: **и здесь человек снова должен погибнуть, убить или быть убитым, если не исполнится «начертанное свыше»**. А в истоке должной произойти новой традиции — обычный, даже комичный сюжет.

Два рода, два семейства, соседствуя и даже надеясь на скорое родство (дочь «на выданьи» была в одном, а предполагаемый жених — в другом) имели и два не очень-то и больших, но пограничных участка земли, один из которых был засеян горохом, а другой «отдыхал», покрывшись травой и ожидая осенних пахот и посевов... Вот и вывел работник, какой-то дальний родственник, прислуживавший в семействе Аит-Касси, немногочисленную, но прожорливую скотинку (пару коров да овец) попасться на зеленой траве на своем участке... Особо богатых людей в деревне не было, но другое семейство — Да-Тиббушей (чей участок, на котором рос горох, граничил еще и с лесом) имело там издавна, где-то на лесной полянке, *свою мельницу*, а значит, почти все жители деревни так или иначе *зависели* от Да-Тиббушей, ибо давить оливки для масла, которое шло не только в пищу, но и на поддержание огонька в лампадках, и на всякого рода лекарства, мази и прочее, было жизненно необходимо любому горцу. *Небольшая мельница была сим-*



волом могущества Да-Тиббушей, их особо уважительного статуса в деревне. А тут вдруг нежные и сладкие ростки гороха на поле соседа оказались предпочтительнее травы для коров и овец Аит-Касси... Один из трех сыновей хозяина горохового поля, увидев такое безобразие, решил наказать пастуха и обрил ему половину его усов: без них здесь мужчина — не мужчина, а потому *позор* был для пастуха немыслимый. И его хозяин (и дальний родственник) попросту взял свое ружье и отомстил обидчику за **поруганную честь** своего пастуха, убив младшего сына Да-Тиббушей... Зная, что ответная **месть** — неизбежна<sup>3</sup>, Аит-Касси бежал из селения, скрывался в разных надежных местах, хотел даже перейти границу, но после долгих размышлений обратился к «провидцу и мудрецу», почти «волшебнику или магу», и тот, за небольшой гонорар, погадав на каких-то особых для такого случая «таинственных» камешках и бумагах, посоветовал беглецу **вернуться в родные края**...

И он вернулся. Зная, что **обречен на смерть**. Но и жить больше, скитаясь, не мог вдали от своей родни, от родной земли, от *привычного образа жизни* на ней, подобного однообразному, но безудланному вращению жерновов, перемалывавших, дробивших, выжимавших все соки из плодов оливковых деревьев, но обеспечивавших дальнейшее существование людей этой земли, *продление жизни их рода*... А ведь это и было главным для Человека, для которого **сохранение и продолжение жизни как и охранение границ своей территории и есть дело Чести**, не позволявшей **вмешательства Чужого**, тем более — его агрессию. И защита этой Чести, как и защита своей земли, превращалась в обычай, не требовавший объяснений, в вошедшую в плоть и кровь Человека вековую привычку, тем более прочную, чем долее он жил, окруженный и защищенный

---

<sup>3</sup> Также как и «кровная» (С. П.).

Горами, а за ними и под ними — врагом, захватившим его страну целиком...

Да, действительно можно сказать, что жизнь горного селения, где случилась рассказанная писателем история, символизировала мельница Да-Тиббушей: «Вот она, — выситя своим столбом, своими крыльями над колодой с жерновами, которые не щадят ни одно зернышко от раздавленной ими маслины, безжалостно давят их, ибо она, мельница, должна раздавить и размолоть всё, что попадет в эту беспощадную давилню... И если вдруг кто-то заметит в камне ее жерновов нетронутое, цельное зерно — косточку маслины, — это ознáчит, что оно *инкорпорировалось*, вдавилось в сам камень, став и само **частью этой беспощадной машины**» (с. 72).

Так, значит, можно было как-то избежать участи *«обреченного на смерть»*? Но при этом как сохранить **свою Честь** тому, кто обязан был **«раздавить зерно»**? И вот что решил глава рода Да-Таббушей, **сохранив жизнь** своему «кровному врагу», убившему его младшего сына и заставившего умереть от горя его жену. Да, он сохранит жизнь Аит-Касси, «вернувшегося с повинной» в родную деревню и добровольно отдавшемуся в руки тех, кто должен был убить его — двух других сыновей Да-Тиббуша, уже приготовивших свои ружья, но сохранит ее, эту «вражескую» жизнь, не отнятием Чести у другого и не изменой Чести своего рода, но внедрением *врага своего в свой стан*. Заставит принять его условия — жениться на его дочери, стать зятем, родить внуков, служить его сыновьям и работать на *его мельнице*.

Он попыбует заставить саму эту мельницу *стать орудием своей мести* (с. 147), зная, что его враг в душе будет страдать, никогда не смирившись с тем, что **не был отомщен по Закону свыше**, что не сумел **достойно защищать себя** в случае нападения на него одного из оставшихся в живых сыновей, уже «приготовивших ружья», что бу-

дет терзаться всю жизнь, **словно предав самого себя**, обезоруженный, превращенный в послушное орудие *другого*. Но что дороже — Жизнь или Честь? Аит-Касси выберет **жизнь** и превратится в «зерно, застрявшее в жерновах мельницы» (с. 148), у которой есть только одно назначение — **давить всё, но и давать жизнь...**

Прошло время. Свершив свою месть, зная, что дочь уже беременна, что род его будет продолжен, и что зять его *страдает «обездушенный и обезличенный»* своей не-отомщенностью, Да-Тиббуш на какое-то мгновение усомнится в достоинстве сотворенного им «*благодетельния*» и схватится за старое свое ружье, *чтобы убить зятя*. Потом, одумавшись, повесит его на крюк, обратив взор к дочери, ждавшей появления на свет ребенка. И они решат назвать его *именем когда-то убитого Аитом-Касси* — их сына и брата: Акли (что может быть переведено и как «Разумный»). Одумаются ли когда-нибудь люди?... Но именно так продолжают Да-Тиббуши свой род, а убийца того Акли — свою жизнь, которая уже стала частью другой...

А Малек Уари, предложив свой, хотя тоже не менее жестокий вариант выхода из замкнутого круга *бесконечного обречения на Смерть*, превращает Традицию старой Жизни в способ (или попытку) другого существования, пусть и похожего на скрежет жерновов некоей беспощадной «мельницы», однако сохраняющей в целости то **ядро**, в котором так или иначе теплится или удержится зародыш **Будущего...**

Надо отметить, что и роман М. Ферауна «Дороги, ведущие в гору», и роман М. Уари «Зерно в жерновах» вышли в ту пору, когда национально-освободительное движение только зарождалось. Но и Горы, и Доли Алжира уже восстали, и Будущее маячило вполне в реальном свете. И желанный **конец «старого мира»** (несмотря на огромный груз патриархальных оков) был в книгах этих писателей как бы предreshен уже объективно.

Но ведь еще в 1952 г. до восстания алжирцев в 1954 г. появился первый роман — «Забытый холм»<sup>4</sup> — другого великого алжирца — Мулуда Маммери, тоже кабила, — ставшего впоследствии не только писателем с мировой известностью (после выхода его романа «Опиум и дубинка» в 1965 г.), но и активным борцом за культурное наследие берберов, за право обучения в школах детей Кабилии на родном языке, за достойное место этого языка в системе всего национального образования, за возможность изучения берберской самобытности в университетах и других высших учебных заведениях и научных центрах Алжира. Собранный им кабийский фольклор, записанные и переведенные им на французский язык народные сказания и песни, поразительные стихи народного барда кабила Си Моханда, — всё это стало впоследствии бесценным достоянием единственной тогда в мире кафедры берберологии, открытой писателем в Алжирском университете. Но события 1974 г., вызванные усилением политики «тотальной арабизации» культуры в независимой стране привели к закрытию кафедры, хотя (уже после странной гибели в автокатастрофе М. Маммери в 1989 г., в начале 2000-х гг. кабийский язык был «реабилитирован» в своих правах в статусе второго языка Алжира, и роль культурного наследия берберов оценена по достоинству... Но тогда время было утрачено, да еще и окрашено внутривнутриполитическими разногласиями (а надо заметить, что среди крупных политических деятелей Алжира всегда было немало именно кабиллов), а потом и разразившейся в Алжире затяжной гражданской войной (длившейся более десяти лет — с 1989 г.), массовыми репрессиями, вызванными столкновениями с исламистскими фундаменталистами. Всё это не могло не сказаться на состоянии и образования, и культурной политики страны, и изучение **национальной самобытности**, сохраненной

---

<sup>4</sup> Mammeri M. La colline oubliée. P., 1952. О раннем творчестве писателя см. подробно в кн. Г. Я. Джугашвили «Алжирский франкоязычный роман». М., 1976.

именно *горным краем*, а не приморско-городской средой, в которой она буквальным образом «размывалась» натиском западном цивилизации, переместилось во Францию вместе с бесценным «берберским архивом», собранным М. Маммери<sup>5</sup>... Но в его книгах она — эта самобытность — не просто поэтически и вдохновенно запечатлена навеки, но и по-своему увидена в тех своих **контрастах и противоречиях**, которые писатель изобразил именно как свое *предчувствие конца «старого мира»*.

В «Забытом холме» — еще предвоенный Алжир (перед Второй мировой, хотя она уже в книге и «стучится во все двери»...), и созданный писателем образ *заброшенной высоко в горах дереушки*, Тасги, где люди живут еще так, как жили их предки, но уже и так, как распорядилась *новая история*: кто-то уезжал, а кто-то возвращался из эмиграции, из больших городов, кто-то учился и даже имел «степень бакалавра», а кто-то был совсем неграмотен, кто-то держал в своих руках торговлю в деревне, а кто-то бедствовал в кромешной нищете, кто-то любил, а кто-то страдал от неразделенной любви, кто-то готовился уже служить в армии, а кто-то укрывался от службы, мечтая только «пожить в свое удовольствие», кто-то радовался молодости, а кто-то, видя только «тупики» жизни, преисполнялся мрачного пессимизма и часто думал о смерти... Цепь событий, изображенных писателем в «Забытом холме», — словно смена кадров (почти документального, но в то же время и замечательного художественного фильма), *запечатлевших*, — так именно хотел писатель, — особое, *переходное время*, только приближавшее Алжир к порогу **Нового** мира. «Я просто хотел показать жизнь колониального Алжира, — ничего

---

<sup>5</sup> Дом Наук о Человеке (M.S.H.) в Париже предоставил помещение Центру Берберологии, одному из подразделений Французского Национального Центра научных исследований (C.N.R.S.), где разместился и завещанный руководителю этого подразделения — этнологу-бербероведу Тассадит Ясин — весь берберский архив М. Маммери. В 90-е годы мне посчастливилось его увидеть, а со временем и выполнить просьбу писателя — познать русского читателя с фольклором его народа (С. П.).

более», — так сказал о «Забытом холме» М. Маммери в одном из своих интервью («Alger Républicain», 7/V 1965 г.). Но в самой манере писателя — «живописания» картин быта и нравов обычаев и ритуалов, *запечатления* этих кабильских фрагментов общеалжирской жизни, этого отрезка исторического Времени — есть то, что не просто констатирует реальные факты, но **отбирает** их острым взглядом, чутьем, улавливающим и их извечную константность, «застылость» (недаром Холм, где расположена деревушка Тасга — место действия романа, — назван «Забытым»...), но и некую *обреченность* того, что пока еще исполнено жизни, но уже и поражено смертельным недугом.

А он, этот «недуг», уже «давно подтачивал наше селение», — скажет герой романа Мокран. «То два года подряд пересыхали наши родники, куда приходилось ходить за водой... То град побивал летние всходы на полях, распаханых на склонах гор, то пожар занимался в лесах... Из детей все больше выживали девочки, а мальчики — новорожденные — часто умирали... Может, над селением нашим дул какой-то тлетворный ветер?... Но хуже всего, это какое-то всеобщее уныние или тоскливая усталость: будь то медлительность мулов или сонливость волов, или вялость женщин, выполнявших постылую ежедневную работу... Всем будто казалось, что впереди — вечность, и некуда торопиться... Казалось даже, что и сам наш святой, оберегавший почти четыре века наше селение и племя, перестал заботиться о нас... (с. 24–27).

Молодежь еще собиралась по вечерам потанцевать под пение свирели и звон бубнов; еще слышался смех влюбленных, еще заботились о своей красоте девушки, наряжаясь в традиционные одежды и надевая завешанные бабушками серебряные браслеты и ожерелья, нетерпеливо ожидая своего счастья... Еще свершались ритуальные праздники, когда заканчивался сбор плодов оливковых деревьев, — время тяжелого труда всей деревни... Еще кто-то из мест-

ных «богачей» позволял себе роскошь отъезда в город «повеселиться». Но «тлетворный ветер» продолжал свой полет над Тасгой, и вот уже все жители ее узнали, что объявлена «всеобщая война», и что немцам, захватившим Францию, теперь придется воевать и с ней (а значит, и с Алжиром), и с Англией, а не только с русскими... И когда придет время «всеобщей мобилизации», молодежь деревни отправится на военные сборы. *И тогда мир словно «забытой Богом» деревни как бы стал рушиться и распадаться, и люди, некогда еще различавшие праздники и будни, знавшие заботы, но и ведавшие радости, умевшие тяжело работать, но и звонко смеяться, откликаясь на веселую шутку, вдруг стали как-то «цепенеть», замкнувшись на своих горестях, и те «зловещие и мрачные» вопли и крики (таков уж был обычай), с которыми деревенские жители, особенно женщины, провожали новобранцев поздней, «черной» ночью (с. 20), словно пологом или непроглядным туманом навсегда как бы «зависли» в воздухе над Тасгой...* Кто-то познает горькую нищету, кто-то умрет от тяжелой болезни, кто-то едва ни лишится рассудка, совершив тяжкий грех любви к чужой жене, кто-то выгонит из дому любимую жену собственного сына, ушедшего на войну, посчитав ее бесплодной, вернет «с позором» в дом ее родителей... И только старый шейх непрерывно будет молить местных святых **вернуть «былые времена» и «былые силы»...**

Но что собственно осталось от Былого? Люди здесь «избывали» уже давно: три четверти былого населения уехали «на заработки» во Францию, — и из эмиграции редко кто возвращался... Нравы стали странными; молодежь не любила свой родной язык и часто между собой общалась по-французски; дома обветшали, старики вымирали, забывали молитвы и даже случилось как-то, что некому было произнести «традиционную речь» по случаю рождения у кого-то первенца... Но вот, казалось бы, произошел какой-то особый случай, *отпуск домой* (знак возможности «наде-

жды на лучшее»), когда Мокран, главный герой романа собрался воспользоваться им, в отличие от других своих друзей, которых вовсе «не тянуло» в родную деревню... **Он словно хотел чем-то помочь «своим», развеять зависшее непроглядным, темным туманом Зло, разрушавшее уже и без того давно «нахмурившийся» забытый холм**, где ютилась родная деревня, где жили отец и мать, изгнавшие из дому его любимую жену, которая все-таки умудрилась прислать ему с кем-то весточку о том, что она вовсе не бесплодна и даже «ждет ребенка», наследника, хотя знают теперь об этом только ее мать и она сама...

И Мокран, несмотря на пургу и метель, на ледяной вестер, пытается перебраться *через перевал на горном хребте*, за которым лежала на «Забытом холме» его родная деревня. Он почти замерзал, но снова собирался с силами и шел все дальше и все выше, хотя все знали, что это *почти невозможно в такую погоду*, и не советовали ему покидать военный лагерь... Но он упрямо пытался **вернуться домой, «наладить мир»**, вернуть жену, и кто знает, может и увидеть столь долгожданного ребенка, свое будущее, свое *продолжение*...

Снежный обвал как знак **невозможности возврата** преградил ему Путь. Он замерзнет в горах, и тело его обнаружат товарищи только тогда, когда растает снег... Они произнесут слова последнего прощания с тем, у «кого достало сил», кто попытался *«взобраться на самую вершину» перевала*, за которым — родной дом... «Тебя можно даже считать победителем» (с. 187). Ведь он, Мокран, оставил после себя свою жену, и та уже родила его ребенка. «И он наследует всем нам», — сказали его товарищи. Они имели в виду свою **общую «юношескую мечту»**, когда верили еще в то, что можно жить только в радости, в мире, где «не будет помех и страданий...» (с. 188).

Написан «Забытый холм» в романтическом стиле поэтической легенды, или эпической поэмы: М. Маммери



бесконечно любил *свои Горы*, — хотя и не без зоркости и трезвости художника-реалиста: он видел уже приметы отмирания старого, «зыбкость надежд» на новое, трещины и глубокие противоречия мира, в который уже вторглось нечто *другое*, не способное удержать *былое*, напротив, только усилившее *разлад* с ним. И уже в следующем своем романе «Когда спит справедливость»<sup>6</sup> писатель острым пером социального реалиста определит и то *зло*, которое разрушало привычный уклад жизни горцев, и ту *необходимость перемен*, которые могли бы «**поправить**» **Мир**. Но «**Зло**» это писатель увидит не только в «разъевшей» былой, патриархальный мир, европейской цивилизации, изменявшей людей, уводившей их за собой, отнимавшей их у родной земли, но и в **старых, «родных», но косных привычках жизни, в ставших оковами местных традициях, которые передавались из поколения в поколение, порой зависая над людьми, как «родовое проклятие**». Цепь убийств, совершающихся в этом романе, — всё та же «*кровная месть*», не отпускавшая людей на свободу, державшая их в постоянном страхе за свою жизнь, толкавшая их к ненависти и неприязни своих же односельчан, бесконечное **ожидание необходимости Возмездия**, — всё это, на чем во многом держался «старый» порядок жизни, ее уклад, — писатель изображает не столько в некоей легендарно-сказочной интонации, сколько в тональности, где звучат уже резкие и жесткие ноты **протеста** против «*варварских обычаев*», «**слепого акта**» придания **Смерти** порой ни в чем не **повинных людей**... Но это в романе не главное. Его герой, Арезки протестует не только против Зла «старого миропорядка», но и против **засилья нового**, принесшего с собой не просто усиление извечного деления людей «на богатых и бедных», но истинную «*социальную ломку*», когда возникла **неодолимая бездна** между нищетой мира колонизованных и богатством мира колонизаторов... И как его отец,

<sup>6</sup> Mammeri M. Le sommeil du juste. P., 1955.

понявший «ложь ветхозаветных норм жизни» и потерявший рассудок, так и Арезки восстанет против *«засилья эксплуататоров»*, будет пытаться развеять миф о «Равенстве и Братстве», глубоко разочаровавшись и в ценностях того мира, который дал ему возможность приобщиться к Новому Знанию, где он учился и пытался постигнуть основы Свободы... Он познает мрак тюрьмы и жесткость приговора на 20 лет каторжных работ, но не будет сломлен в своем стремлении **«увидеть когда-нибудь Рассвет»**. Вечный *«Сон Справедливости»* на его земле, — считал он, — должен быть когда-то прерван. А «мрак жизни» смениться «вырвавшимся из тьмы» веков Рассветом. «Солнечным блеском». Надеялся он страстно, зная, что Свобода уже *«не за горами»*, — антиколониальная война становилась *неизбежностью*... И потому он мог, несмотря на впереди «сияющий мрак» каторги, сказать: **«Что нам всем до глухого сна нашей ночи?! ... Ведь только мертвые не пробуждаются!»** (с. 254).

Так писатель, **столкнув мир Традиции и мир Обновления** жизни, заглянул в исток *необходимости перемен*, которых жаждали люди, несмотря на прочность и тяжесть оков Прошлого, увидел его, этот Исток, в восстановлении или, точнее, учреждении на земле попранной Справедливости...

Предчувствие же героя романа сбудется довольно скоро: в 1954 г. Алжир воспрянет и начнет свою великую битву за Свободу и Справедливость. Но уже через десять лет начнутся новые перемены, длящиеся и по сей день... Но художественная литература по-прежнему, следуя за пульсом жизни своего народа, будет отражать и их, по-своему рассказывая миру правду о жизни своей страны.

## ЧАСТЬ II

### ГОРЫ КАК ОПОРА ВЕЧНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ «ЧУЖОМУ» И СИМВОЛ ПОВСТАНЧЕСТВА

*Нам остается лишь в глубинах ночи черной  
Смешной назвав мечту о благости молитв  
Нагорных, — умирать безвестно и покорно,  
Как должно тем, кто смят в дыму последних битв...*

Поль Верлен. «Побежденные»  
(перев. Г. Шенгели)

#### Глава 5

### «ВОСХОЖДЕНИЕ В ГОРУ»: ВСТУПЛЕНИЕ В БИТВУ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ И НЕИЗБЕЖНОСТЬ ВОЙНЫ

Историческая память алжирцев полна Войной. Кто только не захватывал эту прекрасную землю! С кем только не сражались оставшиеся навсегда в легендах и преданиях, народных сказаниях и песнях, романах и поэмах великие предки — и нумидийский вождь Югурта, и берберская царица Кахина, и арабский эмир Абделькадер, и миллионы воинов-муджахедов, «мучеников» затяжной антиколониальной Алжирской войны (1954–1962)!

Война с колониализмом, сохранявшимся в стране 130 лет, оставила глубокий след не только в современной истории страны, но и в становлении и духовном развитии самой алжирской нации, а в литературе стала и своеобразной точкой отсчета Нового Времени, истоком новых эстетических

и ценностных ориентаций в целом, а начиная же с 1954 г., — постоянной художественной темой. В ней сфокусировались главнейшие противоречия и колониальной эпохи, и эпохи переходной, когда антиколониальная война переросла в социальную революцию, способствовала ломке традиционных представлений о мире и человеке, сформировала и особое отношение к Западу. В огромной массе литературы об Алжирской войне есть, конечно, произведения, наиболее характерные для понимания отношения алжирских прозаиков к этому периоду истории. Но в целом тема Алжирской войны звучит в произведениях и 50–60-х, 70-х, 80-х, 90-х, и начала 2000-х годов, глубоко волнуя писателей. И, конечно, небезынтересно было проследить ее развитие от истоков к современности в самой **последовательности исторических событий**, которые эта тема охватывает<sup>1</sup>. Однако события, **предшествующие** вступлению народа в войну, *причины*, во многом послужившие *решительным толчком* для начала партизанской борьбы, были зафиксированы и глубоко осмыслены литературой не только в разгар самой Алжирской войны за Независимость, но и по прошествии некоторого времени<sup>2</sup>. А в 1981 г. вышел роман Малека Уари «Шакалья гора»<sup>3</sup>, где именно осмыслен уже период **«ухода народа в революцию»** и запечатлен на широком фоне событий и национальной и мировой истории, в отличие от тех произведений, которые создавались в Алжире непосредственно в годы войны и сразу же после ее окончания.

Написав спустя долгое время (после романа «Зерно в жерновах») свой исторический роман, М. Уари, возвращаясь к «вечно живой» для Алжира теме (слишком трудна была победа народ потерявшего миллион человеческих жизней), художник на сей раз как бы подтвердит *неизбеж-*

<sup>1</sup> См. подр. нашу работу «Разлом миром». М., 2009.

<sup>2</sup> См., например, в Приложении А. Бунемёр «Разбойники в горах Атласа».

<sup>3</sup> Ouari M. La montagne aux chacals. P., 1981.

ность кровавого конфликта, но этот конфликт изменит судьбу самой страны, решившей отвоевать достоинство и свободу.

И неслучайно, что и новый герой романа М. Уари — Саид — житель **горного селения**. Но объектом изображения здесь становится не картина «патриархального бытия», «обычай старины» или трудности жизни горцев, но другое историческое пространство. Жизнь горного края времен Второй мировой войны — типичная картина жизни всего колониального Алжира накануне национального восстания. Беспросветная нищета и несправедливость народа, изнуряющий труд на колонистов, наживающих барыши на поставках продовольствия для французской армии, решившей вступить в войну с фашизмом. Гнев, накопившийся в душах людей, уставших от угнетения, вот-вот прорвется. Но над горной деревней носятся дрозды — предвестники «пробуждения жизни», птицы, несущие Весну, по народным преданиям... Может быть, это только кажется Саиду? Ведь над страной только что пронеслись другие, «стальные птицы»: вступили в войну союзники, и американская авиация высадила своих солдат на североафриканском побережье... В сознании многих алжирцев это знаменовало и начало Новой истории самого Алжира: если мир освобождался от фашизма, то вместе с этой «чумой» человечеству предстояло освободиться и от такого мирового зла, как колониализм, — справедливо полагали они. Поэтому во многом алжирские солдаты, вступая в битву с фашизмом на стороне Франции, боролись и против колониализма одновременно.

...Саид знал, что много раз в течение веков, когда длилось господство Чужого, восставали свободолюбивые люди, и всякий раз их восстания топились в крови. Уставшие от борьбы, они словно затаились, терпели унижения и тяготы жизни, но копили силы, вынашивали надежду, передавали из поколения в поколение предания о недремлющем

народном гневе, о несломленной воле, о вызывающем к отмщению *голосе предков*. Словно сама **незыблемость гор** охраняла их **несогбенный дух**. Саид и сам помнил рассказы старейшин рода о том, как легендарный Мокрани поднял восстание в 1871 г., еще во время франко-прусской войны. Он помнил завет быть верным делу освобождения «имазигенов» — так называли берберы «свободных людей» — от власти чужеземцев. И вот снова Франция воюет с Германией, и снова настает момент, когда надо поднять голову, распрямить плечи, посмотреть с надеждой с **высоты гор** на цветущую долину, из которой его народ давно согнан в бесплодные края, на дикие склоны, в каменные расщелины, где нет даже сухих веток для очага в зимнюю стужу, где могут жить лишь шакалы — *ночные стражи неприступных вершин...*

Саид, подобно тысячам своих соотечественников, будет мобилизован во французскую армию, попадет в Тунис, потом в Италию, а затем и в Германию. Мир, как казалось ему, разместившийся по обеим сторонам горной тропинки, да дорога, которая вели на маслобойню француза Ламбера, где работал Саид, вдруг необычайно расширился, горизонты раздвинулись, заполнились образами чужих городов, других народов, стран, их обычаев, а главное — ощущением своей значимости в этом огромном мире. Жизнь Саида во время войны в Европе способствовала духовному возмужанию, приобретению не только личного, но и социального и политического опыта. В свое время он не смог окончить школу — отец заставил его работать, семья нуждалась в кормильце, и мальчик нанялся на работу к колонисту. Познание законов жизни, учебники и книги были заменены каждодневной борьбой за существование, и монотонность этого существования, как смена дня и ночи, казалась безысходной, навеки установленной природой. Теперь Саиду открылись новые истины, и он знал, что вернется на родину другим человеком.

...В день, когда кончилась Вторая мировая война, 8 мая 1945 г., европейское радио принесло весть, что в Алжире *вспыхнули волнения*, что «смутьяны» начали мятеж и что «мятежники и головорезы», позволившие себе поднять голос протеста, вышедшие на демонстрацию с **требованием предоставить свободу Алжиру**, расстреляны, очаги мятежа «ликвидированы»... Называли города Сетиф, Константину, ряд кабийских деревень. Среди названий вроде бы не упоминалось Аггуни — родное горное селение Саида. И надежда на встречу с родиной, с семьей, с дорогими и близкими его сердцу людьми, желание быть вместе с восставшим народом согревали его, вели вперед и позволяли не замечать того, как встречали его, солдата-победителя, презрительные взгляды французов, «хозяев жизни» у него в стране, как ехавшая с ним в купе француженка не позволяла своему ребенку играть с солдатом, как косились на него контролеры, удивленные тем, что какой-то «паршивый араб» позволяет себе ехать в вагоне первого класса. Только горсть звеневших медалей, которую Саид вытащил из кармана, убедила железнодорожника в том, что этот человек **имеет право ехать с приличными людьми...**

Да, в Алжире все оставалось по-прежнему. А вот родные горы встретили его молчанием. **Пустотой вокруг.** Деревня его была все-таки сметена с лица земли, как и многие другие кабийские деревни и села, пушечным снарядом в тот праздничный для всех и роковой для алжирцев День. Превращена, как и другие «гнезда повстанцев», в груды камней и щепок. Его медали больше были никому здесь не нужны, он их разбросал на пепелище, как ненужный хлам, как дурной сон, где **«всё — неправда»**, где обретенные Достоинство и Свобода только померещились ему, родив надежду, которую сразу же и убили...

И он решает уйти туда, «где жили шакалы», в «дикие горы», ставшие когда-то приютом *имазигенов*, коренных жителей завоеванной чужеземцами земли, уйти, чтобы

**вернуть Свободу своему народу**, объединившись с теми, кого снова укрыли родные горы, где уже закипала партизанская борьба...

**Страна жила в ожидании освобождения.**

Роман М. Уари кончается на этом трудном Восхождении в Гору. Что было дальше? Будни сражений: люди, ушедшие в горы, становились «партизанами», готовили Войну, собирали оружие, помогали формированию отрядов Фронта Национального Освобождения и его Армии. Потом воевали с регулярной, хорошо оснащенной армией французских колонизаторов, вели свой неравный, но отважный бой, исполненный веры в Победу. Сражались яростно и отчаянно. Невидимые в городах Алжира будни горных сражений описаны во многих художественных произведениях, в исторических документах, дневниках, исследованы в огромной массе политической литературы об Алжирской Войне.

Интересующая нас тема *необходимости окончательного разрыва с противостоящим миром* тоже характерна для многочисленных произведений, написанных непосредственно в период войны или сразу же после достижения Алжиром независимости. «Молчание пепла» Каддура М'Хамсаджи<sup>4</sup>, «Гора, поросшая дроком» М. Бурбуна<sup>5</sup>, «Дети Нового мира» Ассии Джебар, ее же «Наивные жаворонки»<sup>6</sup>, — примеры, полные раздумий писателей о судьбах страны, об исторической миссии своего народа, выбравшего «кровавую битву» **во имя Рассвета «Настоящего дня»** над Алжиром. И *горы* в этих книгах — опора народного сопротивления колониализму, *своеобразное убежище народного гнева*.

Особый пример осмысления этой исторической эпохи — написанный в год окончания войны роман М. Диба «Кто

<sup>4</sup> М'Хамсаджи К. Le silence des cendres. P., 1954 (см. Приложение).

<sup>5</sup> Bourboun M. Le mont des genêts. P., 1962.

<sup>6</sup> Djebbar A. Les enfants du nouveau monde. P., 1962; Les alouettes naïves. P., 1967.



помнит о море» (1962)<sup>7</sup>. Особый не только потому, что этот роман был художественным обобщением опыта *только что пережитой войны с колонизаторами*. Да и само это историческое событие, явившись непосредственным «возбудителем» романа, конкретного отражения в произведении не нашло, ибо автор сосредоточился главным образом на **передаче психологической атмосферы Войны, вызванным ей состоянием ожидания Освобождения**.

В романе «Кто помнит о море» нет реальной конкретики событий, нарушается их хронологическая последовательность, логичность сюжетных сцеплений, «размываются» узлы интриги. Алжир, словно отдалившись для Диб в пространстве, как бы отходит на задний план и упоминается лишь тогда, когда это связано с какими-то особыми воспоминаниями и переживаниями героя романа. О нем, как и об Алжире, не рассказано прямо, но он — центр *сущностного* конфликта, что сконцентрирован в романе и в исторической (Алжир и Колониализм), и в метафорической формуле *противостояния: человек и враждебный ему мир*. И что особенно значимо для избранной в этой работе темы — убежищем, приютом, спасением мира своего (и для себя, и для *своих*) для Человека становится *живущая в гроте скалы на морском берегу* Женщина, воплотившаяся в романе в образе Возлюбленной героя, ставшая символом его надежды на спасение от случившегося катаклизма *войны миров*... И слитый воедино с образом Женщины образ **Грота** в скале (как символу Горы, как и природного Лона, и символического Убежища) по-своему является **некоей семантической редукцией образа Гор как неодолимой Силы, Защиты и Спасения**...

...Прошло немало лет с тех пор, как М. Диб написал свою реалистическую трилогию «Алжир» (1953–1955)<sup>8</sup>. Писатель жил с 1959 г. в эмиграции, и на сей раз задумал

<sup>7</sup> Dib M. Qui se souvient de la mer. P., 1962.

<sup>8</sup> Романы «Большой Дом», «Пожар», «Ремесло ткача» (перев. на русск. яз.).

не «свидетельства», не своеобразные художественные комментарии окружающей действительности, но единый целостный художественный образ того, **«что именовалось Войной»**. В послесловии к «Кто помнит о море» писатель, объясняя свой замысел, сказал, апеллируя к «Гернике» Пабло Пикассо<sup>9</sup>, что его роман — фантазия, запечатлевшая чудовищные превращения мира, потрясенного «взрывом», катаклизмом войны, является, как и творение испанского художника, неким «перифразом» того, что невозможно «назвать точно», т.е. передать в тех конкретно-исторических формах и связях, которые свойственны обычному реалистическому произведению. Но, пытаясь выразить, подобно Пикассо, только **само состояние потрясения, страха, ужаса, подавленности и раздавленности человека Силой, обрушившейся на него, уничтожающей его**, алжирский художник попытался одновременно найти способ отразить в своем произведении не только общезначимый *античеловеческий смысл войны вообще*, но также и те специфические ее формы, которые имела война антиколониальная и Алжирская в частности. Потому столь узнаваемы признаки, столь очевиден **национальный смысл** художественных реалий, приобретающих в романе «Кто помнит о море» одновременно и глубокую символическую значимость.

Внешний план романа, вся его исполненная какого-то неопределенного *состояния ожидания* атмосфера, ирреальность всего происходящего, всех превращений, исчезновений, «переливаний», «застываний» изображенного в пространстве романа (Города Старого, Города Нового, Моря, Базальтовых Скал, химерических Сооружений, Гротов, подземных Обиталищ и т. д.), — исполненная осознания *неотвратимости свершающегося* картина. Но не всепод-

---

<sup>9</sup> Картина, написанная в 1937 г. под впечатлением варварски разрушенного фашистской бомбардировкой баскского селения Герника во время гражданской войны в Испании.

властность Злу, его непостижимой, метафизической извечности, рождающей постоянный Страх, неизбывный человеческий ужас перед враждебностью окружающего пронизывает картину, написанную Дибом, а очевидная *надежда на обретение Выхода из Лабиринта, где царит отчаяние*, надежда на *Омовение* жизни от «нечистот» и избавление от «чудовищ», на освобождение мира от тисков угнетения и насилия.

Поэтому и образы, воплощающие Зло, Враждебность человеку окружающего мира, — летающие фантастические чудовища «спировиры» и «ириасы», возродившиеся из древних мифов «минотавры», превращающие все живое в камень, заливающие его «базальтом», впитывающим в себя «кровь земли», — не мистические силы, ниспосланные в апокалиптической *неотвратимости наказания человеку*, но силы, **подлежащие уничтожению**, как и опекаемые ими Сооружения, что глухим кольцом своих стен окружают и «душат» Человека. Отсюда и «взрывы», постоянно сотрясающие и разрушающие в романе Новый город (как символ колониализма), где нашел свое пристанище *чужой, враждебный мир*. Эти взрывы — сигналы предупреждения, своеобразная «тревога» — угроза тому, что должно быть потрясено до основания, *сметено с лица земли*. С другой стороны, герой романа, наблюдающий «катаклизм», присутствующий при уродливой деформации всего живого, испытывает и сам потрясение при виде разлетающейся на части уже ставшей привычной человеку жизни. Но анатомия ужаса (как и в Гернике у Пикассо), охватившего человека, становится и у Дибы не столько самодовлеющей художественной формой, сколько ёмким образом, передающим внутреннюю сущность всего происходящего, личностным знаком *объективно творящейся трагедии*. И возникающая в романе картина как бы призвана воспроизвести не метафизическую, но именно историческую реальность,

обретающую многозначность символа свершавшейся не раз по отношению к человеку исторической несправедливости.

Алжирская война как всенародное сопротивление колониализму, как изгнание чужеземцев, вторгшихся, завоевавших и «изранивших» родную страну, как отмщение угнетенных и униженных поправшему их права Порядку, как восстание и возрождение духа нации породила свои собственные методы и формы борьбы. В романе эта борьба запечатлена как противоборство Старого и Нового города, «внешнего» и «внутреннего», «подпольного», мира, и таким образом созданная Дибом картина стала слепком борьбы алжирцев и французов; арабской части колониального города, где ютилась беднота, и европейской, — где в роскошных кварталах разместились особняки колонистов. Слепком начала этой борьбы, когда отважные одиночки-патриоты уничтожали «вражеские объекты» и постепенно перерастания их отдельных акций в организованное движение «народных мстителей», которым противостояла огромная регулярная современная армия, искоренявшая «террористов» и хватавшая заложников из мирного населения, дабы устроить его показательными смертными казнями, непрекращавшимися в городах облавами, царившей в них атмосферой «тюрьмы», «капкана» безысходности, уничтожая всякую надежду народа на победу.

Партизанская война против колонизаторов, запечатленная в символах столкновения Старого и Нового (в тексте данного романа — «чужого» Города — «надземного» и «подземного» мира), сгущенного в общий символ *противостояния*, воспринимается в романе Дибана именно как **алжирский вариант** Сопротивления, со свойственными месту действия национально-специфическими признаками, которые художник ненавязчиво, но ощутимо вплетает в метафорическую ткань произведения. Здесь и детали быта (обычаи, ритуалы, пища, одежда), и особый способ оповещения населения о начинающихся облавах или готовящих-

ся выступлениях подполья (звон медных тарелок по всему городу), и само реально возникающее ощущение «могучести» Фронта национального освобождения (действительно одной из самых «грозных» и мощных партий эпохи национально-освободительных войн в Африке и Азии), его огромной сети действующих организаций — отрядов связанных, профессиональных революционеров, особых религиозных «братств», включавшихся в борьбу. Однако структурная «узнаваемость» Алжирской войны — не главное в романе Диба. Ведь задуманная им литературная фреска (по горячим, живым следам Войны) связана в романе прежде всего не с национальными реалиями войны, но с историческим смыслом **Алжирской Войны как революции** — именно так ее именовал и народ и его художники слова. И он — **в освобождении Человека**. И осуществляется, а точнее, — проявляется этот смысл в художественной реальности произведения, в совокупности и взаимодействии символов, значительно расширяющих пределы собственно алжирской специфики.

Так, воспоминания героя о своем прошлом, о детстве связаны с возникающими в его памяти не только просторами, пейзажами родной земли, но с образом *Зámка* — уже разрушающегося оплота старого мира, его устоев, с его извечным делением на «рабов» и «хозяев». *Болезнь* мальчика (героя романа) — как *перелом* в его жизни, его сознании, как взросление Разума человека, постигавшего иную жизнь, искавшего мир, где было бы все «наоборот»; *смерть его Отца*, воплотившего в себе власть Традиции, патриархальный уклад, существовавший как бы «отдельно», в недрах колониального Порядка, а на самом деле в полной зависимости от Нового Города (а порой и от тех преобразований и новшеств, которые проникали повсюду вместе с внедрением «чужих» нравов, «чужой» цивилизации). Все эти образы, подготовившие или «проложившие» путь героя романа к жизни в Городе, к *выходу из Зámка* —

**убежища прошлого** — обретают свою многозначность в контексте творчества не только Дибя, но и многих других магрибинских писателей.

Но вот и Город Дибя, поделенный на Старый — «свой» и Новый — «чужой», оказывается капканом, ловушкой, в котором человеческая душа мечется **между** втягивающим в себя, «засасывающим прогрессом», уже, увы, вошедшим в привычку, ставшим жизненной необходимостью современного человека, и «подлинностью», «чистотой», «человечностью», «теплотой», которая олицетворяется в романе в совмещенном образе Женщины — символе прибежища Души, «укрытия» ее от «наступления» бетонных стен и базальтовых плит Города. Все это противостояние художественных образов значимо, конечно, не только в контексте собственно алжирском. Как, впрочем, и воспоминания о Матери, об ее голосе, «обволакивающей» ее нежности, об исходящем от нее покое, которые сливаются в сознании героя с образом жены, Любимой, вечной Возлюбленной — Нафисой — излучающей сияние, где *растворяется мрак*, «тьень»... Общезначимым смыслом исполнено в романе и таинственное существование героя с Нафисой **в Гро**те (как метафоре неколебимых горных скал, защищающих убежище для человека в пещере), систематически заливаемом морем: этот Грот возникает как параллель жизни **Большого дома**<sup>10</sup> страны, существующего где-то неподалеку; из него постоянно доносятся разнообразные голоса его обитателей, и он становится в «Кто помнит о море» (в отличие от трилогии «Алжир») символом «внешней» жизни, ее суеты, ее тщеты, ее преходящего смысла, быстро проходящего Времени. **Грот** же в романе, напротив, — не только прочное личностное убежище героя, но и способ обретения им «внутреннего» своего «моря», т.е. подлинности, почти достижения того пограничья, того рубежа, где уже сама «по-

---

<sup>10</sup> Один из романов трилогии М. Дибя «Алжир» так и назван: «La grande maison». Р., 1953.

верхность» земли, а значит, и «поверхностность» человеческого существования вплотную смыкается с «Подземельем», приближается к глубинной «**Сути**», к истинному смыслу человеческого Бытия, его главному предназначению...

Это «подземелье», «подполье», откуда доносятся, как «шорохи крота», звуки иной, «настоящей» жизни, Истинного Города, обретает в романе еще один глубинный смысл: оно становится той Опорой, тем фундаментом, Основой, на котором и должна возникнуть настоящая Новая Жизнь, Будущее; становится теми его корнями, которые и питают Древо Жизни, тем источником, из которого черпает силу и сама Земля. Однако общезначимость художественных образов романа Дибба продолжает быть неотделимой от породившей их национальной почвы, не размывается во всеобщности их звучания, но как бы всегда внутренне «стягивается» к единой для них всех *основе*.

Можно, конечно, в образе Нафисы — Возлюбленной героя, жены его, увидеть Женщину вообще, воплощающую в себе все начала, и материнское так же, как и в образах Грота и Моря, его омывающего, увидеть их «юнгианскую основу», архетипичность образов «прародительницы», «Матери-Земли», «Лона», запечатленных в сознании героя как опыт предшествующих поколений, как «коллективное бессознательное», зовущее вернуться к «Истокам». Исключать подобного рода реминисценции, видимо, не следует, ибо известно, что М. Дибб в свое время увлекался чтением К. Г. Юнга и хорошо знал основы его «аналитической психологии». Тем более, на наш взгляд, очевидным становится смысл «привлечения» Юнга или, скорее, вовлечения образов романа в круг его символов: интеграция «коллективного бессознательного» нужна автору не столько для показа становления его героя или для реализации его как отдельного индивида, сколько для показа взлета национального самосознания всего народа в целом. Иначе зачем было ху-

дожнику обращаться именно к национальной эпопее, какими были сами события Алжирской войны? Концепция дибовского «романа-метафоры» была значительно шире, и он сам это постулировал, поэтому и сопутствующие ей, а точнее используемые для ее реализации «архетипические» установки — на наш взгляд, лишь аллегорические очертания истинного замысла. Поэтому и образ Матери-Земли, слитый в романе с образом матери героя и его Возлюбленной, и **образы Грота и Моря** исполнены не столько отдаленным архетипическим звучанием, сколько вполне реальным, конкретно-историческим содержанием, обусловленным определенным пространством и временем. Родная страна, Родина, **Отчизна, которую нужно отвоевать**, за независимость которой следует бороться, будущее которой нужно уметь различать и отстаивать его Пришествие, — вот конечный смысл свершающегося в романе **трагического противоборства, в которое, разрушая и уничтожая всё вокруг, вступают Новый и Старый мир, «свой» и «чужой» Город**. Хотя такая однозначность конечного смысла проявляется в отнюдь не однозначных образах, — у Диба всё как бы рождается в «диалектическом» споре, во взаимоотталкиваниях, в «беге навстречу» и в размежевании, в стремлении к единению и ощущению необходимости *выбора*. Но сам этот Выбор обретает в романе совершенно четкие границы. Оттого ясен и «двойной смысл» изображенных в романе обеих частей Города: и в «своем» — Старом, и «чужом» — Новом сосуществуют противоположные начала, одно из которых призвано отмереть, а другое — **выжить и продолжиться**. Недаром и сама героиня романа — Нафиса, воплощающая для героя «убежище» (т.е. «хранилище», приют «вечных ценностей», который подобен Горе, хранильнице незыблемых традиций); становится главным образом «связной» между Городом и Подземельем, проводницей (т.е. показывающей и открывающей выход) в тот самый мир, который еще *сокрыт* где-то во «мра-



ке», но одновременно предстает и неким порогом Будущего (которое и у Дибя приобретает особую Светлость, Лучезарность). Так «открываются» Дибом границы архетипической замкнутости, и пространство психологическое очевидно замещается пространством социально-историческим и даже политическим.

Вот и герой, скорее олицетворяющий в романе Дибя **тип сознания**, нежели воплощающий человеческий характер, вобравший в себя многие знакомые уже по творчеству и других магрибинских писателей черты личности «маргинальной»<sup>11</sup> — порубежной, впитавшей в себя обе культуры — и восточную, и западную (недаром в романе постоянно возникает, как искушение, образ прекрасной «Чужестранки»), — герой, сомневающийся в выборе, ищущий путь, «свой берег», неспособный навсегда отторгнуть от себя уже «въевшийся» в плоть, «растворившийся» в крови **Новый** — **чужой** город (иная цивилизация), и страстно привязанный к **Своему городу**, к его «родному лону», телесно и духовно ощущающий узы связи с «**Матерью-Землей**», в конечном итоге обретает свои «первоистoki», откликаясь на «**зов Моря**», преодолевая страх. Он постепенно исчезал, этот страх Войны, в **Гроте**, — он «объединял», соединял его с **Морем**, как и всех тех, кто искал «Истины». И все, такие разные, такие разрозненные «голоса», которые слышались герою в его Гроте из Большого дома (вообще многие персонажи дибовского романа, даже случайно возникавшие на страницах повествования, отличались друг от друга именно своими голосами — в брошенных кем-то репликах, в высказанных кем-то замечаниях, отдельных фразах...), эти голоса сливаются в конце концов как бы не в один *общий хор*, но кажутся герою именно «единым» Голосом — голосом Нафисы, живущей в Гроте, или же самим Голосом Моря. И

---

<sup>11</sup> Об этом см. подробно в наших книгах: «Рубеж эпох — рубеж культур» (М., 1984), а также «Вошедшие в храм Свободы» (М., 2008) в главе «“Блеск и нищета” культурной порубежности» (с. 91–145), «Обречение Авеля». М., 2020.

музыка Моря, его простора, его свежести, его сияния зали-  
вает тоже постепенно, заглушает мучительный звук вста-  
вавшего, как наваждение, перед героем Чужого Города, га-  
сит «скрежет его металла», «грохот его камней», омывает  
Грот и торжествует в финале. И в нем — триумф Человека,  
перед которым бессильно Зло...

## Глава 6

### «СПУСК» С ГОРЫ: УТРАТА ЦЕЛИ И СОМНЕНИЯ В НЕОБХОДИМОСТИ «КРОВАВОГО КОНФЛИКТА»

Судьба послевоенного Алжира волновала многих писателей, в том числе и высланного из Алжира еще в 1959 г. М. Диб, а в жизни на чужбине, возможно, и еще больше. Но очевидно стало и то, что многие иллюзии и надежды, связанные с Войной за Независимость, *постепенно рушились*, хотя М. Диб оставался верен своему «обету», данному еще до обретения страной Независимости: «Случается, что именно на писателя, на поприще литературы, которое я избрал, и падает выбор борьбы, и я борюсь, **заставляя мир узнать правду об Алжире**<sup>1</sup>, заставляя всех тех, кто прочтет ее, разделить с моей Родиной ее страдания и ее надежды» [in: *Afrique-action*, 13.03.1961].

И несколько лет спустя писатель снова возвращается к алжирской реальности, написав роман «Пляска короля»<sup>2</sup> (1968), по-своему подытоживший опыт Алжирской Революции. И хотя прошло всего шесть лет с начала самостоятельного существования страны, но и этот небольшой срок давал уже некоторую пищу для размышлений и даже для мучительных раздумий писателя о судьбах своей родины. И чем горше были эти раздумья, чем несогласнее был Диб с некоторыми приметами нового мира Алжира, чем резче

---

<sup>1</sup> Сложилось так (со многими писателями!), что писать *правду о своей стране* зачастую было *безопаснее* именно в «чужой»...

<sup>2</sup> Dib M. *La danse du roi*. P., 1968. (В названии романа — эвфемизм: «король» здесь — Ангел Смерти, — названный Дибом «Азраин» (в мусульманской мифологии — Азраил или Израил). Таким образом, французское название романа «*La danse du roi*» как «Пляска короля» лучше передать по-русски как «Пляска смерти». Именно с таким названием роман вышел в русском переводе, сделанном мной. Цитаты даются по этому изданию: М. Диб. Романы. М., 1989.

виделись ему те внутренние его противоречия, которые обозначились практически сразу же, как это и пророчески предвидел писатель<sup>3</sup>, и чем критичнее становился его взгляд на реальные проблемы Алжира., тем «неудобнее» становился тревожный голос писателя для тех, кто тщательно, но тщетно пытался скрыть трудности постколониального развития страны, и тем ценнее становились для читателя размышления художника, ибо в них звучала та печальная правда, которую нужно было знать об **Алжире**. Ибо в ней тоже — не только страдания, но и надежды родной страны...

Но и в собственно литературном плане для прозы Дибя как таковой новое произведение имело особую ценность. В нем как бы слились воедино и эпическая полнота трилогии «Алжир», и метафорическая глубина «Кто помнит о море», и символическая интроспекция «Бега по дикому берегу» (1964), и лиризм поэтического цикла «Тень-хранительница» (1962), и отточенный психологизм новеллистического мастерства, которое он продемонстрировал в сборнике рассказов «Талисман» (1967), где как бы самостоятельно прозвучали отдельные — главные мотивы его крупных произведений. В романе «Пляска короля» (который я перевожу как «Пляска смерти») предпринята также и попытка драматургического наброска, органично вплетенного здесь в повествовательную структуру, а впоследствии укрупненного и превращенного писателем в пьесу «Тысячекратное ура в честь босячки» (1980) — Дибу вообще, как это можно было заметить, свойственно развивать и продолжать темы и образы предшествующих произведений в своих последующих книгах. (Так, впрочем, поступают многие крупные художники — и писатели, и музыканты, и живописцы...) И новый роман оказался «полифоничным» во

---

<sup>3</sup> «Завтра главным станет уже не напряженность противостояния европейцев и мусульман, но то, что будет разделять самих мусульман, их разные условия существования» [Témoignages chrétiens, 7.11.1958].

многих смыслах: и по равному соположению в нем разных — своих же собственных, разумеется, — манер письма, и разнообразных взглядов на современную историю алжирского общества, различных мировосприятий, запечатленных в образах порой противостоящих, но художественно «равноценных» героев, и по очевидному наличию в романе противоположных жанрообразующих начал (от диалогичности философского до монологичности психологического романа), и даже по присутствию в тексте разнородных принципов организации романного пространства — от интенсивно-лирического, воспроизводящего поток субъективных переживаний героя, его сознания, его напряженную внутреннюю жизнь, до экстенсивно эпических описаний и театрализации романного действия. Но, как и во всякого рода многоголосье, главным все-таки началом остается сама художническая воля Дибба, которой и подчинен весь отбор этих «голосов», этих принципов, этих различных начал. Она и обнаруживает ту единственную, только каждому из них принадлежащую, а потому и необходимую художнику тональность, которую он «гармонизирует», включая все свои «голоса» в определенную логическую и художественную последовательность, в результате чего и рождается произведение целостное, наделенное, несмотря на множественность составляющих его пластов, одним «главным» смыслом, который, впрочем, читателю может «явиться» иначе, чем автору...

...В «Пляске», как в вихре смерти, исчезают все: уходит из жизни, кончая самоубийством, бросаясь с **вершины Скалы** в пропасть, герой — Родван, **не принявший свершившихся в Истории** его страны перемен, вспоминающий в свой последний час о цепи кончин людей, ему близких, — отца, друга, товарищей по борьбе, возлюбленной; **гибнут в горах партизаны**, чью жертву трагически переживает героиня романа — бывшая партизанка Арфия, соратница Родвана, бывшая связная партизанских отрядов, чудом

спасшаяся от смерти на войне, но ставшая в новой жизни *существом почти «нереальным»*, бездомным, отброшенным на обочину, не нужным никому, в сознании соотечественников *оставшимся навсегда «в горах»*, во «времени войны». **Загубленной людьми, не желавшими видеть «связи прошлого с настоящим»**, становится в романе и сама **Идея**, во имя которой были отданы жизни борцов за свободу Алжира; уродливый «плод» Новой жизни — горбун, бродяга Бабанаг, объявляющий себя сыном Арфии, убит ею самой. Свой последний жест в разыгранном бродячими актерами — друзьями Арфии — трагикомическом фарсе совершает и называвший себя «эрудитом» Уасем — «последний интеллигент», превратившийся в жалкого паяца, ублажавшего богатых на их «пирах»... И рушится, распадается весь уже изъеденный червями, прогнивший, проржавевший древний Портал (главный символ романа, смысловой его центр), перед которым и разыгрывался тот последний спектакль (а среди зрителей перед смертью своей сидел и Родван) и за которым открылась Уасему вместо ожидаемого им роскошного «Сада» омерзительная «Свалка», где его обобрали и прикончили воры с большой дороги...

Не только древний Портал, оплот Старого мира, которым прикрывается мир Новый, но и другие смыслообразующие художественные символы в поэтике романа несут в себе *обрекающее на смерть начало*. Всепоглощающий мрак бездны Ночи, так и оставившей в своем холодном плену Родвана; ледяной посвист Ветра, «вымораживающего душу» тех, кто, ведомые Арфией, шли **в горах, навстречу цели; безмолвие Гор, стальным капканом навсегда сомкнувшихся над партизанами**. Да и сами борцы, о которых вспоминает Арфия во время своей встречи с Родваном, «народные мстители», сумевшие бежать из колониальных тюрем, выдержав пытки в их застенках, не выдерживают испытания войной в горах: сбившиеся с пути, по-

терявшие надежду, они уподоблены в романе птицам, которым «ветер сломал крылья», вывернул их наизнанку, птицам, у которых отнят полет и которые обречены на смерть... Но в романе Дибя **обречен и сам мир**, на борьбу с которым поднялись такие, как Арфия и ее товарищи по отряду. Образы романа, так или иначе связанные с **Прошлым**, — уродливы, ужасны, отталкивающие. Умиравший Отец, о котором вспоминает герой романа, и на смертном одре еще способен унижить и оскорбить человека, признать и доказать, что «все вокруг пропитано ложью», «злом», «грязью»...

Когда Родван вспоминает детство, то не только тираническая власть отца или жалкое смирение и «безмолвие» матери встают в памяти, но и картина мрачного притона, где царит власть денег, где людьми правит алчность и обман, где все «окутано тяжким облаком» **несвободы**, в котором «тяжело дышать». Скопищем махинаторов, шулеров, пройдох, лакеев, рабов, авантюристов, торгашей, отвратительных моральных и физических уродов предстает колониальное общество в «Пляске смерти», и в «черной духоте» его, в гнетущей и давящей атмосфере человеку кажется, будто «смола залепила ему и рот, и глаза». Цинизм все признававшего и понимавшего отца, видевшего «и тлен слов, и тень людей» в окружавшем его мире, однако использовавшего в своих интересах и людские слабости, и людские пороки, поражали Родвана. И в памяти его навсегда остались «откровения» Отца, и часто слышался его Голос, в котором звучали и презрение, и жалость к тем, кто всю жизнь лишь уповал на Аллаха, надеясь на перемены. «Уходивших в себя», только в свои заботы людей, которые были погребены под ворохом будничных дел, забыв о своем человеческом достоинстве, Отец называл «взаимозаменяемыми», подобными «фальшивым монетам, стоимость которых равна нулю». Ибо люди, **отказывавшиеся видеть правду**, признать ее, понять убогость своего существования в «черной

духоте», — **мертвы**. Раствление людей страхом и безразличием, так же как и цинизмом и продажностью, — *производное Прошлого*. И Диб находит еще один «гадкий» образ, который выпукло обнажает черты мира косности, цепких привычек *жить в рабстве, в оковах традиции, «тянущих назад», не дающих человеку «выпрямиться», вздохнуть полной грудью*. Это — сон, приснившийся когда-то отцу Родвана, в котором привиделся ему человек-паук, карабкающийся по лестнице, «*уходящей в никуда*», отказывающийся от помощи того, кто не дает ему «упасть в бездну». Этот «паук» только отбивался от всяких попыток спасти его. И, шагнув в конце концов *в пустоту*, он увлек за собой и того, кто удерживал его от падения... Недаром и свои мучительные воспоминания о прошлом Родван мысленно сравнивает со страшными «сновидениями», вызванными из «мрака небытия». Вся прошлая жизнь — лишь как «навязанный человеку груз», который он должен был лишь претерпевать. Отец называл это «стоячим болотом», «мертвыми водами», где обитали «духи смирения», «покорности», «слепой веры». А вот товарищ Арфии — Слим, один из тех, кто все-таки восстал, воспрянул, распрямился, один из тех, кто ушел **сражаться в Горы**, но потом, раненный в бою, мучительно погибал. Глядя на свою пораженную гангреной ногу, он сказал: «Мне кажется, что наша страна сегодня, — как я: в ней тоже полно сволочных червей, от которых она гниет и от которых можно подохнуть... Может быть, есть такой Алжир, который надо убить. *Убить, чтобы другой, более чистый, мог родиться на земле*» (курсив мой. — С.П.) [с. 139].

Но, пожалуй, не менее страшный, хотя и не столь пораженный смертельным тлением образ Прошлого как трагедии Народа — Жертвы «исторического насилия», лишенного своей земли, обездоленного, обреченного на «историческое сиротство», вырисовывается в бессвязных, но полных горечи речах Бабанага — мнимого сына Арфии: «Мы



были просто детьми своей матери, и все... В тот день, когда француз пришел в эту страну, больше ни у кого из нас не было настоящего отца. Его место было занято французом, он стал нашим настоящим хозяином. А отцы наши сделались лишь производителями. Насильниками наших матерей... И с тех пор наша страна превратилась в страну безродных детей» (с. 178].

Однако **долгожданное освобождение**, обретение народом своей земли, своего права на независимость и самостоятельность **не принесло желанной Свободы**. Свершившимся распорядились так, считает Арфия, что именно народ, во имя которого и вершилась революция, и шла кровопролитная война, и гибли ее товарищи в горах, именно народ и остался без должной ему Историей доли счастья. «Народ! ... Ах, этот народ! Он всегда и хороший, и добрый, когда погибает в горах, воюя, или потуже затягивает пояс от голода! Но чтобы пользоваться жизненными благами, он еще не дотянул, куда ему! Вот их настоящие мысли, вот что они в самом деле думают о нас. А истина-то в том, что все люди должны жить счастливо! Понимаете? Это же нетрудно понять: счастливо. И никто на этот счет никого не должен обманывать: счастье существует только там, где человек остается человеком, где живет по-человечески! А не как рабочая скотина! И не как убойный скот! Для таких счастья не существует» [с. 185].

Поэтому и считает Арфия, что все те, кто сражался, кто ковал Свободу, стали **добычей Горы**<sup>4</sup>, Революцией распорядились уже другие, пока воевали такие, как Арфия. Вот почему для нее в новом Алжире тоже **нет Жизни: Арфия вспоминает лишь Смерть**. Лишь напрасную жертву тех, кто погиб на ее глазах. И мучительно казнит себя за «предательство»: та **Цель, во имя которой она упорно шла**

---

<sup>4</sup> В этой мысли — отголосок древних поверий о горах как обители *людоедов-великанов* (Ogres), о которых повествуют берберские сказки. Подр. см. Fares N. L'ogresse dans la littérature orale berbère. P., 1994.

**вперед** и вела за собой других, во имя которой оставила одного в горах смертельно раненного Слима, оказалась **миражом**... Как и она сама, ее собственная жизнь во имя этой Цели, ставшие лишь призраком Прошлого для других, не *воевавших*, но *овладевших* Настоящим. Для них такие, как Арфия, — лишь «душа, поднявшаяся из могилы»... «В тот день, когда я вернулась из боя живая, а потом возвратилась в свою деревню... меня никто не узнал. Ни один человек. Как будто я уже была н и к е м (разрядка моя. — С.П.). Даже собаки, которые лаяли мне вслед, не приближались ко мне. Я была воскресшей из мертвых. Но одинокой! Совсем одинокой. Вот что я обрела» [с. 187]. Эта собственная ненужность для Арфии подобна смерти. Но ей еще страшнее слышать, как беснуются те, у которых в руках власть, но которые не знали «боя» и требовали теперь «стереть грязный след» (кровавый!) на земле, оставленный этими «проклятыми» (т.е. посягнувшими на «любовь и доброту» и взявшими тогда в руки оружие...). Вот почему для «почти мертвой» Арфии *«революция не окончена»*, и слова о том, что нужно «уметь смотреть в будущее», лишены для нее всякого смысла, если «ее» Революцию кто-то считает Прошлым. И война — за настоящую Свободу, за истинное Равенство, за подлинное Счастье — *«война тоже не кончилась»*. «Что скажут герои, — думает Арфия, — если вернутся вдруг снова когда-нибудь на землю?..»<sup>5</sup>

Вот так и нанизывает художник один за другим образы, таящие угрозу, несущие смерть, разрушение, полные тревоги, сомнений, душевного смятения и терзаний.

---

<sup>5</sup> Через несколько лет алжирский арабоязычный писатель Ат-Тахир Ваттар, обратившись к этой теме, напишет замечательный рассказ «Герои возвращаются на следующей неделе», персонажи которого, узнав такую «новость», начинают сверять свои сегодняшние дела и поступки с теми идеалами, за которые сражались «муджахиды». И не все оказались их достойными. А иные и вовсе не хотели рисковать и встречаться с героями. Слишком велик оказался груз **их вины** перед жертвами, которые принес народ во имя Будущего... (Об этом см. подр. в работе О. Н. Дёмкиной в «Истории национальных литератур стран Магриба». М., 1993, т. «Алжир»).

Даже сама природа, кажется, привлечена художником только в целях, «губительных» для Жизни: **«Молчащие» горы** с их мрачными голыми скалами; зияющие бездны, **угрюмые вершины**; сухая жесткая трава, колючки и лишайники, покрывающие холодные камни; мертвенная белизна луны, словно «известью», заливающей своим светом пейзаж, открывшийся Родвану **со скалы, нависшей над бездной...** Свет вообще в творчестве Дибба имеет всегда особую символическую значимость, однако чаще все-таки ассоциируется с блеском дневного светила — Солнца, с его живой и животворящей яркостью, с его «ослепляющим» жаром. В «Пляске смерти» именно Свет может стать источником Мрака, синонимом Ночи, превращается в «безжизненное сияние», в «отсвет Смерти», разлившейся, как вспоминает Родван, «восковой бледностью» на лице девушки-француженки, Возлюбленной Родвана, гибнущей на его руках от взрыва гранаты, брошенной им самим в центре столицы, когда алжирцы начали свое восстание...

И дабы окончательно лишить Свет его изначального природного «тепла» и «лучистости», Дибб воскрешает в памяти своего героя «безразличие» искусственного света уличных лампионов, как в похоронном эскорте, сопровождавших бег Родвана по безлюдным улицам с умирающей Возлюбленной на руках, и вселявшие в него страх вспышки фар на проносившихся мимо них машинах военного патруля, и желтизну, и мельтешение их огней, которые напоминали Родвану «гримасы» ярмарочных гирлянд, освещавших городской парк, где уже в предчувствии смертельной схватки веселились напоследок два чуждых друг другу мира и где встретил Родван впервые свою любимую.... И, наконец, сама метафора увиденной за древним Порталом «Правды» исполнена «смертоносного» смысла: гниющая, полная отвратительных отбросов Свалка, на которой и обрывается последнее, уже бесполезное «послание» людям никому не нужного «мудреца», «знатока» жизни Уассема...

Однако сколь ни близко подкрадывается к уже избранной Дибом для названия своего романа «Пляске» родственной ей «Триумф Смерти» (вспомним, что именно так чаще всего обозначается художниками прошлого, да и настоящего тоже, мотив всеторжествующей кары человечества, апокалиптического возмездия ему, или же метафора Войны), писатель не случайно избегает, на наш взгляд, этого «почти синонима» для заглавия романа. Вчитаемся пристальнее в *систему* его образов: у всех у них, оказывается, есть и иное начало — **рождающее Жизнь**.

**Ночь**, сквозь которую ведет свой отряд Арфия, — гарантия сохранности жизней партизан: только днем вражеские самолеты кружат, выслеживая «добычу», над Горами, сбрасывая бомбы, поджигая леса, выкуривая «партизанские гнезда». Но сражающиеся в Горах люди, даже обреченные на смерть, все равно с нетерпением ждут утра, Рассвета. И этот даже гибельный для них День всякий раз настает, а с ним и встает Солнце. И даже «мертвые», «немые» и «враждебные» Горы начинают «разговаривать»: **днем можно услышать Эхо**. Оно для идущих на встречу смерти — живой Голос их Цели. Если отвечало Эхо, то, значит, та **Гора**, к которой шел отряд (и здесь Гора — как **Цель** и **Победа**), была уже недалеко...

Одно только знание того, что *«рассвет уже близко»* и что он *«обязательно наступит»*, вливало в раненых веру, давало силы «терпеть муки», заставляло двигаться дальше. Так, уже во мраке самой Ночи вызревали Утро и День Героев. Для Арфии, даже обреченной на забвение, это всегда означало, что *другие рано или поздно узнают Правду*, Истину сражения с Чуждым миром. И потому даже в новых оковах — своего одиночества — *она ощущает себя свободной*. Ибо знает, что Истина — «уже совсем рядом»... Потому что окружившая людей «новая ложь» оказывается неспособной убить Правду. И, даже терзаясь сомнениями, думая порой, когда жизнь становилась совсем невыноси-

мой, о *напрасности жертвы* тех, кто **пал в Горах**, Арфия в глубине души знает, что если никто и никогда не захочет *принести себя в жертву во имя Идеи*, то **«погибнут все»**. Так, **смерть** соратников становится в романе **залогом жизни** соотечественников — **«оплаченной смертью жизни других»**. Вот почему одно из последних видений-воспоминаний Арфии — не трагедия Слима, сошедшего с ума от боли и *невозможности идти вперед* (именно эта его неспособность к Движению и заставила Арфию в свое время пойти дальше, к цели, в одиночку), не погибшие от «свинцового дождя», обрушившегося на них с неба, товарищи по отряду, но «молочный свет» раннего Утра, который неумолимо «разливался вокруг». Это «единственное движение», *движение Света*, которое было и тогда среди «мертвых камней» и людей, бросивших в горах свой последний якорь, как бы стало и единственной траекторией и ее собственного движения: **идя сквозь свою «ночь», она ориентируется только по Свету**. Вот почему она, зная, что никогда не согласится с «порядком вещей», установившимся в мире, **«которым распорядились»** без тех, кто за него сражался, знает также и то, что никогда не забудет о том **«единственно правильном пути, по которому надо идти»** и всегда **«готова к воскрешению тех», кто погиб за справедливость, за Истину**.

Для Арфии, как и для Родвана, трагически переживаемое Настоящее — фарс, нелепость, сумасшествие людей, смятение их умов, заблуждение их сердец, и потому изначально они устремлены только вперед, только к Будущему, где Свет знания и станет Светом, всё очистившим. И нельзя забывать и о том, что истоки их трагедии, унесшей героя в бездну Мрака смерти, а героиню — в бездну человеческого забвения, восходят прежде всего к неумолимо властвовавшему над ним желанию именно **«очистить мир от зла»**, освободить от Тьмы. Не потому ли, уже пройдя по пустыне тоски и оказавшись «перед вратами смерти», сквозь мрак

открывшейся ему Бездны (он бросится в нее с вершины скалы), сквозь холод и туман окутавшей его душу Ночи он чувствует, как «льется» к нему Свет: «И в этом просторе было разлито еще и сияние света, источник которого скрывался где-то во тьме... И такой полной, такой прекрасной была тишина... что он слышал ее в своей душе, сидя спиной к мраку... А лицом своим будто ловил, поглощал разлитый в пространстве перед ним свет, свет и его тишину, его покой.., свет, безгранично овладевший теперь этим пространством, непонятно откуда взявшийся, но живой, льющийся без передышки, ласкающий этот призрачный пейзаж, вырванный им из мрака, словно паводок начался вокруг...» [с. 126].

Эта «непокоренность» Света, несмотря ни на что «люющего» вокруг» или бьющего из недр самой души, особенно поразительна в явлении во сне Родвану Азраила — Властелина Смерти. В явлении, совместившем Голос Отца, предрекавшего неизбежность, неумолимость *торжества смерти*, с лучезарным сиянием белокрылого, управляемого мириадами голубей (парадоксально возникающий здесь символ «благовестия») небесного «Корабля», золотом озарившего всё вокруг... И именно этот образ — не самого Верховного Ангела Смерти, вихрем кружащегося в своей смертоносной пляске, но «светлого девственного сияния» и появился перед Родваном на краю бездны, в которую он глядел, сидя на голой скале, готовый уже к последнему шагу... И это вдруг возникшее в памяти сияние, сливаясь с «непокорным светом», заливавшим «распустившийся вокруг мрак», торжествовали теперь, «защищая», «выхватывая из сумерек» эти края, не давая обрушиться на них Мраку, словно удерживая и самого Родвана, спасая его Надежду, заставляя забыть о «триумфе смерти», когда-то обещанном Отцом...

Писатель вообще постоянно что-то «высвечивает» в романе, стремясь прервать всеторжествующий полет мрачных

крыльев Азраила. Так, ледяное неистовство ветра в горах, вымораживавшего душу, сплавившегося воедино со свинцовым неистовством обрушившейся с неба картечи (французские летчики на бреющем полете почти в упор расстреливали в горах партизан), было одновременно, как сама всепоглощающая Ночь, источником Движения отряда. Ветер не давал людям возможности остановиться, гнал их вперед, и в голосе его звучала не только «смертельная тоска» (от неясности, невидимости Цели: тайник, к которому идут партизаны, где ждет их подкрепление и оружие, казался уже недостижимым, — так долго и мучительно было продвижение к нему). В ветре слышался им и суровый приказ: **«Выжить!»**, не сдаваться, не согнуться, сохранить жизнь для дальнейшей борьбы. И только тогда, когда одолевали сомнения и отчаяние, когда побеждала боль, тогда «притяжение земли» оказывалось сильнее человеческого духа, воли, ее сопротивления мраку, холоду, молчанию камней, частоколу остроконечных вершин, вонзавшихся в душу и отнимавших надежду. Но ветер снова поднимал с земли, снова гнал вперед, тогда и отзывалось Эхо, и **человек продолжал свой Путь.**

Вот и **Горы**, сами неприступные Горы, «окружившие», «осадившие» человека, ставшие для людей «ловушкой», эти Горы — одновременно и хранители, и стражи самой Идеи, и «оплот», и «прибежище» Революции, ее символ. «Ночь» и «Горы», как в романе Диба, так и в самой алжирской Истории, — два полюса, стянутых воедино борьбой. Столетнюю эпоху колониализма на земле Алжира народ назвал своей «Ночью»<sup>6</sup>, и эта метафора в литературе Алжира стала символом гнета, рабства, несвободы. А народ, восставший за свою Независимость, захотевший разорвать опустившийся над землей «черный полог», ушел сражаться

---

<sup>6</sup> Вспомним, что один из крупных деятелей Алжирской Революции — Ферхат Аббас назвал свою книгу о необходимости национально-освободительного движения «La nuit coloniale» (1964) — «Колониальная ночь».

именно туда, где врагу было труднее всего выстоять, — в **Горы**. Да, партизан «выкуривали», поджигая леса напалом, расстреливали с самолетов, бомбили горные селения, сравнивая их с землей<sup>7</sup>, **но Горы оказывались сильнее**: там царил дух свободолюбия и борьбы, постепенно вовлекавшей в партизанское движение все население страны, а в скрытых от глаз врага тайниках хранилось оружие, сводки боевых действий, карты боя...

Тогда, во время Алжирской войны, действительно, казалось, что восстали **сами Горы**, и неприступные вершины Ореса и Кабилии стали залогом Победы Народа... Вот почему для Диба, воплотившего в художественном образе нестигаемой Арфии **Идею борьбы**, Революции народа, породившего на страницах романа и драматические будни, и суровую героиню Гор, партизанской войны, *неравной битвы* с сильным и умным врагом, так важна мысль о **небесполезности жертвы** — гибели миллиона таких, как Слим, как его товарищи по отряду, который вела отважная Арфия. Ведь муки ее совести (бросив в горах не способного идти дальше Слима, она уходит, зная, что ее ждут другие товарищи, которых она снова должна вести вперед) — это, собственно, и есть мучительные раздумья писателя и человека, вопрошающего себя, **что выше: Гора или сам Человек? Что важнее — Идея или человеческая жизнь?** Его героиня, отбросив сомнения, **выбрала Гору**. И если даже потом эта Гора родила такую «мышь», как Бабанаг, как все те, кто не хочет «возвращения героев», *кто оставил Революцию Прошлому*, если даже сама Идея «растворилась» в сознании масс вместе с прошлым, к которому, как принято говорить, «возврата нет», то *Гора, пережившая это Прошлое*, всегда будет **напоминать** людям о нем. Еще и потому, что

---

<sup>7</sup> Об этом — книги Мулуда Маммери, Каддура М'Хамсаджи, Ат-Тахир Ваттара, Рашида Буджедры, Асси Джебар, Бунемера и многих, многих других алжирских писателей, где почти документально зафиксированы злодеяния армии колонизаторов (см. полную библиографию в «Истории национальных литератур стран Магриба» — том «Алжир». М., 1993).



Слим и миллион таких, как Слим, остались **там**. И их пепел будет «всегда стучать», если даже сердца живущих «очерствеют» на время...

Вот почему именно Арфия не смиряется с тем, что **«Война с несправедливостью»** объявлена оконченной, что **герои забыты**, что такие, как она, добывавшие в горах Независимость своей стране, вычеркнуты из жизни, «невостребованы» или брошены в тюрьму по обвинению в том, что *сеют смуту, создают беспорядки*, или даже объявляются в итоге *«безумными»*... Вот почему именно Арфия и убивает отвратительного уродца Бабанага потому, что он был всего лишь *«жалким подобием Жизни»*, *символом несвершившегося*, жутким «плодом» того **не** настоящего времени, которое вершилось **«без участия» героев**... И загнанная во мрак тюрьмы, именно она, Арфия, вобравшая в себя и мятежный дух древней легендарной берберской царицы — воительницы Кахины, освобождавшей когда-то свой народ от нашествия чужеземцев, и черты неуловимой, «не покоренной никем» Неджмы — «Звезды», героини знаменитого романа-метафоры Катеба Ясина, воспевшего в этом образе саму Алжирскую Землю, именно она, Арфия, увидит в романе Дибба, как шагнут ей навстречу, избавив ее от «одиначества», *тени простивших ее героев*, как просочится сквозь стены тюрьмы Рассвет, как все зальет Солнце, рассеяв мрак ее темницы...

Но ведь и Родван, отчаявшийся герой Дибба, берегущий в сердце своем «невозможную любовь», не выдержавший испытания новой, также «без его участия» свершающейся жизнью, Родван, отдавшийся во власть Азраила, в самом своем имени — «Страж ворот Рая» — где-то глубоко в сердце хранил Надежду на пришествие Царства Счастья, *на свершение своей мечты о Свободе*...

Вот почему не исчезает вместе с ним в бездне мрака его Надежда. Она останется навсегда в бесконечной россыпи *ее* отзвуков, *живым эхом вернувшихся со дна пропасти*...

...Так вихрь смерти, закружившись в «Пляске короля», не унес с собой то, что нельзя унести, — живущее в самой Земле, в душе ее народа **постоянство памяти о Свободе**, не стер с лица земли «след» тех, кто боролся за нее, не уничтожил, даже засыпав камнями преград и препятствий, тот Путь, по которому, как по мосту, шли люди из мрака прошлого на встречу со Светом Будущего. Иначе зачем понадобилось бы Дибу писать такой жестокий портрет Нового мира?

Случилось так, что многие герои Алжирской войны были забыты (особенно женщины<sup>8</sup>) или обречены на молчание, им «давали слово» все реже и реже, разве что во время каких-то больших праздников... Но поэзия и проза алжирцев помнила их имена и их подвиги. Не только Диб в своем прекрасном романе запечатлел злую участь «забытой» миром отважной партизанки в художественном образе Арфии, но в тот же, 1968 год, и Надийа Гендуз в своих стихах, посвященных реальной героине алжирского Сопротивления Фатихе Иратни, написала о том, что «воздать почесть героям, казалось бы, так просто», так почему же оказалось, что всего несколько лет спустя после революции **«забыть о них стало еще легче?»**: «Но разве не была ты символом борьбы, // Фатиха Иратни, // С оружием в руках, // в форме цвета хаки? // А ведь могла бы быть невестой // в наряде белоснежном — // как символе твоей непорочной чистоты. // И вот забыта ты. // Но всё равно останешься призывом //

---

<sup>8</sup> В июле 1978 г. во французской газете «Nouvel Observateur» (№ 713) было опубликовано свидетельство Жисели Халими, вспоминавшей о том, что в 1961 г. адвокаты заключенных во французскую тюрьму алжирок — Зохры Диф, Джамили Булаши и др., добились их свидания с лидерами национально-освободительного движения — Бен Беллой и Хадером. В тюрьме говорили при встрече о политической ситуации, о войне, о перспективах, о будущем... Джамили спросила: «А что будет с нами, с женщинами? Ведь мы теперь совсем не те, что прежде, и наше положение должно измениться...» На что Бен Белла ей ответил: «**После Освобождения, надо полагать, вы вернетесь домой, на кухню, готовить кускус**». Лидеры, отметила Халими, как бы сдержали слово: когда после Независимости Джамили вышла замуж, ее заставили надеть чадру...». (С Джамилёй Бугаши автору этой книги пришлось увидеться случайно в Алжире в 1964 г. — она практически была забытой, жила случайными заработками, болела и умерла совсем молодой. — С. П.)

Тех славных дней // Тех дней счастливых // Когда в свои неполных 19 лет // Ушла в маки, // Ушла, чтобы погибнуть // Без крика, без слезы. // Погибла ты // И память о тебе исчезла. // Но вот настал тот день, // Когда твой старый друг // Напомнил о тебе, // Об имени твоём. // И оказалось так легко // Напомнить всем, // Почтить тебя // Оставить след прекрасный твой // В сердцах людей... // Приветствую тебя, // О, Фатиха Иратни!<sup>9</sup>

М. Бурбун, алжирский прозаик, создает роман «Муэдзин»<sup>10</sup>, где герой с вершины минарета (тоже, как Гора, *касающегося Неба*) печальным голосом-напевом будто вещает людям о том, что нельзя забывать Истину... Однажды он, не выдержав груза прошлого, когда был партизаном в горах, бросится со своей «вершины» и погибнет... Бурбун не хотел ни посрамления, ни такой гибели своего героя, не нашедшего контакта с новой реальностью. Голос Муэдзина обращен пока еще и им самим в не различимое, *туманное* будущее, непохожее на сегодняшний «серый» будничнейший день, — без «порывов», без идеалов. Однако в голосе Муэдзина не было ни фальши, ни ложного пафоса, ни бессмысленного призыва к «смуте». Просто недавняя история еще зияла в его сердце, давила воспоминаниями о **великом подвиге, о великих надеждах**. Отсюда и слившийся с его образом Минарет — *некое подобие Горы как Связи Земли и Неба*, и в этом — **его** Небе — и жила его великая мечта о Свободе, которая пока не свершилась. Но малым еще, видимо, другим его товарищам казался срок, чтобы понять и итоги, и уроки Революции, совершенной ими. Отсюда и смятение души, и растерянность человека, который страстно ждал **немедленного свершения** всех надежд, всех помыслов борцов за Освобождение страны...

Так возник в романе Бурбуна необычный образ **Человека-Итога**, который, зная, что к прошлому возврата нет,

<sup>9</sup> Guendouz N. Amal. Alger, 1968.

<sup>10</sup> Bourboun. Le muezzin. P., 1968.

несет в себе **заряд этого прошлого** — эпохи Войны, замысленной как **Освобождение Человека...**

Наступившее затишье словно давило своей однообразной тяжестью, рутинной, неурядицами, *засильем так и не исчезнувших старых традиций*, несообразных со временем свершения «революционных перемен», результатов которых так страстно ожидали те, кто сражался в горах. Поэтому для Муэдзина, как и для многих других героев книг алжирцев, воспоминания о войне так мучительны: это память о Жизни, отданной Борьбе за Мечту и светлую веру. И они терзаются мыслью о том, что жертвы были напрасными — послевоенная жизнь не оправдывала идеалов их прошлого, когда они, вопреки смертельной опасности, вели свои отряды к Победе...

Пройдут годы, но тема *«утраты» радужных горизонтов*, идеалов Борьбы за Независимость будет постоянно тревожить художников, поставивших целью напомнить людям о том, за что воевали и что отстаивали в своем сражении народные герои и героини, бросавшие свой вызов смерти. Так, Айша Лемсин полагает, что новая Власть *предала их идеалы* и что было сделано всё, чтобы, к примеру, подобных героинь Войны за Независимость после победы **«реинтегрировать»** в ту же среду, откуда они ушли в горы сражаться и за свою Свободу. Власть постарались внушить народу, что борьба его была только **«моментом Истории»**, и что общество должно *вернуться к своей обычной жизни, стерев из памяти следы войны...* В своем романе «Порфиринового цвета небо»<sup>11</sup> писательница воссоздает образ Мерием, *возвращающейся с этой войны*. Она чувствует себя **свободной**, лицо ее — **открыто**, и она даже участвует в собраниях, которые организованы мужчинами и женщинами из правящей в стране партии. Она даже поначалу отказывается выйти замуж за армейского командира, чтобы не «превратиться только в памятник войне», — она еще готова воевать и сама

---

<sup>11</sup> Lemsine A. Ciel de porphyre. P., 1978.

за свою собственную свободу. Но мать напоминает ей о том, что *«теперь каждый должен, вернувшись к Жизни, играть в ней свою роль, предназначенную только ему»*. И Мерием выйдет замуж за этого «командира», и станет этим безмолвным «памятником» войны, где она сражалась за **«совсем другой закон жизни»**... И ни ее попытки работать, жить самостоятельно, *действовать*, — ничто не смогло сломить «сопротивления ее среды», ее «окружения», его давления, и она уступила диктату родителей, самих избравших для нее жениха... (с. 306). Новая жизнь вернула «изменившуюся» женщину к **прежней роли**, как и другую героиню Айши Лемсин, Феллу, бывшую военную санитарку, мечтавшую после революции заняться ремеслом артистки, играть в театре... Но и она не смогла *«пробить окостеневшие традиции, табу»*, придуманные «отвердевшей в склерозе ментальностью» окружающих (с. 303): с мечтой о театре было покончено, как и с писанием картин о войне. Ее «художества» никого не волновали, главное — чтобы «она рожала детей». (Чем она, в конечном счете, и занялась, как и Амалия, вернувшись к «роли матери».)

Разве не случайно, что единственная «партизанка», избежавшая участи возвращения к роли «традиционной женщины», — Хурийя, *сознательно пошедшая на войну, ушедшая в горы, чтобы там «облегчать» сражавшихся мужчин, проституировавшая во имя победы над врагом?* Али, один из ее «клиентов», как-то встретив Хурийю в аэропорту, так рассказывал о ней: «Элегантная, в белом костюме, с длинной золотой цепью, опускавшейся на грудь, она приехала сюда на своей белой машине... Она поведала о том, что после войны вышла замуж, но развелась через два года, что теперь летает на “шикарные вызовы”, что ни о чем не сожалеет, не живет ни в пороке, ни в добродетели, особо не мудрствуя и не безумствуя, а просто *учась выживать* в этих бетонных джунглях, которые соорудили для таких, как она...» (с. 310).

Практически, Хурийа осталась тоже жертвой этой войны, как и многие другие ее соотечественники: ее «работа» — **вне** общественной морали, а значит, она тоже **не «вписалась»** в эту «новую жизнь»... Писательница по-своему даже защищает Хурийю, вложив свое уважение к этой необычной «героине» в размышления встретившего ее Али: **«Он не думал о том, кем стала она. Но о том, что сделали люди, чтобы помешать ей стать тем, кем она стала...»** (с. 310).

Диб писал свой роман «Пляска смерти» по еще горячим следам свершившейся битвы за Независимость, в 1968 г., хотя и показал уже очевидный трагический **разлад идеалов**, за **которые сражалась его партизанка Арфия с послевоенной реальностью**. Но были среди писателей и представители тенденции полного забвения **войны за свободу**, которая *отвлекала* художников от «**будущего**», от возможности видеть новое: «Хватит воспевать войну // славить только героев! // Хватит вспоминать о славных датах // воспевать Историю, которой больше нет! //, — уже в 1966 г. писал А. Азеггах, отказавшись от роли «ангажированного Революцией» поэта. Со временем и начавший печататься в конце 60-х гг., и сразу ставший знаменитым Рашид Буджедра захочет писать *только «во имя будущего»* (из интервью 1972 г. в *Nouvel Observateur* от 11/IX), хотя все его романы так или иначе и по сей день связаны с «прошлым», и совсем «близким» еще для новой реальности Алжира, и совсем далеким, но так или иначе *повлиявшим* на ход национальной истории, на постколониальную реальность в целом.

В 80-е гг. героиня именно его романа «Разлом»<sup>12</sup> Сельма, «**дитя нового мира**», «**современная** образованная алжирка, остро переживающая противоречия окружающей ее действительности, помогает Тахару аль-Гомри, другому герою, погруженному *только в прошлое*, «выключенному

<sup>12</sup> Boudjedra R. Le Dementement. P., 1982.

из современности, способному жить только воспоминаниями о том времени, когда он **«жил по-настоящему»** и **боролся в горах за освобождение своего народа**. Время героини и время героя в определенный момент пересекаются, и они начинают поиски «первоисточников», первопричин, приведших ее — на грань **неприятия окружающей жизни**, его — к полному *неучастию в настоящем*, вынужденной самоизоляции, своего рода *небытию в жизни*.

Тахар, случайно оставшийся в живых во время Алжирской войны, знает, что его товарищи по оружию **преданы** и убиты. Причем убиты не врагами алжирского народа — солдатами колониальной армии, но самими алжирцами, сражавшимися за то же общее для всего народа дело, что и его единовверцы-коммунисты.

Трагедия заключалась в том, что «братья по крови» не всегда оказывались истинными «братьями по вере» — несовместимость коммунистических и мусульманских лозунгов приводила к непреодолимым противоречиям и суровым столкновениям, несмотря на общие цели.

Тахар аль-Гомри — единственный из своего партизанского отряда, сражавшегося в горах, кто избежал суровой участи: он не был убит и спасся, возможно, потому, что в свое время был *учителем Корана*: репутация человека, знающего «божественное учение», многое меняла в отношении к нему феллахов и партизан, всех, кто называл себя **борцами за «чистоту веры»...**

Теперь, существуя как бы по другую сторону настоящего (как и Муэдзин М. Бурбуна), гальванизируя в своей памяти только прошлое, герой живет в полуреальном мире, в построенной им самим лачуге, **«полуноре»** (как бы окончательно **спутившись со своих Гор** в *подземелье жизни*), забившись в которую он проводит дни и ночи, записывая им самим изобретенными средствами письма историю и своей жизни, и своего поколения. Он заново проживает эту жизнь, переписывая отдельные эпизоды, пересказывая ее

события случайно забредшей в его убогое жилище девушке Сельме, которая родилась в грозный 1954 год, когда произошло в Алжире землетрясение и свершилась историческая «ломка», о которой возвестило вооруженное восстание народа...

Свято хранимая героем полуистлевшая фотография двадцатипятилетней давности, на которой запечатлены четверо верных боевых друзей-партизан, сражавшихся в Горах, и он сам, стала для Тахара не просто вещественным доказательством, уникальным свидетельством прожитой им жизни, главного ее периода, фактически единственным удостоверением личности героя, заменившим ему и паспорт, и прочие документы, необходимые человеку, но Тахару аль-Гомри так и не потребовавшиеся. Все четверо **отдали свои жизни народу** (история жизни каждого из них поведана Сельме и мастерски записана в «Дневнике» Тахара), борьбе за лучшее будущее, за высокие и светлые идеалы. Для Сельмы Тахар и его друзья — это жизнь целого поколения, «ушедшего в легенду», поколения тех, кто пришел в революцию с «красным знаменем». А она для героя означала то великое дело, которое позвало его, простого учителя Корана, в неравный бой. И вот уже четверть века он хранит эту фотографию и на Исходе дней, чувствуя приближение конца, вешает ее на стене своего жалкого обиталища, как бы оставляя в назидание грядущим поколениям этот отпечаток прошлого, единственно существующего для него времени, ибо все остальное, вся история, что свершилась далее, — это все тот же путь ошибок, где люди **не были** творцами, но лишь орудием несправедливости...<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Алжир долго после получения Независимости не мог наладить ни разрушенную Войной экономику, ни преодолеть внутривнутриполитические «разлады», ни острые социальные проблемы, связанные и с исходом сельского населения в города, и с демографическим взрывом, с жилищным кризисом, и с нехваткой продовольствия, и с резко обострившимися этническими (арабо-берберскими) культурными конфликтами. Нестабильность страны порождала ощущение «напрасности» жертв, принесенных в Войне, влияла на усилившуюся эмиграцию и постепенно создавала условия и для религиозных волне-



Так решается тема Алжирской войны в романе уже представителя нового поколения в литературе **алжирцев** — Р. Буджедры и решается как тема **единственно «правильно» прожитого человеком Времени**. Человеком, не **жалеющим, но гордящимся** делом, за которое была отдана жизнь...

Настоящее же для таких, как герои Дибба, Бурбуна и Буджедры оказалось «миражом».

Так «расплывались» в алжирской литературе об Антиколониальной Войне радужные горизонты Надежды, связанные с Освобождением. И хотя пафос Борьбы за Свободу еще не остывает в творчестве многих писателей, все чаще вставал вопрос о том, *а нужна ли была сама битва*, если погибли ее идеалы...

Но должна ли **именно Война** стать **неизбежностью рождения Нового мира?**

В романе М. Маммери «Опиум и дубинка»<sup>14</sup> (именно с таким названием роман переведен на русский язык в 1989 г.) — одним из наиболее крупных эпических произведений об Алжирской войне — воссозданы образы народных героев — всех, кто вел в горах неравный бой с огромной и профессионально вооруженной колониальной армией; с необычайной силой, талантливо и вдохновенно запечатлены лавина народного гнева, действия огромной массы людей, которые укрывали, помогали и всячески способствовали успеху тех, кто сражался с французами (что и сделало роман Маммери подлинно «народной эпопеей»). В книге реалистически воссоздана история войны на примерах сложного пути человека к *осознанию необходимости слияния своей судьбы с судьбой народа*. Герой романа —

---

ний, окончившихся «взрывом» террора исламистов, развязавших новую, гражданскую войну в Алжире, длившуюся почти 10 лет.

<sup>14</sup> Mammeri M. L'opium et le bâton. P., 1965 (Дословно: «Опиум и дубинка» — как «Забвение» или «Возврат к реальности», но в названии романа не заключен **тот** же смысл, что в русском выражении «Кнут и пряник», а подчеркнута альтернатива только «забвения» или «самоуспокоенности», или только выбора **действия** как **борьбы за жизнь**).

врач Башир Лазрак, преодолев мучительные сомнения, посвящает себя служению Революции (этот мотив сближал книгу М. Маммери с психологическими романами Хаддада и Дибя и отличался от массовой продукции тех лет, для которой было характерно изображение народных героев как *не знающих сомнений* «муджахидов», восставших за «чистоту веры»). Герои Маммери гибнут в горах за свои высокие гражданские идеалы, за цели освобождения страны от политической несвободы, колониального гнета и социальной несправедливости. Так, Али расстрелян французским офицером на глазах у всех жителей горной деревни в назидание тем, кто осмелится скрывать у себя партизан. Но его гордая смерть становится в романе символом неразрывного единства народа со своей Революцией. Падает под пулями на площади — один, но волна гнева и отмщения поднимается в душах тысяч людей, и в одиноком плаче возлюбленной Али — Тассадит — слышится голос миллионов, которые встанут на место Али и освободят его родину: «Ты не дожил до конца. Ты не увидел победного шествия. Алжир, твой Алжир, наш Алжир, ты видел только ночами или в лесу. Дни твоей отчизны были закованы в цепи, расстреляны автоматами, раздавлены тюрьмами, и ты не успел уничтожить все это. Не печалься, любимый, ступай с миром в сердце, на твое место встанут другие и завершат то, что ты начал. Весть об этом найдет тебя и под камнем... Возлюбленный мой бессмертен. Он будет жить в моем сердце, в сердцах тысяч мужчин, тысяч женщин нашей страны... О! Путь твоей жизни был прям, как полет пули... Тебе нужно, чтобы мы были счастливы, чтобы радость наша стала бальзамом твоему остывшему сердцу и чтобы счастье наше, всепрощающее счастье, пришло к нам как оправдание твоей смерти и твоих тягот» (цит. по: М. Маммери. Романы. М., 1989. Пер. с франц. Н. Световидовой, с. 268).

Страшная картина растерзанной войной страны, измученного, израненного снарядами «тела» ее земли — во

многих книгах алжирцев. Но финал романа Маммери «Опиум и дубинка», где правда, которую нельзя ни прикрыть, ни приукрасить, ни «заковать в цепи», правда об огромной трагедии, пережитой алжирским народом в войне с колониализмом, сконцентрирована в картине гибели горной деревушки Талы, — и это один из самых сильных художественных образов, созданных литературой Алжира, и одно из самых ярких, почти документальных свидетельств алжирской трагедии. Уничтожая тяжелыми артиллерийскими снарядами в горных деревнях дома и минареты, дробя камня мостовых, перепахивая землю осколками, свершая страшную месть за то, что жители этих деревень *дали партизанам убежище*, солдаты колониальной армии убивали не людей — их, как в Тале, согнали на площадь, а потом выгнали за пределы Талы, — они убивали у них на глазах *их Землю*, и это было самым тяжким для людей испытанием...

Позднее М. Маммери в пьесе «Горячий ветер Пустыни»<sup>15</sup> назовет Алжирскую войну *«безумием»*, *охватившим Алжир*, подобным тому, который вызывает иногда у людей дующий из Сахары горячий ветер. И выскажет сомнения в необходимости свершения жестокой формы возмездия с обеих сторон.

Столкновение миров в войне, разрешение вражды **способом насилия** — эта проблема всегда вызывала озабоченность как в среде идеологов национально-освободительного движения, так и в среде писателей, представлявшей значительную часть демократически настроенной интеллигенции колоний. Мулуд Фераун в своем посмертно изданном «Дневнике»<sup>16</sup> (1968) тоже описал сомнения и размышления алжирской интеллигенции об «участии — неучастии» в войне, о нежелательности войны как кро-

<sup>15</sup> Mammeri M. Le Foehn ou la Preuve par neuf. P., 1982.

<sup>16</sup> Feraoun M. Le journal. P., 1968.

вавого конфликта, неизбежность которого, однако, многие осознавалась, но и мучительно переживалась.

**Колониализму — нет. Угнетению — нет. Но необходимо ли отвечать жестокостью на жестокость?** Мулуд Фераун, упорно стоявший на пацифистских позициях и долго не смирявшийся с мыслью об изгнании с родной земли французов (давших образование его народу и принесших свою «могучую» культуру, хотя и державших народ в рабстве), был уверен в том, что *истинный гуманизм не должен допускать кровопролития, «гражданской войны» народов, долгое время живших на одной земле*. Но постепенно и он придет к пониманию справедливости борьбы против колониализма, которую начал его народ.

Обратившись уже в 70-е годы к проблеме необходимости «военного конфликта», другой алжирский писатель, Набил Фарес разделил и сомнения героев Дибя, и неуверенность в выборе позиции, долгое время мучившую М. Ферауна. Он дал свой ответ на вопрос, **нужна ли человечеству война вообще**.

Мулуд Маммери назвал войну *безумием мира*, Набил Фарес делает это безумие основным художественным образом своего романа «Поля олив»<sup>17</sup>. Итог охватившего мир «безумия» — его «безумные» герои, бред их воспоминаний, **неспособность жить в настоящем**, ибо они — *душевно* растерзаны Войной, в которой погибли близкие, родные, прошлое, будущее, надежды, мечты, идеалы. Метафора **разлада, расторжения, краха, понижающая романы Фареса** — траурная песнь о прерванном полете «молодых дроздов», весенних птиц, так и не обретших мирных «полей свободы». Недаром в одном из своих произведений Фарес обращается к притче Б. Брехта о «великой Вавилонии», которой пришлось когда-то «время рожать»: «Ее рвало... А всем чудилось: “Свобода!”». Она хрипела. А всем мерещилось: “Справедливость! Процветание!”. А потом по-

---

<sup>17</sup> Fares N. Les champs des oliviers. P., 1972.

слышались и еще более ужасные звуки... Но когда вынесли завернутого в окровавленные простыни новорожденного напоказ собравшейся толпе, то оказалось, что это была Война. И отцами ей были тысячи...» («Поля олив», с. 9). **Но если «старый мир» был обречен умереть, и если люди решили больше не «быть рабами», то зачем же они сделали войну истоком Мира Нового?** В этом, полагает Фарес, и исток их *новой несвободы*, и их «новая неспособность жить без убийств и насилий» (с. 211)...

К осмыслению Войны как «абсурда» человеческого бытия в 70-е годы обращается и М. Маммери в эссе «Абсурдная смерть ацтеков»<sup>18</sup>. Автор утверждает, что преступления любой войны, обрекающей народ на гибель, равнозначны абсурдности уничтожения любой цивилизации, потому что для существования **всего человечества** необходимо существование **каждой его части...**

Не ставя под сомнение пагубность и преступность самого колониального пленения, захвата одних народов другими, а значит, и возможность Сопротивления их захватчикам, алжирские писатели пытаются рассмотреть трагические уроки Войны для человеческой Истории и не менее трагические итоги Войны для самой человеческой личности, — ведь *и пострадавшие, и победители* с неизбежностью несут в себе следы попыток **взаимного уничтожения**.

Этот «тезис» особо ярко подтвержден в творчестве поэта-лирика, романтика, сказочника, слепого «певца жизни» Рабаха Беламри, где неожиданно смело и горько прозвучала тема *«предательства своих»* как еще более худшего варианта *«убийства Чужого»*. В его романном повествовании о войне, точнее, в его романизированных воспоминаниях о ней, война встает как *кровавая история*, отметившая **раскаленным клеймом всех ее участников**.

---

<sup>18</sup> «La mort absurde des Aztèques» in: Mammeri M. Le Banquêt. P., 1973.

Мир, разделенный на «своих» и «чужих», существовал не только в двух **разнородных** пространствах, как это показывает Р. Беламри в «Раненом взгляде»<sup>19</sup>, но и в пространстве «**единоверцев**»-мусульман, ставших по **разные стороны в одной войне**. «Народные мстители» вырезали всех алжирцев, не пожелавших идти в партизаны, или, что еще ужаснее, пошли служить наемниками к французам, спасаясь и спасая свои семьи от царивших в стране голода и нищеты. Беламри был первым, кто в алжирской литературе напишет о трагедии *харки*, алжирца-наемника, который прошел через ад сомнений и унижений, непонимания «своими» и презрения «чужими» и в итоге был зарезан партизанами как «предатель» на свадьбе своей сестры...

О жестокости мести «предателям», их публичных казнях после войны, о кровавом разгуле охоты на всех тех, кого подозревали в сотрудничестве с французами, Беламри расскажет в этом романе словами очевидцев, совместив историю своей жизни с историей войны, через горнило которой прошли люди, лежавшие со слепнущим юношей в госпитале. В его сознание врезались, мучили как наваждение картины страшных пыток, учиненных врагами и «своими», о чем свидетельствовали раненые и больные люди. Ему долго чудилось и даже слышалось, *«как партизаны в горах точат ножи, как стучат их заступы»*, которыми роют они могилы, как «бьет фонтаном кровь» из горла зарезанных ими предателей, как «глухо стучат комья земли», когда зарывают их на дне оврага... (с. 114).

Слышались слепнущему юноше и другие, «послевоенные» звуки: за окном фанфарно гудел праздник тех, *кто делил между собой власть*, кто самовольно присваивал брошенную собственность прежних владельцев магазинов и заводов, пекарен и кафе, — новая революционная этика позволяла и этот радостный грабеж, и показательные свадьбы с «новыми молодыми женами» старых «бойцов революции»,

---

<sup>19</sup> Belamri R. Le regard blessé. P., 1987.

бросивших свои семьи в далеких горах и селениях, и безумство *коллективных обрядов* — и бракосочетаний, и да же обрезания...

Но звуки голосов, кричавших **«убей предателя!»**, заглушали всё. И именно эти слова 30 лет будут мучить героя другого романа Беламри — «Женщины без лица»<sup>20</sup>. Во время войны он, партизан в горах, не захотел убить французского врача, который когда-то спас ему жизнь... Убежав от расправы, он все эти годы *скрывался в горах* и выходил «на волю» только ночью. Но однажды, не выдержав, пробрался к окраине родной деревни и увидел жуткую картину *своей* собственной казни: молодежь играла спектакль из «военной жизни» и радостно кричала: **«Убей предателя!...»** Постепенно его выследили. Пуля уже алжирского жандарма настигла его и только тогда «поставила точку», завершив *время несчастья* (с. 140).

Это **время** еще продлится для героя другого произведения, написанного представителем того поколения алжирцев, которое уже выросло во Франции (они — дети эмигрантов), а поэтому еще «смелее» анализирующего Прошлое своей страны, трезво видящего и свое, и ее Настоящее и решительно отвергающего *все еще длящуюся историю Алжирской войны*. Мехди Шареф, широко известный своим романом о жизни «бёров» («французских арабов») «Чай в гареме Архи Ахмеда»<sup>21</sup>, написал в 1989 г. роман «Харки, муж Мирием»<sup>22</sup>. Он, как и Р. Беламри, попробовал создать романский вариант психологического оправдания поступков человека, которого в Алжире называют «предателем», а также зафиксировать в художественном пространстве те страшные итоги *человеческого противостояния*, все еще не избывающих в людях ненависти, приступов мщения,

<sup>20</sup> Belamri R. Les femmes sans visages. P., 1992.

<sup>21</sup> Charef M. Le thé au harem d'Arché Ahmed. P., 1983. О нем подробнее см.: Прожогина С. В. «Для берегов Отчизны дальней...». М., 1992, с. 298–304. (В названии романа — искаженное озвучание арабским мальчиком понятия «теорема Архимеда».)

<sup>22</sup> Charef M. Le Harki de Miriem. P., 1989.

вспышки которого в *современной* реальности Франции — явления, ставшие почти «будничными».

Роман этот типичен для литературы тех франкоязычных магрибинцев, кого марокканец Тахар Бенджеллун назвал «*поколением разрыва*», которое решительно отвергает **всякую войну народов** именно потому, что оно само, это поколение, — беспрерывно существующая мишень сведения «старых счетов» (и со стороны «своих», и «чужих» — французов)...

Мехди Шареф романизировал, на мой взгляд, одну из самых типичных и самых, увы, обычных историй, в последние десятилетия XX в. весьма распространенных во Франции, а потому и особо драматичных для общества, в котором до сих пор людям не простили того, что они «просто алжирцы»...

В этой книге, рассказавшей о трагической **гибели** от рук **расистов** молодого алжирца, родившегося во Франции, запечатлена и одна из **привычных** для общества историй, но отражен не вполне привычный взгляд на Войну, которая, собственно, и стала причиной **жизни** (а потом и смерти) человека, оказавшегося во Франции, — в стране, которую **защищал** его отец, хотя и **алжирец**, в прошлом солдат **французской** армии. Таких, как он, в Алжире, тогда колониальном, где в армии служили местные наемники, в народе не любили, считая прислужниками колонизаторов. Во время войны их просто считали предателями, расправляясь с ними при первой возможности еще более жестоко, чем с «чужими» врагами. Слово «харки» в Алжире до сих пор считается ругательством, и если речь заходит о прошлом, то говорят о ком-то из них, ныне еще живущих, чудом уцелевших (потому что в Алжире все «харки» так или иначе уничтожены, им давно отомстили), как об «изменниках». Но если кто-то из них все-таки выжил, то именно потому, что уехал из Алжира сразу же после обретения страной не-



зависимости. Тогда и покинул родину герой романа Шарефа — «харки» Аззеддин.

...В 1959 г. молодой крестьянин из далекого горного селения решил записаться в армию (французы соблазняли приличным жалованьем крестьян, практически погибавших с голоду). В тот год землю испепелило солнце, повсюду царила засуха, у скота не было корма, у людей — хлеба, и только надежда питала партизан, сражавшихся в горах, откуда к крестьянам доходили редкие вести. Да и крестьянину слово «независимость» было не очень понятно — для него главным было накормить семью, не дать умереть от голода старикам, малым братьям и сестрам, молодой жене... О *войне* он что-то узнал, только надев военную форму, взяв ружье, побывав в рейдах в других селах, услышав от соотечественников оскорбительную кличку...

И все же в армии продолжал служить. Его, деревенского жителя, поразили чистота и порядок в казарме, сытная еда. А еще здесь научили читать и писать, не всегда унижали происхождением, порой относились даже с пониманием к тому, что он воюет не на «своей» стороне. И он даже уже был готов считать своих восставших собратьев «разбойниками», не понимавшими блага, которое давали французы... Да и вообще он не записывался в армию *против кого-то*, он просто «ожесточился», обиделся на «не кормившую его больше землю», на ее «высохшее лоно». Солнце даже «спалило» речку, иссушив и ее русло, а все только и умели делать, что «молиться о дожде». Земля оставалась сухой, и даже «змеи уползли куда-то» (с. 71).

Потом, в ссылке, Аззеддин еще скажет такие горькие слова: «Это была земля, на которой можно было только подышать». Но он **предпочел жить** и своей жизнью распорядился по-своему (с. 72).

Да, он видел искаженные ненавистью лица крестьян, которые подходили к нему во время облав, в которых он участвовал как «французский солдат», грозили, проклинали

его, намекали на месть его родне... Позднее он будет «прятать свое лицо в ладонях, затыкать уши, чтобы не слышать, не вспоминать те слова, которые люди бросали ему в лицо. Он будет мечтать, чтобы память его опустошилась» (с. 109). Тогда, во время войны, от многих «харки» отрекались и жены, и дети...

Но Аззеддин упрямо возвращался в свою казарму, считал ее, как любой другой крестьянин, который в прежней жизни уезжал на заработки в город, своим «заводом», где он в конце каждой недели получал деньги, обеспечивая «своих», «облегчая их страдания» (с. 58). **И в общем не понимал, почему надо выгонять с этой земли французов**, которые платили ему, как и другим, построили везде города, проложили дороги, лечили в больницах... Главное, чего хотел Аззеддин, — чтобы выжила семья. И он заботился о родне. А когда во время облав на партизан ему приказывали стрелять и по мирным жителям, он старался не целиться в них, а еще чаще оставался в казарме на уборке или хозяйственной работе, избегая расправ с соотечественниками, которые сами линчевали «харки», если брали их в плен. Но, когда в 1962 г. пришла независимость и французы «уплывали за море», ему тоже **пришлось бежать**. Родные, словно забыв о его благодеяниях, о том, что они выжили, посчитали его врагом, предателем, позором семьи, словом — «харки»... Впереди была только Франция, солдатом которой он считался.

Вместе с ним уехала и его жена Мирием. В чужой стране пришлось нелегко, надо было заново учиться жизни, начинать все с нуля, жить в новой нищете, обживать тесные каморки в иммигрантских кварталах, искать работу, страдать от холода. Мирием долго не рожала. Потом одного за другим родила сына и дочь, на радостях написала домой, но ни ее мать, ни родня мужа не поздравили ее... «Жене предателя» не отвечали, забыв и о подарках, и о деньгах,

которые она посылала в родное селение. А муж денно и нощно трудился, чтобы снова прокормить «всех своих»...

Однажды Мирием не выдержала и уехала за море, не взяв с собой ничего, — она словно хотела замолить грех мужа и осталась навсегда там, откуда когда-то бежала. Узнав, что мать и отец уже умерли, она осталась жить на кладбище, у их могил, будто «святая», «марабутка», на подаяние тех, «кто еще мог ее пожалеть...».

В стране после войны многие из домов, где жили «харки»<sup>23</sup>, были оцеплены. Новая полиция боялась самоуправления окрестных жителей, и власти сами взялись за «специальные чистки» (с. 153), и «охота на предателей» стала на долгие годы обычным делом...

Поступок Мирием, не побоявшейся вернуться на родину, многим казался безумством. Но она сказала дочери: «Я не сошла с ума. Твой отец знает и поймет. Он часто видел, как я молилась» (с. 200). Ее жизнь на кладбище, в часовенке, где ей поставили раскладушку, стала непрерывной мольбой о прощении, и с этим смирились все.

Добровольное самозаключение в *темницу бесчестья* на родине было для Мирием, может быть, не тяжелее, чем участь, хотя и свободного, но тоже обреченного на своего рода изоляцию во Франции Аззеддина. Такие, как он, бежавшие сюда от кары на родной земле, оказались не только среди других иммигрантов, но и среди «конкурентов» на получение рабочего места. Это порой вызывало вспышки розни среди «своих» же, собратьев по вере, соотечественников. Но хуже было другое: все «харки» страшно боялись, что кто-то из них, если ему удастся вернуться на родину, может выдать остальных, рассказать о предателях, купив себе такой ценой прощение. А потому, случалось, подозревая кого-то, разделялись с ним по-своему, то есть убивали, а власти принявшей их страны усиливали репрессии

---

<sup>23</sup> Недавно был принят в Алжире, как и во Франции, закон, прекращающий унижения «харки» как «коллаборационистов». — С. П.

**против всех**, обвиняя в любых беспорядках всех магрибинцев, алжирцев — особенно...

Аззеддин, как и другие его товарищи по несчастью (а иммигранты были в этом обществе, даже несмотря на прежние «заслуги» перед Францией, людьми «второго сорта», предел возможностей которых был ограничен выбором только тяжелых профессий — чернорабочих, мусорщиков, пожарных, ассенизаторов), прекрасно понимал трагедию своей судьбы: **«Все напрасно**. Все эти годы были потрачены только на то, чтобы нас здесь признавали просто иммигрантами, как и других. Но ведь мы защищали французов! Да они и сами нас считали французскими солдатами!» (с. 165). И хотя Аззеддин всегда говорил, что душа его оставалась «не солдатской», рана обиды не затягивалась...

Иммигранты были верны своей религии, не хоронили умерших на христианских кладбищах, а если могли, то отправляли тело на родину. Для «харки» и это последнее прощание с родной землей практически было исключено. Если они как-то еще сохраняли свое «братство», то скорее по религиозным праздникам, встречаясь в мечети, или по случаю семейных торжеств. Но чаще всего это были грустные встречи в дешевом бистро на окраине, где можно было пожаловаться друг другу на печальную судьбу: они оказались не нужны стране, победы которой так искренне желали...

Для многих единственно надежной опорой теперь казалась только религия, для других все оставалось зыбким и становилось даже более угрожающим, чем прежде, — здесь поднимали голову правые партии, требовавшие реализации лозунга «Франция для французов!» (с. 191).

Аззеддина постигла новая катастрофа, самая страшная, какую он и не мог даже представить, — фашиствующие молодчики убили его сына, Селима, его надежду и гордость: его мальчик родился во Франции, закончил с отли-

чием французскую школу, был французским гражданином и вот-вот должен был стать врачом...

Селим, в отличие от отца, никогда не чувствовал себя здесь «чужим», даже не помышлял о возможности уехать, и мысль, что город, в котором он родился, *не его*, просто не приходила ему в голову. Для него красота площадей и собора Реймса была красотой *его* земли, и он гордился этим. Он не задумывался над тем, что цвет его кожи несколько темнее, чем у его товарищей, хотя и знал, что здесь, в этой прекрасной стране, таких, как он, и до сих пор многие называют *бико*, *норафами*. Он читал книги Дриса Шрайби, знал, что североафриканские эмигранты «оставили свою душу по другую сторону моря», а здесь всегда были и будут чужаками — социальными и политическими изгоями. Но Селим полагал, что принадлежал *другому* сообществу, тем, кто уже давно жил в этой стране. Ведь даже в школе, вручая ему награду за победу на конкурсе *по французскому языку*, учитель сказал: «Отныне мы должны считаться с новым поколением, выросшим во Франции, с их намерениями и целями. Это поколение приносит свежий порыв, особую vitalность в нашу старую цивилизацию...» (с. 196).

Возможно, это было сказано в насмешку, но Селим тогда верил, что так оно и есть. Пока этот мир не отверг Селима только за то, что цвет его кожи — «немного темнее». Его жестоко избили, когда он вечером возвращался домой со свидания с подругой. Он успел разглядеть какие-то «тупые и нахальные морды» (с. 27) и вспомнить слова учителя... Услышал, как ему сказали: «Если, к несчастью твоему, мы найдем у тебя французское удостоверение личности, мы сдерем с тебя шкуру! Мы терпеть не можем таких чернявых, как ты, в списке граждан нашего города! Чертов бико! Ты — бико! Им и останешься!» (с. 28). Нашли его бумаги, прочитали, заблеяли как бараны: «Бё-ёе-ёеееерр!» Потом удар ножом... Скорая помощь была уже бессильна.

Идея похоронить Селима в Алжире пришла в голову его сестре. Но ни ее, *хорошо говорившую по-арабски*, ни гроб с телом Селима алжирские таможенники в страну не пропустили.

Из родственников, узнавших о несчастье, приехала в аэропорт только бабушка, мать Аззеддина. Она рассказала девушке, что со времени независимости никто из семьи не прочел ни одного письма, отправленного ее сыном из Франции. Только делили между собой деньги, которые он присылал, и дрались из-за его подарков к праздникам... «А я так хотела, — рассказывала бабушка, — чтобы кто-нибудь послал ему весточку с родины, хоть два слова благодарности... Но они все начисто забыли о том, что остались живы только потому, что их тогда кормил твой отец...» (с. 50). Матери не нужно было прощать своего сына: она просто любила его и знала, что он, как и ее муж, его отец, воевавший на стороне французов в войне с немцами, **не имел другого выбора**, исполнял приказ и защищал свою семью (с. 58).

У матери Селима не хватило сил приехать проститься с телом сына. Она просто перестала говорить. Потеряла рассудок. Сидела молча и только, соблюдая старый обычай, расцарапывала себе в кровь лицо...

Гроб отправили обратно. Похоронили Селима на коммунальном кладбище в Реймсе — **его родном городе...**

Дочь Аззеддина продолжила учебу, готовилась работать в городской клинике. «Как знать, — думал отец, — может быть, ей повезет?» (с. 203). Он еще верил в будущее. Когда родились внуки, надеялся, что они-то здесь выживут обязательно. «**Должны выжить...**» (с. 106).

Но роман Шарефа (о котором я рассказывала здесь подробно, ибо он — **об одном из итогов**, малоизвестных, **той**, Алжирской войны) не о будущем того поколения, которому предстоит продолжить жизнь предков на чужой земле. А о Прошлом, в котором была Война. О том, что она *разделила*

даже родных людей, отбросила и своих в стан врага, а значит, стала истоком новой и «братоубийственной войны», которая уже шла в Алжире с конца 80-х гг., когда Мехди Шареф писал этот роман.

Война — это состояние **кровавого противостояния разных миров**, которое неизбежно приведет впоследствии к тяжелым «внутренним болезням» общества, обрекая его порой на продолжение кровавого конфликта уже в гражданской борьбе. (Известно, например, что не только **тысячи ни в чем не повинных людей**, но и других «представителей интеллигенции» были убиты исламистами, только за то, что они «могли говорить и писать по-французски»...<sup>24</sup>) Она разразилась в конце 80-х и длилась дольше, чем колониальная. «В Алжире сегодня легче умереть, чем писать», — сказал Мохаммед Диб, имея в виду творчество тех алжирских писателей, которые не убоились описания нового кошмара<sup>25</sup>. Их книги корифей алжирской литературы называл так: это «словно кусок плоти, вырванной писателем из своего тела, — так весомы эти слова, они словно кровоточат и болят болью своей страны»<sup>26</sup>. И тексты этих книг М. Диб называет «*боронением (scarification)*» души человека, измученного состраданием к земле, трагедию которой запечатлевает. Диб написал эти строки в тот самый момент новой кровавой истории своей страны, о жизни которой его собственный герой скажет: «Я уже не я, и земля господ Бога уже не мое убежище...»<sup>27</sup>. Эта земля, как покажет Диб, и сама стала «исчадием ада», местом, где «легионы дьявола, возникшие из адских клоак, начали свою войну» («*Si diable veut*», с. 192).

<sup>24</sup> См. подр. кн. документов, собранных Ассией Джебар: «Le blanc de l'Algérie. P., 1996.

<sup>25</sup> См., к прим., романы Р. Буджедры «La desordre des choses»; А. Джемаи «Le sable rouge»; Р. Мимуни «La malédiction» и др. О них подробно см. в наших работах: «От Сахары до Сены». М., 2001, «Разлом миров». М., 2009.

<sup>26</sup> См.: Le Nouvel Observateur, 30 oct. — 6 nov., 1996.

<sup>27</sup> Dib M. Si Diable veut. P., 1998, с. 215.

М. Диб и сам попытается воспроизвести, *материализовать* в художественных образах то наиболее подходящее, с его точки зрения, сравнение, которое он находит для *своего* ощущения от этой новой войны: он нарисует эти «дьявольские легионы» *как диких собак*, вернувшихся в горы, вой которых «останавливает дыхание, пронзает воздух, заражает и разрезает его, сотрясает все вокруг, а когда исчезают они, опустошив землю, то еще долго слышится в этой пустоши их усталый визг...» (с. 192). Он покажет, как жизнь на его родной земле «превратилась в непристойную и злую сказку, как стал отвратительным мир» (с. 219), который снова разорвали и растерзали на части сами люди этой родной ему земли.

Переключаясь с темы Запада<sup>28</sup> (пространства своего существования, где писатель жил с 1959 по 2003 гг.) на тему Востока, обращаясь к настоящему своей родины, писатель в своем романе «Если захочет дьявол» затрагивал самую болезненную для Алжира проблему. Это — общественная, политическая и религиозная смута, которую переживала страна уже с середины 80-х годов, погрузившись в 90-е гг. XX в. в пучину гражданской войны, спровоцированной и тяжелым социально-экономическим положением народа, и подъемом волны исламского интегризма, захлестнувшего и Алжир, и вспышками террора, виновниками которого были **разные** силы...

И хотя сюжет романа Дибба вполне самостоятелен, однако вся система художественных образов выстроена так, что читатель повествования о событиях, происходивших в горном крае, воспринимает их как иносказание и ощущает именно те приметы, которые соотносятся напрямую с жизнью Алжира в целом.

Примечательно и то, что и в этом романе Диб использует композиционный прием, свойственный тем его произведе-

---

<sup>28</sup> О ней см. подр. в наших работах: «Для берегов Отчизны дальней...», «Между мистралем и сирокко». М., 1996 и др.



дениям, которые были написаны в 70-е годы<sup>29</sup> и тоже были посвящены важнейшим событиям в жизни Алжира, когда страна искала *свой путь развития*. Повествование и на сей раз идет не от лица автора, которого, естественно, волнует происходящее на родине, а вложено в уста основных участников событий, наблюдающих и комментирующих их с разных точек зрения. Поэтому в романной наррации возникает некий стереоскопический эффект, мировидение обретает особую глубину и широту, ибо складывается из миропонимания *разных* персонажей, представляющих разные поколения, которых автор «сводит» в одном месте и в одно время. Но поскольку рамки романного времени достаточно тесны — события развиваются стремительно, — то ни эпическая созерцательность и философичность, ни морализаторство одних монологических секвенций, как и предельный критический аналитизм, или же, наоборот, глубокая метафоричность констатаций других, не утомляют читателя длинной чередой альтернативных дискурсов. М. Дибу как художнику важно не только не упустить ни одной краски в создаваемой им картине мира, но и разместить в ней сознание самого читателя, который и сам превращается в активного наблюдателя событий и постепенно, с помощью автора, и в их судьбу. Ибо Диб не может оставить бесстрастным никого, и внешняя нейтральность романной многоголосицы, его нарочитая полифоническая «равноправность» — лишь многослойный фундамент, на котором возникает очевидно однозначный смысл задуманного автором творения.

А оно на этот раз размещается **в высоких горах**, в далеком (и по всем приметам — берберском) селении, живущем по законам *вечного времени*. Сюда из-за моря возвращается юноша, выполняя завет умершей в эмиграции мате-

---

<sup>29</sup> Dib M. Dieu en Barbarie. P., 1970; idem. Le Maître de chasse. P., 1973 (рус. пер. «Повелитель охоты». М., 1990).

ри посетить родину, откуда их семья когда-то бежала — от нищеты, в поисках работы и счастья...

Имран, выросший в парижском предместье, на «мрачной окраине», предназначенной иммигрантам, в арабском имени которого как бы совместились схожие с понятиями «цивилизация» и «культура» корни, попадает в место, *где царит закон традиции, где истово исповедуют ислам и свято хранят свои древние обычаи и поверья.*

Старики — родственники Имрана — рады, конечно, его возвращению. И не только потому, что он, их племянник, вернул им уже позабытые черты его матери, уехавшей на чужбину. Имран для них подобен весенней ласточке — он возвратился именно тогда, когда люди, устав от долгих, **затяжных зимних холодов**, ждали, «исхлестанные ледяными ветрами», возвращения Солнца...

Исполнив особый ритуал «заклинания зимы» и воззвав к весне, они спустили с гор овчарку, повязав собаке на шею красный платок... Уже наступило время моления о дожде и священного обычая «весенней свадьбы», когда юношу и девушку должны были сочетать особым, условным браком в мавзолее местного святого (марабута). Проведя там всю ночь, на рассвете они должны принести в жертву двух голубей... Оросив их кровью огонь костра, пылавшего перед входом в гробницу, где покоился тот, которому, как считали люди, здесь поклонялись «еще до рождества самого Пророка» (с. 27), и «укротив» огонь как символ испепелявшей эту землю засухи, утолив его «жажду», люди могли надеяться на *пролитие дождя*, который и растопит снега, и напоит землю, и поможет **вернуть весну**...

«Молодым» назначили Имрана, а «весенней невестой» избрали Сафийу — самую прекрасную и чистую девушку этого края...

Правда, старейшины сомневались в том, способен ли Имран исполнить свой долг — ведь он давно не жил на

этой земле и забыл ее обычаи и законы, и даже не знал ее **языка**, «завещанного предками»...

Да и сама земля и затянувшаяся на ней **зима** приносили какие-то странные сюрпризы, *не подчиняясь ритуалу: соба́ка*, спущенная с гор с приветствием солнцу, вернулась, чего никогда не случалось ранее. И не к хозяину своему, пожертвовавшему самой храброй и боевой собакой, а на окраину селения, и не одна, а со своим **выводком**, да еще и других собак привела, и стояли они теперь, свесив свои **«синие, адские языки»**, ожидая чего-то, с хищно горящими глазами...

И доходили до жителей селения слухи, что теперь это повсюду так: ритуальные собаки, словно одичав, возвращаются в горы и пугают людей грозным видом, утратив свой прежний облик, и частенько по ночам атакуют жилища, врываются во дворы и дома...

Но пока молодежь бурлила, радуясь предстоящему празднику освящения Весны, наряжала жениха и невесту в «брачные одежды», сажала жениха на белую лошадь, и он, в развевающемся белом плаще, ехал в «священный лес» к мавзолею святого, где его должна была ждать «суженая»...

И то ли в праздничном угаре люди забыли рассказать Имрану о смысле древнего обычая, то ли надеялись, что он знает его, но сам юноша так и не понял, что предстояло ему делать, когда он оказался во тьме гробницы один на один с прекрасной Сафией...

Всю свою сознательную жизнь проживший среди сверстников-французов и своих, выросших, как и он, пусть на окраине, но Парижа, учившийся в современной европейской школе, он **привычно** приветствовал девушку, **прикоснувшись** к ней и попытавшись поцеловать ее ничего особо не значившим поцелуем... Сафия в ужасе отпрянула. Под потолком у оконца забили крыльями, теряя перья, закричали птицы, ожидавшие своей участи в клетке, упал, сверкнув, нож... Ночь прошла в попытках извиниться, в

укорах девушки, сетовавшей на то, что «жених» *не знал священных правил своего края*, стал «чужим»... И когда ворвались в этот мрак первые лучи солнца, Сафийа объяснила «жениху», что он *должен* взять нож и *зарезать* голубей. Имран с отвращением отказался, и девушка, придя в отчаяние от несвершившегося, несостоявшегося жертвоприношения, а значит, и *грядущего несчастья*, вырвалась из святилища. Сбросив свадебный наряд, она **сама** вошла в костер, вокруг которого в пляске «бесновались» люди, ожидая жертвенной крови... Ее спасет, выхватив из костра, отец, но уже *обещенную*, ибо не исполнившую волю предков, да еще и представшую перед людьми *обнаженной*...

Почти потерявшую рассудок Сафийу, проводившую теперь дни и ночи под старым деревом и бесконечно вращавшую кувшин с молоком, пахтая масло, словно пытавшуюся добыть, извлечь какой-то смысл, понять, что произошло, чем это все грозит людям, старая тетка Имрана еще старалась посватать своему племяннику. Все еще надеялась, что «можно поправить дело», — ведь Имран, считала она, был *не виноват* в том, чего не знал...

Но старый Мерзуг-хаджи уже **знал**, что произошло **непоправимое**, а странное *возвращение собак* только подтверждало, что в мире уже творится что-то необычное, и готовился к **худшему**. Тем не менее, стараясь не нарушать привычного ритма жизни, вместе со всеми жителями селения Мерзуг начал приготовления к *новому жертвоприношению* по случаю великого праздника в честь праотца всех мусульман — Ибрахима<sup>30</sup>. Все надеялись, что, залив землю новой жертвенной кровью, спасут ее от бесплодия... А женив в этот праздник Имрана на Сафийе, поправят совершенную им ошибку в святилище.

---

<sup>30</sup> Библейский Авраам. У мусульман праздник ежегодного жертвоприношения барана — в память о первом проповеднике единобожия: принося в жертву Аллаху своего сына, Ибрахим, исполняя волю Божью, был им пощажён, и ребенок был подменен ягненком (Коран, 37:107).

Но то ли ошибка была роковой, то ли Имран не стал *вестником весны*, ибо *возвратился с чужбины*, и сама родная земля не прощала ему *измены*, то ли сама природа захотела продлить свой «ледниковый период» и не возвращала весну (хотя собака и спущена была с цепи приветствовать ее **красным** платком на шее), то ли сама Весна не приняла собаку в свои чертоги и не послала людям тепла, но им так и не удалось предотвратить несчастья.

Собаки окружили селение плотным кольцом и, одурманные запахом жертвенной крови, лившейся рекой со всех дворов, где резали баранов, подступали уже к порогам домов, жутко рыча у всех заборов... Слышались первые крики о помощи, и хаджи Мерзуг уже чистил старое ружье, которое не брал в руки со времен войны за независимость... И вот наконец случилось худшее: в саду у старого дерева нашли обезглавленное тело Сафийи, потом неподалеку найдут и голову девушки. Ее, завернув по обычаю в белый саван, опустят в могилу. Имран покинет родную землю и вернется к себе — на чужбину. Старики возвратятся к обычным делам. Будут охранять свои дома. **Смотреть по вечерам на горделивые вершины родных гор, когда-то неприступные для врагов.** Будут созерцать долины, ждать, когда зазеленеют пастбища. Дождь пока так и не пролился на эту землю. Словно кровь погибшей Сафийи заменила «воду омовения» природы, так думали люди. Но наступил срок весеннего равноденствия. И хотя люди снова, как уже стало привычным, могли «ошибиться в своей надежде», все-таки в их душах жили проблески *последней надежды*: **мрак должен отступить, день — становиться длиннее...**

Вот, собственно, и вся история, поведенная нам героями Дибя. Каждый из них увидел события и определил их по-своему, пережил в них свою часть, сыграл свою роль. Но все вместе они и сложили картину жизни, ставшую художественной канвой, в ткань которой вплетены и собственно

авторские, «невидимые» нити, скрепившие **означенное** участниками происходящего символической печатью. Она волей автора, «скрытого» за последовательной цепочкой монологов персонажей, определяется *выбором ракурса* освещения событий, *последовательностью сообщений* и размышлений, *отбором деталей*, на которых концентрируется внимание героев произведения, самой *композицией* воссоздаваемого, где и характер экспозиции, и сюжетная разработка, и финальные сцены служат замыслу, обозначенному очевидно «кошунственным» изменением сакральной формулы «Если захочет Аллах», вынесенной в название романа как «**Если захочет дьявол**».

Конечно, читатель, пытаясь проникнуть в замысел автора, имеет право на множественность его расшифровок; субъективность восприятия текста естественна, и значение его — как и любого произведения — всегда шире означенного в нем. Мне же показалось, что автор, предлагая самим полифонизмом романа **пристальное** чтение его, как бы позволяет, несмотря на внешний диалогизм формы, избежать соблазна восприятия поведенного вариативно: для писателя всегда было важно, даже в самых удаленных от реальности фантазиях, в книгах, построенных на «чистом» вымысле (таких, к примеру, как «Бег по дикому берегу», «Террасы Орсоля» и др.), опереться на *однозначность* сущности задуманного, подчинить ей весь текст. А потому следование событийному ряду и психологической реакции на него разных героев произведения лишь преддверие, лишь введение в эту сущность, и здесь важно нащупать «ступени», дабы не оказаться в лабиринте смыслов. А потому позволим себе акцентировать те моменты повествования, которые кажутся важными.

Вспомним заодно, что Дибу, взявшемуся за этот роман (после «Инфанты мавра» и «поэтической» передышки<sup>31</sup>), исполнилось уже 77 лет. И, обращаясь к теме Алжира, он

---

<sup>31</sup> Имеется в виду публикация поэмы: Dib M. L'aube, Ismaël!. P., 1996.

не просто (по инерции свойственного ему «челночного» тематического движения — Запад/Восток и обратно) повернулся снова лицом к родине, но позволил себе, быть может, сказать о ней нечто большее, чем раньше. «Со временем, — как кажется одному из героев этого романа, — люди видят и понимают вещи, землю, мир, других людей как с высоты, на которой кружат только орлы» (с. 10).

Именно с *высоты* (а не с дистанции *удаления*) можно увидеть сразу и все, пронзительнее и зорче и даже гордо и мудро. Диб уже имел такое право. Он уже познал и описал «Большой дом» своей колонизованной страны, ее жаркое «африканское лето» — канун битвы за независимость, ее «жажду» и вечную память о Море — символе свободы и обновления жизни, ее надежду обрести «Город солнца» (роман «Бег по дикому берегу»), ее отчаяние и горечь несвершившихся надежд, утраченных иллюзий и ее новые попытки обустроить свою землю, уставшую от вечного ожидания *грядущего спасения*...

Живя этой верой в «мраморе снегов» чужбины, лелея мечту о залитых солнцем «террасах» родного «золотого» города, видя изгнание свое как «предательство Каина», уповая на избавление от «мрачной и холодной пустыни», простирающейся вокруг, пытаясь «дойти до оазиса», обрести источник, равновесие души и жизни, тоскуя об Отчизне на земле, даровавшей ему приют, Диб многое испытал, о многом размышлял и, казалось, обо всем уже сказал «самое главное» и в прозе, и в поэзии, и в драматургии...

Но вот еще раз вернулся к родине, запечатлел ее пейзаж, который, как и в «Пляске смерти», для художника исполнен символического смысла: высокие горы, где живут гордые люди, где царят древние поверья и священные традиции, когда-то были цитаделью восставших против власти «чужого» на этой земле, крепостью, куда не смог проникнуть враг, оплотом свободы и независимости. Сейчас там властвует *essabaa* —затяжная зима, грозящая голодом, ни-

щетой, «режет как нож стальной ветер» (с. 10), который подобен свисту пуль, как на той войне...

Именно **горы**, а не город, как в романах Р. Мимуни и Р. Буджедры, тоже запечатлевших трагедию гражданской войны в Алжире, но избравших местом свершения «беспорядка вещей» тот «топос», который исторически стал ареной **взрыва** старого мира, сокрушения его устоев и символом попытки строительства мира нового. Город **как хаос**, как смешение старого и нового, «больного» и «здорового», обреченного на смерть и сопротивляющегося ей, как в метафорических «больницах» Мимуни и Буджедры, где врачи спасают человечество от «беспорядка вещей», в котором, как в ураганном вихре, *мечутся* разбитые иллюзии и безумные надежды, новые лозунги и старые методы подавления народного гнева, религиозный фанатизм и идеологический догматизм, политический авантюризм и самоотверженное служение гуманизму, мракобесие и просвещенность, цивилизация и варварство. Город **как источник** Зла и вместилище всех «язв», но и как место их *врачевания*, возможности *избавления человека* от боли, от пороков этого, разместившегося в руинах старого, несовершенного еще мира — таким предстает театр новой войны (или старого проклятия, тяготеющего над Алжиром) в книгах Мимуни и Буджедры.

У Дибя **именно горы** избираются местом свершения **«воли дьявола»**, несмотря на их неприступность<sup>32</sup>. И ху-

---

<sup>32</sup> О том, что такое «концепт» горы для алжирцев в эпоху антиколониального сопротивления, в романе Н. Фареса «Пассажир с Запада» («Le passager de l'Occident»). Р., 1971) сказано: «Это было время, когда **уход в горы** был единственно возможным ответом... Гора была как *призыв к овладению ее вершиной*, которая вознеслась и обнажилась, словно угасший вулкан, застыла, глядя вокруг с нескрываемым презрением» (с. 106–107). В метафорике романа центрируется как сам призыв алжирской войны за независимость, призыв к отвоєванию народом своей «собственной истории», свою настоящего из плена «мертвой лавы». «Вот почему, — пишет Фарес, — жители деревни, ушедшие в горы, партизаны называли себя *муджахиддинами* — религиозными воинами, борцами за чистоту, истину веры...» (с. 108). Символ «горы» используется, как мы видели выше, и в романе М. Уари «Шакаля гора» (1981). Но, отстаивая свою «истину», оберегаемую горой, сражавшиеся за свою свободу люди теряли жизнь и отнимали ее у других. И это уже с точки зрения М. Дибя, *фундаментальное противоречие* «битвы за истину» делает образ



дожественное смещение «топоса» этой новой Войны в **высокий горный край**, из города в захолустье, в далекое «глухое» селение, поворачивает новой гранью и саму *концепцию причинности* «беспорядка вещей», во всяком случае, показывает те стороны жизни, которые большие художники еще не освещали.

Ведь «неприступность» или охранительная сила гор в культуре и литературе страны всегда оставалась символической основой, оплотом, фундаментом, на котором покоилась сама традиция жизни, сама ее суть, ее «вечные законы», передаваемые из поколения в поколение. То есть пейзажная «вершинность» на самом деле воплощала само **основание той жизни**, которое народ как бы удерживает, защищая от катаклизмов. Но вечно ли это основание? Не покрылось ли и оно трещинами под властью времени? И чем грозят они людям, пытающимся «залить» этот фундамент «жертвенной кровью»?

Вот послали собаку с красным платком на шее растопить снег, прогнать холод, вызвать весну, напоить землю. Вот собрались у костра у могилы святого, заступника (*intercesseur*), т.е. того, кто является **посредником** между людьми и Богом. Жертвенной кровью птиц хотят умиловать злых духов, удерживающих холода, помочь пролиться дождю. Молят и дух самого дождя, словно забыв о всемогуществе Аллаха, посылающего «слезы неба» на землю: «О, пролейся, Дождь! Пока не зажгли старухи похо-

---

горы в его творчестве (послевоенном) двояким. В романе «Пляска смерти» (героиня которого — партизанка, не находящая своего места в «послереволюционной» реальности, но в свое время однозначно выбравшая **«горы как возможность борьбы за идею», пренебрегавшая жизнью людей**, эту «Идею» и породивших) горы становятся «ловушкой», «могилой», «молчанием камней», «частоколом остроконечных вершин», вонзавшихся в человеческую душу, вселявших надежды, но и отнимавших **их вместе с жизнью**. Но даже если гора вместе с идеей, которую она охраняла и оберегала, пережив все, устояв во всех катаклизмах истории, и будет вечным **напоминанием** людям и о самой Идее, и о том, что люди отдавали свою жизнь за нее и их «пепел» будет еще долго стучать в сердцах потомков, все равно в сознании **живущих** навсегда останется сомнение, **что выше: человек или гора?** Это глобальное сомнение М. Диба, оставшееся с ним и в дальнейшем его творчестве, не могло не повлиять на концепцию и нового романа.

ронные факелы и не развесили их на деревьях! Пока не стали старики рыть себе могилы заскорузлыми пальцами! Пока не стали совершать молитвы, повернувшись спиной к Мекке!» (с. 128).

Можно было собраться на могиле святого и прочитать **все** суры Корана, да не осталось в селении его прямых потомков, а право на ночное бдение с чтением Священной книги имели только они: только тогда, быть может, **дождь был бы ниспослан на землю** (с. 137). Но нет теперь ни одного **прямого** потомка правоверного — вот и обеспокоены люди, предчувствуя грядущее несчастье...

И стоят старики на вершинах гор, и взывают ко всем четырем частям света, моля Всесильных духов земли и неба: «О, сделайте так, чтобы и люди, и животные досыта ели и пили! О, пролейся, Дождь! О, сжальтесь! Ведь даже мертвые жаждут в своих могилах...» (с. 137).

Конечно, как и везде в деревнях этого края, старейшины собираются под священной оливой, слушают ее «голос» — ведь в нем живет голос предка, а он успокаивал: «Мы знали уже несчастья! В жизни есть свой черед, и дни радости сменяются днями горя. Одни ниспосланы хозяином небес. Другие творит сам человек своими руками...» (с. 138).

Как и повсюду, и здесь молодежь жила предвкушением праздников. Поначалу готовилась к «весенней свадьбе», потом — к «мулуду»... Но праздник был омрачен. Традицию прервал безумный поступок Имрана, не пожелавшего **взять нож и зарезать птицу**, и Сафийи, пытавшейся **напоить жертвенный костер своей кровью**... *Традиция была нарушена*, а значит, отмщение должно было скоро прийти, и люди чувствовали, что «смерть бродит где-то рядом...» (с. 142).

Старый хаджи подумывал о том, не принести ли в жертву «черного быка» — исправить ошибку Имрана. Но посчитали достаточным предстоящее жертвоприношение баранов. И только Сафийа уже понимала бесполезность это-

го: «Мы их убиваем. А что знаем о них? Что чувствуют они, эти несчастные животные? Что переживают, когда подносят нож к их горлу? О, эти их глаза, которые смотрят на нас с самого детства... Всю нашу жизнь... Нет, небо больше не прольет своих слез над нами. Ни сейчас, и никогда» (с. 203). Она размышляла над участью несчастных животных, и собак в их числе, безжалостно спускаемых с горы зимой навстречу голоду и холоду, и вспоминала, как *сама* просила Имрана в святилище *зарезать* голубей, как молила его исполнить долг, доказать свою *сопричастность племени*. Вспомнила и *его* глаза, исполненные отвращения и гнева, вспомнила, как, обезумевшая, пыталась укротить огонь, сбросив в него свои одежды, как хлестала его пламя веткой, как надеялась «убить» огонь: «Я убью его, убью! Пусть больше никогда не запылает он, не вспыхнет нигде!» (с. 120). Она кричала тогда людям, «бесновавшимся» вокруг: «Не прикасайтесь ко мне! Я сожгу вас всех!» (с. 121). Еще секунда — и она запылала бы сама (и без того, как заметили люди, от нагой Сафийи исходило какое-то *белое сияние* — *irradiation*, похожее на свечение лунного неба). Но ей не суждено было тогда погибнуть, наоборот, она словно родилась заново и смотрела сейчас на мир уже другими глазами... Но для старейшин ее душа уже была «помутневшим зеркалом» (с. 135). И когда пришла ее смерть и Сафийю нашли обезглавленной<sup>33</sup>, то люди не знали, что и подумать: то ли **месть свершилась**, то ли девушка превратилась в ту **самую Воду**, которая **омыла мир** в час моления... (с. 224).

А потому *ее смерть*, «оросив землю», заодно и «исправив поступок Имрана», не ведавшего закон этой земли, даже приблизила надежду людей на *возрождение Жизни*...

---

<sup>33</sup> Подчеркивая эту деталь, писатель уравнивает нереальность такой «собачьей» смерти человеку (хищники могли загрызть, перегрызть горло, отъесть в конце концов голову, но не расчленить так тело, отбросив голову *в другую сторону*). В данном эпизоде практически воспроизводится типичное злодеяние террористов, в том числе и «братьев-мусульман», нападавших систематически на алжирские горные деревни и даже окраины городов и вершивших свой суд над людьми...

Так запечатлел Диб **мир традиции, удержанной в Горах**, его самосознание, его понимание окружающего, его постоянную готовность защитить и охранить себя и его постоянную беспомощность, зависимость от «злых сил», неподвластных ему, понятных постольку, поскольку позволяет издревле сложившееся представление об их могуществе... И странную пассивность людей, живущих в вечном ожидании чуда.

В противоположность этому миру Имран вырос там, где с детства воспитывают привычку *анализировать* явления окружающего и настороженно воспринимать власть всякого диктата, тем более исполненного иррациональности. Он, конечно, «их крови», «вылитый портрет» своей матери (с. 28), ее частица, а потому *должен* понять законы родной земли. Соплеменники надеялись на это, да и сам Имран пытался приобщиться к странному, давно забытому миру. Юноша поначалу показался родственникам благим предвестием тепла, жизни, которая «подрагивала под коркой льда», готовая вот-вот прорваться наружу (с. 20). А старой тетке он даже представлялся красивее, чем их святой, «инжирным деревом», чьи ягоды — «как яхонты», а сердцевиной — «как костер» (с. 34). Но люди знали и другое: тот, кто поливает инжирное дерево в одну из ночей *essabaa* — холодной, затяжной зимы, может *продлить засуху*, навлечь *суховеи* весной, и тогда «не собрать летом урожая» (с. 11). А потому настороженно следили за тем, как приживается «пришелец» Имран. «Пусть поймет, где он находится. Пусть узнает больше, чем знает сейчас» (с. 25).

Старая тетка полагала, что Импрана к ним «направили добрые духи», вдохнувшие в него решение уехать с чужбины, и благословляла порог своего дома, который переступил юноша, и верила, что от *продвижения Импрана по этой земле зависит и их жизнь на ней...* (с. 34).

Что помнил Имран? Покойная мать сумела удержать в нем свет этой земли, оставшейся и жившей в ней, ее сердце

«высотой своих гор, звучностью воздуха, жаром лета, бездонностью неба» (с. 45–46). Теперь он смотрел на все это, и у него «перехватывало дыхание». Он надеялся, что многое поймет и обретет свое место в этой жизни. Станет «похожим на них» (так хотела его мать), станет тем, кем должен был стать (с. 70), — одним из них. Перед смертью мать учила его: «Надо, чтобы люди себя идентифицировали с кем-то, знали, что они представляют собой. Иначе нет смысла человеку ни думать, ни делать что-то... Если человек не знает, **кто он** и **что он**, значит, у него нет опоры, нет ориентиров, он просто беззащитен (аисип guide, аисип repaire, on est sans défense, с. 61–62). А там, на родной стороне, и поля, и деревья, и источник должны помнить о них. Их можно погладить, напомнить о себе. И люди должны простить тех, кто уехал когда-то с родной земли. Ведь, покидая ее, они тоже слышали голос с неба, а он обещал так много, манил счастьем...» (с. 63).

Что открылось им там, на чужой стороне? Нашли ли они лучшую долю? Наверное, старый хаджи был прав: «ютились в ульях, не видя неба» (с. 25). Любили ли их там? Пожалуй, Имран был готов присоединиться к словам брата матери: **«Мир обширен. Но братства в нем нет»**. На той земле тоже не любили «чужих». А потому Имран, соглашаясь со старым хаджи, не смеялся над его уверенностью: «Нам достаточно и своей земли. И кусок хлеба, съеденный на чужбине, комком горя застрянет в горле, и вода, испитая там, покажется желчью...» (с. 33).

Они, эти странные люди, жалели тех, кто уехал когда-то, не ведая о том, что их **там** ждет. И Имран уже готов был обрести свою «здешность» — ведь здесь ничего не изменилось с тех пор, когда он ребенком ходил с матерью к источнику и запоминал дорогу...

Да и мать Имрана умерла с тяжелой мыслью о том, что смерть застала ее в изгнании и что лежать ей придется здесь, а не там, где навсегда осталась ее **тень**» (с. 62). Для

человека ее земли это значило, что там — ее духи-хранители, ее корни, а они, обрубленные, болели, и сын часто **слышал** эту боль, когда мать пела свою песню: «О розы и лавры, разросшиеся вдоль ручья! О спелость гранатов с рубинами зерен! О алые брызги плодов!...» (с. 65).

Теперь мать лежала в холодной земле, без деревьев у изголовья, в могиле, поодаль от христианских. Вокруг — только «безмолвные камни», словно «руины после катаклизма» (с. 56). И рядом где-то лежат чужие люди, с которыми она так и не нашла общий язык: так и прожила на чужбине, «слушая и не слыша», не открывая никому свой «тайный мир», мечтая только о том, что сын вернется туда, где прошла ее молодость.

«Буду, как они: жить по Солнцу, — решил Имран. — Их часы — с одним большим глазом, открывающимся утром и закрывающимся на ночь. Люди живут здесь в согласии с природой, слушаясь ее. Попробую и я ее послушать». Вот и вняв уговорам соплеменников, он облачился в белые одежды, и поехал на белой лошади в «священный лес». Ему все еще казалось, что он «слышит голос матери» и даже чувствует «ее родной запах...» (с. 57).

Однако три раза повторявшаяся «свадебная церемония» (только на третий раз, оказавшись в святилище один на один с девушкой, он должен был принести в жертву голубей) *начинала казаться «фарсом»* (с. 59). И мир, к которому, как ему думалось, он начинал привыкать, вдруг **предстал совсем «незнакомым и чужим»** (с. 67).

Его неписанные законы были непонятны; Имран ощутил себя пришельцем с другой планеты (с. 67). Во тьме мавзолея почувствовал себя «пленником». Подумал о «заговоре», сравнивал себя с «голубем в клетке», рядом с которой положили нож (с. 72), пугавший его своим холодным блеском. На какой-то миг эта «темница» наполнилась теплом приблизившейся девушки. Но и она в страхе отпрянула от

его прикосновения и показалась ему колдуньей, затащившей его, «странника», *в свою пещеру...*

Прежняя таинственность происходящего исчезла, все представлялось каким-то **бессмысленным, глупым, варварским действием**, хотя Сафийа именно его обвиняла в предательстве, называла «диким, грубым животным», совсем «лишенным разума» (с. 78).

Девушка отнеслась к отказу Имрана *зарезать* птиц как к трагедии («Ужас, ужас какой!» — все причитала она), и на какой-то миг юноша почувствовал жалость к этому несчастному существу, *верящему в могущество жертвоприношения*. Он попросил прощения, предложил ей остаться друзьями (с. 86), чем окончательно оскорбил чувства девушки, и она в «бессилии своем» замолчала. **«Решила, наверное, что сам дьявол к ней прикоснулся и сжигает ее теперь своим адским огнем»**, — подумал Имран и был недалек от истины.

А голуби все бились в клетке и кричали, и перья их носились в воздухе. И все это казалось невероятной жутью, несравнимой даже с жизнью в «адской бездне зловещего предместья», оставленного где-то в прошлом. В памяти вдруг возникла совсем другая картина: концерт в доме школьной подружки, игравшей на виолончели и вместе с друзьями исполнявшей трио Бетховена... Вспомнились звуки музыки, и решимость овладела им: он выйдет из этой темницы и скажет правду. О том, что он не знает обычаев этой земли и не сможет «пустить здесь корни». Они, его корни, — там, в другой земле, откуда он попытался вырвать себя. Но та земля — единственная, которую он знает (с. 82). А на этой — еще нет «его поступи». Он ходит и будет ходить здесь на цыпочках, а значит, он здесь — «нигде» (*nulle part*). Не *зарезать* же ему этим проклятым ножом самого себя?! (С. 85.)

Крики радости в предвкушении «убийства несчастных птиц», доносившиеся в святилище, только обостряли

странное чувство, возникшее у Имрана: ему казалось, что он находится среди призраков, которые ищут утешения у пустой могилы (в этом он был уверен) своего заступника... Он выбежал вслед за Сафией и, взбираясь по склону горы, побежал в лесную чащу. Бежал, «как из тюрьмы» (с. 113), из «проклятого места». Сбросил белый плащ, словно освобожденный от чар, пытаясь успокоить свое «кровоточащее сердце», кричал, как от боли. Его еще долго преследовал кошмар «синего пламени *адского костра*» (с. 118). И перед тем, как погрузиться в сон, ему померещились волки, обступившие его. Проснувшись, увидел на склоне горы селение, опаленное солнцем, и уже твердо знал, что уедет туда, где прошла его жизнь. «Это и есть дорога от поражения к поражению... Но надо упрямо идти по ней только **вперед**, а не **назад**, идти, пусть даже опустив голову, но главное — не оглядываться...» (с. 164). Он уже понял, что **на земле предков этот путь — невозможен**. Он и здесь навсегда — «чужой», другой (*un Autre*), и не только потому, что все здесь оказалось абсолютно *несвоим, непривычным*, даже «пронзительно странным (*d'une étrangeté immédiate*). Все было недоступным пониманию, как бы принадлежащим *царству хаоса (le regne de la confusion*, с. 70): «не собрал по памяти этот мир, не восстановил, не вспомнил», как учила мать, не понял и не стал им всем «своим». Не обрел своего здесь места и не принес им счастья, остался для них, как и все другие «изгнанники», — «уставшим от пустыни», от своей истории — «невыносимой, непредсказуемой!...» (с. 168).

И Имран теперь искал только выход из лабиринта этого ада (с. 167), который был не лучше того, из которого мечтала выбраться мать. «Как волк» в лесу, он искал дорогу и чувствовал, как росло его одиночество, как удваивалось его изгнанничество (*doublement en exil*), как росла его обреченность, его предназначенность быть вечно «чужим»... (с. 168).



Таким образом, **внедрение иного мира в мир традиции не состоялось. Закрытый, самодостаточный и обреченный «идти только назад», мир гор не позволил свершиться «идентификации», о которой мечтала мать.**

Зловещее предместье (*sinistre banlieu*) — как метонимическая проекция зловещей чужбины — оказалось более открытым, хотя и не особо гостеприимным. Однако сейчас прошедшая на той земле жизнь была наполнена только «звучками музыки», в которые Имран погружался как в прекрасный сон, вырываясь из кошмара «леса», на окраине которого **уже стояли хищные сторожевые псы, подобно солдатам на подступах к селению.**

...Надо было выбирать главное — **продолжать свой путь**, пройдя через **испытание родиной**, ее тысячелетней музыкой древних поверий, «подземным гулом» сил, которым она поклонялась, первобытным и вечным зовом ее недр, истощенных засухой. Имран словно почувствовал, как засасывает здесь человека «раскаленный песок настоящего», который медленно засыпал «песок прошлого». И это *похожее на смертельное* кружение выбуких песков рождало ощущение наступления *будущего как* уже прошедшего, и прошлого как настоящего одновременно... (с. 165). Он еще попыбует уступить просьбам стариков, поможет держать жертвенных баранов, которым старый хаджи резал горло. Тетка все приговаривала, что нельзя «отвернуться от надежды» — тогда несчастье обязательно придет (с. 153), и *новое жертвоприношение означало эту надежду*. Все ждали нового праздника, а «хищники» уже стояли у ворот. **«Старики все навязывают свой закон. Но что это за мир, где реальность трещит по всем швам и только Традиция непреклонна?!»** (с. 183).

Наступало время «ужаса». Но на вопрос Имрана, откуда «эти собаки», старики отвечали: «Ты не поймешь... Ты — не отсюда... Об этом здесь не говорят вслух...». — «О эти темные запреты!» — возмущался юноша. «Да, — отвечали

ему.— Такие мы есть и такими умрем» (с. 184). Это была правда их жизни, но он так и не понял, **зачем** нужна эта повсюду рекой льющаяся *кровь*.

...После своего восшествия на костер Сафийа словно прозрела и в глубине души тоже была уверена в правоте Имрана, не пролившего кровь голубей. Она не осуждала его побег из святилища и даже называла его теперь «князем» (с. 205). Но для Имрана и она оставалась символом «безумия этого мира», и, когда он узнал, что старики готовят им «новую свадьбу», уже твердо знал, что никогда не останется здесь: **«Разве можно жениться на безумии самой земли?»** (с. 192).

Но все уже было предопределено. Свершилась не свадьба, а гибель Сафийи. **Собаки ворвались в селение.** «Старое ружье» хаджи заговорило. На какое-то время воцарился покой. Имран уехал. «Люди бы его все равно забросали камнями, — размышлял хаджи Мерзуг. — А мы останемся здесь. Ибо нам некуда идти» (с. 22). Юноша снова встретится с музыкой. И звуками виолончели Диб как бы завершит эту печальную историю, уравновесив праздником обретаемой гармонии трагизм встречи с родной землей, покрытой мраком под всеопалющим солнцем, где *торжествует хаос*, пронизанный воем *одичавших собак*...

**Собаки** — сквозной художественный образ романа. С древнего ритуала, связанного с собакой, начинается повествование, нашествием «одичавших» собак завершается. Слухами о *разгуле собак* пропитан воздух селения, в котором происходят события.

Многозначность этого образа очевидна, хотя все подчинено единому смыслу изображаемого. Так, спущенная с горы собака — неотъемлемая часть человеческого бытия, хотя и приносимая как бы в жертву самой природе, силам, духам ее, которые должны помочь людям. Но обступившие селение *одичавшие собаки*, влекомые запахом крови жертвенных животных, словно **мстят человеку** за все содеян-

ное им, в том числе, как полагают старейшины, и за нарушенный обычай освящения весны. Причем, как отмечает хаджи Мерзуг, самое страшное в облике, а не только в хищных повадках этих собак — они полностью утратили **«человечность»**, т.е. **черты связи с человеком**. Этот, казалось бы, парадоксальный атрибут собаки — «человечность», подмеченный старым хаджи, на самом деле чрезвычайно важен для показа свершающегося как **«хаоса»**, как **«беспорядка вещей»**, как **воцарения дьявола в мире**, устои которого казались неколебимыми и вечными.

И отсутствие «красного платка» на шее вернувшейся в горы собаки — знака связи человека и природы, и настроенность хищного взгляда собак, и их едва сдерживаемая злоба, их грозные клыки и отвратительные «синие», подобные «адскому пламени», языки (с. 36), их свирепые, «нечеловеческие» глаза — всё поражало людей, привыкших к тому, что собака **живет среди них**, защищая их жилища, помогая пасти скот. А потому поначалу они заманивали собак, показавшихся бродячими, в дома, предлагали им пищу. Но *эти* собаки уже не понимали человеческого языка, в их глазах отражалась «пустота, враждебность, **превосходство дикости**»... (с. 38).

Какое-то время их называли «волками», но потом все пришли к выводу, что это **«сам дьявол принял собачий облик»**... (с. 39). Ведь эти собаки не набрасывались на домашний скот, а атаковали *человеческие жилища* и, рыча, скребли когтями по ночам двери домов (с. 176). **«Свора, сеющая террор»**, **«адские создания»** (с. 197), **«обратившиеся в зверей»** (с. 131), — так называли теперь люди тех, кто угрожал мирному краю.

О том, что земля усыпана трупами людей с перегрызенным горлом, оторванными головами<sup>34</sup>, конечностями, гово-

<sup>34</sup> То, что «отрезание голов» врагам исламистов стало **атрибутом интегристского террора**, разгулявшегося в Алжире в 90-е гг., подтверждено в книгах-свидетельствах разных алжирских писателей (историков и ученых, но особенно ярко запечатлено в сб.

рили мало и боялись разговорами «навлечь на себя эту жуть» (с. 132). Всё происходившее было вне человеческого понимания. А потому люди старались жить в прежнем ритме, по правилам, установленным издревле. И смотрели на небо, ожидая его милости, дождя. Но на небе, хотя и все чаще заволакиваемом тучами, продолжало **«сиять черное солнце»** (с. 131). Множилась боль земли, множились человеческие трупы. И люди, глядя на небо, размышляли: «Неужели благодать снизойдет на нас только ценой этих ран?» (с. 222).

Совмещая эту благодать с Дождем, омывающим землю и одновременно со «слезами неба» оплакивающим ее раны, и воду «омовения» с жертвенной кровью, люди горного края продолжали жить или в полуреальности, или в полусне, не похожем ни на правду, ни на ложь (с. 189). И если для Имрана весь этот кошмар, «словно вырванный из другого времени» (с. 190), несмотря на его **«дьявольские» атрибуты**, был напрямую связан с реальностью, то старейшин поражало другое несоответствие, несвязанность происходившего *со словами из Священной книги*.

Собаки, сбившиеся в стаи, «одичавшие», просто **вернулись к своему прошлому** и **«обрели память»** (с. 161), считал Имран. Но хаджи Мерзуг все больше убеждался в том, что собаки именно **потеряли эту память**, и все чаще вспоминал Коран, те его строки, которые подтверждали, что собаки когда-то были *стражами человека*, его веры и покоя, гарантами спасения их от посягательств гонителей: «[Одни люди] говорят, что [спящих отроков] было трое, а четвертой была собака; [другие же], строя догадки о том, чего не знают, скажут: “Пять, а шестой была собака”; а [третьи] скажут: “Семь, и восьмой была собака” (Коран, 18: 22)<sup>35</sup>.

---

рассказов Ассии Джебар «ORAN, la langue morte» («Оран, мертвый язык»). Об этом см. выше.

<sup>35</sup> Используемая в Коране христианская легенда о семи спящих отроках (эффесских) гласит о том, что юноши укрылись на горе от преследований римского императора Деция

Но, превратившись из **стража человека в его убийцу**, за что собака мстит ему? Почему не вызвала весну? Почему теперь над головами людей сияет «черное солнце», а невест одевают в саван? Так, может быть, действительно, к собакам *вернулась память* и они сами устрашают людей за то, что те *сбились с правильного пути и позволили вершиться здесь воле дьявола?*

Похоже, что **горы**, на горделивую неприступность которых смотрит Мерзуг-хаджи в надежде обрести покой и мир, сами уже давно стали обителью «дьявола», и **собаки** — это только одна из его манифестаций. Ведь и та страшная война, которая когда-то пылала в этих горах и о которой хаджи Мерзуг вспоминает, сама была похожа на *страшный катаклизм*, разлом миров. В нем шло не только освобождение одного народа, но и изгнание другого, не только разрушение старого мира, но и мучительное рождение мира нового, и новой несправедливости, и новой не-свободы, на которую обрекали тех, кто сражался с оружием в руках за свою веру. Диб уже поведал о трагедии той Войны в своих книгах «Кто помнит о море», «Пляска смерти», «Авель» и др. Но и о страшных противоречиях, возникших в новом мире, о новом в нем ожидании Мессии, Спасителя, Бога, его милости, способной избавить эту вечно страдающую и вечно жаждущую землю, писатель пытался рассказать в диалогии об Алжире 70-х годов<sup>36</sup>. Метафорическая констатация **отсутствия Бога** на этой многострадальной

(249–251), пытками и казнями принуждавшего христиан к идолопоклонству. Отроки должны были погибнуть в пещере от голода, но проснулись и спаслись через 300 с лишним лет (подробнее см.: Нестерова О. Е. Семь спящих отроков. — Мифы Народов Мира. Т. 11, с. 426–427). В мусульманской традиции «те, кто в пещере» (асхаб ал-кахф) спрятались вместе с собакой, чтобы уберечь свою веру в единого Бога. В Коране не называется точное число «тех, кто в пещере» и констатируется, что только одному Аллаху известно об этом лучше. Аят 22 (из суры 18) «Пещера», который приводится в романе Диб, предшествует аят 18, в котором о собаке сказано следующее: «Можно подумать, что они бодрствуют, но на самом деле они погрузились в сон... А их собака лежала на пороге, вытянув лапы. Если бы ты [случайно] увидел их, то бросился бы бежать прочь, уstraшенный» (Коран. М., 1995. Пер. М.-Н.О. Османова).

<sup>36</sup> Имеется в виду «Dieu en Barbarie» и «Le maitre de chasse» (1972, 1974).

земле как отсутствие обещанных «даров» обретенной свободы и независимости в новом романе Диба сменяется иносказанием о **воцарении дьявола**, повергающего эту землю в хаос и смуту нового противостояния.

Трещит по швам мир Традиции, шатаются вековые устои, но все так же продолжается война с «чужим» (на сей раз им стал «свой» же, алжирец), а потому и рушатся надежды тех, кто еще мечтал вернуться, обрести корни, свою землю и помочь ей. Она отторгала их, замыкаясь на *своих законах*, пытаясь хранить *чистоту веры* ценой нового кровопролития.

Но и превращение «своих» в «чужих» грозит еще большим кровопролитием: земля покрывается новыми ранами, которые наносят ей ее же создания. Таким образом, реальность исторического «пратекста» (война за Независимость), на который проецируется роман, как и реальность современного политического «подтекста», сопряженного с собирательным образом «собак» (нашествие исламского интегризма), как и реальность литературного «интертекста», размещающего роман Диба в русле романов о гражданской войне в Алжире, как и очевидная реальность социального и культурного «контекста» (*горное селение лишь типическая частица Алжира*), сама *реальность сущности* всего изображаемого становится основой метафизического обобщения как показа художником **торжества зла**, Иблиса<sup>37</sup>, поселившегося в мире людей, которые и сами подготовили, и сами способствовали его пришествию. И метаморфозы этого образа, как можно отметить, пронизывают всю художественную ткань произведения. И в композиции, и в основном тематическом блоке, и в персонажах романа, и в деталях пейзажа, и в самой метафоре событий.

Роман не случайно начинается с затяжных холодов: в этих краях они сами по себе уже свидетельство того, что природа — во власти «злых сил», которые и предстоит про-

---

<sup>37</sup> В мусульманской мифологии — дьявол, сатана.

гнать собаке, посланной «вызвать весну». «Злые духи» либо отступят, либо до поры до времени останутся, чтобы вредить людям. Но, так или иначе, они постоянно ждут эту возможность, «населая» окружающий мир<sup>38</sup>.

Духи, которые иногда помогают людям, — атрибут повседневности, особенно там, где древние поверья накладываются на исламские верования. Даже выросший в Европе Имран сохранил в душе какие-то смутные воспоминания о своих детских страхах. Попав в мавзолей марабута и не зная, что ему еще предстоит, он помнил о том, что святилище — «обитель невидимых» и что «они здесь — всегда и останутся до конца времен». Имран даже пытался «дешифровать их послания», «постигнуть тайну своего присутствия» (с. 46). Но, узнав о том, что ему предстоит сделать, посчитал кровопролитие *противным благодаянию* как цели обряда «весенней свадьбы». И традиция, сделавшая из него «заложника» невидимых сил, мешавших пролиться дождю, лишая его возможности выйти из святилища раньше свершения жертвоприношения, превращается в сознании возмущенного Имарана в «**дьявольскую затею**». Первые проблески солнца, означавшие, что наступило время кровавого ритуала, показали Имарану *пучком алых стрел*, вонзившихся в стены «темницы» (с. 105).

Гробница святого наполнилась для него «холодом и ужасом адской бездны», костер у входа тоже казался «**адским**» — *синим* пламенем (с. 106). На какое-то время ему почудилось даже, что гробница уподобилась **логову**, где живет волчица, и показалось, что Сафийа готовилась «к прыжку», ожидая, что юноша все-таки возьмет нож и совершит наконец, *что положено*.

<sup>38</sup> В мусульманской мифологии злые духи, одним из которых является Иблис, — джинны (см.: Коран. 18:50). В Коране, по наблюдению исследователей, часто встречается устойчивое словосочетание «люди и джинны» (*инс ва джин*), которое было распространено и в доисламскую эпоху. Двуединство противоположностей мира явного и мира скрытого, фиксируемое этим словосочетанием, может соответствовать русскому выражению *видимо-невидимо* (об этом подробнее см.: Власова О. А. Демонология в Коране и в арабской народной литературе. — Восточная демонология. М., 1998, с. 258–286).

Таким образом, в ощущениях Имрана **святилище** скорее предстает мифологической **пещерой, входом в «иной мир»**, таящим в себе не только соблазн и тайну, но и **опасность**. Здесь не просто обитают невидимые стражи этого мира, здесь еще важно знать правила поведения, которые он пытается понять, и табу, которое он нарушил, прикоснувшись к девушке<sup>39</sup>.

Не сумев соблюсти ритуал, Имран окончательно способствует «профанации» сакрального места и из обители святого превращает его в убежище «губительных сил», которых и выпускает наружу, открыв вход гробницы раньше времени. И *алые стрелы* лучей солнца, и *синие языки* пламени костра, который пылал всю ночь под *дикие* песни и пляски *бесновавшихся* людей, «жаждавших крови», — все это словно шабаш Иблиса, грозящего несчастьем.

Ужас, пережитый Сафийей, вошедшей в костер, заставляет и ее признать обычай «весенней свадьбы» **дьявольским**, а людей, смотревших на ее «бесчестье», — **бесами**. И ночь, проведенная в гробнице, показалась ей **дьявольски черной**. А пламя костра Сафийа сравнивала с их *собственной* «кровью, брызнувшей изнутри их тел, объятых дьявольской радостью» (с. 116). Тогда она сама, «сбивая огонь, пошла по углям его *адского ковра*, отчаявшись, изуверившись, ненавидя этих людей, затмевая их адский костер сиянием белизны своего обнаженного тела»<sup>40</sup> (с. 121).

Но если мир традиции<sup>41</sup>, зафиксированный в ощущениях юных героев Дибя, представляется «дьявольским», то ведь и *само появление Имрана в нем сродни посещению селения дьяволом*. С точки зрения тетушки, ее племянник — «воплощение самой красоты», он прекрасен, как их святой

<sup>39</sup> Мифологические представления о пещере подробно освещены: Топоров В.Н. Пещера. — Мифы народов мира. Т. 11. с. 311–313.

<sup>40</sup> Сафийа по-араб, «чистая».

<sup>41</sup> Старейшины — *хранители* этого мира. И даже в именах главных участников событий, деда и тетушки Имрана, как бы запечатлены их отношения с этим миром: Мерзуг (араб, *марзук*) означает «имеющий все необходимое», «не нуждающийся ни в чем», «счастливым»; Джавхар (имя тетушки) — *философ*, «монада», «драгоценность».



Сидна Юсеф (чье имя соотносится с библейским Иосифом Прекрасным). Сама она считает Имрана воплощением местного святого. Однако абсолютная «чуждость» Имрана этому миру скорее эту его «красоту» делает похожей на «холодную, безучастную ко всему» красоту дьявола<sup>42</sup>. Да и Сафийа в святилище с ужасом отступила от него, ей показалось, что он «был воплощением дьявола (с. 105). Она словно слышала чей-то голос, подсказывавший ей: «Это он, он — нечистый, предавший племя свое!» (с. 119).

Девушка предприняла попытку объяснить Иману суть происходящего, но осознание бесполезности этой затеи помогло ей точнее определить его вину: «Он думает, что, однажды уехав, можно вернуться. Вот он и принес нам несчастье» (с. 119).

**Существо из «другого» мира, несовместимое с этим.** Отторгаемый самой землей, он был тем, кто **не способен сделать ее счастливой**, оросить дождем... Таким образом, сбежав от «их поганого костра», Иман и сам оказывается в стане тех, кто творит зло, в полчище «темных ангелов», от которых пытается спастись Сафийа: «Исчадия другого мира, будьте прокляты! Прокляты! Он вошел в наш мир, и зло вместе с ним! Слуги Иблиса привели его сюда! *Иблис теперь торжествует!*» (с. 117)<sup>43</sup>.

<sup>42</sup> В романтической традиции мифологическому соблазнителю и *искусителю*, мятежному духу — сатане (дьяволу, демону) часто приписывались черты *неземной красоты*.

<sup>43</sup> Непризнание Иманом людей родной земли «своими», с нашей точки зрения, обыгрывается в романе как известный коранический мотив: среди ангелов, сотворенных из света для передачи людям вестей от Аллаха (15:8) (что можно прочитать в как бы зашифрованном имени героя романа «Иман»: он тот, кто мог бы принести свет знания и культуры из «другого» пространства и времени), был и Иблис. Его грехопадение связано с сотворением человека, которому Иблис не захотел поклониться как сотворенному из глины (7:10–11; 17–18). Назначенный Аллахом повелителем джиннов на земле, он начал сеять смуту среди них. По одному из преданий, Аллах «послал пламя истребить его, но Иблис спасся. (Об Иблисе подробнее см.: Пиотровский М.Б. Иблис. МНМ. Т. 1, с. 477–478.) И мотив своего превосходства над теми, кто создан не из «света», но из «самой земли», и мотив «пламени», в котором он должен был либо погибнуть, либо «очиститься», в романе присутствуют, что можно считать подтверждением совмещения образа Имрана с образом Иблиса. Если бы в романе был более точно указан срок пребывания Имрана в селении, то можно было с еще большей уверенностью сделать вывод о возвра-

Как бы солидаризируясь с Сафийей, автор множит приметы принадлежности Имрана к **миру зла**. Согласно преданию, Иблис живет в «нечистых местах», а *sinistre banlieu*, откуда приехал Имран, подобно «бетонному кладбищу»; «угрюмое предместье», окруженное свалками, — «инфернально» (именно так его вспоминает сам Имран).

Согласно преданию, одно из развлечений Иблиса — музыка. Именно музыка предшествует отъезду Имрана из *exil*, и она, оставшись в памяти, сопровождает его как контраст, или как контрапункт, с тем, что он видит вокруг. Не случайно и то, какую музыку слушает и слышит Имран, — трио ре мажор Бетховена «Духи». Легчайшие, летящие вверх хроматические пассажи трио прежде уносили воображение Имрана далеко за пределы мрачного мира Чужбины, а здесь — на родной земле — он вспоминал звуки «Траурного песнопения» из другой части трио, исполняя которую музыканты сумели передать слушателям «трагедию всеобщего кораблекрушения»<sup>44</sup>.

И отрицая Зло **этого** мира, Имран сам становится воплощением зла, ибо не подлежит *царству мира сего*, и, повсюду «гонимый», мятущийся, сомневающийся, он здесь, в **мире традиции**, может воплощать только «дьявольское» начало. И недаром хаджи Мерзуг *радуется*, что племянник после похорон Сафийи уехал, ведь люди, разгадав его

---

щении Имрана в селение как о «воцарении на 40 дней» среди людей перед концом света, или Страшным судом Даджжала (одного из образов Сатаны), которому это позволил сам Бог. (О Даджжале подробнее см.: М.П. Даджжал. — МНМ. Т. I, с. 346–347.)

<sup>44</sup> Название «Духи» не принадлежит самому Бетховену. Это трио посвящено им австрийской принцессе, потерявшей сына на войне с Наполеоном, и как бы «возвращает», воскрешает мир ушедшего и наполнено звуками-призраками и одновременно видениями смерти, гибели, разрушения (ремарка С. Н. Прожогина).

Как отмечают исследователи, одним из источников представлений о духах как «божествах зла» является **страх** человека перед неподвластными ему силами. Но духи, которые входят в «каждую вещь этого мира», сопровождают и человека всю жизнь, становясь как бы *частью его самого*, хотя могут оставаться в мире и после его смерти. (Подробнее см.: Токарев С. А. Духи. — МНМ. Т. I, с. 413.)

«дьявольскую суть, останься он здесь, забросали бы его камнями...» (с. 225). Ибо он был не из этого мира<sup>45</sup>.

Но и **родная земля** — источник «дьявольских» порождений. Напоминающие о Боге, но уже неподвластные ему и сеющие зло и несчастье *собаки с синими языками* — само подтверждение власти дьявола в этом мире. Мифологические бесы, обретающие личину «*псоглавцев*»<sup>46</sup>, мусульманский Иблис, питающийся «тем, что приносят в жертву», *адская пасть*, в которой могут исчезнуть люди, — все «дьявольские» черты обобщены в этом образе, предвестнике и знаке творящегося в селении шабаша, временами схожего и с апокалипсисом, признаки которого не только в «засухе», но и в крещендо **страшного рассвета**, «**похожего на закат**», когда восходило над землей «солнце траура», которое, думали люди, будет сиять здесь «до конца дней...» (с. 119). Но пока не свершился Божий суд, «безводность», «бесслезность», «безжалостность» неба, затяжные холода, сменившиеся зноем засухи, пришествие на эту землю нечто «бесовского» и в облике «чужого» человека, и в облике собаки (сочетание антропоморфного и териоморфного, также «бесовский» атрибут) — все в романе призвано свидетельствовать о *дьявольском разгуле*.

Даже «чистая весенняя невеста», ставшая жертвой пришествия дьявола, поняв *бесовскую* сущность жертвоприношения, отгадав *дьявольскую* затею людей, возжелав укротить их *адский костер* (с. 133), **сама**, как бы *заглянув в глаза* злым духам, становится частью сил, несущих разрушение этому миру. Не случайно обезумевшая Сафийа, бесконечно пахтающая масло, сидит под старой **смоковницей**, ведя бесконечный разговор с деревом, под которым, по преда-

<sup>45</sup> В мусульманском обиходе есть формула: «Прибегаю к Аллаху от шайтана (сатаны), побиваемого камнями». Она восходит к легенде о том, как праотец арабов и евреев Ибрахим камнями прогнал дьявола из Мекки, см.: Ибрахим. — МНМ. Т. I, с. 474–478).

<sup>46</sup> Подробнее см.: Аверинцев С. С. Бесы. — Мифы народов мира. Т. I, с. 169–170.

нию, сам дьявол искушал человека...<sup>47</sup>. Поэтому неудивительно, что, хороня растерзанную собаками (или людьми?) Сафийу, ее соплеменники обращаются с молитвой не к Аллаху, а к Иблису: «Пожар Солнца ее спалил. О Иблис! Утоли его жажду!» (с. 134).

Если «вчитаться» в смысл этой страшной инверсии — не Небо утоляет жажду земли, не Аллах посылает **благодатный** дождь<sup>48</sup>, но именно **кровь человеческой жертвы** утоляет жажду Солнца, — то более точного свидетельства *торжества воли дьявола искать не стоит*.

Преображая атрибут средиземноморской топики, ее **соллярный** знак в знамение несчастья, уподобляя его, соединяя его с Иблисом, Диб словно гасит свет небесный, уводит его с этой земли, тем самым показывая, что Всемогуший *забыл* о ней.

Воцарению **мрака Ночи**, а не света солнца способствует и «весенняя невеста»: войдя в костер обнаженной, показав свое тело бесновавшимся у костра людям, она «как бы отдала его в руки тех, кто обмывает мертвых», и первой — своей символической смертью, означенной крушением веры, несоблюдением обычая, прикосновением к себе, пусть только взглядом, «чужого», — уже «заставила засиять ночь посреди дня» (с. 134), так показалось старейшинам...

Как долго будет царить здесь эта Ночь? Как долго будет свершаться месть за всеобщее заблуждение (ошиблись люди надеждой; ошибся Имран, нарушив дистанцию пространства и времени, отделенных, как оказалось, от него

---

<sup>47</sup> По наблюдению О. А. Власовой, в этимологии арабского имени дьявола (Иблис) не только искаженный греческий вариант *диаболоса*. В сходных арабских трехсложных корня (**б-л-с**) исследователь выявляет слово *баласун*, означающее на йеменском диалекте «фиговое дерево», т.е. библейскую «смоковницу». Именно в Йемене, по преданию, в стране царицы Савской, находился легендарный рай (Аден/Эдем). В Коране также есть упоминание, что Адам был искушен Иблисом у одного из райских деревьев, возможно и смоковницы. Согласно древним поверьям, злой дух также мог обитать в деревьях. См.: Власова О. А. Демонология в Коране..., с. 228.

<sup>48</sup> Известно, что дождь может быть и **неблагодатным**, а **карой**, **наказанием**. Так, ангелы, посланные к «грешному народу», призваны Аллахом «наслать [на людей дождь] из комьев жесткой глины» (Коран, 51:31–33).

границей чуждости; ошиблась его мать, помнившая о **своих** корнях и забыв о том, что корни сына уже на чужбине; ошиблась Сафийа, поддавшись чарам «князя», оказавшегося дьяволом, нарушившим ее «завет с миром», где ей предстояло жить, а не умирать; ошиблись **одичавшие** собаки, вернувшись в селение мстить «своим»; ошиблась природа, задержав холода, не согрев землю<sup>49</sup>)? Откроет ли наконец Аллах «врата благоденствия» (7:96)? Или только сами люди, взявшись за старые ружья, могут прогнать дьявола со своей земли?

Люди этого края знают, что, «прежде чем угаснуть, пламя свечи разгорается вновь» (с. 15). Так, может быть, действительно, и «силы дьявола иссякнут», и безволие людей сменится новой вспышкой надежды, и весна придет когда-нибудь в свой обычный срок? Для всего есть свое время...

Но все так же стоят старики на вершинах своих гор и вызывают к дождю; старухи в черных шaliaх зарывают камни в землю, «хороня злых духов...». *Un mystère, un jeu sans pot* (с. 126). Но пока совершается эта мистерия, эта «игра» с силами *земными и небесными*<sup>50</sup>, у которой «нет имени», ибо она понятна только им, этим людям, Зло все еще правит их миром, «безумие разносит свои бациллы, отравляя всё вокруг» (с. 130). И всеопалюющее Солнце<sup>51</sup> по-прежнему усиливает свой зной и, словно сорвавшись с це-

<sup>49</sup> «Птицы падают замертво, куры не несутся, молоко киснет» (с. 15), — жалуются жители селения, голодающие, готовящиеся к неурожаю, пораженные страхом ожидания худшего...

<sup>50</sup> Как отмечает С. А. Токарев, боги в мифологическом сознании совмещаются со значением удачи, счастья, благоденствия. Связываясь в представлении с образом владыки неба или же являясь «сублиматом образа отца» (по Фрейдю), боги могут быть (по Дюркгейму) и олицетворением социальных сил, действующих на человека, но непонятных ему. (См.: Мифы народов мира. Т. I, с. 177.) И действительно парадоксально, что, *опираясь на Традицию*, вызывая «вернуться к истокам», к «чистоте» исламского Вероучения, интегралы вершили в Алжире уму не постижимое зло, сея страх и ужас, убивая людей, «неугодных» Аллаху...

<sup>51</sup> Об «афелических» и «перигелических» солярных мотивах в литературе магрибинцев подробнее см. гл. «“Эклиптика” солярных мотивов...» в кн.: Прожогина С. В. От Сахары до Сены. М., 2001.

пи<sup>52</sup>, кружится в вышине, *будто пьяное от гнева*, как *обезумевший зверь*, не знающий, «на кого наброситься и как укротить свою ярость» (с. 130)<sup>53</sup>.

Но Человек, собирая силы, копя **свой гнев**, быть может, **разгонит мрак**, искоренит зло и исполнит волю Аллаха, открыв двери своих сердец только добру (с. 201)?

Исполнится ли и на этой земле древнее пророчество: «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы»?<sup>54</sup>

Событийный ряд романа и вся его образная система свидетельствуют скорее о том, что гнев небес уравнивается с властью дьявола, *торжествующего здесь свою победу*. Да и само название романа словно совместило в одной, изначально сакральной формуле двуединство *кары небесной* и *дьявольской воли* как игры темных сил самой земли...

Но есть еще на земле и **Человек**. И если захочет он...

---

<sup>52</sup> Сравнивая *солнце с собакой*, Диб еще раз подчеркивает связь символического образа романа с «безумной яростью» фанатиков-исламистов и террором в целом как явлением общественно-политической жизни страны.

<sup>53</sup> Интерпретация «ярости солнца» может, однако, базироваться и на древнем представлении, фиксируемом в монотеистских религиях о **двуедином начале властителя неба**, соединяющем в нем добро и зло одновременно. И если в христианской и мусульманской религиях сатана — как зло — отпадает от Бога (будучи его порождением), то в мистике иудаизма гнев и ярость — атрибуты Яхве, составляющие его божественную «всеполноту», что открывает возможность для интерпретации сатаны (дьявола) как **лицетворения гнева Божьего** (об этом подробнее см.: Аверинцев С. С. Сатана. — Мифы народов мира. Т. II. с. 412).

В магрибинской соляной топике, используемой Дибом, как было отмечено выше, также возможно совмещение света и тьмы в образе Солнца, от которого зависит и благодать (тепло), и зло (испепеление жизни на земле), и даже превращение солнечного света в сияние льда, снега как атрибута холода чужбины. И в этом романе «двуединство Солнца» показано М. Дибом как игра «света и тени», озарения и иллюзии заблуждения: «Свет в этой стране принимает зачастую облик человеческого, но и порождает тень человека. Хотя часто создает иллюзию присутствия этого человека. И тени его тоже. И тень может сама превратиться в человека и даже отбросить свет на него» (с. 178). Но двуединство Солнца, которое писатель сравнивает и с «яростной собакой», проецируется и на сам образ собаки: это и исчадие «тьмы» («пасти ее терзают»), и посредник между человеком и весной, и страж его Веры (в исторической памяти человека). Двуединство собаки зафиксировано и в Коране, где в суре 18 («Пещера») о ней говорится как о существе, охраняющем человека на его праведном пути, а в суре 7 («Ограды») — как о дьявольском «подобии»: «И подобен он псу: если ты замаяхнешся на него, он огрызается; и если оставишь его в покое, тоже огрызается» (7:176).

<sup>54</sup> Послание Иакова. Библия, 1:17.

Пока старики лишь удивляются, **глядя на горы**: «Как же мы все еще живы? После всей этой пролитой крови?» (с. 201).

Да и холод, свирепствовавший в селении, покрыл землю «коркой льда, как панцирем» (с. 7), потом холод сменила жара, испепелившая все вокруг, и земля покрылась «язвами, будто изъеденная проказой» (с. 140)...

Жизнь продолжала «крутить и вертеть» людей, когда-то выигравших свою битву за независимость и свободу, хотя теперь оказалось, что этого мало: «Теперь надо еще отстаивать и право на кусок хлеба...» (с. 8).

Но **люди учились у орлов** — набирать высоту и смотреть сверху на свою землю (с. 9).

Пытались **«сплотиться с горами»**, чтобы выстоять (с. 11).

Пытались научить забывших о «благочестии» любви к ближнему (с. 12).

Мечтали о том, что еще раз выведут свои стада на зеленые пастбища (с. 16).

Прислушиваясь к **рокоу гор, ждали, «когда хребты обнажатся от снега»** (с. 17). Взывали к «детям света», которые должны прилететь на крыльях весеннего ветра, чтобы сеять надежду (с. 18). И знали, что **«нет такой ночи, которая не привела бы за собой день»** (с. 16). И ждали дня, когда солнце умирает, **чтобы родиться заново**, а ведь вместе с ним *«умирает один мир и рождается другой...»* (с. 227).

Этого *хотел человек* этой земли. Хотя и знал, что ни о чем и никогда нельзя говорить, заводя речь *о будущем*, не добавив: *«Если захочет Аллах...»* (18: 24).

Но надеясь на Всемогущего, Мерзуг-хаджи все-таки держит наготове ружье и даже достает старую *партизанскую форму* и сапоги... Вспомнит рассвирепевшие орды военных, которые 40 лет назад ловили в горах повстанцев. У него *на всякий случай* еще где-то был спрятан пулемет. Те-

перь-то он знает, что не будет застигнут врасплох *дикими собаками*. Он готов **сражаться с ними...** (с. 109).

Так захотел М. Диб. И этот роман его, как и всегда, выпустил свет Надежды.

[Алжир того периода, по свидетельствам очевидцев, — это страна «сияющего солнца», над которой вдруг опустилась «ночь человечества», снизошло «царство мрака и непереносимого болезненного страха, паники, которая врывалась в жизнь как возникающий ниоткуда хищник»<sup>55</sup>. Жизнь там текла «нормально» и в то же время каждый человек проводил свои дни на *краю пропасти*, где «приговорены к гибели все законы, все запреты цивилизации и просто всякое воспоминание о человеческом сосуществовании». Власть имела «оттенок тоталитаризма», «коррупцирована», тормозила демократию и в то же время пыталась помочь ей родиться «с решимостью, в которой много путаницы и бессмыслицы, хотя на исламской земле и такая решимость беспрецедентна...». «Двойная жизнь» — и городов, и сел Алжира — вносила смятение в души людей больше, чем любой откровенный контраст. Хотя постепенно власть начинала открыто признавать, что долгие годы сама прибегала к насилию, сажала в тюрьмы всех без разбора «по первому подозрению», — так вела свою борьбу с терроризмом, с теми, кто мстил за социальные противоречия и контрасты, кто винил во всем «демократию», кто во имя Божье «приносил в жертву тех, кого провозглашали неверующими» — интеллигенцию, особенно учителей, журналистов, писателей, библиотекарей... «Им недостаточно отрубить голову неверному, они режут ему горло, сжигают голову или запихивают ее в пластмассовый мешок и затем подбрасывают к дверям школ». Это правила свой суд «держава ночи». А когда возвращалось утро и воцарялась «держава дня», жизнь текла «нормально». Люди, со-

---

<sup>55</sup> Спинелли Б. Репортаж из Алжира. — Русская мысль. 1998. № 4216 (апрель). Далее — цитаты из этой работы.



противляясь мраку, пытались продолжать смотреть на мир через запрещенные интегристами спутниковые антенны, учиться, работать, женщины пытались выходить на улицу с непокрытыми головами и открытыми лицами, пытались сохранить независимость от запретов интегристов, от их **антиличностного псевдобогословия**. Сопротивлялись **нашествию мрака** и те, кто слушал музыку, кто устраивал свадьбы и кто занимался художественным творчеством, защищал личную жизнь от «прихотей мусульманских эмиров», для которых понятия личностной свободы и независимости не существуют вовсе.

Но борьба шла и внутри сил, правящих жизнью общества: политизированный ислам, партийный тоталитаризм (партия Фронт национального освобождения все еще единственно могучая в стране партия), «по-прежнему путали религию с государственным устройством»...

Алжирский философ и ученый, экс-премьер, Реда Малек полагал, что гражданское население сопротивлялось исламским фанатикам, потому что они «присвоили религию только себе, сделали своей монополией». И в конце концов **ислам в сознании простых людей неизбежно сливался с терроризмом**. А пока Исламскому верховному совету поручалось проверить, правда ли, что женщины разрубали на куски детей, а вырванных из чрева зародышей швыряли в печи». Мир еще не признал деяния алжирских интегристов преступлениями против человечества. И до сих пор еще власти пытаются отнять оружие у «групп самозащиты», возникающих в горных селах, чтобы защититься от насилия... С терроризмом в стране всерьез бороться было некому. Не было даже государственной программы защиты населения. Возможно, что это кому-то казалось проблемой морально-философской — защищать людей, *живущих в постоянном страхе*... Поэтому люди сопротивлялись, как могли, сами, стойчески противясь наступлению полного мрака».]

Но Новый день рождался в Алжире неотвратимо, как и повсюду в мире. Не об этом ли говорил пророк Исайа, вспоминая ответ стражника, у которого всадники узнавали о том, «какое время ночи». «Сколько ночи?» — спросили они. И он отвечает: «Приближается утро. Но еще ночь» (Ис. 21, 11).

В этой «ночи» — Война. И новая, и эхо старой, которая сама когда-то была борьбой с мраком угнетения, насилия, несвободы. Но и возвращенная той войной народу свобода породила своих «чудовищ». И снова воевали люди, проливали кровь, **разгоняя мрак**. Как в «Фаусте» Гёте: похоже, что земля и здесь, в Алжире, «вращается со скоростью необычайной // И то залется светом райским, //то в мрак погрузится ужасный...». Но разные поколения писателей, на который вот уже более полвека ориентируемся мы, комментируют, интерпретируют, пытаются понять окружающий и предшествующий мир во имя того, чтобы **приблизить утро**, а вместе с ним и **новый день**, который и должен родить **н о в ы й м и р**, тот, который, конечно, лучше старого... Без войн и насилия.

## Глава 7

### ГОРЫ КАК НАПОМИНАНИЕ ОБ ИДЕАЛАХ ОСВОБОЖДЕНИЯ И КАК ПРОСТРАНСТВО ПОИСКА НОВЫХ ГОРИЗОНТОВ

Конечно, и сегодня Прошлое по-своему продолжает стучаться в двери Настоящего, поправляя или меняя его новые ориентиры. И даже заставляет искать в нем следы Будущего...

Во многом гражданская война, разразившаяся в Алжире в конце 80-х гг., больно ударила по чаяниям народа, родившимся в нелегкой борьбе за Свободу. Однако Прошлое, словно постоянно напоминало о том, что когда-то здесь, в Алжире, изгоняя чужеземцев с родной земли, люди хотели построить Новый мир, *не похожий на прежний*, и если не сбылись идеалы той, великой антиколониальной битвы, перевернувшей судьбы *разных* людей и народов, живших на этой земле, то это не значит, что должны погибнуть эти идеалы. Наоборот, как свидетельствуют писатели уже в XXI в., они ушли в *бессмертье*, став, как Неджда, вечным символом Сопротивления народа, его противостояния *плению* своей Жизни, своей Земли, символом его **неумирающей Надежды**. И об этом напишет Ассия Джебар в своем романе «Женщина непохороненная»<sup>1</sup>. Его героиня — Зулика, — одна из тех, отдавших жизнь за Свободу Алжира, о которой в народе и до сих пор живут легенды. **Уйдя в горы, к партизанам**, сорокадвухлетняя женщина, в самый разгар Алжирской войны, оставив малолетних детей на попечение родных и знакомых, она два года, не зная усталости, выполняла роль связной, одевшись старой крестьян-

---

<sup>1</sup> Djebbar A. La femme sans sépulture. P., 2002.

ской, снабжала свой партизанский отряд медикаментами, одеждой, пропитанием, собирала деньги среди сельчан и горожан, нужные сражавшимся для покупки оружия... Но напав на след партизан, разгромив их укрытие, французы ее арестовали, зверски пытали, потом «вывели из леса напоказ» жителям ее родного горного селения, погрузили в вертолет, и она как бы вначале «исчезла», «растворилась в небе»... Потом ее растерзанное тело сбросили с высоты поднебесья на землю... Но она осталась жить в памяти тех, кто знал и помнил ее удивительную, полную отваги и надежд жизнь, кто и много лет спустя после Независимости не хочет забыть о подвиге той, кто пожертвовала собой во имя свободы других. Вспоминая о матери, о ее не всегда счастливой судьбе, ее дочери будут рассказывать Автору повествования о Героине уже далеких, но «пламенных лет» современной Алжирской Истории, о теплоте ее рук, ее заботе, ее любви к своим детям, о ее сострадании к несчастным и обездоленным... Другие люди расскажут о том, как она любила Жизнь, как жаждала Любви, как не убоялась выйти три раза замуж, в поисках Того, Единственного, кто разделит бы ее веру в человеческую солидарность, в необходимость защиты прав и свобод тех, кто помог защитить Свободу Европы от ига фашизма...

Третьи вспомнят о том, что выйти на дорогу Знания помог ее Отец, учитель медресе, сам знавший цену просвещения народа. Стать независимой и гордой своим *алжирским происхождением* уже тогда, когда еще вокруг царило «колониальное рабство», когда алжирке, женщине, учиться во французской школе было не только редкостью, но и равно тому, что ухватиться за перо жар-птицы, «поймать» великое счастье нового знания, *не стесняться* своей обретенной похожести на «европеек», открыть лицо, сбросить традиционную вуаль, закрывавшую его, — Зулике удалось уже в 15 лет, когда она получила свой аттестат об образо-

вании... И уже в 16 — она **сама сделала свой выбор**: ее мужем стал тот, кого она полюбила **сама...**

Смуцавшая людей своей открытостью, своей независимостью, своей *«нетрадиционностью»*, Зулика одновременно и восхищала их, ибо в ней словно *светилось* само Будущее... Но ее «марш к личной свободе» для нее самой значил только обретение возможности распоряжаться своим личным выбором — **собственной судьбы**. И когда один муж «исчез» где-то в эмиграции, уехав в метрополию, а другой — офицер французской армии, хотя и алжирец, не разделил с ней ее возмущения кровавой расправой над теми, кто вышел 8 мая 1945 требовать *Свободы и для себя*, для своего народа, жившего на *своей* земле, но не владевшего ей, Зулика оставила и его, но сохранила **свой взгляд** на окружающий ее мир. Она уже тогда решила, что будет идти вперед только по той дороге, на которую уже выходила и ее страна, требовавшая Независимости. И когда ей встретился человек — уже немолодой, даже называвший ее «дочь моя», но побывавший там, где уже бушевал «ветер перемен» — в Египте и Сирии, и привезший оттуда идеи «арабского национализма», связывая с ними необходимость борьбы за Свободу, против колонизаторов, Зулика полюбила его как своего истинного Проводника в Новую Жизнь. И когда его расстреляют, она, склонившись над телом мужа, обмакнув пальцы в его кровь на груди, сожмет их в кулак и поклянется служить делу освобождения *своего народа*. Ее не смутит то, что придется снова надеть покрывало женщин-мусульманок, закрыть лицо, стать *как все*, и ходить из селения в селение, разбив до крови ноги, **помогая партизанам в горах...** Главное — она Твердо Знала Цель, которая освещала ее новый путь, и верила в их всеобщую Победу. И на этом пути ей встретятся замечательные люди, которые отдадут ей свое тепло, свою поддержку, окажут реальную помощь ее *Делу...* И ее *лучезарное присутствие* среди них останется с ними навечно. Будет плыть, как сия-

ние над древней столицей этой земли — *Цезареей*, где жила она, где живут ее дочери, откуда родом и сама Автор романа...

Главное — не *неизвестность* места, где или *закопали* ее, найдя, убитую, партизаны, или солдаты оставили *гнить заживо*, на солнце, или в темном лесу, куда сбросили его, разбив на куски, «на съедение шакалам», с вертолета французы; не скорбь тех, кто не знает, *где* воздвигнуть обелиск или памятник Ей, ее Подвигу, — главное, что она не забыта, даже во время «*всеобщего оцепенения*» и погружения в «*Забвение Прошлого*» в самое страшное Время в Истории всех народов...

Когда-то Мохаммед Диб в своем романе «Пляска смерти», написанном почти сразу после Независимости, но уже осозная, что плоды ее достались **не тем, кто за нее сражался**, но тем, кто сумел *воспользоваться* Свободой *для себя*, показал печальную участь своей Арфии — тоже бывшей, теперь **всеми забытой** партизанки, связной, проводницы, героически сражавшейся в горах с превосходившей во всем силой Армией Противника. Но в отличие от Зулики, образ которой воссоздан А. Джеббар уже на исходе новой — гражданской — войны, Арфию попытались **заставить** людей *забыть*, придать **полному** «исчезновению» не только из *памяти народа*, но **из самой жизни**: о ее существовании не знает, не хочет знать **никто**, и она, обреченная на забвение, нищету, *самосокрытие* свое от людей, становится символом *ненужности (ибо неоправданности)* ее **Жертвы**, ее беззаветного подвига (как и многих тысяч других женщин Алжира) в войне миров, оказавшейся *никому не нужной* (ибо не реализовавшей искомые Идеалы Борьбы за Свободу)... **Время утраты иллюзий** после обретения Независимости, в которое писал М. Диб, и **время оцепенения**, наставшее в Алжире и накануне, и после **нового кровопролития** стало для писателей самым точным историческим **Временем необходимости напоминания о**

подвиге народа, о легендарных героях, символах самого Восстания страны, олицетворении ее Надежды, воплощением ее материнской заботы о Будущем своих детей.

Возможно поэтому для А. Джеббар так важно окружить эту свою героиню не только *всенародной Любовью*, несмыслюющей все *краски прошлой жизни*, удерживающей их в глубине всеобщей Памяти о Героине, но и ореолом *загадки*, некоей тайны, связанной с поисками ее захоронения...

Могилау ее хотят отыскать не только ее дети, ее подруги, ее соратники и соратницы по борьбе, ее хочет *отыскать* как бы **весь Алжир**, чтобы *воздвигнуть*, осветив высшим Светом — Истины, Правды о Своей Истории, — гробницу, «мавзолей», увековечив, оставив *навсегда как* Памятник Освобождению... Подобно тому, древнему Мавзолею, который возвышается в ее родной Цезарее над чьей-то могилой, оставшейся с античных времен, когда на этой земле было много чужих господ, — и египтян, и греков, и римлян, — но названной в народе — «могилой христианки»: в «тайном знаке», похожем на крест на чьем-то надгробии, по форме купола своего должного принадлежать захоронению Женщины, возможно, виделась людям и первая *мученица новой религии*, тогда овладевавшей миром... Но нужна ли сама могила, как место *точного* захоронения (или гибели?) Зулики? Необходима ли так «разгадка» тайны ее смерти? (Ведь в своем постсмертном монологе, как бы «услышанном» Автором романа, сама героиня приводит еще одну версию своей смерти: после пыток и истязаний солдаты выставили ее тело на «обозрение» односельчан как *назидание* за их *непокорность*, за их *войну*... И какой-то оставшийся в живых молодой партизан, почти уже потерявший рассудок от лишений, скитаний в горах, от *страха*, **унес** ее останки, уже почти *неподъемные, распухшие*, горевшие изнутри «огнем всепожиравшей смерти», в глухой лес и где-то закопал, *сам уже не помня, где...*). Нужна ли эта могила тем, кто сейчас только *начинает жить*, кто хочет помнить

только «о Солнце» и «о Море», кто хочет наслаждаться Свободой обретения Тишины после всех этих залпов давно и недавно отгремевших Войн?..

Может быть и неслучайно, что эта *могила*, это захоронение *героини* (как символа Борьбы за Свободу) остается где-то в *неизвестности*: ведь это — сама вероятность ее нахождения как бы «*повсюду*», т.е. на той Земле, где **должны помнить о Ней**, отдавшей свою жизнь за ее Свободу...

И неважно уже, сбылись ее Идеалы или нет, главное — **они не должны умирать**. Без них, как без Света, только Ночь, только Мрак Жизни, только Страх, погружающий в *Забвение*, в *Оцепенелость*, а значит и в тот самый *Сон*, который способен породить «кошмар», «чудовищ», вернуть отзвуки Зла в спящее сознание Человека. А для Ассии Джебар всегда именно краски *рассвета, алой утренней зари*, предвестницы Нового и Светлого дня очень важны как для художника, рисующего Жизнь. И она наполняет и этот образ — своей героини-партизанки (любившей в молодости *яркие* платья и даже в смертельных мучениях своих «излучавшей Свет»), и образы окружавших ее соотечественниц, и образы родного ей края, его моря, его неба, его гор, его долин особым сиянием живых, **радостных красок**. И даже наряд чьей-то невесты, посвящающей седьмой день *своего* праздника вступления в Новую жизнь Зулике, *навсегда* уходящей на Войну, на *встречу со смертью*, А. Джебар сделает **красным**. И в отблесках этого «красного» цвета наряда Невесты и Костра сидели и пели *Праздничную Песнь* женщины родного автору Селения, прощаясь с Зуликой, уходившей *воевать* (все знали, что «явки» ее выдали предатели, но добрые люди помогли ей скрыться, уйти в горы, в грот, где нашел свое прибежище партизанский отряд)... И отзвуки этого пения — старинного свадебного гимна в честь **Молодой Жизни**, — словно слышатся и сейчас над древней Цезареей, где когда-то, по преданию, правила дочь самой Клеопатры... Не только в рассказах отваж-



ных соотечественниц, хранящих в памяти образ Партизанки, и не только в воспоминаниях ее детей. Древний берберский напев словно слился, навеки застыв, с античной мозаикой цезарейских руин, где запечатлен образ того, кто захотел *преодолеть саму Смерть*, приковав себя цепями к мачте корабля, залив воском уши своих гребцов, но услышав прекрасное пение Сирен, звавшее в вечность... Здесь, в алжирской Цезарее, как-то по-особому воспринимались теперь эти мерцающие камешки, сложившиеся в изображения трех *женщин-птиц* (а не *подводных волшебниц*), готовых и *улететь и унести в небо того, кто оцепенеет*, услышав их, *забыв о Жизни...* Автор, оставляя свою героиню «*sans sepulture*», «*незахороненной*», «*без погребения*», в безвестности местонахождения *ее тела*, словно заполняет все пространство своей родной земли, моря и неба, окружавшее ее, этим *вечным пением Жизни*, волшебными звуками ее, ее красками, оставляя Своему народу **вечную память** о той, которой суждено было **преодолеть саму Смерть...**

«Все, что я написала, все эти слова, которые я слышала, — всё словно по каплям крови, стекло с моих пальцев на чистый лист бумаги... Как долго скованы были они!.. Как тот, греческий герой, захотевший услышать **один**, несмотря ни на что, дивную музыку... И его корабль проплыл **мимо Смерти...** Но и я не хочу остаться одна со своим знанием, с той музыкой, которую слышала я. А потому я расковала свои пальцы и выпустила, как птицу, свою Зулику, ее образ, ее голос, ее живое дыхание. И это не мое волшебство, это власть правды, чистой, как сверкающая белизна мрамора тех надгробных статуй, которые внезапно возникают на раскопках руин прошлого, в которое они были погребены...» (с. 219).

**Вернув правду** об одной из многих тысяч героинь этого Прошлого, ушедших в бессмертье, А. Джебар воздвигла

свою, особую стелу «мученикам»<sup>2</sup>, отдавшим Жизнь за Свободу Алжира...

И хотя прошло немало лет, и вот уже и начало XXI в., но снова выходит книга об Алжирской Войне: «Услышьте, Горы!»<sup>3</sup>.

Так зачем же постоянно вспоминать о Войне? Вообще, почему люди так **долго помнят** войны? Наверное, главным образом потому, чтобы, переживая *время страданий* человека, **не дать ему больше пережить страдания, приносимые разрушением пространства Жизни**, гибелью родных и близких, потерей свободы, воцарением страха. Даже если *человек воюющий* разрушает не свое, но чужое пространство Жизни: он сеет, а значит, и видит смерть повсюду и не минует страха своего. Даже если это — *человек сражающийся* за Свободу своего Отечества или во имя его: он волен только исполнять приказ, а, значит, не может уйти в сторону, выйти «из шеренги» идущих в бой, а если и укроется в тени или в тиши, то рано или поздно Возмездие Павших в бою настигнет его или его совесть. Война беспощадна. Война ужасна. И не только в деструкции окружающей человека привычной ему реальности (метафора этого кошмара, *как сгусток его*, — и в «Гернике» Пикассо, и в диссонансах «Большого вальса» Равеля и «Марша» из VII симфонии Шостаковича, — лучше не напишешь, не выразишь, не передашь...) Ужас Войны — и в *ожидании* страха, в жути тишины после воя сирены (сигнала воздушной тревоги), страха за свою жизнь и за жизнь близких, ушедших сражаться. Кто знает, тот поймет. И кто помнит, тот знает, как беспощадна Память.

Не только потому, что человек помнит о Смерти, о Разрушении, о повсюду воцарявшемся Хаосе, о *Затемнении* (свет, если даже и горел в лампах, не *должен был быть видимым...*), о Мраке, опустившемся над жизнью *до войны*, а

---

<sup>2</sup> Такой памятник сейчас стоит в столице Алжира как «дань уважения павшим».

<sup>3</sup> Bey M. Entendez — vous dans les montagnes. P., 2005.

значит и о **Холоде** этого времени. Память беспощадна и потому, что постоянно вопрошает, заставляя человека размышлять о причинах, ошибках, просчетах, издержках, о самой необходимости или о неизбежности, но и даже о *возможности предупреждения или избежания Войны. Как таковой...* А потому именно Память с ней смущает человека и возвращает ее в сознание его вместе со смятением души. Эти видения Смерти, эти бесконечные «подсчеты» жертв, имен павших, это непрекращающееся долгие годы — **пока живы свидетели** и еще несколько поколений тех, что **наследует эту память**, — **переживание Войны**. Для одних это — святая правота их отцов и матерей, это — извечные идеалы **защиты родной земли**, для других — это идеалы Независимости и Свободы от рабства, борьба за изгнание Чужого, для третьих — очищение совести за содеянное. Но всё вместе — урок Истории, урок Жизни. А потому **умолчание правды о Войне** (любой), утрата Традиции как *передачи знания* о Жизни, — хуже случающейся с людьми амнезии. При таком — историческом — *беспамятстве* — Человек рискует передать потомкам своим либо извечную ненависть к бывшим «врагам» своим, либо глухое безразличие ко всему на земле свершившемуся или вершащемуся, прикрытое — от стыда, конечно, — удобной формулой «всепрощения»...

Мне не все равно, я Войну (не только нашу!) помню, а потому понимаю тех, кто не прекращает так или иначе свидетельствовать о ее кошмаре, не может — так или иначе — забыть о ней, помнит, **во имя чего** (и с той, и с другой стороны) свершалась она.

Понимаю тех, кто не прощает, понимаю и тех, кто пытается не вспоминать. Не прощаю только равнодушных или тех, кто не знает или не хочет знать. Зачем, действительно, тревожить мир и тишину? Нарушать Гармонию покоя. Действительно, зачем? Но, видимо, именно потому, что нет ничего более «хрупкого», чем эта гармония. Соблазн дис-

сонанса константен. В природе ли это человека, то есть в данном ли ему свойстве (инстинкт разрушения), или же в сформированном в нем окружающим его миром (социальным или политическим) рефлексом невыносимости чьей-то свободы, даже просто попытки независимости кого-то, а порой и мощи, и самостоятельности Другого? Всё это — почему-то воспринимается как угроза твоей же свободе...

Но если бы столь же константным не был императив *разрушения* диссонанса и *восстановления* Гармонии, то не было бы уже и самой человеческой жизни. Поэтому, как ни устает История пополняться примерами Войны, так и память людей о Войне — не иссякает, чтобы сохранить или воспитать в человеке именно **императив Жизни**.

Полвека хранила память и о **своей Войне** алжирка Ма-исса Бей (род. в 1950 г.) (Но ее Война — и мне не чужда: я жила в Алжире, только что вышедшем из этого испытания.) Она увидела лицо Войны, когда ей было около семи. По-настоящему пережила все страдания, которые выпали на долю ее семьи (матери и братьев), когда узнала, уже взрослой, что ее отец мученически погиб: его, учителя средней школы в маленьком городке на юге Алжира, схватили французские солдаты, пытали, добиваясь, чтоб он выдал имена и адреса других «повстанцев» (отец тогда, в разгар войны своего народа за Независимость, принял участие во всеобщей забастовке алжирцев), а потом расстреляли (без суда и следствия, «при попытке к бегству»), как и других мужчин из его семьи, свалили трупы в грузовик и **увезли в горы, бросили в лесу, чтоб партизанам было «наглядно»**, какая и их ждет расправа...

Мать сохранила фотографии мужа, его письма еще «мирных времен», выданное ему Инспектором Алжирской Академии образование уведомление о назначении его в г. Богари учителем средней школы с 1 октября 1946. Французы ценили тогда свои кадры из «местной» интеллигенции, говорившей свободно и на их, и на «своих» языках: об-

щаться в глубинке с детьми арабов и кабилов удавалось не всем колонизаторам-миссионерам, пытавшимся ассимилировать «туземцев».

И хотя сама по себе неплохая задача повсеместного приобщения колонизованных к западной цивилизации имела конечной целью воспитание граждан, сознательно послушных воле новых хозяев земли, знающих, что нужно этим хозяевам, колониальная «аккультурация» обернулась совсем иной стороной для колониализма. Она воспитала или ускорила созревание именно *национального сознания* в колонизованных, острого *осознания своей и чужой различности*, понимания несовместимости своих и чужих интересов на этой земле, где полноправными людьми оказались ее захватчики. Захват Алжира случился за сто с лишним лет до начала Войны за Независимость (1954–1962 гг.), и столь долгое терпение алжирцев, видимо, обнадеживало французов, упорно проводивших политику их «приобщения» к своей цивилизации...

Но столь медленное вызревание политического самосознания привело народ Алжира к мощному взрыву повсеместного недовольства и к резкой ответной реакции французов: началась кровавая борьба «повстанцев», уходивших в горы, становившихся партизанами, сражавшимися с регулярной французской армией.

Учитель — отец писательницы — не ушел в горы, но, судя по детским ее воспоминаниям, к ним в дом по ночам, *спускаясь с гор*, приходили «повстанцы», советовались о чем-то с ним, а может быть, и получали от него какие-то распоряжения (многие тогда «гражданские лица», даже служившие у французов, были завербованы алжирским Фронтом Национального Освобождения и становились «связными» между Центром и партизанскими отрядами в горах). Документальные факты биографии писательницы так или иначе отражены в ее творчестве, но стали основой конфликта в ее повести «Услышьте, Горы!..», написанной

для напоминания об Алжирской войне тому поколению, которое не просто не знает о ней *всей правды*<sup>4</sup>, но в памяти которого даже **нет и следов Того Времени**, когда насмерть стояли друг против друга два мира, живших столетие на одной земле, где каждый из них считал ее «своей» и воевал за **свое** пространство Жизни. С алжирцами — все ясно: колонизованные восстанут рано или поздно против колонизаторов. Но и французы, полагавшие, что, оставив в этой земле не одно поколение, пустили здесь и свои корни, да и сделали для этой земли немало. И не отделяя Алжир от своей «исторической родины» — Франции, — считали его «заморским департаментом». Еще и сейчас, уже более чем полвека спустя, вернувшиеся из Алжира французы, не простив «позора» ухода Франции из Северной Африки, ностальгируют по этой земле, по «ее солнцу», называя ее *своей родиной*...<sup>5</sup>

И не случайно поэтому, что один из персонажей повести Маиссы Бей «Услышьте, Горы!» пожилой француз, вспоминая о своем участии в Алжирской войне (его, тогда двадцатилетнего, отправили из Франции на фронт в Алжир сражаться за **свою Отчизну**), воспроизводит в памяти своей не только жестокие картины расправ с повстанцами, но и «обрывки» тех песен, которыми подбадривали себя французские солдаты, воевавшие именно за *свободу Франции*:

---

<sup>4</sup> А она была порой и жестокой: алжирские партизаны не менее свирепо расправлялись с попавшими к ним в плен солдатами французской армии, да и в городах террористические акты причиняли немало бед «мирному населению» в целом. Подробно «ответная реакция» алжирцев на вековое угнетение зафиксирована, к примеру, в романе французского писателя С. Сен-Лорана «Cette haine qui ressemble à l'amour». P., 1965.

<sup>5</sup> О судьбе «черноногих» французов («pieds-noirs») написано немало, и это отдельная проблема в истории и культуре Франции. Но что интересно, что молодые этнические североафриканцы, алжирцы, особенно живущие во Франции уже во втором или даже третьем поколении, выходцы из семей *иммигрантов*, соотносят и даже сравнивают свою судьбу (пустивших «корни» в «чужой земле», ставшей **их** родиной) с судьбой «pieds-noirs», которые продолжают себя называть «алжирцами» не только по рождению, но и «по призванию» (см., напр., повесть Азуза Бегага «Остров тех, кто отсюда родом» (A. Begag. L'île des gens d'ici. P., 2006).

«Это мы! Африканцы<sup>6</sup>  
Из далеких колоний!...  
Поднялись мы свирепо на защиту Страны!  
Пусть услышат долины грохот марша бесстрашных!...»

Сказанное выше о французах-«африканцах» объясняет и «свирепость» их «марша» («marche féroce»), жестокость и затяжной характер войны с Алжиром, и смысл защиты «страны» (pays), понимаемой **как Франция** именно в целокупности со своими «заморскими территориями». Но вот что интересно отметить: последние строки боевого марша, заставлявшего «шагать в ногу» солдат, почти заимствованы из французского гимна — «Марсельезы» (тоже когда-то написанной французским офицером Руже де Лиллем как военная песнь для поднятия духа республиканской армии, сражавшейся в 1792 г. с неприятелем) — «Entendez — vous dans les campagnes mujir ces féroces soldats...» Вот только поднимавшие свой боевой дух «африканцы» шли не по цветущим *долинам и полям* прекрасной Франции, но, как вспоминает персонаж повести, пожилой француз, участвовавший в Алжирской войне, карабкались **по горам, продираясь сквозь колючий кустарник и отыскивая крутые партизанские тропы меж пустынных и острых скал под вой леденящего зимой ветра или под палящим зноем обжигающего, как расплавленный свинец, летнего солнца.**

Вот почему в названии повести Маиссы Бей эта строчка «боевой песни», похожей на *национальный гимн* Франции, изменена на **«Пусть услышат нас горы»** (или «Услышьте там нас, в горах!»), изменена и в соответствии (прямо) с **пространством прошлой Войны**, и для соотнесения смыслов войны прошедшей с войной настоящей, пронесшейся

---

<sup>6</sup> Во Французской Армии служили, как я уже отмечала выше, не только «метропольные» французы, но и «местные» жители колоний: и европейского происхождения, и «исконные» представители «заморских земель» — марокканцы, алжирцы, сенегальцы, камерунцы и др. Все они и называли себя «африканцами».

снова над Алжиром, и для метафорической знаковости послания и прошлым, и будущим поколениям: **память о Войне не должна исчезнуть. Во имя мира.**

«Горы» — повсюду, видимо, символ оплота «Сопротивления». Вне зависимости от Времени и Пространства. Они, в древней мифологии являясь некой сакральной вертикалью, соединяющей Небо и Землю, обладая очевидными атрибутами «убежища» (неприступные скалы, пещеры, гроты) для «грозных сил» («Великанов», «Людоедов»<sup>7</sup>, «разбойников» и т. п.), в современной алжирской литературной топики стали символом самой партизанской борьбы с колонизаторами, *угнетателями* народа этой земли (их и «чужеземцами»-то и «посторонними»-то не назовешь, разве что в том, экзистенциальном, смысле, которым Альбер Камю, сам «родом из Алжира», наделил героя своего знаменитого романа «Чужой», герою которого — французу — араб «заслонял солнце»<sup>8</sup>).

Кого, собственно, называли в годы Войны в Алжире «Бандитами Атласа», «Ночными львами» (названия книг алжирского прозаика А. Бунемера<sup>9</sup>)? Сражавшихся в Горах партизан, «засады» которых и ночные «вылазки» были главной угрозой для французских солдат, проводивших «зачистки» горных деревень, откуда и шли «партизанские тропы»... Об этом — вся алжирская литература о Войне за Независимость, вся поэзия, весь фольклор тех, «пламенных лет». Начиная с «Молчания пепла» Каддура М'Хамсаджи<sup>10</sup>,

---

<sup>7</sup> В североафриканских сказках, к примеру, особенно кабилских, именно эти персонажи («Ogre», «Ogresse») характеризуют и степень «опасности», и степень «неприступности» гор, таящих в самих себе угрозу. Более того, в берберском (кабилском) фольклоре есть и другой атрибут Ogre и особенно Ogresse: она может и *съесть* тех, кто к ней попал, но потом — *заново родить* их, *во имя их же спасения* (см. подр. об этом: Nabil Farès. L'ogresse dans la littérature orale berbère. P., 1994.)

<sup>8</sup> Названия «L'Etranger» лучше переводить как «Посторонний», что подчеркивает степень отчуждения, существовавшую между алжирскими «арабами» и французами.

<sup>9</sup> Bounemour A. «Les Bandits de l'Atlas». P., 1983 (см. русск. перевод в Приложении); «Les lions de la nuit». P., 1985.

<sup>10</sup> M'Hamsadji K. Le silence des cendres. P., 1954, см. перевод в Приложении.



включая «Пляску смерти» М. Диб<sup>11</sup>, вплоть до упомянутого выше «Разлома» (или «Ломки») Р. Буджедры<sup>12</sup> и сегоднешних книг об этой Войне (в том числе и повести Маиссы Бей «Услышьте, Горы!»), художественное сознание использует мотив «горы» в качестве аналога **«Восстания», «Оплота», «Нессогбенности Духа»** (повстанцев), **«Неприступности», «Высокой Гордости»** Алжира, **«Хранителя духа предков»**, завещающих *бережь священные границы родной земли*<sup>13</sup>.

Вот почему французским солдатам, запевавшим на марше свою песню, чтобы «шагать в ногу» («Au pas!»), было важно, конечно же, чтобы их *марш*, их «свирепый клич» *был услышан* именно **в горах**, дабы *содрогнулись они*: там, высоко над землей, не просто скрывались, но именно сражались за *свою* и *своего* народа Свободу **повстанцы** (хотя для них у французов и была особая кличка — «fellaga — презрительно совмещающая в себе и «бродяг», и «разбойников», и «головорезов»...). У тех были свои гимны и песни, и пели их они на родных языках, — арабском и кабилском, призывая свой народ не страшиться грохота снарядов, воя самолетов и жестокой мести врага: возмездие составшего народа настигнет его, и земля будет Свободной... В ответ стирались с лица земли горные деревни<sup>14</sup>, разрушались селения, гибли под бомбами и пулями мирные жители, свирепствовали облавы в горах, ужесточались пытки «подозреваемых» в участии или сочувствии партизанской борьбе в тюрьмах и полицейских участках; в городах царил террор, хаос, смятение. Народ не сдавался, однажды ре-

<sup>11</sup> Dib M. La danse du Roi. P., 1968, перев. на русск. яз. в 1990 — Диб М. Избранное.

<sup>12</sup> Boudjedra R. Le démantèlement. P., 1982.

<sup>13</sup> Последнее характерно для творчества многих магрибинцев в целом — и марокканцев, и тунисцев, у одного из которых — М. Тлили есть роман «Гора Льва» (M. Tlili. La montagne du Lion. P., 1988), представленной выше, где именно в этом образе горы конденсируется особый заряд патриотизма героини, отстаивающей неприкосновенность родного селения, где когда-то под копытом лошади предка забил из скалы *родник*, давший его племени жизнь в этом краю земли...

<sup>14</sup> См., напр., упомянутый выше и опубликованный на русск. яз. роман классика алжирской литературы М. Маммери «Опиум и дубинка» (1967).

шившись восстать за Свободу, отвоевать Независимость. Война прекратилась почти через восемь лет, — долгих, кровавых, **взаиможестоких**.

Теперь, вспоминая о ней, француз, оказавшийся в одном купе поезда с героиней повести Маиссы Бей, алжиркой (он это *увидел сразу*: не только цвет ее глаз и смуглость кожи, но и характерные *кабийские* серьги: он хорошо помнил край, где воевал когда-то), осознал ее смысл в полной мере:

«Это, конечно, была **его** война. Настоящая. Хотя и в жизни его отца тоже была настоящая Война. И он шел на нее сражаться за родину и пел “Марсельезу”... Как пел ее и дед еще в Первой мировой, как пели и многие другие поколения французов, попадавших в подчас трагические ловушки Истории... Да, ему было всего двадцать, и в его жизни тоже случилась Война... Настоящая... Столь же настоящая и столь же ужасная, как и все предыдущие. Все войны ужасны в глазах тех, кто в них участвует. И тех, кто ведет во имя Бога или Цивилизации, Родины или Свободы, или Революции... Только эпитеты меняются: религиозные, великие, освободительные, захватнические, гражданские войны... Неважно, на чьей стороне вы воюете, надо себя постоянно убеждать, что именно **твоя сторона права**, что ты сражаешься во имя праведного дела, и что насилие и жестокость, — это порой необходимость, без них не обойтись на Войне... Главное, не задавать себе слишком много вопросов... Поля сражений всегда усеяны трупами героев... И надо идти на смерть, запевая победные марши, высоко и гордо неся свое знамя, ... иначе...

...Чертова война! Грязная война! Но разве бывают чистые войны? Разве что в устах тех, кто разглагольствуют о войне в кабинетах или салонах, на собраниях или под вспышками фотокамер или светом прожекторов для съемок в кино... Обычно это болтовня тех, кто никогда не носил настоящего камуфляжа, никогда не целился в человека. На войне, на любой войне, у врага всегда одно лицо. **Это лицо**

**твоей собственной смерти.** А никто не может спокойно встретиться со своей собственной смертью. И надо поэтому уничтожить того, кто тебе смотрит в глаза, потому что он источает твой собственный страх, потому что мы все узнаём себя в нем, а он себя — в нас... И этот свой собственный образ мы хотим уничтожить. Сказать себе, что зло, которое ты совершаешь, не есть зло, ибо надо помешать тому, что может быть еще хуже... А все остальное — обман, трепотня, бесполезные страдания людей...» (с. 52–53) (выделено мною. — С. П.).

Он вспомнит **эти** страдания, вспомнит и как пытал, и как убивал, и как расстреливал, и как сбрасывал трупы с грузовика а лесу, и как сам мучился от жары и беспощадно палящего солнца летом, и зимней стужи в горах, от боли в ногах при ходьбе по острым камням горных троп, резких ожогов трав и укулов шипами колючих кустарников... От страха неизвестности, неожиданности ударов врага, от стыда за содеянное им и его товарищами «зло», за безмерные страдания людей, переносящих пытки и унижения человеческого достоинства... Память, как оказалось, хранила видения Войны в своей глубине и они там застряли почти «нетронутые» временем и **попытками всеобщего забвения Прошлого**<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Об Алжирской войне во Франции постколониальной эпохи (вплоть до недавнего времени) говорили и писали мало и неохотно подтверждали или опровергали факты пыток французскими офицерами алжирских партизан и подпольщиков. [Яркое свидетельство об этом — в книге Анри Аллега «La question» (на русск. яз. — «Допрос под пыткой»), изданной еще в 50-х гг. XX в.]. То ли чувство «исторической вины» (как полагают историки и политологи) мешало писать правду, то ли психологическое «несмирение с поражением» — утратой Алжира — сдерживало французов, но так или иначе новые поколения знали мало об истории алжирского Сопротивления: в школьных программах по новейшей истории Франции этот «вопрос» старательно замалчивался. Сегодняшние школьники, этнические алжирцы из иммигрантской среды, обучающиеся во французских учебных заведениях, почти ничего не знают ни об истории, ни о культуре Алжира, не говоря уже о его писателях... Проблема интеграционной «декультурации» иммигрантов — особая. Но не случайно, что именно в год пятидесятилетия начала Алжирской войны (2004 г.) живой свидетель ее, хотя и находящийся уже в преклонном возрасте, Анри Аллег, французский журналист, автор уже многочисленных книг, вставший в свое время на сторону восставшего Алжира, оказался необычайно востребованным и прессой (многочисленные интервью), и учебными заведениями Франции (многочисленные лекции), от «первого лица» рассказывая новому поколению правду об Алжирской войне. История словно захотела напомнить, за что воевали и что защищали оба народа...

Единственным «оправданием» перенесенного и сейчас снова в душе переживаемого французским попутчиком алжирки становятся ее слова, сказанные как бы в ответ на терзавшие его сомнения в *правоте любой войны*: «Слишком много ненависти, несправедливости, страданий. Всегда найдутся те, кто отдает приказы, и те, кто должен их исполнять...» «Да, — ответила ему она. — Надо было верить, слушаться и ... сражаться. Всё просто. Не правда ли?» (с. 53).

Но глубина человеческой памяти, внезапно обнаруженная едущими в поезде по югу Франции вдоль берега моря случайными попутчиками, неслучайно противопоставлена в повести «Услышьте, Горы!» «малости» ограниченного купе пространства, где соединились три человеческие судьбы, столь разные, но и столь «глубинно» связанные общей для всех них Историей и (как бы ни хотелось этого никому из них) ее, Истории, продолжением в сегодняшнем дне. Незавершенное прошедшее ли, Прошлое ли в Настоящем, — любые «глагольные» формы так или иначе оказываются семантически созвучными тому состоянию реальной действительности, когда **в одном** пространстве «лицом к лицу» («теснота» купе только подчеркивает ставшую уже повседневной сущность французской реальности) оказываются люди **разных** поколений, **разных** национальностей, **разных** взглядов и **разных** судеб, — но накрепко (ибо кровью) соединенных **одной Войной**.

...С чего, собственно, всё началось (спровоцировав дальнейшее погружение «попутчиков» в Память)? Со слова «Арабы!», с отчаянного восклицания, с ужасным смятением брошенного на бегу по вагону какой-то пассажиркой, у которой дорожные воры хотели похитить сумку. Убегавшие от нее злоумышленники, по всей видимости, были задержаны, ибо резко остановившийся на какое-то время поезд снова тронулся в путь, и среди испугавшихся пассажиров вновь воцарилось спокойствие и привычное здесь — не только в дороге — безразличие к соседям...

Но, ведь, если мы заглянем в «детские» воспоминания героини Маиссы Бей (биографически родственной писательнице), размещенные в одном из ее рассказов в сборнике «Жасмином ночь благоухала...»<sup>16</sup> (тоже слова одной старинной песни!), то речь там пойдет именно **об этом слове** — «Араб»: девочка, дочка школьного учителя, в доме которого говорили по-французски, а соседские дети *все вместе* с ней играли, не различая, кто из них — француз, а кто — «другой», не поняла, почему однажды отец не пошел на работу, не разрешил и ей пойти в так любимую ей школу, объяснив это просто тем, что **«все арабы сегодня бастуют»**. Так узнала она, что и сама — «арабка»... Шел 1957 год. Потом у нее на глазах увели куда-то отца ворвавшиеся в дом «чужие» люди, перевернувшие все вверх дном, что-то искавшие и грубо разговаривавшие с ним и матерью. Потом услышана и другие слова, тоже еще не зная их смысла: «тюрьма», «пытки», «расстрел», «мученик»... Но главное — это то, что она ощутила: воцарившуюся вокруг пустоту, «отсутствие» того, чья Жизнь была не только жизнью их маленького дома, их семьи, но и связана как-то с жизнью «арабов», — «Большого дома» той страны, где жили они... Можно сказать, конечно, что так пробуждалось «национальное самосознание» в человеке, осознание своей причастности к тем, с кем оказался солидарен отец, хотя и не ушедший **сражаться в горы**... Потом, уже взрослая, «она найдет его могилу. *Общую яму*, засыпанную землей. Без цветов, без погребального камня. Голая земля. Беспощадная оголенность» (с. 154 «Sous le jasmin...»). И эта «оголенность», как «обнаженность» правды о гибели отца, вполне соотносима с изначальным прозрением: *своей разности* с другими, хотя и жившими с ней на одной земле...

Здесь, в поезде, уже на железной дороге Франции, куда уехала героиня книги «Услышьте, Горы!» в попытке своей

---

<sup>16</sup> Bey M. Sous le jasmin, la nuit. P., 2004. Рассказ так и называется: «Ce quoi, un Arabe?» («Это что такое, Араб?»).

забыть о **новых ужасах новой войны**, разразившейся снова в ее стране, уехала, не смирившись с теми, кто пытался «сломить» ее волю *жить свободно и независимо*, говорить и писать на том языке, на котором говорила она с детства (и которым владеют многие алжирцы «как своим» с тех самых пор, как научили ему их дедов и отцов французы, жившие вместе с ними на одной земле), с этим детством встретилась. И снова ощутила свою «разность», переживая «позор» своего прошлого и настоящего, — ведь по новым понятиям ее страны, алжирский интеллигент, учитель, служивший когда-то во французской школе, или кто-то, тем более женщина, преподающая сегодня французский язык, или просто придерживающаяся «другого» — не вполне «традиционного» образа жизни, не носящая мусульманское платье или платок, — *«сообщник Запада»*, а значит — **враг**. А новый враг — пусть **«свой»**, — снова, как и в прежние времена, виновен, конечно, во всех бедах «простого» народа...

...Парадокс, но практически вся современная алжирская эмиграция (политическая, в основном, в отличие от «трудовой» — начала и середины XX века) перебралась именно во Францию, — туда, куда ушли и вытесненные «повстанцами» ненавистные колонизаторы. Но куда же еще? Одно — общее — море, одна, объединившая всех «средиземноморцев» цивилизация, один язык, ставший почти родным, как кабийский или арабский. (Замечу, кстати, что и многие колонисты, *rieds-noirs*, французы особенно, знали, в зависимости от местности, где хозяйствовали, тот или иной язык Алжира...). «Убежище», однако, оказалось и не особо гостеприимным (это и понятно, — *«слишком много в стране “арабов”»*), да и не особо надежным (**не все забыли о «позоре ухода Франции» из Алжира, не все простили алжирцев, и не всё «списали» на Войну**). Среди «обычных» французов, «обывателей» (а ведь таких большинство!) весьма распространено мнение, и не без оснований,

замечу я, что многие сегодняшние «неприятности» (воровство, наркомания, хулиганство, уличные драки, городские «беспорядки» — поджоги машин, разбитые витрины и т.д. и т.п. — сколько *об этом* пишут и говорят каждую осень или весну!) связаны именно с «арабами». Но как же иначе? Даже если они, эти «арабы» и родились уже здесь, но учатся все еще хуже других детей (ведь дома приходится говорить по-арабски!), живут в кварталах бедняцких, на окраинах, в густо населенных домах и кварталах, родители их зарабатывают немного (даже если считают, что собирают здесь «манну небесную» в сравнении с нищетой и безработицей, от которой бежали из своей страны...), а потому эти «дети окраин» **мстят** обществу, позволившему их изгойство, их «**второсортность**», их «лишнюю» для него энергию, находящую выход в кипящих мстью и ненавистью стычках, организованных погромах, уличных беспорядках... Их ловят, бьют, высылают даже из страны, грозят «зачистками» всех иммигрантских гетто (и такие случаются!), установлением «жестких квот» для всё прибывающих и прибывающих в страну североафриканских (и африканских в целом) эмигрантов... Всех не накажешь, не пересажашь в тюрьмы, не вышлешь из страны (она, ведь, окажется без «рабочей силы»...). И они, «арабы», это знают. И продолжают демонстрировать свою «**разность**» с другими, забывая, что ли, о «гостеприимстве» «принимающего» их общества...<sup>17</sup>

Вот и здесь, в повести Маиссы Бей, именно на них, «арабов», прежде всего подумала пассажирка, у которой *кто-то* хотел похитить сумку или чемодан... И снова это слово — «арабы» — прозвучало для героини **сигналом тревоги**, обрушив на нее не только новую волну уже почти забытого *страха Войны*, но и остроту внезапно возникшего

<sup>17</sup> О серьезности и драматичности проблемы культурных и социальных различий выходцев из иммигрантских слоев и окружающего их «контекста» Франции, что приводит зачастую к политической напряженности, см. в сб. ст. «Полиэтнические общества». ИВ РАН, 2004.

ощущения своей абсолютной *чуждости* сидевшим с ней рядом попутчикам-французам...

Хотя, как оказалось (в почти неправдоподобной драматургии повествования, где дочь «мученика» той Войны и его палач оказались мирно сидящими друг против друга в *одном купе*), именно не избывающая память об **общем Прошлом** в душе **разных** и чужих друг другу людей и есть та связующая их нить в Настоящем Времени, еще исполненным отзвуками Прошедшего, отзвуками того Пожара, который опалил так или иначе их жизнь. Поколение воевавших на одной земле «своих» и «чужих» и поколение, бежавшее от «своих» же врагов к бывшим врагам своей земли, вспоминая принесенные в жертву Войне «разных» миров жизни (героиня — отца, ее сосед по купе — своих товарищей), очевидно **ненавидят саму войну как таковую**. Он — за страх Смерти, «вживую» увиденной на лицах тех, кого допрашивал, пытал и в кого стрелял; за стыд унижения Человека, за осознание *бессмысленности* причиняемых ему страданий (палачи *ничего* не добивались от своих жертв, а если и добивались изощренными пытками, то *не успевали* проверить добытые в крови сведения: война стремительно разворачивалась и вглубь и вширь огромной страны...). Она — за боль утрат, за снова залитую кровью страну, которая так и не «очистилась» в ней и не сумела защитить свою же, когда-то **добытую «ушедшими в Горы»** желанную всеми Свободу...

И хотя попутчик сразу понял (а потом, на прощание, уже выходя из поезда, сказал, что «узнал ее по глазам»), что она — дочь того самого учителя, которого ему, «офицеру, выполнявшему приказ», «пришлось когда-то допрашивать» (и он тогда еще удивился, что тот, араб, говорит «почти без акцента»...), — уходил он после этой случайной встречи с дочерью бывшего врага своего не как враг, но как *испытавший муки совести человек*, понимающий саму абсурдность войны людей...



Соседка его по купе тоже догадалась по его «алжирским» воспоминаниям (а он, прежде чем заговорить с ней, обратил внимание на ее смятение при возгласе потерпевшей пассажирки: «Арабы!», и понял уже окончательно, что она — **алжирка**, да и прикрепленная к ее чемодану визитная карточка с ее именем и фамилией и еще «старым», алжирским адресом только подтверждали его уверенность в том, что он уже *«где-то встречал похожие на ее глаза»*), что человек этот **не может не знать о гибели ее отца и даже не может не быть каким-то образом причастным к его убийству**. Попутчик подтвердил, что «знает ее городок», откуда она была родом, что действительно сражался с «повстанцами». Но всё вновь пережитое, всё услышанное ей, и как бы даже увиденное *его глазами*, не разожгло в ней пожара ненависти или мести. Но еще не остывшие угли под пеплом сгоревших надежд и иллюзий Прошлого, разрушенного Войной, сожгли *занавес молчания*, воцарившегося поначалу в купе, где оказались случайно три таких разных пассажира.

...Третьим была молодая девушка по имени Мария. И она, слушая трудно складывавшийся диалог воспоминаний своих старших попутчиков, поняла, что **ничего** об Алжире не знает, «кроме как чьих-то рассказов о его ярком солнце», «синем море» и неописуемой красоте его долин и гор... Да еще, пожалуй, о том (дед рассказывал!), что там «роскошная рыбалка». Вот и всё, что знала Мария в придачу к урокам школьной географии... Но молодая, «спортивного вида» девушка, внезапно (и случайно) соприкоснувшись с Историей, рассказанной ее участниками и очевидцами, вдруг поняла коварство умысла, царившего в ее стране «умолчания» истинного Прошлого и ее родины, и родины той женщины, что вздрогнула при слове «Арабы!», и своего «соотечественника», чья молодость прошла в кошмаре ожидания Смерти и мести в Алжире...

Знать о «**позоре колониализма**», о потере Африки, о стыде поражения в Алжирской войне, — это, возможно, для «молодых французов» и необязательно: зачем печалиться их сегодняшнее благополучное и благопристойное существование? Почти без войн, почти без колоний и прочих смущающих обстоятельств души живущих под знаменем Свободы, Равенства и Братства людей... Но нельзя же, в самом деле, полагать, — возмущалась Мария, — что **незнание** молодежью совсем недавнего Прошлого своей страны только «на совести» учебников, школы, телевидения и радио! Куда смотрят поколения отцов и дедов? В Будущее? Но разве его могут созидать те, кто не знает Правды о том, за что и как сражались люди, какие мучения претерпевали они, и почему **любая война — обман и ужас**...

«Вначале все хотят забыть, не видеть, не слышать, — ответила ей сидевшая в купе женщина, — потом их слепота и глухота превращаются в немоту. Потом — **в беспамятство**» (с. 69). И оно, как Ночь, опустившаяся за окном поезда и над Морем прошедшей жизни, вспомненной за время недолгого совместного путешествия трех спутников. Над долгим временем живой человеческой истории...

Спутники расстанутся, каждый выйдет на своей остановке. Но если двум из них суждено оставшуюся жизнь все-таки прожить с грузом воспоминаний о Прошлом, связавшим их народы и перекинувшем нити этой **горькой, но тесной связи** и в Настоящее, то Марии придется встретить новый день, избавившись от «слепоты» своей и «немоты» окружавшего ее мира. Может быть, обретенное в пути Знание о страданиях человеческих будет спасительно для нее и ее поколения, которому предстоит дорога в Будущее. С какими идеалами оно войдет в эту неведомую Даль Времени?

...Мне кажется, что писательница не случайно выбрала для девушки имя — Мария, как неслучайно доверила в своей повести именно женщине разбудить и передать Память о Прошлом, хранить ее в Настоящем и пытаться продлить ее

в Будущее. *Ненароком* обретенное Марией Знание о жестокости Войны людей как бы дано ей «во спасение», дабы постараться избавить будущий мир *от страданий войны вообще*. Как в лоне **той** Марии был *непорочно* зачат задуманный творцом мира Спаситель человечества, завещающий ему только Любовь...

Когда-то, в ветхозаветном еще изначале времен именно *женское существо*, «утроба материнская» уподоблялась «убежищу», «укрытию», «тайному гроту», «горной пещере», хранившим хрупкую человеческую жизнь, а потому и нуждавшимся в охране от «ударов» и «сотрясений»... Так уж случилось, что **алжирские Горы**, уподобленные этому «убежищу», стали **пространством жизни людей**, сплотившихся во имя идеалов Свободы и Независимости и выигравших *свою* Войну. Но случилось и то, что именно Горы приняли снова в свое «лоно» «повстанцев», но уже тех, кто завоеванную народом Свободу погряз террором и насилием, снова посеяв семена Страха, развязав еще одну Войну, с врагом «внутренним». В алжирской литературе она, эта новая Война, запечатлена, как мы увидели выше, как воцарившийся Хаос, как историческое «Проклятие» земли, пожертвовавшей своей Свободой, как торжество «власти Дьявола», орудующего в стране «именем Аллаха»...<sup>18</sup>

Но что характерно, что именно женщины-писательницы, и Маисса Бей в их числе, пытаются «очистить» оставшееся пространство Жизни именно памятью о своих отцах, о высоких идеалах борьбы за Независимость, возродить «память о Море»<sup>19</sup> как о пространстве Свободы

---

<sup>18</sup> См., напр., романы: Boudjedra R. Le desordre des choses. P., 1990 ; Mimouni R. La malediction. P., 1992; Chaouki. L'étoile d'Alger. — In: Algerie // Littérature // Action. P., 1997 ; Dib M. Si Diable veut. P., 1998.

<sup>19</sup> Именно так назывался роман М. Дибя: «Qui se souvient de la mer», изданный в год окончания Алжирской войны (1962).

и Надежды<sup>20</sup>, заставить *услышать Горы*, что в «сон разума», породивший «интегристское безумие» («Услышьте, Горы!», с. 40) не может погрузиться *вся страна*, что мрак неизбежно рассеется и Свет Нового Дня избавит людей от **чудовища Войны**. Услышьте их, Горы!...

Эхо этого призыва звучит и в наши дни. Во всяком случае, писатели откликаются на события современности. И если на исходе 90-х гг. XX в. М. Диб, в начале XXI в. — А. Джебар, марокканец Т. Бенджеллун, тунисец М. Тлили использовали его в целях предотвращения «сна человеческого разума» (что, как известно, способно «породить чудовищ» и мн. др.) интерпретировали образ Горы как *локус охранения устоев или как оплота сопротивления* тому, что «навязывает чужеземец», то сегодня этот образ неожиданно трансформируется в образ особой «вершинности» для *обозрения мира*, где возможно *различение разных пространств бытия*, либо увязшего в догмах и оковах Прошлого, остановившего прогресс самой жизни, либо дающего Свободу или возможность продвижения к ней, вперед, или даже «вверх» — к Мечте о ней.

В романе алжирца Буалема Сансаля «2084»<sup>21</sup> (2019), автора знаменитой книги «Деревня немца» (2008), за которую он получил «Большую Литературную Премию» и где сравнил политический исламизм с немецким нацизмом, в форме «антиутопии» и на основе тяжкого опыта времени гражданской войны в Алжире в 90-е гг. XX в., показаны возможные превращения исламистских тенденций в мусульманском обществе в торжество государства, где люди абсолютно погружены во мрак «возврата к истокам». Эти «истoki», где жизнь подчинена только «послушанию традиции, обрекающей на некое первобытное существование, почти в «пещерах», где нет ни мебели, ни радио, ни телеви-

<sup>20</sup> См., напр., книгу Маиссы Бей «Вначале было море» (Bey M. Au commencement était la mer. P., 1996); роман Малики Моккедем «Я продолжаю...» (M. Mokkedem. N'zid. P., 2006) и др.

<sup>21</sup> Sensal B. «2084». P., 2019; «Le village de l'Allemand». P., 2008.

дения, ни телефона, где людям предназначен «скудный паек» в виде плошки с похлебкой, порой и без куска хлеба, где отсутствуют школы, но есть некий «Центр», из которого поступают «приказы жизни» — без знания ни истории, ни географии своего существования, подчиненного лишь «воле Всемогущего», Бога с именем, похожим на «Аллах»... В этом странном мироустройстве существует, правда, некий особый «квартал», в котором «суетятся» какие-то «еще живые людишки», всё пытающиеся пробраться к тому Центру Управления, откуда идут «приказы», и достучаться «до двери», где заседает Управитель этим странным государством, чтобы добиться Правды: в этот «странный квартал» как-то просочились слухи о том, что неподалеку от Города, где они живут, производились археологические раскопки, якобы подтвердившие, что здесь *раньше* была совсем другая жизнь, люди «нормально жили» и учились в школах, и что здесь даже были библиотеки... Не говоря уж о кроватях, водопроводах, электричества и «прочих удобств существования». Но слухи ползли и о том, что свидетелей этих раскопок, как и самих «копателей», потом уничтожили... Однако дотошные «следопыты», пытавшиеся достучаться до Правды, не опасаясь угроз и предостережений, ходили «по кругу» — от одного чиновника к другому, встречаясь в коридорах какого-то таинственного Учреждения, откуда «сочилась Воля Всевышнего и Всемогущего», неутомимо надеявшиеся, что выберутся, наконец, из тенет незнания, из плена вопросов и недоумений *«почему мы так живем?»* и найдут какой-то «выход», открывающий дверь навстречу с Правдой. Эти люди, несмотря ни на что, еще понимали, что «мысль человеческую остановить нельзя», даже если он голоден и нищ...

И то ли неутомимая энергия поиска этих «особых людишек» из какого-то «странного» городского квартала, то ли усталость тех, кого они вопрошали, то ли потребность всех остальных узнать что-то большее, чем «выдадут ли

сегодня нам похлебку» (о дровах уже никто не мечтал, согревались, как могли), то ли огни костров, у которых они сидели, когда еще разжигали как-то поленья, подогревая свою жалкую пищу, — так или иначе, но среди людей вдруг стали постепенно слышаться разговоры о том, что где-то есть **Гора**, с вершины которой, если доберешься и взойдешь, то можно «увидеть **границу**, за которой совсем другая Жизнь»... Еще говорили о том, что *некоторым* удалось все-таки «добраться и взлететь, перелетев эту границу»... И что даже есть «самолеты», на которых кто-то даже возвращался обратно и рассказывал тем, кто ждал своей очереди, какая «там она, *другая жизнь*»... Эта мечта «*добраться до вершины Горы*» постепенно овладевала сознанием всех жителей Государства, подчиненного Воле Всемогущего...

Таким образом, антиутопия «2084» предупреждала по-своему Восток не «поддаваться» призывам, где иллюзии необходимости «возврата к истокам» обречены на тление и крах, и стала, по-своему, неким «прогнозом» событий, которые свершались не столь давно и на наших глазах (если кто-то помнит еще уроки Центральной Азии и Кавказа), и в августе 2021 г. Афганистане... Став образом и Границы разных миров, и Перехода через нее и в мир навязанного Прошлого, и в мир неизведанного Будущего, **Гора** в этом романе алжирца Буалема Сансаля, неустанно обращающегося и к реальности родного Востока, и к реальности хорошо знакомого Запада<sup>22</sup>, становится возможностью Прозрения людей, ибо с нее можно, при желании, *различить горизонты разных миров* и выбрать идеал и своего мироустройства...

Видимо, сама эта возможность «вершинности» своего положения на некоей линии *разграничения* между миром

---

<sup>22</sup> См. роман о причинах терроризма на Западе «Поезд в Эрлингген» («Le train d'Erlingen». Р., 2018). О творчестве Б. Сансаля см. подр. в нашей работе «Время не жить...».

«своим» и «другим», оказавшимся «чужим» (либо не оправдавшим надежды на *лучшее*), создавала для некоторых магрибинских писателей и другое пространство творчества, где осуществлялось некое *внутреннее сопротивление* окружающей реальности (порой в целом — не только современного Востока, но и Запада) и само удаление в тот, порой воображаемый как *родной «Оазис где-то в Пустыне»*, в Прошлом, в пору детства, юности, молодости как поре мечтаний, надежд и просто даже иллюзий на возможность «всеобщего счастья». И алжирец М. Мессауль (Ясмина Хадра), и тунисцы Т. Бекри, М. Тлили, и марокканец Т. Бенджеллун (это только примеры «самых знаменитых» писателей и поэтов, но и других имен — множество, и даже больше женских) уже на исходе 90-х и по сей день пишут свои произведения уже с позиций своих новых возможностей более объективного анализа и уроков «Ночи Прошлого», и вероятностей снов о Будущем, и реализма ощущения «наступления Пустыни» Настоящего. Их произведения (порой с характерными названиями: «Что должен Ночи День» (Ясмину Хадра) или его же — «Что должен мираж Оазису», или «Послеполуденный отдых в Пустыне» М. Тлили, как и «Сумерки в пустыне» Т. Бекри, как и «Террасы Орсоля» («Солнечного Города» М. Диба, или его же «Инфанта Мавра» и «Сон Евы», как и «Фараон А. Мемми и мн. мн. другие произведения»<sup>23</sup> магрибинцев в своем литературном пространстве обозначают (или выбирают) уже некий *другой «топос»*, хотя и противоположный Горе как изначальному в литературе Магриба месту *Охранения* Власти Традиций своей жизни, *Сопротивления* власти всего Чужого, нарушавшего прочность тех опор, на которых зиждились основы существования народов, хранивших Заветы Предков...

<sup>23</sup> О них подр. см. в наших работах «Тунисская элегия» (2016), «Магрибинки рассказывают...» (2019), «Обречение Авеля» (2020), «Время не жить и время не умирать» (2021), «Взятие Слова» (2022) и др.

Но и это, противоположное топосу Горы, пространство (оазисы, Пустыня с ее «Миражами») оказываются, на мой взгляд, местом нового, «внутреннего сопротивления» художников тому «Беспорядку вещей» (название одного из романов алжирца Р. Буджедры), который связан со многими потерями идеалов борьбы за Освобождение и наступлению перемен, ничего общего не имевших с усвоенными когда-то принципами *достижения Независимости*, т.е. обретенными когда-то в Знании самих гуманистических идеалов, сопряженных с понятиями Солидарности и Братства...

Постколониальная реальность в странах Северной, да и всей другой Африки во многом не оправдала надежд и народа, и тех, кто всегда чутко слушал «пульс» общественного сознания, пытался, как «в зеркале», отразить жизнь своих соотечественников, а порой и посвящая свою жизнь делу их освобождения от гнета и чужеземцев, и внутренних, социальных противоречий и конфессиональных предрассудков своих обществ. Поэты «Нового Алжира» — Башир-Хадж Али, Буалем Хальфа, как и многие другие их «собратья по перу», как Р. Буджедра, — активные участники алжирского Сопротивления, как и тунисец Т. Бекри, уже на «рассвете» Независимости в Тунисе, упорно боровшийся с «военной диктатурой», как и многие другие поэты и писатели Марокко — с воцарившимся и после обретения страной Независимости — с новым режимом королевской власти, порой душившим Свободу (как таковую) еще и посильнее, чем колонизаторы. (Об этом всё творчество М. Хайреддина, романы А. Серхана и роман Т. Бенджеллуна «Это ослепительное отсутствие света», марокканская поэзия конца 60–70-х гг. как яркие образцы несбывшихся надежд. Но об этом — в других моих работах<sup>24</sup>.)

---

<sup>24</sup> См.: «История литератур стран Магриба». М., 1993; «Алжирская сюита». М., 2014; «Марокканский ноктюрн». М., 2015; «Тунисская элегия». М., 2016 и др.



А здесь я просто хотела показать как можно полнее, что Горы, когда-то придя «в движение», защищая своей могучей «неприступностью» свои Законы Жизни, в плане метафорическом послужили писателям истоком образа извечного Противостояния Человека насилию, отбирающему его Свободу, его понимание Жизни как Блага, дарованного Небом (а именно *с ним* соприкасаются Горы), для всех существующих на Земле людей

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные выше художественные произведения, так или иначе тесно связанные с показом мира Гор, по-своему запечатали процессы и **устойчивости**, и **эволюции** традиционных форм жизни магрибинских обществ, отразили и тенденции *охранения* Традиции, и *Сопротивления* инкорпорации в нее всего чуждого ей, и *разрушения* ее «опорных столбов», и даже *обреченности* агрессивного традиционализма. Образы «*восхождения*» в Гору как в «**убежище**» самосохранения народа и человека, как и образы «*спуска*» с Горы или невозможности вернуться в замкнутый круг жизни, неизбежности **встречи с Новым миром**, так же как и образ Горы как места *восстания* народа за свою независимость, упорство и *неодолимости* его воли к свободе от угнетения, стремление к отвоеванию права на свою *самостоятельность*, — всё это в особой форме искусства Слова отражает те историко-социальные и культурные изменения, которые претерпели практически все страны, и освобождавшиеся от колониализма, но одновременно и испытавшие немалое влияние иных цивилизационных форм и условий человеческого существования.

Поэтому можно сказать, что литература франкоязычных магрибинцев стала во многом зеркалом, отразившим и характер традиционного общества как такового (со всеми его обычаями, особыми признаками и бытовой, и духовной культуры), где «устоялся» собственный опыт его исторического существования, но и зафиксировавшим назревавшие процессы его трансформации, обновления, возникавшие в условиях сохранения «остаточной» (но упругой) традиционности, порой влияющей и на внутренние процессы развития возникших уже после обретения Независимости но-

вых обществ. Художественная литература магрибинцев ставила и острые проблемы этого развития, когда абсолютизация традиции (связанной с конфессиональными догмами), ее ригоризм становился причиной новых войн и новых сражений уже свободных от колониального угнетения людей.

И неслучайно, что писатели выбирали топос Горы именно как особый художественный концентрат — «оплот» или «очаг», «опору» или «убежище» всех этих исторически сложившихся атрибутов, концептов и тенденций развития магрибинских обществ. Семантическая амплитуда этого образа мира — широкая.

Полагаю, что магрибинский опыт охвата всех ее «колебаний» по-своему типизирует не только истоки поддержания, сохранения и воспроизводства сложившихся в Прошлом, еще в глубокой древности, пластов народного сознания, но и основы и способы его взаимодействия с вызовами Нового Мира, с неотвратимостью его встречи с Будущим, а значит, и с неизбежностью своей *ответственности* за судьбы и своего и других народов Земли. Я знаю, что и в до сих пор «соперничающих» и даже воюющих друг с другом племенах и селениях в других горных краях земли (Паропамз, к примеру), есть люди, которые, по традиции, почти с юности носят при себе оружие как «атрибут своего достоинства и чести», но *«мечтают о том, чтобы оно никогда не выстрелило»*...

## БИБЛИОГРАФИЯ

Аверинцев С. С. Бесы. — Мифы народов мира. Т. I. М.: Советская энциклопедия, 1980.

Аверинцев С. С. Сатана. — Мифы народов мира. Т. II. М.: Советская энциклопедия, 1980.

Антология берберской литературы. («Кабилы». «Риф», «Туареги»). М.: ИВ РАН, 2002–2012.

Бунемёр А. Разбойники в горах Атласа. М.: Детгиз, 1987.

Бунин И.А. Собрание сочинений. М.: Художественная литература, 1980.

Власова О. А. Демонология в Коране. — В кн.: Религии и литература. М.: ИМЛИ, 1998.

Дёмкина О. Н. История современной арабской прозы. — В кн.: История национальных литератур стран Магриба. Т. «Алжир». М.: Наука, 1993.

Деро А. Различные воззрения на статус женщины в шариате. — Перевод в кн.: Прожогина С. В. Женский портрет на фоне Востока и Запада. М.: Наука, 2006.

Джебар А. Избранное. М.: Прогресс, 1990.

Джугашвили Г. Я. Алжирский франкоязычный роман. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1976.

Диб М. Романы. М.: Прогресс, 1989.

История национальных литератур стран Магриба. М.: Наука, 1993 (в 3-х тт.: «Алжир», «Марокко», «Тунис») (Колл. труд с участием Э. Ализеде, Ф. Асадуллина, О. Власовой, О. Дёмкиной, С. Прожогиной и др.).

Коран. Пер. Н.О. Османова. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1995; пер. В. Пороховой. М., 2001.

Крылова Н. Л., Прожогина С. В. Путь к себе. М.: Ин-т Африки РАН, 2013.

Луцкая Н. С. Республика Риф. М.: Восточная литература, 1959.

Мифы народов мира. В 3-х тт. М.: Советская энциклопедия, 1980.

Пиотровский М.Б. Даджжал; Иблис; Ибрахим — Мифы народов мира. Т. 1. М.: Советская энциклопедия, 1980.

Полиэтнические общества. Сб. статей. М.: ИВ РАН, 2004.

Послание Иакова, 1:17. — В: Библия. Пер. на русск. яз. 1917. Брюссель, 1975.

Прожогина С. В. Магриб: франкоязычные писатели 60–70 гг. М.: ИВ РАН, 1980.

Прожогина С. В. Рубеж эпох — рубеж культур. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1984.

Прожогина С. В. Дрис Шрайби, или Новое время в литературе Марокко. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1986.

Прожогина С. В. «Для берегов Отчизны дальней...». М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1992.

Прожогина С. В. Между мистралем и сирокко. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1996.

Прожогина С. В. Новая жизнь солярных мотивов в творчестве франкоязычных писателей арабского Запада. — В кн.: «Семантика образа в литературах Востока» (сост. и отв. ред. И. В. Стеблева). М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1998.

Прожогина С. В. От Сахары до Сены. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 2001.

Прожогина С. В. Восток на Западе. М.: ИВ РАН, 2003.

Прожогина С. В. Катаклизм как условие общественной трансформации в творчестве писателей Магриба. — В кн.: «Геном Востока», сост. А. Петров. М.: Изд-во ИМЭМО, 2004.

Прожогина С. В. Вошедшие в храм Свободы. М.: Наука, 2008.

Прожогина С. В. Разлом миров. М.: ИВ РАН, 2009.

Прожогина С. В. Метаморфозы образа Моря. М.: ИВ РАН, 2010.

Прожогина С. В. Алжирская сюита». М.: ИВ РАН, 2014.

Прожогина С. В. Марокканский ноктюрн. М.: ИВ РАН, 2015.

Прожогина С. В. Тунисская элегия. М.: ИВ РАН, 2016.

Прожогина С. В. Магрибинки рассказывают... М.: ИВ РАН, 2019.

Прожогина С. В. Обречение Авеля. М.: ИВ РАН, 2020.

Прожогина С. В. Время не жить и время не умирать. М.: ИВ РАН, 2021.

Прожогина С. В. Взятие Слова. М.: ИВ РАН, 2022.

Спинелли Б. Репортаж из Алжира. — Русская мысль. 1998. № 4216 (апрель).

Токарев С. А. Духи. — Мифы народов мира. Т. I. М.: Советская энциклопедия, 1980.

Топоров В.Н. Пещера. — Мифы народов мира. Т. 11. М.: Советская энциклопедия, 1980.

Фераун М. Дни Кабилии. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1981.

Шрайби Д. Козлы (перевод с франц. фрагментов романа. — В кн. С.В. Прожогиной «Дрис Шрайби, или Новое время в литературе Марокко». М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1986.

### **На французском языке**

Abbase F. La nuit coloniale. P. : L'Aube, 1964.

Alleg H. La question. P. : L'Aube, 1962.

Begag A. L'île des gens d'ici. Seuil, 2006.

Belamri R. Le regard blessé. P. : Gallimard, 1987.

Belamri R. Les femmes sans visages. P. : Gallimard, 1992.

Ben Jelloun T. La prière de l'absent. P. : Gallimard, 1981.

- Ben Jelloun T. Les yeux baissés. P. : Seuil, 1991.
- Ben Jelloun. L'amour fou. — In: «Le premier amour est toujours le dernier». P. : Gallimard, 1995.
- Ben Jelloun T. Cette aveuglante absence de la lumière. P. : Gallimard, 2001.
- Bey M. Au commencement était la mer. P. : L'Aube, 1996.
- Bey M. Sous le jasmin, la nuit. P. : L'Aube, 2004.
- Bey M. Entendez — vous dans les montagnes. P. : L'Aube, 2005.
- Boudjedra R. Le démantèlement. P. : Seuil, 1982.
- Boudjeddra R. La désordre des choses. P. : Seuil, 1990.
- Bounemour A. Les Bandits de l'Atlas. Alger, 1982.
- Bounemour A. Les lions de la nuit. Alger, P. : Ed. du Sud, 1985.
- Bourboun M. Le mont des genêts. P. : Ed. du Sud, 1962.
- Bourboun M. Le mouezzin. P. : Ed. du Sud, 1968.
- Boussedjra H. Le corps dérobé. Rabat — Casablanca, 1998.
- Boussedjra H. Les femmes inachevées. Rabat — Casablanca, 2000.
- Chaouki A. L'étoile d'Alger. P. : L'Aube, 1998.
- Char R. Chants de la Balandraïne, P. : Ed. Pléiade, 1969.
- Charef M. Le thé au harem d'Archi Ahmed. P. : Ed. du Sud, 1983.
- Charef M. Le Harki de Miriem. P. : Ed. du Sud, 1989.
- Chraïbi D. L'enquête au pays. P. : Denoël, 1981.
- Chraïbi D. La civilisation, ma mère! P. : Denoël, 1972.
- Chraïbi D. La mère du Printemps. P. : Denoël, 1982.
- Chraïbi D. La mort au Canada. P. : Denoël, 1964.
- Chraïbi D. La succession ouverte. P. : Denoël, 1962.
- Chraïbi D. Le passé simple. P. Denoël, 1954.
- Débeche Dj. Aziza. Alger, 1955.
- Débeche Dj. Leïla, la fille algérienne. — In: «Revue sociale féminine littéraire artistique», № 1, 25/IX–1947.
- Dejeux J. La littérature algérienne contemporaine. P. : Presse Universitaire, Sorbonne, 1975.

- Dib M. La grande maison. P. : Seuil, 1953.  
Dib M. L'incendie. P. : Seuil, 1954.  
Dib M. Qui se souvient de la mer. P. : Seuil, 1962.  
Dib M. Cours sur la rive sauvage. P. : Seuil, 1964.  
Dib M. La danse du roi. P. : Seuil, 1968.  
Dib M. Dieu en Barbarie. P. : Seuil, 1970.  
Dib M. Le Maître de chasse. P. : Seuil, 1973.  
Dib M. Le maître de chasse. P. : Seuil, 1974.  
Dib M. L'aube, Ismaël! P. : Seuil, 1996.  
Dib M. Si Diable veut. P. : Seuil, 1998.  
Djebar A. Les enfants du nouveau monde. P. : Babel, 1962.  
Djebar A. Les alouettes naïves. P. : Babel, 1967.  
Djebar A. L'Amour, la fantasie... P. : Babel, 1984.  
Djebar A. Le blanc de l'Algérie. P. : Babel, 1996.  
Djebar A. Oran, la langue morte. P. : Babel, 1997.  
Djebar A. Le blanc de l'Algérie. P. : Babel, 1998; 2000.  
Djebar A. La femme sans sépulture. P. : Babel, 2002.  
Djemai A. Le sable rouge. P., Seuil, 1989.  
El-Moudjahid-culture, № 246, 1977.  
Fanon F. Sociologie d'une révolution: l'an V de la Révolution algérienne. Alger, 1959.  
Fares N. Le passager de l'Occident. P. : Karthala, 1971.  
Fares N. Les champs des oliviers. P. : Karthala, 1972.  
Fares N. L'ogresse dans la littérature orale berbère. P. : Karthala, 1994.  
Feraoun M. Le fils du pauvre. P. : Seuil, 1950.  
Feraoun M. La terre et le sang. P. : Seuil, 1953.  
Feraoun M. Jours de Kabylie. P. : Seuil, 1954.  
Feraoun M. Les chemins qui montent. P. : Seuil, 1957.  
Feraoun M. Le journal. P. : Seuil, 1968.  
Gélar M. L. Le pilier de la tente. P. : M.S.H., 2003.  
Guendouz N. Amal. Alger, 1968.  
Hadj Hamou A. Zohra, la femme du mineur. Alger, 1925.  
Khaïr Eddine M. Agadir. P. : Seuil, 1967.



- Khaïr Eddine. Histoire de Bon dieu. P. : Seuil, 1968.  
Khaïr Eddine M. Soleil arachnide. P. : Seuil, 1969.  
Khaïr Eddine M. Le déterreur. P. : Seuil, 1973.  
Khaïr Eddine M. Une odeur de mantèque. P. : Seuil, 1976.  
Khaïr Eddine M. Légende et vie d'Agouchiche. P. : Seuil, 1984.  
Le Nouvel Observateur, 30 oct. — 6 nov., 1996.  
Lemsine A. Ciel de porphyre. Alger, 1978.  
M'Hamsadji K. Le silence des cendres. P. : Ed. du Sud, 1954.  
Mammeri M. La colline oubliée. P. : Seuil, 1952.  
Mammeri M. Le sommeil du juste. P. : Seuil, 1955.  
Mammeri M. L'opium et le bâton. P. : Seuil, 1965.  
Mammeri M. Le Banquêt. P. : Seuil, 1973.  
Mammeri M. Le Foehn ou la Preuve par neuf. P. : Seuil, 1982.  
Mimouni R. La malédiction. P. : Denoël, 1992.  
Mokkedem M. N'zid. P. : Denoël, 2006.  
Mosteghanemi A. Algérie. Femmes et écritures. P. : L'Aube, 2002.  
Nouvel Observateur. № 713.  
Ouary M. Le grain dans la meule. Alger, 1935.  
Ouari M. La montagne aux chacals. P. : Ed. du Sud, 1981.  
Ould Cheikh. Myriem dans les palmes. Oran, 1985.  
Saint-Lorent C.S. Cette haine qui ressemble à l'amour. P.: Denoël, 1965.  
Sefrioui A. La boîte à merveilles. P. : Seuil, 1954.  
Sefrioui A. Le chapelet d'ambre. P. : Seuil, 1956.  
Sensal B. 2084. P. : Seuil, 2019.  
Sensal B. Le train d'Erlingen. P. : Seuil, 2018.  
Sensal B. Le village de l'Allemand. P. : Seuil, 2008.  
Témoignages chrétiens, 7.11.1958.  
Tlili M. Gloire des sables. P. : Seuil, 1982.  
Tlili M. La rage aux tripes. P. : Seuil, 1975.  
Tlili M. Le bruit dort. P. : Seuil, 1978.

Tlili M. La montagne du Lion. P. : Seuil, 1988.

Yasine-Tiouh Tassadite. Si tu m'aimes, guéris-moi. P. : M.S.H., 2006.

## **SOMMAIRE**

Dans le système des leitmotifs de la littérature maghrébine (tels que le Soleil, le Séisme, la Mer, le Désert, la Guerre) la Montagne représente un des «topos» le plus stable de la poétique. Le livre de S. Projoghina «LA RESISTANCE du MONDE des MONTS» dessine une vaste amplitude sémantique des romans maghrébins francophones dont l'action se passe dans la montagne, qui puisse acquérir les traits métaphoriques et symboliques, incarnant et l'intangibilité des traditions millénaires inébranlables et en même temps leur immobilisme leurs stagnation; leur inviolabilité comme le garant de l'identité du peuple et en même temps leur avertissement constant de la guerre menée pour l'indépendance des pays.

Les chapitres du livre de S. Projoghina est une suite des thèmes concernant le problématique des Romans de Maghrébins où les monts sont représentés et comme un locus-rempart de la garde de l'honneur de la femme et la «vaillance» de l'homme dépendant de cette qualité (L. Débeche «Aziza»); et comme locus-refuge de la coutume antique de la vengeance Sanglante, défendant «l'honneur de la tribu» (M. Feraoun «La terre et le sang», M. Ouary «Le grain dans la meule», M. Mammeri «Les chemins qui montent»); et comme «impasse» de la vie traditionnelle condamnant les hommes au passéisme ou les entourant du cercle de l'existence immuable (M. Mammeri «La colline oublié», «Le sommeil du Juste»).

Le Monde des Monts peut être écrit comme la réduction sémantique («la Grotte») en acquérant les traits de l'abrit, le refuge de l'âme en quête, cherchant la paix et le trouvant dans l'amour, ou la femme devient le symbole de la Vie et la pacification des mondes en guerre (M. Dib «Qui se souvient de la mer»).

Mais en même temps la Montagne peut atteindre l'amplification sémantique et devenir l'espace de l'Oasis de la Vie «véritable», presque idéale, absolue dans sa fidélité à la loi de «Ansêtre» (M. Tlili «La montagne de Lion»).

Dans le grand nombre de romans consacrés à la guerre algérienne anticoloniale les monts sont représentés comme le rempart et l'appui de la Résistance à l'Autre, comme le symbole du révolte du peuple contre l'oppression et l'umiliation (M. Ouary «La montagne aux chacals», M. Mammeri «L'opium et le bâton», K. M'Hamsadji «Le silence des cendres» etc.).

Les romans contemporains (comme «La danse du Roi»; «Si Diable veut» de M. Dib ou «Entendez – vous dans les montagnes» de M. Bey ou «2084» de B. Sensal et autres) servent aussi des exemples de l'utilisation de l'image de la Montagne et comme symbole du rempart de la Tradition de la Vie qui personne ne doit interrompre, et comme métaphore de la Résistance aux nouveaux défis mortels du Temps menaçant «du retour de la Nuit»; et comme le souvenir intense (et immuable) du Temps des Héros luttants pour la Liberté. Ainsi «l'ascension», «la descente» et «l'arrêt» de l'homme dans la Montagne marquent les séquences principales de l'Histoire moderne du Maghreb et soulignent la viabilité de l'ancienne mythologème de la Montagne comme le lien éternel entre la Terre et le Ciel protégeant le peuple gardant ses meilleurs appuis spirituels (D. Chraïbi «L'enquête au paus»).

D'un symbole, d'une métaphore à l'autre, **le monde des monts** dans le livre de S. Projoghina représente une vaste amplitude sémantique concernant les thèmes principaux des époques pré- et postcoloniale décrites dans l'oeuvre des écrivains maghrébins qui puisse souvent servir comme un source inépuisable des connaissances ethnographiques, socio-culturelles et même politiques.

# **ПРИЛОЖЕНИЕ**



*Тассадит Ясин*

## **ЭТНОЛОГИЯ ЧУВСТВ В КАБИЛИИ: ЛЮБОВЬ И ЕЕ ВЫРАЖЕНИЕ\***

Старое время, предшествующее колонизации, в Кабилии называют недвусмысленно — временем силы (что подразумевает насилие). И это означало целую эпоху как результат определенных антропологических и исторических условий.

Сегментная организация общества представляла схематически расходящиеся и все возрастающие концентрическими кругами разные групповые объединения людей — от отдельной семьи до клана, от клана до племени, от отдельных поселений до целых деревень. И каждый человек определялся своей принадлежностью к этим образованиям. Это было и своеобразной общей подстрахованностью, и основой исповедания определенных коллективных ценностей, лежащих, в свою очередь, в фундаменте социального порядка.

Кабильское общество былых времен было обществом без государственной власти, т.е. не определялось индивидуальной ответственностью или какими-то институтами, наделенными исполнением каких-либо законов. В связи с чем «закон насилия», царивший в обществе, был в своем роде коллективным. Ибо обусловленным теми самыми «коллективными ценностями», заложенными в основу происхождения самого общества. И в нем поэтому царила знаменитая тирания — Власть Традиции. Соперничество межсемейное, межклановое, межплеменное вплоть до открытой

---

\* Фрагменты книги: Tassadit Yacine. Si tu m'aimes, guéris-moi. P., 2006. Перевод С. В. Прожогойной.

враждебности и мести было практически правилом жизни на всех социальных уровнях, где каждый утверждал свое существование, защищался, и где, естественно, преобладала «мужская сила». Индивид сам по себе не мог существовать независимо. У каждого была своя роль в определенной социальной игре, но каждый был обязан вносить свой вклад в укрепление своей социальной группы. Соблюдение Власти Традиции жизни исключало обращение внимания на какие-то личностные заботы и заинтересованность. И если кто-то что-то хотел заявить именно «о себе», то это было равнозначно самоубийству.

Разность «экономических состояний» была в традиционном обществе практически минимальной. И экономика в целом была неразвитой. Чья-то «добыча» или чье-то «состояние» не были причиной диверсификации иерархии и привилегий. Главным была власть Патриархов, отцов-основателей рода-племени, власть традиции мужской силы и превосходства. Мужчины были прежде всего обязаны и должны обеспечивать и доказывать свое превосходство, защищать «честь своего племени», а не стремиться к «роскоши жизни».

...Спорадически главенство такой силы проявляется для защиты от распространения другой препятствующей традиционной социальной организации. Манипуляция таким «кодексом чести» — целое искусство. И если возникают случаи «забвения коллективной памяти» или какие-то «опорные вопросы», право Власти Традиции, сам Дух ее прерывали их. В кабилском обществе всё должно было подчиняться этой почти иррациональной силе неких условных ценностей... И это было гиперуважение именно «мужского начала» в обществе, где царила и своеобразная игра разного рода «мужских авторитетов». Но и разнообразные роли в этой игре были подчинены лишь преобладавшему в изначальной традиции некоему гипотетическому убеждению, что «власть мужчины — от самого бога». Хотя и было



очевидно, что природу человека победить нельзя. И час-тенько правила человеческого общежития нарушались, и сами мужчины уставали от своих «предназначенных небом» ролей, и впоследствии, в связи с различными историческими событиями (арабизацией, исламизацией, влиянием Османской империи и т.д.) родоплеменные традиции в кабилском обществе так или иначе трансформировались. Французская колонизация внесла и свою лепту. В Кабилию достаточно часто ссылались неугодные французским властям разного рода и происхождения «граждане» и из Европы, и даже имамы из юго-западного Марокко. И уже тогда, с середины XIX в. началось это «перенаселение» Кабилии, которое длилось вплоть до обретения Алжиром независимости в 1962 г. Или, точнее, проникновение в эту почти неприступную, окруженную, как крепость, со всех сторон горами, защищенную властью своей Традиции среду такого рода элементов, которые не могли не повлиять на характер ее изначальной социальной и моральной организации. Но это общество было уже и до французской колонизации, уже и в XVIII в., резко отличным от другой части алжирского населения, проживавшего в цветущих, плодоносных долинах, где людей было гораздо меньше, но жили они значительно богаче, чем горцы Кабилии, чаще всего просто «выживавшие» в своем суровом природном краю, где властвовали древние традиции и представления. Но люди, предпочитавшие жить так, а не иначе, сами выбрали себе такую судьбу и свой выбор по-своему оправдывали. И так или иначе, но почти пятисотлетняя история (хранившаяся коллективной памятью) этого края выдержала многие исторические потрясения и не знала никаких «оккупаций» и угнетений иностранцами до эпохи французской колонизации. Потомки этих изначальных горцев и до сих пор пытаются свято хранить свою идентичность. И даже новые «заселенцы», так или иначе очутившиеся в горах Кабилии, посланные ли туда или оказавшиеся в них по иным причинам,

были вынуждены считаться с этим идентификационным детерминантом кабиллов...

Одна кабийская поговорка коротко определяет три группы людей, которые формируют его «социальную ориентацию» на незыблемость фундамента самого существования кабиллов: «Люди чести. Люди отверженные. Воины» (с. 15). Последствия соблюдения такого рода «правил жизни» сопряжены со строжайшей дисциплиной на всех уровнях и во всех сферах существования. Есть и такие сферы жизни, где диктат Традиции даже преувеличен. В частности, это — любовные отношения. Здесь он — просто императивен. Конечно, это касается всех традиционных обществ, и в каждом из них — своя специфика. Но если свести всё к главному, то, с одной стороны, — любовь необходима для продолжения жизни, с другой — ее разные проявления (порой трагические) общества как бы не касаются. Ему для поддержания «порядка жизни племени» прежде всего нужны только мужчины. И именно они должны «охранять жизнь женщины» для воспроизводства жизни своего племени. Проблема заключалась только в том, как придумать социально-приемлемые формы для внедрения такого рода потенциально опасной нормы жизни, исключающей любую возможность и даже предположение существования проявления какого-то эроса. Всё решалось только мужчинами, всё делалось только с их согласия и свершалось по их воле (P. Bourdieu. *Sociologie de l'Algérie*. 1961; P. Bourdieu. *Esquisse d'une théorie de la pratique*. P., 1972. P. 15–62).

Женитьба, замужество — всего лишь социальные акты... Речь никогда не шла о личностях, об индивидуумах, но только просто о людях. И женщину часто при рождении называли не по имени, а по фамилии того рода-племени, которому она принадлежала. То есть — дочь из аит-Узалемов, к примеру, или аит-Хамза и т.д. (В современных странах Северной Африки эта традиция сегодня не принята в городах, но женщина обязана принять фамилию мужа.)

В традиционном обществе вообще как бы и не существовало даже никакого намека на возможность проявления каких-либо человеческих чувств в отношениях мужчины и женщины. Каждый ощущал их внутри себя, но не показывал. В Кабилии, да и в целом в Алжире, до не столь давнего времени супруги даже никогда не называли друг друга при всех по имени. И в молодости они делали вид до свадьбы, что просто не знают друг друга. Хотя через неделю, в первую брачную ночь, часто открывали свои чувства и узнавали и себя, и своих брачных «союзников». Но в целом долгий период существования традиционного общества не способствовал установлению гармонии в человеческих отношениях, и понятие «счастье» было крайне редким случаем...

Женщина прежде всего была предназначена стать только матерью. И все социальные ее «роли» сводились только к умению хорошо вести домашнее хозяйство. Существовала даже поговорка: «Хорошая домохозяйка стоит хозяину дома дороже, чем пара быков». Конечно, женщина должна была во всем помогать своему мужу, даже когда он с кем-то воевал, ухаживала за ранеными, обеспечивала воюющих провизией. В мирное время ухаживала за садом и огородом, собирала по весне разные травы, и целебные, и съедобные, соблюдала экономию в ведении домашнего хозяйства, — зимы в горах выдавались холодные, земля не плодоносила, и запаса продуктов могло не хватить до следующего урожая.

Таким образом, брак был тоже некоей «коллективной необходимостью», — от умения выживания одной семьи зависело и благополучие рода, и клана, и племени. Однако, на разных праздниках присутствовали в основном только мужчины. (Танцовщицы, певицы — дело особое...)

...Для женщины порой брак был сопряжен с полной утратой своей идентичности. И как *личность* она себя могла реализовать только в рамках семьи мужа. Фактически ста-

новясь работой, предназначенной для продолжения рода и обеспечения домашнего быта. Во многих регионах Кабилии уважение к себе женщины получали лишь в старости, когда становились уже «старшей хозяйкой» (над другими женами своего мужа). А он был всегда «силой» такого порядка вещей. Но он умел и воевать, и пасти скот, и обрабатывать землю. Феллах — кабийский крестьянин, означал не только способность к земледелию, но и статус человека, ответственного за сохранение самого сообщества, серьезно думающего и о его существовании, и о его отношениях с окружающим миром, а не только об удовлетворении своих собственных нужд и желаний. «По молодости» он мог еще и совершать какие-то вольности, «безумства», но с момента вступления в брак — он должен был целиком принадлежать миру традиции.

Как же выражались чувства? Поскольку женщине в традиционном кабийском обществе отводилась только особая социальная роль, в которой стирались практически ее чисто личностные качества, считалось, что и все ее внутренние чувства, ощущения, переживания должны быть подчинены лишь задаче охранения и сохранения тех ценностных представлений, которые лежали в его основе. Они тщательно передавались из поколения в поколение, и если в женщине вспыхивали какие-то иные эмоции, то это считалось чем-то иррациональным, угрожающим общественному порядку, за которым не только наблюдали мужчины, но и держали наготове свою возможность подавления разного рода волнений и протестов, вносящих смуту в незыблемость определенных устоев. Женщине нужно было только смиряться со своей природной «участью» давать жить и идти на смерть с одинаковым безразличием.

Поэтому любовная страсть, к примеру, в традиционном обществе — опасность, нонсенс. Это касалось и мужчин, если они позволяли каким-то образом обнаруживать свои чувства, к примеру, в слагаемых ими стихах [см., напр.,

«Любовную кабийскую лирику» (L'isli ou l'amour chanté en Kabyle. Т. Yacine. Р., 1988)]. В мужской «любовной лирике», сохранившейся в устном народном творчестве, проявлялась какая-то почти «сверхъестественная», космическая сила преодоления установленных Законом Традиции правил жизни, вплоть до нарушения религиозных догм: «Я сошел с ума от любви к тебе // на второй неделе поста // Захотел прийти к тебе, лечь с тобой // Так почувствовать рай // А не в Мекку ходить!..» (с. 18). Такие формы протеста вызывали реакцию родственников по мужской линии, и поэта обычно жестоко наказывали. Часто заканчивалось смертью, показательным карательным зрелищем, призванным напомнить о неколебимости социального и морального порядка (подр. см. Р. Bourdieu. Op. cit.; «Le sens pratique». Р., 1980).

Мужчины программировали все уровни жизни: праздники, работу, урожай, торговлю... Но область человеческих чувств была и оставалась единственной неподвластной им сферой. И под неожиданным их взрывом, напором, «иррациональным прорывом» они могли противостоять только подавлением человеческой природы. Человеческая страсть считалась феноменом ненормальным. Как магия, чем-то маргинальным, оккультным, манипулируемым сомнительными социальными силами, борющимися с догмами ислама. И если кто-то прибегал к такого рода способам овладения женщиной или мужчиной, то, значит, имел дело с самим сатаной...

Однако, само любовное поведение, так или иначе, связано с процессом с процессом *очарования*. А это уже само по себе — область чар, особой магии, влияния чего-то такого, что понятно и известно одной лишь человеческой природе. И если людям это свойственно, то, естественно, может стать или лечь в основу причин разного рода и семейных и других групповых конфликтов и противоречий. Человеческая и социальная психология нераздельны и

взаимозависимы. ...Прибегать к власти только мужской силы и доминирование только традиции, опирающейся на эту Власть, — значит, не вполне осознавать всю полноту социальной ответственности, что приводит и само общество к недостаточности своей власти над человеком.

Но постепенно кабилское общество приспособилось к дифференциации разного рода человеческих взаимоотношений, установив различие любви и брака, возрастных чувств и привязанностей человека, его праздников и будней, его гендерных отличий и способов выражения человеческих чувств и привязанностей. Существовала разная музыка и слагались стихи.

Жанр *izli* особо был распространен именно в горах Среднего Атласа (Кабилия, Риф), где практически стал национальной формой любовной лирики, в области Сетиф часто называемой «песенкой» (*tizlit*), поскольку был коротким стихом, исполняемым под музыку. Но это не означало ни его «легкость», ни его малозначимость. Наоборот, в такой малой, легко запоминающейся форме люди могли выразить всё то, что их волновало лично, всё многообразие своих и чувств, и переживаний, и настроений. И в отличие от больших стихотворных форм, существовавших в устном народной творчестве и знакомых профессионалам (*asefru*, *taqsidin* и др.), малые были доступны каждому и часто исполнялись (об этом подр. см. Т. Yacine. *Izli ou l'amour chanté en Kabyle*. P., 1988).

...«*Izli*» часто звучали и дома, и на свадьбах, и в обрядах обрезания. Традиционные обряды, праздники только подчеркивали «всенародность» и значимость таких «любовных песенок». Праздники по-своему прерывали рутину жизни, почти рабскую повседневность, и «легкие песенки» словно вырывались на свободу из души людей вместе с их человеческими чувствами, с их напором, насмешкой, иронией, преодолевая печаль и грусть некоего «траура» человеческих надежд, несвободы, традиционных «обязанно-

стей», диктата особой морали, зависимости от ее Власти закона предков. Под музыку на праздниках не только звучали песенки, но люди и пританцовывали, и просто пускались в пляс, нарушая все «табу». Люди «открывались», обнажая свою душу, — в обычной, повседневной жизни это было практически запрещено делать «на публике».

И организация таких праздников (и свадеб, и торжественных ритуалов) целиком зависела именно от женщин. Во многих районах Кабилии местом проведения таких «веселий» были не только дома семейств, но и внутренние дворы за тыльной их стороной, где пространства было больше. По-кабийски эти праздники назывались *urar*. И надо сказать, что большинство слагаемых в народе «любовных песенок» принадлежало тоже женщинам. А вот «серьезные» жанры устной поэзии принадлежали в основном мужчинам. И не потому, что в традиционном обществе с понятием любви было связано нечто иррациональной, способное охватить приступом безумия страсти и мужчину, и женщину, служившей источником порождения этой стихии, считаемой «злом», но потому, что такого рода «правила игры» в традиционном обществе были установлены без участия женщин. Закон Власти мужчины не хотел считаться с женщиной, с условиями поведения каждой человеческой личности в разных ситуациях человеческих отношений. Всё было заранее «сказано», «велено», предусмотрено, даже если кто-то этому внутренне противился.

Возможно, именно в любовной, лирической песенке, порой дозволенной женщинам для исполнения, и рвалось на волю их естество и их природа, — но оно так или иначе было ограничено рамками «праздника», дабы не стать все разрушающим оружием устоев Традиции.

Но праздник — даже периодический — эфемерен. Был — прошел. А повседневность всегда рядом. И есть постоянное место, где женщины могут свободно разговаривать друг с другом, выражая свои чувства. Мужчины приходят

на свои собрания, у них есть открытая площадь для этого и в селениях, и в городах. А у женщин — свое особое место для встреч друг с другом, словно самой удаленностью от мест обитания людей предназначенное именно для них. Это — источник воды. Там, где бьют чистые струи, текут ручьи, живет и дышит сама природа. Топографически такие источники достаточно удалены от населенных пунктов — в сельской местности, где-то позади уже самых крайних домов, неподалеку от леса, там, где кончается возделанное поле. Однако место, где бьет источник, всегда окружено деревьями, что создает ощущение пространства как-то закрытого, словно дом родной. Там и собираются женщины, ходящие за водой, — это их исключительная привилегия в традиционном обществе. У мужчин — свое собрание — *tajmaet*, у женщин — свое — *tala*... Мужчины определяют законы жизни, возлагают на себя ответственность за человеческое существование. У них другие заботы. А жизненно необходимую воду, которую дают источники, силу их животворных струй, — это приносят женщины, это их забота. Так решили мужчины. Но как бы при этом «сослали» эти природные фонтаны в места, удаленные от селений, от среды постоянного обитания людей. Словно захотели как-то амортизировать последствия воздействия живой природы, называемой «дикой». Хотя и в места не столь уж и далекие — иначе можно было бы и потерять контроль над поведением «своих женщин».

Но женские «встречи у фонтанов» стали и сами неиссякаемыми «природными залежами» всех тех сил, всех надежд, всех призрачных мечтаний, всех желаний, всех тех слов, которые рвались из тел, из сердец женщин, приходящих за водой, рассказывающих друг другу свои «истории жизни», эпизоды из которой потом слагались и в стихи, на которые сочинялась музыка, исполнявшиеся как коротенькие «изли» на семейных праздниках...



Ветер тополек качает.  
А ты меня всю взволновал.  
О, ножка девичья, о, ее улыбка.  
Вы убиваете меня!  
О, «да» не говори мне сразу!  
И «нет» не отвечай! Приблизусь я к тебе!  
Сказала мне: «К источнику приди!»  
Напрасно ждал ее. Промок весь под дождем.  
Ты лучше позаботься о жене!  
Подружкою твоей я долго не пробуду!  
Того, кого люблю, и знать меня не хочет!  
А тот, кто мне не мил, всё ждет меня и ждет<sup>1</sup>

Для выражения чувств есть не только пространство, но и время года. К примеру, в Кабилии, как и во многих областях Северной Африки, — это осень, период сбора плодов, угрожая, после жаркого лета и накануне наступления холодной зимы в горах. Осень — пора особых праздников и выражения на них чувств и настроений человека.

Обычно это и пора свадеб, любви, признаний и откровений, как в одном из безымянных *isly*:

Ты — моя осень, вкушаю сладость плодов  
И собираю свой урожай!

(Т.У. 1988, *poèmes*. 136:209)

Даже в стихах великого кабийского народного поэта Си Моханда<sup>2</sup> (чье творчество собрано, записано и переве-

---

<sup>1</sup> T. Yacine. Op. cit. С. 36–37.

<sup>2</sup> Si Mohand (Mohand - ou m'hand ad Namadouche, т.е. Моханд из племени Хамадушей). 1845–1906 гг.) Это кабийское племя восстало в 1871 г., борясь за освобождение от французского колониализма. После жестокого подавления восстания племени оставшиеся в живых бродили по стране, рассеялись среди других горных племен. В их числе был и Си Моханд, которого скитания вдохновили на поэтические творения, где он воспел и свой жизненный путь («предназначенный только воле Аллаха»), и удел существования его народа в нищете и поисках «забвения и счастья». Короткие *isfras* - напевные

дено на французский современным писателем Мулудом Маммери. — С. П.) осень воспета по-особому: как время предчувствия особой радости, связанной именно с наступлением *светлого* и радостного периода жизни, а не с приближением печали зимних холодов:

Дни теперь приближают весну.  
Люди! Мужчины и женщины,  
Возрадуйтесь жизни!

(М. Маммери. Роèmès. Р., 1969. ст. 203:358)

Ну, а если в году есть особый сезон, то в летах человеческих, как мы знаем, есть и особое время жизни: юность. Хотя юность и скоротечна. А потому в народной поэзии она часто уподоблена и женщине, чья жизнь питается романтической надеждой на Любовь, и самой природе, где сезон сбора плодов тоже недолог, — между летом и зимой,

---

стихи, звучавшие из его уст, имели большой успех у слушателей, бережно сохранявших их в памяти, а впоследствии были записаны со слуха в латинской транскрипции энтузиастами - собирателями фольклора. Переводы с кабийского на французский язык сделал со временем алжирский писатель Мулуд Мамри, создавший при Университете Алжира Центр берберологии, закрытый в 1974 г. во время проведения уже новыми алжирскими властями культурной политики тотальной арабизации своей страны. Но его архив сохранила антрополог Тассадит Ясин в Париже, и в 1994 г. совместно с Мулудом Мамри был издан сборник стихов Си Моханда.

Почти 300 образцов этих стихов с параллельно воспроизведенной в тексте книги латинской транслитерацией с кабийского - чаще всего ритмизированные трехстишия, где в каждом из трехстрочных куплетов - свидетельства и о мудрости опыта поэта, и порой афористичности его мыслей, почти прогностических. Это, видимо, и отличает *isefra* как мужскую лирику от *izli* - преимущественно женскую поэзию, исследованием которой долго занималась Т. Ясин. Для примера осмелюсь процитировать несколько строк из *isefra* Си Моханда:

«Как поменялись монеты сегодня! Плачут они.  
Но слезами не смоешь их вес.  
Потерпите. Время придет! Для меня и для всех!» (из № 6).  
О Господи! Спаси  
Повергнутое в траур сердце!  
Изгнание снести терпенье ниспошли (из № 86)  
Как изменилась ты, страна моя!  
Добычей став для негодаев.  
Меня же они изгнали, посчитали негодным для себя (из № 255).

(Si Mohand. Isefra. P.: MSH, 1994)

и именно в этих «регистрах» и звучит «тема юности» как лучшей поры Времени Жизни...

...Но как «сопрягаются» чувства и разум в своих выражениях в традиционном кабийском обществе? Ведь это тоже основа человеческого существования, самой жизни. Но если мужчины — носители «законности» высших ценностей, детерминанты Порядка в жизнеустройстве, и даже творцы «авторской поэзии», а женщины — лишь выразительницы «стихийности», «импульсивности», носительницы «начала природного», с резко ограниченной социальной ролью, то, казалось бы, что *разумного* в способе выражения их чувств не могло присутствовать. Однако, в реальности это не так. И в их «лирике», в их песнях, в *isly*, примеров именно «разумности», самой рациональности — изобилие, и оно тоже — неотъемлемое свойство этого «природного начала»:

Привет вам, девушки!  
Ах, как благоухает ваша грудь  
Гвоздичным маслом, Индии подарком!  
  
Сегодня не набрать воды нам из ручья!  
Он весь забит, испит сюда попавшей рыбой,  
Пытавшейся с трудом добраться к морю!  
  
Я твердо поклялась Ему!  
Приду к источнику навстречу с вами,  
Когда вы так же твердо мне прикажете: «Приди!»  
и т.д.

(Т. Yacine, 1988. Poèmes. 179:255)

В этом словесном (под музыку!) «оповещении» своих подруг у источника с водой о своих чувствах и переживаниях, — много и символики, и знания, и умения самозащиты, что не уступает «по разуму» в извечном поединке женщин и мужчин в кабийском обществе.

Изначально кабилское общество в большинстве своем состояло из оседлого, крестьянского населения, занимавшегося возделыванием своих горных земель. Окружавшая людей дикая природа вдохновляла и их творчество: леса, ручьи, поля, деревья, птицы. Это отмечено всеми исследователями. Поэты и певцы своего пространства, когда хотели выразить что-то «далекое от него», называли его «пустыней, в которой не звучало эхо» (с. 27). ...Это не значило, что формы выражения своих чувств в отношении окружающего мира были свойственны только «простолюдинам». Существовали и стихи, принадлежавшие кабилской «знати». Их собрано немало, и среди них то анонимные, то «авторские», ставшие знаменитыми (и Си Моханд, и Али У. Амруш, и даже вождь племени Аит-Каси и мн. др.). Казалось бы, неожиданным от людей и «могущественных», и обычных слышать лирические стихи, в которых не было места «идеологии». Однако постепенно именно она стала преобладать в процессе эволюции истории колонизации Алжира. И уже с середины XIX в. традиционное общество, пытаясь устоять перед разрушительными ударами французской оккупации, пыталось найти новые формы для выражения чувств и настроений кабиллов. И все чаще в них отражались и растерянность, и смятение. А ведь почти на протяжении трех столетий (как свидетельствуют ученые) кабилское общество оставалось почти неизменным, сохраняя и свои изначальные устои, и формы ощущения своего пространства жизни. Но историки обращают внимание на то, что «внешняя агрессия», вместо того, чтобы подтолкнуть кабиллов «к обновлению» своих социальных устоев, только укрепило желание горцев их сохранить такими, какими были они «по завету предков». И этот особый ригоризм в отстаивании своей «древней самосущности», сказался и на том, что «закон предков» только ужесточил свои требования к тем, кто должен был неукоснительно исполнять его. И вместо того, чтобы использовать какие-то спо-

собы «открыть границы» для получения от новых властей неких прав на «свободную автономию», кабилское общество, наоборот, все крепче «замыкалось» в себе, отстаивая свою «специфику», подчеркивая «самобытность» и даже казалось, что испытывало какое-то парадоксальное удовольствие в такого рода опасной политической игре (с. 61). Но в то же время был очевиден и тот факт, что люди просто боялись, испытывая постоянный страх увидеть полностью разрушенной свою прежнюю жизнь.

И в плане выражения своих чувств и настроений понесло весьма заметный «ущерб», поскольку новая народная поэзия кабил, в отличие от других берберских горных племен, к примеру, амазигов марокканского Рифа, сосредоточилась только на «жесткости» исполнения закона предков.

Сосредоточение кабил только на самобытности привело к автоматическим санкциям всякого рода «незаконной любви» вплоть до казни женщин, еще большим ограничением социальной роли женщин, уже не соответствующей повсеместным в западных странах нормам XIX в. Но таков уж был эффект французской колонизации, когда все правила «традиционного общества» были только ужесточены и закреплены. И всё стало по-другому.

Такие понятия как *счастье*, *любовь* исчезли, стали уделом и судьбой других, а кабилы были предназначены теперь для тяжелой работы, служили для найма в городах Алжира на строительстве домов и дорог, для работы на заводах и шахтах Франции. Их многочисленные дети, оставшиеся с матерями, кое-как выживали на присланные в семьи остатки заработков мужчин... Ничего похожего не случилось в доколониальную эпоху в хранившем «заветы предков» традиционном обществе. Былые времена оборвались, а с ними и «любовь», и «счастье», воспетое поэтами, и женские любовные песенки, звучавшие у весело журчащих ручейков и источников. Хроники сохранили для нас

картину тех времен, записи фольклора остались как свидетельства другой эпохи (см. сб. А. Hanoteau. Poésies populaires du jourdjoua. P., 1867).

Основными информаторами для этих собирателей бесценных сокровищ народного творчества, в котором запечатлены чувства и переживания кабилов, и, конечно же, служили мужчины, и не случайно, что в большей части сборников народной поэзии присутствует «мужская лирика» в ней, разумеется, наличествует их доминантное мировоззрение, но сохранено и женское присутствие. А оно было хоть и на «втором плане», где-то на фоне только «дикой природы, но однако немало значимы в жизни мужчины. (Да и в целом, уже даже в известных древних исторических сочинениях, от Геродота вплоть до периода активной исламизации североафриканских племен в XIX в. отмечалась особая «независимость женского духа», влияние женщин на судьбы мужчин. Известно даже, что именно женщина стала вождем племени, восставшего против оккупации Кабилии французами в 1857 г. Ее звали Фаджа Н'Суммер (с. 62).

...Эволюция кабийского общества в широком смысле происходила под воздействием тех исторических процессов, которые переживала Северная Африка в целом, когда ее земли подвергались разного рода захватам и нашествиям. Их кульминацией можно считать французскую оккупацию Магриба, где алжирская была самой ранней (1830 г.). Всё это постепенно способствовало только лишь ужесточению социальной практики в кабийском обществе (вплоть до такого ограничения прав женщин, как закон о лишении ее права наследования имущества и покойного мужа, и родителей, принятый еще в 1748 г.). И конечно же, в обычной жизни женщине указывалось на недопустимость публичного выражения своих чувств. Смягчалось это только лишь допущением этой сферы человеческой жизни и область «символическую» — поэзию, песню. Но такого рода «стилизация» подлинного мира всех чувств и переживаний, ко-

торые женщина ощущала и претерпевала в традиционном обществе Кабилии, — осталась лишь ярким свидетельством того, что было не просто потаенным, но насильно загнанным глубоко в недра, где царили древние устои. И стихотворное (или песенное) самовыражение, кажущийся личностный протест только подтверждал всевластие Закона Традиции. Правила жизни оставались незыблемыми. И чем ярче был такой протест, тем устойчивее оказывался миропорядок. Это была своеобразная диалектика или взаимозависимость двух концептов Жизни, где боролись человеческое «я» и власть Порядка, предопределенного традиционными ценностями, возможно, даже безразличными к некоему «животному началу» человеческой природы (с. 63).

Песенная поэзия — *izli* — была формой некоей общественной девиации, на которую как бы время от времени закрывали глаза, «допускали», но она служила на самом деле неким амортизатором того общественного насилия, которое, в целом, царило, распределяя социальные роли и мужчин, и женщин, было хотя бы его смягчением, притормаживанием, но само по себе не смогло быть решительным ему препятствием. Хотя напор потока распространения этой формы личностного сопротивления было очевидным проявлением глубоко загнанных внутрь индивидуальных возможностей человека, не столько боровшегося с давно устаревшими предрассудками прошлых времен, сколько пытавшимися найти некую гармонию между самой природой человека и властью над ним определенных групп людей (с. 64).

...Колонизация грубо разрушила старый миропорядок Кабилии. Но каким бы он ни был, он так или иначе нечто существовавшее, само по себе объективно интересное и показывающее, что свобода человека и власть над ним других людей могут вступать в противоречие. ...Ну а Любовь как таковая — всегда есть некая индивидуальная «авантюра», приключения Души Сердца, но как атрибут челове-

ского существования может быть идеалом только в гармоническом сообществе людей, поскольку лишь оно, если уверено в своем существовании, ищет и реализует свои идеалы (с. 65).

Выразителем таких надежд был знаменитый народный поэт Кабилии Си Моханд (о нем см. подр. М. Mammeri. *Les izefra de si Mohand*. P., 1969). И для примера можно процитировать одно из его творений:

Ты можешь собирать цветы любви на лице у нее,  
Когда опущены ее ресницы.  
Но сохранить сумеи достоинство свое  
И будь стыдлив, как и она, если любовь тобой владеет.

...Очевидно, что уже на исходе XIX в. Кабилы больше не могли жить по законам своего традиционного общества, а значит уже и устное народное творчество больше не воспроизводило те противоречивые основания, которыми была порождена и женская, и мужская песенная поэзия, насыщенная аллюзиями, метафорами, полунамеками, выражавшими потаенные чувства, сокрытые прилюдно эмоции, недозволенные социальным порядком. Поэтому в *izefra* Си Моханда больше морали, привнесенной новым временем, прививавшем другие основы человеческого поведения. «Традиционные ценности», державшиеся на Завете Предков, Власти мужчины, разрушались. И с 50-х годов XX в. вообще изменились жанры поэзии кабиллов, — многие оказались на чужбине — и на заработках, и в изгнании. Появлялись стихи, навеянные горькой жизнью «изгнанничества» (*poésie d'exil*). А в художественном творчестве алжирцев в целом уже формировалось искусство нового типа, складывалась литература писателей, сформировавшихся уже во французской колониальной школе. Она по-своему спровоцировала «национальный ответ» алжирских прозаиков, поэтов, драматургов, уже, в отличие от французов, описывавших и анализировавших жизнь своего народа с позиций необходимости освобожде-



ния от колониального гнета. Так же как и сама колонизация, спровоцировав определенные социальные изменения и «подвижки», привела к войне алжирского народа за Независимость, в свою очередь уже окончательно пытавшейся разрушить основы «крестьянского уклада» традиционного общества (с. 70).

Начавшееся уже в 60-х годах XX в. массовое переселение народа в города, «урбанизация» приводила и к своим парадоксам — своеобразной «крестьянизации», привнесения «деревенского уклада» в городскую жизнь, поскольку новые «горожане» частенько просто не могли избавиться от своих деревенских привычек (держали на балконах коз или овец, а на окраинах высаживали и свои огороды, и даже привозили грузовики с землей или песком, чтобы посадить любимые деревья или пальмы (Это — из личных моих наблюдений 1964–1967 гг. — С. П.).

...Я встречала их потомков и в 70-х годах, и в 80-х, и в 90-х, брала у них интервью и обнаруживала, что в Алжире постепенно разрушались в целом основы разноликой культурной «самобытности» под натиском идей специфического «социализма», «тотальной арабизации», вытеснением «берберологии» из сферы науки и пр. Всё это оставило неизгладимые следы и в современности, — Алжир слишком много пережил различных драматических событий в своей новейшей истории. И по-своему загнанные внутрь какие-то претензии на самобытность снова парадоксальным образом вылились волной нашествия исламизма, в конце 80-х залившей Алжир гражданской войной 90-х. В этой новой, затяжной войне народ боролся уже с возможностью прихода к власти исламистских фанатиков, беспощадно уничтожавших в стране интеллигенцию и снова по-своему жестоко ущемлявших права женщин и принуждавших «к молчанию»\*. Так им виделся «возврат к истокам»!..

---

\* Эта эпоха воссоздана в творчестве таких известных алжирских прозаиков, как М. Диб, Р. Мимуни, Р. Буджедра, А. Джебар и мн. др. См. подр. об этом в наших работах:



Мари-Люс Желар

## ОПОРНЫЙ СТОЛБ

### Ритуалы и представления о чести в племени Аит-Кеббах (Тафилалет (фрагменты))<sup>\*</sup>

«Завязать ветер узлом, чтобы поймать воду».

Так говорят в племени Аит-Кеббах о любом невероятно трудном предприятии. Эта метафора может быть применена к процессу исследования понятия чести.

Если считать, что это понятие только свойственно родоплеменным обществам, в которых распространен обычай кровной мести (вендетта), то можно просто сказать, что эти общества — архаичны. Если же понимать честь как источник и современных конфликтов, то это понятие можно исследовать на базе символических представлений, постоянно бытующих в повседневной жизни. Возьмем для примера одно из племен из деревни Мерзуга.

Аит-Кеббах проживает на юго-востоке Марокко и составляет группу кочевников-берберов, издавна промышлявших торговлей через Сахару. В настоящее время они ведут в большинстве своем оседлый образ жизни, что вызвано отчасти изменениями территориального деления, произведенными французскими колониальными властями, в ходе которых «обрезано» около двух третей их ареала проживания. К тому же большинство членов племени подчинились навязанной извне политике массовой насильственной оседлости.

---

<sup>\*</sup> Из книги: Marie-Luce Gélar. Le pilier de la tente. Edition: Maison des Sciences de l'Homme, 2003. Избегаю употребления слова столп, потому что во франц. названии книги — именно «Столб, на котором держится палатка». Этот образ одновременно запечатлел о образ самих устоев традиционного общества. — С.П. Перевод с франц. С.В. Прожогойной.

В прошлом это были могущественные и свободные воины. Но их давнее мироустройство и до сих пор особым образом отражается в повседневных представлениях...

Настоящая работа касается современного состояния, эволюции и трансформации понятий чести в берберской деревне, в ее различных социальных и половых группах: последнее особенно актуально, поскольку позволяет по-новому взглянуть на антропологию... Это помогает определить стратификацию общества на базе изучения его представлений о таких различных и сложных понятиях, как **честь, стыдливость, достоинство** или **позор**.

Понятие чести может выявить и отношение данного общества к своей собственной идентичности, к другим, к пространству и времени в общем, к его представлениям о мире в целом.

В значительной степени социальный строй и культурный континуум Аит-Кеббах обусловлены их гипертрофированным чувством чести, и оно предстает как мобильная система ценностей.

Кодекс чести представляет значительную часть их мировосприятия. Его идеи определяют их нормы поведения, предписанные и предпочтительные. Однако сами по себе данные представления отнюдь не очевидны, поскольку они редко вербализуются и не столь наглядны, чтобы отражаться в форме ритуалов.

Семиологический анализ в первой части работы посвящен описанию лексической стороны, терминологии понятия чести и позора в языке тамазиг деревни Мерзуга в речи мужчин и женщин.

«Грамматика чести» свидетельствует о фактах, которые можно наблюдать на практике как подлинную актуализацию логики чести. Этому посвящена вторая часть работы, касающаяся культурной практики социального взаимодействия и оценки происходящего. Здесь выступают на первый план прежде всего отношения человека к возделываемой

им земле, когда имплицитно понятие чести проявляется в ежегодном распределении общинных земель, а в условиях оазисов, и распределения источников воды и оросительных систем. В Мерзуге нормы частных и коллективных действий регулируются общественным мнением и отношениями между людьми, знакомыми друг с другом, что вызывает определенную строгость в соблюдении деревенской чести.

С культурной практикой соседствуют ритуалы, касающиеся и индивида, но в большей степени проявляющиеся в массовых церемониях, таких как свадьба и другие семейные торжества. В коллективные понятия о чести входят отношения между членами деревенской общины, семейные связи и ритуалы альянсов. Они соблюдаются также и в отношениях между полами.

...Наконец, представления о чести в одной социальной группе позволяют нам судить о мировоззрении значительной части общества, не только внешних принципах его поведения, но и зачастую самых глубинных и скрытых.

## 1.

### Мерзуга: анклав в Сахаре\*

Мерзуга — деревня, созданная в тридцатые годы XX в. в ходе массового принуждения к оседлости племен Аит-Кеббах\*\*, начавшегося еще в 1918 г. В ней живут бывшие кочевники.

В эпоху протектората французам с огромными трудностями удавалось умирять этот регион. К моменту получения Марокко независимости в 1956 г., французские войска в Алжире были атакованы коалицией юго-восточных марокканских племен, в число которых входили и Аит-Кеббах. В 1963 г. разразилась «война песков», разделившая

---

\* Необходимо уточнить, что этот «анклав» — своеобразный пограничный оазис в горной долине — там, где кончаются Атласские горы в Марокко и начинается пустыня (С.П.).

\*\* Один из возможных вариантов перевода этнонима «Аит-Кеббах», в рамках древнего мифа, — «люди с когтями».

алжирцев и марокканцев по обе стороны установленной колониальным режимом границы. Споры по этому вопросу ведутся до сих пор, поскольку Марокко так и не ратифицировало договор о границах.

В деревне Мерзуга нет ни одного государственного учреждения за исключением почты, построенной в 1970-х годах. В административном плане деревня полностью зависима от центра Тауз. Здесь нет дорог, и деревня совершенно изолирована, находясь на многие километры вдали от ближайших населенных пунктов (35 км к юго-востоку от Риссани и 50 км от Эрфуда).

Она принадлежит к населенным пунктам, входящим в сельскую коммуны Тауз (12 деревень с общим числом жителей 4446 чел.). Сюда же примыкают все кочевники, обитающие к востоку и югу от эрга\* Шебби. В Мерзуге 1100 жителей, в ближайшей деревне Хасси-л-биед — 650. (Ранее фиксировалось около 9 тыс. жителей, так что можно предположить, что здесь были проведены административные меры по разукрупнению, либо произошла значительная эмиграция).

Располагаясь в сахарском анклав, Мерзуга существует в рамках сахарской хозяйственной деятельности, где невозможно земледелие без устройства оросительных систем. Старики-шейхи рассказывают о том, как прежде они должны были строить ирригационные сооружения, чтобы подвести воду к месту устройства будущей деревни, поблизости от которой находится озеро, питаемое пересыхающим руслом реки и ручейков с верховьев Атласа. Переполняясь, озеро изливается в небольшое водохранилище...

Воды постоянно не хватает, а сооружение плотины нарушило традиционную ирригационную систему в прошлом изобильного района. Пальмовые рощи Тафиалета простирались когда-то до самого нынешнего Алжира, откуда при-

---

\* Эрг — дорога, путь, проложенные караванами в пустыне (С.П.).

ходили сюда люди за продовольствием. В район вели многочисленные дороги.

Сегодня большинство жителей выращивают финики. Другие стали торговцами, религиозными деятелями или журналистами. Деревня разделена на три квартала: *игри* («деревня»), где живет половина жителей, *тасукт* (район «рынков») и соседствующий с ним *агумадин* («с другой стороны»).

За прошедшие полвека многое изменилось в жизни этого племени: людям пришлось столкнуться и с колониальной экспансией, и стать дешевой рабочей силой на разработках свинцовых рудников; после провозглашения колониальными властями традиционных караванных путей через Сахару из Марокко в Алжир «запретной зоной» и проводимой шерифской империей в 70-е годы политики «больших плотин» они были лишены необходимого количества водных ресурсов.

Однако, в числе главных традиционных ценностей племени Аит-Кеббах, сохранившихся до сих пор: их кочевой образ жизни и мыслей и транссахарский транзит...

### **Влияние туризма**

Хотя во время туристского сезона этот район бывает полностью заполнен туристами, любующимися восходом и заходом солнца в пустыне, население деревни очень редко вступает в контакт с иностранцами, которые практически никогда не ночуют в деревне.

Туризм не оказывает практически никакого воздействия на здешнюю жизнь, словно речь идет о двух разных мирах, существующих параллельно друг другу. Многочисленные отели располагаются не ближе 15 км от Мерзуги...

Однако для молодежи племени туризм остается единственным источником существования: она занята в гостиничном деле, ресторанах, в торговле изделиями народных промыслов, экскурсионном обслуживании туристов верхом на

верблюдах. Так создается определенная иерархическая микросистема в обществе, где старшее поколение выступает в основном в роли хозяев, собственников, а молодежь — в качестве бесплатной прислуги; подростки вертятся вокруг туристов, предлагая купить «старинные сувениры»; погонщики верблюдов зачастую зависимы от владельцев гостиниц. Внутри самих гостиниц так же соблюдается возрастная иерархия: молодежь готовит еду на кухне (роль поваров-мужчин несколько снижена, поскольку в традиционной жизни кухня — это удел исключительно женщины), старикам отводится самая почетная роль — готовить чай.

Большинство социальных ролей исполняется исключительно мужчинами. Несмотря на традиционное гостеприимство местных жителей, очень редко молодежь знакомит своих друзей из числа туристов со своими семьями. Все происходит так, будто невидимая разграничительная линия между двумя мирами сознательно соблюдается старшими и поддерживается молодежью. К тому же социальное влияние туризма происходит исключительно среди мужской половины общества, когда мужчины вынуждены заниматься чисто женской работой: стирка, уборка, готовка. Два мира сосуществуют параллельно: жизнь семьи и работа в гостинице. Проникновение женщины в гостиницу непременно воспринималось бы как **полное бесчестье**. Женщинам не позволяют даже стирать дома белье из гостиницы; заставлять жену выполнять подобную работу считается **постыдным**. Вот одно из проявлений сакрального восприятия жилища: принести грязное белье в свой дом значит **осквернить его**. Подобное стремление избежать всяких контактов с туристами объясняет тот факт, что туризм практически не оказывает никакого влияния на старые устои общественной жизни деревни.

Участвующие в туристическом обслуживании пользуются неодобрением своих соплеменников, поскольку на работе традиционный дух коллективизма и взаимопомощи



сменяется индивидуализмом и соревновательной конкурентностью, и деньги, зарабатываемые таким образом, воспринимаются как **грязные**.

Даже когда в деревню на лето приезжают сами марокканцы лечить ревматизм в горячих песках и останавливаются в домах местных жителей, это воспринимается с неудовольствием как вынужденная необходимость принимать у себя этих «чужаков».

### ***Политические структуры***

Традиционные политические структуры сегодня практически исчезли. В настоящее время в деревне существуют следующие виды власти:

**каид** — представитель губернатора провинции, управление которой обычно разделяются между губернатором, главным каидом, каидом и пашой. Он работает в контакте с Министерством внутренних дел, полицией и королевской жандармерией;

**шейх** — представитель государства в деревнях, посредник во всех административных делах (купля-продажа земель, оформление удостоверений личности, сертификатов и т. д.), «государственный доносчик», который дает отчет обо всем происходящем (конфликты, земельные отношения и т. д.);

**мукаддам** — помощник шейха, часто безграмотный; говорят, что он «недолюбливает народ», злоупотребляет властью, как и шейх. После достижения независимости (1956 г.) население Марокко часто отказывалось подчиниться чиновникам, назначавшимся властями, многие из которых сменили местных вождей и не разбирались в ситуации. С целью помочь новым чиновникам и были введены *шейхи* и *мукаддамы*, круг непосредственных обязанно-

стей которых трудно четко определить. Люди же относятся к ним с недоверием как к доносчикам<sup>\*</sup>.

**анехшам** — арбитр в спорах, его роль нередко представительская, он не должен вмешиваться в местные дела. Если уличат в пристрастности, позор падает и на всю его семью;

**факих** — религиозный глава, руководит церемониями, ритуалами, праздниками, свадьбами и др. Это образованный и уважаемый человек, подчас выступающий в роли посредника в тех спорах, которые нежелательно доводить до суда.

Теперь споры внутри деревни рассматривают коммунальные судьи, не доводя дело до трибуналов. Они назначаются по усмотрению государственных властей.

**Амгар рабии** отвечает за состояние пастбищ, общинных выпасов всей коммуны. В каждой деревне есть, со своей стороны, свои главные пастухи, охраняющие пастбище от «вторжения чужаков». Государству сюда доступа нет, продавать пастбище нельзя без согласия всех жителей деревни. Земельные отношения до сих пор регулируются племенными нормами.

Какова на сегодняшний день роль племени в Марокко?

Попытки определения сущности племени продолжались путем систематизации отдельных теорий построения марокканского общества, не объяснявших, однако, чем является в реальности данное понятие.

Отдельные сегментарные исследования<sup>\*</sup> этого вопроса лишены практического значения, т. е. не объясняют реального функционирования берберского общества, в частности, жизни деревни Мерзуга и племени Аит-Кеббах, где родственные отношения, выходя за рамки своего патрилинейного характера, работают как политические, экономиче-

---

<sup>\*</sup> Ситуация, ярко описанная в романе марокканца Дриса Шрайби «Расследование на месте» (L'enquête au Pays. P., 1981; русск. перев. В. Орлова 1989. — С. II).

<sup>\*</sup> Теории, объясняющие общество как конгломерат различных групп или «кланов» («сегментов социума»). — С. II.

ские и идеологические. На «идеологическом уровне» существуют понятия внутренней солидарности отдельных фракций, объединяющихся в единый конгломерат в целях защиты своих родовых интересов.

В рамках племени Аит-Кеббах постоянно действуют договоры о защите и совместном использовании ресурсов между разными племенами, объединившимися против других, являющиеся причиной межплеменных брачных запретов. Старики подтверждают, что никогда не бывало случаев конфликтов или вооруженных столкновений между фракциями одного племени.

Сегментарные теории не учитывают практику индивидуальных общественных отношений, понимая личность лишь как элемент группы (семьи, деревни, племени). Этот тезис обедняет понимание антропологии марокканского общества.

Племя же, хотя и остается неопределенной исторической реальностью, может многое прояснить в социальной структуре. Реальное историческое присутствие племени в обществе, несмотря на свою деструктуризацию, остается неоспоримым. Племя продолжает играть существенную роль в общественной жизни Марокко. Множество марокканцев сегодня в ответ на вопрос о своем происхождении называют не местность или деревню, но **имя племени**, к которому принадлежат. Это касается даже кандидатов на ведущие государственные должности.

Таким образом, можно говорить даже о том, что в Мерзуге племенная организация общества преобладает. В прежние времена кочевники, не имея своей определенной территории проживания, были вынуждены апеллировать к племенной структуре для сохранения своего **социального единства**. Насильственная оседлость не уничтожила это племенное сознание.

Термины, отражающие понятие чести и бесчестья

|                  | Мужчины                                                                                                                                                                                           | Женщины                                                                                                                                              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Честь</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– честный, хороший</li> <li>– стыдливый</li> <li>– храбрый</li> <li>– умный</li> <li>– зрелый, умеренный</li> <li>– серьезный, образованный</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– девственность</li> <li>– постоянное пребывание на женской половине дома</li> <li>– хранение себя</li> </ul> |
| <b>Бесчестье</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– низкий, подлый</li> <li>– трусливый</li> <li>– коварный, предатель, трус</li> <li>– презренный, жалкий</li> <li>– бесполезный</li> <li>– лжец</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– утрата девственности</li> <li>– стать женщиной до замужества</li> </ul>                                     |

Подобная терминология отражает разницу между полами. Женская честь рассматривается исключительно в плане сексуальном. В языке набор средств для обозначения понятия женской чести сильно ограничен рамками сексуальных отношений, о которых должно судить мужчинам, обладающим властью над ними. Любопытно, что важнейшая роль женщин как «создательниц репутации» путем манипулирования словами (соседство, колдовство, сплетни) не находит средств выражения в языке.

...Если в разговоре одна из женщин скажет другой, что она видела девушку с кем-либо, ее собеседница непременноотреагирует на это: *хиума!* То есть — это постыдно.

### *Представления и дискурс чести*

Заметно различие в речи мужчин и женщин. Если жена-тые мужчины описывают свою честь в позитивном аспекте, для женщин дело обстоит противоположным образом. Честь — это то, чего она не должна потерять, и все разговоры исходят из этой посылки. В отличие от мужчин, которые понимают честь как конструктивно выработанную в обществе на протяжении долгих лет норму, позволяющую индивидууму, пройдя определенные этапы, достичь положения честного человека, женщины чувствуют себя носительницами внутренней чести (представления о девственности), которую они призваны хранить в лоне своей семьи. Девушка может лишь сохранить честь, которую она получила при рождении (и которая в некотором роде является чем-то независимым от ее индивидуальности). Она никогда не будет в состоянии ее преумножить. В этом плане общество делает главным действующим лицом мужчину. Он может воплотить в себе честь и ее ценности. К тому же существуют определенные места, где индивидуум имеет возможность проявить себя: мужчины участвуют в различных церемониях, где их могут видеть (честь мужчины требует того, чтобы он был на виду, общался с другими, показывал себя и смотрел на других), а сферой женщин остается пространство частной жизни. Честь женщин менее выявлена потому, что она не так видна. С антропологической точки зрения, здесь можно отметить характерное представление о том, что то, что менее заметно, является и менее значимым, т. е. несущественным. Понимание жизненного пространства как дихотомии — видимого/невидимого, общественно-го/частного, внешнего/внутреннего — может казаться спорным, ибо не обосновано системой ценностей. Антропология обычно исходит из посылки о том, что общественное пространство более ценно и более ценимо, чем домашнее, внутреннее. Однако эту концепцию невозможно при-

нять, поскольку две эти пространственные сферы различны (по своим атрибутам и социальным функциям), и ничто априори не может подтвердить их иерархичность.

### *Мужской дискурс*

Все, что касается мужской чести, должно вызывать живую и немедленную реакцию. Человек, заботящийся о своей чести, должен быть весьма щепетилен и остро реагировать на малейшее оскорбление. О таком говорят, что у него «душа на кончике носа».

Честь мужчины всегда выражена контрапунктом ее возможной утраты, где женщины (особенно супруги) играют особую роль. Поэтому все респонденты, каков бы ни был их возраст, незамедлительно отмечают ту опасность, которую представляют женщины. Для женатого мужчины это одержимость адюльтером. Но мужская честь не ограничена рамками супружеской верности.

Быть человеком чести означает обладать выраженной индивидуальностью, сопоставимой с почтением к предписаниям религии. Честь представляет кодекс поведения, который следует принимать. Также важно общественное мнение, страх сплетен, являющихся, с точки зрения мужчин, исключительно занятием праздных женщин. Они ни в коем случае не должны раскрывать семейные секреты, супружеские проблемы и планы. Ничто не должно выходить за пределы домашнего очага, — так семья защищает себя от внешней среды, всегда готовой воспользоваться семейными слабостями. Некоторые мужчины признаются в том, что сознательно избегают любых контактов с соседями, даже простого приветствия, с целью оградить от неприятностей свой домашний очаг.

**Честь мужчины находится в зависимости от поведения членов его семьи.** Существует знаковое соответствие между внутренней значимостью мужчины и той, которая может быть ему приписана в результате поведения тех, кто

от него зависит. Именно эта двойственность понятия чести оказывает серьезное давление на индивидуума. Даже если он сам безупречен, он находится в зависимости от всех тех, кто зависит от него самого; поэтому он должен с таким вниманием следить за тем, что происходит в его окружении. И чем старше мужчина, чем больше связей у него появляется с теми, кто находится вокруг, чем больше эти связи закодированы, тем менее они персонифицированы, поскольку сам он находится в зависимости от рамок многочисленных семейных событий. Все это заставляет нас говорить о том, что подобная добровольная изоляция является результатом стремления сохранить свою честь. Поэтому мужчины часто пребывают в одиночестве, понимая при этом, что это лишь усугубляет возможности оскорбления их чести, поскольку будучи плохо информированными о том, что происходит, они не всегда могут принять соответствующие меры.

**Представления мужчин отражают страх бесчестья.** Это вызвано бытующими среди них поверьями о существовании заразных болезней, передающих бесчестье при обычных контактах. Находиться рядом с обесчещенным человеком означает стать самому фактически бесчестным.

Бесчестье может быть передано сыну от отца, **оно подвижно**. Сына судят другие по делам его предков, если же он презираем, то бывает вынужден покинуть эти места. Здесь, как и ранее, мы видим двойственность бытования понятия чести. Человека судят не по его поступкам, но по действиям его предков, разумеется, если речь идет о серьезных проступках.

Таким же образом тот, у кого нет семьи, лишен и признания в обществе. Не имеющий отца ребенок *фактически* считается обесчещенным. Происхождение первично, именно оно формирует социальную идентичность личности. **Быть лишенным корней или законного происхождения означает быть вне общества.** История человека во

многом зависит от его предков, они придают ему значимость и возможность стать кем-то в будущем. Как и принадлежность к определенному племени, происхождение человека не пустой звук.

Помимо этих уже известных замечаний, можно выделить одно, наиболее существенное: в понятиях мужчин о чести наблюдается постоянная отсылка к женщинам. Человек чести не может описать и определить свою позицию, не делая аллюзий на поведение женщин. Измены и сплетни понимаются как первопричины бесчестья, они выводят на авансцену «опасных» женщин, которые и «губят честь». Если слушать одних только мужчин, становится понятным, почему обычно женщинам отказывают в честности. Однако, «провозглашенная» норма не объясняет частных различий. Несомненно, что в таком принижении женщин виновато отсутствие соответствующих исследований женского мира.

Между тем, именно тем концепт чести наиболее явственно обозначается в женской среде и именно тогда, когда честь эта кем-то утрачена, и женщины, естественно, тогда и говорят о «бесчестье», имея в виду кем-то потерянную честь.

И здесь — полное единодушие. Бесчестье девушки очевидно, когда она становится женщиной, не выйдя замуж.

Оскорбления, наносимые женщинами, касаются в первую очередь девушек. Женщины играют важную роль в их репутации, именно они судят их поведение, а не мужчины. Все происходит так, словно мир женщин живет за закрытыми дверями. Мужчины вмешиваются лишь в крайнем случае, когда речь идет об из ряда вон выходящем женском поведении.

**Девственность** (*tgba*), будучи главным выражением чести женщины, означает уже при одном ее упоминании кодекс ценностей, организующий общество. Для девушки это символическое семейное наследие, которое следует



хранить. В случае замужней женщины, ее верность обращается в добродетель, становясь символическим достоянием, находящимся под защитой мужа. Если принцип девственности нарушен, то говорят о «вине семьи», а не отдельной личности. На уровне местных представлений, члены племени Аит-Кеббах думают, что если природа одарила особыми физическими качествами одних лишь женщин, то это означает необходимость абсолютной власти мужчины над женской жизнью. Переход женского социального статуса от девичества к замужеству для мужчины важен и как факт не только «законной» утраты девственности, но и его собственной способности лишить девушку ее «достояния».

Страх не быть полноценным (*argaz, ragel* — араб.), потерпеть неудачу в брачную ночь, не соблюсти неперемный ритуал публичной аттестации на способность быть мужчиной объясняется угрозой обвинения в импотенции (или бесплодии) со всеми дальнейшими последствиями и для его общественной жизни.

Для девушки же честь действительно представляется достоянием, которое следует хранить. Она — честь — не только условие семейной чести, но составляет «часть их личности», как говорят сами девушки, хотя их честь и ограничена параметрами оппозиции обладания // утраты.

Постоянное давление на поведение девушек оказывают соседи. Отсюда — вынужденность тщательно контролировать свои действия, поступки и многое скрывать. Честь девушки может быть запятнана, если кто-нибудь увидит, как она беседует с юношей, и уж совсем будет потеряна, если увидят, что кто-то входит с ней вместе в ее дом. Таким образом, там, где ничего нельзя увидеть и проконтролировать, непременно ожидается бесчестье. Пространство жизни и проникновение на «закрытую территорию» обретают особый смысл.

Общественное мнение всегда воспринимается как препятствие. Девушки всегда стремятся избегать разговоров о

себе. Они должны поэтому очень осторожно выбирать себе друзей и подруг, которым могли бы доверять. Сплетни порой приобретают характер настоящих боевых действий («надо сделать щит, чтобы защититься от людских пересудов»).

Гарантией сохранения чести для женщин является замужество. Положение одинокой женщины представляет потенциальную опасность для ее родителей, которые принимают ее после распавшегося брака.

Для девушки, находящейся по своей природе в постоянной опасности, замужество означает конец периода неопределенности. Выйдя замуж, она перестает представлять угрозу для своей семьи.

...Замужество — это самоцель, редко какая девушка хочет остаться одна. Выходя замуж, она обретает высокое положение в обществе: *положение матери*.

В женском дискурсе о чести отражаются в полной мере и все эти опасения, и превосходное понимание своей роли. Общественным мнением они манипулируют при помощи хитрых уловок. Они с ловкостью позволяют себе свободу действий при видимом соблюдении всех норм. И сплетни также становятся одним из средств, которыми они пользуются для того, чтобы добиться или ослабить уважения того или иного человека.

Таким образом, традиционные представления о чести отражают первостепенную роль женщины в этой сфере. И они выступают как неотделимые элементы и мужской чести. Она и существует лишь при возможности нейтрализации неподобающего женского поведения (утрата девственности до замужества, супружеская неверность, предосудительное поведение по отношению к жителям деревни). Честь мужчин и женщин взаимозависимы. Как честный мужчина не должен оставаться холостым, ему нужно иметь супругу для того, чтобы занять достойное положение в обществе — положение главы семейства, так и достойная

женщина должна иметь возможность проявить свои качества хорошей хозяйки и заботливой матери. Для мужчин и женщин честь не может существовать как индивидуальное понятие, вне его детерминированности семейными отношениями. К этой взаимозависимости добавляется понятие комплиментарности ролей в том смысле, что отдельный человек не может считаться достойным и честным без того, чтобы таковыми были признаны и все члены его семьи, предки и потомки, что предполагает также абсолютную честность его жен и женщин его семьи. Если бесчестье может быть следствием женского поведения, то мужчины также могут быть признаны ответственными за него.

«Честное слово» и неспособность сдержать его — не только два способа проявления чести или бесчестья, но и два образа жизни. Данное слово (*awal*) — в своем самом благородном выражении является наиболее подходящей формой обозначения мужской чести. Ложь (*tihllal*) как вид слова, вывернутого наизнанку, превращается в орудие хитрости и обмана, пользуется окольными путями, в то время как «честное слово» слово прямо ассоциируется с честным поведением, с прямоотой.

Когда человек не держит данное слово, он теряет уважение общества. Дать слово означает отдать всего себя будущему действию. Не сдержать его значит ни во что не ставить самого себя. Самые пожилые мужчины наиболее уважаемы, поэтому именно к ним следует обращаться, их слово всегда значимо, в нем можно быть уверенным, в то время как ложь — утрата этого доверия, значит бесчестье.

Слово вообще выступает как определитель личности, а честь черпает свое доверие именно в личных качествах субъекта; всякое слово его, основанное на личном достоинстве, становится словом чести, т. е. добродетелью...

Существует также и определенная иерархия тех мест, в которых произносятся слова. Большинство мужчин, придя к себе домой, отказываются слушать о том, что кто-то

что-либо сказал или сделал. Поэтому те, кто хотят эффективно опорочить кого-нибудь, должны выбирать для этой цели определенные места, но не домашний очаг. Зараза клеветы может осквернить его, поэтому в своем доме не говорят о наветах. Поскольку клеветать постыдно, то действительно бесчестно говорить об этом в своем доме или в чьем-либо другом.

Мужчина не должен бояться самоутверждения словом, которое выступает осязательным и материальным знаком его честности. Поэтому существуют определенные запреты — табу на вербальное определение бесчестия, о котором никогда не говорят прямо без обиняков. Существуют определенные ключевые иносказания, дающие понять, что человек бесчестен. Основная информация передается среди мужчин с помощью двусмысленных намеков, обычно шуточных. Информация о бесчестии передается человеку посредством общественного мнения деревни, обычно реагирующей на любые случаи нарушения установленного в ней порядка вещей.

Значение лжи различается в зависимости от конкретной личности, группы или обстоятельств. Так, к примеру, в обычном случае полицейской облавы арестованный может без зазрения совести лгать о том, что у него нет при себе денег. Подобная ложь даже поощряется, поскольку она означает отказ от отвратительных правил игры в *бакиши* (взятки). Напротив, если это ложь в отношении кого-то из членов семьи или соседей, то она воспринимается как серьезный проступок, нарушение общепризнанных норм кодекса чести в повседневной жизни. В этом случае лжец воспринимается как нарушивший клятву, поскольку слово, сказанное именно в адрес своих близких, — священно; таким образом, ложь становится святотатством, клятвенным преступлением. Очевидно значение данного пункта в бесписьменных обществах, где соответствующую роль играет устное слово... И оно не подлежит критике. Однажды произ-

несенное предками, оно не может исчезнуть. Оно — гарантия существования.

## **2.**

### **Концепт чести**

...Честь определяет особенности поведения мужчин и женщин, выступая как активный принцип, позволяющий определять и изменять их положение в обществе.

Некоторые исследователи пытаются выработать теоретическую концепцию, позволяющую понять механизм поведения человека в рамках понятий о чести, характеризуя его как общий тип «идеального поведения», служащий образцом для индивидуума. Честь, действительно, отражает соотношение между идеальной общественной моделью и ее воспроизведением в индивидуальной практике. Таким образом, честь и, следовательно, статус личности определяется посредством соотнесения его с определенной социальной идентификацией.

Но честь можно понимать двояко: и как форму идеального поведения и как то, что позволяет индивидууму пользоваться «правом превосходства» над другими.

В плане отношений между полами следует различать понятия чести и стыда как характеристики достоинства каждого из них. Когда эти два понятия теряют существующее между ними равновесие, то они принимают специфические для каждого из полов формы (так, краснеть нормально для женщины, равно как и для мужчины использовать физическую силу). Обычно честь — удел мужчин, а стыд — женщин. Это ведет к пониманию различий в родственных отношениях, где мужская и женская нормы чести обращаются в сферах замужества и внутри семьи. В женских социальных группах бытует общее представление о чести, подверженное изменениям. В этом смысле можно говорить о целом комплексе ценностных значений данного понятия.

Поведение в рамках понятий чести воспринимается как накопление некоего символического капитала. Знамени-

тый ранцузский антрополог Пьер Бурдьё говорит о «религии чести» как коллективном понятии, бытующем в замкнутом деревенском микрокосме, где индивидуум находится под постоянным пристальным контролем со стороны других. Легко понять, что категория чести в этом случае превращается в свою противоположность — стыд, страх коллективного осуждения неподобающих действий, регулирующих поведение индивидуума и его отношения с другими. Ученый доказал, что честь является не только регулятором конфликтов, но и главным мотивом многих отношений в обществе...

Каждый социальный класс имеет свой определенный поведенческий уровень. В поддержании чести клана большую роль играют женщины, как судьи и свидетели. Это весьма важный факт, поскольку во множестве исследований игнорируется роль женщин в структуре групповой чести, равно как и в сфере эмоциональной. В деле осуществления кровной мести именно женщины являются гарантами памяти о пролитой крови, и именно они побуждают мужчин к отмщению.

Подобный иерархический принцип чести порой становился паллиативом при отсутствии государственной власти. Тогда честь принимала форму идеологии группы, стремящейся защитить себя экономически и нравственно в мире, управляемом по законам конкуренции племен, как средства защиты идентичности группы.

Таким образом, понятие чести многогранно, подобно многим другим категориям социологии.

...Концепт чести присутствует в современной повседневной жизни Мерзуги, но праздники придают ей особый импульс. Таковы свадебные церемонии, позволяющие проявить этот аспект среди максимально большого количества людей.

Среди прочих аспектов здесь выступает прежде всего гипертрофированная оценка чести со стороны обоих се-

мейств, что отражается в праздничных ритуалах: обмене визитами, подарками, шествие невесты в дом жениха и т. д. Свадебные торжества позволяют установить компенсационные отношения между действующими группами, каждая из которых стремится подчеркнуть свою честь и достоинство, личное и групповое. В рамках подобных процессов может устанавливаться и особый общественный порядок, нарушающий обычные социальные рамки. Например, на свадьбу может быть приглашено все население деревни.

Другой пример. Религиозный праздник жертвоприношения, когда также происходит стирание всех социальных границ. Но в этот день особенно важна утренняя молитва, объединяющая всех мужчин деревни в присутствии имама. Затем имам выходит из мечети и следует по главной улице, стремясь к полному равноправию жителей — самых скромных и самых влиятельных семейств.

Праздники в целом выступают как преодоление социальных барьеров; праздник — это противоположность повседневности. Подобная трансгрессия норм обычной жизни отражается и в рамках свадебной церемонии, выставляющей напоказ отношения мужчины и женщины. В берберских деревнях в целом интимные отношения и всё, что касается половой сферы, тщательно скрыто от посторонних глаз непроницаемыми стенами домашнего очага как гарантии интимности. И то, что принято называть «свадебной кровью»<sup>\*</sup>, является *ритуальным нарушением* обычно соблюдаемого таинства половых отношений. Именно необходимость **конкретной манифестации чести** требует от юноши конкретного доказательства его мужественности, а от девушки — своего неопровержимого атрибута женственности: половой чистоты. У Аит-Кеббах доказательство мужественности до сих пор является наиболее эксплицитным

---

<sup>\*</sup> Обычай вынесения на всеобщее обозрение наутро после брачной ночи родителями молодоженов «брачной простыни» в доказательство того, что невеста была девственницей, описан во многих произведениях писателей Магриба (С.П.).

проявлением чести. Можно наблюдать даже и то, что в повседневной жизни кажется немыслимым: вмешательство посторонних в интимный мир супружеской пары (пародийные сценки борьбы за невесту во время следования процессии к дому жениха, воспроизводящие как бы нарушение прежде достигнутого между семьями согласия на свадьбу). Подобные моменты сопротивления, пускай и игровые, воспринимаются как вполне законные.

Праздник может стать также и ареной таких публичных манифестаций чести, как **отмщение**. Смыть кровью нанесенное оскорбление можно в присутствии всех собравшихся на праздник. Подобные примеры можно найти и в Мерзуге, что отражается, в частности, и в советах, которые даются новобрачной.

В целом, можно говорить о том, что социальный аспект позволяет выразить концепт чести наиболее явственным образом, поскольку предоставляет возможность «лицемерия» и участия как отдельным людям, так и группам.

Честь — абстрактное понятие, проявляющееся в целом комплексе различных социальных установок, касающихся области «тайнства». Отсутствие четкого определения, однако, не препятствует ее пониманию как особого «синтетического явления». Формы его бытования различны и могут быть не только насильственными (кровавые преступления, месть), но и скрытыми (в коллективной памяти, в системе представлений и т. д.).



Ассия Джебар

## ЛЮБОВЬ и ФАНТАЗИЯ\*

Роман  
(фрагменты)

Перевод с французского  
Н. Световидовой

*Раздался отчаянный крик — я и сейчас, в ту минуту,  
когда пишу тебе, все еще слышу его, — ему вторили  
другие, и вот уже они слились в один протяжный  
воплъ...*

*Эжен Фромантен<sup>1</sup>. Год в сахеле<sup>2</sup>*

---

\* Djebbar A. L'Amour, la fantasie... P.: Babel, 1984. (Здесь дается по русскому изданию: Джебар Ассия. Избранное. М.: Прогресс, 1990.)

<sup>1</sup> Эжен Фромантен (1820–1876) — французский писатель, художник, искусствовед.

<sup>2</sup> Сахель (араб.) — берег, окраина.

## «Я — клятва тем могильным плитам...»

В этой строчке из стихотворения Ассии Джебар — смысл тех страниц, которые публикуются ниже в качестве иллюстраций или «наглядных» примеров того, откуда у алжирцев, как и у других магрибинцев, как и у всех народов, в прошлом (или в настоящем) которых — **отнятие родной земли**, захват ее чужеземцами, — такая острая и такая глубокая любовь, похожая на боль, к своей стране, несмотря на все пережитые или переживаемые мучения. Горестные страницы пленения, колонизации Алжира, запечатленные в свидетельствах военных и собранные писательницей в ее замечательной книге, — и напоминание об унижении, испытанном ее народом, и предупреждение о том, что, даже погибая, он не сдастся. Страницы, живописующие Смерть городов, селений, племен, неприступных гор и ущелий, самой Земли, взорванной, опаленной, истерзанной, задушенной, в сущности написаны как гимн Воли к Жизни, как ода Бессмертию тех, кто ушел в Историю, заживо сгорев, но не покорившись.

Для автора романа в отваге и героизме ее предков — не просто фанатизм самопожертвования (себя и жизни своих детей), или, что еще страшнее для арабов и берберов, — жертвоприношение своей собственной чести (как в одной из глав романа, где невеста снимает с себя богатые брачные одежды и украшения, **обнажает** себя во имя своих соплеменников, заплатив таким образом за их выкуп). Главное для писательницы — страсть людей, их неистовое желание свободы, их воля остаться на своей земле, пусть даже превратившись в груды пепла... Он долго — почти полтора века — будет стучать в их сердцах, пока не закончится их война за свое освобождение от колониализма.

«Любовь и фантазия» была завершена в середине 80-х годов XX века, когда еще не были заметны всполохи новой войны, охватившей Алжир уже в 90-х. И разве не прав был

французский художник и писатель Эжен Фромантен, увидевший своими глазами пленение Алжира в 1830-м году и словно предвидя эту дурную бесконечность войн, сказав, что слышит отчаянный крик Земли, ее **долгий** и протяжный вопль, который откликнулся сегодня столь же горьким эхом.

Попробуем вместе с Ассией Джеббар пройти «по охваченным пламенем скалистым берегам» ее родной страны, чтобы ощутить это неодолимое желание людей жить и умереть на своей земле.

*С. Прожогина*

## I

И вот заря того самого 13 июня 1830 года. Тот краткий миг, когда солнце вспыхивает над глубокой раковиной гавани. Пять часов утра. Перед внушительными силами флота, возникшими на горизонте, Непрístupный Город сбрасывает покров, сквозь серо-голубую облачную пелену просвечивает призрачная белизна. После того как рассеиваются последние блески ночного тумана, далекие очертания наклоненного треугольника становятся мягче, напоминая небрежно раскинувшееся на ковре из темной зелени тело. Гора кажется барьером, едва намеченным на лазурной акварели» небес.

Первая встреча лицом к лицу. Город, весь в узорах зубчатых стен и убранстве нежных красок, предстает в роли таинственной восточной красавицы, застигнутой врасплох. Французская армада медленно скользит мимо, как бы исполняя фигуры величественного танца, начавшегося с первыми проблесками зари и продолжавшегося до слепящего полудня. Безмолвное противостояние, торжественный, волнующий миг тишины, как перед началом оперы, когда вот-вот должен раздвинуться занавес. Только кто отныне займет место на сцене и где воистину находится зритель?

Пять часов утра. Воскресный день, мало того — католический праздник тела Господня. Первый наблюдатель в форме капитана фрегата занимает пост на полуюте корабля вспомогательной флотилии, который плывет впереди боевой эскадры, возглавляя добрую сотню военных парусников. Человека этого зовут Амабль Маттерер. Он внимательно следит за всем происходящим и в тот же день запи-

шет: «Я был первым, кто увидел город Алжир, похожий на маленький белый треугольник, лежащий на склоне горы».

Половина шестого утра. Бесконечная вереница фрегат-тов, бригов и шхун, выстроившихся в три ряда и украшенных разноцветными флагами, заполняет вход в гавань, полностью теперь освободившуюся от тьмы, а вместе с тем и от риска возможной бури. На флагманском корабле, именуемом «Прованс», принято решение готовиться к бою. На палубах появляются тысячи матросов и солдат, шумными группами вываливаются они из трюмов, собираясь на полубаках. Но вот, словно гигантская, переливающаяся на солнце простыня, внезапно опускается покров молчания, так и кажется, будто зашуршит шелк и без того нестерпимо яркого сияния, щедро разливающегося вокруг.

Берберийский город недвижим. Ничто в нем не шелохнется, ничто не нарушает молочного сияния его домов, теперь уже их можно различить, они ползут вверх по покрытому светлой зеленью покатому склону горы, масса которой отчетливо вырисовывается, спускаясь вниз мягкими уступами.

Стоя у борта рядом, бок о бок, офицеры и простые солдаты безмолвствуют, лишь изредка доносится звон шпага или какое-нибудь восклицание либо ругательство; тут слышится чье-то покашливание, а там, дальше, — звук плевка. Среде беспорядочного нагромождения подвесных коек, болтающихся меж артиллерийских орудий и батарей, приведенных в боевую готовность, толпа будущих завоевателей, похожих на цирковых зверей, готовящихся к представлению и скрытых от посторонних глаз сиянием прожекторов, жадно смотрит на берег. Город, открывающийся их взорам, залит нестерпимым светом, в котором как бы растворяются все звуки.

Амабль Маттерер, помощник капитана корабля «Город Марсель», и его товарищи не двигаются. Непрístupный Город противостоит им, давая отпор множеством своих не-

видимых глаз. Откуда и это впечатление слепящей белизны в Городе: казалось, будто открывшаяся взору картина, в элементах которой меж тем не было ничего неожиданного, — тут купол мечети, отражающийся в воде, там, выше, кружевная резба замковой башенки или острое минарета — застыла недвижно, волнуя своей близостью.

Тысячи скрытых там зрителей считают, верно, корабли. Кто об этом расскажет, кто это опишет? Кто-то из тех, что уцелеют после завершения этой встречи. Среди тех, кто с первой эскадрой неудержимо скользит на запад, — Амабль Маттерер, он смотрит на Город, который со своей стороны тоже смотрит на него. В тот же день он опишет это противостояние, опишет в плоских и невыразительных словах донесения.

Я тоже пишу об этом на его языке, но только через сто пятьдесят с лишком лет. И задаюсь вопросом, точно так же, как задавалось вопросом командование флотом: поднялся ли Хусейн-дей<sup>1</sup> с подозрной трубой в руках на террасу своей Касбы<sup>2</sup>? Разглядывает ли он самолично иностранную армаду? Считает ли эту угрозу пустой? Со времен императора Карла V, владыки Испании, такое множество всяких пришельцев обращалось вспять после символического обстрела Города. Испытывает ли дей растерянность, или душа его, напротив, спокойна, а может быть, он снова содрогается от напускного гнева? Сколько свидетелей повторяли его последние слова, сказанные посланнику французского короля, требовавшего более чем странных извинений:

— Недоставало только, чтобы король Франции потребовал у меня мою жену!

Мне лично кажется, что жена Хусейна пренебрегла утренней молитвой и поднялась на террасу. Что остальные женщины, для которых террасы всегда были царством, от-

---

<sup>1</sup> Хусейн-дей — правитель Алжира того времени.

<sup>2</sup> Касба — крепость (*араб.*).

веденным для послеполуденных часов, тоже встретились там, дабы воочию увидеть внушительный, блистательный французский флот.

При выходе из Тулона к эскадре присоединились четыре художника, пять рисовальщиков и с десятков гравиров... Битва еще не началась, добыча находилась неблизко, но уже была проявлена немалая забота о том, чтобы прославить эту кампанию. Будто грядущая война сулила только радостный праздник.

На этой заре взаимного противостояния и узнавания о чем говорят между собой женщины города, какие любовные мечты загораются в их сердцах или угасают навсегда при виде королевского флота, изображающего фигуры таинственной хореографии?.. Я воображаю себе это короткое затишье перед началом всех начал; я прокрадываюсь, как незваная гостья, в преддверие этого недалекого прошлого, сняв, согласно издавна существующему обычаю, сандалии и затаив дыхание, чтобы попробовать все услышать вновь.

В тот день, 13 июня 1830 года, эта встреча лицом к лицу длится два, три часа и даже больше — до самого предположенного взрыва. Словно завоевателям предстояло стать возлюбленными! Продвижение кораблей, устремлявшихся вслед за солнцем, совершалось так медленно и так незаметно, что казалось, будто это глаза Непроступного Города вынудили их застыть там, над зеркалом зеленоватой воды, в ослеплении взаимной любви с первого взгляда.

Безмолвие этого величавого утра предшествует нескончаемым крикам и убийствам, которые наполняют последующие десятилетия.

## II

Битва при Стауели происходит 19 июня. Однако высадке предшествовали пять дней стычек и перестрелки. Хотя это уже, пожалуй, не просто стычки, а самая настоящая война стрелков, где противники противостоят друг другу.

Они учатся по достоинству оценивать силы врага: арабские всадники и пехотинцы действуют рассеянными группами, их поведение изменчиво и непредсказуемо, тогда как французские стрелки изучают местность плотными колоннами, идущими сомкнутым строем. В среднем в стане завоевателей ежедневно насчитывается около восьмидесяти убитых.

Первая жертва с французской стороны пала накануне высадки. Случилось это на борту «Бреслау», когда флот, продефилировав мимо Непрístupного Города и миновав мыс Пуэнте-Пескад, вышел на морской простор в районе бухты Сиди-Феррюш. Первая попытка высадить войска на десантных баржах, спущенных на воду, была неудачной: не успели французы ступить на африканский берег, как из густого кустарника посыпались снаряды. Они разрываются над кораблем первого ряда; марсовой, раненный осколком в бедро, умирает на месте.

Следует приказ отложить высадку на следующий день. Ночь проходит в оглушительном бряцании оружия и несмолкаемом гомоне: сорок тысяч солдат и тридцать тысяч моряков находятся на кораблях, превратившихся в перенаселенные плавающие тюрьмы; вот уже много дней их окружает тлетворный дух. А вокруг, совсем рядом, девственная природа, безмолвная и вовсе не страшная, можно даже сказать, очистительная, казалось, ожидала их.

На другой день, всего какой-нибудь час спустя после высадки первых десяти тысяч человек, среди кажущегося молчания и безлюдья, на холме, вблизи сторожевых постов появляется арабский всадник. Его берут на мушку; он пытается укрыться от огня, но, раненный, падает навзничь. Человек вместе с конем исчезают за пригорком; первая арабская жертва вызывает бурный восторг.

Число убитых быстро растет. Я пересчитываю сообщения об этих первых стычках и отмечаю для себя разницу



стилей. Алжирцы воюют на манер древних нумидийцев<sup>3</sup>, об их методах не раз свидетельствовали римские летописцы: быстрота и причудливо изогнутая линия приближения, высокомерная медлительность, предшествующая атаке — напряженному броску. Подобная тактика напоминает дразнящий полет насекомого и вместе с тем величаво-вкрадчивую поступь хищников из породы кошачьих.

Воины издаലെка наблюдают друг за другом, служа взаимной приманкой и пытаясь приноровить друг к другу свой смертоносный шаг. Мгновение спустя, объятые внезапным трепетом, они бросаются в рукопашную, потом вдруг оказываются обезглавленными или искалеченными трупами.

Первый смертельный поцелуй во враждующих лагерях. С самого начала тут ощущается разительное несоответствие. Каждую свою победу завоеватель знаменует какой-нибудь несообразной шуткой над поверженной жертвой; клан, противостоящий нашествию, предпочитает отметить нанесенный ему урон печатью волнующей тишины. Карabin хлопает вдалеке; и тут же длинное острое лезвие перерезает шейную вену. Разодетые как на праздник турки и закутанные в белое бедуины словно хвастают в рукопашном поединке своей жестокостью; это своего рода ликующий вызов, который венчают пронзительные крики.

Можно и в самом деле подумать, будто с момента первой схватки в этой войне, которая будет все длиться и длиться, араб на своей низкорослой, беспокойной лошади искал объятий: смерть, которую он нес или получал сам, причем всегда на бешеном скаку, казалось, сублимировалась в застывшем навеки объятии.

Пришелец предлагает карикатурную маску смерти. Тогда как туземцем движет трагическая жажда битвы, и пока еще он скачет верхом, красуется, стараясь пробраться поближе к краю сцены, счастливый тем, что убивает и умира-

---

<sup>3</sup> Нумидия — в древности область в Северной Африке (современная восточная часть Алжира).

ет на виду у всех, в ярком свете рампы. И солнце вдруг затопляет его своим сиянием на самом последнем склоне, ведущем в мир теней.

Теперь их двое, тех, кто описывает столкновение и все, что ему предшествовало. Помощник капитана Амабль Маттерер увидит с борта своего корабля «Город Марсель», как сражение на суше постепенно продвигается вглубь, и будет свидетельствовать даже тогда, когда накануне капитуляции ему снова придется стать актером, после того как будет отдан приказ обстрелять город с моря; он не устает повторять «я пишу со шпагой на боку...». Второй свидетель даст нам возможность погрузиться в самую гущу битвы — это адъютант генерала Бертезена, командующего первыми вступившими в сражение полками, барон де Пенуэн. Через месяц после взятия Города он уедет, а в августе 1830 года в марсельском лазарете он по горячим следам опишет свои впечатления участника боев, наблюдателя и даже, как это ни странно, человека, успевшего влюбиться в землю, приоткрывшую ему свои охваченные пламенем берега.

Это первое столкновение между двумя народами и положило начало дальнейшему взаимному непониманию. Насилие это или невысказанная любовь, преступное дыхание которой едва уловимо, — а может, их призраки? — бродят все лето 1830 года и в том, и в другом лагере, невзирая на воинственное сплетение тел?

Те, кто пишет, безусловно, поддались чарам, а пишут-то они для Парижа, который тем же летом ожидало еще одно потрясение: подняла голову гидра Революции, и ее во что бы то ни стало следовало отсечь. Но может, эти самые чары околдовали и тот лагерь, что подвергался нападению?

Неужели зять дея<sup>4</sup>, ага Ибрагим, ради того лишь не принял никаких мер для укрепления обороны, чтобы подпустить поближе нападающих? Или он нисколько не со-

---

<sup>4</sup> Дей — титул пожизненного правителя Алжира в 1671–1830 гг.

мневался, что разобьет врага, как это не раз бывало в минувшие века, когда Городу грозила такая же точно опасность (правда, спасительная буря, которая в прежние времена способствовала разгрому испанцев, англичан, голландцев и многих других, на этот раз опоздала, задержавшись всего-то на два дня)? А вернее всего, Ибрагим намеревался разглядеть противника вблизи, коснуться его, сразиться с ним в рукопашном бою, дабы смешать таким образом пролитую кровь. Наверное, так.

Племена бедуинов явились сюда, словно на традиционное конное празднество, которое носит название «Фантазия»; на этом шумном празднике, где непрерывно звучат выстрелы и раздаются громкие крики, состязаются в боевом искусстве храбрейшие воины, с привычной беспечностью рискуя собственной жизнью. Они тоже не верят, что Город может быть взят, однако опасность подстегивает их: они надеются, что военная мощь Алжира, претерпев испытание силой, будет таким образом поколеблена...

И в самом деле, после падения Города соединения союзных войск, приведенные беями<sup>5</sup> и состоявшие из добровольцев, готовых принять участие в «священной войне», на которую они шли чуть ли не с радостью, возвращались обратно на свои земли, не чувствуя себя ущемленными ни в чем. Более всего разгром поразил янычар<sup>6</sup>, великолепных воинов, которые в этом поединке всегда были впереди, выделяясь яркими красками своей одежды на фоне белых бурнусов неуловимых туземных жителей.

На другой день после решающей схватки при Стауели майор Ланглуа, художник-баталист, сделает остановку, чтобы запечатлеть мертвых турок с застывшей на их лицах «яростной отвагой». Некоторых из них нашли с кинжалом в

---

<sup>5</sup> Бей (*тюрк.*) — властитель, господин, синоним *араб.* эмир — повелитель, военачальник, правитель, князь, глава государства.

<sup>6</sup> Янычары (*тур. букв.: новое войско*) — турецкая регулярная пехота, созданная в XIV веке.

правой руке, вонзенным в грудь. В воскресенье, 20 июня, в десять часов утра при ослепительно ясной погоде Ланглуа делает несколько рисунков с этих горделивых побежденных, затем начинает писать картину, предназначенную для музея. «Любители получают литографии с нее», — записывает в тот же день Маттерер.

Баршу описывает ход баталии. Спровоцировав ее, Ибрагим следовал определенной стратегии. В первые же дни стало ясно: алжирские стрелки более метки и обладают дьявольской ловкостью. У них поразительно длинные аркебузы. Они долго целятся, а выстрелив, тут же исчезают.

18 июня ага Ибрагим изучает местность: скалы, естественные преграды из мастиковых деревьев и густых кустарников, покрытые колючками песчаные холмы — словом, привычная декорация, где арабская кавалерия без всяких затруднений исполнит свой обычный танец, а пехотинцы, прижавшись, словно пресмыкающиеся, к земле, сумеют остаться невидимыми. Да и численный перевес — правда, небольшой — на стороне арабского лагеря. Однако ага не учел того, что в конце концов решит исход битвы: превосходства западной артиллерии, а главное, единства командования и тактики французов перед лицом несогласованных действий местных военачальников.

В одиннадцать часов утра, после непрерывных семичасовых схваток, как правило — ожесточенных, алжирские батареи окружены, смяты. И тут наступает последняя фраза: полки Бурмона<sup>7</sup>, до тех пор находившиеся в укрытии, окончательно отбрасывают атакующих и переходят в наступление. Добравшись до первой высоты и захватив ее, они обнаруживают аги и беев: их ожидают триста роскошных, оставленных в неприкосновенности палаток.

---

<sup>7</sup> Луи Бурмон (1773–1846) — французский маршал, командовавший армией во время захвата Алжира.

На пути в Алжир разгром набирает силу. Беи из Титтери, Орана и Константины отходят к берегам уэда<sup>8</sup> аль-Харраш. Для победоносного войска это решающий этап окончательной победы. Можно бы уже растянуться на софе и приказать принести кофе.

Плато Стауели усеяно трупами. Две тысячи взято в плен. Вопреки воле офицеров, по настоянию самих солдат пленники будут расстреляны. «Огонь батальона уложил этот сброд на землю, так что теперь насчитывается две тысячи убитых», — запишет Маттерер, остававшийся во время битвы на корабле.

На другой день он преспокойно разгуливает меж трупами и добычей.

Из битвы, пережитой и описанной бароном Баршу, мне запомнилась только одна короткая сцена, прорезающая своим светом мрак его воспоминаний.

Баршу описывает ее бесстрастным тоном, однако взгляд его, который, казалось, приковала к себе жуткая поэзия, с которой внезапно сорван был покров, исполнен ужаса: после жаркой схватки две алжирские женщины попали в поле его зрения.

Ибо некоторые племена из внутренних районов прибыли в полном составе, вместе с женщинами, детьми и стариками. Можно было подумать, что сражаться — это значило для них не подвергать себя опасности, но отдаваться на милость врага сразу, всем вместе, без различия пола, со всеми своими богатствами! Зуавы<sup>9</sup> и в особенности кабилы<sup>10</sup> — союзники бея из Титтери — образуют на фоне всеобщего возбуждения пеструю зыбь.

---

<sup>8</sup> Уэд (*араб.*) — река, обычно пересыхающая летом.

<sup>9</sup> Зуав (*араб.*) — название одного из кабийских племен, где набивались первые зуавы — солдаты легкой пехоты во французских колониальных войсках XIX–XX вв., которые формировались в Северной Африке.

<sup>10</sup> Кабилы — берберский народ в горных районах Северного Алжира.

Так вот, месяц спустя Баршу, вспоминая об этом, пишет: «Женщины, которые в большом количестве следуют за арабскими племенами, проявили особое рвение в изуверствах. Одна из них лежала рядом с трупом француза, у которого она вырвала сердце! Другая бежала, видимо, с ребенком на руках: раненная выстрелом, она разбила камнем голову ребенку, чтобы не дать ему попасть к нам живым; ее самое солдаты прикончили ударами штыков».

Обе эти алжирские женщины: одна — умирающая, наполовину окостеневшая, но все еще сжимающая в своей окровавленной руке сердце убитого француза, другая — в приступе отчаянной отваги разбивающая голову собственного ребенка, прежде чем умереть с легкой душой, — обе эти героини открывают новую страницу нашей истории.

Я бережно храню в душе образ двух воительниц, выхваченных острым взглядом адъютанта из толпы, среди всеобщего смятения. Образ этот — предвестник бредовой горячки с примесью безумия... Олицетворение будущих мусульманских «*mater dolorosa*»<sup>11</sup>, этих гаремных страдалец, которые в рабских оковах грядущего века будут давать жизнь не одному поколению безликих сирот.

И это только начало, предвестие черного солнца, которое вспыхнет!.. Но почему же над трупами, гнившими на все новых полях сражений, будут витать слухи о непристойной копуляции, порожденные этой первой Алжирской битвой?

### III

Взрыв в Императорском форту 4 июля 1830 года. Десять часов утра. Чудовищный грохот поверг в ужас всех жителей Алжира, наполнив торжествующей радостью сердца солдат французской армии, постепенно продвигавшейся от Сиди-Феррюша к укреплениям столицы.

---

<sup>11</sup> Скорбящая мать (лат.).

Теперь их трое, тех, кто описывает канун падения: третий — это не моряк в форме и не адъютант, свободно передвигающийся в самый разгар боя, а просто литератор, которого взяли в поход в качестве секретаря главнокомандующего. Он явился сюда, как на спектакль, и в Париже-то он, правда, возглавляет театр «Порт-Сен-Мартен», звездой которого была его супруга, знаменитая актриса Мари Дорваль, любимая в то время самим Альфредом де Виньи.

Ж. Т. Мерль — так его звали — опубликует в свою очередь повествование о взятии Алжира, только расскажет он об этом как свидетель, наблюдавший за событиями в тылу сражений. Он не подделывается под «военного корреспондента»; в силу привычки он любит атмосферу кулис. Каждый день он сообщает, где находится и что видит (раненых в лазарете, первую пальму или цветы агавы, попавшие в поле его наблюдения за отсутствием противника, с которым можно встретиться только на поле брани...). И никакого чувства вины, его нисколько не мучают угрызения совести из-за того, что он сидит в тылу. Он смотрит, записывает, делает открытия; и если его снедает нетерпение, то причиной тому отнюдь не военные события, просто он ждет не дождется прибытия печатного станка, который был куплен по его настоянию перед самым отплытием из Тулона. Когда же наконец поставят необходимое оборудование, когда он сможет готовить, выпускать и распространять первую французскую газету на алжирской земле?

Итак, взрыв «Наполеоновского форта»: французские солдаты не знают других императоров, кроме собственного, и потому окрестили так Императорский форт, именуемый еще «Испанским фортом», а точнее — «Бордж Хасан». Речь идет о самом крупном турецком укреплении, построенном еще в XVI веке, главном сооружении в оборонительной системе тылов Алжира. В Сиди-Феррюше, где он находится со дня высадки, Ж. Т. Мерль делает такую запись:

«4-е, десять часов утра, мы услышали чудовищный взрыв, последовавший после орудийной пальбы, которая продолжалась с самого рассвета. В тот же миг весь горизонт затянуло густым черным дымом, поднимавшимся на громадную высоту; ветер, дувший с востока, донес до нас запах пороха, пыли и жженой шерсти, так что у нас не оставалось сомнений, что Императорский форт взорвался — то ли от мины, то ли в результате пожара, вспыхнувшего на его пороховых складах.

Всеобщей радости не было границ, и с этого момента мы считали кампанию законченной».

Ровно через двадцать четыре часа французская армия входит в Город.

Сражение при Стауели, имевшее место 19 июня, ознаменовало главным образом поражение аги Ибрагима и провал его стратегии. Именно там были испробованы новейшие пороховые ракеты Конгрева<sup>12</sup>; посылая их, французы вовсе не были уверены в точности попадания, однако из-за их необычного шума и странного вида в алжирском лагере, и без того смятом, возникла паника...

Тем не менее на другой день де Бурмон не двинулся с места из-за того, что не было обеспечено снабжение и перевозка. Не было осадной артиллерии и вьючных лошадей: командующий флотом Дюперре приказал погрузить их на последнее отплывавшее судно, так вот судно это стало на якорь в Пальме. Продвижение французской армии, стало быть, застопорилось. Одни проявляли при этом нетерпение, другие обвиняли штаб, де Бурмон дожидался Дюперре, а тот, начиная с 22 и 23 июня, дожидался попутного ветра.

Солдатня в расширенном и укрепленном лагере на плато Стауели предавалась тем временам эйфории, обычно сопутствующей победе, и безудержному грабежу.

---

<sup>12</sup> Уильям Конгрев (1772–1828) — английский конструктор, полковник. Автор многих типов пороховых ракет и инициатор их боевого применения.



Алжирские войска отступили, некоторые — вплоть до берегов аль-Харраша. Они выражают сомнение дею Хусейну относительно военных способностей его зятя, верховного главнокомандующего. 24 июня пятнадцать тысяч воинов, перегруппировавшись, атакуют французский отряд, отважившийся продвинуться довольно далеко; среди тяжело раненых во время этой стычки — один из сыновей де Бурмона, Амеде, который вскоре умрет.

В последующие дни алжирцы с новой силой начинают неотступно преследовать их.

Французы понимают, что их противник взял себе другого командующего: отныне атаки алжирцев отличаются планомерной слаженностью. Речь идет о Мустафе Бумезраге\*, бее Титтери; его мастерство обеспечивает ему единодушную поддержку как янычар, так и вспомогательных войск.

С 24 по 28 июня барон Баршу ежедневно насчитывает до двухсот пятидесяти жертв с французской стороны, а то и более. Кое-кто задается вопросом: а не была ли победа при Стауели иллюзорной? И вот наконец после всех этих перипетий в распоряжение де Бурмона поступают внушительные силы артиллерии; он отдает приказ наступать.

28 июня происходит сражение, почти столь же ожесточенное, как при Стауели. Алжирские наступательные действия становятся все более эффективными. В результате смертоносной рукопашной схватки почти полностью уничтожен один из батальонов 4-го пехотного полка. На другой день — такая же отчаянная схватка, однако французам удастся прорваться сквозь заградительный огонь. 30 июня, несмотря на допущенную ошибку в выборе направления и разногласий, возникших среди командного состава, де Бурмон после труднейшего перехода располагается напротив Императорского форта. Три дня понадобилось, чтобы

---

\* Автор многих типов пороховых ракет и инициатор их боевого применения.

вырыть траншеи и поместить там мощные батареи, несмотря на непрекращающиеся, хотя и не массированные атаки алжирцев. Дюперре дважды обстреливает Алжир с моря, правда довольно безуспешно. Шангарнье, в то время всего лишь командир роты, делает такую запись для своих будущих мемуаров:

«Шумная и никчемная пальба флота вне пределов досягаемости, в результате которой боеприпасов израсходовано на огромную сумму, а ущерб, нанесенный фортификациям города, составляет не более шести франков».

4 июля в три часа утра начинается последний акт. В Бордж Хасан отборный двухтысячный гарнизон — восемьсот турок и тысяча двести кулугли — в течение пяти часов выдерживает огонь французских батарей. С террасы испанского консульства, расположенного справа от траншей, де Бурмон со своим штабом наблюдает за обстрелом. Дей Хусейн и его сановники следят за поединком с высот Касбы. «Арабы, запертые в самом Городе, и те, кто находился за его пределами, — все пристально следили за битвой», — отмечает барон Баршу, который сам расположился на склоне Бузареах.

На глазах у «этого гигантского цирка, вмещавшего тысячи зрителей», алжирские орудия, одно за другим, постепенно смолкают, на это понадобилось два часа. И тогда остатки войска, оказывавшего сопротивление, отступают к Городу.

Чудовищный взрыв сотрясает Императорский форт, который мало-помалу оседает и рушится, объятый гигантскими языками пламени и дымом. Среди этого нагромождения камней, разбитых и наполовину засыпанных пушек, разорванных на куски трупов тех, кто стоял до конца, погребена последняя надежда на защиту Города. Алжир, о котором принято было говорить «надежно охраняемый», познал отчаяние.

Алжирское отступление сопровождалось тремя шумными, но бесполезными взрывами, похожими на предсмертные хрипы. Не рассеялась даже масса немногочисленных атакующих. В Стауели, прежде чем был покинут лагерь аги и беев, взорвался склад с порохом. 25 июня в Сиди-Халефе перед бригадой, которая в последний момент успела остановиться, взорвался фугас, и отзвук этого взрыва докатился до флота; однако жертв почти не было. Наконец 4 июля, когда рушится самый величественный из фортов, хотя форт Баб Азун и Английский форт все еще продолжают оказывать сопротивление, бессилие защитников Города становится очевидным, о чем свидетельствуют эти последние судорожные всплески агонии.

Неужели турецкой стратегии понадобилось лишнее подтверждение ее технической отсталости, хотя это и без того было ясно, о том свидетельствовал морской флот, пришедший в полный упадок, и ветхость артиллерии. К тому же непредсказуемость первого главнокомандующего, беспечность или пагубная изолированность дея — все это способствовало распылению сил, которые должны были бы слиться воедино.

Бедуинские вожди, не в меру самостоятельные беи, сутелливые вспомогательные войска находятся за пределами Города. Надежд на благополучный исход остается все меньше и меньше, и под конец все видят, как Город, до той поры, казалось, незыблемо веровавший в свои вековые национальные устои, черпая там свои силы, неотвратимо гибнет.

Слова, которое объединило бы эти разрозненные силы, не слышно. Оно прозвучит только через два года, в западной стороне, над долиной Эгрис, и провозгласит его молодой человек двадцати пяти лет от роду, с зелеными глазами и окутанным тайной челом — Абд аль-Кадир<sup>13</sup>. А пока мо-

---

<sup>13</sup> Абд аль-Кадир (1808–1883) — вождь восстания против французских завоевателей в Алжире в 1832–1847 гг.

гущество власти находится в тисках двойной осады: со стороны вторгшихся завоевателей, попирающих руины Императорского форта, а также со стороны тех самых чересчур гордых вассалов, которые не без тайной радости взирают на то, как турок начинает медленно шататься.

4 июля, 10 часов утра. Бордж Хасан взрывается и уничтожает себя, так и не уничтожив врага. Через два часа крадучись является посланец от дея Хусейна — это первый шаг к капитуляции.

Ж. Т. Мерль, почтенный директор театра, который никогда не удостаивает своим посещением театр военных действий, спешит сообщить нам о чувствах, обуревавших его с момента высадки (а это был первый и последний раз, когда он очутился на передовой) и до конца военных действий, то есть вплоть до 4 июля. Он говорит о своем сочувствии, о своем волнении и удивлении.

Сочувствует он раненым, которые все прибывают в лазарет; волнуется при виде разнообразной растительности, то совсем неведомой, то похожей на французские рощи; удивление же Мерля вызвано неуловимостью противника. И в самом деле, до битвы при Стауели, хотя арабы уже успели к тому времени убить или покалечить немало беспечных либо неудачливых солдат, из их лагеря ни одного убитого, ни одного раненого заполучить так и не удалось. С непритворным восхищением, причем всякий раз подробнейшим образом, описывалось, как арабские всадники, ловко используя любой кусок дерева, увозят раненых или, несмотря на густые заросли, тащат за собой трупы убитых, не оставляя на поле боя никого. Тут-то и проявляется, пожалуй, тайное превосходство этих диких «головорезов»: нанести урон врагу, но не отдать никого из своих — ни живым, ни мертвым... Земля, на которую в данный момент удалось ступить французской армии, была лишь частью того, на что в ближайшее время рассчитывали завоеватели.

Отсюда и красноречие Мерля, который после Стауели с упоением описывает нам трех раненых, подобранных на поле брани: турка, мавра и молодого человека — по-видимому, кабила. Мерль подробно останавливается на их лицах, на их манере держаться, на их смирении или отваге. Он одаривает их своим вниманием, навешивается к ним в лазарет, предлагает им — словно раненым животным из зоопарка — кусочки сахара. Затем из его рассказа мы узнаем о том, как раненого парня навесил старик — его отец. И тут уже перед нами разыгрывается целый спектакль, вроде тех, которые Мерль имеет обыкновение показывать в Париже: «арабы — отец и сын — вызывают глубокое сочувствие у французов»; «отец, взволнованный человечностью французов»; «отец-араб не желает соглашаться на ампутацию, которую рекомендует французская медицина»; и наконец, «мусульманский фанатизм, вопреки французской науке, приводит к смерти сына». Такова последняя, заключительная картина, которая венчает вымысел Мерля, созданный буквально у нас на глазах.

До этого эпизода в лазарете М. Т. Мерль, подобно Меттереру и барону Баршу, упоминал лишь о внезапном появлении алжирца. Человек этот, по его словам, пришел во французский лагерь по собственному почину: наверное, шпион — считали одни; парламентар, явившийся на свой страх и риск, или просто любопытствующий — предполагали другие.

Мерль, во всяком случае, рассказывает нам о безмерном интересе, который вызвал этот первый увиденный вблизи араб. Де Бурмон, расположившийся на ночлег по соседству с мощами святого Сиди Фреджа, пожелал принять неожиданного посетителя, однако не в усыпальнице мусульманского святого: ведь это могут счесть святотатством. Он выпивает кофе со стариком чуть поодаль; впрочем, ему не удается вытянуть у того никаких полезных сведений. Тогда он решает отправить с ним декларацию, составленную

по-арабски, дабы сообщить о своих псевдомирных намерениях.

Но едва этот пришлый успел отойти от французского лагеря, как его убили свои же — как раз из-за этих самых листочков: его приняли за вражеского шпиона. Так первые запечатленные на бумаге слова, сулившие пускай обманчивый, но мир, послужили причиной вынесения смертного приговора тому, кто их нес. Отныне любое послание врага, стоит его взять в руки, становится роковым, навлекая позор бесчестья. «Воззвания эти никто даже не читает», — уточняет Мерль, считая религиозный «фанатизм» причиной бессмысленных смертей.

Француз описывает и другое знаменательное событие: в лазарете одному из раненых не смогли отнять ногу — воспротивился отец, который пришел навестить сына! Однако наш автор не признается в том, что мы понимаем и без него: полчище средневосточных военных переводчиков, которых французская армия прихватила с собой, оказалось не в силах перевести первые переговоры — арабский диалект здешних краев, верно, был просто непонятен им.

Битва — это одно, а слова — совсем другое, любое из них как бы повисает, застывая, и вокруг образуется пустыня взаимного непонимания.

#### IV

Город скорее открыт, чем захвачен. Продана столица тем, кто позарился на ее несметные сокровища. Ящиками грузится алжирское золото для отправки во Францию, где на трон вступает новый король<sup>14</sup>, безропотно вставая под республиканское знамя и принимая в дар берберийские слитки.

Лишен славного прошлого и былой спеси Алжир, взявший имя у одного из двух своих островов — аль-Джезаир.

---

<sup>14</sup> После Июльской революции 1830 г. на французский престол был возведен король Луи Филипп.

Острова эти были освобождены от испанского владычества Барберусом<sup>15</sup>, превратившим их в пристанище корсаров, более трех веков разбойничавших на Средиземном море...

Город открыт, крепостные стены разрушены, бойницы и парапеты между амбразурами смяты; его падение повергает грядущее во тьму.

Четвертый писец, пожелавший запечатлеть поражение, внес свою лепту, наполнив братскую могилу забвения своим многословием; я отыскала его имя среди уроженцев Города. Это Хаджи Ахмед-эфенди, муфтий<sup>16</sup> Алжира, самое значительное после дея духовное лицо. Предчувствуя неминуемое падение Города, многие жители Алжира обращаются к нему. Он описывает нам осаду спустя двадцать лет, если не больше, описывает на турецком языке, причем из-за границы, куда он уехал, покинув родную страну. Османский султан назначил его губернатором одного анатолийского города. В изгнании он вспоминает о дне 4 июля и публикует свое повествование:

«Взрыв заставил содрогнуться Город и ошеломил всех. Тогда Хусейн-паша<sup>17</sup> созвал на совет старейшин Города. Население роптало и было настроено против него...»

Затем он вкратце упоминает о первых посредниках в переговорах, коих французские хроникеры описывают наиболее подробнейшим образом.

Переговоры между представителями двух кланов начинаются под звуки канонады: среди развалин Императорского форта французы установили свои батареи и начали обстрел крепости Касбы — средоточия власти. Этот изнурительный огонь прекращается, когда, выбравшись через потайной ход, с белым флагом в руке появляется турок,

---

<sup>15</sup> Барберус — так звали двух турецких пиратов, основавших в XVI в. Алжирское государство.

<sup>16</sup> Муфтий (*араб.*) — высшее духовное лицо у мусульман.

<sup>17</sup> Паша — почетный титул высших должностных лиц в Османской империи.

«одевание которого, элегантное и в то же время совсем простое, изобличало в нем лицо высокого ранга». И в самом деле, это был секретарь дея. Он надеется предотвратить вступление французов в Город; от имени войска, готового, верно, отречься от паши, он предлагает выкуп.

Рытье траншей продолжается; французские батареи и алжирские, расположенные в форту Баб Азун, по-прежнему соперничают друг с другом, с грохотом извергая пламя. Тут являются два мавра, Хамдан и Бударба, но опять-таки без официальных полномочий. Первый шаг сделан, теперь можно и поговорить всерьез: Хамдан бывал в Европе и свободно изъясняется по-французски. Однако после того, как и с той, и с другой стороны артиллерия прекратит свое громохание, они уйдут, убедившись, что избежать иноземного вторжения никак не удастся, разве что ценой отчаянного сопротивления.

Между тем в Диване<sup>18</sup> Касбы Хусейн преисполнен большей решимости, нежели военные сановники, поэтому, когда принималось окончательное решение, мнением трех беев, находившихся за пределами Города, даже не поинтересовались — в какой-то момент Хусейн, пожалуй, готов был сражаться насмерть... И все-таки в конце концов решено было вступить в переговоры, направив для их ведения двух официальных лиц из высшего должностного состава, а также единственного европейского дипломата, остававшегося в Алжире после начала боевых действий, — английского консула в сопровождении его помощника.

Делегация эта была принята в полном составе французским штабом «на маленькой лужайке, в тени»: собравшиеся рассаживаются на стволах трех или четырех только что срубленных деревьев. Англичанин в качестве посредника и друга дея говорит, по свидетельству Баршу, присутствовавшего на переговорах, «о надменном характере и неуст-

---

<sup>18</sup> Диван — государственный совет в Турции.



рашимости Хусейна», что, по его словам, «может довести дея до последней крайности».

Далее де Бурмон диктует условия капитуляции: Город должен быть открыт и отдан «на милость победителя» вместе с Касбой и всеми фортами, при этом гарантируется сохранность личного имущества дея и янычар, которые обязаны покинуть страну, уважение к вероисповеданию населения, неприкосновенность его имущества и женщин.

«Такое соглашение было продиктовано главнокомандующим и подписано генералом Деспре и начальником интендантской службы Демье; решено было, что дей поставит в знак согласия свою печать и что обмен документами должен произойти в течение вечера», — сообщит два года спустя другой адъютант, Э. д'Ольт-Дюмесниль.

Летний воскресный день. Два часа пополудни. В западной части, со стороны Баб аль-Уэда, первые группы алжирской эмиграции уже покидают Город.

Итак, переговоры с двумя маврами, Будербой и Хамданом, начались; после предварительного устного обмена мнениями на этом совещании был составлен текст документа об отречении от власти. Но слова оказывают сопротивление, я имею в виду — французские слова, с ними не так-то легко управиться. И через час дей Хусейн присылает текст соглашения обратно: он не понимает, что означает выражение, которое употребил аристократ де Бурмон и тут же записал начальник его штаба, — «отдан на милость победителя».

Решено было отправить переводчика, чтобы тот разъяснил текст дею и стал таким образом поручителем лояльности французской стороны. Выбрали для этой цели человека преклонных лет по имени Бразевитц — того самого, которого Бонапарт посылал в Египте к Мурад Бёю. И, стало быть, именно Бразевитц первым войдет в Город.

Мы располагаем и письменным его рассказом (письмо министру Полиньяку<sup>19</sup>), и устным (его сообщение Ж. Т. Мерлю по прошествии нескольких дней) о том, что ему довелось пережить во время этой рискованной экспедиции. В тот день, 4 июля, после полудня он двинулся верхом на лошади вслед за турецким секретарем и проник в Город через Новые Ворота: на протяжении всего пути ему со всех сторон угрожают жители Алжира, которые готовы были сражаться и дальше. А тут они вдруг видят перед собой на улице того, кто пришел возвестить им грядущее рабство.

Но вот наконец он предстал перед деєм, восседавшим в окружении сановников на своем диване. Бразевитц стоит спиной к собравшимся янычарам. И каждый раз, когда он громким голосом переводит одну из статей соглашения, позади него вздымается волна гнева. Молодые офицеры предпочитают избрать смерть. «Смерть!» — твердят они... Переводчику чудится, что он стоит на краю гибели. Изложив в деталях все условия соглашения (оно должно быть подписано на другой день, до десяти часов), он выпивает лимонад, который прежде отведал дей, все еще стремившийся, даже накануне своего падения, соблюдать хорошие манеры. Затем Бразевитц, живой и невредимый, отправится в обратный путь.

Но из-за пережитой опасности, а также по причине своего преклонного возраста переводчик, добавляет Ж. Т. Мерль, встретившийся с ним 7 или 8 июля, заболеет от нервного потрясения и через несколько дней умрет. Словно разъяснение этого высокомерного выражения «на милость победителя», пришедшего вдруг на ум французскому военачальнику, должно было повлечь хотя бы одну жертву: того, кто принес эту весть!

---

<sup>19</sup> Огюст Жюль Арман Полиньяк (1780–1847) — в 1829–1830 гг. глава французского правительства и министр иностранных дел.

Дав жизнь слову на языке противника (уж не знаю, на турецком ли языке пошатнувшейся власти или на арабском — языке мавританского города), Бразевитцу, казалось, пришлось поплатиться за это собственной жизнью.

Ну а пока что с наступлением ночи он возвращается к французским постам. Миссия его закончена. Завтра утром дей в письменном виде отречется от власти.

Алжир, пока еще свободный город, готовится провести на свободе свою последнюю ночь.

Но уже другие поведают об этих решающих минутах: генеральный секретарь, «баш-катеб», бея Ахмеда из Константины (который соберет вокруг себя непокорных и будет еще почти двадцать лет вести борьбу на востоке) напишет свой рассказ по-арабски. Немецкий пленный, которого отпустят на другой день, вспомнит эту ночь на своем языке; два пленника, уцелевших после гибели своих кораблей за несколько месяцев до этого, оставят запись по-французски. Добавим еще английского консула, который отметит этот переломный момент в своем дневнике... А я, я думаю о тех, кто спал в Городе в эти мгновения... Кто из них воспоет позднее эту агонию свободы, какой поэт, вдохновленный упрямой надеждой, осмелится заглянуть в будущее и увидеть конец этого отклонения с истинного пути?..

Муфтий Хаджи Ахмед-эфенди с чрезмерным многословием опишет — это случится десятки лет спустя — возмущение своих сограждан:

«Что касается меня, то, не будучи в силах решиться на это, я собрал правоверных мусульман... Я призывал их следовать за мной на борьбу с врагом. И вот, покаявшись и сказав друг другу последнее “прости”, они двинулись мне вослед с криками “Аллах кебир”<sup>20</sup>. В этот момент дорогу нам преградили женщины, они бросали к нашим ногам детей и кричали: “Хорошо, если вы вернетесь победителями,

---

<sup>20</sup> Аллах велик (араб.).

а если нет? Так знайте же, что неверные придут и обесчестят нас! А теперь ступайте, только прежде убейте нас!”»

Конечно, сцена выглядит несколько напыщенной и тяжеловесной, но, во всяком случае, она отражает драматический накал страстей. Началось массовое бегство, тысячные толпы заполнили дорогу на Константиноу. Другие при ярком свете луны устремляются к морю и, набиваясь в лодки, обвешанные всевозможными тюками, плывут целыми семьями на мыс Матифу. Мне думается, мелкого люда среди них было гораздо больше, чем торговцев и вообще баловней судьбы. Кто из богатеев останется, спасая свое достояние, свои дома? Кто из горожан предпочтет собрать последние пожитки, кое-какие драгоценности и, взгромоздив на мулов детей и женщин, поспешит присоединиться либо к армии под водительством бея Константины, либо к армии бея Титтери, направлявшейся в долину Митиджа?

За одну только ночь Город потерял почти две трети своего населения. Две с половиной тысячи солдат, отказавшись сдаться, считая это бесчестьем, с оружием в руках пойдут за беем Ахмедом.

Что же касается муфтия Ахмеда-эфенди, то дей заверил его, что французы обязались не входить в мечети и не трогать гражданское население. Поэтому он пытается успокоить бушующий народ.

«Все население, и мужчины и женщины, столпилось у моего жилища, жалобно стеная:

— Раз все равно придется погибать, лучше уж умереть на пороге у алима<sup>21</sup>!»

---

<sup>21</sup> Алим (араб.) — духовное лицо, ученый муж.

### **Женщины, дети, быки, полегшие в пещерах...**

Весна 1845 года была отмечена волнениями всех берберских племен, населяющих центральные и западные районы страны.

Эмир Абд аль-Кафир вновь стягивает свои силы к марокканской границе. После пяти лет неустанных преследований враги его — Ламорисьер и Кавеньяк на западе, Сент-Арно с Юсуфом в центральной части и Бюжо в самом Алжире — считают Абд аль-Кадира поверженным. Они уже тешат себя надеждой: не конец ли это алжирского Сопротивления? А тут опять взрыв.

Достаточно оказалось проповеди нового вождя, молодого человека, окруженного ореолом пророческих предсказаний и чудодейственных легенд, — Бу Мазы, прозванного «человеком с козой», — чтобы племена и в горах, и в долинах откликнулись на его зов. Война снова вспыхнула в Дахре: на побережье — между Тенесом и Мостаганемом, во внутренних районах — между Милианой и Орлеанвилем.

В апреле шериф<sup>22</sup> Бу Маза дает отпор двум армиям, наступавшим из Мостаганема и Орлеанвиля. Они, верно, надеялись окружить его в центре горного массива. Он атакует Тенес, направив туда одного из своих лейтенантов. Сент-Арно спешит на помощь, чтобы спасти Тенес. Тут-то и появляется Бу Маза, который чуть было не захватил Орлеанвиль. Вовремя подоспевшая подмога отбила город. Тогда шериф угрожает Мостаганему. Сам эмир не отличался такой скоростью в своих боевых действиях... Был ли этот новый проповедник помощником Абд аль-Кадира, или же, окруженный уже почитанием правоверных, Бу Маза стре-

---

<sup>22</sup> Шериф (араб.) — мусульманин, ведущий свой род от пророка, потомок Мухаммеда; знатный, благородный.

мился к самостоятельности? Толком ничего не известно, известна только его манера нападать с быстротой молнии.

В Дахре, по которой его войска проходят с музыкой и знаменами, население встречает его как «героя дня», а стало быть, хоть на час, да хозяина. Пользуясь этим, он карает, и порой весьма жестоко, каидов<sup>23</sup> и ага, поставленных французскими властями.

В мае три французские армии переходят в наступление: они чинят расправу над мятежниками, сжигают их деревни и имущество, заставляют их — племя за племенем — просить «аман»<sup>24</sup>. Более того, Сент-Арно принуждает — и с гордостью пишет об этом в своих письмах — воинов племени бени хиджес сдать свои ружья. За пятнадцать лет ни разу не удавалось добиться такого результата.

Боске, назначенный начальником арабского отдела администрации Мостаганема, весьма доволен этим. Адъютанты Сент-Арно — Канробер и Ришар — следят за этой операцией, отбирают даже старинное оружие, хранившееся со времен андалузского переселения в XVI веке... В мостаганемской тюрьме, называвшейся «Башней аистов», так же как и в древнеримских водоемах, сохранившихся в Тенесе и превращенных в тюремные помещения, заживо гниют сторонники ирредентизма<sup>25</sup>, которых в большом количестве берут заложниками.

Начинается июнь месяц. Маршал Бюжо, он же герцог д'Исли, самолично проверил результаты, достигнутые карательными операциями: выступив из Милианы с пятью тысячами пехотинцев, а то и больше, с пятьюстами кавале-

---

<sup>23</sup> Каид (*араб.*) — чиновник из алжирцев, назначавшийся колониальной администрацией.

<sup>24</sup> Аман (*араб.*) пощада.

<sup>25</sup> Ирредентизм (от итал. *irredento* — неосвобожденный) — политической и общественное движение в Италии в конце XIX — начале XX в. за присоединение к Италии пограничных земель Австро-Венгрии с итальянским населением.

ристами и тысячью навьюченных мулов, он исходил Дахру вдоль и поперек. Наконец 12 июня он садится в Тенесе на судно и отплывает в Алжир. Для завершения работы и усмирения так и не покорившихся племен внутренних районов он оставляет полковника своего штаба — Пелисье.

Однако войскам, снова направленным из Мостаганема и Орлеанвиля, даже объединенными усилиями не удастся взять в кольцо неуловимого шерифа. Поэтому после себя они не оставляют ничего, кроме земли, дабы вынудить мятежного вождя исчезнуть или затаиться.

11 июня, накануне своего отплытия, Бюжо посылает Пелисье, который направляется в края, где обитают племена улед риах, письменный приказ. Кассень, адъютант полковника, приведет впоследствии дословное содержание приказа.

«Если эти мерзавцы укроются в своих пещерах, — предписывал Бюжо, — следуйте примеру Кавеньяка, расправившегося со сбеахами, выкуривайте их оттуда, не зная пощады, как лисиц!»

Армия Пелисье располагает половиной численных сил маршала, в нее входит четыре батальона пехоты, один из которых, стрелковый, а кроме того, кавалеристы, взвод артиллеристов и примкнувший к ним отряд арабской кавалерии под названием «Макзен»<sup>26</sup>.

В течение первых четырех дней Пелисье атакует племена бени зеруаль и улед келуф, которых после нескольких сражений ему удастся покорить. Остаются горцы — улед риахи, они отступают вдоль берегов Шелифа, увлекая за собой французское войско численностью в две с половиной тысячи.

16 июня Пелисье располагается лагерем во владениях одного из помощников шерифа, в местности, которая носит название Улед аль-Амриа. Сады и жилые строения были

---

<sup>26</sup> Так во время колониализма называлось правительство султана в Марокко.

полностью уничтожены, дома командиров подразделений сожжены, их стада присвоены.

На другой день улед риахи с правого берега реки вступают в переговоры. Они вроде бы согласны просить «аман». Пелисье называет сумму требуемого выкупа, число лошадей, которых следует поставить, а также ружей, которые надо сдать.

В конце дня еще колебавшиеся улед риахи после обсуждения на своей сходке отказываются сдать оружие. Остальные улед риахи, согласившиеся принять участие лишь в нескольких стычках, возвращаются назад, в свои пещеры, считавшиеся неприступными и послужившими им убежищем еще во времена турецкого завоевания. Пещеры эти находились в отрогах джебеля<sup>27</sup> Накмариа, на уступе высотой в триста пятьдесят метров, расположенном между двумя долинами. Там, в подземных углублениях длиной около двухсот метров, выходивших в почти недосигаемые ущелья, прятались в случае необходимости целые племена вместе с женщинами и детьми, стадами и съестными припасами. Эти укрытия позволяли им какое-то время существовать, не опасаясь врагов.

Ночь, предшествующая 18 июня, проходит беспокойно. Хоть Пелисье и приказал вырубить сады вокруг бивуака, туземные воины подползают совсем близко — отсюда множество ночных тревог. Орлеанские стрелки, державшиеся настороже, всякий раз успевали отбрасывать неприятеля.

18 июня на рассвете Пелисье наконец решается: он оставляет часть лагеря под присмотром полковника Рено, а сам направляет в горы два пехотных батальона без вещевых мешков, кавалерию «Макзен», а кроме того, одно артиллерийское орудие и сиденья, прикрепляемые к мулам для перевозки раненых.

---

<sup>27</sup> Джебель (*араб.*) — гора.



В авангарде этого последнего марша гарцуют арабские всадники Хаджи аль-Каима: следуя традиции, они не могут отказать себе в удовольствии покрасоваться перед началом предстоящей схватки. А может, они просто хотели скрыть таким образом свою тревогу, охватившую их перед лицом этих грозных вершин, они-то ведь знали, что там кто-то есть. Некоторые из «примкнувших» (а что, если их толкнуло на это предчувствие грядущей трагедии?), воспользовавшись ночной тьмой, дезертировали. Пелисье настроен действовать быстро.

Командир отряда арабской кавалерии по-прежнему невозмутим. В последние дни он неукоснительно выполнял свою роль проводника, без промедления показывая то или иное селение и все прилегающие владения.

— Вот и пещеры аль-Фрашиш! — кричит он, указывая Пелисье и сопровождавшим его молодому Кассеню и переводчику Готцу на плато, нависшее над выжженным ландшафтом.

— Если все они попрятались в своих пещерах, то мы скоро будем шагать по их головам! — счел вдруг своим долгом уточнить он не без доли юмора.

Полковник Пелисье встречает занимающуюся зарю торжественно, зная, что это предвестие, своего рода увертюра к драме. Грядет трагическая сцена, и ему, командиру, волею судеб предстоит первому появиться среди раскинувшейся вокруг суровой декорации меловых скал, взяв на себя всю тяжесть ответственности.

«Все бежало при моем появлении, — напишет он в своем обстоятельном рапорте. — Направление, по которому следовала часть населения, достаточно ясно указывало местонахождение пещер, к которым вел меня Хаджи аль-Каим».

Пелисье знает толк в стратегии. Он был участником высадки в Алжире и запечатлел свои наблюдения в теоретической работе. Затем он уехал из Алжира и вернулся туда

уже в 1841 году, причем сначала в Оран. Слава опережает его, и ему приходится оправдывать ее.

Едва успев расположиться на плато аль-Кантара, которое находится выше пещер, Пелисье посылает своих офицеров на разведку в ущелье, надеясь там отыскать доступ к ним, и в верхней части в самом деле был вскоре обнаружен главный вход. Перед ним помещают гаубицу. Другой, поменьше, замечен чуть пониже. Наблюдение за каждым из этих входов поручено капитану и нескольким карабинерам; кавалеристы держатся под прикрытием, готовые по первому сигналу преследовать возможных беглецов: в авангарде — 6-й отряд легкой кавалерии, рядом с полковником — орлеанские стрелки.

Передвижения эти осуществляются не без некоторых осложнений: улед риахи держались настороже, они прятались под деревьями и среди утесов, чтобы в случае необходимости иметь возможность прикрыть вход в пещеры или отвлечь внимание противника. Им удалось ранить шестерых французов, из них — три офицерских чина; седьмой умер сразу, на месте: то был кавалерист из отряда «Макзен», который спешил, собираясь поближе подойти к ущелью, чтобы сделать последнее предупреждение.

В ответ Пелисье посылает несколько снарядов. Часовые тут же исчезают. Кольцо вокруг беглецов сжимается. Полковник приказывает собрать в кучи хворост и охапки сухой травы, затем все это поджигают; солдаты спускают с кручи горящие снопы, направляя их к верхнему входу. Однако сама пещера расположена чуть ниже, поэтому за весь день добиться желаемого результата так и не удалось. Как только пламя костра начинало угасать, защитники, стоявшие у самого входа, тут же открывали огонь.

Часть войска, оставшаяся в лагере, поднялась в горы еще дотемна, присоединившись к осаждавшим... Пелисье мог оказаться в критическом положении: улед риахи со своими припасами и скотиной продержатся долго, тогда

как у французов продовольствия было всего на три-четыре дня... А что, если соседние, уже покоренные племена поймут все возраставшую безвыходность положения Пелисье? Не переметнутся ли они в таком случае во вражеский стан? И как отступить отсюда по горному склону вниз? Кое-кто из арабов вспомогательных частей уже улыбается: их воображению рисуются просторные внутренние помещения пещер, где улед риахи, расположившись со всеми удобствами, должно быть, посмеиваются над ними.

Настала ночь, ночь полнолуния, и тут «через отверстие, до тех пор скрытое от нас зарослями туи, выбрался один араб, которого сразу ранили; в руках у него оказался сосуд для воды...» Из этого сделали заключение, что у беглецов нет воды. Пелисье сразу воспрял духом: он надеется прийти с ними к соглашению путем переговоров, которые возобновляет утром 19 июня; в то же время он выражает решительное намерение применить жесткие меры, если другой возможности не будет.

Было обнаружено еще одно отверстие, которое сообщалось с той частью пещеры, куда вел нижний вход. Его решили использовать как дополнительный очаг. Сильный огонь запылает прямо у отверстий, ведущих в пещеры, и тогда на этот раз дым проникнет во внутренние помещения.

Пока ведется усиленная работа по заготовке хвороста, рубятся деревья вокруг, собирается сухая трава и солома, Пелисье не зажигает костра: он предпочитает сделать последнюю попытку и начинает переговоры.

Беглецы как будто готовы сдаться: в девять часов является первый гонец, затем, после совета, который они держали на своей сходке — джемаа, — второй, и наконец третий просит «аман». Они согласны выплатить военную контрибуцию, а следовательно, и выйти из пещер, однако опасаются, как бы их не отправили в Мостаганем, в «Башню аистов».

Удивленный Пелисье (ведь он принадлежал к верховному командованию Алжира и понятия не имел о печальной славе этой тюрьмы) обещает избавить их от такой участи, но безуспешно. Улед риахи, согласившись выплатить до 75 000 франков контрибуции, никак не могут решиться поверить ему в отношении этого последнего пункта.

Переводчик по имени Готц направляется к ним, для того чтобы перевести послание Пелисье. Тот снова обещает им свободу. Переговоры длятся еще три часа. Осажденные не хотят отдаваться в руки французов безоружными, они просят, чтобы те отошли от подступов к пещерам. Условие совершенно неприемлемое, полагает Пелисье, заботившийся о своем престиже.

Готц снова пытается убедить их:

— В вашем распоряжении остается не более четверти часа, выходите!.. Ни одного мужчину, ни одну женщину, ни одного ребенка не отправят в тюрьму Мостаганема!.. Еще четверть часа — и стрельба, которая велась у вас над головами, возобновится, тогда пеняйте на себя!

Пелисье в своем рапорте будет настаивать на продлении сроков, на бесконечных проволочках осажденных. «Долготерпению моему пришел конец», — заметит он.

Час дня. Работы по заготовке дров не прекращались даже во время переговоров. Поэтому, когда снова вспыхнет огонь, его будут поддерживать весь этот день — 19 июня — и всю следующую ночь.

Вязанки подбрасываются солдатами с вершины отрога аль-Кантара. Вначале из-за неточного попадания горючего материала огонь, как и накануне, разгорается медленно. Однако Пелисье, предвидя это, разработал до тонкостей весь план и еще рано утром приказал устроить площадки на вершинах утесов, чтобы удобнее было бросать вязанки. Это возымело свое действие. Через час после возобновления операции солдаты бросают свои вязанки «весьма успеш-

но». Кроме того, поднявшийся ветер направляет пламя, и дым почти весь проникает внутрь.

А солдаты и рады стараться, работают не покладая рук. Они будут поддерживать пламя вплоть до 20 июня, до шести часов утра, то есть в течение восемнадцати часов кряду. Один свидетель из числа французов подтвердит:

«Силу огня трудно описать. Пламя высотой в шестьдесят метров, если не больше, поднималось над аль-Кантарой, густые клубы дыма вихрем кружили у входа в пещеру».

Посреди ночи внутри пещер слышались выстрелы, довольно явственно прозвучало несколько взрывов. Потом все стихло. Тишина стояла до самого утра. Огонь постепенно угас.

После возвращения в Алжир Бюжо одолевают заботы политического порядка. В конце концов, совсем неплохо, что мятеж вспыхнул вновь; парижские министерства будут испытывать нужду в нем, «спасителе», который в прошлом году заявил, что Абд аль-Кадир окончательно повержен. Зато теперь появляются все новые абд аль-кадиры, им несть числа, они восстанут в каждом районе, и каждый из них еще более «фанатичен» и мужиковат, а с такими вождями французские власти не могут подписывать никаких соглашений.

«Выкурите их всех, как лисиц!»

Так написал Бюжо; Пелисье повиновался, однако, когда в Париже разразится скандал, он не станет разглашать приказа. Это настоящий кадровый офицер: сословный дух в нем силен, чувство долга для него свято, к тому же он уважает закон сохранения тайны.

И все-таки донесение он отправил. «Мне пришлось возобновить работу с вязанками дров», — пишет он. Через три дня, следуя заведенному порядку, он составляет рапорт и, как человек методичный, перечисляет все до последней мелочи: различные этапы переговоров, личные качества

каждого из своих гонцов, бесконечное возобновление переговоров — в последний раз у нижнего входа. Им было дано не четверть часа, а «пять раз по четверть часа», — утверждает он... Но те, кто скрылся в пещерах, — сварливые, осторожные, подозрительные — отказались положиться на слово французов. Они, видимо, больше верили в надежность своих подземных укрытий.

Угроза была приведена в исполнение: «Все входы и выходы закрыты». Составляя свой рапорт, Пелисье как бы вновь переживает ту ночь 19 июня, освещенную языками пламени высотой в шестьдесят метров, лизавшими каменные стены Накмариа.

Я тоже в свою очередь попробую восстановить эту ночь и эту картину — «картину каннибалов», как скажет впоследствии некий П. Кристиан, врач, перекочевывавший во время передышки, длившейся с 1837 по 1839 год, из французского лагеря в алжирский и обратно. Однако я предпочитаю обратиться непосредственно к показаниям двух очевидцев. Один из них — испанский офицер, сражавшийся во французской армии и бывший тогда в авангарде. Его свидетельство напечатает испанская газета «Эральдо». Другой — неизвестный солдат — опишет случившееся своей семье, его письмо предаст гласности доктор Кристиан.

Испанец рассказывает нам о высоте пламени — шестьдесят метров, — окружавшего отрог аль-Кантара. «Огонь, — подтверждает он, — поддерживали всю ночь: солдаты вталкивали вязанки в отверстия пещеры, словно в печь». Неизвестный солдат опишет увиденное с еще большим волнением:

«Какое перо способно передать эту картину? Видеть посреди ночи при свете луны, как военная часть французской армии занимается тем, что разжигает адский огонь! Слышать глухие стоны мужчин, женщин, детей и животных, потрескивание обрушивающихся раскаленных камней и непрерывную стрельбу!»

И в самом деле, окрестную тишину нарушали отдельные выстрелы; Пелисье и его окружение усматривали в этом признак междоусобной борьбы в пещерах. Так вот это раскаленное пекло, которым, словно живой кровожадной скульптурой, любитесь армия, отрезало от мира полторы тысячи людей вместе с их скотиной. Неужели этот испанский свидетель, прикинув ухом к полыхавшему утесу, один слышит поступь надвигающейся смерти?..

Воображаю себе детали этой ночной сцены: две с половиной тысячи солдат, вместо того чтобы спать, предаются созерцанию своей неотвратимо приближающейся победы над горцами... Кое-кто из зрителей наверняка чувствует себя отмищенным за множество других бессонных ночей! Африканские ночи! Кроме холода и первозданной природы, которая как бы застывает недвижно в ночной тьме, не дает покоя еще и вой шакалов; невидимый враг, казалось, не дремлет ни минуты; конокрады с их обнаженными, смазанными растительным маслом телами скользят, словно тени, по спящему лагерю, освобождают от пут животных, сеют внезапный ужас, а когда начинается паника, часовые и те, кто спал, в суматохе убивают друг друга. Сколько раз за ночь бьют тревогу! Слово, ее обозначающее, на языке этой страны означает также «львиный хвост» — тем самым туземцы как бы признаются в своем страхе перед царственным зверем — Неназываемым.

Языки пламени продолжают лизать скалистые уступы отрога аль-Кантара. После лавины выстрелов, похожих на отдаленные удары молота, прокатившейся где-то в самом сердце содрогающейся горы, снова воцаряется тишина. В обращенных к горе взорах солдат не отражается ничего, кроме ожидания: когда же камень откроет им свою страшную тайну?

20 июня 1845 года, Накмариа, шесть часов утра.

Когда занялась заря, какой-то неясной тени — мужчине или женщине — удалось выбраться наружу, несмотря на

последние угасающие языки пламени. Сделав несколько шагов, тень эта пошатнулась и рухнула наземь, встретив смерть при солнечных лучах.

В последующие часы трое или четверо уцелевших выйдут в свою очередь на поверхность, чтобы глотнуть свежего воздуха, прежде чем испустить дух... В течение утра солдаты не решаются приблизиться: удушливый жар, едкий дым и какая-то праведная тишина окружают подступы к пещерам. И каждый спрашивает себя: что за трагедия разыгралась за этими глыбами, меловая поверхность которых едва поблекла от смрадного налета копоти? «Проблема, — завершает свой рассказ испанец, — была решена».

Пелисье приказывает послать разведчика; согласно рапорту, тот «возвратился вместе с несколькими запыхавшимися солдатами, которые и помогли нам осознать степень причиненного зла».

Разведчики подтвердили Пелисье: все племя улед риах — полторы тысячи мужчин, женщин, детей, стариков, а кроме того, сотни голов скота и лошади — целиком было уничтожено «окуриванием».

Через день после фатального исхода, прежде чем самому войти в пещеры, Пелисье посылает туда саперов и артиллерию: двух офицеров инженерных войск, двух — из артиллерии. А с ними — отряд из пятидесяти человек со всем необходимым снаряжением. Испанский офицер был из их числа.

У входа валялись мертвые животные, уже тронутые гниением, а вокруг них — шерстяные одеяла; вещи и сбруя все еще продолжали гореть... Оттуда, следуя по дорожке из пепла и пыли, солдаты с фонарями в руках проникли в первую пещеру.

«Страшное зрелище открылось нам, — пишет испанец. — Все трупы были обнажены, их положение указывало на те мучения, которые претерпевали люди, прежде чем испустили дух. Кровь лилась у них изо рта. Но еще ужаснее



было видеть грудных младенцев, валявшихся среди останков баранов, мешков с бобами и так далее».

Спелеологи этой запрятанной в глубь горы смерти перебираются из одной пещеры в другую; их ожидает все та же картина. «Это ужасная трагедия, — пишет в заключение испанец, — ни в Сагонте<sup>28</sup>, ни в Нуманции<sup>29</sup> не было проявлено столько варварского мужества!»

Но вот вопреки стараниям офицеров кое-кто из солдат тут же принимается за грабеж: хватают драгоценности, бурнусы, ятаганы, снимая все это с мертвецов. Затем разведывательный отряд возвращается к полковнику, который никак не хочет поверить в размеры бедствия.

Посылают других солдат — а время уже за полдень, и это 21 июня, первый день лета 1845 года! Среди вновь посланных находится и тот самый неизвестный, письмо которого было опубликовано П. Кристианом.

«Я побывал в трех пещерах, и вот что я увидел», — начинает он свой рассказ. Так же как и его предшественники, он в свою очередь видит у входа распростертых быков, ослов, баранов; инстинкт толкал их туда, до последней минуты они тянулись к свежему воздуху, который еще мог проникнуть снаружи. Среди животных, а зачастую и под ними находятся тела женщин, детей: часть из них была раздавлена обезумевшей скотиной...

Неизвестный, в частности, останавливается на такой детали: «Я видел мертвого мужчину, колено его упиралось в землю, а рука сжимала рог быка. Перед ним была женщина, державшая на руках ребенка. Нетрудно догадаться, что мужчина этот, точно так же, как и женщина, ребенок и бык,

---

<sup>28</sup> Сагонте (ныне Сагунто) — город в Испании, завоеванный в 219 г. до н. э. после длительной и жестокой осады карфагенским полководцем Ганнибалом.

<sup>29</sup> Нуманция — город VI в. до н. э. — первых вв. н. э. в Испании, центр сопротивления местного племени кельтиберов римской экспансии.

задохнулся в тот самый момент, когда пытался защитить свою семью от взбесившегося зверя».

Этот второй свидетель приходит к тому же выводу: более тысячи мертвых, не считая тех, кто, сбившись в кучу, образовал сплошное месиво, и не принимая во внимание грудных младенцев, завернутых, почти все как один, в туники своих матерей...

Шестьдесят уцелевших сумели выбраться из этой могилы заживо погребенных. Сорок остались в живых, некоторым оказали помощь в полевом лазарете... Десять из них получили свободу!

Пелисье уточняет, что «по ниспосланной провидением случайности самые рьяные сторонники шерифа погибли». Из выживших он оставил у себя жену, дочь и сына Бон Накаха, халифа Бу Мазы в этом районе. То были единственные пленники, которыми он считал возможным гордиться.

В тот день, 21 июня 1845 года, после полудня дым у горного отрога рассеивается. И мне хотелось бы поподробнее разобраться в приказе, отданном тогда Пелисье:

— Вытаскивайте их на свет! Пересчитать всех!

Возможно, утратив над собой вдруг контроль, он мог бы еще добавить с внезапным остервенением: «Вытащим этих дикарей, пускай даже окостеневших или разложившихся, и тогда мы наконец одолеем их, добьемся своего!..» Не знаю, может, и так, я всего лишь строю догадки, основываясь на словах приказа. Но разве цель моего повествования тщетно воображать мотивы действий палачей?

Меня не столько интересуют первые шаги тех, кто, спустившись под землю, отыскивает при свете фонаря задохнувшихся во тьме людей, сколько самый момент извлечения трупов из пещер.

«Их вытащили около шестисот», — отмечает испанский офицер, подчеркивая растерянность полковника, окруженного офицерами своего штаба, остолбеневшими от изумления.

Шестьсот улед риахов лежали на вольном воздухе, бок о бок, независимо от пола и принадлежности к тому или иному сословию: люди знатного рода рядом с последними бедняками, сироты, оставшиеся без отца, вдовы, разведенные, младенцы, привязанные у матери за спиной или вцепившиеся в ее плечи... Мертвецы, с которых сорвали их драгоценности и бурнусы, с почерневшими лицами спят в мертвой тишине, которая уравнивает всех. Никто их не обмост, никто не укроет саваном; не будет и погребальной церемонии, никто не станет их оплакивать ни дня, ни часа.

Арабы из отряда аль-Каима — те самые, которые три дня назад по своей глупости положили начало этой трагедии, — недостойно покрасовавшись, словно на традиционном конном празднестве, именуемом фантазия, опасливо удаляются; им почудилось, что трупы, сложенные жалкой кучкой, глядят на них, пригвождая к этому скалистому утесу и посылая им вслед проклятия — ведь тела-то их так никто и не предал земле.

Основная часть французского войска оставалась на месте. Поэтому, кроме санитаров и разведывательной группы, кладбища этого не видит никто, солдатам из-за дальности расстояния оно кажется неясным пятном... По рукам ходят награбленные вещи, их тут же перепродают друг другу... Затем все-таки поползли слухи: те из очевидцев, кто входил в подземелье, стали описывать мертвецов, которых не удалось вытащить, потому что они превратились в месиво. И французы призадумались, их воображению рисовалось кладбище, раскинувшееся у них под ногами...

Входил ли в пещеры сам Пелисье? Кое-кто задается таким вопросом. В самом деле, наступил третий день трагических событий — 22 июня, этим числом датируется рапорт полковника. Некоторые утверждают, будто бы он сказал, выйдя оттуда: «Какой ужас!»

Другие уверяют, будто он вздохнул: «Какой кошмар!»

Во всяком случае, в своем официальном рапорте он отмечает:

«Подобные операции, господин маршал, осуществляют только в силу жестокой необходимости, моля при этом Бога, чтобы такое никогда более не повторилось!»

Итак, Пелисье страдает, обращая молитвы к богу... Войско обсуждает исход событий. 22 июня солдаты с радостью узнают о конечных результатах операции: множество окрестных племен, в том числе и улед риахи, оставшиеся на другом берегу Шелифа, а также племена бени зейтун, шазгарт, мадиуна, ашаш — все они посылают к французам своих представителей. Начинают сдавать ружья, приводят и оставляют лошадей в знак своего подчинения.

Некоторые солдаты уже готовы забыть шестьсот извлеченных из пещер трупов, которые «примкнувшие» из отряда «Макзен» предают наконец земле, закапывая в общей могиле. Поздравляя друг друга, солдаты еще и похваляются: в пещеры эти за три века турецкого владычества ни разу никому не удалось проникнуть!

Итак, над этими горными кручами одержана, казалось, бесспорная победа. Однако уже на следующий день, то есть 23 июня, окружающая природа как бы начинает мстить за себя: запах тлена становится таким сильным (к ущелью стаями слетаются вороны и грифы, и солдаты видят, как птицы растаскивают человеческие останки!), что Пелисье в тот же день отдает приказ перенести лагерь чуть подальше...

Словно солнце и лето, вступившее в свои права, сама окрестная природа изгоняли французскую армию прочь.

Надо уходить. Запах становится все невыносимей. Но как избавиться от воспоминаний? И вот мертвые тела под палящим солнцем становятся словами. И слова эти трогаются в путь. В их числе и слова излишне длинного рапорта Пелисье; когда они добрались до Парижа, их зачитали на парламентском заседании, и началась яростная полемика:

поношения оппозиции, смущение правительства, бешенство сторонников войны, стыд, обуявший Париж, где зреет революция 48-го...

Канробер, подполковник гарнизона в той же Дахре, поделится позже своими впечатлениями:

«Пелисье повинен только в одном: обладая даром хорошо писать и зная об этом, он в своем рапорте представил весьма красноречивое и реалистичное, пожалуй даже, чересчур реалистичное описание страданий арабов...»

Впрочем, оставим в покое борьбу мнений: не исключено, что шум, поднятый в Париже вокруг мертвых, описанных в рапорте, был всего лишь отражением политических страстей. Главное, что Пелисье благодаря своему «чересчур реалистичному» описанию воскрешает перед моим взором тех, кто погиб в ночь с 19 на 20 июня 1845 года в пещерах улед риахов.

Вспомним, к примеру, тело женщины, найденное рядом с мужчиной, который пытался защитить ее от ревушего быка. Пелисье, мучимый угрызениями совести, не дает этой смерти раствориться в безвестности, его словесное свидетельство, отправленное в качестве самого обычного рапорта, спасает от забвения этих исламских покойников, лишенных положенных погребальных обрядов. Столетнее молчание их просто заморозило, вот и все...

Да, благодаря словам память извлекает из небытия приглядевшихся смерть от удушья в Дахре. Рассказ о них запечатлен в рапорте Пелисье, в обличающем свидетельстве испанского офицера, в письме потрясенного неизвестного, и рассказ этот стал нетленнее любой надписи из железа и стали, будь она оставлена на утесах Накмариа.

Но не прошло и двух месяцев, как в двадцати лье оттуда полковник Сент-Арно окуривает в свою очередь племя сбеахов. Он закрывает все входы и выходы, а «сделав дело», даже не пытается извлечь мятежников на поверхность. Сам не входит в пещеры и никому не позволяет трупы счи-

тать. Так что точных сведений нет. И выводов, само собой, тоже никаких.

Правда, конфиденциальный рапорт был направлен Бюжо, который на этот раз поостерегся посылать его в Париж. На том дело и кончилось. А в Алжире рапорт со временем уничтожат... Шестьдесят восемь лет спустя, в 1913 году, почтенный преподаватель университета по имени Готье пытается отыскать след этих событий, но не находит и даже задается вопросом, уж не сочинил ли все это Сент-Арно из тщеславных побуждений. Не «придумал» ли это новое окуривание, дабы не отстать от Пелисье да еще прослыть ловкачом!.. Но нет, исследователь обнаруживает, что память об этом живет в рассказах потомков.

Всего через каких-нибудь два месяца после Пелисье Сент-Арно действительно задушил дымом по меньшей мере восемьсот сбежавших. Просто он не стал разглагольствовать о своей бесспорной победе. Смерть так смерть. Заживо погребенных никто и никогда не извлекал из пещер Сент-Арно!

Но даже он, красавец мужчина, хитрый, ловкий, кому всегда все удастся — недаром он будет единственным командиром из всей африканской армии, на кого падет выбор при подготовке будущего государственного переворота 2 декабря 1851 года, кто в самый разгар войны смог обуздать слова, а следовательно, и свои страхи, — даже он не в силах удержаться и пишет брату:

«Я приказал наглухо закрыть все выходы и превратил это место в большое кладбище. Земля навеки скроет трупы этих фанатиков. Никто не спускался в пещеры!.. Маршал узнал обо всем из конфиденциального рапорта, составленного в самых простых выражениях, без этой кошмарной поэзии и без всяких картинок».

И в заключение, пытаясь изобразить горестное волнение, он считает нужным добавить:

«Брат, мало найдется таких людей, как я, — добрых от природы и по призванию!.. С 8 по 12 августа я был по-настоящему болен, но совесть моя чиста, мне не в чем себя упрекнуть. Я выполнил свой долг командира, и завтра, если понадобится, я все начну сначала, но поверь, Африка мне опротивела!»

Один из лейтенантов Бу Мазы, аль-Гобби, тоже оставит свое свидетельство — по-арабски или по-французски, не знаю, ибо его так и не смогли отыскать. Через двадцать лет после случившегося кое-кто ознакомится с этим документом и в свою очередь тоже напишет.

Итак, Сент-Арно, совершив свое злодеяние, уходит по-дальше от Айн Мериана и устраивает привал дней на десять. Туземцы не решаются ничего предпринять для спасения замурованных людей. Меж тем один из адъютантов Бу Мазы, слывший в этих местах героем-любовником и в то же время отважным смельчаком, некий «Иса бон Джинн» (прозвище, которое можно было бы перевести как «Иисус, сын дьявола»), так вот Иса является туда и говорит другим сбеахам:

— Там, внизу, находится одна женщина, которую я сильно любил! Попробуем узнать, жива она или нет!

Согласно его предписанию, оставшаяся часть племени отрыла скважину. С десятков несчастных вышли, едва держась на ногах, но все-таки живые. Они находились в верхней части пещер, «представляющих собой вертикальный лабиринт пустот», — отметит Готье, обследовавший эти места.

В других отсеках, там, где скопились ядовитые газы окуривания, приходилось ступать по трупам, превратившимся в «ворох соломы», рассказывает аль-Гобби. Их пришлось захоронить прямо там.

Впоследствии на месте бывшего бивуака в Айн Мериане было основано селение колонизаторов — Рабле. В 1913 году Готье отыскивает там человека, оставшегося в живых

после окуривания, это восьмидесятилетний старик, которому в момент событий не было и десяти, так вон он оказался среди живых, выбравшихся оттуда благодаря тому, что Иса, «сын дьявола», хотел освободить «одну женщину, которую сильно любил».

И преподаватель университета в мирном колониальном Алжире, который преспокойно спал, работал и богател на удобренной трупами почве, пишет:

«В повседневной жизни далеко не часто встречается такая вещь, как окуривание... Я отдаю себе отчет в своем беспристрастии и, я бы даже сказал, безразличии, которые, на мой взгляд, просто необходимы, когда занимаешься спелеологией».

И вот через полтора века после Пелисье и Сент-Арно я упражняюсь в спелеологии особого свойства, ибо я цепляюсь за обрывки французских слов, почерпнутых из рапортов, повествований, свидетельств о прошлом. Будет ли мое начинание в отличие от «научных» изысканий Е. Ф. Готье проникнуто запоздалым пристрастием?

Извлеченная из забытья память об этом двойном захоронении живет во мне, вдохновляет меня, даже если порой и начинает казаться, что эту книгу записи умерших в пещерах и преданных забвению я завожу для незрячих.

Да, я ощущаю толчок, от которого звенит в ушах, и мне хочется поблагодарить Пелисье за его рапорт, вызвавший в Париже политическую бурю, но не только за это: ведь он возвращает мне наших мертвых, к которым сегодня я обращаю поток французских слов. И даже Сент-Арно, нарушивший ради брата условленное молчание, сам указывает мне место пещер-могил. Но стоит ли открывать их теперь, столько времени спустя после «сына дьявола», искавшего любимую женщину, не слишком ли поздно? Нет, слова эти, окрашенные в ярко-красный цвет, врезаются в меня, словно лемех погребального плуга.



Я решаюсь неприкрыто выразить свою нелепую признательность. Нет, не Кавеньяку, который был первым окуривателем, вынужденным из-за республиканской оппозиции уладить дело втихомолку, и не Сент-Арно, единственному истинному фанатику, а Пелисье. Совершив убийство с бахвальством наивной грубости, он испытывает угрызения совести и пишет, дабы поведать об организованной им смерти. Я готова чуть ли не благодарить его за то, что он не отвернулся от мертвецов, а уступил побуждению обессмертить их, описав их застывшие тела, их прерванные объятия, предсмертную судорогу. За то, что он сумел взглянуть на врагов иными глазами и увидел не просто фанатичное множество, армию вездесущих теней.

Пелисье, «варвар», военный командир, так обесславленный впоследствии, стал для меня первым писателем, поведавшим о первой Алжирской войне! Ибо он решается подойти к жертвам, которые только что испустили дух и содрогались не от ненависти, а от бессильной ярости и от желания умереть... Пелисье, этот палач и в то же время судейский писарь, несет в своих руках факел смерти и освещает его светом мучеников. Всех этих женщин, мужчин, детей, над которыми плакальщицы не смогли совершить положенного обряда (ни одного расцарапанного лица, ни одного медленно льющегося, душераздирающего песнопения), ибо и сами плакальщицы оказались испепеленными огромным пылающим костром... Подумать только, целое племя! А тех, кто выжил и, шатаясь, устремился навстречу первым проблескам зари, нельзя даже назвать восставшими из мертвых, скорее уж это бесплотные тени, которые даже при свете дня не могут разглядеть ничего, кроме кипящего котла бойни.

Писать о войне - Пелисье, который сочиняет свой рапорт 22 июня 1845 года, должно быть, предчувствует это — значит вплотную касаться смерти, ее бесцеремонных ма-

нер, это значит отыскать следы ее устрашающего танца... Вся окрестная природа» — горы Дахры, меловые утесы, нагромождение выжженных садов — внезапно преображается, принимая облик места последнего успокоения. А жертвы в свою очередь обращаются в горы и долины. Так, женщины, неподвижно застывшие среди животных и не успевшие разомкнуть последних объятий, поведали нам о своем желании остаться верными сестрами-супругами своих мужчин, которые не сдались.

Пелисье, безмолвный свидетель, спустившись в эти навечно наполненные живым присутствием пещеры, охвачен был, верно, предчувствием палеографа: и победители, и побежденные, смешавшись, переплавляются в конце концов в едином потоке магмы.

Увидев своими глазами окуренных, обращенных в пепел, Пелисье берется писать рапорт, собираясь изложить события в установленном порядке. И не может, навеки став зловещим и в то же время взволнованным могильщиком этих подземных медин<sup>30</sup>, он чуть ли не заботливый бальзамировщик этого племени, навсегда оставшегося непокоренным...

Пелисье, уберегший от забвения долгую агонию полутора тысяч смертников вместе с их стадами, безумолчно ревущими в пещерах аль-Кантары над этой печальной кончиной, протягивает мне свой рапорт, и я беру этот палимпсест<sup>31</sup>, чтобы в свою очередь запечатлеть на нем обугленную страсть моих предков.

---

<sup>30</sup> Медина — город в Саудовской Аравии, куда в 622 г. из Мекки переселился основатель ислама Мухаммед; *здесь* — арабский город.

<sup>31</sup> Палимпсест — древняя рукопись, написанная на писчем материале после того, как с него счищен прежний текст.

*Аззедин Бунемёр*

## **РАЗБОЙНИКИ В ГОРАХ АТЛАСА\***

---

\* Bounemeur A. Les bandits d'Atlas. Alger, 1982. Роман удостоен Первой премии на конкурсе в честь 20-й годовщины провозглашения Независимости Алжира в 1982. Здесь дается по русск. переводу «Разбойники в горах Атласа». М.: Детгиз, 1987.

## ЗАМЕТКИ

### к переизданию книги

Я не случайно осмелилась напомнить Читателю об этой замечательной книге, когда-то изданной у нас на русском языке в прекрасном переводе моей давней коллеги по совместной работе в Магрибе в 60–80-х гг. XX в., и на постоянном для нас обоих поприще ознакомления с франкоязычной литературой магрибинцев, культурой этого «региона» — Н. А. Световидовой, немало сделавшей переводов и творчества самых известных писателей Франции. Во-первых, потому, что, несмотря на давность написания «Разбойников в горах Атласа», книга остается, как это ни странно, — очень актуальной: Горы приходят снова в движение от Кавказа (в 90-е годы) до Афганистана в 2021 г. и др. регионах мира. Разве это не повод напомнить, что «подталкивает» горцев к извечному, казалось бы, противостоянию «своих вершин» — *незыблемых Традиций*, входящих в противоречия рано или поздно с окружающим их миром, если он диктует другие законы Жизни, не соответствующие *заветам предков*, догмам своей религии и прочим *основам бытия горцев «как таковых»*. Тем более, в книге, о которой я напоминаю, можно услышать и увертюру к последующим событиям в горах Алжира, когда уже вершилась война за Независимость страны. Но в этой увертюре одновременно и экспозиция тех контрастов жизни, которым был наполнен мир гор Алжира и которые оставались еще надолго зеркалом внутренних социальных противоречий всего алжирского общества.

Вторым поводом для переиздания этой замечательной книги был звонок, который я недавно получила в разгар

«всеобщей удаленки», пандемии и прочих событий неподалеку от границ нашего государства, звонок (из больницы!) — Чрезвычайного и полномочного посла, когда-то служившего в Алжире, не прекращающего своей ответственной службы и по сей день (он сегодня как ветеран — «ответственный» за подготовку «Дипломатов Будущего»), который попросил меня, давно сотрудничающую с его школой воспитания молодых кадров дипслужбы, подумать о теме очередного доклада: «Литература как форма народной дипломатии». Я сама давно в этом уверена: ведь если люди способны читать и стремятся к знанию культур других народов, чтобы лучше знать окружающий их мир, значит, люди думают о Море как о возможности сосуществования, а не «захвате» чужих территорий и не превосходстве только культуры своей страны. Постигание «другого» — вещь нелегкая и тем более трудная для тех, кто стремится к Просвещению как итогу философии Гуманизма, как концентрации идей возможности сохранения человечества в разнообразных формах его бытия на Земле. Почитайте предисловие В. П. Егошкина, — это он, Посол под псевдонимом (весьма понятным для профессионального дипломата), написал предисловие к «Разбойникам Атласа», исполненное призыва к молодежи познать другой мир и понять его заботы и его проблемы, условия его существования и причины невозможности продолжения зависимости от воли «чужого». Это он, посол, зная Алжир не «из кабинета», не по докладам своих секретарей и советников, превосходно владея многими языками, изъездил Алжир вдоль и поперек, побывал и в горах Атласа (а это в Алжире — огромный край — от запада на восток растянувшийся от границ с Марокко до самого Туниса, от Ореса, Кабилии и далее), собирая фольклор, изучая традиции, познавая пространство своей нелегкой миссии, и до сих пор издает алжирские сказки, пишет свои книги, статьи, постоянно сотрудничает с учеными и представителями культуры Магриба. Он не

просто энтузиаст, широко образованный человек, но и настоящий «пахарь» на ниве Знания и Просвещения. Он решил мне, как и переводчица книги о «Разбойниках в горах Атласа», переиздать эту книгу в том виде, как она появилась на свет — с предисловием и послесловием, написанным самим Автором, который, как и многие алжирские поэты и писатели, верил и надеялся, что «дружба наших народов», как и вера только в Рассвет, *светлое будущее* — не иссякнет...

Поддержим эту искру Надежды и еще раз сделаем попытку представить мир Гор таким, как он есть, чтобы понять еще раз, *почему* он порой приходит в движение, защищая свои устои. Иногда он одерживает свои победы. А иногда — терпит поражение или утрачивает свои иллюзии (или просто мечты?) на возможность сохранения *традиций* жизни или даже «возврата к Истокам»... Людям часто кажется, что в **Истоке** должна быть только чистая, «ключевая» вода... Они часто забывают о том, что мир — безвозвратно — меняется, и всем нам — современникам — не лишне знать, *почему* идут эти перемены, и что люди теряют, и что они обретают. Иначе История — только загадка, Настоящее — не итог Прошлого, а Будущее, возможно, — не учтет уроки прошедшего. Однако Алжир сегодняшний, на мой взгляд, должен помнить и о том, что в его новой, самостоятельной, осуществившей многие мечты своего народа о «лучшей доле» жизни есть и немалый вклад нашего народа, о чем и поведал Посол в своем Предисловии к этой книге.

С. Прожогина

## **ПРЕДИСЛОВИЕ**

Атласские горы — колыбель алжирской революции. Недаром самыми любимыми песнями алжирских революционеров стали песни о горах. В песнях «Мин джибалина» (С наших гор), «Джезаируна» (Наш Алжир) и многих других говорится о том, что именно горы стали опорой революции, там было поднято ее знамя и разгорелось пламя борьбы за свободу, оттуда разлилось это пламя по всему Алжиру.

Во все времена служили горы защитой тем, кто хотел укрыться от врагов. Есть в них и густые, непроходимые леса, и бездонные ущелья, и глубокие пещеры. Трудно, ой как трудно забираться в эти горы по узким, почти неразличимым тропкам, по острым, осыпающимся камням, и почти невозможно отыскать там человека, который не хочет, чтобы его нашли.

Целые племена уходили в горы, не желая покориться завоевателям. Находили в них приют люди, объявленные «вне закона», дорожившие своей свободой, не смилившиеся с завоеванием своей страны. В горах было пристанище народных мстителей, борцов за свободу, отсюда не раз разливались по всему Алжиру пожары народных восстаний. Случалось, что в горах скрывались и обыкновенные грабители, от которых прежде всего страдали сами горцы. Завоеватели намеренно не делали различия между ними и всех называли разбойниками.

Кого только не влекли к себе богатства этой земли! Высаживались на побережье мореплаватели — финикийцы, основали здесь государство Карфаген, знаменитый военачальник которого Ганнибал — один из величайших полко-

водцев древности. Римляне превратили эту страну в свою житницу, вывозили зерно и оливковое масло. Вторгались вандалы, прославившиеся тем, что разрушали то, что было построено до них другими, а сами построить ничего не умели. Вандалов сменили византийцы.

Потом в конце VII — начале VIII века нашей эры переселились в Северную Африку арабы, с которыми смешались многие местные племена берберов, и образовались на территории Алжира арабские княжества. Но тут появились испанские завоеватели, которые попытались захватить прибрежные алжирские города. Чтобы прогнать их, позвали алжирцы на помощь турецких пиратов во главе с братьями Барбаросса, и стал Алжир частью огромной Османской империи. Триста лет выплывали из алжирских портов корабли морских разбойников, наводившие ужас на мореплавателей в Средиземном море. А простых алжирцев пираты жестоко угнетали.

В 1830 году на алжирском побережье высадились французские войска. Турецкий дей со своим войском сразу же сдался им, но народ Алжира не примирился с новым завоеванием. Немало лет потребовалось колонизаторам, чтобы «усмирить» непокорных алжирцев и установить в Алжире о власть, продолжавшуюся долгие 132 года.

Много завоевателей приходило на землю Алжира, но никогда не могли они овладеть Атласскими горами. Все попытки покорить свободолюбивые племена берберов кончались неудачей. Каждая деревушка в горах Атласа — настоящая крепость. Она обычно лепится на вершине горы дом к дому, как настоящий муравейник. Пробраться врагу незамеченным к деревне почти невозможно. Подъем крутой, опасный. Улочки в деревне узенькие — хороший воин может в такой улочке целое войско сдержать. А берберы всегда были хорошими воинами. За право прохода через земли берберских племен, живших в горах Атласа, чуже-



земные правители Алжира нередко должны были платить пошлину.

Французы, оккупировав Алжир и объявив его частицей Франции, долгое время даже не решались «сунуться» в Атласские горы. Это было очень рискованным делом и нередко кончалось полным разгромом французских военных отрядов. Тем более не удавалось им установить в горах свои постоянные посты. Тогда колонизаторы решили действовать по-иному. Они старались подкупать местных богатеев, назначать вождями племен — каидами — верных Франции людей, готовых пойти на предательство, и с их помощью старались подавить любое сопротивление колониальным властям. Каиды стали правой рукой колонизаторов. В своих деревнях они вершили суд и расправу над всеми, кто им не угождал, захватывали чужие земли и имущество, заставляли простых крестьян работать на себя. Чтобы держать крестьян в страхе и расправляться с недовольными, эти богатеи нанимали негодяев, которым ничего не стоило ограбить по приказу своего хозяина крестьянина, поджечь его дом, а то и убить его самого. Прибегали каиды и к помощи французских жандармов, когда недовольных их бесчинствами становилось слишком много и «бунтарей» требовалось «приструнить». За эту поддержку богачи верой и правдой служили колонизаторам.

История, о которой рассказывается в этой книге, происходит в затерянной где-то в горах Атласа деревушке Два Форта. Жители этой глухой деревушки ничего еще не слышали об электричестве, телефоне, газетах, самолетах, автомобилях и многих других вещах, без которых нормальная жизнь уже тогда казалась для нас невозможной. Эти люди отрезаны от всего мира. Все, что происходит вне гор, для них как будто не существует.

Нелегко выжить в этом суровом краю. Летом там изнуряющий зной, зимой — леденящий холод. Кругом сплошной камень, а маленькими участками земли, на которых

можно что-то вырастить, владеют местные богачи. Крестьянин-феллах, чтобы прокормить семью, должен с утра до поздней ночи гнуть спину на феодала, пахать его землю, сеять его хлеб, ухаживать за его полем. За это он получает лишь одну пятую выращенного им урожая, четыре пятых отдавая хозяину. Таких крестьян-издольщиков в Алжире называют хаммасами (хамса по-арабски значит пять). Полученной доли крестьянину едва хватало до весны, да и то если урожай был хорошим. Но очень часто из-за засухи урожай погибал, и никаких запасов на зиму крестьянин сделать не мог. Тогда его семье грозила голодная смерть. Помощи ждать было не от кого. Каид, у которого и в голодные годы имелись запасы зерна, пользовался всеобщей бедой и давал займы крестьянину хлеб, требуя за это тройную плату. Но беднякам, с которых, как он знал, ничего получить не удастся, вообще не одалживал зерна. В голодные годы люди искали в горах съедобные корни, ели желуди, траву, кору деревьев. Многие, особенно старики и дети, так и не доживали до весны.

Да и в урожайный-то год нелегкой была жизнь алжирского крестьянина. Он считал себя счастливым человеком, когда у его детей на обед была ячменная лепешка и немного оливкового масла, в которое эту лепешку можно было окунуть. Чаще всего на столе у него кускус — каша из ячменной муки крупного помола, которую женщины сбрызгивают водой и из которой скатывают крошечные шарики размером с просяное зернышко. В богатых домах кускус делают из пшеничной муки. Эту крупу насыпают в сплетенную из травы воронку — кескес и устанавливают над горшком с кипящей водой. В сваренную на пару кашу кладут немного сливочного масла, конечно, если оно есть, едят с кислым молоком. На праздник в кастрюлю, над которой варят кускус, наливают не только воду, но кладут еще разные овощи, а в богатых семьях - даже мясо. Каша пропитывается ароматом мяса и овощей и становится особенно

вкусной. Хозяйка высыплет готовый кускус горкой на большое деревянное блюдо, сверху положит овощи и куски мяса и польет бульоном, в котором они варились.

Утром, уходя в поле, крестьянин обычно выпивал немного молока и брал с собой кусок черствой ячменной лепешки, а иногда обходился горстью фиников. Кускус он ел уже к вечеру, вернувшись домой.

Жили крестьяне в жалких лачугах из камня, глины и ветвей. В такой лачуге обычно не было ничего, кроме лежащих на земляном полу нескольких овечьих шкур, служивших постелью, да старых покрывал. Самым большим богатством здесь был чайник.

Трудная жизнь была у крестьянских ребятишек. С ранних лет приходилось им помогать своим родителям: работать в поле, собирать съедобные корни, а то и идти в услужение к богачам, пасти их стада. Особенно тяжелая жизнь была у сирот, оставшихся без родителей. За кусок черствой лепешки с раннего утра до позднего вечера пасли они хозяйских коз и овец, и горе им, если на их стадо нападут прожорливые шакалы. Об учебе, конечно, не могло быть и речи. До независимости в Алжире всего один ребенок из пяти имел возможность ходить в школу, и это были дети богачей и чиновников.

Пастушатам только и радости было, как послушать сказку. В Алжире всегда любили сказки. Слушают их все — и мужчины, и женщины, и, конечно, дети. Садятся вечером вокруг старика-сказочника или старушки, и начинается чудесная история про прекрасную девушку и влюбленного в нее королевского сына, про злую гулю — людоедку и отважного мальчугана Мекидеша, про хитроумного Джеху и не менее хитрого шакала. Много в Алжире сказок! Через сказки учатся ребятишки познавать мир, который их окружает, узнают, что в нем есть хорошее, а что — плохое. Не всегда сказки эти веселые, бывают они и грустные, как и жизнь тех, кто их слушал. Рассказывают одну из таких ска-

зок и герою этой книги — пастушку Хасану, и вы узнаете ее вместе с ним.

С юных лет сталкивается Хасан с несправедливостью, жестокостью, угнетением. Потеряв в восемь лет отца, мальчик вынужден был идти работать к богачу каиду. Нужда, недоедание, а иногда и побои все время сопровождали Хасана в его жизни.

Но бывают у него и светлые минуты. На пути мальчугана встречаются хорошие, добрые люди, которые приходят ему на помощь, когда ему тяжело: дают приют и кусок хлеба, учат не склонять голову перед трудностями и насилием. Это матушка Лалла, разбойники Бусетта, Мусса и многие другие.

К тому времени, о котором рассказывается в этой книге, в горных районах Алжира уже действовали народные мстители, наносившие удары по французским колонизаторам и их сообщникам феодалам. Колониальные власти называли их бандитами, объявляли вне закона. Им жилось нелегко, но, несмотря на все беды и лишения, они сохраняли свое достоинство. Таких людей крестьяне не боялись, им они всегда оказывали помощь, укрывали их от погони. Одним из таких мстителей стал и Хасан. Они учат мальчика не мириться с несправедливостью, с угнетением. Благодаря им Хасану удастся выстоять, не потерять надежду, стать настоящим борцом.

Мальчик уничтожает ненавистного всем тирана каида, и это как бы пробуждает людей от долгой спячки, убеждает их, что с угнетателями можно и нужно бороться.

Действие романа заканчивается осенью 1953 года, за год до 1 ноября 1954 года, когда началась вооруженная борьба алжирского народа за свое освобождение. И, читая о событиях в крохотной деревушке в Атласских горах, понимаешь, что всеобщего восстания алжирского народа не могло не быть. Алжирцы уже не могли и не хотели жить

по-старому, а колонизаторы и их первые слуги — алжирские феодалы — уже не могли управлять по-старому.

Мне приходилось бывать в Атласских горах. Было это вскоре после того, как Алжир стал свободным. Как-то мой пятнадцатилетний приятель Шериф, как и Хасан, с ранних лет пасший чужих коз и овец, предложил: «Не хочешь сходить в пещеру разбойников?» Я, конечно, согласился. Чтобы попасть в эту пещеру, надо было после нескольких часов ходьбы по горам и колючим кустарникам спуститься по отвесной скале в глубокое ущелье, переправиться по камням через бурный горный поток, готовый, казалось, унести тебя прочь, затем по противоположной тоже отвесной стене ущелья лезть вверх, цепляясь за выбоины и за редкие, торчащие прямо из камня пучки травы и колючки, до почти круглой дыры. Несколько раз нога моя срывалась с уступа, несколько раз с корнем вырывалась колючка, за которую я держался, но хорошо, что рядом был Шериф. Он успевал вовремя подать руку, поддержать, не дать мне сорваться в пропасть. Когда я наконец влез в пещеру, глаза мои ничего не увидели, так там было темно. Только через несколько минут они начали привыкать к темноте, и я обнаружил, что нахожусь в огромном зале. Толстые колонны поддерживали уходящий куда-то ввысь свод. То тут, то там высились в зале немного оплывшие скульптуры чуть выше человеческого роста. Это были гигантские каменные сосульки — сталактиты и сталагмиты. Они свешивались сверху с огромной высоты и поднимались от земли навстречу друг другу, и там, где они смыкались, получалась колонна, а там, где они соединиться не успели, вырастала как бы человеческая фигура. Пещера была огромной. Задней стены у нее не было. Вместо нее вверх к самому по толку шел крутой склон. Шериф сказал, что вверху есть потайной ход, который ведет в другую пещеру, где, по рассказам, разбойники прятали свою добычу. В дни войны за независимость Алжира в пещере размещался партизанский отряд. Колони-

затары никак не могли напасть на его след. И тогда они послали самолеты и разбомбили четыре находившиеся поблизости деревеньки, разрушив их до основания, а заодно и спалив все окрестные леса.

Надо сказать, что с первых же дней высадки французских войск в местечке Сиди-Феррюш 14 июня 1830 года и до провозглашения независимости Алжира 5 июля 1962 года алжирцы не прекращали борьбы против колонизаторов. 132 года французской колонизации — это непрерывная цепь народных восстаний, вооруженных и политических выступлений, завершил которые революционный взрыв 1 ноября 1954 года. Главными участниками восстаний, многие из которых начинались в Атласских горах, были безземельные крестьяне, арендаторы-хаммасы, батраки, сражавшиеся не только за свободу и независимость своей страны, но и требовавшие предоставить землю тем, кто ее обрабатывает.

В ночь с 31 октября на 1 ноября 1954 года в разных городах и селениях Алжира загревели выстрелы, запылали пожары, восставшие напали на казармы французских войск, жандармские посты, радиостанции и другие важные пункты. Всего в эту ночь было примерно семьдесят налетов, в которых приняло участие около тысячи патриотов. В операциях, которые проводились в этот день в столице, принимали участие и бойцы, спустившиеся с Атласских гор.

У многих из тех, кто участвовал в этих выступлениях, не было никакого огнестрельного оружия. Некоторые были вооружены допотопными ружьями, доставшимися им еще от их дедов и прадедов. Главное было — пробудить алжирский народ к борьбе, сплотить всех, кто был готов бороться за свою свободу.

Прошло уже больше тридцати лет с того дня, как началась освободительная война в Алжире, и нельзя не удивляться тому, как алжирские патриоты, вооруженные лишь

легким оружием, не имевшие военной подготовки, сумели победить одну из самых сильных армий западного мира. А ведь эту армию поддерживали все империалистические страны, и в первую очередь США. Эта армия уже имела к тому времени боевой опыт в Индокитае (правда, там ее тоже разбили), и у нее было самое современное вооружение причем в неограниченном количестве. К 1960 году численность французской армии, сил безопасности и других военных формирований в Алжире достигала 1 200 000 человек, то есть на каждые восемь алжирцев, включая грудных детей, приходился один французский солдат или полицейский, а на каждого бойца созданной алжирцами Армии национального освобождения (АНО) приходилось в то же время почти 10 французских военнослужащих. Но не только бойцы АНО сражались против колонизаторов. Тысячи подпольщиков действовали в городах и селениях, а им помогали сотни тысяч, миллионы алжирцев. Против французской армии воевал весь алжирский народ.

Уже в начале ноября 1954 года в горных районах страны, особенно в Оресе и Кабилии, где были созданы первые отряды Армии национального освобождения, начались вооруженные столкновения с французскими воинскими частями. Колонизаторы развернули крупные военные операции. В каждой из таких операций, проводившихся в горах Атласа, принимали участие несколько тысяч солдат, которых поддерживали артиллерия, танки и авиация. Многие деревушки были разрушены, а тысячи их жителей арестованы.

Но никакие расправы не в силах были подавить борьбу алжирцев против угнетателей. Уже через год после начала вооруженных действий партизаны были полными хозяевами во многих районах Алжира, и прежде всего в Атласских горах. На освобожденных ими землях они, а не французские колонизаторы и не кайды осуществляли всю власть, помогали местным жителям. В некоторых местах в хозяй-

ствах, брошенных феодалами, создавались комитеты управления из бывших батраков.

Ряды партизан постоянно росли, в том числе и за счет алжирцев, служивших во французской армии. Целые воинские части, в состав которых входили алжирцы, переходили на сторону партизан, прихватив с собой оружие и боеприпасы. Все больше людей участвовало в проводившихся против оккупантов операциях: минировали дороги, выполняли роль связных, предупреждали об опасности, разрушали стойки строящихся проволочных заграждений, обрезали телефонные провода, вырывали ямы на дорогах, которыми пользовались военные автомобили.

Особенно активно в борьбу включилась молодежь. В партизанские отряды уходили молодые крестьяне и рабочие, студенты, ученики старших классов. В борьбе участвовали даже дети. Маленькие разведчики добывали важные для партизан сведения о всех перемещениях противника, маленькие связные помогали поддерживать связь между отрядами. Дети доставляли в горы продовольствие. Пастухата, пасшие коз и овец, принадлежавших колонизаторам или их пособникам — алжирским землевладельцам, нередко перегоняли стада в места, где скрывались партизаны.

Патриоты ловко уклонялись от столкновений с преобладающими силами противника и наносили удары там, где их не ожидали. Тогда французская армия обрушила удары на гражданское население. Сотни деревень были сожжены, десятки тысяч стариков, женщин и детей замучены и убиты карателями. Четыре миллиона алжирцев было выселено из зон активных действий партизан и помещено в концентрационные лагеря.

Много алжирских детей в годы войны остались без отца и матери, без крыши над головой. Голодные и оборванные, они бродили в поисках хоть какой-нибудь пищи. Некоторые из них оказались вместе с другими алжирскими беженцами в Тунисе и Марокко. Другие вступили в отряды Ар-



мии национального освобождения и вместе со взрослыми принимали участие в боевых действиях. Но партизаны старались уберечь мальчишек от опасностей и, когда представлялась возможность, переправляли их через границу. Партизаны хотели не только спасти детей от вражеских пуль, голода и болезней, но и научить их читать и писать, растили из них настоящих борцов за свободу своей страны.

Видя, что попытки «умиротворить» алжирцев не дают результатов, колонизаторы решили полностью изолировать Алжир от внешнего мира, окружив его стеной из стали и бетона. Они свезли на границы Алжира с Тунисом и Марокко миллионы тонн цемента, колючей проволоки, стальных опор, брони, мин и начали строить укрепления, на их строительстве использовались тысячи алжирских заключенных, силой сгонялись крестьяне. Заграждения тянулись на тысячи километров вдоль границ Алжира от самого Средиземноморского побережья до песков Сахары и занимали площадь в сотни тысяч квадратных километров. Алжирскую землю опутали колючей проволокой, начинили миллионами мин. Это были «полосы смерти», через которые не только человек, но даже заяц не мог проскочить. Оккупанты пытались помешать друзьям борющегося алжирского народа переправлять через границу оружие, боеприпасы, лекарство тем, кто сражался за свободу Алжира. Ни колючая проволока, ни мины, ни танки, ни самолеты не останавливали патриотов, которые под огнем противника ухитрялись переходить границу, переправлять в центральные районы страны не только легкие автоматы и патроны, но даже тяжелые пушки.

При переходе через минные поля партизанам на выручку нередко приходили мальчишки-пастухи. Они гнали перед отрядом стада коз, и, идя по их следу, партизаны были в безопасности.

Колонизаторы не только построили заградительные укрепления на границе, но и проводили операции по оцепле-

нию и прочесыванию районов, где действовали партизанские отряды. Эти районы объявлялись запретными зонами, находившиеся там деревни уничтожались, а их жителей вывозили в концентрационные лагеря. Французские солдаты уничтожали посевы, истребляли скот, а самолетам, облетавшим запретные зоны, был дан приказ открывать огонь по всему, что движется.

Но партизанская разведка, как правило, вовремя сообщала о предстоящей карательной операции, и партизаны, разбившись на небольшие группы, успевали выйти из оцепленной зоны. Они предупреждали жителей деревень, которым угрожала опасность. В Атласских горах существовали специальные убежища для тех, кто скрывался от карателей. В запретных зонах жизнь не прекращалась, только работали люди на полях и в садах не днем, а ночью.

В жестоких боях отвоевал алжирский народ свою свободу. Полтора миллиона алжирцев отдали за нее свои жизни. 5 июля 1962 года бело-зеленые алжирские знамена реяли уже над всеми городами и селениями страны. После семи с половиной лет освободительной войны Алжир стал независимым.

Алжирцы выгнали из страны тех, кто их грабил — колонизаторов и каидов, и заявили, что будут строить новую жизнь.

Победа алжирского народа была бы просто невозможной без помощи друзей. Благодаря этой помощи Армия национального освобождения получала оружие, боеприпасы и смогла наносить поражения противнику. В том, что Армия национального освобождения Алжира превратилась в грозную силу, немалая заслуга Советского Союза. Советские люди посылали алжирским детям, оставшимся без крова, продовольствие, лекарство, одежду, ткани, палатки, лечили больных и раненых.

Умолк треск автоматных очередей, грохот разрывов снарядов и бомб, не стало слышно рева французских воен-

ных самолетов, а грозное эхо войны продолжало звучать то тут, то там на алжирской земле. Сотни тысяч гектаров плодородных земель, начиненных минами, стояли без дела. На них нельзя было растить такой нужной молодой республике хлеб, на них нельзя было пасти скот, по ним нельзя было даже ходить. Война кончилась, но на оставленных колонизаторами минах подрывались сотни алжирцев. И особенно много среди них было ребятишек, маленьких пастушат, которые, разыскивая отбившихся от стада коз и овец, забредали на минные поля.

На помощь алжирскому народу пришли тогда простые советские парни в серых солдатских шинелях. Они привезли с собой тягачи, танки, миноискатели и другую необходимую технику и принялись за тяжелую и опасную работу. Менее чем за полтора года советские саперы извлекли из алжирской земли и обезвредили почти два миллиона мин и снарядов, очистили от колючей проволоки тысячи гектаров земель и даже помогли алжирским крестьянам распахать и засеять их пшеницей.

Народ Алжира сразу же после завоевания независимости, засучив рукава, взялся за строительство новой, счастливой жизни. Но новая жизнь давалась нелегко. Многое было разрушено о время войны. Много заводов, фабрик и мастерских остановилось, так как не хватало сырья и специалистов. Закрылись многие больницы, школы. Не хватало врачей, учителей. Дело в том, что работавшие раньше в Алжире специалисты-иностранцы, напуганные революцией, спешно уехали, а своих, алжирских, специалистов в стране почти не было. Батраки, раньше трудившиеся на французских землевладельцев, стали создавать в хозяйствах, брошенных колонизаторами, комитеты самоуправления и быстро наладили их работу. С промышленными предприятиями дело было сложнее. И опять революционному Алжиру на помощь пришел Советский Союз. Десятки советских специалистов-инженеров и техников стали помо-

гать налаживать работу брошенных предприятий, десятки советских врачей пришли в алжирские госпитали, десятки советских преподавателей стали обучать алжирских детей математике и физике.

Советский Союз подарил алжирскому народу Институт нефти, газа и химии, где Алжир стал готовить своих собственных специалистов. Он построил бесплатно больницу в городе Лахдария (это, кстати, в Атласских горах). Там и сегодня работают советские врачи и медицинские сестры.

Советские геологи открыли для Алжира месторождения ценных и нужных стране минералов, нашли в Сахаре воду. Советские строители построили несколько заводов, в том числе такой, что дает теперь Алжиру металл.

А сколько алжирских специалистов подготовлено советскими преподавателями в университетах и институтах Алжира, сколько алжирских студентов обучалось в Советском Союзе! Помощь Советского Союза помогла молодой Алжирской Народной Демократической Республике выстоять в первые, самые трудные годы после завоевания независимости.

Независимая политика, которую стал проводить революционный Алжир, прогрессивные преобразования, которые он начал, далеко не всем пришлись по вкусу, и враги алжирской революции делали все, чтобы помешать алжирцам наладить новую жизнь. Империалисты, особенно американские, которые захватили алжирские природные богатства еще когда в стране правили французы, надеялись, что и в независимом Алжире они смогут распоряжаться по своему усмотрению. Но алжирский народ сразу же взял под свой контроль самое большое богатство страны — нефть и газ — и быстро сумел положить конец хозяйничанью иностранных капиталистов на своих заводах и фабриках. Да и своим, алжирским, богачам запретил он эксплуатировать бедняков, не разрешил владеть крупными заводами, отобрал у них излишки земли. Отобранные земли передали

крестьянам — беднякам, которые организовали кооперативы и стали сообща выращивать урожай. Простые люди получили возможность участвовать в жизни страны, с их голосом стали считаться.

Особенно много алжирская революция сделала для того, чтобы стали счастливее дети, чтобы они больше не умирали от голода и болезней, чтобы не приходилось им с ранних лет работать на других.

Мне пришлось видеть алжирских детей в первые годы независимости. Как много тогда еще бродило по улицам алжирских городов беспризорных ребят, у которых оккупанты убили родителей, разрушили дом и которые скитались из города в город, из села в село в поисках куска хлеба. Грязные, оборванные, эти ребята нередко спали прямо на улице, подстелив под себя кусок картона, или в заброшенных, полуразрушенных домах. Некоторым из них, наиболее счастливым, удавалось раздобыть ящичек для чистки обуви. На такой ящик, в котором хранились щетка и крем, клиент ставил ногу, и мальчишка, встав на колени или присев на корточки, начинал начищать до блеска его ботинки. Клиентов было мало, а чистильщиков много. Они бродили по улицам, внимательно осматривая ноги прохожих, или сидели на людных перекрестках, постукивая щеткой по своему ящичку. Увидят, у кого пыльные ботинки, и сразу к нему:

— Давай почищу!

Но немного было желающих. Даже жалки несколько дуру (самая мелкая монета) далеко не каждый алжирец в то время мог отдать только для того, чтобы у него блестели ботинки. Ведь из-за разрухи в то время многие были без работы, и с деньгами было туго.

Некоторым ребятам удавалось раздобыть горсть-другую арахиса. Они делали крохотные пакетики из целлофана, насыпали туда этот арахис и продавали его. Иные продавали

сигареты или жевательную резинку по одной штучке. Но продавцов нередко было больше, чем покупателей.

Сновали мальчишки и на рынке. Глядишь, кому-нибудь сумку поможет поднести или у зазевавшегося торговца апельсин или финик стащит. А то возьмется мальчишка-беспризорник сторожить машину на улице. Деньги вперед просит. И думает владелец машины, глядя на такого «сторожа»: «Прокую от него, конечно, никакого, но, если не дам я ему монетку, как бы он моей машине колеса не проколол». И дает.

Но с первых же дней алжирцы стали делать все, что могли, чтобы с беспризорничеством покончить. Однажды в алжирской столице состоялась необычная демонстрация. Гремя своими ящичками и щетками, по ее улице стройными рядами прошли маленькие чистильщики ботинок. Они кричали:

— Да здравствует революция! Да здравствует свободный Алжир! Да здравствует учеба!

На одной из центральных площадей города мальчишки свалили свои ящики в кучу и устроили из них большой костер. После этого все они пошли жить в детские дома, где каждого ждали чистая постель, сытный обед и где каждый получил возможность учиться.

В школу пошли дети бедняков, маленькие пастушата, такие, как и герой этой книги Хасан. Уже через два года после провозглашения независимости я видел в Атласских горах деревенских ребятишек спешащими в школу с ранцами за спиной. Они были еще плохо одеты, плохо обуты, не всегда сыты, но уже учились, сдавали экзамены, готовились стать нужными своей стране людьми. Государство не только учило, но и давало им бесплатные завтраки: пока родителям трудно прокормить их.

Сегодня почти каждый четвертый алжирец — школьник. Школьников в стране 5 миллионов, а учителей — 200 тысяч. С 1980 года все дети школьного возраста обеспечи-

ваются местами в школе. Только в 1985 году впервые в школу пришли 600 тысяч учеников, было открыто 5 тысяч новых классов.

Жизнь алжирских детей в наши дни не сравнить с тем, что было до независимости. Сейчас на улицах алжирских городов и селений уже встретишь чумазных, оборванных ребятишек. Все дети чисто умыты, неплохо одеты, все они ходят в школу.

В Алжире детей любят. В семье их бывает семь, а то и восемь. Вырастить их всех здоровыми и счастливыми, одеть, обути, накормить да еще и выучить далеко не просто. В наши дни государство помогает растить детей, бесплатно лечит их, учит. Одно удовольствие видеть сейчас алжирскую семью, идущую в праздник навестить родственников. Детишки — как на картинке — одеты во все новое, чистые, причесанные, вежливые и послушные.

Конечно, не все трудности еще преодолены и есть еще в Алжире дети, которым приходится зарабатывать себе на жизнь. Есть еще и маленькие пастушата, и мальчики на побегушках, и подмастерья. Но нет уже в Алжире голодные, обездоленные ребятишки. Уже никто из нынешних алжирских детей не живет так тяжело, как жил Хасан, о котором вы прочтете в этом романе.

Вы как бы сами побываете в Атласских горах, познакомитесь с суровой природой этого горного края, с правами и обычаями его жителей, с заботами и чаяниями алжирских крестьян. На примере маленькой горной деревеньки вы узнаете об исторической обстановке в Алжире накануне национально-освободительной революции 1 ноября 1954 года, о том, как зрела у алжирцев ненависть к своим и иноземным угнетателям. Вы полюбите маленького пастушонка Хасана, узнаете, как из восьмилетнего мальчика выросал борец с несправедливостью, будущий боец революции.

Аззедин Бунемёр — уроженец Атласских гор. Он хорошо знает и места, которые описывает, и людей, о которых

рассказывает. Сейчас он живет в городе Константина на востоке Алжира, работает учителем. «Разбойники в горах Атласа» — его первая книга. Недавно вышла в свет его вторая книга — продолжение истории уже повзрослевшего пастушонка Хасана. В ней рассказывается о том, как началась вооруженная борьба алжирского народа за свое освобождение. Хасан — в числе тех, кто первым поднимает знамя алжирской революции 1 ноября 1954 года.

*В. Евгенийев*



## I

Последние цепи Атласских гор, дикие, голые, лишенные почти всякой растительности, голубея, уходят вдаль, упираясь на севере в леса пробкового дуба, ясеня и горной сосны; на юге их подпирают глинистые плоскогорья, бегущие с востока на запад. На отрогах горного хребта, заслоненная как крепостной стеной каменистыми склонами, лежит эта земля, которую густые леса покрывали до тех пор, пока там не поселились люди, гонимые сменявшимися друг друга захватчиками. Они-то и стали выжигать их, поднимая целину. Лесные заросли сохранились только на самых отвесных склонах. Вдоль ущелий тянутся бледно-зеленые полосы карликовых пальм, которые зовут здесь диссом. Горы и ущелья сменяются крохотными плоскогорьями, спрятавшимся в расщелинах, которые ошетинились каменными уступами. А там, дальше, внушая ужас, убегают куда-то в бесконечность скалистые сьерры<sup>1</sup>, вытянувшиеся подобно гигантской змее.

На этих-то землях, возле источников воды, и появилось несколько деревень. Люди разводили там коз и баранов, обрабатывали свои наделы, притулившиеся где-то между небом и землей, так что приходилось придерживать быка, чтобы тот не свалился в пропасть. Древние старики рассказывают: «В давние времена ночами, когда ни зги не было видно, когда от холода дух захватывало, грабители сновали по горам, а из лесу неся хриплый рык пантеры, которая бежала за ними по пятам, если им случалось украсть быка. И как только кончался дележ туши, каждый спешил прочь своим путем. Кто-то, услышав грозное рычание зверя и

---

<sup>1</sup> Сьерра — буквально «пила» (исп.) — название горных хребтов с зубчатыми гребнями. (Здесь и далее примечания переводчика.)

почуяв, что смерть близка, дабы уберечь себя от гибели, бросал свою долю добычи дикой кошке, но та, так и не насытившись, преследовала его до самой хижины».

## II

*Из-за гор далеких мне слышится топот копыт.  
Бурнус<sup>2</sup> развевается на ветру,  
При луне  
На раскаленном гумне  
Муравьи нескончаемой цепью  
Уносят по зернышку угрожай:  
Вот беда, вот беда!  
Прикрыв бурнусом дыру,  
Разбойник, к стене прислонясь,  
Подстерегает во тьме,  
Слушает не дыша:  
Кто куда? Кто куда?  
Тук, тук, тук, и смолкло все вдруг,  
Тишина, тишина.  
Бездны, кустарник колючий, непролазные чащи,  
Пот струится, и каждая жилка дрожит,  
А в конце, в самом конце пути  
Смерть за кем-то бежит.*

В ночной тиши идет какая-то возня. Накинув бурнус, незнакомец хочет выдать себя за хозяина. Входит, но скотина кидается прочь от него. Ухватив двух овец, он прокладывает себе дорогу в загоне. Но тут раздается выстрел, и приходится уносить ноги.

— А хозяин-то, видать, не робкого десятка. Но я еще вернусь. Какая ему разница — теперь или после. Когда-нибудь он мне за это заплатит, слово Бен Сламы, — бормочет грабитель.

---

<sup>2</sup> Бурнус — верхняя мужская одежда в виде длинной грубошерстной накидки.

Тени всадников появляются на гребнях гор, потом исчезают. Последний из них согнулся в седле. Он ранен, кровь капает на сухие колючки дрока, на раскаленную землю.

Клочки этой земли отвоеваны у густых зарослей можжевельника, мирта, мастикового дерева. И, насколько хватает глаз, простираются жесткие листья дисса. Летом здесь все полыхает от жары. Зимой бесчисленные лощины наполняются водой, потоки ее с грохотом сметают все на своем пути, унося с собой землю, камни и даже обломки скал.

Каждое такое селение, отрезанное от всего мира, затерянное где-то в самой глубине страны, носит имя древнего клана предков: Бени такие-то... Бени такие-то... И в каждом селении люди подчиняются кайду<sup>3</sup> Он -единственное связующее звено между колонизатором и тем миром, где власть его безгранична.

### III

Мужчина шагал и шагал без усталости, он искал своих быков, пропавших три дня назад. Он обошел все окрестные деревни, не пропустив ни одной, расспрашивал всех своих знакомых. Никто ничего не знал. Никто быков не видел. Совсем выбившись из сил, он присел на краю дороги под сенью дикой оливы. Целых два дня он только и делал, что искал, ходил и искал, и за все это время никаких следов. Он провел рукой по лицу, словно пытаясь прогнать усталость, еще раз окинул взглядом все вокруг.

«Осталась последняя деревня, — подумал он, — пойду схожу туда. Может, хоть там кто-нибудь что-то мне скажет».

Он встал, упираясь руками в колени. Идти ему было трудно. Ноги подворачивались чуть ли не на каждом шагу. Путь его лежал вдоль сьерры, оцетинившейся камнями. То

---

<sup>3</sup> Кайд — в Алжире: вождь небольшого племени. Французские колониальные власти подчинили институт кайдов, включив их в систему управления населением.

была древняя дорога, проложенная еще римлянами. Слева скалы почти сплошь были покрыты диссом. На ярком свете зелень казалась прозрачной, а кое-где отливала серебром. По правую сторону, чуть поодаль, виднелись маленькие плоскогорья с редкими деревьями: цератонией и дикой смоковницей. Когда он добрался до хребта, за которым начинался спуск, из-под ног его вспорхнул целый выводок куропаток, но он, не обратив на птиц никакого внимания и продолжая думать о своих быках, о несчастье обрушившемся на его голову, начал спускаться вниз. Земля здесь была более плодородной. И зелени было больше. Стояла глубокая осень, и листья на деревьях пожелтели, а на груше отливали красным. Дойдя до перекрестка дорог, он свернул влево. Только несколько олив отделяли его от окраинных домов деревни. Тут он услышал голос:

— Веди их на выпас и оставайся там, пока не придет твой брат.

Услышать он услышал, но увидеть никого не увидел. Когда козы поравнялись с ним, он залюбовался красавцем-козлом, гордо ведущим свое стадо. Позади шел мальчонка лет пяти-шести. Его бритая голова казалась круглой, как шар. На нем была просторная длинная блуза, вернее, дырявые лохмотья, какие от нее остались, так что сквозь них просвечивало все его тело. Ноги были исцарапаны колючками. Он прихрамывал из-за большого желтого фурункула на коленке. Увидев чужого человека, он остановился. Мужчина, сидевший на обочине дороги, спросил его:

— Твой отец здесь?

— Нет, его нет, — ответил мальчик, — а дядя мой здесь.

— Позови его. Скажи, что это я. Меня зовут Брахим. Я постерегу коз, пока ты не вернешься.

Прихрамывая, мальчик пошел назад. Блуза мешала ему, и он, подобрав лохмотья подола, сунул их в рот, зажал зубами и побежал. Навстречу ему, виляя пушистым хвостом, выскочил белый пес. Дядю он застал за починкой сохи.

— Дядя, дядя, — закричал он, — тебя спрашивает какой-то человек! он нездешний.

Дядя отложил инструменты, разгладил усы, встал и, расправив шаровары, двинулся в путь. Шаги у дяди были широкие, и поэтому мальчику приходилось бежать время от времени, чтобы поспеть за ним. Поравнявшись с пришельцем, дядя наказал племяннику:

— Поднимись с козами повыше, пусть наедятся вдоволь. — Потом обратился к мужчине, который сидел, опустив голову: — Саям алейкум.

Тот поднял голову.

— Брахим, да это ты! Что с тобой стряслось? Чего ты тут сидишь? Пойдем в дом. Выпьем кофе, поговорим. Другу не положено оставаться на улице. Пошли.

И они двинулись по направлению к дому. Сквозь ветки, из которых были сложены стены хижины, женщина увидела Брахима и узнала его. Вместе с ее мужем он промышлял перекупкой лошадей. Сказав гостю «добро пожаловать», она поцеловала его в лоб. Как только мужчины уселись на циновке, расстеленной возле дома, муж крикнул: «Жена, приготовь кофе!» Он снова взялся за инструмент и, продолжая работать, говорил, не дожидаясь ответа:

— Как там у тебя дома дела? Здоровы ли ребятишки? Должно быть, теперь, после смерти отца, тебе несладко приходится? Много ли человек может сделать без руки!..

— Стараемся по мере сил. Да вот беда, три дня назад у меня пропали быки, и с тех пор я не заглядывал домой. Всюду побывал, где только мог. У всех спрашивал. Можно подумать, что они испарились или провалились сквозь землю. Быки выросли у меня в доме. Они никуда не могли уйти. Даже одни они всегда сами возвращались домой.

Друг слушал его, не прерывая. От родника доносились голоса женщин и смех детей.

Жена хозяина принесла кофе и незаметно удалилась. На поясе у нее висели три амулета. Это была худая, болезнен-

ного вида женщина с огромным зобом. Опуская голову, она упиралась в него подбородком. Присев у очага, она поставила на огонь таджин — круглую глиняную сковороду, на которой обычно пекут лепешку, и, пока она грелась, месила тесто, завертывая края, а потом ловко кинула его на таджин.

Сестра Мустафы, хозяина дома, Сабра, сидя на полу, обрабатывала бычью шкуру. Сначала она смачивала ее молоком, потом натирала квасцами. Время от времени она поднимала глаза и смотрела на улицу. У не была татуировка в виде Южного креста<sup>4</sup> на лбу и еще одна, более тонкая, на подбородке. Сабра, по всей видимости, была счастлива тем, что может еще приносить пользу своей семье. Дети давно выросли, дочери ее были уже на выданье и старались освободить ее от тяжелых работ. Впрочем, дубить кожу тоже дело нелегкое. Порой приходится изо всех сил мять неровные места, смачивать их молоком, натирать квасцами и снова мять. Работа эта долгая и требует терпения. Только как следует обработав кожу, можно красить ее хной. И чем больше шкура, тем она удобнее для разных домашних надобностей. Когда дело сделано, немсир, то есть шкуру, свертывают и ставят в угол.

Это настоящее сокровище. Потом многие будут просить ее взаймы. Да и то правда, кто может позволить себе купить быка?

Хотя Мустафа прекрасно знал быков Брахима, он все-таки спросил у него, какие они были.

— Ты же их видел, — сказал в ответ Брахим. — Который поменьше — кремового цвета с острыми рогами и короткими ногами, — немного худ. Другой — большой, с ободками вокруг глаз, отдает в синеву. Рог у него еще сломан. А что? Ты про них что-нибудь знаешь? — спросил он.

На душе у него было тревожно.

---

<sup>4</sup> Южный крест — древний знак берберских народов, живущих в Северной Африке.

— Наверно, бандиты их увели. Они сейчас лютуют. Их ничем не остановишь. Они берут все, что под руку подвернется, даже средь бела дня. Три дня назад поздно ночью, после того как петухи пропели, я слышал, собаки лаяли, да так громко. И потом еще слышал топот, как будто скотина бежит. На улице было очень светло. Луна светила вовсю, так что и муравья различить можно было. Я раздвинул ветки хижины. Мне почудилось, что они за нашей скотиной пришли. Я вышел, прихватив на всякий случай дубинку. Потом прополз на четвереньках в конец загона, прячась за спинами животных, и стал всматриваться присев на корточки. Вот тут-то я и увидел грабителя, он размахивал руками и понукал скотину. Конечно, это были твои быки. Синий и желтый. И корова была, белая. А бандит не один был. За околицей его другие поджидали. Судя по тому, что собаки лаяли всю ночь, не переставая, скотина, должно быть, разбежалась, почуяв запах нашей, деревенской. Потом бандиты подались в горы. Наверняка продадут добычу где-нибудь далеко отсюда.

Брахим слушал, не проронив ни слова. Его словно парализовало. Но про себя он твердил:

Не видеть мне их больше.

А ведь я всю жизнь работал в поте лица, и все на них.

Вся надежда моя — в них.

Я работал босой,

Голодал, холодал,

А теперь им конец, мне конец.

Это меня убили, не их.

Каркая, пролетели два ворона.

— Если вздумаешь пойти за ними, то тебя убьют, — сказал его друг, словно угадав его мысли. Но, глянув в лицо Брахиму, тут же добавил: — Сам я тоже поступил бы, как ты. Делай, как найдешь нужным.

Но чтобы отыскать быков, понадобилась бы помощь самих грабителей или хотя бы колониальных властей, а иными словами, жандармов. Брахиму же нечего было на это рассчитывать. Так что пришлось ему возвращаться домой несолоно хлебавши. Друг пошел проводить его немного. А он забыл попрощаться с его женой и даже не заметил ребятишек, облепивших ограду из веток.

Без быка все равно что без рук, без ног. А кто потерял их — тому не жизнь.

#### IV

Брахим все не возвращался, и жена его места себе не находила от беспокойства. На розыски отца она отправила ребятишек — двух мальчиков восьми и девяти лет. Они так долго бегали, так долго его искали, что совсем выбились из сил, и тут как раз увидели отца. Младший, самый упорный, первым подбежал к нему. Тот взял его за руку и спросил:

— Что вы здесь делаете?

— Мама послала нас за тобой.

Ноги мальчика были изодраны колючими ветками. Оказывается, им пришлось догонять шакала, утащившего одну из коз. Хорошо еще, что с ними была собака. Старший, Мурад, спросил отца, удалось ли ему отыскать быков. Отец ничего не ответил. У него не было сил говорить, и вид у него был такой, как будто все ему стало безразлично. Ему хотелось спать. Он так устал. Мальчик понял, что случилась беда.

«Что же теперь будет? Отцу не на чем будет пахать в этом году. Значит, ему придется наниматься к кому-нибудь, иначе нам нечего будет есть».

Одни и те же мысли одолевали обоих мальчиков, одни и те же вопросы мучили их.

Они шли понизу садами, перебираясь через изгороди. Отцу ни с кем не хотелось встречаться. Когда они наконец



добрались до дому, то сразу увидели мать: она плакала, прислонясь к стене хижины. Вокруг нее собрались соседи. При появлении мужа она вытерла лицо и нос рукавом платья. Они вошли в дом. Сняв башмаки, Брахим лег на циновку. Жена принесла подушку и подсунула ему под голову, потом взяла кастрюльку, положила туда кофе, сахар, налила воды и поставила на огонь, который развела одна из соседок, чтобы испечь лепешку. Когда кофе был готов, она принесла его мужу. Но он уже спал.

В это время, опираясь на палку и вытянув вперед голову, вошла старая, согбенная женщина. Старая Хадра вся высохла, зубов у нее не было, большой нос пожелтел от табака. Жена взяла ее под руку и усадила; приложив палец к губам, она сделала ей знак молчать и подала кофе.

## V

Неприступный край, совершенно особый мир со своими обычаями, нравами, традициями и понятием о чести. Мир архаичный, где царит откровенный, жестокий феодализм, по законам которого живут люди на маленьких земельных наделах. Подобно чешуйкам, наделы эти плотно прилегают один к другому, и непосвященным правила наследования их могут показаться неразрешимой головоломкой.

Вдоль сьерры, над которой возвышается гора М'сид, прилепилось несколько деревень. Родников там полным-полно, гора сама питает их. Каждая из этих деревенок утопает в густой листве гранатовых деревьев, смоковниц, вязов, тополей, виноградников. Вдоль стремительных потоков растет густой колючий кустарник. Осенью листва желтеет, и тогда перед глазами будто встает картина несравненного мастера. Обнаженная каменистая сьерра, отличающаяся голубизной, подчеркивает контраст красок. Деревья там растут по милости природы и ветров, без вмешательства человека. Узловатые, скрюченные стволы тесно переплетаются между собой, сухие и зеленые ветви соседст-

вуют друг с другом. Тут царит первозданная тишина. Бегут ручьи, темнеют густые заросли дрока, искореженные вязы кажутся таинственными призраками. Листва служит кормом для скота. Из веток строят хижины и изгороди для загонов. Бесплодная каменистая земля, поросшая дроком и чертополохом. Только осенью на ней зацветает бурачник. На зеленых стеблях распускаются желтые цветы, и как подует ветерок, по золотистому медовому покрову, где хозяйничают коричневые пчелы, одна задругой прокатываются волны. Растение это необычайно полезно, его применяют для дезинфекции ран, поэтому перед началом полевых работ его собирают, а потом уже остатки поджигают. И в ту пору на каждом участке к небу устремляются струйки дыма.

Земли эти, лежащие на границе частных владений, с незапамятных времен считались общинными, то есть принадлежавшими всем. Но потом традиция эта была нарушена в соответствии с новыми порядками: «Каждому свое».

С тех пор так и повелось: каждая семья старалась захватить как можно больше земли. Тот, кто владел землей, сам на ней не работал, а заставлял работать других. Население росло год от года. Земли стало мало.

Каидами колониальные власти назначали обычно людей, которые принадлежали к многочисленным и, как правило, наиболее могущественным семьям. В каждой деревне было всего три или четыре дома, крытых черепицей, с глинобитными стенами и полом. А вокруг всюду хижины, бесконечные ряды хижин, сплетенных из веток. У каида дом был большой, его окружала высокая ограда, и войти туда можно было только через главный вход. Двор отводился для скотины. Слева располагались конюшни, справа — просторный дом, где у хозяина была комната, в которой он принимал гостей. То было большое семейство с многочисленными ответвлениями, рассеянными по всем деревням, над которыми простиралась его власть.

## VI

Мул стоял у входа, готовый отправиться в путь. Издольщик, человек крепкий и решительный, как раз кончил чистить его скребницей. Мул жевал овес, постукивая копытом. Вьючная корзина кирпично-красного цвета сверкала на солнце. Каид только что кончил завтракать. Он сидел, поджав ноги и закутавшись в свои бурнусы, один — ослепительно белый, другой, поплотнее, — коричневого цвета. Его безупречно уложенный тюрбан похож был на шапку облаков над горной вершиной и закрывал ему не только затылок, но даже лоб и уши. Видно было одно лицо. Кожа у него была матовой, нос орлиный, взгляд пронзительный. Всем своим видом он внушал ужас. Надев красные туфли, он вышел, сел с помощью издольщика верхом на мула и рысцой тронулся в путь. И пока он не скрылся за большим оливковым деревом, издольщик не спускал с него глаз. После его отъезда дом заметно оживился. Куры суетились возле навоза; щеголяя перед ними, важно прохаживался красный петух; ребятишки, мальчики и девочки, бегали взад-вперед. Женщины хлопотали по хозяйству, занимаясь каждая своим делом. Жена каида, весьма упитанная особа, взбивала квашеное молоко. Обе дочери, усевшись друг против друга и весело болтая, замешивали лепешку. Черты лица у них были тонкие, словно кто-то нарисовал их такими. Жены хаммасов<sup>5</sup> собирали лошадиный навоз и подметали просторный двор.

## VII

Однажды каид вызвал к себе Брахима. То был базарный день, и хозяина окружали богато разодетые друзья, перебиравшие свои четки и улыбавшиеся от удовольствия. Брахим

---

<sup>5</sup> Хаммас — издольщик, работающий за пятую часть урожая.

издалека поклонился им избавив себя тем самым от лицемерного церемониала. Каид взглянул на него и строго сказал:

— Говорят, будто ты надумал арендовать землю, которая принадлежит мне.

— Я взял в аренду землю в долине Трех Холмов, тебе прекрасно известно, что она принадлежит твоей сестре, которая живет в городе.

— Поглядите-ка на этого господина, — сказал в ответ каид насмешливым тоном, стараясь скрыть свой гнев. — Он, видите ли, считает себя вправе делить имущество моей семьи, которое является единым и неделимым. Да ты, я вижу, снова поднял голову. погоди, я и тобой займусь, раз пример братьев тебя ничему не научил.

Брахим весь сжался, охваченный неудержимым порывом негодования.

— Сошли его на каторгу, — предложил кто-то из друзей каида, — только каторга излечивает людей.

— Правда, — тут же подхватили остальные, — истинная правда!

— В последний раз тебе говорю, — продолжал каид, — если ты осмелишься пойти в долину, я за твою жизнь и гроша ломаного не дам. А теперь убирайся прочь с глаз моих.

Возмущенный Брахим ушел.

— Этот голодранец совсем зазнался. Арендовать землю, подумать только! И у кого же? Да у меня самого. Может, вздумает еще и купить ее? Ха-ха!

Так как день был базарный, многие крестьяне подходили приложиться к тюрбанам каида и его друзей, чтобы, воспользовавшись случаем, попросить о чем-нибудь или пожаловаться на нищенское существование. Некоторые были до того оборваны, что скорее походили на нищих.

— Хорошо, — говорил хозяин, — приходите в пятницу. Всеу свое время. Будет вам милостыня в святой день. — И, махнув рукой, добавлял: — А теперь ступайте.

Каид, по всей видимости, никак не мог успокоиться. «Ишь ты, опять поднял голову, — думал он про себя. — Этого нельзя допускать».

— Его отец тоже было попробовал поселиться на земле, купленной моим отцом. А его братья, где они теперь? Когда землемер явился со своими чертежами, что эти люди могли понять в чертежах?... — Он рассмеялся, а вместе с ним засмеялись и его друзья. — Землемер сказал им, что так записано. Что земля принадлежит моей семье. А они, совсем как эти, — продолжал он, тыкая куда-то пальцем, — твердили одно и то же: наши предки, наши предки... При чем тут предки, я вас спрашиваю?

Все снова засмеялись. Затем один из гостей заметил:

— Есть тысяча способов дать почувствовать собаке, что она всего лишь собака. А всякая собака должна знать свое место.

## VIII

В действительности сестра каида была его сестрой только наполовину, она была дочерью первой жены его отца, которую тот прогнал давным-давно. Мать и дочь жили в стороне от всех празднеств, от радостных и даже от печальных семейных событий, и так до самого того дня, когда их повелитель и господин оказался на смертном ложе. Окруженный всеми своими близкими, перед толпой людей, заполнивших двор фермы, повелитель и господин отдавал последние распоряжения. И вот тут-то, растолкав толпу и вызвав всеобщее замешательство, пред ним предстали два существа, похожие на призраки. Согнувшаяся пополам, вся посиневшая старуха едва держалась на ногах. А девочка, чуть ли не голая, испуганная и болезненная, дрожала всем телом. Увидев их, старик зашелся таким кашлем, что глаза

чуть не вылезли у него из орбит, он едва не умер от удушья, а бывшая супруга испепеляла его взглядом, полным негодования, она была как страшный призрак, бросающий ему обвинение откуда-то из потустороннего мира. Их попробовали отогнать, но старик сделал знак, чтобы их не трогали. Все его близкие питали жестокою ненависть к той, чей образ преследовал их даже теперь, при таких плачевных обстоятельствах.

— Чего ей надо?

— Разве сейчас время?

— Неужели она не видит, что он умирает?

Тогда повелитель, успокоенный и умиротворенный после приступа удушья, сказал:

— Я ухожу, жить мне осталось считанные минуты...

Послышались женские всхлипы и причитания:

— Аллах всемилостивый, конец нашему дому!

— Велите им замолчать. Я не желаю их слышать... — с трудом произнес он.

Мужчины сделали знак, и плач смолк.

— Я был жесток по отношению к вам. Прошу простить меня. Теперь я понял...

Но женщина не дала ему говорить:

— Тебе не отмыть себя от всех грехов. А уж этот грех самый тяжкий. Ты всю жизнь был несправедлив. Даже в лоне собственной твоей семьи. Погляди на этого ребенка, вот она, твоя нечистая совесть.

Слезы катились из глаз девочки, вид у нее был жалкий и несчастный. Все ребрышки ее, казалось, можно было пересчитать.

— Взгляни, куда тебе деваться с таким-то долгом? Как предстать перед лицом всевышнего?

Старика охватило волнение, губы его слегка дрожали, но он позволил женщине закончить свою обвинительную речь. Окружающие были поражены таким смирением и внезапной кротостью. Повелитель поднял глаза и впервые,

не таясь, взглянул на свою дочь — олицетворение страшной нищеты. Потом, вздохнув, сказал:

— Каждому свой час. Признаюсь я был несправедлив. Говорю это не затем, чтобы искупить свою вину. Вот что бывает, когда человек впадает в ошибку. — И, обращаясь к бывшей жене, продолжал: — Мы оба ненавидели друг друга. Наша дочь поплатилась за эту ненависть. Ты можешь не прощать мне зла, которое я причинил тебе. Но пусть, по крайней мере, дочь получит свою долю наследства.

Затем, повернувшись к свидетелям и талебу<sup>6</sup>, он снова заговорил:

— Говорю это перед лицом всевышнего и в вашем присутствии, земли в долине Трех Холмов безраздельно принадлежат моей дочери Фатме, присутствующей здесь.

С трудом произнеся эти последние слова, он почувствовал, что задыхается. Талеб стал читать стихи Корана, а сам поил его с ложки. Когда он в третий раз поднес ему ложку ко рту, повелитель поднял указательный палец. Голова его тихонько откинулась назад.

— Он умер, — сказал талеб. — Да успокоит Аллах его душу.

Послышался плач. Мать с дочерью оттеснили назад. Мать закружилась на месте, громко повторяя:

— Всему приходит конец. Только смерть несет с собой справедливость.

Двое мужчин схватили ее и стали выталкивать вон.

— Замолчи, старуха! — сказал тот, что был помоложе, и попробовал закрыть ей рот рукой. Отбиваясь, она укусила его. Тогда оба они набросились на нее и повалили на землю.

Всеобщий плач заглушил ее крики:

— Горечь вам в адском огне!..

Все семейство было возмущено.

---

<sup>6</sup> Талеб — знаток Корана (арабск.).

— Поделом этой собаке, — говорили вокруг, — ее час настал.

Но старая женщина вдруг поднялась и пустилась бежать вслед за дочерью.

А в доме стали убирать усопшего. Талеп помогал в этом, женщины плакали, мужчины читали молитвы.

## IX

Брахим проснулся поздно. Ребятишки уже поели. Жена, присев рядом с ним, поливала кускус<sup>7</sup> горячим бульоном, приправленным пуашишем<sup>8</sup>. И пока он был занят едой, она не спускала с него вопросительного, умоляющего взгляда, ведь она хорошо знала его упрямство, знала, что он не отступится, в этом он был похож на всех своих родичей. Оба его брата погибли, защищая свои земли от наемных банд каида. Брахим остался один, у него не было ни родителей, ни двоюродных братьев. Род их угасал. А меж тем у матери его было тринадцать детей. Но десять из них умерли в раннем возрасте.

— Жена, я все равно пойду, — сказал он. — Пойду. Пока я жив, никому не отнять моего добра. Я пойду и приведу быков обратно.

Жена задрожала и стала умолять его:

— Не надо, не ходи, мой господин! Они убьют тебя. Твои дети останутся сиротами. Господин мой, жизнь моя, не ходи! Я умру без тебя. Подумай о своих детях. Хуже для них ничего не может быть.

ребятишки молча плакали. Брахим встал, подошел к сундуку, открыл его и стал что-то искать. Вытащив оттуда большой нож — бусаади, как называли его жители Сахары, он спрятал его под широкой блузой. Жена бросилась к его

---

<sup>7</sup> Кускус — крупа, приготавливаемая из пшеницы, а также кушанье из этой крупы и мяса (см. предисловие).

<sup>8</sup> Пуашиш — вид бобового растения.



ногам, обхватила их руками, стала плакать, умолять, целовать ему ноги.

— Не ходи, не ходи! — просила она.

Он остался глух к ее мольбам. Вырвавшись наконец, Брахим бросился к двери и исчез во тьме. Женщина упала совсем без сил и только тихо стонала. Ребятишки прижались к ней, их горький плач нарушал безмолвие ночи.

Брахим держал путь в горы, туда, где грабители прятали свою добычу. Это было высоко, где-то за горой М'сид. Они привязывали скотину в ущельях, дожидаясь подходящего момента, чтобы продать ее на базаре. Брахим шагал без устали большую часть ночи. Он успокоился и был готов ко всему. Всю дорогу он твердил про себя: «Надо вернуть их. Надо во что бы то ни стало привести их обратно».

На рассвете он добрался до места и, услышав рев быков, понял, что не ошибся. Спрятавшись за выступом скалы, он стал следить за бандитами. Они спали, ни о чем не подозревая. Ко осмелится проникнуть в их логово? И тут вдруг его охватил страх, колени у него задрожали, все тело покрылось испариной.

«Надо идти», — думал он. Собрав все свое мужество, он стал спускаться вниз, но споткнулся о камень, который скатился в лощину.

Здесь всюду были камни, и скоро ноги его стали кровоточить. Остановившись за вязом, он ощупал их, на руках осталась кровь. Но он, не обращая внимания на боль, пошел дальше.

Чтобы его не заметили, Брахим в не очень глубоких местах лощины пробирался ползком или на четвереньках, останавливался, прислушивался, оглядывался по сторонам и снова двигался вперед, стараясь не пропустить ни единого звука.

«Сюда... Нет, туда...»

Сквозь узкий проход он дошел до нового выступа скалы.

«И здесь ничего», — подумал он, осматриваясь вокруг.

Тимьян благоухал в этот ранний утренний час. Повыше в горах величественной стеной стояли обнаженные тополя, а у их ног расстился светло-зеленый ковер.

Светало. А быков ему нужно было отыскать до того, как проснутся грабители. Он обошел первую, потом вторую и, наконец, третью лощину. Там было довольно много скотины. И вдруг он увидел хвост одного из своих быков. Он бросился к нему. И точно, его бык! Он отвязал его, отвел в низину и вернулся за вторым. Но пока он его отвязывал, на него прыгнул какой-то здоровенный детина, и оба они покатались под ноги животным, разбежавшимся с перепугу в разные стороны. Схватившись со своим противником, Брахим попытался достать нож, но в это время в левый бок его вонзилось острое лезвие. Брахиму удалось высвободиться, он успел выхватить нож, и оба опять сцепились. В ярком утреннем свете все вокруг дышало прозрачной свежестью. Пели птицы, жужжали пчелы, а тесно переплетенные тела мужчин уже сковала неподвижность.

Тем временем бандиты хватились одного из своих. Вскоре они обнаружили в лощине обоих мужчин. Их приятель, видно, проснулся и заметил Брахима, когда тот отвязывал своих быков.

Грабители поспешили разогнать оставшуюся скотину и распустили слух, будто речь шла о сведении каких-то счетов. Когда новость дошла до селения, каид счел своим долгом сообщить об этом властям. Жандармы явились только к концу третьего дня, когда разобраться в чем-нибудь было уже трудно. И они порешили, что речь и в самом деле шла о сведении счетов по неизвестным причинам.

Жена Брахима предчувствовала беду. Увидев, что быки возвращаются одни, она поняла, что случилось непоправимое. Она упала на землю и, царапая себе лицо, громко причитала: «Горе вам, дети! Что теперь с нами будет?»

Потом стихла и замерла, уткнувшись лицом в землю.

## Х

Лишившись всего, поработенный народ вел нескончаемую битву. Широкие долины, богатые уголья были в руках колонизаторов. Вынужденные отступить на эти малодоступные земли, люди затаились и готовы были обрабатывать любой клочок земли, вырубали лесную чащобу, распахи-вали все, что можно было распахать. И туда, где не могла пройти скотина, шел человек. Преодолевая отвесные склоны, он усердно работал даже зимой, а на посевной не уступал и паре быков. Рабочих рук было больше, чем земли, и слишком много ртов, просивших есть. Поэтому никто не роптал, жили в скудости и нищете. Работали исполу за пятую часть урожая, а в лихую годину неурожая — за шестую и даже за седьмую часть. Жить-то ведь надо было. А выжить было нелегко, и люди, как говорится, вертелись, кто как мог.

Работа начиналась до свету. И тысячи изнуренных человеческих существ трудились, пока не стемнеет. Ребятишки пасли коз, учились пахать землю, сызмальства познавая тяжкий труд.

Предоставленный самому себе, с детства привыкнув к лишениям и далеким переходам под ветром и дождем с домашней скотиной, любой мальчик быстро становился взрослым. Он знал все растения, зверей, недостижимые для других дикие уголки, где веяло совсем иной жизнью. Густой кустарник, мастиковые и миртовые деревья, заросли дрока. Птицы, зайцы, лисы, змеи, сторожкие шакалы.

Пастух всегда вставал раньше всех и спозаранку отправлялся на пастбище. А когда занималась заря, глазам его представало редкостной красоты зрелище, начиналось настоящее пиршество красок. Сумрак отступал, и каменистые уступы гор сверкали, словно грани хрустала. Деревья, даже самые чахлые и никудышные, превращались вдруг в таинственные существа, которые обычно населяют вол-

шебные сказки. Земля постепенно оживала — красная, серая, черная. Заросли, сбросив темный покров, светились яркими шелками. Всё расцветало, всё дышало прозрачной свежестью. И чем больше нагревалась земля, тем больше она благоухала, источая запахи дикой мяты, чабра, тмина. И тут земля начинала просыпаться. Птицы сновали туда-сюда, муравьи, разные насекомые — всё вокруг шелестело. Хрустели сухие стебли. Всюду слышались какие-то крики, которым вторило эхо.

Словом, жизнь снова брала свое. А вокруг бушевали страсти, и ненависть, и надежда. У одних появлялась мания величия, других обуревала жажда наживы, владычества. В ход пускались самые низкие, самые жестокие средства. Даже среди тех, кого поработили. И все как зеницу ока берегли землю. Это был их кусок вселенной. Без нее им конец, без нее — смерть.

В голодные годы процветали бандиты. Все было в их власти — и дороги, и головы. Они держали в своих руках все пути, все тропинки. Выбирать не приходилось: либо плати налог, либо сноси побои и грабеж. Жандармы время от времени устраивали на них облавы, но пока те не трогали колонизаторов и тех, кому они покровительствовали, попросту закрывали на все глаза. К тому же в борьбе за землю услуги бандитов пользовались спросом.

После смерти Брахима толки об этом не смолкали во всей округе. Женщины навещали Айшу, жену Брахима. Они и ночью не оставляли ее одну, и всё задавались вопросом, не найдя на него ответа: «Что это? Просто случай? Судьба? А если нет, то кто стоял за всем этим и почему?»

Несчастье обычно не проходит бесследно. Оно оставляет за собой ненависть. Горе не забывается, и кровь часто взывает к крови.

## XI

На третий день младший из ребятишек куда-то пропал. Хасан покинул деревню, когда муэдзин<sup>9</sup> призывал на полуденную молитву. Приятели окликали мальчика, приглашая поиграть с ними. Но он даже не взглянул в их сторону и продолжал свой путь мимо зарослей кактусов. С тех пор никто его больше не видел.

Мальчик взобрался на холм, возвышавшийся над шоссе, и там-то ему пришла в голову мысль уйти куда глаза глядят. Потрясенный случившимся, он не хотел оставаться здесь, среди этих людей.

«Пойду куда-нибудь, — думал он. — Буду пасти коз. А когда вырасту, отомщу за отца».

Дул слабый ветерок, было не так жарко. Он заснул, и ему привиделся страшный кошмар. Будто бы он пил воду из родника, а пред ним предстал дракон о семи головах. Это отвратительное многоголовое видение собиралось схватить его. Ту он с криком проснулся, дрожа всем телом. Лицо его искажилось от ужаса. На крик прибежали двое мужчин. Один из них охотился в этих местах, другой сопровождал его.

— Что с тобой, малыш? — спросили они, оглядываясь по сторонам. Вокруг не было ни души. — Тебя кто-нибудь укусил?

Мальчик отрицательно покачал головой. Он был бледен, губы его дрожали.

— Ты что, сирота? — спросил у него старик. — Если хочешь стать пастухом, пошли со мной. Мы идем в деревню Черный Ручей. Это неподалеку отсюда. Если согласен, ступай за мной. — Тут старик спохватился: — А кто-нибудь из родных-то у тебя есть?

— Есть, брат и мама. А отца убили.

---

<sup>9</sup> Муэдзин — служитель религиозного культа в мусульманских странах, призывающий верующих на молитву.

— А-а, ты, стало быть, сын рыжего, — сказали, переглянувшись, мужчины. — Да упокоит Аллах его душу. Такое порою бывает, да, бывает. И с этим ничего не поделаешь. Тут уж ни ты, ни мы, да и вообще никто не поможет. Надо предупредить твою мать. Не горюй, ведь жизнь не вечна. В конце концов все там будем.

Охотник зашел по пути предупредить мать. А мальчик ушел со стариком в другую деревню, расположенную пониже, в долине, как раз над самой речкой, у подножия сьерры. Деревня была зажиточной, вся в садах. Земля там была богатая, семьи жили в достатке. Впервые в жизни Хасан шел в неведомые края. В его маленькой головке теснилось множество вопросов. С горечью вспоминал он о том времени, когда отец был еще жив, когда они жили все вместе, одной семьей, и были счастливы. «Вот вырасту и отомщу за отца, — твердил он про себя. — Я отомщу за тебя. Обязательно отомщу, клянусь тебе».

Дорога спускалась все ниже и ниже. Оба они шли босиком. Мальчик следовал за стариком, понутив голову, только время от времени украдкой поглядывал на своего спутника. Тот оброс бородой, видно, не брился несколько дней, кривые ноги прикрывала поношенная кешебия<sup>10</sup>, стянутая в поясе. Погрузившись в свои думы, мальчик не заметил, как остановился. Не слыша за собой его шагов, мужчина вернулся назад и спросил:

— Что с тобой, малыш? Пошли, мы уже почти на месте. Взгляни, все эти земли принадлежат семейству, у кого ты будешь жить. Там есть уже пастух, тебе ровесник. Так что скучать не придется. Да и бояться тебе нечего. Это очень добрые люди.

Успокоив мальчика, он снова двинулся в путь.

— Я работаю у них вот уже четыре года. Уж поверь мне, у тебя всего будет вдоволь. Квашеного молока у них

---

<sup>10</sup> Кешебия — вид мужской одежды в арабских странах, нечто вроде длиннополой накидки с капюшоном.

столько, что те, кто нуждается, приходят к ним запросто, так-то вот.

Малыш шел, неотступно думая о гибели своего отца.

«Если они и вправду хорошие, — решил он, — я останусь у них до тех пор, пока не вырасту, а как вырасту, уйду в горы. Я убью тех, кто убил моего отца».

Кого он должен убить, он толком не знал, но говорил себе, что непременно отыщет грабителей. Солнце уже садилось, когда они добрались до селения. Вид отсюда открывался великолепный. На горизонте вырисовывалось кружево гор, подернутых шелковистой дымкой, а заходящее солнце казалось спелым абрикосом. Они вернули на тропинку, вьющуюся меж скалистых выступов, и вскоре очутились на ферме. Тут мальчик не выдержал и расплакался, застыв у порога, словно тень. Старик постучал в дверь и позвал:

— Лалла, Лалла!

В ответ послышался голос:

— Кто там?

Старик промолчал:

— Это я, Лалла, это я, Али. Я привел тебе пастуха, как ты просила.

Лалла открыла дверь.

— Храни тебя Аллах, — сказала она. — Где ты его нашел?

— Это сын того, кого недавно убили.

— Я отблагодарю тебя, Али.

Лалла взяла мальчика за руку.

— Я пошел, Лалла, завтра опять загляну.

— Храни тебя Аллах, Али, — повторила она.

— Храни тебя Аллах, Лалла.

— Добро пожаловать, — обратилась она к мальчику. — Перестань плакать. Чего ты боишься? Ведь не съедим же мы тебя.

Она вытерла ему лицо и повела за собой в дом. Дом был большой, с почерневшей от времени черепичной крышей, он делился на две части. Нижняя его часть была отведена скотине. При свете керосиновой лампы можно было различить корову, пережевывающую жвачку, и четырех мулов, которые ржали время от времени. Посреди величественно возвышался центральный столб, а рядом с ним — лестница, ведущая вверх. Там была мансарда, а в глубине — что-то вроде башенки, украшенной тем же орнаментом, что и глиняные кувшины. От огня шел пьянящий запах древесной смолы. Вся семья была в сборе. Семья большая. Его посадили вместе с ребятишками. Дали ему ложку. Несколько оробев, он все-таки принялся за еду. Остальные ребятишки уставились на него и стали что-то шептать друг другу на ухо. Его черные глаза и черные вьющиеся волосы блестели при свете лампы. Дядя Мохамед молча созерцал эту сцену, потом строго сказал хриплым голосом:

— Оставьте его в покое, мальцы. Что это вам взбрело в голову? Неужели вы никогда не видели мальчика его возраста? Он такой же точно, как вы.

Его жена Нуара, красивая, худощавая, с глазами, похожими на миндалины, отложила ложку и встала. Огромные серьги висели в ее ушах.

— Как тебя зовут? — спросила она у мальчика.

— Хасан, меня зовут Хасан, — ответил он.

— Так вот, ступай-ка спать. Уже поздно. А завтра тебе рано вставать.

Она показала ему лестницу на чердак. Постель его была уже готова. Он лег. И тут же заснул, не успев ни о чем подумать.

Мужчины отправились в мечеть. Женщины просеивали муку. А ребятишки затаив дыхание слушали сказку, которую рассказывала им одна из сестер, она называлась «Приключения госпожи Осы и ее мужа».



— Сказка наша бежит издалека, вдоль уэда<sup>11</sup>. Я расскажу ее ребятишкам, а они пусть послушают и запомнят.

Голос у нее был такой нежный, такой ласковый, и, рассказывая, она смазывала оливковым маслом свои длинные, черные волосы.

## ХП

*Однажды госпожа Оса задумала приготовить вкусную шорбу<sup>12</sup>. Ее муж, соблазнившись ароматным запахом, решил отведать ее. Но, наклонившись, упал в кастрюлю. Госпожа Оса была в отчаянии и испробовала все средства, чтобы спасти его, но все напрасно.*

*Тогда она отправилась к своей тете и сказала ей:*

*— Тетушка, сестра моей матери, одолжи мне твой половник, я попробую выловить мужа. Самый прекрасный из всех мужчин вот-вот утонет в кастрюле!*

*Тетушка ответила:*

*— Ступай на кухню, да смотри, не пролей молоко из половника!*

*Госпожа Оса пошла на кухню и, не зная, куда девать молоко, взяла да и выпила. Но капелька попала ей на блузку. Когда она вернулась, тетка сразу поняла, что случилось с ее молоком, и отняла у нее половник, сказав при этом:*

*— Ты получишь его только в том случае, если вернешь мне молоко, которое ты выпила!*

*Госпожа Оса побежала к козе и попросила ее:*

*— Дай мне немного молока, мне надо вернуть его тетушке, тогда она одолжит мне свой половник, чтобы я могла спасти самого прекрасного из мужчин, который вот-вот утонет в кастрюле.*

*Но коза потребовала травы взамен молока. Госпожа Оса покорно пошла в сад и стала умолять его позволить ей*

---

<sup>11</sup> Уэд — река, пересыхающая обычно летом (арабск.).

<sup>12</sup> Шорба — суп.

взять травы, чтобы отнести козе, тогда та даст ей молока, которое она вернет тетушке, и тетушка одолжит ей половник, чтобы она могла спасти своего мужа. Саду потребовалась вода. Госпожа Оса направилась к колодезю и сказала:

— Милый колодец, дай мне немножко воды для сада, тогда он даст мне травы для козы, а она даст мне молока, которое я должна вернуть тетушке, чтобы она одолжила мне половник, а я спасу мужа, самого прекрасного из мужчин, от неминуемой смерти.

Колодец согласился, но ему наскучило жить в одиночестве. И он попросил госпожу Осу привести ребятишек поиграть возле него. Бедняжка Оса, сама едва держась на ногах, пошла за ребятишками и сказала им:

— О, малютки, пойдите поиграйте у колодца, тогда я смогу набрать воды и отнести ее в сад, а сад позволит мне взять травы для козы, коза даст мне молока, которое я должна вернуть тетушке, а тетушка позволит мне взять половник, чтобы спасти моего мужа, самого прекрасного из мужчин, который вот-вот утонет в кастрюле.

Ребятишки согласились, но попросили ее принести им яиц. Бедняжка Оса отправилась к курице, та была готова дать ей яиц, но взамен хотела горсточку зерна. Госпожа Оса, полумертвая от усталости, потащилась к жнецу, тот потребовал серп. Госпожа Оса снова пустилась в путь и, отыскав кузнеца, стала умолять его:

— Сжалось, господин кузнец, дайте мне серп, он нужен жнецу, который даст мне зерна, чтобы я отнесла его курице, а она даст мне яиц для ребятишек, тогда они пойдут играть к колодезю, ему станет веселее, и он позволит мне взять воды для сада, а сад даст мне травы для козы, которая даст мне молока для моей тетушки, она же даст мне половник, чтобы спасти моего мужа, самого

прекрасного из мужчин, который вот-вот утонет в кастрюле.

*Кузнец потребовал угля.*

*И тут госпожа Оса решила отказаться от чужих услуг. Она пошла в лес и собрала дров. Потом подожгла их, накрыла землей и дождалась, пока они не сгорят, затем отнесла то, что осталось от костра, то есть уголь, кузнецу, тот дал ей серп, и она отнесла его жнецу, который дал ей зерна для курицы, а та дала ей яиц для ребятнишек, они пошли играть к колодезю, и колодезь позволил ей взять воды для сада, сад дал ей травы для козы, которая дала ей молока для ее тетушки, и та позволила ей взять половник.*

*Полагая, что испытаниям ее пришел конец, бедняжка Оса, совсем измученная, вернулась к себе домой.*

*Наклонившись над кастрюлей, она увидела на самом дне своего мужа, превратившегося в уголек.*

### XIII

Хасан еще спал, свернувшись клубочком, когда женщина пришла его будить. Взглянув на него, она заметила его покрасневшие от слез щеки и пожалела, не тронула. Он проснулся, когда солнце стояло уже высоко. Застыдившись, он пошел умыться к ручью, протекавшему прямо за домом. Когда он вернулся, женщина предложила ему разогретый кускус, оставшийся с вечера. Потом принесла ему блузу и жесткие башмаки.

— Ступай помойся как следует, переоденься и принеси свое грязное белье, — сказала она ему.

Во дворе все были заняты делом. Одни подметали, другие носили воду из родника. Нура пекла лепешку. Хасан пошел вдоль ручья, спрятался за кустом, снял свою старую блузку и побрызгал на себя холодной водой. Сначала он весь съежился, но потом тело его привыкло. Он намылился с головы до ног. Вода здесь падала с уступа, и он встал под ее струю. Но не прошло и минуты, как ему пришлось вы-

скачить, стуча зубами. Одевшись, он пример башмаки, смочил их сверху немного водой, чтобы они стали помягче. Из кустов вылетел черный дрозд. Хасан спугнул его. Дрозд улетел. Вернувшись в дом, он увидел, что стадо уже здесь. Пастух, прислонясь к стене дома, ел ячменную лепешку, макая ее в оливковое масло. Заметив Хасана, он уставился на него и стал разглядывать с головы до ног. Аисса был здешний. Худой, тщедушный, с вытянутым лицом, он был старше Хасана на три года; его гладкую, без единого волоска голову прикрывала феска.

«Чего ему от меня надо? — рассердился Хасан. — Почему он так смотрит на меня?»

Он отдал свою блузу какой-то девушке, стиравшей белье в углу двора, возле водостока.

— Тебя мне только не хватало, — сердито сказала она.

Тут их позвал управляющий фермой. Аисса убрал свою миску и пошел, Хасан — следом за ним. На широкой площадке под деревьями он увидел занятых делом мужчин: одни чинили соху, седла, другие обрабатывали кожу. Они что-то обсуждали, смеясь. Хасан пересчитал их — всего девять. Управитель отличался от всех своей белой феской и большими усами. Оба мальчика сели рядом с ним. Остальные прервали работу и с любопытством смотрели на Хасана. Тот расслышал обрывки разговоров:

— ...рыжий... убит... бандиты...

Он понял, что речь шла о его отце. Управляющий был человек энергичный. Голос у него был степенный, а лицо очень серьезное. Говорил он мало, но веско и притом решительно. Мальчикам он сказал:

— С сегодняшнего дня ты, Аисса, будешь пасти коров, быков и мулов, работу ты знаешь.

Потом обратился к Хасану:

— А тебя как зовут?

— Хасан.

— Хорошо, ты, Хасан, будешь пасти баранов и коз. Пойдешь вместе с Аиссой, он тебе покажет. Скотина вся должна быть на месте. Я не потерплю, чтобы она пропадала. Не потерплю, чтобы она забредала на чужие поля да и на наши тоже. Если кто-нибудь пожалуется, вам несдобровать. Ясно?

И он снова принялся за работу. Руки у него были большие, мозолистые. Он как раз заканчивал мастерить плуг. Ему осталось подточить его и приладить ручку.

Хасану не понравился Аисса. Одна мысль о том, что ему весь день придется провести с этим мальчиком, выводила его из себя. К тому же здешние крестьяне напомнили ему отца с матерью.

«Что-то она теперь делает? — думал Хасан о матери. — Все еще плачет? А кто вспашет нам землю? Брат, должно быть, сейчас дома».

Послышался призыв муэдзина к послеполуденной молитве. Аисса подтолкнул его локтем. Крестьяне поднялись и пошли делать омовение. А мальчики повели каждый свое стадо. Они пересекли деревню, следуя по дороге, окаймленной кактусами, навстречу им попало несколько женщин, которые шли к роднику с кувшинами — одни несли их на голове, другие за спиной, — они принялись судачить о Хасане. Сразу за деревней начинались густые заросли леса. Вся деревенская скотина стекалась к одному и тому же месту. Пастухи сговорились между собой поближе познакомиться с Хасаном. Козы забрались в лес, стали карабкаться на дикие оливковые деревья. Быки едва тащились с ревом. Особо норовистый бык прошел, петляя наперерез всем. А пастухи тем временем собрались у водоема под церафонией. Разглядев новенького, они стали задирать его, и дело кончилось всеобщей потасовкой. Дрались все, хватая друг друга за ноги, за полы одежды, царапаясь, кусаясь. Кто-то закричал:

— Не кусайся! Вот собака, чуть палец не откусил!

Вдруг послышался какой-то шум, заблеяли козы, бараны испуганно всполошились. Увидев шакала, набросившегося на свою добычу, ребяташки завопили во весь голос:

— Шакал, шакал! Давай сюда, ай, ай, шакал!

Шакал в панике бросился в чащу. Подойдя поближе, пастухи увидели, что у одной из овец Хасана перекушена шея и она едва дышит. Оба мальчика посмотрели друг на друга с укором. Каждый из них винил в случившемся другого. Аисса прирезал овцу, которая уже почти не шевелилась. У Хасана один глаз был подбит. С наступлением темноты они погнали стада домой. Хасан один загонял свое стадо, а потом убежал и спрятался в саду. Аисса взвалил овцу на осла. Вместе с управляющим они стали искать Хасана, громко кричали, звали его, и только когда зажгли два пучка соломы, увидели Хасана, прислонившегося к смоковнице. Он плакал от страха. Управляющий схватил мальчика за руку и тряхнул так, что у того кости затрещали.

— Чего ты прячешься? — спросил он. — Почему не идешь в дом? Я знаю, что ты не виноват.

Мальчик, успокоившись, покорно пошел за ним, повторяя:

— Я не виноват, дядя, я не виноват, клянусь тебе.

— Что было, то было, — сказал в ответ управляющий.

Лалла ждала их у порога. Она взяла Хасана за руку, погладила его по волосам, вытерла глаза.

— Я твоя тетя, — говорила она, — знай, что я твоя тетя.

И стала распутывать нити какой-то замысловатой родословной.

Потом, обняв его, взглянула на распухший глаз.

— Это пустяки, — сказала она. — Не играй больше с ними.

— Клянусь тебе, тетя, я не играл с ними. Они хотели побить меня, потому что я новенький.

Она повела его внутрь дома. На огне стоял большой котел, в котором варился бобовый суп. Запах бобов наполнял

весь дом. Лалла налила Хасану поесть. Проглотив ложку, он обжегся и сморщился от боли.

— Подуй, подуй сначала, а потом ешь, — сказала она.

Мальчик начал есть, дуя на каждую ложку. В доме никого не было. Все ушли в гости к родственнику, вернувшемуся с военной службы. Слышно было, как там поют и танцуют под аккомпанемент бандира — маленького барабана.

Пустой дом показался ему еще просторнее. Тишину нарушало лишь потрескивание веток в очаге. Когда Хасан кончил есть, Лалла попросила его помочь ей поставить ткацкий станок, потом велела ему идти спать. Сама она села возле очага, взяла веретено и принялась прясть шерсть. При свете огня лицо ее дышало покоем и лаской. Ее длинные тонкие пальцы крутили веретено с невероятной быстротой. Хасан слушал шум веретена, и на какое-то мгновение ему показалось, что все это сказка.

«Неужели она и вправду моя тетя?» — думал он.

С того дня он стал называть ее «тетя».

Всю ночь шел дождь. Вокруг все развезло от грязи. Хасан встал очень рано. Глаз уже не болел. Женщины поднялись еще раньше, чтобы успеть подоить коров, коз и овец. Как только они кончили, Хасан с Аиссой погнали стадо. Каждый нес под мышкой свой кусок лепешки. Аисса рассказал Хасану о вчерашнем празднике.

— Мы ели кускус с мясом. Женщины танцевали всю ночь. Знаешь, — говорил он, — для мужчины вернуться из армии — это все равно, что заново родиться. Поэтому и устраивают праздник.

Хасан не знал этого. В его деревне никто еще не возвращался из армии. Обычно каид сообщал о чьей-либо смерти, и вся деревня плакала. Вот все, что он знал.

В тот день Аисса разоткровенничался. Он рассказал Хасану о своей матери, которая умерла, когда он был совсем маленький.

— Мой отец костоправ, и еще он пишет амулеты. Когда он взял другую жену, я не поладил с ней. — Он говорил всегда *она*, избегая называть ее по имени. — Чтобы не было хлопот, отец определил меня сюда в пастухи. Мы с ними в родстве, из одной семьи, только они, конечно, богаче.

Хасан, сам не зная почему, очень скоро привязался к Аиссе. Они стали неразлучны.

И вот на всех земельных наделах началась пахота. Пригнав свои стада в лес, Хасан с Аиссой возвращались погреться у огня пахарей, помогая им кое в каких мелких работах. Аисса поведал Хасану все, что знал о каждом из них.

— Опасайся одноглазого, — сказал он ему. — Если он застанет у себя в поле козу, он тебя убьет. Он посадит тебя на колючки или на кактусы. Верно тебе говорю. Он проделал это со своим собственным сыном. Сердце у него черное, как деготь. Один раз я ему попался. Белая коза не успела даже ступить на его поле. Она была у самой кромки. Я лежал, а он схватил меня за руку и потащил, негодая, нарочно выбирая места, где побольше дрока да колючего кустарника. Я закричал. Стал звать маму и папу. Я умолял его. Ему никого не жалко, этому мерзавцу. Колючки вонзались мне в тело, как иголки. А ему этого было мало. Он бросил меня в кусты и стал топтать. Я потерял сознание. Когда я пришел в себя, мне так было страшно снова его увидеть, что я даже боялся открыть глаза. Я долго прислушивался. Все у меня болело. Потом я все-таки посмотрел вокруг. Его уже не было. Я весь был изодран, в крови, красный, как помидор.

Кто-то из крестьян окликнул их:

— Шли бы к скотине!

Они встали. Удостоверившись, что животные мирно пасутся, они решили проверить силки. В одном из них оказа-



лась великолепная куропатка, она хлопала крыльями. Аисса взяла ее живой.

— Вот красота. А что, если нам зажарить ее и съесть? — предложил Хасан.

Аисса замотал головой. Нет, вечером он выменяет ее на новую блузу у одной женщины, которая только что родила.

## XIV

Бандиты часто заглядывали в деревню Черный Ручей, они приходили к одному из своих. Им случалось проводить там по несколько дней, они отсыпались, набирались сил, готовясь к новому набегу. Только стена отделяла их от дома, где жил Хасан, и вместе с другими ребятами он слушал истории, которые рассказывали бандиты. Многие из них любили прихвастнуть, сгустить краски. Их главарь, Мессауд Б., доводился близким родственником Лалле, которую он звал Матушкой. Лалла была женщина с характером, величаясь красавица, и притом бесстрашная. После смерти мужа она сама заправляла всем домом. И все ее уважали, даже грозный главарь. Каждый раз, как ему случалось бывать там, он непременно навещал ее, ел, пил, отдыхал, а потом уже шел к своим.

Когда он приходил, она подавала ему все самое лучшее: простоквашу, масло, кускус с мясом, медовые пироги. Он ел не переставая, как голодный. В нем просыпались сыновние чувства.

— Если бы моя мать была жива... — говорил он ей.

На что Матушка отвечала:

— В свое время моя двоюродная сестра цвела, как роза.

Среди семерых сыновей он был старшим. Мать гордилась своим потомством, еще бы: семеро здоровенных детей, составлявших смысл ее жизни.

Но вот однажды к ним явился судебный исполнитель:

— Плати, или я все заберу.

Он ушел, прихватив корову, теленка, фамильный чугунок и даже циновку. Мессауд дождался его на крутом повороте дороги. Раздались три выстрела. Так началась его разбойничья жизнь. Братьев его сослали на каторгу. Их мать умерла от горя.

Продолжая есть, Мессауд любовался ковром на ткацком станке, это было только начало работы.

«У того, кто ткёт, пальцы должны быть тонкими, как лапки у паука», — подумал он.

— И что же, потом вы будете садиться на него?

— Конечно, а как же иначе? — рассмеялась Лалла.

— Если бы это был мой ковер, я не стал бы на него садиться. Такой красивый, с такой большой звездой, нет! Я все время любовался бы им.

— Подумал бы лучше о своих грехах. У тебя ведь только одно на уме: красть, убивать, отнимать.

Грозный бандит расхохотался:

— Не беспокойся, Матушка, не беспокойся, этим людям грош цена. Они владеют целым состоянием, а сами умирают с голоду. Они не решаются даже прикоснуться к своему богатству. Ммм... когда я прихожу к тебе, я столько ем всего такого, чего никогда нигде не пробовал. Твой кускус с ягненком и зеленые бобы...

Оба рассмеялись от души, словно дети. Бандит поднес руку ко рту и продолжал:

— Да вот послушай, на днях мы ходили... далеко отсюда. Не скажу куда (он ее поддразнивал). Но к людям очень богатым. Мы дождались, пока все стихло, потом заглянули в сток для нечистот. Мне пришлось вытянуться во всю длину. И что же, ты думаешь, я увидел? Я увидел женщину средних лет. При свете горящих дров мне было очень хорошо ее видно. Она недавно родила. И вот, запеленав своего ребенка, она взяла его на руки, полюбовалась им, поцеловала и положила рядом с собой. Потом стала расчесывать волосы, и вот их чешет, и вот чешет. Я

уж решил, что она будет чесать их всю ночь. И что же, ты думаешь, я, к своему великому удивлению, увидел? Она подтянула к себе бычью шкуру, отрезала несколько полосок и бросила их, одну задругой, в огонь, потом стала вдыхать этот запах. Даже запах доставлял ей удовольствие, но, видно, от этого ей еще больше захотелось есть. Тогда она выхватила обгоревшие полоски и стала жевать их, как будто это было мясо. Мне стало ее жалко. Она была совсем одна, другие, должно быть, спали. Дыру в загон мы уже проделали. Я вошел и выбрал двух лучших баранов в стаде. Прирезал их и ушел, так ничего и не взяв в этот вечер, все мясо осталось ей. Что ты на это скажешь, Матушка? И в чем благочестие этих людей? Ведь, насколько мне известно, в могилу-то они свое богатство не возьмут. Вот уж нечестивцы: оставить роже-ницу без мяса!

Матушка с восторгом слушала эту историю, даже глаза ее смеялись. Всем сердцем она была с ним.

— Ты правильно сделал, — сказала она. — С такими нечестивцами так и надо поступать. — Потом, полушутя, добавила: — Ну, а бедных людей ты тоже обираешь?

Он покатился со смеху.

— Бедные люди, говоришь? Да если бы у них хватило духа, они поступили бы точно так же, они не похожи на тебя, матушка. И хватит, замолчи, а не то завтра я пришлю к тебе моих молодцов. Они опустошат всю твою конюшню.

— Ах так! — воскликнула она, размахивая руками. — Пусть приходят, и ты приходи вместе с ними, я вам продырявлю штаны свинцом!

Он свалился на пол от смеха, припомнив историю, случившуюся с тремя грабителями, задумавшими пожитьяся барышом от проданных сыном Матушки быков. Они проследили за ним от самого базара до дома. А к вечеру Матушка заметила из окошка трех сомнительных типов, пробиравшихся ложиной. Она принесла ружье и прицелилась в

одного из бандитов, спрятавшегося в зарослях олеандра. Грянул выстрел. Второй бандит успел скрыться за деревом, так что заряд угодил в ствол. Бандиты унесли своего раненого с изрешеченными, как сито, штанами. Новость быстро облетела все разбойничьи шайки, все деревни, и бандит стал всеобщим посмешищем. С той поры он куда-то пропал, так и не смыв позора.

## XV

В ту неделю, когда появился Хасан, бандиты как раз исчезли. Во всем районе Бени Харуна прошел слух о прибытии жандармов, которые арестовывали всех, кто уклонялся от воинской службы. Находились среди молодых людей, достигших призывного возраста, такие, кто бежал в горы из страха, что их разлучат с родными, но главное потому, что боялись умереть в чужом краю, сражаясь за чужое дело. Самые ожесточенные вступали в разбойничьи шайки. Остальные просто скрывались, блуждая в горах.

Бандит рассчитывает на добычу, крадет и тем сыт. А беглец уповает на милосердную душу, и, когда терпение его иссякает, а воля под воздействием скитаний и голода совсем покидает его, он возвращается к родному очагу. Там-то в темноте у отчего дома его и подстерегают сторожевые собаки.

— Доставьте мне этих псов, — приказал каид, злобно сверкая глазами.

Через несколько дней сторожевые собаки поймали четырех беглецов.

Ибо тот, кто сторожит в ночи добычу, в конце концов настигнет ее.

Беглецы попали в руки жандармов. Одному из них удалось скрыться. Его снова поймали и, раненного, привязали вместе с другими на скотном дворе вместо быков. Их били, и вся деревня слышала, как они кричали: «Мама, мамочка!»

Женщины сбежались к воротам каида. Им оставалось только плакать, стонать и ждать. Время от времени раздавались их голоса:

— Они убили их, убивают! Горе тебе, дочь моя! Бедный мой сын!

Когда спустилась ночь, тучи заволокли все небо, не было видно ни одной звездочки. Загремел гром. Полыхнула молния. Женщины дрожали, укрывшись своими шальями. А в доме каида пировали жандармы. Забравшись в сапогах на матрасы, они пожирали кускус, кур и мешун<sup>13</sup>. Им надоело слушать стоны женщин, и они потребовали, чтобы каид «велел замолчать этим людям, не то худо будет!»

Каид засунул голову из окна и крикнул:

— Убирайтесь отсюда!

Мать раненого не унималась, вцепившись в стену.

— Мой сын, мой сын! Он умер. Его убили.

— Да не умер он, — сказал в ответ каид. — Но если ты будешь торчать здесь... — Помолчав, он добавил сквозь зубы: — Нечего беспокоить людей в такой поздний час. Убирайтесь, а то буду стрелять.

Женщины прождали до рассвета, тесно прижавшись друг к другу. А на заре встали, чтобы размять затекшие ноги. Тут вышел один из помощников каида. С матерью каждого беглеца он поговорил отдельно, отведя ее в сторону и прошептав на ухо:

— Если заплатите, дело можно уладить; скажем, что он не знал, что его здесь не было, что он был на пахоте в другом месте.

Подошла мать четвертого, волоча за собой свой черный платок.

— А с твоим ничего не поделаешь. — Он оттолкнул ее дубинкой. Голос его стал совсем другим, и он в ярости завопил: — Черт бы тебя побрал и его вместе с тобой!

---

<sup>13</sup> Мешун — баран, жареный на вертеле.

Женщины развязали платки, заключавшие все их сбережения, добавили к этому свои браслеты, кур, петухов.

— Ах, попрошайки несчастные, это все, что вы можете мне предложить?

Жандармы вывели пленников, связанных попарно. Веревки прицепили к лошадям. Каид невозмутимо поглядел на женщин, сплюнул и постучал своей палкой. Помощники его встали между крестьянами и жандармами.

— До завтра, — сказали жандармы каиду, помахавшему им на прощание.

Они стегнули лошадей, увлекая за собой шатавшихся пленников. Каид вернулся в дом и закрыл за собой дверь. Женщины в отчаянии царапали себе лица, катались по земле, проклинали каиду вместе с жандармами, призывая на их головы все беды вселенной. Мужчины не одобряли тех, кто уклонялся от службы.

— Беглец приносит своим одно несчастье.

## XVII

Потом вернулся с ученья младший сын Матушки. Он был совсем юнец: даже бороды еще не было, только пушок покрывал щеки. Кожа у него была светлая, волосы черные, черты лица тонкие, словно точеные, и на вид он был такой же прямой и открытый, как мать. Матушка любила его больше всех на свете и желала во что бы то ни стало женить. Когда она заговорила об этом с его дядьями, они ответили, что он чересчур молод, ему и было-то всего шестнадцать лет. Но Матушка тем не менее сделала свой выбор, ей приглянулась девушка из соседней деревни. Обе семьи уже были связаны узами крови. И вот Матушка стала терпеливо ждать, чтобы сын сам выразил желание жениться. Однажды, когда она беседовала с талебом, тот ловко повернул разговор:

— Дети взрослеют быстро. Твой-то уже настоящий мужчина.

Матушка, сразу смекнув, в чем дело, сказала в ответ:

— Вижу, вижу куда ты клонишь, старый шакал.

— А если видишь, почему же не ищешь ему жену? Если долго будешь мешкать, он и в самом деле подумает, что остался сиротой.

— Как это сиротой? Да у него столько дядьев, — сказала она, пожав плечами. Потом добавила с лукавым видом: — Можешь сказать ему, что я уже нашла для него красивую девушку и что свадьбу сыграем летом, сразу после обмолота пшеницы и ячменя.

— Я всегда знал, что ты женщина решительная и с размахом.

С того дня приятели Саада не переставала подтрунивать над ним.

А Матушка тем временем заготовила кускус, купила все необходимое, велела пошить всем новое платье. Расширение кровных связей предполагало значительное увеличение числа родственников, которых требовалось одеть. Так уж было заведено обычаем.

## XVII

Махфуд, старший сын Матушки, сел верхом на мула и отправился к своей тетке с материнской стороны.

Семейство его матери вело свой род от прославленных Буренан Бен Аззединов, вождей племен зуара, ограбленных, подобно всем другим племенам, колонизаторами. Некоторые еще помнили былые времена величия и славы, когда пастбища их простирались без конца и без края от Себакха до самого Азеля. Тогда не было безлошадных семей. И празднества со скачками составляли гордость наездников.

Махфуд скакал до самого вечера, не дав бедному животному ни разу передохнуть. Когда же после вечерней мо-

литвы он добрался, наконец, до своей тетушки, его встретила свора собак. Усталый мул с трудом поднялся по каменистой тропинке. Маленькие огоньки, мелькавшие во тьме, словно звездочки, указывали путь к очагу, где еще не спали. Собаки следовали за ним по пятам. Когда он подъехал к дому, из двери, прежде чем он успел позвать, вышел молодой человек и тут же узнал его по голосу.

— А, это ты, дядя? — Он с почтением бросился к нему. — Добро пожаловать, дядя. У нас как раз все в сборе. Я позабочусь о муле.

Он тут же привязал мула к двери и повел своего дядю в дом. Мужчины и женщины сидели напротив друг друга вокруг огня. Все встали, чтобы поздороваться с ним. Когда дошла очередь до тети, ее пришлось поддерживать: она была слепой.

— Где ты, сын моей сестры? Где ты, мой лев? — спросила она, вытянув руку.

— Я здесь, тетя, я здесь!

Он взял ее за руку и, обняв, поцеловал.

Тем временем девушки расстелили ковер и разложили на нем подушки. Гостя усадили на самое почетное место, рядом с дядей Булахрасом.

— Не каждый день случается нам принимать такого гостя. Твое присутствие среди нас достойно жертвоприношения.

Махфуд хотел было извиниться за свое появление в столь поздний час, но ему не дали говорить. Старик уже отдал распоряжение своим сыновьям пойти в загон за ягненком. И вскоре двое молодых людей вернулись с зарезанным ягненком, которого они притащили к центральному столбу жилища и в мгновение ока тут же разделали его. А дядя с тетей засыпали Махфуда вопросами о семье, о детях, о здоровье, об урожае. Одна из невесток встала, чтобы взять из рук мужа печенку, которую тот вынул, и пошла к очагу. Приподняв платье, она села, скрестив ноги, и приня-



лась за дело с помощью своей сестры Урдин. Они разрезали на кусочки печень, сердце, легкие и поставили все это жариться на огонь. Вскоре весь дом наполнился запахом жареного мяса.

— Поторапливайтесь, дочки, — сказала им тетя, — наш гость проголодался.

Остальные девушки палили голову ягненка и ножки. Махфуд обратил внимание на Урдию, которую он видел в первый раз. У нее были большие черные косы, горделивая осанка и чарующий взгляд.

Дядя торопил Махфуда:

— Ешь, ешь и не обращай на меня внимания. Я слишком много болтаю. Это все, что мне остается, ведь я не могу больше работать.

— Нет, дядя. Ты для нас образец, достойный пример во всем.

Молодые люди извинились и пошли спать. Старая те-тушка велела своим невесткам стелить постель и тоже идти отдыхать.

А то кто завтра будет доить коров? — сказала она, зевая. — Я засыпаю на ходу. Поднимайся и ты, старый, отве-ди гостя к его постели. Он, должно быть, очень устал.

Проснувшись, Махфуд стал собираться домой, сказав, что его ждет работа. Бахджа попрощалась с ним и благо-словила его. Она надавала ему множество подарков для своей сестры и для всего семейства.

Весна была на исходе. Пшеницы и ячменя почти не ос-талось. В эту пору чаще всего и появлялись бандиты. Они нападали на фермы, крали скот и грабили людей.

Махфуд ехал верхом на муле. И вдруг, подняв голову, он почувствовал, что за ним следят. Два всадника прибли-жались к нему, тогда как остальные наблюдали за ним с холма. Он съехал с тропинки и двинулся напрямую. Пови-нуясь ему, мул побежал быстрее. Бандиты угрожающе раз-

махивали руками, но он все подгонял мула и почувствовал себя в безопасности, лишь когда подъехал к самой деревне.

## XVIII

Минувший год был голодным годом. Люди ели клубни растений, корни и траву. Они были разуты, раздеты. Бандиты бесчинствовали, грабили и угоняли скот средь бела дня.

Это случилось в начале лета, в самом разгаре дня. Было очень жарко. Ячмень уже поспел, и желтые зрелые колосья колыхались на солнце. Колосились густые поля пшеницы. И вдруг прискакал человек на рыжей взмыленной лошади, искры так и летели у нее из-под копыт, она была даже не оседлана. Согнувшийся пополам, мужчина с перевязанной поясицей звал на помощь:

— Помогите, люди добрые, бандиты, бандиты напали!

Он обливался потом, рана его болела. Из ближайшего дома вышел Зидан и тоже стал звать на помощь. Сбежались все мужчины, кто с ружьем, кто с мотыгой, а кто с дубинкой.

— На гору, на гору! — кричал Зидан. — Надо перерезать им дорогу.

Лошадь бросилась вперед. Мужчина изо всех сил старался удержаться на ней.

Сам он, как выяснилось потом, находился дома, а сын вел скотину на выпас. И вдруг, откуда ни возьмись, бандиты. Сын стал звать на помощь. Он выбежал с ружьем, но прежде чем успел выстрелить, бандиты ранили его. Женщины перевязали ему рану, и, несмотря на боль, он вскочил на лошадь и поскакал за помощью. Он оповестил деревню Черный Ручей, потом У Подножия Горы и Два Форта. Мужчины собрались всем миром и, окружив бандитов, стали биться с ними. Это было похоже на самую настоящую войну. От выстрелов загорелось поле. Крестьяне не знали, что делать: тушить огонь, пока он не пошел дальше, или

драться с бандитами. Но тут само собой все решилось. Бандиты бросили скотину и бежали, унося с собой одного убитого. Крестьяне потушили пожар и привели стадо. Но по дороге бандиты успели прихватить скот у Хасана и Аиссы. Ребятишки вцепились в бандитов, те стали осыпать их ударами, а едва отпустили, как мальчики снова увязались за ними. Тогда один из бандитов привязал их к дереву. Губы у ребятишек были разбиты в кровь. И как ни старались они высвободиться, всё было напрасно. Услышав выстрелы, Аисса сказал Хасану:

Это они убили твоего отца. Банда Чумового.

«Хоть бы их всех перебили, — подумал про себя Хасан, — чтобы ни один не спасся».

Он попробовал вытереть рот, но мешала веревка. С досады Хасан плюнул в сторону грабителей. Отвязали ребят возвратившиеся крестьяне.

Недоставало только сына Матушки. Он сделал крюк и заглянул к родственнику. А в деревне прошел слух, будто его убили. Матушка совсем обезумела. С воплем бежала она по полю, следом за ней женщины, мужчины и ребятишки. Дом их родственника стоял высоко над деревней. Увидев бегущих людей, сын Матушки понял, что допустил оплошность.

— Я здесь, — стал кричать он, — я здесь!

Бежавшие остановились на лугу, заросшем острыми колючками, желтизну которых расцветили пятна ярких платьев и белых тюбанов. Матушка без сил опустилась на землю. Ноги ее кровоточили. Увидев это, те, кто бежали за ней, взглянули на свои ноги; оказалось: все были босиком и у всех ноги были изодраны в кровь. Только теперь они почувствовали боль от колючек, вонзившихся в их потрескавшуюся, почерневшую кожу.

## XIX

Айша так и не оправилась после смерти мужа. На девятый день к ночи небо сплошь было покрыто тучами, только кое-где сквозь облака пробивались лунные блики. В загоне вдруг заревели и заметались быки. Айша с трудом поднялась и открыла дверь. В проем ворвался желтый бык, волоча по земле внутренности. Не раздумывая, она захлопнула дверь и задвинула железный засов. Бык вытянул шею и распластался всей своей тушей. Она закричала от ужаса, стала звать на помощь. Но в ответ ни звука, никто не шелохнулся. Она села в уголок, накрыв голову подолом платья, и так, одна, в страхе просидела всю ночь.

Ее сын Мурад проснулся очень рано. Было еще темно, когда он пошел к матери завтракать. Накануне вечером он ничего не ел, засиделся допоздна с товарищами и к кайдуну явился только после ужина. Войдя в загон, он отчетливо увидел в предутреннем свете быка синей масти с задранными вверх копытами. Он протер глаза и подошел поближе. Сомнений не было: бык лежал мертвый с распоротым брюхом. Мурад бегом бросился к двери и стал стучать:

— Мама, мама, это я. Открой! — Прислушавшись, он снова позвал: — Мама, мама, это я! С тобой ничего не случилось?

Мать с трудом дотащилась до двери, отодвинула железный засов. Раскрывшаяся дверь ударилась о второго быка. Вытаращив глаза, Мурад с оторопелым видом уставился на мать. Она была бледна, как смерть, в блуждающих глазах застыл ужас.

Светало. В загон зашли сначала несколько человек, потом еще и еще. Собралась почти вся деревня: и мужчины, и женщины. Оказалось, многие слышали крики Айши, когда она звала на помощь, но никто не осмелился выйти. Все боялись. С тех пор как погиб ее муж, никто больше не ре-

шался выходить из дому, даже если надо было кому-то помочь.

Вскоре прибыл и сам каид.

— Что здесь происходит? — спросил он.

Люди расступились. Ему показали быков со вспоротым брюхом. Взглянув на них мельком, он обвел суровым взором всех присутствующих.

— Кто это сделал? — потребовал он ответа.

С минуту все молчали, потом откуда-то из середины толпы раздался робкий голос:

— Она звала на помощь вчера вечером, после последней молитвы.

Голос умолк. Каид тряхнул головой:

— Постарайтесь дознаться кто. На каторгу, на каторгу, я сошлю его на каторгу! — повторил он несколько раз. Затем, повернувшись спиной к толпе, сказал: — Унесите их и закопайте.

Последние слова были приказом. Сам он тут же пошел прочь.

— Унесите их, унесите, — повторяла за ним толпа.

Люди разбились на группы и потащили быков под деревья, на край оврага. Сквозь облака пробился солнечный луч. Упало несколько капель дождя, но вскоре небо прояснилось.

— О, Аллах, чем провинилась бедняжка Айша? Что за напасть: сначала муж, теперь... — шептали в толпе, роя яму. — За что такая беда? За что столько страданий?

Женщины окружили Айшу и говорили без умолку:

— Это все они. Они убили отца. Теперь быков. Кроме них, некому. Кто станет убивать быков?

Говорили просто так, ни к кому не обращаясь. Но на каждый вопрос находился единственно возможный ответ. Вдруг Айша забилась в судорогах. Ее тщедушное тело сотрясало. Она вся посинела, и пена выступила у нее на гу-

бах. Женщины подхватили ее, стали держать за ноги. Одна из них взяла ее руки и вложила в них ключ.

— Злой дух, — твердила она, — злой дух вселился в нее. Принесите ладана.

Все засуеились. Одна из соседок пошла за ладаном. И вскоре весь дом окутал запах ладана. Айша успокоилась, судороги прекратились. Но женщины остались сидеть возле нее.

Тем временем Мурад отправился на поиски управляющего, который остался сторожить скотину до его возвращения.

— Ты найдешь меня у Трех Холмов, — сказал тот Мураду.

Голова у мальчика разламывалась. Не поднимая глаз, измученный, он, едва волоча ноги, обогнул холмы, потом нагромождение скалистых уступов. Как раз у выхода к полям деревни Трех Холмов возвышались две громадные глыбы, в темноте они казались призраками. И тут до мальчика донеслись чьи-то голоса. Он остановился. А что, если...

Мурад бесшумно проскользнул мимо каменных утесов. Последние два метра он проделал ползком и прижался к скале.

— Я сделал, как мне велели, — говорил кто-то. — А можно было бы продать их или хотя бы съесть. Во всяком случае извлечь какую-то пользу.

— Жандармы рыщут по всем базарам. Они разыскивают скотину какого-то европейца. Тебе не оставалось ничего другого, не то и на каторгу мог бы угодить.

Слово «каторга» возымело свое действие. У бандита мороз пробежал по коже, на лице отразился ужас. Он знал, что это такое. Ему уже довелось провести там три года из-за помещичьей козы.

— Так что, если теперь тебя поймают, каторги не миновать.

— Что там у них произошло? — любопытствовал бандит. — Что-нибудь серьезное? Ведь тот-то был бедняком и едва зарабатывал себе на жизнь.

— Он арендовал земли у вдовы, ну, знаешь, той, что живет в городе, а это сводная сестра каида. Она получила в наследство все земли в долине Трех Холмов. Сестра полагала, что земли эти принадлежат ей и что она может сдавать их в аренду кому угодно, ведь брат никогда и ничего не платит ей.

— А тот бедняк, значит, решил-таки настоять на своем. Что ж, поделом ему, — сказал бандит.

— Да, так ему и надо. Пусть горит в адском огне, — заметил управляющий.

В этот момент Мурад чуть было не чихнул, но удержался, заткнув нос. Однако сторожевой пес учуял его, подбежал к нему и стал лаять. Бандит догадался, что кто-то подслушивает их. Обойдя скалу, он увидел мальчика, тут подросел и управляющий. Они избили его до полусмерти и сбросили с вершины Трех Холмов. Скотившись вниз, мальчик ударился головой об узловатый ствол старого дерева и застыл неподвижно.

— Так оно будет лучше, — довольные, решили они. — Подумают, что он сам упал.

## XX

Окровавленный мальчик так и остался лежать на спине с подвернутой ногой. Хищные птицы закружили над ним. Но белый пес в конце концов отыскал мальчика. Повизгивая и бегая вокруг него, он стал облизывать его. Мальчик понемногу пришел в себя. Его тошнило. Голова была тяжелой, кожу саднило от запекшейся крови. Ему страшно хотелось пить, и он не мог ничего вспомнить. Все тело отяжелело, как будто его раздавили, и, казалось, состояло из каких-то разрозненных частей. Пес не переставая кружил вокруг него, вылизывал ему шею, рот, щеки. Внутри маль-

чик ощущал полную пустоту, потом, мало-помалу, память стала возвращаться к нему. Прежде всего в глаза ему ударил свет, яркий, нестерпимый. Затем он различил очертания пса. Но прошло немало времени, прежде чем он понял, что это его пес. Свежий ветерок и вкус крови во рту полностью привели его в чувство. По телу пробежала дрожь, но не было сил пошевелить ни рукой, ни ногой. И чем больше он приходил в себя, тем сильнее становилась боль, его кидало в жар. Он застонал. Пес тоже начал тихонько скулить, виляя хвостом и печально глядя на мальчика. Последние лучи солнца исчезли за горизонтом, окрасив пурпуром легкие колышущиеся облачка. Ярко-синее небо подернулось розовой дымкой, облака превратились в волшебные щупальца, которые, казалось, опутали голубые цепи гор, терзавшиеся в бесконечности.

## XXI

Каид в окружении своей челяди дожидался у ворот возвращения скотины. Стаду давно уже пора было вернуться домой. Ожидание распалило его. Он вертел головой во все стороны, ибо ничто на свете не могло для него сравниться с картиной возвращения его стада, с мычанием и блеянием надвигавшегося, как волны прилива. В такие минуты он чувствовал себя поистине счастливым, ощущая свою силу, могущество и сознавая, что внушает окружающим почтение и страх. Из дому слышался голос жены каида, обращавшейся к одному из слуг:

— Омар, где скотина? Когда начнут доить?

Темнело, но ни стада, ни пастуха не было видно. В глазах каида мелькнуло беспокойство, бешеная злоба охватила его. Откинув сильными руками полы бурнуса, он обрушил свою ярость на окружавших его людей.

— Бездельники, лоботрясы! — кричал он. — Скотины нет, а они стоят себе и преспокойно ждут. Ступайте приве-



дите стадо и этого чертенка вместе с ним. Ступайте и не смейте возвращаться, пока не соберете всю скотину.

Лахдар робко сказал:

— Я пойду поищу его у матери.

Он отправился, ухватившись обеими руками за голову и переваливаясь с боку на бок. У него была такая привычка, когда он торопился.

Айшу трясло, как в лихорадке, и она испуганно вздрогнула, когда он окликнул ее. Сердце заколотилось так, что, казалось, вот-вот выпрыгнет из ее груди. Не в силах вымолвить ни слова, пришибленная своим несчастьем, она со стоном потащилась к двери. Не дождавшись ответа, он снова крикнул:

— Твой сын вернулся?

Она покачала головой. В огромных глазах Айши он увидел мольбу.

— Ладно, я поищу его. Найду и приведу. Клянусь тебе, — сказал он и ушел.

Завидев его, кайд помрачнел, выругался и заорал:

— А управляющий где? Кто видел его днем? Ступайте приведите стадо и этого сукина сына, я проучу его так, что он забудет у меня родную мать и весь свой род. Мустафа, Али, Отман, Лахдар, захватите с собой Тахара и Абдаллаха. Да не забудьте взять факелы.

Замычала корова. Она возвращалась одна. Ей ответил теленок со скотного двора.

— Главное, бараны и козы, — крикнул вдогонку кайд, — большой скотине нечего бояться.

Он опасался шакала. «То-то ему будет праздник, если они попадутся ему», — подумал он.

Остальные подумали то же самое, решив про себя, что если шакалу посчастливится повстречать такое стадо, он будет сыт до конца своих дней.

Было очень темно, и все старались держаться друг друга. Лахдар первым нарушил молчание:

— Завтра мне на базар спозаранку. Когда же спать-то? Вставать надо затемно.

Каждый держал в руках палку. От палок было больше шума, чем от их шагов. Отман спросил, где пасли скотину. Абдаллах ответил ему тоненьким, похожим на женский, голосом:

— У Трех Холмов, я сам отогнал ее туда сегодня утром.

— Вот и оставался бы там, — сказали остальные. — Не пришлось бы нам бежать сейчас.

Они добрались до вершины холма. Дорогу им преграждал глубокий овраг. Поскользнувшись в темноте, Отман очутился на дне, среди колючих зарослей. Ругаясь на чем свет стоит, он попробовал выбраться сам, но только бока себе исцарапал. Тогда он позвал других, чтобы они посветили ему факелом. Али поспешил ему на помощь, но, увидев в зарослях горящие глаза Отмана, как бы попавшего в капкан, не мог удержаться от смеха.

— Чем смеяться, лучше бы помог мне, — сказал тот. — В этом проклятом месте и с тобой могло случиться то же самое.

С помощью палки Али удалось пошире раздвинуть кусты и вызволить своего товарища, хотя у того ключья блузы так и остались висеть на колючих сучьях. Отман отфыркивался:

— Из-за этого паршивца я весь изодран. Ну погоди, если поймаю, привяжу к дереву и оставлю на всю ночь.

Остальные недовольно стали звать их. Пес учуял людей и залаял, а вскоре и сам прибежал. Всем своим видом он выражал радость, а они очень удивились при виде его.

— Если собака здесь, то и парнишка где-нибудь тут, — решили они. — Должно быть, с ним приключилась беда. После смерти отца он сам не свой. Держится на отшибе и ни с кем не разговаривает.

Они пошли за собакой. Миновали нагромождение скалистых уступов и услышали, как у подножия утеса Трех

Холмов скулит возле мальчика обогнавший их пес. Тут при свете факела, зажженного Али, они увидели и самого мальчика: пес вылизал ему все лицо. Такая преданность поразила их.

— Собака, она вернее человека, — молвил Лахдар.

— Поглядел бы лучше, что с мальчонкой, — сказал Отман. — Сам я не хочу подходить: а вдруг он умер.

Наклонившись, Лахдар уловил чуть слышное прерывистое дыхание, он положил руку на лоб мальчику.

— Жив, только вот не знаю, будет жить ли помрет, — сказал он им, приподняв ножку ребенка, которая тут же упала. — Один Аллах ведает, что с ним стряслось.

Собака стала подвывать, словно жалуясь. Было решено, что двое из них понесут мальчика, а остальные займутся скотиной. Для выполнения первой задачи выбрали Лахдара с Тахаром. Тахар сказал Лахдару:

— Лучше ты его носи. У меня ревматизм, я боюсь упасть.

Лахдар посадил мальчика верхом себе на спину, а сам придерживал его за ноги.

— У него сильный жар, — сказал он, поднимаясь со своей ношей.

Они зажгли факел и, миновав скалы, вышли на дорогу, ведущую в деревню. Через некоторое время факел погас. Идти в темноте было тяжело, и они останавливались несколько раз, чтобы передохнуть, прежде чем добрались до дома Айши. Измученный Лахдар весь взмок. Мальчика уложили на циновку. Пришли две соседки и укрыли его толстым покрывалом. Айша совсем помертвела, только слезы ручьями струились по ее лицу. Вид у нее был отсутствующий, она безучастно смотрела на все, что происходило вокруг, хотя множество людей, точно рой пчел, сновали взад-вперед. Ребятишки сгрудились возле двери. В гуле голосов разобрать слова было почти невозможно.

— О, Аллах, он, должно быть, поскользнулся и упал, — то и дело повторяли в толпе.

Женщины плакали и смолкли только тогда, когда вошел костоправ, высокий человек с надутыми губами. Он снял гандуру<sup>14</sup>, поправил свой тюрбан, потом сел возле ребенка и стал ощупывать его. Присутствующие молча смотрели на него. Костоправ был тверд в своем диагнозе и определил два перелома — один на левой ноге, другой на правой руке. Он попросил женщин промыть раны, затем точными и четкими движениями положил перед собой две палки, на каждую из них накинул скользящую петлю и связал их между собой. Поглощенный своей работой, он сбросил маску самоуверенности, которой обычно прикрывался, когда кто-нибудь приходил к нему по поводу заговора или еще зачем. Его сосредоточенность и ловкость свидетельствовали не только о присутствии духа, но и об умении принаравливаться к любым обстоятельствам.

— Подержите-ка мне его, — приказал он, ни на кого не глядя.

Из толпы вышли четверо мужчин и подхватили мальчика, находившегося в полусознательном состоянии. Лахдар встал у стены, прислонившись к ней. Прижав ребенка к себе, он поддерживал его в сидячем положении. Остальные держали ему руки и ноги. Костоправ снова пощупал сломанную ногу в области искры, сел верхом, поплевал себе на руки и в какую-то долю секунды с силой потянул на лодыжку. Мальчик взвыл от боли и рванулся из рук.

— Держите его хорошенько, — зашумели в толпе.

Костоправ, обливаясь потом, снова пощупал кость и с довольным видом сказал:

— Она встала на место.

Он уложил приготовленные палки вокруг ноги и стал прикручивать веревками, пока они плотно не прилегли к ноге. Закончив работу, он остановился на минутку пере-

---

<sup>14</sup> Гандура — длинное просторное одеяние без рукавов.

дохнуть, успев проглотить чашечку кофе. Затем проделал то же самое с рукой. Во время второй операции толпа гудела, как улей. Мальчик снова потерял сознание и горел в сильном жару.

Костоправ ушел. Многие последовали его примеру и разошлись по делам. Кое-кто стал читать Коран. Они старались сделать для сына то, чего не смогли сделать для отца.

Жар усилился, мальчик начал бредить. Сначала слова его были бессвязны, потом, задыхаясь от слез, он стал повторять разговор управляющего с подручным. Казалось, глаза его вот-вот выпрыгнут из орбит, словно две черные оливки. Малейшее движение причиняло ему нестерпимую боль.

— Мама, где ты? — то и дело повторял он.

Голос матери был таким слабым, что он не слышал его. Ей стало невероятных усилий произнести несколько слов. Женщины подвели ее к нему, и мальчик снова начал бредить:

— Дядя, не убивай меня, дядя, не бросай меня в пропасть, дядя...

Присутствующие в ужасе отшатнулись, узнав истинную причину падения.

— О, Аллах, — перешептывались они между собой, — может, он все-таки бредит, мыслимо ли такое дело?

— Он подслушал их разговор, — воскликнул побелевший, как полотно, Лахдар. — Из их собственных слов он узнал, что они сделали с его отцом. А кому нужен свидетель? С ним хлопот не оберешься, вот они и решили от него избавиться. И если никто не хочет сказать об этом вслух, то я скажу. Пусть даже это будет стоить мне жизни. Я никто не боюсь. Я никому ничего не должен.

Лахдар был человек гордый. В какой-то мере он был олицетворением всеобщей совести и всегда говорил только правду. Все знали: если ему что-то известно, он молчать не станет. На этот раз он рассердился не на шутку. Лицо его

сразу осунулось. Глаз не было видно из-за густых бровей, но вены на шее вздулись. Когда он говорил, то всегда смотрел собеседнику прямо в лицо. В глубине души он знал, что присутствующие тоже всё поняли, весь ход событий, хотя никто ничего и не сказал. Ему стало противно, и, схватив свой тюрбан, он пошел прочь. Затем ушли и все остальные. Им было стыдно самих себя.

## XXII

На другой день каид впал в ярость, узнав о неудавшейся попытке управляющего разделаться с мальчиком и о многом другом, что говорилось о нем. Управляющего не было: стояла поздняя осень и он уехал в горы, поближе к морю, продавать пшеницу. Пришлось дожидаться его возвращения. Управляющий вернулся только на исходе пятого дня. На каждом муле, а их было шесть, навьючены были мешки, полные огромных арбузов. Каид так и кипел. Завидев управляющего, он накинулся на него и стал ругать последними словами. Тот сразу всё понял, но не проронил ни звука. Насупившись, он молча пошел в комнату следом за хозяином, бросив скотину, которая сама побрела в стойло. Каид не дал ему перевести дух, тут же набросился на него:

— Так вот, значит, как! Ты самостоятельно решил делать дела, даже не поставив меня в известность. Если бы ты хоть, по крайней мере, умел делать их как полагается, без шума. Не умеешь — не берись.

Управляющий, измотанный проделанным путешествием, хотел было вставить слово, чтобы объясниться, но каид закричал:

— Молчать, сукин сын! Убирайся. И чтобы духу твоего здесь не было, пока все не уляжется. Скажу, что во всем виноват тот, другой. Ему, по крайней мере, к каторге не привывать.

Управляющий весь побелел и, уходя, сказал:

— Надо было бы придушить этого паршивца. Я во всем виноват.

Он твердил это как одержимый.

На шестую ночь с Айшой остались только несколько женщин. Измученные, они заснули возле очага, прижавшись друг к другу. Мальчик стонал не переставая все ночи подряд и все время бредил. Каждое его слово запечатлелось в мозгу несчастной матери, бессильной что-либо сделать. Так ей стало известно всё, что случилось. Теперь она знала причину гибели мужа и беды, обрушившейся на сына.

За ночь она не сомкнула глаз. С первыми проблесками зари, серебряными нитями пробившейся сквозь щель под дверью, она поднялась. Понять, откуда пришла беда, для нее было уже немало. Она пошла к ручью умыться.

«О, Аллах, — думала она, — до чего жесток этот мир».

Свежая вода подбодрила ее. Вернувшись в дом, она потрогала рукой лоб мальчика: он спал, несмотря на сильный жар. Она разожгла огонь, подбросив на угли несколько веток. Остальные женщины, прижавшись друг к другу, все еще спали. Снопы золотистого солнечного света поглотили утреннюю белизну и затопили голубую сьерру. Стая щеглов устроила перепалку на изгороди, как раз возле двери. Айша испугнула их, и они улетели.

Айша сильно похудела. От нее остались кожа да кости. Она стала совсем седой. Поправив платок на голове, она вошла в дом и поставила на огонь чугунок с водой.

Узнав обо всем, прибежал запыхавшийся Хасан. Сквозь полуоткрытую дверь он увидел мать, занятую чугуном и стоявшую к нему спиной. Просунув голову, он заметил брата, опухшего, красного. Сердце у него заколотилось. В горле встал ком. Тут проснулись соседки. Повернувшись к двери, самая молодая увидела безмолвно плачущего Хасана. Крупные слезы катились у него по щекам. Подобрав распустившиеся волосы, Фатма тронула Айшу и показала

на дверь. Айша с сыном бросились обнимать друг друга и горько заплакали.

— Проходи, — сказала она, — и побудь с братом, пока я приготовлю что-нибудь поесть.

Подолом платья она вытерла лицо сына. Увидев, что Айше стало лучше, соседки утешили ее, как могли, и ушли, чтобы не мешать, зная, что она будет угощать их, хотя у нее самой ничего не было. Айша достала две горстки крупы, оставшиеся у нее, и высыпала их в чугунок, потом стала размешивать большой деревянной ложкой. Хасан смотрел на спящего брата, лицо у того с одной стороны распухло больше, чем с другой. Время от времени он поглядывал на мать, варившую кашу. Она очень переменялась, стала просто неузнаваемой: щеки изрезаны морщинами, глаза ввалились. Не зная, с чего начать, Хасан спросил у матери:

— Что мы будем делать, мама?

Продолжая помешивать кашу, мать отвечала ему ласково, с нежностью в голосе:

— Мне сказали, что ты устроился на хорошее место. Тебе хотелось бы там остаться?

Хасан ответил:

— Там очень добры ко мне, и ем я досыта. Жаловаться не приходится. Но что мы будем делать теперь, мама?

Айша не выдержала. Вынув ложку из чугунка, она подошла к Хасану и села рядом.

— Каид хочет, чтобы ты работал вместо брата, — сказала она горестно, ломая руки.

Кровь бросилась Хасану в голову.

— Ни за что, — ответил он. — Он убил моего отца. Чуть не убил брата. Не говоря уже о быках. А теперь еще хочет, чтобы шел к нему!

Застыв от удивления, мать спросила:

— Откуда ты все это знаешь?



Мальчик повторил то, что рассказывали грабители, когда приходили в деревню, где он жил. Хасан знал всё до мельчайших подробностей.

— Так эта самая банда убила твоего отца? — с беспокойством спросила мать.

— Нет, другая, — ответил он. — Откуда такая ненависть к нам? Чего они к нам пристали? Что такого им сделал отец?

Они умолкли.

Каид, у которого стадо осталось без пастуха, потребовал от Айши, чтобы она выполнила условия их договоренности.

— Либо ты вернешь мне то, что задолжала, либо второй твой сын заменит того, который болен.

У Айши не осталось ничего. Чтобы жить, ей нужна была вторая половина жалованья пастуха, о котором условились ее муж с каидом. Она получила только первую половину. Другую ей должны были выплатить зимой.

У Матушки к Хасану относились, как к родному. Его все любили. По натуре очень живой, он умел и посмешить и рассказать забавную историю во время общих сборищ. И однако часто, уходя со своими козами, он садился под дерево и смотрел вдаль, спрашивая себя, а что там, за горизонтом, так ли, как у них, живут люди в том краю. А в иные минуты, возвращаясь вечером, он садился у огня и, углубившись в свои мысли, ни на что не обращал внимания. Он смотрел на огоньки, перебегавшие по раскаленным углям: голубые, сиреневые, потом вдруг цвета менялись, превращались в оранжевый, светло-желтый, серый. Потрескивание дров порой выводило его из задумчивости. Тогда он подкидывал одно-другое полено, чтобы не было дыма. Огоньки разгорались ярче: голубые, зеленые, желтые. Потом все снова становилось обычным в его глазах. Нет, он совсем не хотел возвращаться к себе в деревню. Смерть отца, безропотность людей отвратили его от родных мест.

Ему никого не хотелось больше видеть, разве что мать с братом. И вот теперь брат его на краю могилы. На него снова обрушилось несчастье. Сердце его было исполнено печали, он познал горечь страдания, скрытого на дне души; это все равно что болезнь, которая точит вас, проникая в самую глубь вашего существа, и от которой нет спасения. Но что поделаешь? Он постарался отвлечься от своих мыслей. Ему вспомнился брат, играющий на свирели. Играя, он любил следить за облаками, плывущими по воле ветра. Когда облака вытягивались, он играл потише. Звуки его свирели как бы подражали краскам: голубой, багряный, фиолетовый, и так до сих пор, пока солнце не пряталось за грядущих гор и суровые утесы и скалы не погружались в сон.

### XXIII

Неурожайные годы тянули за собой много бед, порождали раздоры и споры.

Препирательствам не было конца:

— Ты захватил мою землю.

— Ты передвинул мою метку...

И порой дело кончалось плачевно, доходило даже до кровной мести.

Коварные замыслы вынашивались упорно и терпеливо.

Так, два клана устроили целое побоище из-за куста боярышника. Жалкое, чахлое деревце стояло на границе, разделяющей земли двух кланов. В прошлом году оно не дало плодов. А в э том их было больше, чем листьев. Тут и началось:

— Зачем вы ломаете ветки, ведь дерево-то общее?

— А как быть, если плоды всегда достаются вам?

Обиженный клан потребовал разделить урожай. Другой отказался.

И вот однажды, еще до свету, первый клан напал на своих противников, поубивали всех без разбора: мужчин,

женщин, детей. Даже собак — и тех не пощадили. Настоящее побоище. После такого злодеяния их всех посадили в тюрьму: и мужчин, и женщин, и детей.

## XXIV

Приспело время пахоты. И тут требовалось соблюсти множество обычаев. Мужчины закончили подготовительные работы, каждого дожидался готовый плуг. Женщины замачивали зерно — пшеницу, бобы, пуашиш, — произнося при этом заклинания:

*Зерна жизни, бросаю вас в воду,  
Пусть Аллах вернет вас зелеными,  
Чем толще зерно,  
Тем ему лучше в земле,  
Да пошлет нам Аллах изобилие.  
О, Аллах всемогущий,  
Ниспошли нам дождь, чтоб земля напилась,  
Трава жизни в твоих руках.  
Да пошлет нам Аллах изобилие,  
О, Аллах всемилостивый.*

На другой день замоченные зерна ели, добавляя их в тесто.

Утром, на заре, запряженные в плуг быки делили поле на несколько участков. И начинался сев. Прокладывали первую борозду; туда, в качестве жертвоприношения, обычно проливали кровь барана или козла. На всех наделах и быки и мужчины трудились до полного изнеможения.

Черные тучи скользили по холодному, рассветному небу. Занимался день.

Украсть семена — хуже этого ничего нельзя было придумать, ибо каждое зерно, посеянное в землю, приносило в десять, пятнадцать, двадцать раз больше. Отнять его у земли считалось святотатством.

Но вот, проверяя поля, управляющий обнаружил блузу, набитую зерном и спрятанную в чаше. Он отнес ее каиду, ничего не сказал владельцу.

Мохамед был очень беден. Он не мог устоять. Домой вечером он вернулся без блузы. На нем была рубашка, доходившая ему до колен, до того тонкая и прозрачная, что он чувствовал себя голым. Ему было очень стыдно, и он пошел прямо домой. Он ни о чем не догадывался, думал, что кто-то другой забрал то, что он припрятал. Вечером к нему явился управляющий и сказал, что его требует каид. Мохамед предпочел бы умереть, чем очутиться в таком положении. Ведь он был такой волосатый и к тому же дрожал от холода.

«Верно, этот пес нашел мою блузу и отнес каиду», — подумал он.

На улице дул ледяной ветер, не было видно ни зги. Дрожащий от холода Мохамед хорошо знал дорогу и все-таки несколько раз т и даже упал. Весь сгорбленный, скрюченный, словно замерзший пес, предстал он перед каидом.

«Если бы хоть у меня была другая блуза», — думал он.

— Вы звали меня, хозяин? — сказал Мохамед, переступая порог.

Закутанный в свои бурнусы, каид сидел на шерстяном матрасе и грелся у огня. Он едва удержался от хохота, увидев этого верзилу в таком одеянии. Но вовремя спохватился и, взглянув на него презрительно, с издевкой, громко спросил своим зычным голосом:

— Не стыдно тебе, Мохамед, являться ко мне в таком виде? Где твоя блуза? Что ты сделал со своей блузой?

— Она разорвалась. Я отдел ее починить и постирать. Она еще не высохла, — сказал в ответ Мохаммед дрожащим голосом. Во рту у него пересохло, и он с трудом проглотил слюну. Разъяренному каиду надоела эта комедия. Лицо его налилось кровью.

— Черт бы тебя побрал! — закричал он. — Мало того, что ты украл зерно, так еще и врать мне вздумал?

Он произнес эти слова, поглаживая свои усы и не сводя глаз с растерявшегося Мохамеда, который чувствовал себя совсем голым. Но вот каид повернулся наконец к управляющему, который сидел, скрестив ноги, и, опершись на палку, посмеивался, ибо унижение тех, кто работал у него под началом, доставляло ему удовольствие.

— У тебя разве не осталось ячменя? — продолжал каид.  
— Где же твой ячмень, а?

— Видите ли, мой господин, после того, как мы вернули вам долг, у нас почти ничего не осталось, нам нечего было есть.

Каид посмотрел на него с отвращением и сказал:

— Небось и в карты проиграл немало? — Потом, обращаясь к управляющему, добавил: — Дай ему мешок ячменя и запиши на его счет.

Смутившись такими щедротами, Мохамед не знал, как и благодарить.

— Я отплачу вам за это, — твердил он. — Не гневайтесь, мой господин, я отплачу. Можете послать меня куда угодно, и я пойду: если надо, то и ползком поползу.

Потеряв терпение, каид махнул рукой: ступай, мол.

Мохамед был уже в дверях, когда вдогонку ему послышались слова каида:

— Запомни, Мохамед, нельзя красть то, что принадлежит земле.

На улице дул страшный ветер, лил дождь. Довольно долго Мохамед простоял у широких ворот, пока глаза его не привыкли к темноте. Домой он пришел весь мокрый и сел к огню. В жаре от блузы его пошел пар. Ребятишки спали. Жена тоже легла, но не спала, дожидаясь, когда муж что-нибудь скажет. Она смотрела на него одним глазом, прикрыв другой покрывалом. Его убитый вид, блуза, которая снова была на нем, — все говорило о том, что он не за-

был ее, как сказал ей, нет, видно, что-то случилось. Она спрятало голову под покрывало и молча заплакала. Услышав, как она всхлипнула два или три раза, муж понял, что она плачет. Распиравшая его ярость прорвалась наружу, и он стал бить ее. Крики разбудили ребятишек, которые тоже заплакали. В доме плакали и кричали все. Прибежали проснувшиеся соседи и с трудом успокоили их. Одна из соседок, Мерием, увела к себе Фатму, жену Мохамед. Фатма просидела, скорчившись, всю ночь. Закрыв лицо подолом платья, она молча плакала, глаза ее покраснели, как горький перец.

## XXV

Айша стирала белье у ручья Черный Глаз. Это был большой пенящийся ручей, в глубине его, на самом дне, лежала галька, как бы образуя множество глаз, черных, миндалевидных глаз, похожих на глаза женщины, они текли вместе с водой. Три смоковницы раскинули, словно щупальца, свои ветки. Их зеленая листва давала густую тень. Вдоль всего берега по обе стороны ручья до самого узда тянулись заросли колючего кустарника. Стирая белье, Айша разговаривала со своим сыном, сидевшим на камне.

— Знаешь, во всем отчасти виноват сам отец, — говорила она. — Он хотел обрабатывать землю, считал, что имеет на нее право. А каид думал иначе. Остальное тебе известно.

Мальчик сидел, опустив голову, как будто спрашивал о чем-то ручей. Но вода текла, не давая ответа. Мать умолкла ненадолго, чтобы отжать белье, потом продолжала:

— Ему хотелось своего хозяйства, как в былые времена, когда его семья владела полем зерновых, которое каид потом отобрал. Он мечтал заиметь собственный клочок земли. Уж он бы трудился на нем с раннего утра до позднего вечера, только бы не батрачить на других. Ничего не поде-

лаешь, придется тебе идти к кайду работать вместо брата. Не то он отберет у нас дом, садик, может и убить, если не отдадим долг. А из чего нам отдавать, ты и сам знаешь.

Мать встряхнула белье и протянула сыну повесить. Одной рукой мальчик взял белье, другой обнял мать и горько заплакал. Мать прижала его к себе, но не проронила ни слезинки, видно, ожесточилась. Чего плакать? Слезами горю не поможешь.

Да если бы она и захотела поплакать, то уже не смогла бы.

— Мы живем в гадком мире, мой мальчик, — сказала она. — Надо принаравливаться к нему и учиться жить. Терпеть. Терпение — основа жизни.

Мальчик долго плакал.

— Если бы отец был жив, — говорил он сквозь слезы, — если бы отец был жив, он бы этого так не оставил.

Погоревав, он пошел и развесил белье на кустах. Его распухшие глаза слепило яркое полуденное солнце.

Хасан сходил попрощаться с Матушкой, хотя никакой уговор их не связывал, так как никто и ни о чем с ней не улавливался. Доброта оставила след в душе Хасана, утвердила его веру в то, что есть на земле очень хорошие люди. Матушка дала ему с собой пшеницы, и Хасан обещал в самое ближайшее время привести обратно осла. На некоторое время семья его была обеспечена, а того, что должен был им дать кайд, им хватит до конца зимы. О дальнейшем же никто не думал, вернее, не хотел думать. Сколько людей не ведало, будут ли они сыты завтра!

— Аллах велик и милосерден, — говорили они.

Жители деревни сначала часто навещали Айшу, не оставляли ее одну. Потом стали рже заглядывать. А там и вовсе от случая к случаю. Так всегда бывало, если на кого-то обрушивалось несчастье, особенно когда люди эти были бедны. Пришла зима со всеми ее тяготами. Дождь лил чуть ли не каждый день. Потом повалил снег, наступили силь-

ные холода. Дрова, которые приносил Хасан, не спасали от холода. Их хватало только на вечер. Брат выздоровел, но нога из-за сильных повреждений усохла, и он хромал. Припасы подошли к концу. Айша вместе с другими деревенскими женщинами ходила каждый день собирать разные клубни и корни, потом варила их. Поев их без всяких жиров, через час все снова испытывали голод, будто и вовсе ничего не ели. Черный чугунок, как всегда, стоял по вечерам на огне, через край, выкипая, текла зеленая вода. Все были в одинаковом положении, за исключением нескольких семей, которые не знали нужды. \перед их амбарами изо дня в день выстраивалась длинная вереница людей. Они ждали, когда до них дойдет очередь, обещаясь отработать долг: подбирать, когда придет время, оставшиеся в поле колосья, помогать при сборе урожая бобов и пуашиша или же принимать участие в жатве. Таким способом удавалось им большей частью спастись от голода и избежать смерти.

Каид самолично следил за распределением добра. Он доставал из кармана большой ключ, висевший на длинной ленте. Открывал ворота. Одним, в ком он был уверен, зная, что с лихвой получил с них долг, он давал много. Другим — самую малость, только чтобы выжили. Третьим — ничего не давал. Либо потому, что у них не было ни гроша, либо потому, что ненавидел их.

В тот год мужчины носили одеяла вместо кешебий. А также покрывала, набрасывая их прямо на голое тело. Сначала все чесались, потом привыкли. Женщины рожали на земле. Их прикрывали циновкой из альфы. Люди готовы были отнять у животных всю съедобную траву, клубни, корни, листья. Самые упорные женщины и мужчины бродили вдоль оврагов с серпом или ножом в руке в поисках травы или корешков.

Видя, как жители деревни собирают корни и клубни, женщины из дома каида тоже пожелали отведать этого ку-



шанья. Они пошли в сад и накопили этого добра в большом количестве. Очистив и просушив клубни, они истолкли их, просеяли через сито и приготовили аседу<sup>15</sup>, сварив ее на квашеном молоке. Когда кушанье было готово, его подали в большом деревянном блюде, добавив туда масла, которое, растаяв, покрыло белое варево, так что оно стало желтым. Усевшись вокруг, женщины принялись за еду, весело переговариваясь между собой. При помощи ложек они прокладывали бороздки в обжигающем кушанье, и масло стекало в отверстия, сделанные ложками. Самым ловким и догадливым удалось захватить побольше масла, они сразу поняли, что с неровной поверхности оно будет стекать неравномерно. Женщины смеялись, поддразнивая друг друга. Каждую подали отдельно. Ему это блюдо очень понравилось.

А у Айши не было ничего другого, и потому она приготовила такое же точно блюдо из одних свежевырытых клубней.

В тот день шел такой сильный снег, что никто не выходил на улицу. Как обычно, в холодное зимнее время скотина находилась в специально отведенной части хижины. Густые черные облака все ниже нависали над деревней. Вся семья собралась вокруг очага, на котором кипел черный чугунок. Когда варево было готово, в чугунке забулькало — это выпрыгивали на поверхность пузырьки воздуха. Айша не отходила от чугунка, все время помешивая большой деревянной ложкой. Всем хотелось есть. И тут в дверном проеме появилась старая Алджия. Наступившая внезапно темнота заставила Айшу повернуть голову.

— Входи, тетушка, — сказала она, увидев ту в дверях. — Что ты стоишь у порога? Проходи, присаживайся.

Согнувшись пополам, старая женщина вошла, опираясь, как всегда, на свою палку; глаза у нее глубоко ввалились, беззубая, вся в морщинах, с лицом в виде груши, с острым

---

<sup>15</sup> Аседа — народное блюдо, сваренное из крупы на воде, молоке или квашеном молоке.

подбородком, со вздувшимися венами и торчавшими наружу костями, она все время жевала, не имея ничего во рту. Те, кому доводилось встретиться с ней ночью, в испуге убегали, думая, что привидение. Она тяжело опустилась напротив детей. При виде чугунка лицо ее просветлело.

— Я не ела ничего три дня, — сказала она. — Никому меня не жалко. Пора бы уж и смерти за мной прийти. А она мешкает, видно, и ей я не нужна. Я жду ее, а она не идет.

Айше стало жаль ее.

— Не надо так говорить, тетушка, — сказала она, — не надо. Придет час, все мы там будем — и стар, и млад.

— Никто не хотел меня пускать, — пожаловалась старушка.

Айша вылила в блюдо содержимое чугунка. Старая женщина умолкла. Кушанье пахло невкусно, какой-то микстурой, но все набросились и стали есть, думая, чтобы остудить его. Старуха, обжигаясь, глотала ложку за ложкой, прищелкивая языком. Она едва не захлебнулась.

— Осторожно, тетушка, — сказала Айша, — не торопись, еще много осталось.

Ребятишки ели без всякого аппетита, и вскоре в горле у них запершило, они закашлялись, да и мать тоже. Одна только старуха продолжала есть. Она вычистила все блюдо.

В других домах было то же самое. Бессильные что-либо сделать, люди молча смотрели друг на друга, и в их глазах отражались тревога, ненависть, страх, голод. Два года страданий, тягот, неустанных трудов, и никому не удавалось сводить концы с концами. Каждый теперь думал только о себе: «Лишь бы со мной этого не случилось. Все остальное неважно».

Большинство семей познало беспросветную нищету: еще бы, неурожай за неурожаем два года подряд. Свиристствовал черный рынок. За деньги ничего нельзя было купить, разве что сыпать их мешками. И с каждым годом пропитания становилось все меньше. А теперь и вовсе ни-

чего не осталось. Женщины давно уже распродали свои браслеты, серьги, халхалы<sup>16</sup>, чтобы хоть какое-то время продержаться. Потом наступил черед скотины, которую сбывали за бесценок. Даже бандитам приходилось туговато. Они стекались поближе к городам, где процветала торговля и, конечно, черный рынок. В предместьях на проезжих дорогах они занимались своим ремеслом, никого не щадя — ни бедных, ни богатых. Самые отважные из них осмеливались нападать даже на иноземных хозяев.

## XXVI

Но колонизатор не дремал. Поправив свое хозяйство, он решил обеспечить себе и безопасность — очистить сельскую местность от тех, кто в 1945 году выступал против иноземного владычества<sup>17</sup>, а заодно и от разбойников. Колонизаторы быстро сообразили, что там, где безнаказанно может укрыться грабитель, найдут себе пристанище и настоящие борцы.

Бандиты — это, можно сказать, продукт экономического и социального кризиса, во время которого они становятся своего рода мятежниками, восставая поодиночке или группами против того несправедливого общества, где царит незыблемый патриархат с его непререкаемыми законами феодализма, пронизывающими все, даже самые низшие сферы существующих отношений.

А борцы — это коллективная совесть, воплощение чаяний и идеалов народа. Их сила выковывается постепенно, а зрелость зависит от накопленного опыта, от их устремлений, общей политической ситуации и тех выводов, которые делаются на основании уроков истории, как национальной, так и международной.

---

<sup>16</sup> Халхалы — украшения из золота или серебра в виде больших колец, которые арабские женщины носят на лодыжках.

<sup>17</sup> В мае 1945 года, когда весь мир праздновал победу над фашизмом, алжирцы вышли на демонстрации, впервые открыто потребовав свободы и независимости.

## XXVII

Грабители нападали на землевладельцев лишь от случая к случаю, так как боялись преследований, понимая, что силы неравны, и зная, что их ожидает. Им вдогонку сразу послали бы жандармов, и те быстро разделались бы с их шайками, уничтожив одну за другой.

Людей терзал неумолимый голод. Одеться им было не во что. Некоторые носили тряпье, которое вытаскивали из-под седла у мулов. Другие набрасывали на себя чиненые-перечиненные лохмотья. Пшеница в полях не росла, так и осталась размером с ладонь. Разговаривать никому ни о чем не хотелось. Не слышно было ни забавных историй, ни пересудов на чей-либо счет. О ремонте дорог никто теперь и не помышлял, со щемящей болью в душе люди глядели на поле или просто сидели у дверей и грелись на солнышке. Если кто-то упоминал о голоде в присутствии каида, он багровел от злости. Его-то амбары ломились от пшеницы и ячменя.

— Пусть поменьше едят, — говорил он, — да вовремя думают о запасах.

Так обрывал он любой разговор на эту тему и тут же начинал бормотать что-то про себя, перебирая четки. Все мельницы были закрыты, кроме его, продолжавшей молотить зерно для нескольких семей. Некоторым приходилось приезжать сюда издалека. Однажды мельнику привезли молотить много пшеницы и ячменя. Он не устоял. Это был рослый и сильный мужчина. Взяв на плечи полный мешок, он ринулся в чашу, но, выйдя на дорогу, насмерть перепугался.

«Что будет, если меня увидят?» — думал он.

Он бросился бежать, а мешок весил килограммов сто, и почувствовал, что кости у него хрустят. Добравшись разными окольными путями до дому, Ахмед совсем выбился из сил, пот градом катился с него. Грохнувшись на колени, он сбросил наконец мешок и тут почувствовал страшную

боль в позвоночнике, посредине спины, но, несмотря ни на что, все-таки вернулся на работу, согнувшись пополам и опираясь на палку. С того дня тело его скрючилось, подобно старому дереву.

Изо дня в день дул не переставая восточный ветер. Земля вся высохла, растрескалась, на ней ничего не росло. Цветы увядали, едва успев распуститься. Белое нельзя было назвать белым. Краски стерлись. Стебли и листья были бледно-зеленого цвета, отдававшего в желтизну. Ручьи наполовину пересохли.

Хасан тем временем вырос, вернее, вытянулся. Он не раз уже ездил с людьми каида в очень отдаленные места продавать пшеницу. Когда-нибудь он надеялся добраться до моря, и при одной мысли об этом его переполняла радость.

Однажды он сопровождал Али, Мусу и Ферхата. Все трое были уже в возрасте, их знали далеко в округе. Каждый год они возили продавать пшеницу каида. Али сразу можно было узнать по короткому вздернутому носу. Ферхат был коренаст. Светлые курчавые волосы наполовину скрывали его лоб. Муса был здоровенный детина с длинным носом и вытянутым подбородком. Глаза его глядели лукаво. Крестьяне чаще всего обращались к двум другим, а не к нему, но отвечал всегда он. Чтобы подзадорить его, Ферхат обычно спрашивал:

— Каким путем пойдем?

Муса отвечал:

— Самым гнусным. По шоссе. Если, конечно, не хочешь, чтобы тебя раздели. Бурнус-то ведь жалко. Пфф, — фыркал он, — у тебя его нет. Тогда блузу. Какая разница.

Тот покатывался со смеху. Путешествие это было тяжким испытанием. Скотина начинала нервничать, пускалась вскачь, а то и лягалась. Приходилось ловить ее, снова ухватывать кладь, прилаживать ее и опять трогаться в путь.

По дороге туда они шли позади мулов, следили за мешками, которые были крепко-накрепко привязаны. На протяжении всего пути дорога была далеко не гладкой. И если поклажа падала — то ли веревка перетерлась, то ли узлы развязались, в зависимости от местности, по которой они шли, и от тропинок, порою таких узких, что они походили на запутанные ходы лабиринта, — водрузить ее на место было очень нелегко. Тогда мужчины начинали ругаться, кляня все на свете, бранились, спрашивая себя, да точно ли это земля и уж не в ад ли они случаем попали. Шагая сзади мула, они держали его за хвост. Иногда им приходилось виснуть на нем с одного бока, чтобы восстановить равновесие, особенно в трудных местах.

Хасан был счастлив. Он помнил наизусть названия всех деревень, мимо которых они проходили. Он видел богатые фермы иноземных землевладельцев, простиравшиеся без конца и края. Одни сады сменялись другими. И он не уставал любоваться этой пышной природой, плодотворными долинами с черной, жирной землей без всяких колючек и сорняков. Видел он и дома в несколько этажей. Его поразил их внушительный размер и веселая окраска.

На все путешествие уходило несколько дней. Пересекая населенную местность, они вынуждены были следовать путем, проложенным не одним обозом, вливаясь зачастую в общую массу путников и не отставая от них ни на шаг. Это была единственная возможность добраться благополучно. Много людей сновало по проселочным дорогам взад-вперед, от базара к базару: бродячие торговцы, барышники, крестьяне. Если они шли вместе, группами, бандиты, действовавшие поодиночке, не решались нападать на них. Ведь что собой представляли такого рода бандиты? То были люди, доведенные до преступления голодом. Но были среди них и другие, те, что организовывали вооруженные банды, ставившие себя вне закона. Их подручные наблюда-

ли за дорожными магистралями и сообщали им нужные сведения.

Итак, обозы двигались вперед, люди шли за скотиной босые, с изрезанными морщинами лицами, состарившиеся до срока, с тяжестью на сердце, неразлучные с маею и нищетой. Но попадались и другие, те, что работали на себя, они были одеты и обуты и ходили по деревням, покупая и продавая все, что можно было купить или продать.

На исходе третьего дня путники добрались до мечети. Было уже темно. Они разгрузили мулов и вошли в мечеть. Там они увидели незнакомца, который лежал, подложив под голову тук. На вид это был крепкий мужчина. Как только они вошли, он сразу встал. После обычных приветствий разговор пошел о погоде. Все трое были обеспокоены: тип этот внушал им опасения. Обычно легко распознается принадлежность человека к той или иной среде. Крестьянин всегда чувствует крестьянина. Хозяина сразу видно по осанке, по его непринужденному виду, по обуви и гладким рукам. А этот не похож был ни на того, ни на другого. Даже если это был крестьянин, работу свою он бросил давно. Голос у него был звучный, громкий, как у человека, который уверен в себе. А выражение глаз было странное. Да и одет чудно. На нем была рубашка, похожая на шелковую, брюки и пиджак — городские. Серый, засаленный тюрбан и старая, прохудившаяся во многих местах кешебия, которую никто, видно, не чинил. Из этого они сделали вывод, что жены у него нет, и это возбудило их любопытство.

Страх все больше овладевал ими. Али достал ячменную лепешку и оливковое масло. Они пригласили незнакомца разделить их трапезу и угостили его лепешкой. Попробовав разломить ее, он понял, что пекли ее несколько дней назад. На лице его промелькнула улыбка. Муса сказал:

— Мы три дня как выехали.

Мужчина обмакнул лепешку в масло и стал неторопливо прожевывать каждый кусок.

— Как там у вас дела? Так же, как и везде? — спросил он.

Перестав жевать, его собеседники молча смотрели на него.

— Одни, насколько я могу судить, торгуют пшеницей, а другие погибают от голода.

Испугавшись, они снова принялись за еду. Они, не жуя, глотали куски, замечая это, только когда лепешка застревала у них в горле. А мужчина продолжал говорить, спокойно и серьезно. На губах его блестело масло.

— Лично я плевал на каидов, — сказал он.

Остальные, перестав жевать, застыли от ужаса. Они дрожали всем телом. А на улице тем временем послышался какой-то шум. Верно, сообщники незнакомца растаскивали мешки с пшеницей.

— Вот у нас, — продолжал он, — стоило каиду чересчур зарваться, как он тут же получал пулю в лоб, и дело с концом. Все шито-крыто. Люди действовали тогда сообща, не то что сейчас, и умели постоять за себя, не давали воли тиранам. Для такого рода дел существовала даже особая касса взаимопомощи. Последнего каиду убили потому, что он возомнил себя чуть ли не самым вседержителем. Он разъезжал с судебным приставом и отбирал всех, кого мог. А тех, у кого взять было нечего, сажал в наказание на колючие заросли или тащил по ним волоком.

Один Хасан слушал его с восторгом. Мужчина подмигнул ему.

— Был там у нас в деревне Лгуна один человек. Всякий раз, как мы с ним встречались, мы начинали меряться силами, боролись, так уж повелось. В первый раз дело было нешуточное. Тогда еще мы даже не знали друг друга. На базаре началась потасовка. А человек он был сильный. Так вот, уложив своего противника, он поворачивается к толпе и говорит: «Кто еще недоволен? Если такой отыщется, пусть подойдет поближе». Ну, я и закричал, что, мол, вот



он я. Тут-то и началось. Мы дрались, как быки, силы у нас были равны. Никто не решался разнять нас. Так полдня и боролись. Потом явился каид со сторожем и отвел нас в участок. С тех пор стоило нам встретиться с тем человеком, как мы затевали все сызнова, но это была уже игра. Мы стали друзьями. И вот однажды деревня Трех Ручьев решила избавиться от тирана. Для этой цели выбрали меня. Все было задумано заранее. Мой друг отправился в деревню Лагуна и в трех нужных местах оставил сменного коня. Четвертый ждал на площади. Каида всегда окружали жандармы, так что незаметно убить его было нельзя. Тогда я зарядил свое ружье и тут же, на площади, прямо на глазах у всех пустил в него пулю. И этот сукин сын еще звал мамочку. Конь стоял наготове. Я уже скакал во весь опор, когда полицейские, опомнившись, стали стрелять в меня. Пули так и свистели у меня над головой. Через четверть часа я был в деревне. Мой друг поджидал меня там. Мы начали драться как будто взаправду, кровь лилась ручьями. Люди, перепугавшись, позвали каида. Он пришел и отвел нас в участок. Там-то он и узнал о смерти другого каида. Ему сказали, что это я его убил.

Никто не поверил, настолько это казалось невероятным. Ведь в то время, когда я убивал его, вся деревня видела, как мы с моим приятелем боролись.

Слушая этот рассказ, Хасан подходил все ближе и ближе и наконец очутился совсем рядом с мужчиной; тот, повернувшись к нему, спросил:

— Тебе понравилось, малыш, а? В твоём возрасте любят слушать такие истории. Но одно дело слушать, а другое дело пережить все то.

У остальных мороз- пробегал по коже. Они с ошалелым видом смотрели на бандита. А тот, громко расхохотавшись, сказал:

— Вот как оно было.

Несмотря на страх, Али из любопытства спросил, посадили его тогда в тюрьму или нет. Бандит ответил утвердительно.

— Четыре месяца они меня держали. Ну и досталось же мне за эти четыре месяца! Преодолеть такое расстояние за такой короткий срок казалось делом невыполнимым. Только злой дух способен на это. А судья в духов не верил.

Толкнув дверь, вошли его дружки, хлопотавшие на улице. Их шеф разом вскочил на ноги и произнес с гордым видом:

— Нам пора. Счастливо оставаться.

Муса не удержался:

— А как же наши мулы, зерно?

Бандит глянул на него искоса и свирепо рявкнул:

— Мулов оставляю вам! А зерно забираю. Скажите своему хозяину, что это я, Бусетта, забрал зерно.

Едва они успели выйти, как послышался топот копыт.

— Уехали, — молвил Али.

— Уехали, — вторили ему остальные. — Пошли поглядим на мулов.

Они бросились на улицу. Мулы по-прежнему стояли спутанные. В растерянные все трое вернулись обратно, не зная, что теперь делать. Хасан втихомолку улыбался. Сердце его переполняла радость. «Каждый получает по заслугам», — думал он про себя.

— Конечно, это Бусетта, — говорил Муса, — один раз каид уже выдал его жандармам. Ослеп я, что ли, не узнал его сразу.

— Да, да, и я теперь припоминаю, — поддакивал Али.

Всю ночь они толковали о своей задаче и о том, как посмотрит на это каид. Всю ночь они не спали, опасаясь, как бы чего не приключилось с мулами. На рассвете провел петух, за ним другой, третий, и так из конца в конец деревни, потом до них донесся голос первого путника. Они тут

же решили тронуться в путь при бледном свете занимавшейся зари.

Дорога спускалась вниз. Веял свежий утренний ветерок. Отдохнувшие мулы резво бежали вперед. Хасану вспомнилась история, рассказанная Бусеттой.

— Наверное, он свернул вон туда, — думал он, — пролетел как стрела.

Али остановился посоветоваться с остальными.

— Пошли через Топи, — предложил он им. — Теперь нам нечего бояться. А перейдем реку, и можно считать, что мы уже дома.

Все согласно закивали, тревожась только об одном: что скажет каид. И чем ближе они подходили к дому, тем страшнее им становилось, и каждый думал про себя: «Вот и пропал наш заработок. Теперь конец нам».

только после того, как они перешли реку, Муса нарушил молчание.

— А если он захочет, чтобы мы возместили ему убытки? Что тогда будем делать?

— Как мы можем возместить ему убытки? — сказал в ответ Али. — У нас у самих ничего нет.

— Если бы у меня было столько пшеницы, — сказал Ферхат, — я бы не таскался по дорогам. Пусть делает, что хочет. На все воля Аллаха.

Они пошли по самому гребню. Перед ними расстилалась земля, горные цепи шли одна за другой. А там, в глубине, у самого горизонта виднелся густой лес. Чуть ближе тянулись гряды холмов, поросших диким кустарником и бледно-зеленым диссом. Поля, прилепившиеся к склонам холмов, изрытых оврагами, выглядели такими же изнуренными и несчастными, как и большинство живших здесь людей. На востоке лениво тянулись одно за другим белые облака. Али подумал, что если бы он мог подняться на них, то полетел бы прямо в Мекку. Но тут же отогнал эту мысль, вспомнив о более насущных заботах. Им повстреча-

лось первое деревенское стадо: две козы и белая корова. Хасан сразу узнал:

— Это горбуна.

Потом стали попадаться и другие. К вечеру они добрались до дома и сразу направились к каиду, где затевалось какое-то празднество. Там были два чужака, молодой и старый, щеголявших своими нарядами. На зов явился управляющий, разодетый в обновки – бурнус и гандуру, подаренные ему хозяином. Поведав ему обо всем, они разошлись по домам. Управляющий сообщил новость каиду потихоньку на ухо, чтобы никто не слышал. Сияющее лицо каида помрачнело. Он даже побледнел, но, кинув взгляд на гостей, понял, что некоторые из них почувствовали его волнение, и попробовал улыбнуться. Но улыбка получилась вымученной, недоброй. Внутри его жгла лютая ненависть.

Кто осмелился стать ему поперек дороги? Какой-то бездомный бродяга. Босьяк. Тогда как у него все права, законные и незаконные, он захватил всю власть на земле, его все здесь боятся и почитают, как самого всевышнего.

Уязвленный в своем самолюбии, он, словно дикий зверь, вынужден был до поры до времени спрятать свои когти, чтобы не омрачать праздника. Его дочь должна была вскоре покинуть отчий дом, выйдя замуж. Праздник начнется только через три дня, но гости уже съезжались, даже из города: родственники, друзья, богатые коммерсанты, женщины в роскошных одеяниях с лицом белым как бумага. На руках у них звенели золотые браслеты, на ногах – золотые халхалы, на шее – тоже золото, а у некоторых к тому же были еще золотые диадемы и золотые пояса. Одни были разодеты в платья из пурпурного бархата, на котором переливались вышитые павлиньи перья, другие – в просторные, широкие платья из шелка, третьи щеголяли в цветастых нарядах, сливавшихся с яркими красками окружающей природы. И все они так и светились радостью, болтая

без умолку, опьяненные чистым воздухом и воспоминаниями юных лет.

Мужчины соперничали между собой тонкими дорогими бурнусами, горделиво демонстрируя кто гандуру, кто высокий многослойный тюрбан, бесцеремонно выставляя напоказ свое богатство, которое подавляло, ощущалось во всем, даже в том, как они нараспев произносили слова своими тягучими голосами.

В доме все было застелено коврами. На матрасах, разложенных вдоль стен, красовались вышитые подушки. А посредине на медных подносах лежали всевозможные сласти.

На улицу высыпали все жители деревни, и молодые, и старые. Нищие в лохмотьях любовались выставленной напоказ роскошью. И все они, все до единого стояли, разинув от удивления рот. Погода была ясная, на нее ни единого облачка. С севера дул легкий ветерок. В ослепительных солнечных лучах праздник казался еще радостней. Песни сменялись торжествующим кличем женщин. Новые мелодии, новые ритмы. Бандир переходил из рук в руки. Сельские жители, как зачарованные, слушали песни, качая в такт головой. В течение двух дней взоры их были прикованы к тому, что происходило вокруг дома каида, к этому новому, прежде неведомому им миру. И только на третий день, самый торжественный день праздника, им позволено было подойти поближе. На площадке в нескольких метрах от дома расположился оркестр. Мужчины и женщины стояли друг против друга, образуя как бы два лунных полукружия. Они любовались танцовщицами. Звуки тобула<sup>18</sup> разносились далеко окрест. Барабанщик восседал гордо, точно петух. Лицо у него было тонкое, брови дугой, плечи его ходили в такт музыке. Танцовщицы неистовствовали, следуя ритму тобула. Музыка вступала в соперничество с искусством гибких тел, дополняя друг друга, мелодия и та-

---

<sup>18</sup> Тобул – турецкий барабан.

нец торжествовали над всем, возвеличивая и мужчин, и женщин. Последний женский клич, громкий смех, радостные возгласы переполняли сердца людей предчувствием любви и счастья. В такт музыке колыхались складки просторных платьев, за которыми угадывались изящные линии тел, стремившихся поспеть вслед все убыстряющемуся ритму. Чернобровые танцовщицы с глазами как миндаль на лету ловили малейшие изменения мелодии, то замирали, то вдруг взмывали, словно птицы, увлекая в своем порыве все души. Дул свежий ветерок, прозрачная ясность растворялась в бесконечности. Величественная голубая сьерра обрамляла форум<sup>19</sup>.

## XXVIII

Суровая непогода изнуряет одиноко стоящее дерево. Но пусть жалкое, чахлое, с узловатым стволом, оно дает приют в своей тени истомленному человеку.

Благодаря Матушке Хасан и его родные не знали жестокой нужды. Она приходила им на помощь всякий раз, как Хасан обращался к ней. Это спасало их от долгов. Хасан уже не был ребенком, как прежде. И ничто не связывало его больше с кайдом. Несчастье, которое обрушилось на их семью, ее шаткое положение – все это заставило его быстро повзрослеть. Щеки у него ввалились, лицо потемнело. Только глаза по-прежнему светились живым блеском. Он считал себя уже мужчиной и совсем по-иному стал относиться к девушкам, засматривался на них. Во время праздников его охватывало особое волнение. Стоило ему взглянуть на девушку, как он проникался непостижимой нежностью, к горлу подкатывал ком, краска бросалась в лицо, когда он разглядывал ее с ног до головы. Ему становилось стыдно самого себя, и он опускал глаза. Сердце громко

---

<sup>19</sup> Здесь: площадь, где собирались обычно деревенские жители, расположенные на месте древнеримского форума.

стучало в груди. Он не мог оторвать глаз от танцовщиц и с щемящей радостью думал про себя: «Если бы я мог же- ниться вот на этой, или нет, лучше на той».

Сначала все это не очень отчетливо укладывалось у него в голове. Многое было неясно, его, к примеру, очень занимал такой вопрос: соответствует ли внешний вид людей их характеру?

Он сделал открытие, что некоторые красивые девушки ему вовсе не нравятся. Больше всех его привлекала одна из соседок, прозванная Чернушкой за то, что была очень смуглой. Ее черные волосы отливали чуть ли не металлически блеском. Встретившись взглядом, они долго не могли наглядеться друг на друга. Затем смущенная девушка убежала, пряча свою улыбку обеими руками. А он, весь сияя, оставался стоять как завороченный, и на лице его было написано, что мир прекрасен.

Наступило время пахоты. Голая земля являла собой унылое зрелище. Небо заволокло черными тучами. Прошли первые дожди, которых все с нетерпением ждали с самой весны.

Матушка выделила Хасану отдельное поле. Вместе с Мохтаром он с головой ушел в работу.

Мохтар был старый опытный крестьянин, только вот силы теперь оставили его. Руки, изнуренные работой, стали тяжелыми. Он быстро уставал и по достоинству оценил добрую волю и старание, с каким трудился его юный помощник. Он полюбил его, как родного сына, и с радостью учил всему, что сам знал, а Хасан, в свою очередь, старался освободить его ото всех тяжелых работ. Во время пахоты, шагая за быками, Хасан был неутомим. Старик сеял, разбивал комья земли и время от времени подменял Хасана.

— Отдохни, малыш, — говорил он ему. — Не то надорвешься и состаришься до срока, ты ведь еще совсем ребенок.

— Нет, дядя, — отвечал Хасан. — А без тебя мне ни за что не научиться бы так быстро.

На что старик отвечал:

— Отдохни, малыш. У тебя вся жизнь впереди, успеешь еще и научиться, и поработать. Делай добро всякий раз, как тебе представится случай, и жизнь в конце концов улыбнется тебе.

Оба они болели за свое поле, как мать за младенца, следили, чтобы на нем не было сорняков. Зато когда пришло время собирать урожай, пшеница у них стояла прямая и высокая, в рост человека. Колосья мерно колыхались на ветру, и Хасан не уставал любоваться ими. Наступила жатва. Хасан со стариком снова впряглись в работу, целые дни напролет они жали. Вначале Хасану это нелегко давалось, несколько раз он поранился и чуть было даже не отрезал себе пальцы. Старик не спускал с него глаз.

— Режь ниже пальцев, — учил он его. — И вяжи снопы вот так, если не хочешь, чтобы они развязались.

Хасан резал снопы, глядя на старика. Через несколько дней он уже не уступал ему в сноровке. Солнце палило немилосердно, усталость валила с ног, пот катился с них градом, но они были счастливы. Их поле принесло самый богатый урожай. Снопы стояли ровными рядами. Затем, когда кончилась жатва, они сложили их в сетки и стали перевозить на мулах. Эта бешеная гонка заняла у них несколько дней. Пшеницу сложили на гумне у Матушки, потом началась молотьба. Дни напролет кружили мулы, привязанные к столбу, вбитому посреди гумна. Это было хождение по адскому кругу под палящим зноем. Кружили мулы, кружили люди. Попеременно. Потом переворачивали солому. И люди, и скотина худели день ото дня. Вечером они валились замертво от усталости, а наутро снова кружили до бесконечности, держа мула за хвост. Солома хрустела под ногами. И чем дольше кружили мулы, тем больше уминалось жниво, крошилось, измельчалось, становилось



все тоньше, глаже, сверкая на солнце золотистой пылью. Измученные мулы со стертыми в кровь ногами, с пеной на губах и взмокшей от пота грудью били копытами, раздувая ноздри. И кружили, кружили с шорами на глазах, непрерывно размахивая хвостом, отгоняя мух. Целый месяц обмолачивали они и Матушкину пшеницу и свою собственную. И каждые два дня веяли. Всякий раз они получали целую кучу золотистого, искрящегося на солнце зерна.

Каждому полагалась определенная часть этой кучи:

четыре пятых — хозяину, пятая часть — феллахам<sup>20</sup>. Скотина принадлежала не им, земля была не их, да и семена тоже не их. Они получали натурой то, на что имели право, то есть цену своих трудов в поте лица. И каждый, довольный и спокойный, уносил свои мешки, причитающиеся ему по праву.

Хасану впервые довелось обрабатывать землю. В первый раз он пожинал плоды своего труда. И в первый раз столкнулся с установленными порядками. Он был поражен. Всеми силами старался он скрыть свое разочарование, но это ему плохо удавалось. Долгое время смотрел он на мешки, погруженный в свои мысли. «Самое большее, — подсчитал он про себя, — нам удастся продержаться до весны. Не так уже плохо по сравнению с другими годами».

Затем Хасан занялся торговлей лошадьми. Он много ездил, и ему открылся совсем иной мир. Он увидел город с его блеском и изобилием товаров, всевозможными овощами и фруктами, с его прямыми улицами и магазинами, с лотками пончиков и медовых пирогов. раньше из французов ему встречались только жандармы. Теперь он увидел их женщин с красными, как перец, губами, с белой или розовой кожей, все они были такие упитанные. Когда они важно прогуливались под руку со своими мужьями, он явственно ощущал разделяющую их пропасть. Непреодолимый барьер отделял их от соплеменников. Дамы зажимали нос

---

<sup>20</sup> Феллах — крестьянин (арабск.).

каждый раз, когда мимо них проходил местный житель, глаза их вспыхивали ненавистью. Муж нарочно толкал его или пинал ногой, презрительно кидая вслед: «Грязный бико»<sup>21</sup>. Дома выглядели кокетливо и утопали в цветах, вокруг росли сирень, жасмин, вился виноград и розы: красные, белые, желтые, свисавшие целыми гроздьями. Вьющиеся розы были маленькие, но в садах росли огромные, кроваво-красного цвета. Фасады так и сверкали своей белизной, а крыши все были крыты красной черепицей. Лавки ломились от разных банок: тут и молоко, и томатный сок, и сахар, и кофе, и всевозможные конфеты. Мешочки с финиками стояли в ряд у самого входа. Хасан не мог наглядеться на витрины. У него даже слюнки потекли. Но особенно поразили его торговцы тканями, раскладывавшие свой товар по всему прилавку. Каких только расцветок там не было, и на многих тканях – цветы! А у самого потолка колыхались всевозможные платки. Хасана очень опечалило то, что он ничего не смог купить матери в подарок. Вечером он отправился на базар, чтобы переночевать под навесом. Там было полно людей. Одни играли в карты, другие, окружив их, просто смотрели или болтали, чтобы убить время. Никто на базаре не спал. Слишком много народу. И карманных воришек тоже. Со всех сторон раздавалось мычание коров и быков, блеяние баранов и коз. Всю ночь ржали лошади. Базар так и кишел скотиной, все пропиталось терпким запахом навоза. А на рассвете вновь началась бурная жизнь. То и дело раздавались призывные крики торговцев зерном, скотиной, пончиками и прочими товарами. В этой толчее все продавалось с аукциона.

Около десяти часов внимание толпы привлекли звуки фанфар. Потом на гайте<sup>22</sup> заиграли «Марсельезу»<sup>23</sup> в честь Администратора, принимавшего старейшин, или, как их

---

<sup>21</sup> Бико – кличка, данная колонизаторами алжирцам.

<sup>22</sup> Гайта – музыкальный инструмент турецкого происхождения.

<sup>23</sup> «Марсельеза» — национальный гимн Франции.

еще именовали, «Старых тюрбанов». Церемония закончилась торжественным празднеством на городской площади. «Старые тюрбаны», одетые во все красное, выразили свое почтение белым перчаткам господина Администратора под любопытствующими взглядами зевак, наслаждавшихся жевательным табаком.

Хасан был озадачен, не зная, что и думать об этом событии. К вечеру он вернулся в деревню, на конце палки, которую он нес на плече, болтался узелок с гостинцами. Небо пламенело. Вдалеке бежали легкие облачка, их пурпур отливал синевой. И чем глубже в пропасть погружалось солнце, тем стремительнее менялись краски. Зеленые, розовые. Потом вдруг горизонт стал медовым, затем огненным. День уходил, багровея, в окружении несказанной красоты. Именно в этот час измученные зноем горы казались особенно прекрасными. Запахи к концу дня становились пахучее. Цикады продолжали свою несмолкаемую песнь. Пастух сладко дремал, возвращаясь домой на муле. Впереди Хасана медленно двигалось стадо, то останавливаясь, то снова трогаясь в путь. Спускалась ласковая ночь. Вокруг стояла полнейшая тишина. Синева небес обволакивала землю. словно жемчужина, блеснула первая звездочка.

Хасан добрался до дома. У самой изгороди он повстречал Чернушку. Оба смутились. Она хотела было убежать, но он удержал ее за руку. Небывалая нежность проснулась в душе каждого из них. Девушка засмеялась, прикрывая рот рукой.

— погоди, — сказал Хасан, — я кое-что привез тебе.

Положив узелок на землю, он достал оттуда горсть фиников и конфет. Она протянула обе руки. Когда руки их коснулись друг друга, оба они вздрогнули. Он обнял ее, но девушка вырвалась и убежала. Хасан остался стоять, разомлев от счастья. Тут послышался голос матери Чернушки:

— Чего ты так бежишь? Что с тобой стряслось?

Девушка отвечала:

— Просто испугалась, вот и все. Посмотри, мама, что мне дала тетя Айша.

Сам не свой от радости, Хасан шагнул в дом. Мать и брат сидели друг против друга. Между ними кипел на огне черный чугунок. Хасан положил узелок на колени матери, та поцеловала его. Брат, не в силах больше усидеть на месте, воскликнул:

— Что это, мама? Дай мне, дай мне немножко.

Она развязала узелок и протянула ему горсть фиников. Хасан, окрыленный надеждой, сидел с сияющим лицом.

— Ах, мама! Если бы ты видела город! Там все сверкает и ночью, и днем. Днем — на солнце, ночью — от фонарей! А магазины! чего там только нет. Есть даже вещи, которых я никогда в жизни не видел. А какие ткани! Всех расцветков и с такими красивыми цветами, а уж мягкие, слов нет. А какие там люди! И все пропахло брошетами<sup>24</sup>.

Пока он рассказывал, мать ела финики, выбрасывая зернышки и молча внимая сыну, которым она так гордилась. Брат расспрашивал его о городе. Неужели все руми<sup>25</sup> одеты как жандармы? Хасан покотился со смеху, потом стал рассказывать о дамах в белых платьях с накрашенными губами, разгуливающих под руку с мужьями.

— А мужчины носят костюмы и шляпы. И все такие высокие и толстые, — говорил он.

Для матери с братом слова его звучали полуправдой, полусном. А Хасан грезил наяву.

Вот если бы ему удалось найти работу в городе и зарабатывать деньги! Он собирал бы каждое су. Год. Два. Три года. Семья его не знала бы тогда нужды. И он смог бы жениться.

Хасан заснул, преисполненный веры в будущее. Брат лег рядом с ним. В тот вечер Айша ела лепешку с финиками. Потом задула керосиновую лампу и тоже легла.

---

<sup>24</sup> Брошеты — жареные, наподобие шашлыков, кусочки бараньих внутренностей.

<sup>25</sup> Руми — европейцы (арабск.).

«Мой мальчик вырос, — думала она. — Скоро у меня будет невестка».

В мечтах ей уже грезилась иная жизнь. Она видела своего сына женатым, а себя — в окружении внуков. Так она и заснула с ощущением грядущего счастья.

## XXIX

Однажды в ночь полнолуния девушки вышли на улицу попеть и потанцевать. К тому времени Чернушка стала уже стала настоящей девушкой. Смуглый цвет лица лишь ярче оттенял ее красоту. Пышные волосы ниспадали до самой талии. Хасан, спрятавшись неподалеку, следил за всем происходящим. Девушки, смеясь, поддразнивали друг друга.

— За кого тебе хотелось бы выйти замуж? — спрашивали они одна другую.

Первая вызывающе заявила с непреклонным видом:

— За нищего я не пойду, да и за бедняка тоже!

Вторая сказала, что во всем полагается на судьбу. Когда же очередь дошла до Чернушки, та побледнела. Остальные хором закричали:

— Хасан, Хасан, она любит Хасана!

Он не мог удержаться и встал во весь рост. Сердце бешено колотилось у него в груди. Девушки тут же бросились врассыпную. Он побежал за ними и догнал Чернушку на дороге под тутовым деревом.

— Нас могут увидеть, отпусти меня, — попросила она.

Но он не отпускал ее, да она и не хотела этого. Так они и стояли, обнявшись. Внутри у них все горело огнем.

Тут послышались чьи-то голоса и шаги направлявшихся к ним людей. Хасан бросился в овраг, разрезавший их деревню, и спрятался там. Мимо прошла группа людей, рассуждавших о корове, которую покусала собака, может и бешеная.

— Надо было привязать ее, — говорили они, — и подождать сорок дней. Тогда все станет ясно.

И вот за какую-нибудь неделю все переменялось. Родственники кайда, только не такие богатые, жившие в другой деревне, посватали Чернушку за своего сына. Отец девушки был человек простой, недалекий, без всяких притязаний и к тому же характером слабый. Что же касается его жены, то это была сушая ведьма. Она заправляла всем в доме. В деревне судачили о том, что, как только они поженились, еще в самом начале, она опоила его приворотным зельем и с той поры стала командовать им, держала его, как говорится, под каблуком.

Так вот она тут же согласилась отдать свою дочь. Чернушка плакала, каталась по земле, царапая себе лицо. Грозила покончить с собой. Словом, обвивалась кровавыми слезами. Но мать была неумолима и не спускала с нее глаз. Даже ночью, заперев на задвижку дверь, ложилась рядом с ней. Когда до Хасана дошла эта новость, он побелел как полотно, но никому ничего не сказал, даже матери. Айша, от природы очень застенчивая, тоже виду не подавала и не позволила себе ни малейшего намека, только стала еще более нежной с ним и ласковой. Застав его в задумчивости, она молча прижимала его к себе и гладила по волосам.

А в голове у Хасана все перемешалось, мысли, одна другой мрачнее, накатывали как волны или черные тучи. Надежда сменялась отчаянием, и он уже ни в чем не мог разобраться.

«Надо похитить девушку, — решил он. — Ведь делали же это другие».

Да, он слышал, другие это делали, но у них не было ни отца, ни матери, они были свободны как ветер. Похитив девушку, они уходили далеко-далеко, строили себе хижину и всю жизнь проводили в жестокой борьбе. Само собой, родные в таких случаях от девушки отрекались.

А как быть ему? Ведь у него есть мать с братом, что с ними делать?

Однажды мать Чернушки застала его врасплох, когда он бродил вокруг их дома. Она стала поносить его и кидать в него камнями. Но тут вдруг выбежала девушка с распущенными волосами, словно гонимая злым духом, и бросилась вслед за Хасаном, мать – за ней. Мать настигла их, когда они упали в объятия друг другу, и стала колотить их обоих.

— Ах, собаки, сукины дети! – ругалась она. Потом стала звать на помощь, кричала, что у нее похитили дочь.

Молодые люди, крепко обнявшись, попытались убежать от нее, но мать уцепилась за подол платья дочери и волоком тащила за ними по земле, а они будто ничего не замечали. Тут вся деревня выскочила на улицу и кинулась вслед за ними.

— Они убьют тебя, — сказала девушка. — Я готова умереть за тебя, но умоляю, беги.

Ее слова вывели Хасана из оцепенения. А люди с вилами были уже совсем близко. Хасан отпустил Чернушку и бросился бежать, вся свора – за ним. Догнав дочь, мать вцепилась в нее, схватила за волосы и потащила за собой.

— Взбесившаяся собака! – кричала она. — Хочешь опозорить меня ради какого-то паршивца, ради нищего!

Она совсем потеряла голову. Глядя на ее обезумевшее лицо, можно было подумать, что она сошла с ума.

— погоди, — вопила она, — дай только поймать его, я ему все глаза выцарапаю!

Айша, закрыв лицо руками, оплакивала свою горькую долю. Мать, бросив дочь, накинулась вдруг на нее. И обе они, схватив друг друга за волосы, покатались по земле. Уж и колошматили они друг друга, и царапали! А вокруг стояла безмолвная толпа. Появился каид. Подперев руками бока, он, как орел, готов был, казалось, ринуться на них.

— Ну, получай! — сказал он, выхватив вдруг палку из чьих-то рук и обрушив ее на Айшу.

— Ой, мама, ой, мама! — причитала она, а он бил изо всех сил.

Чудовище злобно вопило, потеряв всякий человеческий облик:

— Я вас убью! Всех до единого перебью!

Толпа стояла не шелохнувшись. Тем, кто прибежал, чтобы спасти похищенную девушку, не было дела до чести каида: возмущенные такой жестокостью, они ушли домой со своими вилами. Остальные тоже не одобряли его, они и так уже с трудом сносили его гнет, а теперь и вовсе чувствовали себя глубоко оскорбленными.

— Бить женщину, одинокую женщину! — роптали они.

Люди стояли неподвижно, но в лице у них не было ни кровинки, а кулаки сжимались сами собой. Каид, недовольный их поведением, всем своим существом ощущал их враждебность.

«Все они завидуют моему могуществу, — думал он. — Знаю, знаю, о чем они судачат втихомолку. Обсуждают выборы. Надеются, что партия... Их партия... Пускай себе надеются. Увидим, чего стоят их национальные интересы. Ничего они не добьются». Сдерживая ярость, он ушел вместе со своими приспешниками. Женщины отвели Айшу домой. Она едва держалась на ногах.

А каид стал замышлять свою месть, жестокую, коварную, неумолимую. Месть взрослым и детям. Сильным и слабым.

### XXX

Но тут обстоятельства переменялись. Урожай оказался хорошим, и люди теперь меньше зависели от каида. Они поднимали голову, кое-кто даже стал требовать назад землю, которой он завладел хитростью, силой, а то и как будто



беззаконным путем при попустительстве тех, кто замерял землю.

При случае он умел одеться надлежащим образом, особенно когда шел к администратору. Не в парадную одежду, а в лохмотья, изображая из себя настоящего крестьянина. Старый шакал демонстрировал таким образом состояние крайней нищеты своих соплеменников, являя пример собственной персоны. Послушать его, так в том недоступном, грозном краю, где он жил, со многими просто сладу не было. И потому он часто требовал помощи, которую затем перепродавал своим подчиненным.

— А без этого, — говорил он, — я не могу поручиться за безопасность. Всякое может случиться.

Этот любопытный персонаж неизменно вызывал к себе интерес сменявших друг друга администраторов. Они всякий раз обращали внимание на «эту странную личность, не похожую на других». Все говорили о нем как о человеке жестоком, могущественном и богатом. И все они с ним ладили, выражая ему почтение и уступая его домогательствам во имя главной цели, ибо стабильность существующего положения о безопасности были для них превыше всего. На этот раз каид потребовал жандармов, для того чтобы очистить сельскую местность от разбойничьих шаяк, которые слишком уж взяли волю. Он добился от администратора всего, чего желал. Жандарм Рено должен был отправиться с отрядом не менее тридцати шести человек, чтобы разделиться с этой нечистью. В награду им было обещано меши.

С первой летней жарой началась жатва. Дул такой страшный сирокко<sup>26</sup>, что трудно было дышать. В этой удушливой жаре ячмень лопался сам. Жнецы работали, вытянувшись в цепочку. На этот раз туиза<sup>27</sup> собрала около ста

---

<sup>26</sup> Сирокко — горячий ветер из Сахары.

<sup>27</sup> Туиза — коллективная работа на общественных началах, которая проводится обычно во время пахоты или сбора урожая.

человек. Царило большое оживление, все жали, не зная отдыха. Едва успев отбросить один сноп, тут же вязали другой. Работа спорилась, ритм ее все убыстрялся. Красивый чистый голос запел песню. Все тут же подхватили ее.

*Где ты, феллах, поспеши,  
А не то ячмень убежит.*

Песне, словно неизменное музыкальное сопровождение, вторил шум серпов, срезающих колосья. Мужчины, увлеченные работой и песней, обливались потом. То и дело слышались шутки:

— Стареешь, дядя! Не поспеваешь, сдавать стал.

— И то правда, старею. Зато в вашем возрасте я жал за двоих, — отвечал, держась за поясницу, мужчина, обращаясь к двум молодцам, стоявшим у него по бокам.

— Ты и ел за двоих, — не унимались они, покатываясь со смеху.

Мужчине шутка не понравилась, и он молча продолжал работу.

— А ну, подтянитесь с этой стороны. Работать надо ровно! — кричал управляющий.

Он ходил с одного конца поля на другой, подгоняя отстающих. Жнецы наклонялись и распрямлялись. Серпы блестели на солнце. Крестьяне обливались потом, лицо красное, шея мокрая. Черные тени поглотили золотистое поле. Песня взвивалась ввысь, звучная и величавая, исполненная надежды. Вода булькала из кувшина прямо в рот.

Пастухи, привлеченные песнями и вкусной едой, тянулись к полям. Как зачарованные, позабыв обо всем на свете, они громко подхватывали песню, а козы, предоставленные самим себе, набрасывались тем временем на колосья.

На этот раз судьба обрушилась на нового пастуха каида, которого голод неотвратимо влек к крупенику с оливковым маслом и груде ячменных лепешек. Ему осталось только

руку протянуть, когда пронзительный голос управляющего, который не скупился на проклятья, заставил его вздрогнуть.

— Остановись, сукин сын! – вопил он. – У тебя, как и у твоих коз, только одно на уме: жевать без устали. Ах ты, паршивец!

Тщедушный мальчишка, перепугавшись, бросился бежать, но, споткнувшись, упал. Он закричал раньше, чем управляющий успел коснуться его, надеясь своим криком привлечь внимание жнецов. Удары градом посыпались на него. Лицо управляющего, искаженное гневом, было страшно. Мальчик плакал от боли. Несколько жнецов отделились от общей массы и поспешили ему на помощь, чтобы вырвать его из рук управляющего, схватившего мальчонку за горло. Мальчик хрипел. Им удалось освободить его.

— Ты что, совсем спятил? Так ведь можно и убить! – кричали они.

С помощью жнецов мальчику удалось увести коз дальше от поля.

Управляющий уселся один подле блюда с крупеником и принялся за еду, не переставая бормотать:

— И убью. Попадись он мне опять, я его убью.

Он славился своей жестокостью. Хозяин его мог ни о чем не тревожиться. Он всегда готов был наградить пощечиной любого крестьянина и любого пастуха угостить дубинкой.

У старого жнеца сердце надрывалось. Он молча смотрел на все происходящее, потом отвернулся с отвращением и громко сказал, то ли для себя, то ли для других:

— Всю свою жизнь я прожил с такими вот людьми без стыда, без совести. Пастухом был, одни оплеухи получал. Вырос, и жизнь моя стала сущим адом.

Губы его дрожали. Взгляд потемнел от печали. Плонув на землю, он снова принялся за работу. К полудню нестер-

пимая жара нависла над полем. Работники пошли передохнуть в тени одиноко стоявшей цератонии.

### XXXI

Повсюду в деревнях вокруг нескольких домов, крытых красной черепицей, поодаль от главных ворот лепились дверь в дверь, чуть ли не налезая друг на друга, приземистые, темные лачуги, являвшие собой убогое зрелище нищеты: почерневшие ветки, сгнивший дисс. На холме копошились маленькие ребятишки, совсем голые. Мужчины уходили работать в поле. Женщины, подоив скотину, занимались повседневной работой: подметали, собирали лошадиный навоз, а из коровьего делали кизяк. Возле дряхлых старух ползали, то и дело поднося полные горсти земли ко рту, самые маленькие детишки, облепленные мухами.

Небо сияло голубизной, жара постепенно спадала. Один из малышей вскарабкался по спине старухи и с плачем протянул худенькую ручонку к ее иссохшей груди. Откинув назад седые волосы, старая женщина с изборожденными глубокими морщинами щеками взяла его к себе на колени. Глаза ее наполнились слезами, а тонкие губы прошептали едва внятно:

— У меня ничего нет, мой маленький, ничего нет.

А ребенок исходил плачем.

— О, Аллах, ниспошли пропитание детям!

Старухи вели неспешную беседу.

— Если бы у меня хоть был табак, — молвила Таус, вытирая платком нос. Лицо ее было изъедено оспой.

— В большом доме еще не пекли лепешку. Как испекут, пойду попрошу для малыша, — сказала Мерием. — А пока надо идти взбивать молоко, как испекут лепешку, вернусь.

Она поднялась, опустила пояс на деревенский манер и пошла, покачивая бедрами. Женщина она была статная, и морщины еще не обезобразили ее лица. Остальные про-

должали работать. Все скалы поблизости почти сплошь уже были покрыты коровьими лепешками.

— Мести, разводить огонь, ходить за водой, стирать — да разве это работа? — посетовала одна из женщин, подбигывая подол платья. — Разве этим заработаешь на пропитание? Ребятишки того и гляди с голода помрут.

— Мы тоже чуть не умираем от голода, не одни ребятишки, — сказала в ответ другая.

— У тебя их нет. Вот ты и говоришь за себя.

— Да уж лучше их не иметь. И так вздохнуть некогда. Вечером я валюсь с ног, как чурбан. — Она наклонилась к своей соседке: — Это правда, что ты отдаешь дочь замуж? Она, бедняжка, совсем еще молоденькая.

— Отцу решать. Он может выдать ее замуж, может убить, вообще может сделать все, что пожелает. Мое дело помалкивать.

Вид у нее был смиренный. Несмотря на сведавшую ее печаль, она уклонялась от прямого ответа, чтобы не выставлять напоказ свои разногласия с мужем. Ей оставалось уповать на то, что все будет не так скоро, она надеялась потянуть с ответом, а там, глядишь, претенденты с досады и откажутся. Дочери ее едва минуло тринадцать лет, хотя по виду она была вполне зрелая девушка. Красивая, стройная, характером она была похожа на норовистую лошадку. Красота ее и привлекла внимание зажиточной семьи. Отцу хотелось извлечь выгоду, породнившись с таким семейством, да и выкуп хороший взять. Ведь на девушке-то не платье, а лохмотья, как будто ее собаки драли.

## XXXII

Мы сопротивлялись, как могли, живя высоко в горах, среди орлов. Мужчины постепенно угасали, как огонь, у которого они согревались. Женщины едва могли прикрыть наготу, ребятишки плакали от голода, но кайды крепко держали из в своих когтях, требуя то кур, то оливкового

масла, то баранов, то меда. Народ мало что имел и всеми силами старался слиться с землей, с деревьями, кормившими его. Чтобы не погрязнуть во мраке, он сочинял сказки, и в каждом их слове была заключена надежда. Природа вокруг была сурова, тверда как камень, как кремь. И человек закалился, стал крепче шипов. В его огрубелой коже ломались, застревая, колючки. Пусть руки и ноги у него потрескались, он всеми силами противостоял жестокой судьбе, бился за родник, за поле, за самое свое существование. Сломить его так и не удалось. Он жил одним днем, не зная, что ждет его завтра. Женщины приносили топливо: сухие ветки, хворост. Я будто сейчас их вижу: идут цепочкой, одна за другой, согнувшись под тяжестью, их и не видно под огромной вязанкой, так и бредут по тропинке, петляющей до самого гребня. И ни проклятья, ни угрозы их не страшат.

Но нищета плодила грабителей.

### XXXIII

Хасану стало страшно. Всю дорогу он вспоминал людей с вилами. Откуда столько ненависти?

«Они готовы были убить меня», — думал он.

Перед глазами вставала вся его жизнь, звери, птицы, земля, деревья, ветер, дождь, светлые, ясные дни, мать, брат, отец, которого убили, друзья и враги. И он вдруг понял, что и в его душе поселилась ненависть, что он готов драться за себя, за своих родных, против всех тиранов на свете.

Ведь и в других местах они тоже есть, такие же, как каид», — думал он.

Потом в душе его опять пробудились надежды, мечты

«Что станет с Чернушкой? — беспокоился он. — Они могут убить ее.

Одна мысль об этом приводила его в ужас, он содрогался всем телом.

«А мать, а брат, что они с ними сделают? – Тревога не покидала его, он дрожал как лист. – Как мне быть? Куда пойти?»

Голова его отяжелела. Оставив бесплодные думы, он встал и снова бросился бежать, все дальше и дальше, надеясь отыскать бандитов из мечети.

«Их главарь, верно, еще жив, — думал он. – Весть о его смерти дошла до нас».

Добежав до речки, он подобрал полы блузы и, зажав их между колен, как женщины зажимают подол платья, пошел вброд. Из-за недавних дождей воды в уезде прибавилось, она стремительно неслась мутным потоком. Песок уходил из-под ног Хасана, уносимый течением. Жизнь показалась Хасану похожей на этот поток: вот так и его несет, несет, неведомо куда, а он не может остановиться.

«Как мне быть? – думал он. – Следовать течению жизни и плыть по воле волн? Или самому направлять ее течение в зависимости от обстоятельств?»

В голове у него все смешалось. Перейдя речку, он стал взбираться по склону. Дул свежий ветерок. Вдруг он увидел перед собой маленький сиреневый цветочек. Нагнувшись, он сорвал его и стал отрывать лепестки, один за другим, желая угадать будущее. Последний не сулил ему ничего хорошего, он бросил цветок и снова двинулся в путь. Было совсем темно, когда он дошел до места. Всю дорогу ему светил луч надежды: придут или не придут те, кого он искал?

Толкнув дверь, он вошел в мечеть. Там было пусто. Тяжело дыша, он упал на циновку. Голова у него кружилась. Пошел дождь, потом начался настоящий ливень. Молнии так и сверкали, грохотал гром. Тучи двигались с севера на юг. Сквозь старую, прогнившую солому крыши лило, как сквозь решето. Хасан встал, пытаясь отыскать сухое место.

Он забился в угол. Вдруг громко хлопнула дверь. Кто-то торопливо вошел и стал отряхиваться. Хасан поднялся навстречу мужчине, который несколько раз чиркнул спичкой, прежде чем вспыхнул огонек.

— Ты кто? И откуда идешь? = спросил строго мужчину, стараясь разглядеть при слабом свете спички лицо Хасана. Левая рука его что-то сжимала под кешебией, он, не отрываясь, смотрел на Хасана.

— Откуда идешь? — снова спросил он.

— Из деревни Два Форта, — ответил Хасан.

— Один?

Хасан смущенно кивнул головой.

— Случилось что-нибудь, малыш?

Хасан снова кивнул головой вместо ответа.

Бандит направился к трещине в стене из необожженного кирпича, достал оттуда свечу, зажег ее и снова подошел к Хасану.

— Неприятности? Это в твоём-то возрасте? — молвил он, смерив его взглядом. Затем, поставив свечу на пол, сказал Хасану: — Пошли поищем дров, чтобы развести огонь.

Он вышел первым. Хасан за ним.

Дождь лил как из ведра, все вокруг утопало в воде. Они разобрали остатки ограды вокруг мечети, сгнившие палки ломались легко. Когда они возвращались, яркая молния расколола небо. Хасан оторвал пучок соломы от крыши, поджег его свечой и сунул под кучу дров. Густой, едкий дым заполнил мечеть.

— Открой дверь, — сказал бандит.

Закрыв глаза рукой, Хасан пошел открывать. Пришлось добавить не один пучок соломы, прежде чем дерево, сочившееся водой, разгорелось. Зато ночь они провели у яркого огня. Бандит высушил свою промокшую насквозь одежду. Хасан грелся, рассказывая свою историю.

— Что ты собираешься делать? — спросил его товарищ по несчастью.



— Я хотел бы присоединиться к вам, — сказал Хасан. — Ведь ты один из разбойников Бусетты.

— Откуда ты знаешь? — встрепнулся тот.

Хасан рассказал, как он познакомился здесь с их атаманом два года назад. Разбойник вспомнил его.

— Тогда ты был совсем маленький. Вас было четверо. Ну и вид был у твоих приятелей! — засмеялся он. — Уходить отсюда надо до свету. Я отведу тебя куда надо.

Потом, сплунув на пол, продолжал:

— Только время ты выбрал плохое, малыш. В последние дни жандармов всюду полно, нам ни минуты покоя от них нет.

Под конец Хасан решил задать ему вопрос, который вертелся у него на языке с самого начала. Мужчина этот не был похож ни на чудовище, ни на убийцу, человек как человек. Раньше был крестьянином, по всему видно.

— Дядя, а почему ты стал разбойником? — смутившись, спросил Хасан.

— Голод заставил, малыш, голод, ну, и мачеха. Вместо того чтобы убить ее и отца вместе с ней, я предпочел стать тем кем я стал. А тебе хочу сказать одну вещь, постарайся запомнить ее. Если станешь разбойником, не доверяй никому. Забудь и думать о чувствах, а главное, не вздумай никому жаловаться. С таким ремеслом одно стать либо мужчиной, либо отпетым негодяем. Постарайся быть мужчиной.

Он надел кешебию.

— А теперь пошли, — сказал он Хасану.

Дождь перестал, но стояла такая темень, что в двух шагах ничего не было видно.

— Держись за кешебию и не отставай.

Вокруг была грязь, под ногами хлюпало. Хасан шел за ним, понятия не имея, куда его ведут. Тот, видно, знал дорогу. Так они и шли, держась друг за друга и шлепая по грязи до самого подножия утеса, вздымавшегося как раз

напротив. Занимавшийся день прорезал непроглядный мрак. Идти стало намного легче. Тропинка вилась по каменистым уступам. К утренней свежести примешивался запах мокрой земли. Запел дрозд. Ему вторил другой. Они продолжали взбираться по козьей тропе. Рассвело. Запели все птицы. Почти добравшись до вершины, они свернули влево, тропинка, на которой видны были чьи-то следы, осталась в стороне. Камни катились у них из-под ног. Наблюдавший за ними человек вышел из-за скалы и остановил их:

— Эй, Слиман, откуда ты взялся? И кто с тобой?

— Потом узнаешь, — сказал в ответ Слиман. — Шеф здесь?

Тот кивнул и вернулся на свой пост. Выглядел он больным: глаза ввалились и вид был какой-то растерянный. Слиман с Хасаном очутились у входа в пещеру, видневшегося чуть сбоку, случилось это так неожиданно, словно она упала с неба. Даже в двадцати шагах ее не было видно. Хасан рот открыл от удивления. Им пришлось наклониться, чтобы войти. На них пахнуло пылью. В пещере спали вповалку, бок о бок, человек десять. Почти все храпели. Грязные, оборванные, они обросли бородой. У ног их, покрывшихся пеплом, все еще дымилось полено. Слиман молча указал Хасану место, где можно сесть. Он разжег огонь, подбросив несколько веток. Приятное тепло разлилось вокруг. Они грелись, дожидаясь, пока другие проснутся. Потом Слиман, порывшись в углу, достал жезуа<sup>28</sup>, кофе с сахаром, черствую лепешку, посмотрел есть ли еще вода в бурдюке. Большой бурдюк из козьей кожи был почти полон. Слиман налил воды и сварил кофе сначала для Хасана, который пил его по глоточку, запивая ячменную лепешку, потом себе. Хасан поднял глаза, разглядывая пещеру, и обнаружил странные формы, свисавшие с потолка. Он ничего не знал ни о сталактитах, ни о сталагмитах. Окрашенные бледно-розовыми отблесками пламени, они показались ему

---

<sup>28</sup> Жезуа – сосуд турецкого происхождения, в котором варят кофе.

сказочным видением. И все вокруг казалось ему сном. В другом углу пещеры кто-то закашлял. Кашель был хриплый, неотступный. Человек кашлял не переставая, и кашель его гулко разносился по всей пещере. Затем слышались его шаги и голос:

— Пора вставать, всем вставать.

Слиман поднялся и пошел будить людей. Некоторые что-то ворчали, и все чесались. Проснувшись, они вышли из пещеры, не обратив внимания на Хасана. Хасан ужаснулся их грядному, всклокоченному виду. Разбойничья жизнь ему совсем не понравилась. Мужчина в глубине пещеры все еще кашлял, огромная тень его колыхалась на противоположной стене. Наконец он подошел и сел рядом.

— Привет всем, — сказал он.

— Привет, — ответил Слиман, а за ним Хасан.

Услышав незнакомый голос, Бусетта повернулся в его сторону. Он был болен, губы у него посинели, его трясло, хотя он всеми силами пытался скрыть это.

— Послушай-ка, что ты здесь делаешь? — спросил он, глядя на Хасана. — Слиман, кто это?

Слиман налил ему кофе.

— Ты не узнаешь его? — сказал он. — Два года назад ты так поразил его, что вот теперь он разыскивает тебя.

— Что? — удивился Бусетта. — Да я его никогда не видел. Чего это ты надумал, малыш? Хочешь стать разбойником? Откуда ты и как тебя зовут?

Мужчина снова закашлялся. Хасан напомнил ему случай в мечети. Тот кивал головой, не переставая кашлять.

— Как же, теперь припоминаю, — сказал он под конец. — И что же привело тебя к нам?

В этот момент, умывшись, пришли как раз и все остальные. Усевшись вокруг огня, они слушали рассказ Хасана о своей жизни. Рассказывал он так бесхитростно и просто-душно, что им стало жаль его. Один из присутствующих не выдержал и сказал вслух:

— Чего только не наслушаешься в этой собачьей жизни...

Бусетта встал, поднял камень, на котором сидел, и отбросил его подальше, в глубь пещеры.

— В пословице говорится: «Кто сиднем сидит, того камень сторожит».

Потом снова сел, скрестив ноги, и, кутаясь в свой бурнус, обрисовал обстановку, обращаясь ко всем:

— Жизнь в горах становится все труднее. Крестьяне перестали быть покорными. Они готовы драться, защищая свое добро. Жандармы устраивают облавы каждый божий день. И всюду доноски. Чтобы выжить, нам надо либо носа не показывать, либо беспрестанно передвигаться. И никогда не возвращаться на то же место.

Некоторое время нам придется прятаться. А немного погодя станем следить за дорогами, будем ждать на склонах, пока грузовики замедлят ход, чтобы захватить товар. Если оставим крестьян в покое, они нас не тронут. Ты, малыш, можешь идти с нами, если пожелаешь. Судьба связала твою жизнь с нашей. Теперь ты знаешь, что тебя ждет. Вот только жаль твоей молодости.

Все посмотрели на Хасана, который был похож на ребенка, и никак не на разбойника, и согласно закивали:

— Драться мы тебя научим. А жизнь или смерть, всё в руках Аллаха.

Затем Бусетта обратился к Слиману:

— Рассказывай, что с тобой случилось.

Слиман уронил огромный солдатский башмак, который чистил, и, сощутив глаза, так что сквозь щелку едва можно было различить зрачок, взглянул на Бусетту. Когда он заговорил, видно было, как двигается у него на шее кадык:

— Я попал в засаду, которую устроил каид вместе со своими людьми. Жандармы там тоже были. У того, кто меня заметил, не было оружия. Он закричал и стал звать на помощь. Я припустился бежать. Они в меня стреляли, но я

был уже далеко. Пришлось сделать большой крюк, чтобы запутать следы, а потом уже прийти сюда.

Остальные слушали его, подкладывая ветки в огонь. Дрок потрескивал, вспыхивая, как пучок соломы, и обдавая всех искрами. Чабер и тимьян благоухали. Один из разбойников сказал:

— Сюда жандармы не придут. Но и нам нельзя здесь оставаться вечно. Ведь надо есть и пить.

Другой добавил:

— Будем действовать ночью, чтобы нас не заметили. Это единственная возможность. И к тому же подальше отсюда.

Хасан следил за обеспокоенными лицами всех этих людей. Их предводитель кашлял, не переставая. Видно было, что какая-то болезнь гложет ему грудь. Лицо худое, все кости выступают, глаза ввалились. Губы, несмотря на жару, посинели. Взгляд тусклый. Он нервно потирал руки, терзаемый болезнью и скверным оборотом событий. Один из разбойников приготовил чай из диких трав, который, настоявшись, распространял терпкий запах. Хасану вспомнилась вся его жизнь после смерти отца и тот случай, что привел его сюда. Теперь, когда они приняли его, ему стало страшно. Его угнетало одиночество среди всех этих людей, которых он едва знал. Несколько дней они оставались на месте, истомились вконец, к тому же и припасы все кончились. Тогда они решили покинуть свое логово и попытаться счастья на дороге. Слиман с Хасаном должны были отправиться на базар и запастись провизией.

— Главное, принесите хлеба, — просили их товарищи.

Для деревенского жителя хлеб такое же точно лакомство, как пирог. Его и одного довольно.

Остальные облюбовали место на дороге, на опушке соснового лесочка, как раз посередине склона. Моросил мелкий дождик, было страшно холодно. Несколько машин промчались на большой скорости. Разбойники, спрятав-

шлись под деревьями, ждали удобного случая. Тут-то и слышался рокот старого грузовика, с трудом взбиравшегося в гору. Огни его то появлялись, то исчезали на поворотах. Когда он поравнялся с ними, они увидели, что он нагружен доверху. Двигаться ему было тяжело, и его непрерывное урчание действовало на нервы. Один из разбойников в несколько прыжков догнал грузовик, ухватился сзади за борт и мигом перемахнул через него. Он не стал ощупывать мешки, допытываться, что там в них, просто выбросил их несколько на дорогу. Его приятели подхватили мешки и отнесли под деревья. К их величайшему изумлению, из последнего мешка вылез человек и припустился вслед за грузовиком, догнал его и прыгнул в кузов. Грузовик продолжал свой путь. Разбойники забрали добычу и, очутившись в безопасности, так и покатались со смеху, а тот, кто бросал мешки, рассказывал:

— Ему, должно быть, хотелось спать, а так как сильно моросило, он залез в мешок и заснул. Мне некогда было разглядывать, что там внутри, я бросил его — и все. А он от удара проснулся.

Слиман с Хасаном тоже справились со своим делом. Возраст помог Хасану выпутаться из беды. Когда жандармы оцепили базар, то на мальчика не обратили внимания. А Слиман поджидал его за крепостной стеной. Кроме хлеба, который им поручено было достать, они принесли еще и финики. Место сбора было назначено далеко, очень далеко, в глубине леса. Погода стояла пасмурная. Подвывали шакалы, и было так темно... Несколько раз прокричала сова. Хасан бросил в нее камень и прогнал.

— Убирайся, противная тварь. Ты приносишь несчастье.

— Правильно сделал, — сказал Слиман. — Каждый раз, как она усядется над нами, можешь быть уверен: жди беды.

Они первыми пришли к месту сбора. Остальным надо было укрыть в надежном месте или сбыть добычу. Кроме

ого, им следовало изловчиться и не попасть в ловушку. В лесу со всех сторон слышались шорохи диких зверей. Перекликались ночные птицы. От земли тянуло сыростью. Убежище было устроено ловко, его практически нельзя было увидеть. Добраться до него можно было только оврагом. Кроме того, существовало еще два выхода, они вели к вершине горы, заросшей пробковым дубом. Горы тянулись одна за другой, а между ними – глубокие ущелья. И все поросло непроходимыми чащами, откуда веяло покоем и безмятежностью.

### XXXIV

А каид тем временем раскинул свои сети. За последние несколько месяцев он связался с другими каидами, со всеми родственниками и друзьями. На горных хребтах, наблюдая за дорогами, стояли дозорные, выдававшие себя за пастухов. Все бандиты, и явные, и тайные, с которыми он был в контакте, получили указание служить наводчиками жандармам. В обмен на их услуги он пообещал смотреть сквозь пальцы на совершаемые ими преступления. Его единомышленники хотели во что бы то ни стало заманить Бусетту, предводителя взбунтовавшихся крестьян, в петлю. Им надоели собственные бесконечные толки на эту тему:

— Он свое получит.

— Веревка по нем плачет.

— Ох уж и протащат его жандармские кони!

— Пусть у него глаза повылезут.

— Пусть шакалы отведают его мяса.

— А если его иглы колючие не возьмут, стервятники обглодают его кости.

Зато крестьяне говорили:

— Да хранит его Аллах!

— Пусть погибнут те, кто хочет его гибели. Пусть сдохнут, как бездомные псы. Пусть лишатся глаз. Пусть на них нападет парша. Пусть заболеют оспой. Пусть она изъест им

лицо. Пусть умрут от холеры. Пусть покроются фурункулами.

Гамра, например, рассказывала, как он пришел к ней однажды вечером, когда она пекла медовый пирог для ребятишек, заливавшихся слезами.

— Хочешь есть?» — спросила я его, отрезая кусок пирога. Он съел его и ушел, крикнув на прощание: «Остальное отдай ребятишкам». Какой же это бандит? Разве бандиты так поступают? Если бы все мужчины были похожи на него, то мир стал бы иной».

Гамра осталась вдовой с двумя ребятишками. В ту пору достаток и процветание у семьи определялись количеством жен ее главы и сторожевых псов, охраняющих дом. А у старшего брата мужа Гамры как раз умерла от родов третья жена. Вместо нее он хотел взять Гамру, тогда еще молодую и крепкую, да только она отказала ему из любви к покойному мужу. И детей своих она очень любила. На нее легла вся тяжесть домашних работ. Другие женщины ненавидели ее. При жизни мужа на лице ее никто не видел печали. Она всегда была веселой, искренней и отзывчивой. Муж никогда не бил ее. Он дарил ей красивые украшения, привозил ей цветастые платья и красные платки. В ее сундуке хранилось много ореховой шелухи, поэтому зубы у нее были белые, как молоко, а губы выкрашены хной. Другие невестки завидовали ей, а братья постоянно упрекали ее мужа за то, что он так к ней относится. Но он не обращал на их слова внимания. Вот женщины и возненавидели ее.

А теперь представился удобный случай отплатить ей за все: она овдовела. Женщины стали уговаривать старшего брата взять ее в жены.

— Неважно, хочет она или нет, — говорили они.

Раздраженные ее отказом и тем пренебрежением, с каким она всякий раз выслушивала их, когда они заводили разговор о свадьбе и о старшем брате ее мужа, они всеми способами старались досадить ей. Плевали ей вслед просто



так, без всякого повода. Сначала отняли у нее одеяла, а потом, с благословения мужчин, и вовсе прогнали из дома, где все они жили. Она и это снесла, построила себе хижину. Затем настала очередь ребятишек, стали преследовать их. Питались они одними отбросами, которые кидали им вместе с собаками. Гамра из сил выбивалась, чтобы накормить их, и это ей удавалось; правда, ей помогали мать с братьями. Она не уставала повторять:

— У меня два мальчика. Вот вырастут они, станут мужчинами и вызволят меня из нужды. Ради них я на все согласна.

Увидев, в какой нищете живет дочь, мать и братья Гамры хотели забрать ее к себе. Но семейство мужа не отдавало им детей. Дело чуть не кончилось бедой. Без детей для Гамры не было жизни. Она осталась с ними. Мать оплакивала дочь:

— Доченька моя с глазами газели, посмотри на себя, на кого ты стала похожа! От тебя ничего не осталось. Где моя дочка, где твое медовое личико? А ведь ты цвета, как цветочек.

Мать вернулась домой вся сгорбившись, лицо ее избороздили морщины, сердце было разбито, печаль снедала ее.

А Гамра, намаявшись за день, приходила по вечерам в свою хижину к детям, которые радостно бросались к ней. Это был их мир, на который никто не смел посягнуть.

— Любое живое существо имеет право на жизнь, — говорила им она.

Она оживлялась и, забыв все свои печали, начинала что-нибудь рассказывать им. Ее ясный звонкий голос уносил детей в иной, фантастический мир, где правда и неправда соперничали друг с другом. Где правила всем беспричинная злоба. И зависть. И ненависть. Жестокие силы стояли над всем. Потом появлялся сирота, который жил на природе. Сама земля помогала ему, вела с ним беседы. Все как в сказке. Пальма давала ему молоко и финики. Птицы с ним

разговаривали. И все это мог видеть один только сирота, для него одного это было возможно.

Другие женщины, обсуждая Гамру, судачили между собой:

— Что она о себе возомнила?

— В конце концов, самая обыкновенная женщина.

— Абас прав. Что эта Гамра себе позволяет!

— Зачем ему искать другую женщину, если она живет у него под крышей и без мужа?

— Мужчина имеет полное право взять себе жену брата. Такова жизнь.

### XXXV

Каид отправился вместе с жандармами на гнедом коне. Он хохотал во все горло. Коней едва удавалось сдерживать.

— Знаменитый был мешуи. Такое не скоро забывается, — сказал один жандарм.

— Вот поймашь головорезов, и мы угостим тебя еще.

Жандармы продвигались цепочкой, словно солдаты. От дозорных стали поступать сигналы, которые они посылали при помощи факелов и зеркал. Гонцы сменяли один другого, сообщая последние новости:

— Они поднимаются, следуя ущельем Черного Утеса.

— Выходят к Шакальей Реке.

— Наши люди следуют за ними по пятам.

— Они у Норы Гиены.

— Идут по дроковому полю.

— Свернули на нижнюю дорогу.

— Они чуют ловушку.

— Понимают, что край подошел.

— Не знают, куда податься.

— Направляются к Черной Реке, в сторону леса.

Маленькая группа Бусетты надеялась укрыться в лесу. Никогда еще столько людей не шло по их следу. На рассве-

те часовой сообщил им о подозрительных передвижениях. Им пришлось покинуть свое пристанище и бежать. Вся надежда была на лес, где их ждали товарищи. Они пойдут все дальше, все глубже. Лес вставал перед ними, словно черная стена – непроходимый, дикий, густой.

— На этот раз они охотятся только за нами, — сказал Бусетта. — Ничто другое их не интересует. Посмотрите, они окружают нас со всех сторон. Видно, хотят отрезать нам дорогу и раскинуть сети, чтобы взять нас, как стаю куропа-ток.

Его бил такой сильный кашель, что ему трудно было бежать. Он сам не свой, словно какой-то демон вселился в него. Смерти он не боялся.

— В какую передрагу ты нас втянул, — сказал ему Бельхир. — Лучше бы уж мы остались в пещере.

— Ступай, ступай! — ответил тот сердито. — Смерть за тобой придет, когда Аллаху будет угодно.

Самый старый из них, Усач, ему было под пятьдесят, с белой как снег бородой, предложил принять бой.

— Я никого живым не пропущу.

— Марш, марш вперед! — приказал Бусетта. — Они только этого и ждут. У нас нет ни малейшего шанса.

— А потом у нас разве будет шанс? — с мрачным видом возразил Кривой. — Нам так и так крышка. Может, лучше сдаться?

Слово «сдаться» ударило их, как обухом по голове. Они остановились, с трудом переводя дух, и горестно посмотрели в глаза друг другу. Все они с неприязнью относились к Кривому из-за его мелочного и вздорного характера. Никто из них понять не мог, почему они согласились принять его в разбойничью семью. Может, из чувства локтя. Хотя он уже давно откололся от них. Вконец измученный удушли-вым кашлем, Бусетта пресек все споры, обрушившись на Кривого.

— Сдавайся, если хочешь, ничтожество! — яростно бросил он и первым пошел вперед, за ним все остальные.

Это напоминало охоту на шакала. Крики доносились со всех сторон. Видно, их окружили.

— Тут, пожалуй, не только жандармы и наводчики. Похоже, есть и те, кто знает ремесло, — молвил старый Усач. — Посмотрите-ка, как они прочесывают ущелья, будто ищут похищенную дочь.

— Уж не ты ли та самая дочь? — спросил Бусетта.

Оба засмеялись. Лес был от них в двух шагах. Остановившись, Усач оглядел их всех, кивая головой. Жандармы, добравшиеся до хребта, стали стрелять в них, пока они не исчезли в лесу.

Встревоженные выстрелами, Хасан с Мусой торопливо выскочили из хижины и, взобравшись на выжженный пригорок, огляделись вокруг, но ничего не увидели. Не находя себе места от беспокойства, они не знали, что следует предпринять. Снизу послышался шум.

— Пошли поглядим, — предложил Хасан. — Может, это они?

— Погоди немного, — ответил ему Муса. — Если это они, то должны подать сигнал.

Раздался короткий, но громкий свист.

— Это старый Усач, — сразу успокоившись, сказал Муса.

Они бегом спустились с пригорка. Но мрачный вид товарищей и поспешность, с какой они двигались, испугали их.

— Забирайте всю провизию и бегите! — приказал Бусетта. — Есть место, где можно пробиться сквозь заслон, опрокинуть жандармов, если те придут первыми. Спустимся в ущелье, потом снова поднимемся.

Они по очереди бросились следом за ним в ущелье. Вода хлюпала у них под ногами. У каждого было охотничье ружье, заряженное дробью. Только у Хасана не было, он

никогда в жизни не держал в руках оружие. Увидев его, Бусетта спросил:

— Ты умеешь стрелять, малыш? — и протянул ему свой револьвер.

— Лучше ружье, — сказал Хасан.

Тот отдал ему ружье. Схватив его, Хасан преисполнился гордости. Подумать только, настоящее ружье! Он запрыгал от радости, позабыв о подстерегавшей их опасности. Но выстрелы, застрекотавшие со всех сторон, вернули его к действительности. Пули сыпались сверху, дно ущелья оказалось ловушкой. Сущей мышеловкой. Огонь был очень сильный и бил по одной точке, так что первые трое были убиты сразу наповал, не успев сделать ни единого выстрела. Лужи в ущелье окрасились кровью. Остальные, опомнившись, стали стрелять, но огонь не давал им распрямиться, пули сыпались градом.

— Сюда, — крикнул Усач, — ближе к скалам! Там мы сумеем продержаться.

— Это конец, — сказал один.

— Остается дорого продать свою шкуру, — вторил ему другой.

Пули сыпались не переставая. Среди скал каждый нашел себе укрытие. Бусетту бил кашель, и казалось, вместе с кашлем выходят его легкие. Ударяясь о скалы, пули поднимали легкую белую пыль.

— Не давайся живым, малыш, — сказал Хасану старик. — Речь идет о твоей чести.

— Не стреляйте. Дайте им подойти поближе, потом откроем огонь все разом, — приказал Бусетта. Приступ кашля закончился, голос его звучал ясно и громко.

Жандармы подходили все ближе, стреляя во все стороны, так что ветки трещали. Птицы в ужасе улетели.

— Ой, мамочка! — вскрикнул кто-то. Оказалось, Бельхир. Он упал плашмя, кровь фонтаном хлынула у него из горла.

— Конец им, — сказал один жандарм. — У них нет никакой надежды.

Каид ликовал, отдавая приказ:

— Вперед, вперед!

Его зычный голос слышно было издалека.

— Эх, если бы он пришел сюда! — вздохнул старик.

— Он будет мой, дядя, — сказал Хасан.

— А ты молодец, не пал духом. Из тебя выйдет толк, — заметил старик.

Снова загремели выстрелы.

— Они совсем близко, — сказал Бусетта. — Вы готовы?

И в эту самую минуту пуля угодила ему в ногу. Он скорчился от боли. Лицо его исказилось. И тут выскочили жандармы.

Он подал сигнал, и начался сущий ад. Среди скал, там, где засели мятежники, в самом центре пальбы все утопало в белой пыли, похожей на туман. Когда немного прояснилось, Хасан вдруг увидел управляющего. Он шел впереди. Старик взял его на мушку, но не успел выстрелить: Хасан отвел его ружье.

— Он мой, дядя, оставь его мне.

Старик улыбнулся:

— Твой, твой, давай стреляй.

Хасан целился управляющему в грудь. Грянул выстрел. Ружье немного подскочило, и управляющий упал с размаху, хватаясь руками за лицо.

— Место в раю тебе обеспечено, — сказал старик Хасану.

— Спасибо, дядя, спасибо.

Пальба усилилась. От пуль свистело в ушах, они разрывались у их ног, оставляя отметины на камне. Мятежники сражались, как львы. Никому не удалось подойти к ним живым. Нападающие, ошеломленные, отступили. Настала минута передышки. Вдруг одновременно прозвучали два

выстрела. Тут же раздался душераздирающий вопль Криво-го: «Ой, мама!»

— Пошли поглядим, — сказал старик Хасану.

Они стали пробираться ползком. Хасан показал старику на безжизненно свисавшую из-за скалы ногу.

— Это Кривой. Душа его уже в аду. Ну, пошли.

Они обогнули, каждый со своей стороны, выступ скалы и увидели Бусетту, лежавшего в крови. Вслед за ними подползли Махмуд с Омаром. Бусетта улыбался, на губах у него выступала кровь.

— Негодяй, хотел ко мне сзади подойти, — молвил он.

— Надеялся выслужиться перед этими псами, — сказал старик с горечью. — Мне уже давно следовало бы разделиться с ним.

Окружив своего жожака, они осмотрели его раны.

— Подумайте лучше о себе, со мной все кончено. До сегодняшнего дня я считал, что мы никчемные люди. Но теперь, перед лицом смерти и тех, кто нас преследует, я начинаю думать, что мы собой что-то представляем. Быть может, большую совесть тех, кто нас преследует.

Взгляд его прояснился, и уже на пороге смерти, здесь, в затерянном уголке среди скал, он стал вспоминать родных, свою деревню, думал обо всех деревнях, о родной стране, о целом мире и даже о вселенной с ее сверкающими звездами, о правде и неправде.

— Они свое получили и теперь вернутся не скоро, — произнес он с трудом. — Дождитесь ночи, ночью...

Он недоговорил. Из рта его хлынула кровь. Хасан не мог удержаться и горько заплакал.

— Такая уж судьба, малыш. Крепись, тебе еще и не такое придется увидеть, — сказал ему старик.

— А если попробовать все-таки прорваться, — молвил Лахдар.

— Надо продержаться до ночи, — сказал в ответ старик, — иначе они нас всех перебьют. Нас было двенадцать. Те-

перь осталось только пять. А у них целая армия. Главное, не подпускайте их близко. Вся надежда на эти скалы. Чтобы добраться до нас, им надо выйти из-под прикрытия. Клянусь биться до самого конца.

— Мы все будем драться до последнего, — вторили ему остальные.

— Нам смерть не страшна. А они боятся умереть. В этом наше спасение и единственный шанс на успех, — сказал старик.

А в другом лагере говорил каид:

— Они окружены. Бежать им некуда.

— Я не хочу туда идти! — крикнул какой-то крестьянин.

— Мы не хотим больше туда идти! — подхватили и все остальные.

— Они хорошо там укрылись.

— Если не считать первых трех, мы даже не знаем, есть ли у них убитые.

— Пусть жандармы идут.

— Их надо перебить всех до одного, — говорили жандармы. — Это послужит уроком. Раз уж удалось заманить их в мышеловку, нельзя допускать, чтобы они скрылись, каид.

— Крестьяне не хотят больше туда идти. Говорят, пусть жандармы идут.

— Ну нет, — живо возразил жандарм, стараясь скрыть свой страх. — Скажи им, что они мобилизованы на борьбу с бандитизмом. Ведь бандиты грабят не меня, а их. Пусть они и идут. Это ты обязан мобилизовать туземцев. Прикажи им наступать, иначе это сделаю я с помощью вот этой штуки.

Он показал на свой карабин. Каид заговорил:

— Если не пойдете, я расскажу жандармам все, что про вас знаю. Аллаху все ведомо, он знает, что каждому из вас есть в чем себя упрекнуть. Украл яйцо, иголку, курицу, барана или быка — все едино, за все полагается тюрьма. Я напущу на вас судебного пристава, и уж он возьмется за вас,



отберет урожай, скотину. А жандармы, вот эти самые, отправят вас на каторгу. Лучше уж разделаться поскорее с теми, и дело с концом. Окружим их. Они как в мышеловке.

Жандармы спешили и тоже, в свою очередь, взялись за крестьян, подталкивая их штыками в спину.

— А ну, вперед! — приказывали они.

— Вперед! — орал кайд. — Бессовестные псы! И чтобы я вас больше не видел у моего амбара!

Крестьяне выглядели теперь совсем иначе. Некоторые были ранены. Они продвигались вперед, искоса поглядывая на жандармов, шедших следом за ними. Они пожалели, что явились сюда, что набросились на горстку людей, которые ничего им плохого не сделали и ничем перед ними не могли похвастать, больше того, были такими же бесправными, как они. Увидев, как те сражались, не щадя жизни, они все в глубине души желали им удачи. Крестьяне продвигались так медленно, что жандармы, раскрасневшись от злости, открыли пальбу. Пули градом сыпались на маленькую группу людей. Жандармы стреляли из автоматов. Конца этому, казалось, не будет. Мятежникам пришлось укрыться за скалами.

— Они опять идут. На этот раз с жандармами. Будьте готовы.

Новая автоматная очередь с более точным прицелом раздробила скалы. Как смерч, закружили осколки, годив старику и Омару прямо в лицо. Когда они подняли головы, Хасан увидел, что кровь течет у них по лбу и по щекам. Побледнев, он кинулся осматривать раны старика.

— Пустяки, — сказал тот. — Это всего лишь осколки.

Омар перепугался, увидев на себе кровь.

— Они в меня попали! — твердил он, весь дрожа. — Они в меня попали!..

И если бы не Лахдар, который силой удержал его, схватив за талию, он вскочил бы на ноги под огнем жандармов.

— Пустяки, — успокаивали его остальные. — Дай-ка по-смотреть.

Лахдар вытер кровь рукой и осмотрел раны.

— Пустяки, — подтвердил он. — Только осколки. Болеть будет сильно, но это не опасно. Кровь уже застывает. Скоро перестанет течь. Заряжай ружье. Они идут.

Пальба с новой силой возобновилась с двух сторон. Крестьяне попрятались под деревьями, отказываясь идти вперед. Жандармы надрывались от крика:

— Стадо баранов, жалкие трусы! Пойдете вы, наконец, или нет?

Они принялись колотить крестьян прикладами.

— Жаль, что их не достанешь, — сказал старик.

Вдруг на самом гребне за деревом показался жандарм. Видно, он хотел точно установить место, где укрылись мятежники. В руках у него что-то было.

— Наверное, граната, — сказал старик, неторопливо прицелился и нажал на спусковой крючок. Жандарм рухнул наземь. Граната взорвалась. Земля задрожала, и с оглушительным грохотом взметнулось облако пыли. Жандармы прекратили огонь и бросились к своему товарищу. Еще двух жандармов ранило в ногу. «Ай-ай!» — стонали они, корчась от боли. Когда старик выстрелил, жандарм, державший гранату, упал на нее. Взрывом его разнесло на куски. Жандармы в ужасе заметались, ничего не видя вокруг. Воспользовавшись этим, крестьяне тут же разбежались.

— Что случилось? — спросил оглушенный Хасан.

— Это наш шанс. Бежим! — приказал старый Усач.

Они стали пробираться ползком между скал по направлению к деревьям, оставленным крестьянами.

— Если доберемся до леса, — сказал старик, — ступайте на север. Лес там такой густой, что никто вас никогда не найдет.

Они уже почти достигли деревьев, когда лавина огня снова обрушилась на них. Пули свистели и впереди, и по-

зади, и рядом. Их прижало к земле. Хасана ранило в руку, кровь лилась из сквозной раны. Его подташнивало. Старик полз, оставляя за собой кровавый след. Лахдар не шевелился, изрешеченный пулями. В тот момент, когда Омар сделал последний прыжок, чтобы добраться до леса, его задела пуля, и он со стоном покатился в чащу. Жандармы продолжали стрелять наугад. Как только они оказались под прикрытием деревьев, старик, едва переводя дух, прислонился к стволу.

— Только мы уцелели. Да ты, я вижу, тоже ранен, — сказал он Хасану. — А ну-ка покажи!

Побледневший Хасан присел рядом с ним. Теперь он чувствовал боль. Старик перевязал ему руку, размотав свой тюрбан, и, глядя на него с нежностью, отческим тоном сказал:

— Ступай, малыш. Я не хочу, чтобы они поймали или убили тебя. У меня был сын, такой же, как ты. Они убили его. Застали, когда он жарил зерна пшеницы, и убили. Чтобы отомстить за него, я и стал разбойником. Я отомстил. Но раз стал разбойником, тут уж ничего не поделаешь. Это на всю жизнь. Для меня все кончено. А тебе надо бросать, пока не поздно. Поищи себе другое занятие.

— Пойдем со мной, дядя! — молил Хасан. — Будем вместе. Тебя вылечат, вот увидишь.

Старик поднял рубашку. Грудь его была покрыта сгустками крови.

— Посмотри. Дальше идти я не могу. Оставь меня и беги.

Хасан хотел было поддержать его, помочь ему подняться. Старик сделал последнее усилие, чтобы встать на ноги. Но, едва поднявшись, тут же упал замертво. Хасан покатился на землю вместе с ним. Он оплакивал его, как родного отца, дрожа всем телом, словно малый ребенок. Вдруг до него донесся голос каида.

— Все погибли, — сказал он.

Но жандармы упорно продвигались вперед. Хасан решил уйти, поклявшись себе, что оплатит кайду при первой возможности.

Бесшумно, словно дикий зверь, он скользнул в лес. В густой чаще тянуло запахом прелой земли. Под деревьями он увидел сгнившие грибы и желтые, едва раскрывшиеся цветы. Кое-где в просветах между деревьями виднелось ярко-голубое небо. По нему, свернувшись клубочком, мирно плыло в обратную сторону белое облачко.

### XXXVI

Надругавшись над мертвыми, жандармы вместе с кайдом двинулись обратно в деревню, унося с собой в мешке останки своего товарища. Двое раненых тихо стонали. Солнце клонилось к закату. Тени становились длиннее. Жандармы, рассвирепев, окружили деревню. Подручные кайда стали выволакивать всех жителей на улицу. Залаяли собаки. Послышалось мычание коров, рев ослов, крики женщин, рвавших на себе волосы, плач детей.

Жандармов обуревала жажда мести, в их хмурых, суровых взглядах застыла жестокая решимость. Мужчин, отделенных от остальной массы людей, окружили конные жандармы во главе с кайдом. Его тень, мрачная, угрюмая, распласталась на земле, словно хищная птица. Он был готов на все. Круг замкнулся. Упитанные кони пофыркивали. Крестьяне с поднятыми вверх руками молча ждали.

— Расскажи им, кайд, что произошло, — сухо приказал жандарм Рено.

Удивленный кайд невнятно забормотал:

— Вы знаете... у них...

Потом, опомнившись, твердо произнес:

— Погиб жандарм.

Крестьяне не шелохнулись.

— Вы... вы... вы просто псы! По вашей вине погиб жандарм. Два других тя... тяжело ранены. А вы стоите и молчите.

Люди по-прежнему безмолвствовали. Каид едва сдерживал себя, сидя в седле. Обезумев от бешенства, он походил скорее на дикого зверя, готового броситься на свою жертву, чем на человека, который держит речь.

— Тем хуже для вас... отправитесь в тюрьму, все как один. Тюрьма будет забита. Вас всех сошлют на каторгу.

Толпа дрогнула.

Тогда жандарм Рено оттолкнул каида, встал на его место и злобно сказал:

— По вашей вине погиб жандарм. Надеюсь, что с двумя другими ничего не случится. Но за каждого жандарма, убитого или раненого, я беру десять заложников, причем не просто так, наобум, кого попало, а отцов семейств. Переведи им, каид, переведи этой своре псов, этим злодеям.

Каид не сразу, но перевел.

По толпе прокатился вздох, послышался горестный шепот:

— Ммм... Наши дома опустеют...

Женщины заплакали. С разметавшимися волосами они кинулись к мужчинам.

— Отберите, кого следует, каид. Одних кормильцев! — рявкнул жандарм. — А вы слезайте с коней и вяжите их.

Каид и его подручные стали отбирать людей ударами прикладов:

— Ты... ты... ты...

Каид начал со своих врагов. Потом настала очередь тех, кто противился его власти.

— Это националисты, — говорил он.

И наконец, указал тех, кто требовал назад свои земли.

«Ай-ай!» — причитали женщины.

Ребятишки плакали. А тридцать мужчин стояли со связанными за спиной мозолистыми руками. Душу их терзала

несказанная мука, но босые и полураздетые, с усатыми, изрезанными морщинами лицами с нависшими бровями, они не склонили головы. Вскоре женщин и детей оттеснили от них ударами прикладов и холостыми выстрелами. Затем жандармы построились в колонну и двинулись, волоча за собой на веревке пленников. Опасаясь бунта, они решили уйти немедленно, несмотря на спускавшиеся сумерки.

### XXXVII

Примерно в это же время измученный, раненый Хасан выбрался наконец из непроходимой чащи. Весь исцарапанный, в изодранной одежде. Рука у него страшно болела. Очутившись вблизи стада блеющих коз, он увидел их пастуха, верхом на осле, который, не переставая кричал, понукая коз. Заметив Хасана, он остановил осла, но слезать не стал.

— Брат, — спросил он, — тебе что-нибудь надо?

— Я очень голоден. С меня хватит куска лепешки, — ответил Хасан, стараясь всеми силами держаться естественно.

— Тебе плохо, — сказал мальчик. — Пойдем к нам. Отец дома. Он тебе поможет.

Хасан попытался скрыть рану, но было уже поздно. Широкое красное пятно проступило на повязке.

— Я отведу стадо и тут же вернусь, — пообещал мальчик.

Он понукал осла, пока тот в конце концов не тронулся с места. Хасан лег. Небесная синь постепенно спускалась на землю. У горизонта серп луны плыл куда-то в неведомую бесконечность. Хасана вдруг охватили сомнения.

— Надо бы поостеречься, — говорил он себе. — Кто знает...

Его била дрожь. Серебряный свет луны рассеял сумерки. Завыли шакалы. Птиц как будто стало больше. Одни,

видно, только что проснулись, другие пели на сон грядущий. Некоторые звуки Хасан распознать не мог. Это были протяжные, низкие крики. Его воображению представились огромные птицы диковинных, ярких расцветок. Тут он услышал какой-то приглушенный шум, вернее всего, чьи-то шаги. Он приподнялся, проверил, заряжено ли ружье. Раненая рука сильно мешала ему. В этот момент его окликнул знакомый голос.

«Неужели? – подумал он. – Да это голос Мусы».

Муса снова позвал его.

«Точно он», — решил Хасан.

— Я здесь! – крикнул он и пошел ему навстречу.

Тень от деревьев мешала ему разглядеть Мусу.

— Ты где? – закричал он.

Зацепившись за корень, Хасан упал, вскрикнув от боли. Тут подоспел пастух и помог ему подняться. Рука еще больше разболелась. Пошла кровь.

— Идем, — сказал ему пастух. — Дом совсем близко. Отец вылечит тебя... Дядя Муса, подожди немного, мы сейчас придем.

Перейдя маленький ручеек, они увидели Мусу, лежавшего с перевязанной грудью. Он стонал:

— Ох, мама, ох, мама... Ай, ай...

Хасан бросился к его ногам:

— Дядя, что с тобой?

Муса взглянул на него:

— Только ты и остался?

— Только я.

— Пошли в дом, — пригласил их мальчик.

Всю дорогу они поддерживали Мусу, помогая ему идти.

— Ой, мама! – то и дело повторял тот.

Посреди небольшой прогалины стоял дом, окруженный огромными тополями, отливавшими серебром. Залаляли собаки. Прокукарекал петух. Мальчику не сразу удалось успокоить ворчавших псов. Сквозь полуоткрытую дверь вид-

нелся огонек керосиновой лампы, мерцавший внутри помещения. Их встретили двое мужчин.

— Тебе не следовало выходить, — сказали они Мусе, продолжавшему стонать:

— Ай, ай, ох, мама!

Внутри дома стояли, робко прижавшись в углу, три взрослых девушки. Мусу уложили на расстеленное покрывало, подсунув под голову ему подушку. Он был так плох, что Хасан чуть не заплакал. Вошли две женщины, держа за ручки глиняный сосуд с кипятком. Муса, не переставая, стонал.

— Не бойся, — сказал он Хасану, с трудом преодолевая боль. — Здесь живет моя сестра.

— Не бойся, — подхватили другие. — Ты здесь как дома. Мы тебя вылечим.

Сестра Мусы присела возле Хасана. Он снял повязку из тюрбана, пропитавшуюся кровью, открыв зияющую рану, которая начала гноиться. Женщина сморщилась, промывая рану, она останавливалась, когда Хасан не выдерживал и начинал стонать от боли, потом продолжала свое дело осторожно, но быстро. Прядь черных волос падала ей на лоб, глаза были, как миндалины, а брови густые. Она промыла рану и приложила к ней зеленые листья, похожие на виноградные, но более темные и плотные. Потом наложила повязку из полос, на которые разрежала одно из своих платьев, пахнувшее мылом.

— Да ниспошлет тебе Аллах долгую жизнь, сестра, — сказал ей Хасан, сразу почувствовав себя лучше.

Один из мужчин взял у него ружье с сумкой. Принесли еду: шорбу с курицей. Мужчины ели все вместе. Женщины и дети сели кружком в стороне. Мусе трудно было подносить ложку ко рту.

— Ай, ай! — кричал он.

Сестра подошла к нему и стала кормить с ложки, давая бульон и куски курицы.



— Ешь, это придаст тебе сил, — говорила она.

Хасан изрядно проголодался. И чем больше он ел, тем больше ему хотелось есть.

Мужчины глазам своим не верили.

«Неужели можно стать разбойником в таком возрасте?»

— дивились они.

А он, опустив голову, все ел и ел.

### XXXVIII

С тех пор как Хасан покинул деревню, там столько всего случилось!

Чернушку, связанную по рукам и ногам веревкой из конопли, держали взаперти до самой свадьбы. Она совсем высохла, от нее остались одни глаза. Потом ее посадили на мула и повезли в сопровождении свадебного кортежа. Песни перемежались торжествующими возгласами женщин. Чернушка не раз пыталась выпрыгнуть из мисены<sup>29</sup>, но ее ловили и сажали обратно. Мать щипала ее, ругая последними словами. Пастухи бросали ей вслед камнями: так уж заведено обычаем, если невеста покидает родную деревню. Это было проявлением своего рода инстинкта самосохранения, появившегося в те далекие времена, когда клан только зарождался: покидая свой клан, люди тем самым как бы ослабляли его. А уж если где-то на стороне создавался семейный очаг, то тут и говорить нечего — это был чистый урон.

— Если наши девушки станут выходить замуж за чужаков, кого же брать в жены нашим парням? — говорили люди.

Хотя в отношении Чернушки речь шла вовсе не о замужестве, а о муке мученической.

---

<sup>29</sup> Мисена — сооружение, которое помещают на спину мула (на севере страны) или верблюда (на юге страны) и в котором совершает путешествие невеста.

Как тут не вспомнить еще об одной свадьбе. Надо сказать, что отец жениха был очень беден, и куда бы он ни шел свататься, он всюду получал отказ. Али был по званию сказителем и жил своими сказаниями, развлекая и каида, и другие зажиточные семьи. Ему пришлось долго искать, но в конце концов он нашел-таки жену для своего сына в семье, жившей в лесу. Когда же наступил день свадьбы, он снова отправился на поиски, ибо теперь ему нужен был мул, чтобы привезти свою будущую сноху, но ни одной милосердной души, которая согласилась бы ему помочь, он так и не сыскал. Человек этот не отличался особой щепетильностью, поэтому, надев новые сандалии из еще не просохшей кожи, он вместе с братом запряг быка, на котором пахал землю, и двинулся в путь.

В деревне мужчины и женщины принялись судачить:

— Какой стыд – везти женщину на быке!

— Такого еще никто не видывал.

— Позор на его голову!

Однако нашлись и другие, которые говорили:

— И на нашу тоже.

— Теперь пойдут досужие разговоры.

— Что подумают о нас другие кланы?

— Что у нас нет мулов.

— Или что у нас никто не хочет помочь ближнему.

— Не позволим запятнать нашу честь.

Они оседлали несколько мулов, прихватили свои ружья и тоже двинулись в путь. То было время, когда цвели пахучие травы и все вокруг благоухало.

После ухода жандармов в день битвы с мятежниками в деревне все перевернулось вверх дном, словно в день страшного суда. Одни оплакивали своих родных, тех, кого убили. Другие – своего отца, дядю, родственника, взятого в заложники и сосланного на каторгу.

— Это день бедствия!.. – стонала толпа.

Вдруг кто-то сказал:

— Я участвовал в битве и видел среди разбойников сына Айши.

Толпа замерла, потом смятение вновь овладело ею. То и дело слышались вопли, крики: «Где мой отец? Где мой брат? Где отец моих детей? Где мой дядя?»

Спустилась ночь, засверкали звезды. Белой полосой разметался Млечный Путь. Деревья торчали из земли, словно чьи-то тени. Собаки заливались лаем от одного конца деревни до другого. И вдруг вспыхнул яркий огонь, взметнувшись к соломенной крыше, — это загорелся дом Айши. Бурлящая толпа кинулась гасить пожар. Но огонь уже охватил дом со всех сторон, его красноватый отблеск полыхал высоко в небе. И ни стоны, ни жалобы никто так и не услышал.

— Слишком поздно.

— Они, должно быть, внутри. Да упокоит Аллах их души, — сказал кто-то тихим голосом.

— Так им и надо, получили по заслугам.

— Кто-то, видно, поджег дом со всех четырех углов.

Дом пылал как факел, трещали горящие ветки. И вот хижина рухнула разом. В ночи прокатился гул голосов. Толпа кружила вокруг.

— Это небесная кара!

— Совсем еще мальчишка, а связался с бандитами!

— Пропадет ни за что.

— Пусть умрет медленной смертью.

— Столько несчастий обрушилось из-за него на нас.

— Его дом сгорел вместе с матерью и хромым братом.

— Аллах наслал огонь, чтобы он увидел, в каком огне будет сам гореть в аду.

— Мы все это видим, мы все свидетели.

Толпа пылала негодованием. Хотя обычно люди эти проявляли большее понимание и человечность.

Когда старший сын кайда вошел к нему в комнату, кайд сидел, скрестив ноги, и был похож на орла: его, по всей ви-

димости, ничто не тревожило. Свершив задуманную месть, он чувствовал себя вполне счастливым, уверовав в свое могущество. Мать, третья жена каида, села рядом с сыном, голова ее была закутана в платок, а ноги, окрашенные хной, были босы.

— Отец, ты не должен был этого делать. Это слишком. Кто знает, откуда ждать беды. Разве можно так жестоко преследовать людей.

Отец замер. Он знал, что двое старших сыновей не разделяют его взглядов, но надеялся, что с возрастом это пройдет, что они, постигнув смысл власти, со временем станут ему хорошей сменой и найдут оправдание его поступком.

— С этими людьми нельзя церемониться. Любое добро, которое для них делаешь, оборачивается злом. Ведь только благодаря мне они остаются в живых в голодные годы.

Он испытывал разочарование, вспоминая свою доброту к этим людям, у которых такая короткая память.

— Если ты с этим пришел ко мне, прочь с глаз моих! — охваченный яростью, крикнул он.

— Нельзя так жестоко преследовать людей, — повторил сын, выходя из комнаты.

Внешне он был очень похож на отца. Ладно скроенный, сильный и молодой. Лоб у него был такой же широкий, только нос немного расплюсчен. Женщина не проронила ни слова. Она слишком хорошо знала характер своего мужа и его гневные вспышки. И только спустя некоторое время сказала, раскачиваясь из стороны в сторону:

— Да, мой господин. Все эти голодранцы, которых ты кормил, затаили зло против тебя. Вместо благодарности за нашу доброту они платят нам ненавистью да завистью.

Весь кипя от злобы, каид поднял глаза на жену и, размахивая руками, заговорил:

— Ты права, жена! Придется отыскать этого сукина сына, даже если он надумает спрятаться во чреве своей мате-

ри. Я найду его и заставлю за все заплатить сполна. Я сотру его с лица земли.

Наступила крошечная тьма, и толпа в конце концов разошлась, но продолжала гудеть внутри домов. В ночи слышался плач. Были шакалы, привлеченные запахом крови. Не переставая, лаяли собаки. Падучие звезды бороздили небесную высь, исчезая где-то на востоке, за сьеррой. Дом Айши все еще дымился слегка.

Два человеческих существа превратились в пепел, и никому не было дела до их трагической судьбы. Их пепел развеется по земле в том страшном мире, что задыхался, став пленником с веревкой на шее.

### XXXIX

Дом на прогалине – так называли место, где жила сестра Мусы. На маленькой полянке всегда было зелено. Весной она была сплошь усеяна нарциссами и казалась райским уголком, отгороженным темной стеной леса. Стволы пробкового дуба стояли тесно, один к одному, без единого про света, и так до самого моря.

Колонизаторы пришли в этот край давно. Победители теснили местных жителей все дальше и дальше. Они отступали, унося с собой свои мушкеты, и стали жить седи диких зверей. С той поры в лесу и поселились люди.

И сейчас еще долгими зимними ночами можно услышать рассказы о том, как появились здесь полчища французской армии, как гремели их пушки, сея смерть. Потом начались грабежи. Так в 1871 году пятьсот тысяч акров земли перешли в чужие руки. До сих пор жива была память об этих богатых, плодотворных землях. По берегам уэдов росли огромные тополя. А сколько было вязов! Когда же наступала пора цветения, шиповник и арум заполняли все вокруг. В камышовых зарослях птицы – золотистые, желтые, зеленые, голубые – соперничали друг с другом своими песнями, для них ведь не существовало границ, они летали

с севера на юг и с юга на север. Глаза людей застилали слезы, когда они смотрели на сияющую долину, где уэд катил свои бурные воды.

Хасану с Мусой отвели в доме лучшее место. Огонь горел всю ночь. Муса не переставал стонать. Несмотря на усталость, Хасану тоже не удавалось заснуть. Слишком много вопросов теснилось у него в голове. Снова и снова вспоминал он картины битвы с жандармами. То, что ему довелось увидеть за один день, потрясло его. Сколько крови, сколько убитых! Стоило закрыть глаза, как ему начинало казаться, будто голова его раскалывается.

«Что они сделают с моей матерью? — спрашивал он себя. — Останется ли жив дядя Муса?»

Но когда начинала болеть рука, он уже ни о чем не мог думать. Ему становилось нестерпимо страшно. И все-таки каид не шел у него из ума. Он говорил себе: «Я должен убить его. Хватит ли у меня силы? Если бы только дядя Муса остался жив. Уж он бы помог мне».

Но тут же его душой снова овладевали сомнение и страх.

«Захочет ли он помочь? Ну, конечно, он мне поможет. Каид виноват во всех наших бедах. Если никто не осмелится разделаться с ним, я сам это сделаю, и пусть будет, что будет. Я пожертвую собой ради других. Я уничтожу его».

Всю ночь его терзали боль и негодование, он вспоминал все несчастья, причиненные этим человеком, обдумывал свою месть, размышляя о погибшем Бусетте, о старом Усаче, о своем отце, о брате, о матери, о Чернушке.

«Что-то с ней теперь случилось?» — горевал он.

Время от времени он пытался забыть все это и думать только о будущем. Но один и тот же вопрос не давал ему покоя: какое будущее его может ждать?

Все тело у него болело.

— Ой, мама!.. — не переставал повторять Муса в своем бреду.

Была уже глубокая ночь, а Хасан все еще никак не мог успокоиться, вся прошлая жизнь стояла у него перед глазами. Ему было так горько, что он чуть не заплакал. «Как только поправлюсь немного, — думал Хасан, — даже если дядя Муса не сможет пойти со мной, я все равно подстерегу каида на дороге, когда он будет возвращаться с базара. Спрячусь у Красной Скалы, там, где растет миртовое дерево; оттуда, с пригорка, видна вся дорога. Спрячусь и буду ждать. Как только увижу его в белых одеждах на рыжей лошади, так сразу и выстрелю. Пусть знает».

Только на заре, когда женщины начали хлопотать по хозяйству, Хасан наконец заснул. И стал грезить вслух:

— Я пойду... к дикой... яблоне... тутовое дерево на самом гребне... каждый уголок... камень... Небесная гора.

Небесная гора – это одна из вершин в цепи Атласских гор. Ее высшая точка достигает тысячи четырехсот метров. Там ничего не растет. Только вздыбленные гребни сверкают как серебро, а пещер столько, что они образуют настоящий лабиринт. Именно там берут свое начало все местные ручьи и речки. Пещеры называются Водяная, Белая, потому что скалы там известковые, а то есть еще Чертова пещера.

Хасан вспоминал о них, когда во сне искал себе прибежище, ведь он во что бы то ни стало решил убить каида. У самой стены дома заревел осел. Он- то и разбудил их обоих.

— Ох, мама!.. – застонал Муса.

— Как дела, дядя? – спросил Хасан.

— Мне, видно, не выжить. Я весь горю. Меня раздуло, как бурдюк.

И верно, глаза у него ввалились, лицо осунулось. Хасан хотел было подняться, но рука причиняла ему страшную боль.

— Ай! – вскрикнул он.

Но потом все-таки встал, опираясь на здоровую руку, и пошел открыть дверь. Дом затопило солнечным светом. На дворе был уже полдень. Женщины по-прежнему хлопотали на улице. Принесли поесть: молока и горячего кофе, лепешку с маслом. Сестра Мусы, Таус, увидев, что брат ее стал похож на мертвеца, поняла, что часы его сочтены. Она с рыданиями бросилась к его ногам. Муса, как мог, успокоил сестру и попросил Хасана рассказать ему, как было дело в день битвы с жандармами.

— Прежде чем умереть, я хочу узнать э то. Я слышал, палили со всех сторон.

Хасан рассказал ему, как погибли его товарищи, о каждом по очереди.

— Ну, Кривой – это невелика потеря, — сказал Муса. — Душа у него была темная.

— А как тебе-то удалось выбраться, дядя? Мы думали, тебя убили.

— У Кривого со мной были старые счеты. Это он продырявил мне грудь. Когда стихла пальба, я сполз вниз, в ущелье, а там у вас как раз опять началось. Потом я увидел Бекира из деревни Опаленная Скала, он тащил осла. Бекир хороший человек. Раньше мы часто ходили вместе на жатву в верхние долины. «Бери осла и уходи, — сказал он мне. — Для остальных все кончено». Благодаря ослу я и добрался сюда. Я умру. Чувствую, что умираю. Но прежде мне все-таки хотелось бы убедиться, что Кривой за все заплатился. А раз ты говоришь, что это и в самом деле так, то теперь я могу умереть спокойно.

Что там у них вышло с Кривым, никто так и не узнал. Зато всем было известно, что Кривой – отъявленный злодей. Он силой мог вырвать серьги из ушей у женщин, когда те не отдавали просто так. И никто не сомневался в том, что он не пожалеет даже отца с матерью. Многие пытались разделаться с ним, но никому это не удавалось.



Придя немного в себя, Таус попробовала было перевязать брата, но стоило ей прикоснуться к нему, как он начал кричать. У него началась гангрена.

— Убей его. Убей каида, — сказал вдруг Муса Хасану. — Чем меньше будет таких людей на земле, тем лучше.

— Клянусь тебе, дядя, я это сделаю, — отвечал ему Хасан. — Я как раз всю ночь думал о нем. Я говорил себе, что если ты поправишься, то мы, может быть, вместе это сделаем, а, дядя? Поправишься?

Мужчины ушли собирать солому для хижин. Муса промучился еще несколько дней и умер от гангрены. Сестра вцепилась в него и ни за что не хотела отпускать, ее с трудом удалось оторвать от него.

Хасан вскоре поправился. Ему не терпелось поскорее уйти. Родственники Мусы пытались отговорить его:

— Ты попросту ищешь смерти. Что ты можешь один против этого человека? К тому же он сам тебя разыскивает.

Ошеломленный Хасан всплеснул руками:

— Так он, стало быть, знал, что я с ними?

Они рассказали все, что сами узнали. Рассказали ему о пожаре в деревне. Хасан разрыдался, сжав кулаки, стал колотить себя по бокам. Потом потребовал свое ружье и сумку.

— На, возьми еще и револьвер Мусы. Он тебе может пригодиться, — сказала Таус. — Храни тебя Аллах!

## XL

И он ушел. Непреодолимая сила толкала его на самый решительный шаг в жизни. В кешебии, подпоясанной в талии, он был похож на пастуха, а никак не на разбойника. Только глаза блестели, как у лесного зверя. Солнце клонилось к закату, окрасив облака в розовый цвет. Лай собак уже не доносился до него. Он углубился в чащу, держа путь на запад, где лес был не такой густой. Взошла луна, она напоминала огромное серебряное блюдо.

«Надо затаиться и ждать, -думал он. – Но наступит день, когда...»

Всю ночь он шагал, углубившись в свои мысли, и даже забывал порой, где находится, не видел ничего вокруг. Только наткнувшись на дерево, приходил в себя. Тогда он вглядывался в окружавшие его тени, смотрел на падающие звезды. «Даже ангелы и те не знают покоя», — думал Хасан. Он обошел стороной хижины Вороньей деревни, опасаясь, как бы собаки своим лаем не разбудили кого-нибудь. Потом миновал несколько холмов, с шумом пробираясь сквозь низкий кустарник, густой и плотный, распространявший пьянящий терпкий запах. Ночь была тихой. Дул легкий ветерок. Так он шагал до самого утра. А утром, полумертвый от усталости, устроился в укромном уголке в непролазной чаще. На востоке забрезжила заря. Лесная зелень стала отливать медью и бронзой с легкой примесью охры. Горы вдаль отражали небесную синь. Взошло солнце. В его лучах горные вершины засверкали, словно хрусталь. Укрытие было надежным, и он уснул. Но едва он успел закрыть глаза, как страшный кошмар навалился на него. Ему привиделась незнакомая деревня. Дома в ней стояли кругом посреди долины. И в каждом доме — свет. В деревне все безмолвствовало. И вдруг, словно вырвавшись из недр земли, вспыхнуло яркое пламя. Жители в ужасе побежали, а впереди них — собаки и скотина. Тут, откуда ни возьмись, появилась группа конных жандармов и стала стрелять в них. Это было ужасно. В голове у него все смешалось. Он уже не видел ничего, кроме пыли. Густой, мелкой, красной пыли. Проснувшись в страхе, он закричал. Одежда прилипла к телу. Он задыхался. Лицо его исказилось от ужаса.

«Вот что случилось с моим братом и с матерью», — думал Хасан, уткнувшись лицом в ладони.

Заснуть он уже не мог, страшное видение преследовало его. Хасан горько заплакал. Перед ним, насколько хватало

глаз, простирались густые заросли. Жара становилась нестерпимой. Напротив, в южной стороне, как зеркало, сияла в солнечных лучах Небесная гора.

«На закате я пойду дальше. Самое позднее утром я буду наверху».

В сумке он наше лепешку, которую сунула туда сестра Мусы. Он поел и весь день томился тоской.

«У меня не осталось ничего на свете», — думал он. И все вспоминал Чернушку, тревожась за ее судьбу.

«Они наверняка отдали ее замуж», говорил он себе, глядя вдаль, в сторону уэда. Глазам его представляла сказочная, но мучительная для него картина. Поля под паром казались крохотными носовыми платками. Среди них он узнал то, которое обрабатывал для Матушки. Ему хотелось навесить ее.

«А что, если меня увидят? Об этом сразу станет известно. Я могу причинить ей неприятности. Это единственный близкий мне человек», — думал он.

Во второй половине дня жара спала. Солнце у горизонта было похоже на распахнутый веер. Только тогда Хасан решился выйти из своего укрытия. Он потянулся, чтобы размять затекшее тело, и пошел навстречу своей судьбе. До Чертовой пещеры он добрался только при первых проблесках зари, когда все еще утопало в тумане. Чертову пещеру он выбрал из-за близости к деревне Два Форта. Оттуда можно было наблюдать за всем, что происходило внизу. К тому же в Чертовой пещере была вода. Оставалось решить, где брать еду. Но об этом Хасан пока не думал. Его жесткие башмаки не выдержали схватки с колючим кустарником и острыми выступами сьерры, ноги его были стерты в кровь; изнуренный усталостью, он, свернувшись калачиком, заснул.

Наступила осень 1953 года. Зарядили дожди. Каждый день Хасан занимал свой пост у входа в пещеру и следил за всеми передвижениями внизу. Правда, в эту пору года ок-

рестности часто заволакивало туманом, голубым, как море, — туманом, который рассеивался довольно поздно. Кроме того, приходилось думать о пропитании. Он начал ставить ловушки, но добыча попадалась редко. Пришлось украсть в деревне несколько кур. В деревне пошли толки о лисице, которая отваживалась приближаться к жилью и таскала кур. Другие винили ласку:

— Только она не боится подходить так близко.

А находились и такие, кто говорил:

— Это дело рук человека. Любой зверь оставит после себя перья и следы крови. А вы разве видели кровь?

— нет.

— Стало быть, и говорить нечего. Это человек.

— Надо выследить его.

— Собаки лают по вечерам, потом смолкают.

— Значит он здешний.

— Они, должно быть, знают его.

Хасан пришел на то место, где прежде стояла его хижина. Земля все еще хранила следы пепла. Он отыскал большой плоский железный брус: «Вот этим они загородили дверь. А не то брат с матерью выскочили бы на улицу».

В ту ночь Хасан не вернулся в пещеру. Спрятавшись за утесами у самой дороги, он прождал до утра. Волосы у него по-прежнему были черные как смоль, а щеки ввалились и кожа задубела. Казалось, от него только и остались, что кожа да кости. Он сидел не шелохнувшись, готовый убить или погибнуть сам. Когда человек принимает такое решение, его уже ничто не страшит. Занимался день. Легкий туман рассеивался. Ожидание показалось ему долгим, бесконечным, но вот появились первые путники с нагруженными мулами. Тот, что шел последним, поглаживал черные усы. И снова ожидание. И снова стук копыт. На этот раз всадник промчался, словно стрела. Он едва успел разглядеть развещающийся на ветру бурнус. По дороге покатались камни,

отброшенные копытами. «Это он!» — сказал себе Хасан, с трудом приходя в себя.

Но всадник уже умчался прочь. Вдали виднелось только белое пятнышко. Хасан растерянно моргал, глазам своим не веря:

— Да разве я попаду в него при такой скорости! Ладно, подожду до вечера, вечером он от меня не уйдет.

Ползком, чтобы его никто не видел, добрался он до своего укрытия. Потом, отдохнув как следует, собрался с силами и сказал себе:

— Вот и пришел долгожданный день, следуй своей судьбе, Хасан.

Он снова с большими предосторожностями спустился вниз. Потом оврагами добрался до Красной Скалы и спрятался на миртовом дереве, ветки которого нависли над дорогой. Сняв револьвер с предохранителя, он положил его рядом с собой, а ружье взял на колени и стал ждать.

От долгого ожидания у него сводило ноги. Порою сердце его начинало громко стучать, а то вдруг его обдавало горячей волной, так что он начинал задыхаться. Лицо его то желтело, то зеленело, то синело. Ожидание становилось невыносимым. Место для западни удобное, ничего не скажешь, но двигаться было нельзя. Он съел последнюю ножку курицы, поджаренной на углях. Ему страшно захотелось пить. По дороге ветер мел ядовито-желтую пыль. Несколько красных муравьев набросились на мертвого жука: одни тянули его изо всех сил, другие подталкивали. На камне, напротив, две ящерицы грелись на солнышке, подрагивая от удовольствия. Потом по дороге прошла группа мужчин, возвращавшихся с базара. Каждый нес на плече палку с подвешенной на ней корзиной, они о чем-то беседовали. Когда они проходили мимо Хасана, он слышал обрывок их разговора:

— В горах стали появляться какие-то люди.

— Одного видели недавно, он спал, подложив чемодан под голову.

— Мне говорили, будто скоро начнется...

Затем появился мужчина верхом на осле. На голове у него был тюрбан ярко-синего цвета. Ногами он иногда задевал землю. Следом за ним бежала собака. Поравнявшись с Хасаном, собака подняла нос в его сторону, понюхала и побежала дальше, виляя хвостом. Вскоре появилась еще одна группа людей, окружавшая старца, которому все они выказывали глубочайшее почтение.

— Тот, кто свернет с пути, начертанного Аллахом, пропащий человек, — говорил он.

А они хором вторили ему:

— Да, сиди<sup>30</sup> Аль Хаджи.

— Дорога, предначертанная всевышним, ведет в рай.

И снова потянулись минуты томительного ожидания. День близился к концу. Хасан потерял уже всякую надежду. Он собрался было встать по нужде, но в это время внизу заржала лошадь. Он не стал слезать с дерева. Застыв неподвижно, словно статуя, он с трепетом ждал. Стук копыт раздавался все ближе.

«Опять, наверное, проедет слишком быстро», — подумал он, прикладывая ружье к плечу. Ствол его чуть-чуть высунулся из-за веток миртового дерева.

— Пришел его час.

Стоило ему сказать это, как появилась голова каида. Макушка его тюрбана казалась огромной. Лошадь приближалась, гарцуя. Хозяин натягивал поводья, и она вскинула голову, шевеля ушами, словно изображала какой-то танец. От ушей к ноздрям у нее шло белое пятно. Она повела ушами и, обеспокоенная, собралась было пуститься вскачь. Но каид удержал ее. Лошадь встала на дыбы как раз возле Хасана, и тот, глядя прямо в глаза каиду и целясь в необъятную белизну его гандуры, выстрелил почти в упор. Ло-

---

<sup>30</sup> Сиди — почтительное обращение к мужчине.

шадь, обезумев, помчалась галопом. Каид покачнулся в седле и кубарем скатился вниз.

— А-а, оте...ец!.. — это все, что он успел сказать.

Солнце наполовину скатилось за горизонт, спрятавшись за Железной горой. Хасан с выпученными глазами, дрожа всем телом, бросился с пригорка в сторону ближайшего оврага, сметая все на своем пути. В него вонзались колючки, но он даже не чувствовал их. И, только придя в себя на дне оврага, он увидел, что на нем почти не осталось одежды, а тело изодрано в кровь.

Лошадь молнией пронеслась по деревне. У ворот фермы она встала на дыбы и отчаянно заржала. В лунном свете ее потная шкура блестела как зеркало. Не в силах устоять на месте, вся взмыленная, она несколько раз ударила копытом в ворота. В сбруе, с покрасневшими глазами и белым пятном на лбу, с развевающейся гривой и волочащимся по земле хвостом, она казалась существом прекрасным и безвинным. Сын каида встал с постели и пошел посмотреть, в чем дело. В доме все было вверх дном, раздавались крики, стоны, плач. Сбежались, одеваясь на ходу, братья каида и родственники со своими близкими. Все только и спрашивали:

— Что случилось?

А лошадь снова заржала и пустилась галопом. Мужчины, вскочив на мулов и неоседланных лошадей, последовали за ней, среди гула голосов слышался плач женщин. Деревенские жители не знали, что и подумать, хотя все понимали: произошло нечто серьезное. Над деревней нависла зловещая тишина. Потом поползли слухи о гибели каида. Родственники поверженного властелина в себя не могли прийти от изумления: «Кто мог осмелиться тронуть хотя бы волос на его голове?»

— Это несчастный случай. Просто несчастный случай, — говорили они между собой, стараясь успокоить друг друга.

Ибо в глубине души каждый из них сознавал, что случилась беда; мало того, они заранее предчувствовали ее.

«Вся эта травля, гонения и столько смертей вокруг. А человек, доведенный до отчаяния, способен на все. Не следует искушать дьявола, иначе, кто знает, это может обернуться против вас».

## XLI

Деревня гудела, узнав о смерти тирана. Как все тираны, он рассыпался в прах, превратился в пыль.

И снова деревне грозила жестокая кара. Тысячи мук обрушились на головы ее жителей, когда жандармы явились вести расследование в связи с гибелью каида. Но на все вопросы они отвечали, что ничего не знают. Те, кто раньше говорили, будто видели Хасана вместе с разбойниками, теперь одумались.

— Мы ошиблись, — твердили они. — Тот, кого мы видели, дрался как тигр. Он был высокого роста, настоящий гигант. Чтобы расчистить себе путь, он один передвигал целые глыбы. А ребенок разве может двигать камни?

Размахивая руками, они показывали размер этих глыб, которые будто бы передвигали разбойники.

Родственники каида и жандармы не знали жалости. Всех мужчин таскали на допросы, избивали. Женщины стонали и плакали в отчаянии. Окрестные горы эхом вторили им, разделяя их отчаяние. Жандармы всеми способами пытались узнать, кто совершил преступление, но это им не удалось. Хасана изображали теперь малым ребенком.

— Он еще совсем мальчик, сын Месауда, и росточком-то всего вот такой. Он, бедняжка, пасет, верно, где-нибудь коз. У него ведь никого теперь не осталось. Даже дома нет. Куда же ему возвращаться? — говорили крестьяне.

Хасан не чувствовал себя, как прежде, отщепенцем. Для него начиналась новая жизнь. Гибель властелина, забывше-



го всякую меру, явилась как бы знамением свыше. И хотя жандармы, не скупясь на кровавые пытки, сеяли ужас во всех окрестных деревнях, их жители толковали между собой:

— Тот, кто повергает тирана, не повинен в преступлении.

— Э то доброе дело.

— Ему открыта дорога в рай.

— Путь его да будет умащен маслом и медом.

— Душа его да обретет вечный покой.

— А пока пусть себе живет в добром здравии, храни его Аллах.

После долгих мытарств Хасан возвратился в семью Мусы.

— Я делал то, что должен был сделать, сестра, — сказал он Таус. — Благослови меня. Того, кто был повинен в несчастье стольких людей, кто терзал их своими преследованиями до самой смерти, нет больше.

Мужчины помогли Хасану укрыться в лесу.

— В горах твое единственное спасение, — сказали они ему на прощание. — Но придет день, и заря заблещет для тебя, как и для всех нас. Говорят, скоро начнется битва против врагов, против иноземцев. Всем предателям конец. А пока терпи и жди. Мы дадим тебе знать.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

### к русскому изданию книги «Разбойники в горах Атласа»

Я очень рад, что благодаря переводу на русский язык моего первого произведения «Разбойники в горах Атласа», которое является лишь первой частью цикла, посвященного алжирской революции, мне представилась возможность обратиться к советской молодежи.

Попытаюсь рассказать о себе, чтобы читатели могли поближе познакомиться со мной.

Родился я в сердце Атласа, что спрятался в горных расщелинах, словно прозрачной голубизны таинственный цветок, укрыв там и своих жителей, таких же скрытных и упрямых, наделенных и величайшей добротой, и величайшей жестокостью.

В пору моего детства люди ели корни, клубни, травы и готовы были есть упряжь с мулов. А чтобы иметь возможность ходить в школу, надо было жить не дальше чем в двух километрах от нее. Мой дядя нашел в селении Аль Милиа одну семью, которая согласилась приютить меня. В то время существовало два вида школ: туземная, рассчитанная на двенадцать долгих лет, и колониальная, где учились дети колонизаторов и дочери именитых граждан из местных жителей, — там программу проходили за шесть лет. Наша школа напоминала заведение для пыток. Железная линейка была одним из орудий пыток. Что касается меня, то я был из числа мечтателей и никогда не поспевал следить за уроком. Поэтому удары линейкой мне доставались каждый день, так что к концу года пальцы у меня становились синими и распухали. Из-за этого рука моя оказалась изуродованной. Мы безропотно сносили все и готовы были переписывать в наказание тысячи строчек, но никому

из нас не хотелось, чтобы перед лицом товарищей нам спускали штаны. Хотя и такое случалось нередко. Однажды мальчик из моего класса, зная, что наступает его черед, проделал в своем ремне две дырочки и повесил замок, а ключ оставил дома. «Ах, ты надеялся таким образом избежать наказания?» — рассердился учитель, господин Паоли, пытаясь тем временем разорвать кожу ремня. Ему это не удалось, тогда он попросил у другого учителя перочинный нож. Думается, для нашего товарища, как и для всех нас, это был самый унижительный день за все время учения.

Потом началась освободительная война. В первый раз меня арестовали 21 августа 1955 года, арестовали неподалеку от места стычки в северной части Константинской области во время генерального наступления Армии национального освобождения. На грузовике меня доставили в распределительный центр, помещавшийся на базарной площади в Аль Милиа. Увидев меня, какой-то полковник обругал капитана — ведь я был совсем маленький, но все-таки отправил меня вместе с другими пленниками на допрос в жандармерию.

— Когда феллага<sup>31</sup> пришли к вам? — ревел мне в ухо один из жандармов, тыча кулаком в бок.

Другой притворялся ласковым.

— Я добрый, — говорил он. — Расскажи мне все, и я не дам тебя в обиду. А не то оставлю тебя с ним, тогда узнаешь.

В то время на все вопросы люди неизменно отвечали: «Не знаю», и я поступил так, как все, повторяя одно и то же.

Тогда разъяренный жандарм решил показать мне человека, которого пытали, и теперь еще, когда я вспоминаю о нем, мне снятся кошмары.

Потом меня снова стали допрашивать. В это время явилась делегация кайдов, которые пришли искать защиты у

---

<sup>31</sup> Феллага — так колонизаторы называли алжирских повстанцев.

властей. Бригадир заметил, что я внимательно слушаю их разговор.

— Я тебе покажу, — сказал он. — Я сам тобой займусь, змееныш. — И, призывая других в свидетели, продолжал: — Поглядите на него, он подслушивает, чтобы обо всем рассказать мятежникам. Впрочем, там, где он живет, они чувствуют себя как дома.

— Откуда он? — спросил один из кайдов.

— Из ущелья Бени Харун, — ответил бригадир.

— Так, стало быть, и в Бени Харуне тоже феллага? — воскликнул кайд. — Они и в Колло, и в Аин-Кешре...

Избавившись от посетителей, жандармы вновь принялись за работу. Они положили обрывки газет на голову одного из моих двоюродных братьев и подожгли их. Запахло паленым, послышались истошные крики. Тут появилась дочь жандарма с тонкими усиками и подошла ко мне. Мы встречались с ней в классе, она приходила к нам в школу вместе с дочерью учителя, когда ее учительница отсутствовала.

— Эти феллага проникают везде, — сказала она. — Представь себе, что иногда я сидела с ним рядом за партой.

И она плюнула мне в лицо.

— Ступай отсюда, — приказал ей отец.

Одному нашему родственнику удалось вызволить нас из жандармерии, он поручился за нас администратору. О нашем аресте ему стало известно от людей, которые видели, как нас везли на грузовике. Услышав по телефону слова «Освободите их», я не мог сдержать улыбку. Жандарм дорого заставил меня поплатиться за эту улыбку.

Первые бойцы Армии национального освобождения появились у нас 25 декабря 1954 года и с тех пор не покидали нашего дома. Это было на заре моей юности. Я прожил вместе с ними до 1956 года, когда сам вступил в ряды АНО. К концу 1957 года меня решили отправить в Тунис, чтобы я мог продолжать там свое учение. И началась вели-

кая эпопея. Меня зачислили в роту Тахера. Мы продвигались довольно быстро и до самого Бушегуфа не встречали особых препятствий, если не считать знаменитой конницы Конде Сманду, которая следовала за нами по пятам, и плотины в Зердазе, которую враги открыли, чтобы потопить нас. А потом начался сущий ад. В первый день мы укрылись в лесу неподалеку от деревни, чтобы дожидаться ночи. Мы хотели перейти пограничную линию Мориса и, сделав последний бросок, очутиться по другую сторону по *man's land*<sup>32</sup>. На рассвете мы увидели крестьянина в лохмотьях, лицо его заросло бородой, и сам он был покрыт копотью. Нашим командирам он сказал, что добывает себе пропитание, обжигая уголь. Мы поверили ему и попросили принести нам лепешку. Он пообещал, но сказал, что сможет это сделать только на следующий день.

— Если солдаты увидят меня в такой час да еще заметят, что я спускаюсь и снова поднимаюсь в горы, они заподозрят неладное, — сказал он.

Нарубив сучьев, он осторожно развел огонь. От костра поднималась лишь легкая струйка дыма. Но и этого оказалось достаточно, чтобы враги заметили нас. Они поставили дрезину и несколько дополнительных вагонов с пулеметами и стали ждать. Как только скрылось солнце, наша рота двинулась в путь. Мы пробирались по дну оврага и вышли на небольшую равнину неподалеку от проволочных заграждений, через которые был пропущен ток высокого напряжения. Метрах в пятидесяти от линии командир нашей роты отозвал меня и сказал:

— Ты самый юный из нас и потому имеешь право попытать счастья. Ступай первым и не отставай от проводника. Тот, кто переходит линию до начала битвы, как правило, имеет больше шансов на успех. А как только окажешься по другую сторону заграждений, сразу беги и не останавливайся.

---

<sup>32</sup> No man's land (англ.) — ничейная земля, нейтральная зона.

ливайся до самого утра. Это единственная для тебя возможность спастись.

Я пошел следом за проводником; чувствовалось, что он волнуется. На нем была темная кешебия, в правой руке он держал ножницы, которые должны были проложить нам счастливый путь сквозь линию Мориса. Нам оставалось не больше двадцати метров до смертоносной линии, когда на нас обрушилась лавина огня и пуль. Началась паника. Трассирующие пули убивали, танцуя. Я упал в минную воронку, набитую колючей проволокой, меня всего изрезало, даже лицо поранило. Если бы не помощь товарища, мне бы ни за что оттуда не выбраться. Враг установил заградительный огонь на всех близлежащих высотах, и много наших погибло. Но нам удалось перегруппироваться и спасти остатки своих отрядов от полного уничтожения. Мы шли восемь ночей, совершая обходные маневры под проливным дождем.

Местное население разбежалось, покинув эти страшные места, никто не мог обеспечить нас ни пропитанием, ни жильем. Нас мучил голод. Но мы неустанно шли вперед – и днем, и ночью – под покровом лесов Хуары; французские войска следовали за нами на некотором расстоянии, не трогая нас, — верно, дожидаясь, пока мы совсем не выбьемся из сил.

Однажды я заснул, и мне приснилось, что я ем огромную лепешку, но тут как раз меня разбудил командир роты и протянул кусок лепешки. Я сказал:

— Зачем ты отнял у меня ту, что я ел во сне?

Мои товарищи засмеялись и, посочувствовав, отдали мне каждый половину своей порции, хотя им самим было мало.

Чтобы запутать наших преследователей, мы отошли в сторону от линии Мориса и поднялись на холмы Гельмы. На открытых местах мы продолжали свой путь ночью, а днем спали. Вскоре на нас обрушилась новая беда – азиат-

ский грипп. Те, кто заболел им, совсем теряли силы и не могли даже ложки поднести ко рту. Уж не знаю каким чудом, только нашему командиру удалось купить барана, которого мы сварили. Впервые с тех пор, как мы выступили в поход, нам довелось поесть мяса. Для нас это был настоящий праздник.

На тридцать девятый день наших странствий в Бени Салахе под проливным дождем командир роты отвел меня в сторонку и сказал:

— У меня к тебе разговор. Один человек интересуется тобой. Это кинооператор из второго военного округа.

— Джамель Чандерли? — спросил я. — Я хорошо его знаю.

— Вот что он предлагает, — продолжал командир. — Он хочет взять тебя с собой, а я не сомневаюсь, что маленькой группе легче пройти линию Мориса. Он обещает, добравшись до Туниса, прислать нам подмогу и новые ножницы.

Надо сказать, что ножницы, которыми мы пользовались раньше, уже не годились для тока, пропущенного к концу 1957 года сквозь заграждения из колючей проволоки, — напряжение увеличилось с 3500 до 7500 вольт.

— Так вот, мы больше доверяем тебе, чем ему, — сказал командир, — и хотим, чтобы ты пошел с ним, если обещаешь рассказать командованию о нашем отчаянном положении. Ты же видишь: большинство бойцов не могут дальше идти. У нас нет обуви. Людям приходится обматывать ноги тряпками, и то когда они есть.

С помощью провожатых, дожидавшихся нас в определенных местах, мы с Чандерли добрались до гор в районе Тебессы. На вершине одного из утесов мы увидели два домика; удивительно, что на них сохранились черепичные крыши, — это было редкостью по тем временам. Там мы обнаружили тринадцать хорошо вооруженных бойцов, которые собирались пробраться на территорию Туниса.

Они дали нам проводника по имени Бабей. Проволока под током проходила в семидесяти сантиметрах над землей. Нельзя было поднимать голову: нам приходилось ползти, словно кротам. Понадобилось два часа, чтобы преодолеть путь. На другой день или через день, проверяя свои защитные устройства, враг непременно обнаружит, что мы здесь прошли. Чтобы отыскать лазейку, надо было досконально знать здешние места.

Мы шагали всю ночь. Около трех часов утра мы увидели огни пограничного пункта Гардемау и постучали в первую попавшуюся дверь.

Какой-то коммерсант, тунисец, недовольный тем, что его разбудили, сказал нам:

— Мы больше не воюем. Наша страна свободна. Имеем же мы право спать.

Однако он сдавал свои конюшни, там-то и находили приют алжирские бойцы. Он махнул рукой куда-то в сторону барака, где теплился свет масляной лампы. Мы вошли в помещение, легли на солому и стали ждать рассвета. Как только открылись ларьки, Чандерли принес нам маленькие плитки шоколада; я съел сразу десяток.

На нашей базе нас встретил командир поста Хассани. Все, кто видел меня, приходили в ужас. Я напоминал им фотографии людей из концлагеря. Когда меня взвесили, оказалось, что во мне двадцать два с половиной килограмма. Вечером меня на машине отправили в Тунис. Там меня вымыли, а остатки одежды, превратившейся в лохмотья, сожгли. Мне дали чью-то пижаму, в которой я утонул. Засучив штанины и рукава, я вместе с Амаром Бен Аудой отправился в тунисские лавки. Начали мы с башмачника. Тот пришел в ужас и бросился к телефону.

— Не стыдно тебе так издеваться над детьми? — накинулся он на Си<sup>33</sup> Амара. — Ты самый настоящий преступ-

---

<sup>33</sup> Си — почтительное обращение к мужчинам в арабских странах.



ник, а хочешь, видно, его умаслить ботинками. Вот вызову сейчас полицию, и посмотрим, что тебе за это будет.

Си Амар со смехом объяснил ему, что я прибыл из Алжира, что мне пришлось долго идти, почти два месяца, и, призывая коммерсанта в свидетели, сказал:

— Посмотри, что делают французы с алжирцами.

Коммерсант со слезами на глазах подарил мне пару прекрасных башмаков, которые, к величайшему его огорчению, я не смог надеть. Ноги мои так исхудали, что от них остались только кожа да кости, и ботинки просто болтались на них.

В заключение я хочу сказать советским детям, что революция поставила в свое время перед нами много задач, с которыми мы с честью справились; наше прошлое, так же, как и наше настоящее, настолько богаты реальными событиями, что мы вполне могли бы обойтись без художественного вымысла.

*Аззедин Бунемёр*



Каддур М'Хамсаджи

## **Молчание пепла**

### **ПОВЕСТЬ**

Перевод С. Прожогоиной<sup>1</sup>

© «Радуга», 1987 г.

---

<sup>1</sup> Перевод выполнен по изд. **Kaddour M'Hamsadji. Le silence des cendres. Subervie, Rodez, 1963**

*Мученикам, пролившим свою кровь  
во имя Новой Истории Алжира,  
Героям Независимости —  
СИ МАХМУДАМ, СИ МОХТАРАМ,  
СИ АБДЕЛЬКАДЕРАМ, —  
всем Детям Страны, всем друзьям  
Алжирской Революции  
посвящается...*

*Эту историю я назвал повестью, чтобы никого не задеть, никого не обидеть и подчеркнуть, что все персонажи, имена и факты — вымышлены, а возможные совпадения и сходства — случайны...*

## I

К вечеру ветер с севера стал еще холоднее. Округлые белые и серые облака заволокли небо: весь горизонт был затянут. Местами на скалистых выступах, во впадинах, вдоль речки, где еще утром лежал легкий и пушистый снег, теперь затвердела ледяная прозрачная корка голубоватого цвета. Полоски льда ползли по склону горы, спускаясь в узкую долину; с вершины они казались серебряными ручейками.

Редкие деревца, заросли колючего кустарника среди скал, сухая трава у подножия оголенных лавров, торчащих в земле, словно копья или стрелы, — весь хрупкий остов этой растительности словно пытался вселить надежду хоть на какую-то жизнь. Ведь потерять надежду — значит погибнуть!

Климат в Сур-аль-Гозлане<sup>1</sup>, как и нрав его обитателей, поражает контрастами. Здесь то пышет жаром, то свирепствует холод, переходы от одного к другому головокру-

---

<sup>1</sup> Сур-аль-Гозлан — «Приют газели».

тельно резки, и совершаются они с такой же естественностью, как здешний житель меняет в нужный момент тон разговора...

Но в этом году зима еще не вошла в силу и, видимо, не очень-то страшила три белые фигуры, двигавшиеся среди этого тоскливого безмолвия. Женщина и двое мужчин, укутанные в теплые бурнусы, мерно покачивались на своих скромных верховых животных — тощих жалких ослах, тащившихся в гору с еще более отчаянным видом, чем самая что ни на есть развалюха-машина. Они шли цепочкой по хлипкой тропинке — старая женщина посередине, — шли уже не меньше полутора часов, иногда останавливались, чтобы дать отдых животным, иногда прибавляли ходу, временами укрывались под каким-нибудь деревом или в скалах от дождя, снега, ветра или от возникавшего вдруг опасного звука: моторов машин военного патруля, прочесывавших окружающую дорогу вертолетов, самолетов «мушар», шпионивших в горных районах... Добравшись до вершины небольшого хребта, старая женщина остановила своего осла и, слегка откинув капюшон бурнуса (он закрывал ее лицо), прошептала, вздохнув:

— Где же ты, сынок мой?

Двое ее спутников тоже остановились. Человек, который ехал впереди, посмотрел на горизонт, словно вопрошая его.

— Мы уже недалеко, умм<sup>1</sup> Ида, — сказал он наконец. — Я вижу вдали то самое дерево — наш ориентир.

— Да, да, — подтвердил другой. — Брат<sup>2</sup> Махмуд прав. Я тоже вижу примету. Четыре гурби<sup>3</sup> там, за холмом.

---

<sup>1</sup> Слово «умм», предшествующее имени, означает «мать», но здесь оно употреблено как знак уважения к женщине преклонного возраста. — *Прим. автора.*

<sup>2</sup> В исламской религии все мусульмане — братья, что еще более подчеркивается, когда они ведут совместную борьбу против общего врага. — *Прим. автора.*

<sup>3</sup> Гурби — хижина, деревенский домишко, обычно глинобитный или сложенный из камней, с соломенной крышей.

Слабая улыбка слегка осветила в полумраке клонившегося к концу дня худое, испещренное морщинами лицо старой Иды. Глаза ее заискрились радостью, словно у ребенка.

— Ну да, ну да, — повторяла она дрожащим голосом. — Я верю вам, вы моя надежда. Вы надежда стольких матерей...

Эти слова были приятны мужчинам, сопровождавшим ее.

— Как только вы пришли ко мне, — взволнованно продолжала старая женщина, — как только вы сказали, что я смогу увидеть моего сына Халеда, я сразу же доверилась вам. Аллах — свидетель!..

Мужчины довольно переглянулись, один из них закинул за плечо полу бурнуса, из-под которого показались военная форма и оружие.

— Какие вы смелые, — продолжала старая Ида, и голос ее становился все глуше, все тише. — Ведь вы рискуете жизнью, провожая меня к моему сыну. Да защитит аллах вас и ваших сражающихся братьев!

— Аллах дарует жизнь и посылает смерть, — смиренно сказал Махмуд. — Но твой сын, брат Халед, — наш командир, он отважный и великодушный. И чего только не сделал бы каждый джундий<sup>1</sup> из Армии национального освобождения, чтобы быть ему полезным! Не так ли, брат Абделькадер?

Тот согласился:

— О аллах! Да кто не любит си<sup>2</sup> Халеда?.. Умм Ида, твой сын Халед — наш командир, и мы гордимся им, даю слово муджахида<sup>3</sup>!

---

<sup>1</sup> Джундий — солдат.

<sup>2</sup> Приставка к имени собственному, означающая выказываемое уважение, соответствует русскому «господин».

<sup>3</sup> Букв.: «сражающийся на пути, указанном богом», изначальный смысл: «сражающийся против неверных». В период национально-освободительного движения в Алжире так называли всех борцов за свободу. — *Прим. автора.*

Бедная старая Ида! Сколько хвалебных слов ей пришлось услышать о сыне, сколько любви было в них, сколько уважения! И она не могла сдержать слез, тело ее содрогалось от рыданий.

— Дети мои, — сказала она прерывающимся голосом, — да продлит аллах ваши дни, да наполнит их радостью, ведь вы еще так юны!

Махмуд и Абделькадер поблагодарили старую Иду, легонько похлопали по бокам своих ослов и вновь пустились в путь. Вскоре дорога сделалась круче, земля стала еще более вязкой, размытой, а холод между тем все крепчал.

Ослы не сбавляли ходу, не отступали ни перед снегом, ни перед лужами, ни перед оголенной землей, где выступали сланцы — острые, режущие, — не спотыкались, не скользили. Они мерно и уверенно продвигались вперед своим легким шагом...

Теперь время остановилось для этой горстки людей, они двигались как бы в нереальности, будто по воздуху... Словно оторвавшись от земли, каждый жил теперь своей собственной иллюзорной жизнью, исполненной мечтами и надеждами, и каждый по-своему, исходя из своих ощущений, связывал свою жизнь с жизнью другого, наполнял ее своим смыслом. Эта общность была как бы скреплена их одиночеством в окружавшем безлюдье.

Три белые точки перемещались по краю лощины, почти вплотную прижавшись к каменистому склону холма. Внизу бешено мчавшийся поток с адским грохотом перекачивался через синий камень и бежал дальше, продолжая свою устремляющую песню. Но вот небо осветилось. Потом вспыхнуло еще и еще раз, будто лучи трех театральных прожекторов высвечивали по одному каждого находящегося на сцене. Остальная же часть неба была совсем черной, хотя ночь еще не опустилась. Погода менялась. И одно за другим возникали из мрака лица си Махмуда, старой Иды, си Абделькадера...

Вот си Махмуд. Ему едва исполнилось двадцать-три. Три из них, полных беспокойства и лишений, он провел в маки. И эти тяжелые годы в горах оставили складки на его лбу, провели глубокие борозды на его щеках. Возможно, он уже теперь и не вспоминал о том, что был красив, но глаза его все еще были голубыми и блестящими — знак благородного происхождения, — чуть вздернутый нос придавал лицу слегка заносчивое выражение. Казалось, си Махмуд был преисполнен чувства законной гордости. Это еще недавно отличало его от других мальчишек квартала в Бир-Мурад-Ранса. Три года жизни под ветром и солнцем изменили внешность си Махмуда; хотя он был не очень-то крепок, однако высок ростом, а военная форма подчеркивала его стать. И он веровал в эту форму: она придавала ему отваги и силы, была для него как оружие, дисциплинировала, помогала сопротивляться миру, который не он выбирал.

Невежество убивает душу, конечно, но иногда и познание может довести до самоубийства. Как только Махмуд захотел освободиться от заблуждений и иллюзий в отношении мира, в котором жил, он почувствовал себя чужим в собственной стране. Он обращался к истории, но ответы, которые она давала, не убедили его: история лжет, ибо история — это прежде всего люди, которые ее делают. И надо искать ответ в другой Истории, в той, что скрыта в нас самих и знать которую становится с каждым днем все более необходимо.

Та, написанная людьми, лгала! В каждой главе он читал ложь и заблуждение. И он завидовал людям, ставшим свободными: теперь тунисцы и марокканцы воистину счастливы!

А Алжир вот уже более ста лет живет по привычке. И Махмуду было стыдно. Он вдруг словно услышал некий тревожный сигнал, раздавшийся внутри него, который предупреждал, что с привычкой этой надо немедленно покончить. Но прежде нужно прийти к согласию с собой. Какой



избрать путь? Уйти в себя, удалиться во «внутреннюю ссылку»? Но, поразмыслив, Махмуд понял, что такой путь может привести к самоубийству. Нет, он придаст другой смысл своей «внутренней ссылке». Пусть смерть, но, во всяком случае, не небытие. «Я хочу, чтобы что-нибудь осталось после меня, — сказал он. — Хотя бы пустота после моего ухода». Вот почему однажды, признав после долгих раздумий свою жизнь ничтожной, он решил присоединиться к тем, кто открыто выбрал смерть — честную и свободную, ибо понял, что «внутренняя ссылка» — не что иное, как обыкновенная трусость.

Значит — бороться и, рискуя жизнью, научиться жить. Именно этого желал теперь Махмуд. Он говорил своим друзьям-приятелям в округе: «Каждый человек хочет в определенный момент заново стасовать свои карты. Как будто новый расклад принесет удачу, как будто от него всякий раз зависит исход игры и, может быть, именно сейчас повезет. Предвидеть выигрыш или поражение? Невозможно! Это значило бы каждый раз разгадывать тайну неизвестного. Тогда как же играть?.. Не тасуйте свои карты несколько раз, сделайте это однажды, оставьте тайну нетронутой. Ничего на свете нет увлекательней, чем игра случая: он приносит либо победу, либо крах. Есть одна-единственная альтернатива! И этого достаточно, и смело садитесь за стол!»

Друзья считали его ненормальным. И он громко кричал: «Да, я — сумасшедший, но и вы сами все посходили с ума! Я безумен потому, что отказываюсь от самоубийства? Обречь себя на немоту, молчание, задохнуться? Я — ненормальный потому, что хочу высказать вслух весь накопившийся гнев? Нет, это вы безумцы, если собираетесь молчать, когда есть что сказать! Надо, чтобы мысли становились делами. Мое безумие, как и всякое другое, имеет только тот смысл, каким его наделяет общество. Да, да, братья мои. Любая несправедливость, любая подлость, совершенная в этой стране, любое оскорбление человеческо-

го достоинства задевают меня. Хватит заговаривать нам зубы, хватит болтать о том, что любой колониализм делает народ богаче. Ничего он не принес народу, кроме нищеты. Европейцы не предлагают нам лакомых кусков...»

Итак пришло время, и Махмуду надо было выбирать между созерцанием и действием. Для него это оказалось мучительно трудно. Но у Махмуда было гордое сердце. И в поединке с самим собой, когда он был на грани самоуничтожения, Махмуд выбрал нож и ружье.

Ранним ноябрьским утром, когда был снят комендантский час, Махмуд уехал из Бир-Мурад-Раиса. До машины — малютки-«ситроена» — его провожал отец. А умирающая мать осталась дома, она лежала, прижимая руки к груди, будто пыталась удержать свое больное сердце.

Уже сядясь в машину, Махмуд заметил в утреннем тумане старшую сестру, стоявшую в дверном проеме. На секунду он задумался о том, как-то будет теперь она жить одна с детьми, без мужа. Тот был замучен в концентрационном лагере Поль-Казелл. Теперь и сам Махмуд должен уйти от них... Шофер дал понять, что надо торопиться, Махмуд опустил голову. В последний раз отец попытался удержать его, найти какие-то предлоги, убедить в необходимости остаться, задержать... Как же было жаль его, си Абдеррахмана!..

— Ты ведь семью оставляешь, друзей. Бросаешь учебу перед самым окончанием! От жизни отказываешься!

Глаза Махмуда покраснели:

— Да что это за жизнь, отец? Что ты мне предлагаешь? Разве ты не уважаешь меня?

У отца сжалось сердце. Он был и горд за своего сына, и несчастен.

— Я вернусь, — пообещал Махмуд дрогнувшим голосом. — Все кончится недели через две. Я отправляюсь туда, чтобы вернуться победителем вместе с отважными, вот

увидишь, как я буду идти с ними в одном строю по улицам столицы. И ты еще будешь гордиться мной.

— Иншалла! — ответил отец, приободрившись. — Возвращайся к нам побыстрее! Ради твоей больной матери...

И он пошел, не оборачиваясь, чтобы не видеть, как сын садится в машину. Махмуд захлопнул дверцу. Водитель рванул на полной скорости.

«Через две недели!» Махмуд словно услышал внутри себя собственные слова. Ему хотелось бы обмануться на минуту, поверить, что не грезит, что никуда не уезжал от своих дорогих родителей. Однако холод возвращал к реальности. Собирался снегопад. Махмуд обернулся, посмотрел на старую Иду. Она была задумчива, и в глазах ее разлилась печаль.

Си Абделькадер казался умиротворенным. Облака густели к югу, темнели и стлались по небосводу широкими полосами. На западе горизонт был озарен ярким белым светом заходящего солнца. Группка людей находилась теперь в лесу, наполовину спаленном во время недавнего столкновения отряда АНО<sup>1</sup> с солдатами так называемой «армии усмирения». Уцелевшие редкие деревья стояли обугленные. Истерзанные и измученные, они казались распятиями на фоне тревожного неба. Махмуд остановил своего осла. За ним Абделькадер, а потом и старая Ида. Сколько товарищей пало здесь, в этом необъятном лесу. Как теперь найти их могилы, узнать имена? Махмуд и Абделькадер словно слышали отзвуки жестокого боя: крики, призывы, приказы, выстрелы, взрывы, стоны, молитвы... и потом все смолкло.

Мужчины спешили, подошли к груде камней и веток, припорошенных снегом, постояли рядом в минуте молчания.

— Аллах велик! — смиренно произнесли они. И снова все вместе продолжили путь.

---

<sup>1</sup> АНО — Армия национального освобождения.

На вопросы старой Иды они отвечали уклончиво, скрывая от нее истинную причину остановки, чтобы не дать женщине повода для новых тревог и волнений. Конечно, не имело смысла скрывать от старой Иды правду. И сказать правду, и скрыть ее было бы абсурдом. И Махмуд подумал, что они с Абделькадером все-таки избрали путь, менее болезненный для женщины. Однако его терзали угрызения совести, он чувствовал, что последняя капля внезапно переполнила чашу, что настал миг, когда надо давать отчет о выполненном деле, обо всей недолго прожитой жизни. И надо принять решение: идти вперед либо остановиться. Выбор свой он сделал не под влиянием порыва. Его решение было плодом мучительных раздумий.

Для Махмуда все должно было иметь свой смысл, это было главной его заботой, в этом он видел логику самой жизни. Жизнь муджахида, по мнению Махмуда, была полна высокого смысла. Муджахид обязан оставить родительский дом, оторвать себя от жены, детей, отказаться от ежедневной рутины, которая обеспечивает кровом, хлебом и водой, отказаться от иллюзий и ложных надежд, бросить вызов упрямому хозяину — колону, отвергнуть его предложения и обещания, сказать «нет» всей лжи, взять в руки оружие, страдать. И страдания эти — не напрасны; и если придется оказаться лицом к лицу со смертью и принять ее в огне, под бомбами, под пулями, под пытками, под электрошоком, то осмелиться, осмелиться сказать «НЕТ», когда тебя унижают, обращаются с тобой как с животным, и сказать «ДА» независимости, «Да» своему знамени!

Тревога Махмуда, тревога тяжелая, давящая, громадная, не рассеивалась одной надеждой. В нем жила осязаемая уверенность. Надежда для Махмуда — лишь воображение, она рождается в подсознании и питается тоской, когда разум отказывается анализировать реальность. Ведь если не видеть фактов, зачем обольщаться?..

— Вот именно, — сказал себе Махмуд, как бы подытожив свои раздумья.

Конечно, он многое потерял, и с тех пор прошло немало времени. Однако он был верен своему выбору. Это стало условием его существования. А знать, что никогда не будет известно заранее, каков ждет конец, — вот в том-то и были его бессмертие, его богатство, его свобода. Разве можно с уверенностью предсказать победу? Здесь никогда нет ясности — победа всегда внезапна. И какое-то новое, еще неизведанное чувство разлилось в сердце Махмуда. Нет, он не льстил себе, он умел прямо смотреть правде в глаза. В своем поединке с историей он заявлял о правах на победу, а не на поражение.

Махмуд не спал, не грезил, он только глубоко задумался. Но все время чувствовал присутствие старой Иды и собрата по оружию си Абделькадера. И как бы вновь обретая мужество, с суровым выражением лица, на котором оставили следы время и забота, он стегнул осла, вновь пускаясь в путь.

Теперь все трое — Махмуд, старая Ида и си Абделькадер — были далеко от леса. Тропинки стали каменистыми, а грязь и снег размыли землю. Приходилось иногда прыгивать с животных и вести их за собой, приходилось также и прятаться в укрытие, когда на проходящей неподалеку окружной дороге слышались лязганье танков, шум грузовиков, тяжелые шаги патруля. Путники часто припадали к земле, томимые страхом, уткнувшись лицом прямо в грязь. Это было подобно смерти. Бедную женщину мучил страх, что они не сумеют продержаться до ночи. Ветер стих. Ночь медленно опускалась, странно светлая. Горы, местами покрытые снегом, словно проступали сквозь тонкую прозрачную кисею. Не обрабатываемые вот уже семь лет поля, заваленные камнями, все в рытвинах и глубоких колеях, уже ничем не отличались от диких, заброшенных земель. На дорогах попадались фермы, сожженные алжирскими на-

ционалистами или разрушенные пушками оккупантов, руины торчали точно пугала. Ложбина вдруг заполнилась густым туманом, и все вокруг погрузилось в молчание, ни единый звук больше не нарушал тревожной тишины приближавшейся ночи.

Махмуд, старая Ида и Абделькадер молча пересекли широкое плато. Си Абделькадер нежно похлопал по бокам своего слегка прихрамывающего осла. К этому животному он испытывал глубокую привязанность. Он уж так оберегал его, так был осторожен, выбирая для него менее опасные участки пути...

Абделькадер улыбнулся: он вспомнил, как он ребенком в одной длинной рубашке носился верхом по полям на этом осле или пас вместе с ним стадо баранов. Однажды в понедельник, вернувшись с рынка из Сиди-Иса, отец подарил ему этого осла. Тогда ослик едва держался на неокрепших ногах, да и Абделькадеру было всего одиннадцать лет. С тех пор они старались не разлучаться. Абделькадер назвал ослика Хабибом<sup>1</sup>.

Только один раз друзья должны были ненадолго расстаться: когда Абделькадеру исполнилось шестнадцать, он решил уйти в макй. Абделькадер хорошо помнил тягостные минуты разлуки. Ведь он так был привязан к своему Хабибу. Он не мог отправиться в путь, не поговорив с ним. И Абделькадер сказал на ухо ослику: «Хабиб, друг мой, брат мой бессловесный, не огорчайся, я должен тебя покинуть. Ты же видишь, стало невозможно жить в собственной стране. Ты знаешь, что моего отца вчера забили до смерти французские солдаты, обвинив его, что он будто бы укрывал муджахидов. Ты знаешь, что они принимают нас всех за «феллага» — преступников. По правде сказать, дорогой Хабиб, дорогой мой товарищ, мы никогда здесь не видели муджахидов. Луи, хозяин фермы, солгал: одному богу известно, зачем он это сделал. И мне бы никогда не хотелось

---

<sup>1</sup> Хабиб — любимый (араб.).

ни узнать это, ни догадаться. Мсье Луи, как и все другие французы, не любит арабов. Может, они и правы. Может, и мсье Луи прав, что наживался за наш счет. Да и что это такое в конце концов — араб? Ничего, кроме темной кожи, покрытой лохмотьями. Мой отец таким был, как ты. Ведь никто тебя не любит, но всем ты нужен, дорогой мой ослик!.. Ты понимаешь меня, верно? Так вот, я должен покинуть тебя, мой верный Хабиб, и покинуть мою старую мать, заботиться о которой теперь будешь ты. Вы поймете друг друга: это ведь моя мать, она согрела меня большой любовью, какой и я тебя сейчас люблю. Позаботься же о моей матери, Хабиб. Я теперь отправляюсь в путь. Дорога мне известна. Ведь если я останусь здесь, то умру. Зачем так глупо умирать?

Как и многие матери в те времена, мать Абделькадера была прикована к постели, ее тело постепенно иссушала неизвестная болезнь. Абделькадер нежно поцеловал мать, и его слезы смешались с ее слезами. Он поручил ее, хотя сделал это тайно, заботам си Бельхута, мудрого старца, который издавна знал отца и был ему предан.

Абделькадер размышлял всю ночь перед уходом в горы. Мать содрогалась от рыданий; она вспоминала убитого мужа, — тело покойного ей так и не вернули. Близкие и соседи так и не смогли провести у его изголовья последнюю ночь, совершить должный обряд похорон.

Абделькадер размышлял. Зачем глупо умирать? Те, кто умерли, — мертвы. И никогда не воскреснут. Не надо понапрасну терзаться. Отец мертв, мертв, мертв! Надо отдать себе в этом отчет. Какое несчастье, что может все это объяснить матери, которая не перестает плакать!

Комок подкатывал к горлу, но Абделькадер не давал себе расслабиться, не жалел себя. Он смотрел на мать и думал о том, что она должна сказать ему: «Иди, мой сын, освободи себя. Завоюй свободу и отомсти за отца, помоги

ему, и ты поможешь и мне. Это ясно. Зачем глупо умирать, как умер твой отец? Иди и стань человеком!»

В глубине души Абделькадер знал, что он — человек крайностей. Все раздиравшие его внутренние противоречия, приступы ущемленного самолюбия, ощущение изгойства в собственной стране, где хозяйничали люди другой веры, другого языка, терзавшие его волнения, долго копившаяся в нем ненависть, — все это заглушалось теперь идущим из глубины сознания голосом — тревожным, но отчетливым и исполненным гордости, требовавшим всего или ничего.

Абделькадер был сильным и ловким, он с раннего детства привык к лишениям, тяжело и много трудился без всякого заработка и под снегом, и под проливным дождем, и под палящим солнцем, недоедал, спал чуть больше, чем его родители, которые питали его дух примером стойкости и самопожертвования. В шестнадцать лет бывший пастушок Абделькадер почувствовал вдруг — словно его сознание озарила вспышка молнии — свою ответственность за мать, за отца, за себя. Он испытал готовность защитить все, что любил, и осознал огромную значимость своего шага.

И вот на рассвете он отправился в путь по крутым горным дорогам, связанный уже кровно (короткая стычка с патрулем) с другим миром, другой жизнью. И с другой смертью.

Как-то совершая обход вместе с группой вооруженных муджахидов, он остоленел от удивления, увидев в долине своего Хабиба, бегущего вдоль зарослей олеандров. Он улыбнулся было, обрадовался, но потом, видя, что Хабиб хромает, и услышав его жалобные крики, Абделькадер пришел в отчаяние. Он побежал за ослом, стал громко его звать. Хабиб, услышав голос хозяина, откликнулся. Абделькадер подбежал к животному, погладил, заговорил. Осел вздохнул, и в этом вздохе его послышалась человеческая боль. Абделькадер испугался, обнаружив над левым



коленом Хабиба большую рану. Один из муджахидов осмотрел рану. «Это пуля, — заключил он. И тотчас поспешил добавить, вполне искренне: — Но ничего с твоим ослом не случится. Он поправится! Не горюй!»

Абделькадер прижал к груди голову Хабиба, и тот словно почувствовал поддержку и спасение. «Какую печальную весть могло принести это животное?» — спрашивали друг друга муджахиды.

Абделькадер еще нежнее прижался к своему Хабибу, закрыл глаза. И долгая тайная, никем не услышанная беседа потекла между человеком и животным. «Луи, все этот Луи, поднял тревогу и на следующий день после твоего ухода вызвал солдат. Они явились на ферму. Шарили повсюду, все перевернули вверх дном, искали тебя, как будто ты — иголка, затерявшаяся в соломе. Всех людей на ферме созвали, арабов, конечно. Допрашивали. Жена Луи и его дети, Робер и Аннета были довольны, наблюдая. Аннета даже сказала, что, мол, вот и отметили ее восемнадцатилетие. Один из солдат, который так и лопался от раздувавшего его рвения, набросился на твою мать, нагрубил ей. Двое других избили си Бельхута, а третий, тоже чтобы показать себя, ударил старика прикладом. Он упал на землю, и никто его не поднял. Да это было уже и не нужно. Си Бельхут был так стар, что сразу же и отдал богу душу. Твоя мать громко вскрикнула, потеряла сознание. Никто и на этот раз не попытался оказать помощь, привести ее в чувство. Хамесам<sup>1</sup> и их женам запретили это делать. Луи подошел к твоей матери, пнул ее ногой, отбросил в сторону. «Она сдохла», — сказал он. Да, хозяин Абделькадер, я слышал все это и видел. Я громко заревел, сам того не желая, и побежал прочь. Робер завопил: «Вон его ишак!» «Стреляйте, стреляйте же в него», — горланил и Луи. Я услышал выстрелы, но бежал, что есть сил, до самой ночи. Уснул в лесной чаще, а

---

<sup>1</sup> Хамесы — наемные рабочие на фермах колонов.

когда утром проснулся, то почувствовал страшную боль над коленкой...»

Абделькадер открыл глаза. Нет, ему не приснилось: его осел действительно был ранен. Он посмотрел на братьев своих — муджахидов. Они стояли с печальными лицами. Один из них, высокий с голубыми гордыми глазами, вынул из маленького холщового мешочка какие-то лекарства и ясным твердым голосом сказал: «Возьми с собой своего осла, си Абделькадер. Он — настоящий герой».

И вот теперь по этой бесконечной тропинке широкого плато Абделькадер ехал на своем Хабибе. С его обветренного, местами обожженного солнцем и холодом лица больше уже не сходило выражение озабоченности и тревоги. А блестящие глаза иногда так вспыхивали, что черные горящие зрачки казались в опустившихся сумерках двумя маленькими кострами, зажженными в ночи. Но Абделькадер, однако, был спокоен. Как отдыхает воин после трудного боя, так и Абделькадер сейчас не думал о войне. Что бессонные ночи в горных лесах, засады, облавы? Что они, если сегодня вечером или завтра утром — победа? Что все эти изнурительные долгие марши по каменистым кручам? Что голод и жажда, снег и дождь, зной палящего солнца? Что одиночество, опасность? Что горе, боль, трудности и жертвы? Что страх, сомнения, тоска? Что недоверие и предательство? Что все это значит при мысли о том, что вечером или завтра днем настанет свобода! Что все мучения, тюрьмы и пытки? Что смерть, если придет независимость! И в этот самый миг, именно тогда, когда отдыхал душой, когда все внутри было полно спокойствия, Абделькадер понял: вся его жизнь будет борьбой и борьба будет его единственным предназначением, смыслом существования. И ничто на свете не остановит борьбы, даже поражение, ибо конец своей жизни он понимал не просто как смерть, но как венец всего пути, как переход в бессмертие.

Его осел хромал, но боли, видимо, не испытывал. Время от времени Абделькадер гладил его шею. Конечно, они пройдут вместе еще немало дорог и еще многим матерям помогут увидеть своих сыновей...

Старая Ида благодарила бога за эту ниспосланную ей тихую зимнюю ночь. Да и как не благодарить? Разве сумела бы она — будь зима суровее — пройти весь этот путь, да еще ночью, когда частенько снег здесь заносит дороги, а в деревнях лежат сугробы выше метра... Куда уж ей, такой дряхлой и немощной, тягаться с холодом и ветром, совершать пешие переходы, когда на каждом шагу подстерегает опасность?

Но аллах хранил ее. Она верила в это, и подтверждением тому была предстоящая встреча с сыном Халедом, которого теперь все называли си Халед. Она обнимет его, прижмет к груди, поговорит с ним. И она расскажет ему обо всем. Вначале поведает о хорошем:

«Твоя младшая сестра родила девочку как раз в тот день, когда ее мужа выпустили из тюрьмы, продержав там пять месяцев. Ему повезло! Они могли бы расстрелять его — хоть он и невиновный, они могли бы сделать это, чтобы он не рассказал, что видел в тюрьме... Твой старший брат Махфуд получил место. Но должен отработать три года во Франции. Он там несколько месяцев, платят ему мало, и нас здесь совсем одолела нужда. Его жена Фатима живет с нами, она ждет ребенка... Радость, конечно, ведь семья увеличится. Соседи нас не забывают, хотя некоторые бегают с доносами в полицию, воображают, что ты каждую ночь нас посещаешь. Если бы настало такое время!..»

Потом она сообщит ему грустные новости:

«Твой самый младший брат Каддур провел месяц в тюрьме. Семье было о чем беспокоиться. Его нещадно там били — ведь ты знаешь Каддура, твой братишка всегда играл в героев. Он хочет туда, где ты. Это в пятнадцать-то лет! Но он считает себя мужчиной! Си Амер, хозяин фермы

в Кеф-Альхаджель, хотел укрыться в городе, но был арестован под предлогом, что посещал си Саада, который ушел в маки. Жена си Амера — умм Хайра, — которая любит тебя больше, чем своего сына Вузара, говорит, что ее муж, наверное, умер под пытками в полицейском управлении. Там два дня и две ночи играла музыка, но люди слышали, как оттуда доносились приглушенные крики. А бедняга си Амер с тех пор и не вернулся, и никто о нем ничего не сообщает. Умм Хайра — молодец, хорошо держится. Она все еще надеется... А что ей еще делать? Ничего. Хорошо, что аллах ниспослал ей большое терпение. Другая бы на ее месте давно сошла с ума...

Я тебе еще не то расскажу! Недавно ночью с нами сыграли злую шутку. В полночь, когда думала о тебе, вдруг услышала выстрелы совсем рядом с домом. Немного спустя раздался стук в дверь. Я вскочила с кровати, босая, по холодному полу побежала открывать. Жена твоего брата чуть было со страху не родила прежде времени. Но не успела я добежать до двери, как ее вышиб плечом какой-то солдат-великан. Мне в глаза ударил свет фонарика, и грубо спросили: «Где он?» «Кто?» — спросила я. Солдат оттолкнул меня и приказал другим вооруженным солдатам войти в дом и все обыскать. Меня била дрожь как ненормальную. Твои маленькие сестренки проснулись и заплакали. Солдаты растолкали твоего спящего брата Каддура и кричали, что он вот тут разлеживается, а они должны патрулировать в городе. Били его по щекам, несчастного. Но так и не найдя того, кого искали, пришли в страшную ярость. О, если бы ты видел их ярость, мой сын! Это было как ураган! Глаза у них горели, руки были похожи на клещи, готовые схватить за горло, раздробить и перемолоть кости. Огромные рты исторгали слова — оскорбительные, пылающие ненавистью слова. Потом их командир с важным видом, приподнявшись на носках, приказал нам всем следовать за ним.

Мне казалось, что сердце выпрыгнет из груди, так сильно оно стучало. Но командир, видно, передумал: метнув в мою сторону взгляд, он приказал Каддuru и мне идти за солдатами. Он велел также взять с собой твою маленькую сестренку, Айшу, которой всего семь лет. Жена Махфуда стала плакать и дрожать от страха. Я обняла ее, успокоила. О господи, как же она дрожала, когда солдаты начали нас всех затаскивать в кузов грузовика. Было темно, но холода пока не чувствовалось. Мы долго ехали, потом грузовик остановился. Нам велели выходить. Вокруг ничего не было видно дальше вытянутой руки. Я прижала к себе твою сестренку. Чей-то грубый голос нам объявил, что мы — в лесу и что солдаты нас здесь оставят, чтобы мы тебя искали, а найдя, привели к ним. Они что, были глупыми или шутили так с нами, эти солдаты?

Но в лесу-то, если бы ты знал, какой холод! Зуб на зуб не попадал. На мне был только мой хаик<sup>1</sup>, который я набросила машинально, чтобы закрыть лицо. На твоей сестренке, к счастью, было шерстяное платишко. А на брате — только его гандура: первый раз, наверное, за все это время, когда он сбросил с себя одежду перед сном, не думая, что его могут разбудить ночью!.. О, какой холод! Солдаты уехали, и мы остались одни. Я проклинала их. Каддур посылал им вслед проклятия. Но чем это нам могло помочь? Вне себя от гнева твой брат захотел оставить нас и уйти к тебе. Я умолила его остаться с нами.

Я взяла на руки, прижала к груди мою дочурку и, согревая ее своим дыханием, помогла ей заснуть. Каддур устроился рядом со мной, однако спать он уже не мог...

Ранним утром, едва рассвело, мы пошли по крутой дороге обратно, домой, заблудились по пути несколько раз в лесу.

---

<sup>1</sup> Хаик — покрывало.

А дома у бедняжки Фатихи все-таки случился выкидыш. Она померла бы одна без помощи умм Хайры, которая так хорошо разбирается в подобных делах...

Потом солдаты еще возвращались к нам несколько раз, будили ночью и спрашивали меня, где ты, нет ли тебя дома... Но аллах всемогущ. Обошлось...»

Да, это плохие вести...

Хватит ли сил у старой Иды сообщить их своему сыну Халеду, да и имеет ли она право? Скажет ли она ему, что отец умер в прошлом месяце? Старое ранение в голову, за которое он в 1914 году получил награду, дало о себе знать, боль все время усиливалась, пришлось делать срочную операцию; но мужественный человек не прожил после нее и двух суток. Похороны были почти тайными: военные и полицейские власти, учитывая происходящие события, запретили торжественную похоронную процессию, ведь за гробом должны были идти все родственники и друзья семьи, чтобы выразить почтение к покойному и — в таких обстоятельствах — сыну его, муджахиду си Халеду. На кладбище из-за запрета пришли всего несколько человек, среди которых можно было увидеть обманчивое, простецкое, пастушеское лицо председателя административного совета из Дар-аль-Аскри. На его груди топорщился жилет — сверкал медалями; можно было увидеть и Башагу, окончательно продавшегося французам. Чтобы не быть одному в аду, который избрал для себя сам, Башага сделал все, чтобы помощник префекта в списке служащих использовал имена молодых алжирских патриотов. Таким образом многие из них были надолго скомпрометированы.

Но несмотря на установленный порядок, на третий день после похорон кладбище было белым-бело от покрывал пришедших женщин. Это было все-таки утешительно.

Нет, старая Ида найдет в себе силы и сумеет скрыть от Халеда кончину отца. Она сумеет облегчить страдания сына, его участь, сумеет разделить его заботы, придать ему

уверенности и отваги. Ведь служащий благородному делу, муджахид, который вынужден жить вдали от родного дома, так нуждается в теплоте и сочувствии... Ида сумеет спрятать глубоко в сердце свою печаль, которая может огорчить сына, ослабить героя. Это будет участием ее, Иды, во все-народной борьбе. В минуту колебания Ида искала поддержки, искала тот источник, в котором можно почерпнуть силы. И, обратив свой взор к небу, она улыбнулась, поняв, что нашла тот неиссякаемый родник. Небо, словно поле, было усеяно звездами, и каждая была отсветом чьей-то жизни, чьим-то призывом, и язык этих звезд был понятен старой Иде. В мыслях она уносилась далеко от той чудесной зимней ночи, в которой заснеженные горы мерцали, залитые туманным сиянием облаков, словно пятна света во тьме...

Старая женщина как бы жила теперь жизнью многих матерей Алжира, полной каждодневной муки, бесконечных бед. Она была теперь Матерью. Она была теперь и той, кому пришлось пережить смерть сына в бою, и той, кому довелось увидеть смерть сына, получившего шальную пулю, и той, у кого по доносу отняли младшую дочь, надругались над ней, а старшую без суда расстреляли, и той, чей сын пропал после того, как его среди бела дня схватили вооруженные европейцы... Да сколько еще других детей, детей умм Иды, исчезло, сколько считают пропавшими без вести!

И если и существовал свет хоть какой-то надежды, то он вместо того, чтобы пробудить от кошмара, лишь четко обозначил теперь полное ее одиночество...

Позади и впереди себя умм Ида чувствовала напряженное молчание. «Быть полезным, служить делу! — думала она. Старая Ида не плакала, она размышляла. — Что мне уготовил завтрашний день? Слезы, пролитые сегодня, ничего не будут стоить завтра. И быть может, придется плакать каждый день — ведь случатся и другие несчастья. Теперь что ни день, то новая боль...» Вот так Мать всегда

должна быть готова к новым испытаниям. Покорная судьбе, обретя стойкость, умм Ида вдруг почувствовала боль всех матерей, постепенно позволила благодатной тишине чудесной ночи успокоить себя. И глубокое радостное чувство разлилось в ней теплой волной.

Путь еще был долог. Но горстка неугоминых людей продвигалась легко, не чувствуя холода. Да и в самом деле погода была так хороша, что в эту ясную безморозную ночь, опустившуюся над землей, когда звезды на небе словно высыпаемые щедрой рукой сверкали так весело, можно было подумать: завтра настанет весна.

Наконец на повороте поросшей дреком тропинки группа остановилась, и Махмуд сказал:

— Видите вон там слабый свет, пробивающийся сквозь деревья? Мы прибыли.

Что-то сильно кольнуло в сердце старую Иду.

## II

Махмуд постучал вначале два, потом три раза в низкую дверь. Ясный женский голос спросил: «Кто там?» «Раб божий и слуга Родины», — ответил Махмуд. Дверь заскрипела и открылась, задев землю.

— Этот скрип — хороший сигнал тревоги, — сказал Махмуд.

— Так это ты, си Махмуд! — воскликнула женщина с большой керосиновой лампой в руках.

— Да, умм Хадда.

— А там с тобой кто? Ты, си Абделькадер? — еще раз воскликнула она обрадованно.

— Я самый, умм Хадда!

— Как же долго вы сюда шли!

— Дорога трудная, — объяснил Махмуд. — Но нам повезло.



— Господь нас хранил, — промолвила старая Ида, которой Абделькадер помогал спуститься с осла.

— Вот и наша матушка Ида, — сказал весело Махмуд. — Это матушка всех муджахидов.

— Наш дом — твой дом, умм Ида, — уважительно промолвила Хадда. — Его много раз посещал твой сын Халед.

Умм Ида, взволнованная до слез, бросилась обнимать Хадду.

— Где же он, мой сын Халед?

Теперь, при свете лампы, видно было, что Хадде под сорок. Казалось, она не знает, как ответить, и ищет совета в глазах Махмуда.

— Он еще не прибыл, матушка Ида, — сказал ласково Махмуд, обращаясь к ней, как к ребенку. — Си Халед придет этой ночью, потерпи, пожалуйста, матушка. Мы часто не властны над временем и не всегда можем предвидеть, куда занесет нас судьба. Ты и сама заметила это, видела, как нам нелегко приходилось в дороге.

— Прости меня, детка, — прошептала она. — Я так стара...

— А, это вы! — за спиной Хадды послышался высокий голос ее мужа.

Абделькадер поддразнивал его:

— Все спишь беспросыпно, эй ты, си Фодил!

Показалось худое вытянутое лицо си Фодила.

— Да нет, я не спал, надо было наскрести денег: ведь в воскресенье послезавтра — рынок, если аллаху будет угодно!

— Ладно уж, нечего оправдываться! — продолжал подшучивать над ним Махмуд. — Вечно ты прячешься за свою жену. А ну-ка, давай, выходи, померяемся силой!

— Куда уж мне, — промолвил си Фодил с несчастным видом.

— Однако в четырнадцатом году ты вон какой был храбрый! — возразил ему Абделькадер.

— Люди тогда были совсем глупыми, — весело сказал си Фодил.

Все рассмеялись.

— Да заходите же, — пригласила Хадда. — Не мерзнуть же на улице.

А Махмуд все не унимался, подтрунивая над си Фодилом:

— Ну, ты совсем состарился, дружище!

Абделькадер давился со смеху, как мальчишка:

— Это точно! Согнулся, словно мост, скрючился!

— Вольно вам насмеяться надо мной! Бог, он все видит! — ворчал си Фодил. — А си Халед лучше вас! Он уважает меня и учит многому...

Эти слова вызвали улыбку у старой Иды, которую сначала озадачили препирательства мужчин. Но Хадда тоже не встала на сторону мужа, а лишь подлила масла в огонь:

— Все на спину жалуется. Совсем не спит на спине. Надо слышать, как он кричит всю ночь!

— Ну и что, — рассердился си Фодил на жену. — Болит спина, и все тут!

— Это, верно, Хемар аллил<sup>1</sup> отдубасил тебя, — продолжал свои шуточки Абделькадер.

— А вам бы все смеяться надо мной! — воскликнул си Фодил. — Вот я пожалуюсь си Халеду, лучшему из людей!

Это еще больше развеселило мужчин. И чтобы они оставили его в покое, си Фодил сказал им, что займется их ослами.

— Осторожнее с Хабибом, пожалуйста, — попросил его Абделькадер.

Махмуд стал серьезным.

— Там все в порядке? — спросил он.

Си Фодил замаялся, не зная, что отвечать.

— Э-хе-хе! С вами не поймешь, когда вы шутите, а когда говорите серьезно.

---

<sup>1</sup> Аллил — *здесь*: злой дух, появляющийся по ночам.

Но Махмуд и в самом деле больше не шутил:

— Я спрашиваю тебя, все ли в порядке? — повторил он свой вопрос.

— Ну...

— Ну, что «ну»? — настаивал Махмуд.

— Да, это дело прошлое...

— Говори яснее!

— Четыре дня назад они окружили соседнюю деревню и пушечными снарядами разрушили ее дотла, — втянув голову в плечи, тихо сказала Хадда. Слеза покатилась по ее щеке. Умм Хадда повторила: «Дотла».

— А женщины? Дети?

Хадда едва шевелила губами: «Да кое-кто спасся...»

— Проклятье! — воскликнула старая Ида.

— Терпение! Только терпение поможет нам одолеть их, — со стоном сказала Хадда.

Воцарилось молчание. Оно было как скорбь по случившемуся.

— Что же делать? — произнесла, наконец, Хадда.

— Так было угодно аллаху, — ответила старая Ида.

— Аллах ведает, что творит, — сказал Абделькадер.

Голос си Фодила прервал их печальный разговор!

— Ну, чего теперь сетовать? Ничего нельзя уже поправить... Ладно, я повел животных, накормлю их, они голодны и устали!

— Войдите же в дом! Не стойте на дворе! — взмолилась Хадда и позвала свою дочку, Шерифу.

Шерифе вот-вот должно было исполниться пятнадцать. Ее стройная фигура, красота и скромность — все говорило о женственности, о том, что ей впору уже и замуж. Старая Ида обняла ее, окинула взглядом с ног до головы и восхитилась:

— Ой, Хадда, какая у тебя невеста выросла! Да сохранил ее господь и убережет от дурного глаза!

Шерифа стыдливо опустила взгляд, но была довольна.

— Сколько у тебя детей? — спросила старая Ида у Хадды, все любуясь Шерифой.

— Не знаю, что и сказать... — И голос Хадды задрожал: — У меня был сын! — (Казалось, она видит его перед собой). — Какой он был взрослый для своего возраста! О дорогая моя умм Ида, ему и семнадцати еще не стукнуло, а он уже ушел к муджахидам. Я предупреждала его, что он еще слишком молод...

Старая Ида огорчилась:

— Бедняжка Хадда!

— Ангелочек мой — едва сдерживая слезы, рассказывала Хадда. — Его убили через месяц после ухода из дому. И я даже не видела могилы! И от меня долго еще скрывали его смерть!

Она била себя в грудь, и было видно, что горе, такое же глубокое, как три года назад, все это время жжет ее словно дышащий под пеплом огонь...

Шерифа обняла мать, целовала ее, успокаивала:

— Не плачь, матушка! Не плачь! Ты тревожишь Месауда в его могиле! Не плачь!

— Все мы смертны! — произнес Махмуд, выражая свое сочувствие.

— Но он умер молодым! — зарыдала Хадда.

— Прекрасную смерть он нашел, — сказал Абделькадер, — он — Шахид<sup>1</sup>! — И повторил с восторгом: — Какая прекрасная смерть! Шахид!

— Надо терпеть, — прибавила старая Ида.

— Аллах всемогущ. Он нам дарует жизнь и смерть.

Хадда утерла слезы.

— Теперь у меня одна Шерифа осталась. Да и то, если ее тоже не одолеет желание уйти в горы.

— Храни ее аллах! — взмолилась старая Ида, ладонями коснувшись лба, а потом губ.

---

<sup>1</sup> Шахид — здесь: мученик, отдавший жизнь за дело революции.

Хадда поблагодарила ее и пригласила муджахидов сесть за низенький столик, на который Шерифа уже поставила керосиновую лампу. Хадда прошептала на ухо старой Иде: «Сказать по правде, ее судьба беспокоит меня».

Тихий сокрушенный возглас слетел с губ старой Иды, Махмуд, положив рядом с собой оружие, заметил:

— Здесь хорошо.

— Да что уж там, — грустно возразила Хадда. — Вы-то знаете это наше жилье... Две темные безрадостные хижины с земляным полом, без удобств.

— Есть одно удобство, — возразил Абделькадер. — Эти хижины — убежище, надежное укрытие, куда вы нас прячете несмотря на то, что многим рискуете. Спасибо вам за вашу отвагу, за жертвы, которые приносите во имя нас.

Улыбнувшись, Хадда продолжила:

— У нас здесь есть еще жилище, которое мы зовем Четыре гурби, и еще там, внизу, около родника, где заросли кустарника. Его мы зовем Три гурби.

— Смотрите, как у вас просторно! — порадовалась старая Ида.

— Да зачем нам все это? — горько посетовала Хадда.

Потом она позвала ее за другой столик, а муджахиды между тем осматривали оружие, делали какие-то записи в блокнотах.

Хадда наклонилась к гостье и тихо спросила:

— Умм Ида, ты много жила на свете, не дашь ли ты мне добрый совет?

— Помоги аллах, — ответила старая Ида. — Да в чем дело-то?

— Это очень важно. Сын моего брата Куидера, то есть двоюродный брат Шерифы, хочет жениться на ней.

— А что в этом плохого?

— Вот и ты туда же! Да как я выдам свою красавицу дочь, ангела из ангелов, за тридцатилетнего балбеса, кото-

рый ни в бога, ни в черта не верит! И как только его земля носит?!

— Ну, тогда объясни мне все по порядку.

Ну, так вот. Объясняю: Хосин — так его зовут — никуда не годный человек. Нет у него никакого уважения к отцу, а мать его — Бахта — настоящая гадюка.

— О господи!

— Не перебивай меня! Говорю тебе, что Бахта — нечистая сила, работает на колонизаторов и заставляет и моего брата Куидера делать как она. Она им рассказывает всякие байки, а они ей верят! И брата учит тому же. Говорит, мне, мол, уже досталось: и арестовывали, и пытали, а теперь, мол, хватит с меня, не мешает и поработать на них. Так, глядишь, все семейство будет вне подозрения... Понимаешь, умм Ида? Ведь и брат говорит то же самое!

— Ну надо же, — покачала возмущенно головой старая Ида.

— Вот видишь? А теперь еще и этот распутник! Хосин не захотел пойти с муджахидами, потому что он — трус, у него не кровь в жилах с рождения течет, а страх! Хосин — предатель!

— Как же это?

— Вот именно, предатель!

— Я понимаю теперь...

— Да ничего ты не понимаешь, умм Ида. Ведь Хосин хочет жениться на моей дочери. Эта собака Хосин хочет Шерифу в жены!

Старая Ида удивленно покачала головой и сказала:

— Ты можешь поступить, как считаешь нужным!

— Это только так кажется, — вздохнула Хадда, делая отчаянные жесты. — Хосин угрожает выдать нас солдатам. Вот будет ужас-то, если они нагрянут, когда сюда придет твой сын!

— Понимаю, — кивнув, печально сказала старая Ида.

— Понимаешь теперь, что они могут обнаружить, где спрячется твой сын? Ведь у него есть тайник в нашем доме.

Старая Ида задумалась на мгновение, и ей показалось, что она нашла решение.

— Так Халед уйдет в другое место!

— Куда? — спросила с тревогой Хадда. — Здесь у него надежное место, никто его не найдет, это невозможно. Тайник знаем только мы и за него отвечаем.

— Какое несчастье!

Хадда нахмурилась:

— Да, это действительно несчастье! Вот я говорю себе частенько: «Хадда! Надо бы выдать дочь замуж... Шерифа уже настоящая женщина... Уж лучше Хосин, чем эти бессовестные бородатые солдаты — легионеры. Ой, если бы ты видела, как они плят на нее глаза! Я как вспомню, у меня мурашки по телу бегают! Молодые, — те, кто недавно приехали из Франции на солдатскую службу, — те еще поскромнее, жалеют немного нас...

— Тогда выдавай замуж свою дочь за Хосина! Это все-таки ее двоюродный брат...

В ответ Хадда резко бросила ей:

— Ну и женщина! И ты туда же! С тем же самым советом! Ничего ты не поняла, черт побери! — Потом замолчала, глубоко вздохнула и сказала: — Моя дочка хочет, я это чувствую, выйти замуж за твоего сына. И твой сын, Халед, любит Шерифу. Поняла?

Умм Ида залепетала: «Да, да, да».

— Добавь к этому, — продолжала Хадда взволнованно, — что жена моего брата, то есть Бахта, зла на твоего сына, который, чтобы положить конец долгим распрям между мной и Куидером по поводу наследства, запретил нам судиться и указал каждому его долю. По-моему, он поступил по справедливости, но Бахта настраивает все время брата против меня и не признает решения си Халеда.

— Так объяснись со своим братом!

— Да что он может? — вздохнула Хадда. — Бахта вьет из него веревку. Он не осмеливается ничего предпринимать без ее разрешения. Его жена делает с ним все, что захочет! Да к тому же, я уже месяца три не виделась с Куидером. Наверное, он не желает больше знать меня. А я ведь его единственная сестра, и братьев у него больше нет!

— Как печально все это! — заметила старая Ида. — Истинно говорят люди: «Заблудившись в глухом лесу — ищите путь вместе, не разбредайтесь в разные стороны...»

Послышался голос проголодавшегося Махмуда:

— Не пообедать ли нам?

— Ишь ты! Куда спешишь? Вся ночь впереди, — подзадоривал его Абделькадер.

Хадда, которая разоткровенничалась было со старой Идой, прервала свою речь, всплеснула руками:

— Шерифа, должно быть, уже приготовила еду. Пойду ей подсоблю, если требуется.

— Да ничего не надо, Хадда, дочь моя! — взмолилась старая Ида, удерживая ее. Но Хадда настояла на своем и с улыбкой сказала:

— Я управлюсь в мгновение ока, умм Ида, потерпите немножко!

Старая Ида за это время осмотрела помещение. «Еще хуже, чем у нас, в Сур-аль-Гозлане», — подумала она. — Даже не цементный пол, а просто голая земля».

Пол хижины был местами утрамбованный, местами взгорбленный. Стены, низкие и потрескавшиеся, были сложены из непрочной смеси: сухой травы, песка, глины и мелких камней. Потолка не было, лишь плохо обтесанная балка и вместо перекрытий толстые ветви — все это было замазано перемешанной с травой глиной и листьями. Окон нет, только отверстие в стене, похожее на амбразуру. В этой гурби, отделенной от другой не дверью, а неровным домотканым покрывалом, висевшим в проеме стены, мебели почти не было: только большой сундук, шкаф из некра-



шеного дерева, овечьи шкуры, два сломанных стула, а на полу — шерстяной ковер, матрасы, шерстяные покрывала, сотканые Шерифой, два низеньких столика и жаровня. На гвоздях развешаны мужская и женская одежда, картинки с изображением Мекки и различных святых — марабутов.

«Гурби — это наш позор», — подумала старая Ида. А вслух сказала:

— Вот эта нищета и открыла глаза тем, кто спал и ничего не видел. Бог поможет нам! Ибо несчастные вознаграждаются.

Махмуд с жалостью посмотрел на нее, он понимал, как она одинока.

— Не печалься, умм Ида, не расстраивайся. Си Халед придет сюда ночью.

— Да услышит тебя господь, сын мой!

Махмуд глубоко вздохнул:

— Кто знает, узнала бы меня моя мать, если оказалась здесь? Аллах, как я изменился! Забыл уж, каков и цвет моих волос и моей кожи...

И, еще раз глубоко вздохнув, добавил:

— Да и жива ли моя бедная мать? Она ведь уже стара, больна и так переживает все... Мне страшно за нее!

— Ты увидишь ее, сын мой, — прошептала старая Ида. — Все наши надежды на аллаха.

— А у меня, — сказал глухим голосом Абделькадер, — нет никого: ни отца, ни матери. Как говорится, за спиной — ни души...

Вдруг за дверью послышался какой-то шум, все заволоновались. Абделькадер зажал в руке пистолет, Махмуд схватил автомат, прислушался, готовый начать стрельбу. Старая Ида побелела от страха. Она наклонила голову, думая, что вот и настал последний миг.

А потом послышался голос си Фодила, дверь отворилась, и он вошел.

— Они здорово проголодались, ваши уважаемые ослы. Ну, я накормил их хорошенько. Хабиб устал больше, чем другие. Он хромает, бедняга.

Все сердито смотрели на него. А он, закрыв за собой дверь, сказал, как бы между прочим, с поразившей всех беспечностью:

— Да там все спокойно. Чего вы похватали оружие- то? Надо же, как вас страх-то всех перекорежил!

— Ах, это ты, си Фодил! — воскликнула старая Ида чуть не плача.

— Я бы вот сейчас продырявил тебе шкуру, шейх Фодил, — заворчал Абделькадер.

— Несчастный! — сказал недовольно Махмуд. — Ты что, не мог войти нормально?

— Да что я такого сделал? — взмолился тот.

В этот момент на пороге появилась Хадда, неся в руках ложки и два блюда с кускусом: одно для мужчин, другое — для женщин. Увидев сцену, сказала:

— Как ты правильно сказал, брат Махмуд, этот человек не изменится никогда. Его бестолковость и болтливость нам еще дорого обойдутся!

— Привяжи-ка свой язык, женщина! — прогромыхал си Фодил обиженно.

— Да это чистая правда! Ведь ты же спишь на ходу! И тысяча залпов пушки тебя не разбудят! — воскликнула Хадда.

— Известно, как он всего боится, — вставил Абделькадер. — Он и нас когда-нибудь пристрелит от страха!

— Ну что я еще сделал? — жалобно спросил си Фодил.

— Ты всего боишься! — наступал на него Абделькадер.

— Ничего я не боюсь! Просто привыкли вы надо мной насмехаться или цепляться ко мне, когда у вас плохое настроение! Си Халед так ко мне не относится. Он настоящий сын!

Абделькадер подмигнул Махмуду и продолжал свои насмешки:

— Скажите, какой храбрец! А видали вы, как он расстилается перед французами?

— Давай, давай, издевайся! Это что, называется «расстилаться», когда я только и думаю, как вам же и помочь...

Пожав плечами, Абделькадер присвистнул:

— Это как сказать. — Указательный палец он держал на курке пистолета.

Си Фодил бросал отчаянные взгляды на свою жену, на старую Иду, на Махмуда и на Абделькадера. Абделькадер стоял с невозмутимым видом. Шерифа тоже находилась рядом, она держала в руках кувшин с водой и салфетки.

Хадда поняла из всех препирательств, что речь идет о чем-то серьезном, и побледнела. Потом спросила срывающимся голосом:

— Что происходит, брат Абделькадер?

Абделькадер пристально смотрел на си Фодида, в глазах его был лед.

— Спроси у него самого, умм Хадда.

— Да что он сделал-то?

— Спроси у него, умм Хадда, отчего случаются совпадения между «вызовами», которые из города получает си Фодил, и массовыми расстрелами наших товарищей, совершающимися сразу после его визитов в город?

Шерифа поставила на столик кувшин с водой, разложила дрожащей рукой перед каждым гостем салфетки и застыла у стены. Тени мужчин, отбрасываемые светом керосиновой лампы на стены, ползли изломанными линиями на потолок и еще больше пугали Шерифу. Ситуация становилась все напряженнее, шутки Абделькадера оборачивались серьезным обвинением. Махмуд понял, что надо положить конец этой неприятной сцене, пока не случилось непоправимое.

— Прекрати, брат Абделькадер!

— Однако надо бы...

— Говорю тебе, кончай свой мрачный юмор!

Абделькадер убрал оружие и сварливо сказал:

— Си Фодил недаром дрожит от страха. Может быть, его и стоило попугать.

— Кончай! Нам не в чем его упрекнуть. Лучше поблагодарим его — ведь мы столько неудобств ему причиняем. Он из-за нас рискует. Понимаешь? Ему даже нечем защищаться. У нас-то хоть есть оружие.

— Он не один — у народа тоже нет оружия!

— А я о чем говорю? Именно поэтому он отважнее, чем мы все! Отдадим ему должное.

Абделькадер поутих. На какое-то время воцарилось тягостное молчание. Сидели, скрестив ноги или вытянув их, как Махмуд, за столиками. Женщины с одной стороны, мужчины — с другой медленно черпали деревянными ложками из общего блюда, которое стояло у каждого на их мейда<sup>1</sup>, превосходный кускус, не идущий ни в какое сравнение с тем, что могут приготовить местные хозяйки. Крупинка от крупинки, белый, рассыпчатый, сдобренный в меру густым соусом, ароматный, возбуждающий аппетит и расслабляющий нервы, — вот какой был этот кускус, приготовленный той, у которой должны были быть бархатные либо шелковые руки, умащенные благовониями, благословенные создателем.

Абделькадер долго пил из кувшина, потом воздал благодарность за этот вкусный обед:

— Альхамду лилла! — Слава аллаху!

— Сахха алейк! — За ваше здоровье! — поддержали его остальные.

— Иссалламкум! — Благодарение вам!

Выпил воды и Махмуд:

— Альхамду лила!

— Сахха алейк!

---

<sup>1</sup> Мейда — маленький столик.

— Иссалламкум!

За столиком женщин первой кончила обед Шерифа.

— Можешь убирать, — сказал ей отец.

— Веди себя прилично! — упрекнула его Хадда, чуть было не подавившись кускусом, ложку с которым она только что поднесла ко рту. — Может быть, твои гости еще продолжают трапезу.

— Да нет, спасибо, умм Хадда, — сказал Абделькадер. — Я хорошо поел. — Он шумно отрыгнул<sup>2</sup> и произнес. — Альхамду лилла!

— Ия тоже хорошо поел, — присоединился к нему удовлетворенно Махмуд.

— Альхамду лилла! — произнесла старая Ида. — И я сладко поела. Пусть не иссякнет ваше благополучие!

Шерифа собрала ложки и пустые тарелки. Старая Ида улучила минутку, чтобы полюбоваться ее лицом, когда та находилась вблизи от лампы: «Какие у нее большие светлые глаза, какие черные ресницы! Носик — тонкий и прелестно вздернутый кверху! Какая шея, тонкая, словно пером нарисована, красивее, чем у лебедя! И эта природная застенчивость, придающая ей еще больше очарования!»

«Отдать эту жемчужину какому-то свихнувшемуся с пути балбесу! Выколи мои глаза, ни за что!»

Она вспомнила своего сына, Халеда, но не осмелилась снова говорить о нем, спросить, когда он придет, ни у Абделькадера, ни у Махмуда. И совсем было перестала уже надеяться, подумала, что, наверное, Халед отказался от своего намерения. В ушах все звучали слова Махмуда: «Подожди еще, умм Хадда, мы часто не властны над временем, не знаем, куда забросит нас судьба!..» И слова Хадды: «Преисполнимся терпения...» Печаль глубоко разлилась в ее сердце, она подумала: «И зачем только аллах ниспослал нам эту добродетель? Неужели смирение существует лишь для угнетенных?»

---

<sup>2</sup> У мусульман — знак благодарности хозяевам за хороший обед.

До ее слуха донесся рассказ Махмуда об ужасном событии:

— Молодой командир из Армии национального освобождения собирался ночью уходить из хижины, где скрывался. Днем колониалистская армия не переставая бомбила или стреляла из пулеметов по всей округе в надежде убить и командира. Мужчин, даже стариков, ставили к стенке и пытались вырвать у них, где командир, но даже под пыткой никто не сознался, и постепенно всех одного за другим расстреляли. Уйти командир не успел: в воздухе носились самолеты и вертолеты, танки окружили место, где он прятался. И уже не было времени, чтобы принять решение: атака была неожиданной и жестокой. Операция по захвату длилась не более пяти минут. Все было уничтожено и сожжено. Остался только пепел. Территория очищена!

— Ну, а дети, а женщины! Никого не пощадили...

Старая Ида подперла щеку рукой и тихо плакала.

— Ну что теперь можно сделать, умм Ида?.. — так закончил свой печальный рассказ Махмуд.

Ей на какое-то мгновение показалось, что она сходит с ума: воспоминания, прошлое, надежды на будущее — все перемешалось, ей было страшно, ведь она уже не могла отличить сон от реальности. Она даже ущипнула себя, чтобы удостовериться, что все происходящее — не плод ее воображения. Ощущение того, что она жива, было как боль, молнией пронзившая ее тело.

— У тебя усталый вид, умм Ида, — заметила Хадда. — Пусть мужчины устраиваются на ночлег здесь, если пожелают, а мы пройдем в соседнюю комнату.

— Да я и спать-то не хочу, — слабо возразила старая Ида.

— Тебе надо отдохнуть, — настаивала Хадда.

— Вот когда я увижу своего сына, тогда уж и можно будет попросить у аллаха покоя...

— Халед придет, — уверил ее Махмуд. — Однако тебе надо отдыхать.

— Мне страшно, сын мой!

— Нет никаких оснований волноваться! — Си Фодил говорил, совсем уже еле ворочая языком, сон постепенно одолевал его. — Си Халед может прийти неожиданно — и сейчас, и через час, и на рассвете. Главное, чтобы он был здоров и чтобы хранил его аллах. Он — человек умный, смелый, вежливый, сердечный. Он лучший из людей!

— Спасибо! Спасибо вам большое, — поблагодарила старая Ида. — Но я не хочу спать. Кто хочет, ложитесь, не смущайтесь, прошу вас!

Шерифа взяла одеяло, сказала: «Спокойной ночи!» — и ушла в соседнее помещение. Си Фодил надел два бурнуса и вышел из дому, сторожить.

— Смотри в оба! Не засни! Они нас вполне уже могли выследить! — ворчал Абделькадер.

— Спи себе сам и в ус не дуй! — огрызнулся си Фодил.

— Вот бедняга! — пожалела си Фодила старая Ида. — Всю ночь на холоде проведет!

Но Хадда хорошо знала своего мужа.

— Не волнуйся, умм Ида. Там не так уж и холодно. В любом случае, на нем два бурнуса, и он захватил с собой все, чтобы спокойно устроиться и поспать под дубом.

— Да как так! Это же неосторожно! — всплеснула руками старая женщина. — Нет ли у вас собаки?

— Была, не собака — лев да и только! Но ее убили. Нет смысла заводить еще.

— Даже собак не щадят! — в сердцах сказала старая Ида.

— Они безжалостны! — с отчаянием произнесла Хадда и махнула рукой: — Война одним словом.

— Война, — глухо повторила старая Ида.

— Ладно, будем бодрствовать! — заявил Махмуд, улегшись на матрас. — Но тогда придется разговаривать.

Старая Ида настаивала:

— Отдохни, сынок, ты устал.

— Отдохни, брат Махмуд, — поддержал ее Абделькадер, у которого глаза закрывались от усталости. — Завтра предстоит долгий путь.

— Да нет, ничего, я еще в порядке. Посплю потом.

Абделькадер натянул одеяло на голову: «Спокойной ночи!»

— Спокойной ночи! — ответили ему.

Казалось, что си Фодил крепко спал, прислонившись к дубу, закутавшись в бурнусы. На самом деле он был начеку, как сторожевой пес: уши чутко прислушивались, веки подрагивали, ноздри легонько раздувались, вдыхая морозный воздух. Около него стояло охотничье ружье, которым он еще ни разу не воспользовался. Все вокруг было тихо, кругом воцарилось молчание ночи, залитой белизной снега. Месяц на чистом, без единого облачка небе был похож на корабль, плывший по спокойному без зыби и волн морю.

С вечера ветер подсушил слякотную землю, снег отвердел, и от него шло холодное, мерцающее сияние, резко контрастирующее с черными провалами оврагов и силуэтами голых деревьев. По склону, там, где в зарослях кустарника находились участки, на которых сеяли горох и фасоль, журчала вода. В запруде она, словно в зеркале, отражала лунный свет и, продолжая свой бег среди холмов, освещала, как вспышками огня, окрестные пейзажи; они, поблескивая, казались незнакомыми, необычными, почти фантастическими. А там вдали тревожно и печально высилась гора, обнаженная, с ободранными, обожженными пожарами, разрушенными бомбами склонами, с мертвым лесом, в котором стояли обугленные зловеющие скелеты деревьев, и редкие уцелевшие листья, словно одинокие рифы в безбрежном море, фосфоресцировали, как светляки... Можно было различить и одиноко стоящую на пустыре ферму, поваленные столбы, раскиданные вокруг трупы,



жалкие останки сметенных пушечными выстрелами гурби, прибитых, как после наводнения, к скалам, разрушенный мост, под которым струилась речушка; она бежала, заливая разбитую, растрескавшуюся дорогу...

Ночью вся земля прислушивалась к себе, и человек сосредоточился, тоже вопрошая себя. Его целиком захватила одна мучительная мысль, давила, навалилась, как тяжесть самой ночи. Но он не гонит ее, не стонет, он весь в ее власти. И эта мысль связывает его с теми, кто, как и он, не спит этой ночью и в глубине своей души ищет ответ на тот же самый вопрос. Вот почему он сейчас не одинок, тайно соединен с такими же, как он, кто заметил в итоге долгой жизни, полной борьбы, что выход один, но вот приемлем ли он для всех? Он понимает, в чем его счастье, и знает, что страдания, горе, война — не для человека, человек не создан для этого, ему нужны спокойствие, мир, радость...

Пытаясь убедиться в правоте своих или чужих суждений, ибо он не верит на слово, человек пробует разные пути-дороги, стоит не раз перед выбором, заходит в тупик. И сомнения одолевают его. Словно выхваченная из тьмы первыми лучами солнца, обнажается истина, с нее спадает завеса, как пелена с глаз. И надо защищаться: один человек предаст другого. И все начинается снова... И остаются нерешенными все те же проблемы...

Тишина ночи не принесла спокойствия си Фодилу. Он не мог заснуть. Но это радовало его, словно легкая дремота, не дававшая ему забыться глубоким сном, и была гарантией его бдительности. Он хорошо знал себя, этот уже не молодой, но и не совсем еще старый человек, свернувшийся сейчас, как еж, клубком у подножия старого дуба. Ему не было страшно. Ночь не приносила покоя душе, но странным образом просветляла ее.

Человек хилый, непривлекательный, с неустойчивым характером, неспособный признать свои слабости, незначительный, он сам удивлялся, как сейчас ему доверяют одно-

му охранять эту страдающую землю. Его поражала ответственность, которая легла на его плечи, словно он отвечал за судьбу самой земли. А может быть, и вправду, мир спокойно спал потому, что си Фодил оберегал его покой, следил за его дыханием? Он был страж и мог, любя, уберечь, а мог и предать. И всю ночь си Фодил прислушивался к жизни этого мира, как он дышит, смеется, плачет, стонет. И в каждое такое мгновение, когда си Фодил ощущал свою слитность с этим миром, забывал о себе, думал о людях, заботился о них, он испытывал радость, чувствовал себя героем.

Он знал, что у каждого своя правда. То, что считает справедливым один, другой отрицает. Кому это неизвестно? Драма в том, что люди не понимают друг друга и, вместо того чтобы любить друг друга, любить истинно, блуждают в потемках, прячутся от света правды, и не потому, что не знают его пользы, а потому, что не приносит он им облегчения. Просто во тьме ночи легче разгуляться страстям, а ведь днем становится заметной вся их неприглядность. Вот так в ночной тишине си Фодил был единственным властелином, хозяином мира, вершившим судьбами людей...

Он осознавал теперь свою силу, и она позволяла ему оправдать перед небом убогость его каждодневного существования: «Вот это и есть моя настоящая жизнь. И надо жить, только жить, а не существовать. Главное — жизнь...»

Жить... Но си Фодил, считавший сейчас себя хозяином своей судьбы, сам ничего о ней не ведал. Сидя под дубом, окутанный ночным покоем, он и не предполагал, что его тихую радость уже подстерегала беда...

### III

— Ну что, умм Ида, давай заступать на дежурство!

Махмуд не хотел спать и предложил свою помощь не из вежливости.

— Ты, что же, привык не спать? — спросила его старая Ида, как-то вдруг вся сгорбившись, сжавшись, став совсем маленькой.

— Привык? Право, не знаю.

Хадда вздохнула, пожалев его. Махмуд спокойно объяснил:

— Случаются тяжелые дни, как и тяжелые ночи. Когда приходится трудно, сон для нас — роскошь. — И припомнив что-то, сказал: — На войне заснуть — значит умереть. — Потом, улыбнувшись, добавил: — Многие забыли о сне. То есть, я хочу сказать, забыли, что такое спать спокойно, без забот, зная, что назавтра встанешь вместе с солнцем... В общем, вы понимаете, что я хочу сказать...

Женщины сочувственно закивали. Глаза Махмуда увлажнились, он глубоко вздохнул.

— Да и что значит для нас сон, если кому-то необходимо, чтобы мы бодрствовали, если кто-то будет чувствовать себя в безопасности, если кому-то удастся заснуть, — ради этого нам стоит и не поспать. Сегодня мало найдется таких, кто спит спокойно, а не дрожит от страха. Все теперь дрожат, ложатся одетыми, даже не сменив верхнюю одежду на рубашку или пижаму. И всю ночь ждут: вот-вот смерть придет! Некоторые даже иногда, чтобы избавиться от страха, желают поскорее умереть. Да, да! Хотят умереть!

Хадда восхищалась Махмудом. Казалось, она говорила про себя, слушая его: «Сынок мой, сынок! Какой же ты красивый. Ты не создан для того, чтобы умереть! А вслух произнесла строго и решительно:

— Будем надеяться, что скоро война закончится и мы вырвем у них нашу независимость!

— Придет ли этот день? — тихо спросила старая Ида.

— А для чего же мы сражаемся, умм Ида? — голос Махмуда зазвенел, сорвался на крик.

Старая женщина прошептала, виновато прижав руки к груди:

— Меня волнует это, сын мой, ведь я ваша мать!..

Махмуд извинился:

— Я понимаю тебя, умм Ида. Прости меня. Но и ты пойми — наше дело священное. Надо продолжать борьбу до победного конца, чтобы отомстить за всех павших в этой войне братьев. Для нас, муджахидов, главное — победа. Я говорю это спокойно и хочу даже, чтобы была она легкой, — так больше мы ее заслужим... Да она и не будет легкой, ведь на той стороне — тоже люди. Я не хочу ничего доказывать, но каждая из воюющих сторон просто так ничего не уступит, каждый защищает свое.

Старая Ида согласно закивала:

— Ты прав, мой сын. Ты прав.

— Ну а мы, мы поклялись погибнуть во имя того, чтобы жил Алжир! — твердо и сурово сказал Махмуд. Потом, заметив грусть на лице старой женщины, изменил тон: — У меня ведь тоже есть мать, умм Ида. — Махмуд говорит так, словно видел ее перед собой. — Она маленькая, старенькая, измученная заботами. У нее голубые глаза и длинные седые волосы. — Он вспомнил, как ухаживал за больной матерью. — Теперь все зависит оттого, сколько выдержит ее сердце. И как она там без меня? Я видел ее во сне вчера. Должно быть, она не встает с постели... Знает ли она хотя бы, что где-то далеко в горах ее сын Махмуд думает о ней и плачет иногда? Ты права, умм Ида. Придет ли, наконец, этот день, когда каждый сможет увидеть своих родных и близких? Независимость мы завоюем, это точно, но вот доживут до нее не все, это тоже можно сказать с уверенностью. Но ничего, я верю, что многие!

— Иншалла! — сказала Хадда, обратив взор к небу.

— Иншалла! — повторила старая Ида, поднеся сложенные ладони ко лбу, потом к губам, как в молитве.

Махмуд продолжал:

— Вот и надо не терять мужества, не поддаваться отчаянию, чтобы жертвы, которые приносят сыновья этой страны, не были напрасными!

— Мы так страдаем, — с болью сказала старая Ида, — Столько всего терпим...

Хадда печально заметила:

— Аллах наделил нас терпением...

— В городах вообще жизни никакой не стало, — тяжело вздохнула старая Ида. — Все на подозрении. Особенно мужчины. Десятки и десятки арестов. Я уже не говорю о тех, кого хватают эти переодетые военные из какой-то тайной организации...

— Да и в деревне не лучше, — поддержала ее Хадда. — Здесь еще и бомбят, пушечными снарядами сметают с лица земли целые поселки, отдельные хутора. Вдоль дорог, на склонах холмов, в горах Дираха — повсюду наставили наблюдательные посты, и оттуда глядят в оба денно и ночью, готовы сигнализировать о малейших «подозрительных» вещах, ну а в них недостатка нет! Ведь если надо, то и выдумать можно. Например, не вовремя погасили свечку в таком-то доме или не вовремя зажгли ее: сидят с больным или у изголовья умершего, — этого вполне достаточно, чтобы жители округа пережили ужасные часы. Сколько их, испытавших подобные ужасы, а ведь были и такие, что умерли со страха...

Старая Ида протестуяще замахала руками:

— Уж не преувеличивай, пожалуйста, Хадда, дочь моя! Из пушек в городе не палят, во всяком случае, еще не палили. Правда, расстреливают людей пачками, не спрашивая, кто прав, кто виноват. Вот как-то недавно всех мужчин Сур-аль-Гозлана согнали на Марсово поле и держали там всю ночь. Однако ничего от них не добились! А в Алжире, рассказал мне мой сосед, на площади Правительства люди в капюшонах (конечно же, из тех, кто проданся колонизаторам!) указывали на проходивших перед ними мужчин,

женщин и детей, которых похватали в уличной облаве, определяя по собственному усмотрению «подозрительных»! Этих, одетых в капюшоны, называют еще «синими», может быть, по цвету их формы. А что касается «подозрительных», то, уж конечно, их найдут! Надо бы в таком случае арестовать всех живущих на этой земле... — И помолчав, добавила: — Да, вот именно, всех, даже животных, они тоже против колониализма!

Хадда огорченно ударила себя в грудь. А старая Ида продолжала:

— Потом «подозрительных» затолкали в грузовики, некоторых тут же на месте прикончили расисты-европейцы... А так как все тюрьмы переполнены и даже не хватает места в камерах пыток, то этих несчастных отвезли подальше от города, на пустырь, и там всех убили. Но вначале заставили их рыть себе могилу!

— Они делают с нами все, что захотят! — жалобно сказала Хадда.

Свет от лампы поплыл кругами перед глазами старой Иды. Она разговаривала теперь будто сама с собой:

— Нищета, голод, болезни уже не волнуют никого. «Кто убит?» «Кого убьют?» «Сколько убили сегодня?» — вот наша забота насущная! Разве ад страшнее?

Махмуд, с болью слушая женщин, спрашивал себя, в чем секрет стойкости человека, в чем же его сила? И отвечал себе: «В отваге и вере». И повторял с настойчивостью: «Перед врагом мусульманин перестает быть фаталистом».

— Они на стороне несправедливого дела, — сказал он спокойно. — Хотя и превосходят нас числом, техникой... Но что могут они против всего народа, решившего жить достойно, свергнуть тиранию, каких бы это жертв ни стоило! Слава нашим мученикам, павшим в боях под пулями колонизаторов! Слава героям, таким, как си Мохтар!... Да вы, может быть, и не знаете, как погиб этот человек?

Хадда отрицательно покачала головой и тревожно посмотрела на Махмуда.

— Да! Си Мохтар, незабвенный брат, — начал Махмуд с печальной гордостью. Он слегка наклонил голову к правому плечу и как бы припоминал. — Это случилось двенадцатого мая... — Потом продолжал уже твердо: — Сомнений не было. Все было ясно. И весьма заманчиво. Сведения были точными. Разведчик нарисовал даже план. Надо было действовать... Сведения поступили утром. И си Мохтар решил воспользоваться ими, как только стемнеет. Он первым пробирается во вражеский лагерь, и, если не подает сигнала тревоги, другие входят туда вслед за ним... Ангар, где французский патруль хранил оружие и боеприпасы, находился неподалеку от поросшего лесом холма, на обочине дороги, по которой беспрерывно шли транспортные колонны. С наступлением ночи пять человек во главе с си Мохтаром пошли по направлению к лагерю, прячась за редкими кустами, за обожженными стволами деревьев, ползли по нескольку десятков метров, чтобы не попасться в световой пучок прожекторов, лучи которых всю ночь неустанно выискивали людей, чтобы открыть по ним огонь. И вот наконец поздно ночью группа си Мохтара подобралась к лесочку, что рос на склоне холма; здесь было безопаснее, листва скрывала надежнее, отсюда было уже и рукой подать до склада с оружием. Каких-нибудь пятьдесят метров отделяло муджахидов от ангара!

Это было сборное строение, с толевым покрытием, возможно даже, вместо дверей открытый въезд. Но на сей счет данных не было, а то это во многом облегчило бы задачу!..

Си Мохтар сразу же узнал место и с удовлетворением отметил, что его люди быстро заняли позицию. Один из них уже установил ручной пулемет у подножия дерева.

Небо было затянуто облаками. Ночь благоприятствовала операции.

«Мы готовы», — прошептали джундии си Мохтару.

Вражеский лагерь, как корабль на рейде, был освещен не очень ярко. Но с четырех сторон, на вышках, светили прожекторы и стоял патруль. Си Мохтар тихо сказал, лицо его дрогнуло: «Остерегайтесь, братья. Здесь все слышно, каждый звук отдается. Эхо может подвести!— Еще какое-то время он, казалось, рассчитывал свои силы. Наконец, решительно сказал: — Ну, мне пора. Иду!..» Он ползком, с автоматом в руках, выбрался из леса и пополз дальше, иногда двигался пригнувшись, на корточках.

Время от времени прожектор светил то справа, то слева, иногда его луч скользил прямо над головой. Си Мохтар спрыгнул в ров: теперь дорога и колючая проволока были на уровне его лица. Грозный луч прожектора остановился, потом стал настойчиво шарить по рву, по кустарнику, потом ушел дальше. Си Мохтар вытащил из кармана кусачки, перерезал проволоку, освободив себе небольшой проход. Потом быстро перебежал дорогу с автоматом наготове. Вот он приклеился к стене, окружавшей лагерь, вот уже прижался к стене ангара. Что теперь он будет делать? Си Мохтар поднял руку — стена была невысокой. Кончиками пальцев прикоснулся к крыше. Повернувшись и зацепившись за нее руками, он вполне мог бы забраться наверх... Прижавшись грудью к стене, с автоматом через плечо, он изо всех сил подтянулся на металлической балке.

Издали за ним наблюдали его товарищи, и каждый был готов прийти на помощь в любую минуту.

Резкое и бесшумное движение плечами, ногами, руками, умелый бросок тела вперед — и вот уже си Мохтар вытянулся, замер на крыше. Прижавшись лбом к толевому покрытию, он прислушался. Ему казалось, что все громы и молнии небесные сейчас обрушатся на него. Он еще раз прислушался: до него доносилась всего лишь тихая джазовая музыка. Потом си Мохтар различил негромкие звуки шагов в пыльном дворе. Огней не было, светили только прожекторы.



Си Мохтар не двигался еще несколько секунд, затем очень медленно и осторожно стал поднимать голову. Небо было по-прежнему затянуто тучами. Он увидел, что сторожевая башня находится в каких-то тридцати метрах от него! Он еще выше поднял голову. На башне стоял часовой и безразлично вращал прожектор, не следя за снопом его лучей. «Теперь я у цели, надо действовать...» — подумал си Мохтар. И осторожно пополз по крыше, направляясь к тому ее краю, который был обращен на двор. Время текло медленно. А из леса бойцы внимательно следили за движениями своего товарища. Они молчали, нахмурившись. Каждая истекшая минута отдавалась в висках, как удары пульса. Наконец, си Мохтар достиг другого края крыши. Его поразила тишина. Все было спокойно, часовой по-прежнему не следил за светом прожектора.

Жадно внимая Махмуду, Хадда не скрывала своего волнения:

— Аллах был с ним, — сказала она.

— Конечно! — поддержала Хадду умм Ида, ресницы ее тоже дрожали от волнения.

Махмуд продолжал рассказ, в голосе его звучали то спокойствие, то страсть, то мстительные нотки — ведь все это время си Мохтар был один, совершенно один!

Си Мохтар еще раз бросил настороженный взгляд на башню, вниз, на пустынный двор. «Вот так удача! — подумал он. — Никого нет», — и осторожно спрыгнул с крыши. Луч прожектора выхватил из темноты его фигуру. «Это ты, Робер? — услышал он. — Не сходи с ума, как вчера, ведь тебя уже чуть было не пристрелили. — Потом, снова осветив его, сказали: — Дурак! Думаешь, если будешь молчать, то нагонишь на нас страху?!»

Си Мохтар забился в какой-то темный уголок и еще раз подумал: «Надо же, как повезло!»

Ангар действительно был без двери. Внутри было все черным-черно, таинственно, и только слабые полоски света

прожектора косо проникали в щели между листами толя на крыше. Но для си Мохтара они казались струями светового дождя, которые отражались от гладких металлических предметов. Он угадывал приклады, дула ружей, патронные обоймы, пулемет. Си Мохтар широко жадно открыл глаза, словно надеялся, что это поможет разглядеть в окружавшей тьме сокровища. Вот так удача! А главное — никого нет, все спокойно. С чего же начать? Схватить одно, два, три ружья? На мгновение его пронзило жгучее желание взять все! Даже нога задрожала от нетерпения, даже в голове зашумело! И тут словно под вспышкой молнии вдруг озарились и понеслись одна за другой картины, которые си Мохтар созерцал как одурманенный: пустынный двор, сторож, прожектор, ночное, затянутое тучами небо, поток света, блеск оружия, бойцы, ожидающие его возвращения... Одного неосторожного движения было бы достаточно, чтобы очутиться лицом к лицу с другим миром, это движение могло бы покончить с одной жизнью и начать другую. Он это почувствовал. Перейдет ли он этот рубеж? Словно бездна раскрывалась под ним. Но си Мохтар подавил страх. И начал действовать.

Под световым дождем, лившимся сквозь щели в крыше, си Мохтар, подобно вдохновенному спелеологу, бредущему во мраке пещеры, исполнился той радостью, которая обретает смысл лишь после возвращения к людям, к тем, кто способен оценить свершенное.

Вытянув руку, он шарил в темноте, и когда слабые вспышки света тонкими нитями легли на его пальцы, он нащупал два автомата, две полные обоймы с патронами, кольт в кобуре. Повесив на себя оружие, он согнулся под его тяжестью. В лихорадке, охватившей его, си Мохтар готов был брать еще и еще — ну как можно оставлять пулемет, ружья, мешки, полные патронов? Но и тем оружием, которое он взял, можно было поразить хотя бы одну из тысячи голов проклятой гидры...

И тут он по-настоящему отдал себе отчет в сложности своей задачи. Проникнуть в лагерь — это еще пустяки. Выйти отсюда невредимым — вот задача, вот наиболее трудная часть задания. Си Мохтар выбрался из ангара, быстро прижался к стене. Проекторы продолжали кружить. Он смотрел, как вытягиваются тени, потом снова сжимаются, следуя постоянному ритму... В ту ночь, казалось, жили только эти тени да он, си Мохтар, а остальное было бесплотным, бездыханным и безжизненным. Затем все успокоилось, опять воцарилась тишина, почти осязаемая, поразительная тишина. Си Мохтар вспомнил о товарищах, набрал побольше воздуха и, высоко подпрыгнув, ухватился за металлическую балку. Чуть было не вскрикнув от напряжения и боли, он очутился на крыше.

Внезапно луч прожектора осветил его. У си Мохтара оборвалось дыхание, сердце учащенно забилося. Он подумал, что вот смерть и остановила на нем свой выбор. Но без боя он не сдастся! Си Мохтар схватил свой автомат. Пршептав слова молитвы, он вспомнил вдруг, что не одинок, что его видят товарищи, что его тревога доходит и до них.

Однако ни холода, ни дыхания, ни запаха смерти он не ощутил: она вроде бы коснулась его, но тело оставалось горячим, жизнь не остановилась. Лишь капля пота скатилась со лба, по носу, смочила пересохшие губы. Си Мохтара передернуло. Может быть — смерть? Но в это мгновение прожектор снял с него холодный и грозный луч и направил его в другую сторону. Освободившись от жуткого ощущения смерти, си Мохтар пополз по крыше и, не теряя времени, быстро добрался до противоположной ее стороны. Проворно спрыгнув вниз, перебежал дорогу. Когда он начал отыскивать свою лазейку в колючей проволоке, его снова выхватил из тьмы луч прожектора, потом другой, третий и, наконец, еще... Не было времени покончить с собой, да и как решиться на это?! Разразилась громкая, продолжительная стрельба, окутав ночь дымом и огнем. Время останови-

лось. Смерть загрохотала, оглушила, лишила сознания: вот она, взбешенная, чудовищная, предстала, наконец, перед ним.

Си Мохтар закричал: «Братья, бегите, скрывайтесь!» Товарищи еще слышали его голос среди треска пулеметов и разрывов гранат. И в этом адском свете прожекторов и огня фигура си Мохтара казалась каким-то фантастическим силуэтом, который жестикулировал, цепляясь за колючую проволоку, спотыкался, падал и вновь поднимался, пока пулеметная очередь не сразила его и не прервала этот ритм беспорядочных движений. Си Мохтар на мгновение замер, потом упал на колючую проволоку, застрял в ней, потом судорожно вскинулся и снова повалился вниз. Новые выстрелы прикончили его, уничтожили, изуродовали, разорвали на части, разбросали его внутренности по земле и сетке колючей проволоки.

— Аллах! — воскликнула потрясенная рассказом Махмуда Хадда. Старая Ида всхлипывала.

Махмуд, увлеченный, продолжал:

— Но пораженные его храбростью, потрясенные героизмом бойцы си Мохтара не предались отчаянию при виде этой смерти — и то было победой, и они стреляли, стреляли без перерыва, пока не погасли два прожектора. Но тотчас же зажглись со всех сторон другие, военный лагерь вдруг превратился в неприступную крепость, которая палила из всех своих орудий и открыла ворота, выпуская солдат.

В лесу, освещенном теперь как днем, два джундия были убиты, лежали на земле — один на боку, другой на животе. Трое других отчаянно отстреливались. Пулеметчик умолял своих товарищей бежать, чтобы спастись, и предложил прикрыть их огнем. Они колебались, а вражеские солдаты с собаками приближались. «Черт возьми! Бегите же из этого ада! — закричал пулеметчик, и гримаса боли перекосила его лицо. Согнув колено, он показал свое бедро. — Видите

эту рану? Ведь они убьют нас всех! Бегите! Бегите же! Не дайте им порадоваться!» Бойцы не хотели его слушать, он был в ярости: «Бегите же! Аллах накажет вас, если вы останетесь! Уходите скорее! Посмотрите на мою рану — вы уже не в силах мне ничем помочь. Уходите немедленно! Я заклинаю вас именем аллаха! Уходите! Слышите? Уже близко собаки! Черт возьми! Вы слышите, как они лают?» Он, не переставая, стрелял. Бойцы попрощались со своим другом и, сжигаемые огнем сострадания, с тяжелым сердцем покинули его, скрылись в чаще. А он, собрав все мужество, стиснул челюсти, чтобы не чувствовать боли, остался отстреливаться в одиночку, выжимая все из своего пулемета. Ведь он не только защищал собственную жизнь, но и жизнь товарищей. Рядом с такими же солдатами, как те, что были сейчас против него, он бок о бок с 1939 по 1945 год бил немецких и итальянских фашистов. Но что там теперь вспоминать об этом! Теперь под этими мерзкими униформами он видел только безродных авантюристов, палачей, у которых не было ни прошлого, ни будущего. С горящими глазами, в бешеной ярости он смотрел, как эти солдаты наступали на него. Вся горечь разочарования, накопившаяся в нем, теперь как бы взорвалась, выплеснулась с огнем пулемета. Вот настал и его час: он отомстит за всех, желание мести заполнило его целиком. Он понял, что теперь, быть может, он умрет, не уйдет из жизни насовсем, бесследно — о нем останется память, о нем расскажут его товарищи.

И пули его били точно в цель. А целью было все: солдат, собака, прожектор, дорога, стена, огни...

Сейчас на него были направлены все лучи. Он с изумлением смотрел на этот заливающий свет, и его душила ненависть, жгли лихорадка и жажда. Такие минуты переживают, наверное, все герои, прежде чем погибнуть. Он стрелял, а боль пронзала его тело. Он больше уже ничего не слышал, ни о чем не знал. Только стрелял, как будто всю жизнь готовился к этому. Теперь ничего не имело смысла:

только стрелять, стрелять, стрелять. Не существовало и его самого: лишь мука, страдания братьев, их извечное страдание. Ему кричали: «Сдавайся!» «Руки вверх!» «Сейчас мы тебя прикончим!» Собаки яростно лаяли. И тут рядом с ним упал снаряд и разорвал его на куски. И еще продолжали стрелять, и еще минут десять слышен был собачий лай, потом все стихло. Один за другим погасли прожекторы, остались гореть четыре, что были на сторожевых башнях. Солдаты с собаками рыскали по лесу. А там, высоко в горах, из уже недоступного партизанского леса Бени-Слимана, смотрели трагический спектакль два джундия, которым удалось бежать...

Махмуд тяжело дышал.

— Си Мохтар не ушел из жизни навсегда, — сказал он, терзаемый воспоминаниями. — Даже если я умру, то вы все будете помнить его. Жизнь—вечная, и вечной должна быть память о си Мохтаре.

Старая Ида вздохнула, устало и печально опустила плечи. Потом сказала с гордостью за сына:

— Я не плачу. Даже если в маки ушел мой сын, Халед. Есть смерти, которые стоят больше, чем жизнь.

— Конечно, — просто согласился Махмуд.

Они помолчали несколько секунд. Вдруг кто-то громко постучал в дверь. Послышался пронзительный голос си Фодила: «Откройте, это я! Откройте скорее!»

Махмуд и обе женщины вопросительно посмотрели друг на друга. Абделькадер повернулся на своем матрасе. Показалась Шерифа. Она была взволнованна.

— Вы ничего не слышали? Там где-то стреляли вдалеке.

— Откройте же! — кричал си Фодил.

Махмуд взял автомат, поднялся. Абделькадер схватил кольт.

Хадда пошла открывать с потемневшим от тревоги лицом.

— Кто там? —спросила она.

— Да я же, о господи!

Она открыла.

— В горах пальба, — пробормотал си Фодил. — Слышно, как стреляют, бомбят.

Махмуд выбежал из дому, за ним Абделькадер.

— Это сына моего там убивают! — запричитала умм Ида. За ней заголосили Хадда и Шерифа.

Какая светлая ночь! И какое несчастье обрушилось на тех, кто там, в горах! По ту сторону окружной дороги, за угрюмыми дубами ущелья, за суровыми кедрами Черной горы, за хребтами Дешемия, за долиной Мерджа-Эттуила, там в глубине ночи гремели выстрелы, сверкал огонь, ожесточенно обнажая тайны неприступной горы. По склону ее клубился дым, он с гулом вырывался ввысь, застилая небо. Повсюду падали снаряды, рушились хижины, загорались соломенные крыши, пылали гигантскими факелами... Воздух был пропитан всеми звуками и запахами войны — густой, тяжелый, удушливый: земля, казалось, умирала. Ни один человеческий крик не смог бы прорваться сквозь это пожарище — грохот орудий и снарядов заглушал все. Небесный свод словно покрывал необъятное горнило, откуда снопами вырывались огромные звезды!

— Там убивают моего сына, Халеда! — повторяла, как в наваждении, умм Ида.

— Не говори глупостей! — ласково упрекнула Хадда.

Махмуд, жалея ее, покачал головой:

— Да нет же, умм Ида. Твой сын Халед — неуловим. Он просто так не погибнет в общем бою, вместе со всеми, не совершив подвига. Я знаю его, поверь мне. Успокойся, умм Ида.

Она, сделав усилие, вгляделась в его лицо, чтобы убедиться, говорит ли он правду. В тревоге, робко надеясь, с отчаянно колотившимся сердцем, готовым оборваться и рухнуть подобно снежной лавине, она искала в себе силы, чтобы уйти от тяжелых мыслей.

— Я верю тебе, — прошептала она. — Но я вижу, и ты боишься. — На лице Махмуда одновременно отразилось множество чувств: и отчаяние, и отвага, и решимость, и гордость, и жажда мести, как у тех, кто, следуя божьей воле, защищает свою веру.

— Да, умм Ида, — признался он. — Я неспокоен. Меня тревожит, сколько там будет убито людей и для кого не взойдет завтра солнце? — И продолжал взволнованно: — Каждая смерть требует продолжения борьбы и оправдывает ее. Нам говорили: «Зачем вы восстали, за что вам сражаться? Вы же не нация, вы никогда не были самостоятельным народом...» Пусть простит меня аллах, но я хочу, чтоб люди гибли в бою, чтобы пролилась кровь, чтобы затопила она склоны гор и унесла в море тех, кто упорствует и не признает нас алжирцами!

Да, умм Ида, мы знаем отныне, за что сражаемся. За землю, которую надо защитить, за наших погибших героев, которых мы чтим, за людей, которые должны жить по-человечески. А когда народ сражается за землю, в которой лежат его герои, то этот народ — нация. — Он показал на объятую пламенем Гору: — Видите, наш бой продолжается, и я буду прав, когда завтра возьмусь за оружие, теперь вы понимаете, почему мы не можем ни на день прекратить борьбу?

В эти минуты ему было тяжело, но война требовала выдержки. И он не стал говорить о себе.

Абделькадеру, сыну солнца и ветра, алжирских просторов, были знакомы эти чувства.

— Мы погибнем все как один, если надо, — сказал он. — И пусть павшие покоятся с миром. Мы будем страдать за общее дело.

— Это все так, — рыдала старая Ида, больше уже не в силах сдерживаться. — Но я не могу не плакать.

— Ты все думаешь о Халеде?

Она опустила голову, закрыла лицо руками.



— Войдем в дом, умм Ида, — сказал Абделькадер. — Я расскажу тебе о си Халеде. Это успокоит тебя.

— Ну, значит, уже точно, мой сын не придет сегодня.

И она закрыла глаза.

Махмуд и си Фодил остались на дворе. Больше уже не было слышно выстрелов и не видно пожаров. Шерифа вернулась в комнату с красными заплаканными глазами.

— Это еще ничего, — сказала Хадда. — Она со страха вообще может чувств лишиться. Немеет даже.

Ласково успокоив Шерифу, Хадда занялась старой Идой, усадив ее на матрас рядом с Абделькадером. Тот сказал:

— Знаешь, как хитер и ловок твой Халед?

— На сколько еще ему хватит всей этой хитрости? — вздохнула она.

— До тех пор, пока не одолеет тиранов, — прошептала Хадда вместе со словами молитвы.

— Иншалла! — промолвила старая женщина. Истом попросила умоляюще: — Расскажите мне, как он себя чувствует. Нет ли у вас его фотографии?

— Да он сам тебе ее даст, — сказала Хадда, чтобы успокоить женщину и уверить, что Халед жив.

— Си Халед здоровее меня! — сказал высокий и сильный Абделькадер. И, жестикулируя, стал описывать си Халеда: — Эта дверь — низка для него. А сила и авторитет Халеда известны всем. Мы слушаемся его беспрекословно, потому что он думает за нас всех. И думает обо всем правильно, что бы это ни было. Он просто замечательный человек, си Халед. — Потом с улыбкой добавил: — Он справедливый, великодушный — словом, настоящий мужчина!

— Халед на самом деле отзывчивый, — вздохнула старая Ида, признавая достоинства сына.

— Этот джундий полностью заслуживает уважения, — поддержала Абделькадера Хадда. — Когда он приходит сюда, его трудно по форме и выправке отличить от солдата

вражеской армии, только темперамент и выдает! Огненная кровь!

— А вдруг его спутают с врагом! — забеспокоилась старая Ида.

— Нет, я не то хотела сказать, — поспешно возразила Хадда. — Си Халед —точно чистокровный лев, его ни с кем не перепутаешь. Он и отважный, одновременно скромный...

Старая Ида тихо покачивала головой и взглядом молила: «Скажите, не изменился ли он?»

И будто говоря сама с собой:

— Я вижу его... А может быть, это не его я вижу... Множество лиц возникает передо мной... Я вижу его глаза, они светят точно огни и приближаются ко мне... Однако не всегда блестят его глаза. Случается, что они больны и печальны. Тогда я несчастна. Ведь жизнь каждого живого существа отражается в его глазах, не так ли? Вот посмотрите! Посмотрите на меня! Видите мои глаза? Они почти мертвы. В них нет уже искр жизни...

— Да продлит аллах твои дни! Ты не так уж и стара,— мягко сказала Хадда.

Умм Ида махнула рукой:

— Я гораздо старше, чем кажусь... — Переведя дыхание продолжала: — Потом я все вижу лицо Халеда, Когда он со мной разговаривает, я волнуюсь, кажется, что он нуждается во мне, что он жалуется... Потом какая-то черная завеса опускается на глаза и застилает сознание, и у меня начинается невыносимый шум в голове...

— Ты еще увидишь своего сына, умм Ида, — утешал ее Абделькадер.

Она вздохнула:

— Сколько мне еще осталось жить? А муж мой умер...

— Да упокоит бог его душу, — прошептал Абделькадер.— Мы знаем об этом. Но лучше не сообщать этого си Халеду.

Старая Ида опустила голову и всхлипнула:

— Да, конечно...

— Война скоро окончится! — как-то не очень уверенно произнесла Хадда.

Усталая и измученная старая Ида ответила сдавленным голосом:

— Война кончается только для погибших...

Абделькадер взял ее за руку.

— Послушай меня, умм Ида. Ты увидишь си Халеда целым и невредимым. Ему столько раз удавалось спастись от атак врага, словно он насмеялся над ними. Он всегда выходил победителем, ему всегда хватало отваги и осторожности.

Лицо старой женщины посветлело. Она слушала его, как ребенок, в слезах. А он рассказывал:

— Однажды мне довелось с ним быть на рынке в Мааморе после выполненного нами задания. Нас посылали в разведку в деревню. Конечно, на нас были, как и на всех других, бурнусы, нас ничто не выдавало, ни форма, ни оружие. Не знаю уж, как это случилось, но в деревню ворвались солдаты на грузовиках и бронемашинах и немедленно оцепили рынок. Лично я думал, что — конец. В этой удушающей жаре начали проверять удостоверения личности и обыскивать каждого. **Си** Халед сел на землю, как нищий, и сделал мне знак, чтобы я привел его лошадь, которая была привязана неподалеку. Если бы вы знали, какая это чудесная лошадь! Прекрасной породы, быстрая, красивая, черной масти, со звездой во лбу, белоногая. Я поспешил. А в это время уже один солдат подошел к си Халеду и пренебрежительно толкнул его ногой туда, где сидели другие несчастные, которых обыскивали самым бессовестным образом. Но си Халед был не из тех, кто так просто переносит унижения и дает себя оскорбить. Он выпрямился, встал во весь рост и выпустил очередь из своего автомата. Тот солдат сразу же и поплатился жизнью за свое презрение к

арабу, и другие солдаты, посылая проклятья, корчились неподалеку. Воспользовавшись всеобщим замешательством, си Халед вскочил на свою лошадь. Он впереди, я — сзади — лошадь поднялась на дыбы и галопом понеслась во весь опор...

— Неужели мой сын Халед все это проделал? — спросила с восхищением старая Ида.

— Да, твой сын! — сказал Абделькадер, довольный тем, что сумел вызвать улыбку на лице бедной матери.

— Ой, я тебе тоже что-то расскажу! — воскликнула Хадда. — Знаешь, теперь, когда твой сын заходит сюда к нам, солдаты не оставляют пас в покое, шпионы являются ежедневно.

Старая Ида опять покачала головой.

— Ну, а если я тебе скажу, — продолжала Хадда, — что иногда солдаты даже видят его в доме и не узнают! Они так и не узнали, где твой сын прячется! Да, да! Ведь так было уже не раз!

— Ох ты! — вырвался у умм Иды восхищенный возглас. Ее заинтриговал рассказ Хадды. Хадда наконец с торгом раскрыла ей тайну:

— Си Халед надевает платья моей дочери, Шерифы! Однажды они явились сюда в полной уверенности, что найдут его... Он и был здесь! — Она сделала таинственное лицо. — Солдаты искали повсюду, все с оружием!

Абделькадер слушал ее, забавляясь, как она это все рассказывала.

— Си Халед вышел из своего укрытия, надел длинное платье Шерифы, — оно закрыло даже его ботинки, — кокетливо повязал косыночку. Ну женщина, да и только! Даже женскую походку сумел изобразить! Правда, улыбаться остерегался — боялся показать золотую коронку на резце, — это его отличительный признак, об этом знают все вражеские службы.

Старая Ида не сдержала улыбки. Хадда клялась, что говорит чистейшую правду.

— Клянусь тебе, умм Ида, головой своей дочери... Си Халед появился на пороге своей гурби, там около источника. Никто из солдат не обратил на него внимания, каждый был занят — рылись в матрасах, шарили в кустарнике, как будто искали крошечное насекомое! Понимая, что долго здесь оставаться не стоит — могут узнать в конце концов, — си Халед взял ведро и с невозмутимым видом прошествовал среди солдат к источнику, будто бы за водой! Кто-то из солдат свистнул ему вслед; си Халед, ничем себя не выдавая, шел покачивая бедрами, точно женщина. Послышались смешки. Но твой сын уже скрылся в зарослях ежевики и высокой травы. В ста метрах от солдат он сбросил с себя женское платье, косынку и несколько раз выстрелил из пистолета. Он воскликнул: «Да здравствует свободный и независимый Алжир!», а потом быстро поднялся по крутому склону...

Солдат привело в неистовство то, что их так обманули. Гнев их не знал границ. Но теперь догонять его было уже поздно. Не под силу карабкаться с оружием по крутому склону. Си Халед сын этой земли, и сама земля ему в помощь. Тогда солдаты обратили свой гнев на нас. Они поставили нас к стенке, но, не знаю уж почему, не расстреляли. Они долго нас били. Мужа пытали водой. Солдаты заставляли его пить воду, а потом били ногами в живот...

— О, аллах! — воскликнула старая Ида.

Хадда лихорадочно продолжала:

— Ужасно! Какой-то солдат захотел раздеть Шерифу на глазах у отца! Но аллах не допустил этого. Их командир сказал «нет», по-моему, сам не понял — почему.

Ее грудь от волнения поднималась и опускалась, точно морская волна. Взяв себя в руки, она сказала:

— Слава аллаху, мы еще живы!

— Какая это жизнь! — жалобно сказала старая Ида.

— Да, жизнь такова, — ответила покорная судьбе Хадда.

Абделькадер слушал молча. Он, простой деревенский парень, до сих пор не понимавший, какие перемены происходят с мусульманской женщиной, открывал, что она поднимает голову, становится участницей революции, превращается в героиню. Да, у революции есть свои героини. Абделькадер смотрел на Хадду и не хотел видеть на ее лице следы страдания, тоски, принуждения. Он видел большие черные глаза, сиявшие светом и жизнью. Конечно, эта женщина тоже боролась, как и другие. Но боролась молча, с присущей ей скромностью и верой. И вот в окружавшей Абделькадера темноте ночи как бы засветились другие глаза, возникло бесчисленное множество глаз, и злых от голода, холода, нищеты, и заплаканных, и остекленевших, и выколотых, и ничего не видящих, высушенных, опаленных великим гневом земли и ее людей.

Да, алжирская женщина боролась, и ей выпадала иногда еще более тяжелая участь, чем та, о которой поведала Хадда. Абделькадер представил себе и тюрьмы, где томились узники, и камеры, где их пытали, и столбы, на которых их вешали... Он мог еще многое себе представить, но реальная действительность была еще трагичнее, превосходила все доступное воображению. Абделькадер тряхнул головой, чтобы освободиться от этих тяжелых видений.

— Умм Хадда, — тихо сказал он. — Сколько же пришлось вам испытать! И у вас еще хватает мужества!

— Да, я стараюсь не плакать, — пытаюсь улыбнуться, ответила Хадда.

Так прошла ночь.

Наступило утро. Было пасмурно, казалось, ночь еще не до конца сбросила свой темный покров. Но ветер уже немного разогнал тучи, и слабый свет, освещавший небо, позволял бойцам спокойно двинуться в путь туда, где днем их ожидали бои. Было не так уж холодно. Эта мягкость пого-

ды была просто неправдоподобной. Словно по мановению волшебной палочки, не осталось и следа от выпавших накануне дождей и снега. Казалось, что природа оживает, и вот-вот запоют птицы в небе, защебечут в густой листве деревьев, побегут, освободившись от зимних оков, реки, растают снега, уйдут холода, и весна возвестит о своем появлении.

Вошел Махмуд с си Фодилом.

— Надо уходить, — сказал Махмуд Абделькадеру. — Все спокойно. И лучше двинуться в путь сейчас.

— А как там, на Горе?

— Тишина. Пожар больше не полыхает.

— Вы, что, даже кофе пить не будете? — удивилась Хадда.

— Ничего страшного. По пути мы не раз встретим дома друзей, — сказал Махмуд. — Мы воспользуемся их гостеприимством.

— Он прав, — поддержал его Абделькадер. — Надо выйти пораньше, мы выиграем время.

— Животные готовы, — сказал си Фодил. — Осел, на котором добиралась сюда умм Ида, с вашего позволения, готов.

— Ты все правильно сделал, — сказал Абделькадер. — Мы отведем его к хозяину, который нам любезно его одолжил.

Махмуд подошел к старой Иде, обнял ее.

— Мы должны уходить, умм Ида, — тихо сказал он. — Я попрошу си Фодила проводить тебя сегодня в Сур-аль-Гозлан, — ведь мы ничего не знаем, сумеет ли си Халед теперь прийти сюда раньше, чем через несколько дней... Понимаешь меня?

Она закрыла глаза, охваченная волнением. Махмуд ласково поцеловал ее в лоб.

— Не бойся, — сказал он ей, опечаленной. — Твой сын жив. Ваше несостоявшееся свидание обязательно сбудется в другой раз. Я обещаю тебе, что, лишь только это будет возможно, я приеду за тобой, как вчера, и ты увидишься со своим сыном.

Он положил ей голову на плечо. Умм Ида с трудом проговорила:

— Я все понимаю... Я верю тебе. Да хранит тебя господь! Пусть сбережет он тебя для твоей старой матери!

Махмуд сжал губы, наклонил голову, готовый заплакать.

— Одному аллаху известно, как там моя мать... Я ведь каждую ночь вижу во сне наше расставание... Простит ли она мне, что я покинул ее?

И он отвернулся, по его лицу текли слезы.

— Поехали, брат Абделькадер, — выдохнул он наконец. — Мы — дети своей страны, все матери этой страны — наши матери. Кто любит их больше, чем мы?

Вошла Шерифа и прильнула к старой Иде. Ее била дрожь.

— Я так и не заснула, — сказала она, и даже голос у нее дрожал.

Она протянула Махмуду сверток, в котором было белозеленое знамя с полумесяцем и красной звездой посередине.

— Спасибо! — воскликнул он. — Ты мне всегда что-нибудь подаришь! — Полюбовавшись эмблемой, он добавил: — Скоро кончатся наши несчастья. — И обняв в последний раз старую Иду, попросил си Фодила позаботиться о ней, завтра проводить ее в город пораньше и быть осторожными в пути.

Джундии попрощались с женщинами. Хадда дала им на дорогу пакетик с провизией:

— Кое-что из еды, — сказала она. — Так, пустяки. Они поблагодарили ее и вышли. Несколько минут смотрели на смутно виднеющуюся издали Гору. Потом вскочили на



двух ослов, третьего повели на поводу. И вскоре уже поднимались по заросшему кустарником склону, выходили на дорогу, ведущую в маки.

— Теперь они на свободе, — с завистью сказал си Фодил.

#### IV

День быстро занялся над погруженной в молчание деревней. Солнце ярко окрасило горизонт и осветило большую часть обгоревшей Горы, которая казалась теперь выбритой щекой под огромным мохнатым глазом. В хижине Хадда приготовила кофе, а Шерифа испекла лепешку из манки и толченых фиников. Си Фодил и старая Ида улучили момент, чтобы совершить молитву, накануне они так и не успели этого сделать.

Теперь все сидели за столиком и завтракали.

— Так пусто без них, — сказала Шерифа тихо.

— Да, приезды и отъезды наших джундиев — всегда событие, — произнесла Хадда, и в голосе ее прозвучали гордость и восхищение.

Наливая чашку старой Иде, она, вздохнув, объяснила:

— Это не коровье и не козье молоко, к сожалению. Всего лишь сгущенка! Они ведь убили весь наш скот...

Си Фодил пожал плечами, поднял от возмущения брови, хлопнул ладонями.

— Что осталось от нашей фермы! Нет ни сада, ни поля! Только эти стены, жалкие стены! Наши гурби и наша могила!

Старая Ида утешила его. В ее голосе прозвучала вера:

— Это все пустяки.

— Как пустяки? Для кого? — жаловался он. — У меня теперь ничего нет. А раньше были и земля, и скот. Что осталось? — Он скрежетал зубами.

— Будь разумным, си Фодил. Ведь состояние всегда можно нажать, а вот жизнь вернуть нельзя...

— Да и здоровье мое теперь уже не то... — Он замолчал, подумав: «А ведь старуха права. Да и что такого особенного у меня было? А если и было, то недолго...» И в растерянности сказал: — Да... Жизнь...

Как будто он впервые задумался о значении этого слова. Он все повторял это слово, охваченный, видимо, сильным желанием вникнуть в его смысл, с тайной надеждой постигнуть его: — Да, жизнь! Сукина дочь!..

Старая женщина посмотрела на него из-под отяжелевших от бессонницы век и вздохнула. Си Фодил выпил кофе и поднялся.

— Ты еще наша гостя. Оставайся, если хочешь, умм Ида. Это для нас радость, ты же знаешь.

Она положила ему руку на плечо и ласково сказала:

— Да отблагодарит вас аллах за вашу доброту. Но мне надо уезжать. Я оставила детей одних. Один аллах знает, что может там случиться в мое отсутствие.

Хадда улыбнулась:

— Да хранит аллах твоих детей! Возложим на него нашу надежду. Он один нас может спасти.

— Мы долго будем вспоминать тебя, — сказала Шерифа печально. — Без тебя сразу пусто станет.

Старая Ида встала:

— Надо ехать. Если б еще была надежда, что Халед придет вечером... Но ведь он не придет...

— Да, жаль, конечно... — посетовала Хадда.

— Я хотела бы только взглянуть, с вашего позволения, на комнату моего сына, прежде чем уехать, — попросила старая Ида после некоторого колебания.

Шерифа улыбнулась, Хадда раздумывала.

— Да покажите вы ей гурби ее сына! — заворчал си Фодил. — Это же нормально. Ну чего тут особенного? Кто может тебя упрекнуть?

— Разумеется, — не без колкости ответила Хадда, раздосадованная его резкостью. — Пойдем, умм Ида.

Они вчетвером спустились по невысокому склону. Старая Ида держалась за Шерифу и смотрела под ноги, чтобы не упасть; окрестный пейзаж не интересовал ее, она с нетерпением ждала момента, когда сможет наконец взглянуть на комнату сына. Когда подошли к Трем гурби, си Фодил открыл дверь ключом, спрятанным в щели стены. Старой Иде, видно, понравилось жилище сына.

— Как здесь хорошо!

— Это я поддерживаю здесь порядок, — объяснила Шерифа с улыбкой.

— О! Совсем простое жилье, не то что в городе, где есть удобства... — сказала Хадда.

— Но здесь очень хорошо. — Старой Иде хотелось похвалить Шерифу.

Она придирчиво осмотрела каждый предмет. Все для нее имело значение. Стены были выкрашены в зеленый цвет, висели гравюры: одна — с изображением Мекки, другая — со строфой из Корана «Аят аль Курси»<sup>1</sup>. В углу стоял старинный зеркальный шкаф. В другом — кровать си Халеда, простой широкий пружинный матрас на ножках, аккуратно покрытый красивым шерстяным домотканым одеялом. На земляном полу лежал ручной работы ковер, на сундуке подсвечник, и рядом с сундуком — стул.

Умм Ида подошла к кровати, потрогала одеяло, медленно провела по нему рукой, как по реликвии.

— Здесь спит мой сын? — тихо спросила она, словно все еще не веря самой себе.

— Да, — также тихо ответила Хадда.

Старая женщина помолчала, забеспокоилась:

— Ему здесь не холодно?

— Да нет, это чудесная комната! — заверила ее Хадда.

Си Фодил пояснил:

---

<sup>1</sup> Этот стих считается оказывающим благодеяние, защищающим от зла. Мусульмане обычно носят его при себе, либо на листке бумаги в кошельке, либо в виде броши, и часто пишут его над входом в дом. — *Прим. автора.*

— Здесь тепло зимой и прохладно летом.

Умм Иду успокоили эти слова.

— Он здесь в безопасности, — сказала растроганная Шерифа.

— Ну, а где его тайник? — спросила умм Ида.

Си Фодил мягко сказал:

— Лучше, умм Ида, этого тебе не знать. Если тебя станут допрашивать, ты, в случае чего, ответишь: «Я ничего не знаю об этом», и тебе будет легче.

— Ты прав, си Фодил, — сказала умм Ида, улыбнувшись. — Ты мудрый человек!

— Но знай, укрытие его — надежно, — уверил ее си Фодил.

Умм Ида благочестиво произнесла, проведя рукой по одеялу на кровати:

— Лучшее наше убежище — господь наш.

Хадда и Шерифа говорили ей ободряющие слова. Но она их не слушала. Она ласково, тихо и нежно гладила рукой одеяло, и сколько печали было в ее глазах!

Чем обернется для нее прошедшая ночь? Была ли она началом или же концом? Что это, о Аллах, было? Судьба ли сама вмешалась или простая случайность? Старая женщина боялась, что ее свидание с сыном не состоялось неспроста. А вдруг Халеда убили вчера там, на Горе?

— Нет, умм Ида. Люди бы пришли, сказали бы нам...

— Ну, а если они не смогли этого сделать?

— Они бы обязательно пришли: ведь здесь недалеко. Поверь мне, умм Ида, твой сын — командир, и о его смерти — да побережет его аллах! — было бы сразу известно. Ведь здесь его убежище! Нам бы сообщили первым, — решительно сказал си Фодил.

Умм Ида подняла глаза к небу и взмолилась:

— О аллах! Погаси это горнило, в котором сгорают вот уже более века сердца матерей и жен. Сделай так, чтобы угнетенный избавился от мрака колониальной ночи и смот-

рел без страха на солнце, сверкающее в небе! Сделай так, чтобы не было больше войны, никогда, как только воцарится мир! Чтобы не было войны! Не было больше войны! Не было бы войны в нашей измученной стране, когда она станет свободной и независимой! — И умм Ида замерла, как будто услышала ответ. — Пусть минуют заботы моего сына, — сказала она Хадде наконец. — Я его доверяю вам всем. — И, словно почерпнув силы в какой-то тайной мысли, решительно добавила: — Едем!

— Едем, — отозвался си Фодил. — Мул уже ждет тебя, прошу покорно.

Старая женщина обняла на прощание Хадду и Шерифу и далее пошутила потихоньку:

— Хороша у тебя дочка, побереги ее для моего сына!

Хадда улыбнулась, отворачиваясь.

— Ох-хо-хо! Совсем старая я стала, — сказала умм Ида. — Совсем с ума сошла: то смеюсь, то плачу. Уж простите вы меня.

— Передай привет всем жителям Сур-аль-Гозлана, — попросила Хадда, меняя тему разговора, чтобы не смущать Шернфу.

Опуская на лицо покрывало, старая Ида махнула рукой:

— Да ну, чтоб судьба от них отвернулась! Кто из них заслуживает доброго слова? Даже жалости никто не достоин!

— Вот и ваш сын Халед так думает, — поддержала ее Хадда.

— А! Будет вам! — запротестовал си Фодил. — Не все же там они плохие!

— В Сур-аль-Гозлане? Да кто же там хороший? — спросила старая Ида в сомнениях.

— Только если дети неразумные!.. — воскликнула Хадда.

— Ты права. Они все завистливые, недалекие, безответственные, к тому же у каждого злой язык, который глупо распускается без всякой надобности, по любому поводу.

— Побойтесь аллаха, — запротестовал си Фодил, которого раздосадовали нападки жены. — Ты преувеличиваешь, Хадда. И ты, умм Ида, тоже преувеличиваешь.

— Нет, она права! — закричала Хадда. — Эти люди, как говорит си Халед, позор для своей родины. В большинстве своем они продажные люди! Предатели!

— Си Фодил, не надо сердиться! — стала увещевать его умм Ида. — Житель Сур-аль-Гозлана хитер. Он хочет со всеми жить в мире. Он бесчестен, но прикидывается искренним. У него нет чувства собственного достоинства. Подумайте сами, многие ли из Сур-аль-Гозлана ушли в маки? Ну что? Вот видите! — Она нервничала: — Поехали, поехали, си Фодил! Если будем продолжать говорить об этом, то я сама окажусь сплетницей!

— Поехали, умм Ида, — сказал он сдержанно, хотя было видно, что си Фодил злится на женщин.

Он залез на мула. Умм Ида обняла в последний раз Хадду, Шерифу и протянула руку си Фодилу, который помог ей взобраться на спину мула, сесть позади себя.

— Оставляю вас с миром, — попрощалась она с женщинами, — И спасибо за прием!

— Доброго пути! — пожелала Шерифа.

— Мир вам! — простилась с ними Хадда.

— И вам мир! — поблагодарила умм Ида взволнованно.

Мул тихо и послушно шел по тропке в овраге. Влажная земля местами была покрыта зеленой и густой травой.

«Нынче урожай будет большой... — подумал си Фодил, жалея, что не обработал всю свою землю, и утешал себя: — Лишь бы аллах сохранил нам жизнь».

Он смотрел на раскинувшиеся вокруг просторы с горечью, но и с удовлетворением. За ночь подсохла зимняя слякоть, пахло весной, и повсюду царило невероятное спокой-

ствие. Как все изменилось! По дороге то там, то здесь проглядывают сквозь деревья фермы, хижины, приютившиеся на берегу речки, вот фигура пастуха: худой, оборванный, грязный, он пасет несколько плохоньких овец; где-то вдали вьется дымок... Солнце наконец залило небо ярким светом и весенним теплом, обнажило всю чистоту и глубину его лазури. В полях уже пробились ранние ростки — результат посевов, сделанных в спешке, почти украдкой, — все говорило о том, что будет хороший урожай. Природа преобразилась этим утром как по мановению волшебной палочки, будто аллах сделал подарок самой земле, страдавшей, обожженной, израненной снарядами, одичавшей, озверевшей... Но нельзя было упиваться этой милостью, нельзя было забыть о всеобщем горе. И си Фодил смотрел на эту землю, которая ничего не забыла: вот выбоина в горе, вот воронка от снаряда, вот обгоревшее дерево, вот разбитая дорога, разрушенная хижина и сотни холмиков у подножий деревьев, помеченных плоскими камнями, — могилы.

И си Фодил подумал: «Теперь мстят за тех, кто пал в бою! А это уже многое для победы!» И пожал плечами, как бы утверждаясь в своей мысли.

Умм Ида покачивалась на муле и не думала ни о чем, отдавшись убаюкивавшему ее медленному и плавному движению. Когда она иногда закрывала глаза, то испытывала странное умиротворение. Но умм Ида не поддавалась ему. Она тотчас широко открывала глаза, будто желая проникнуть взглядом в непроницаемое и таинственное пространство, разгадать нечто скрывшееся от нее на какое-то мгновение.

Да, ей не повезло. Надо же было так случиться, что именно вчера си Халед не сумел прийти к си Фодилу! Какая неудача! Временами ей чудился Халед, окутанный радужным искрящимся светом. Она улыбалась, счастливая, что наконец-то видит сына, узнает его черты. Видит его за-

горелого, окрепшего на свежем воздухе; черные горящие глаза опущены густыми ресницами, а тонкая ниточка усов придает сыну важный и значительный вид... Она видит даже его особую примету — золотую коронку на резце... Ну, вот, наконец-то она может обнять своего сына! Своего Халеда!

— Держись-ка покрепче, умм Ида! — закричал си Фодил.

Она выпрямилась, и хоть си Фодил хотел как лучше, умм Ида обиделась.

Солнце уже припекало вовсю, светило прямо в глаза. Мул взмок, иногда кашлял, копыта его ступали тяжело. Старая Ида села еще прямее. Все молчали, и это молчание давило на путников, даже на животных. Думать о чем-то не было уже сил. А солнце все жгло и жгло, поднимаясь навстречу с востока. И тишина становилась все тяжелее и тяжелее..



V

Хадда и Шерифа долго провожали путников взглядом, пока они не скрылись из виду.

— Хоть бы спокойно добрались до дому, — озабоченно сказала Хадда.

Шерифа пожалела старую Иду:

— Бедная, не повезло ей. Как, должно быть, она переживает!

— Всем матерям теперь не везет, — тихо сказала Хадда, подумав и о своем сыне, Месауде.

Шерифа знала, как отвлечь мать:

— Я так устала, матушка, — пожаловалась она, уводя Хадду от печальных дум.

— Это, наверное, оттого, что ты всю ночь не спала, — тихо заворчала Хадда.

— Да нет, я все-таки поспала немножко.

Они вернулись и стали убирать дом. Шерифа взяла метку. Немного погодя она спросила:

— Зачем ты говорила с умм Идой о моем кузене Хосине?

— Почему ты спрашиваешь?

Шерифа стыдливо промолчала. Осмелится ли она сказать матери о своем замужестве? А надо было бы. И она обронила:

— Си Халед хочет жениться на мне.

Наклонившись было, чтобы поправить матрас, Хадда резко выпрямилась.

— Он тебе сказал об этом?

— Да, мама.

— Когда?

— Я уж не помню.

— Но все-таки когда?

— Да много раз...

Хадда не была строгой, но сейчас ей хотелось казаться такой.

— И ты от меня скрыла?

— Да-да...

Хадда поняла, что выглядит смешной, и спохватилась:

— Я хочу сказать, не понимаю, почему ты мне раньше ничего об этом не говорила?

Шерифа молчала.

— Ну, а он? — спрашивала мать. — Почему он-то ничего не сказал твоему отцу?

— Наверное, все не мог найти подходящий момент...

— Ну и ну!

— Он сказал, что поговорит с ним позднее...

— Когда же это?

— В день, когда провозгласят Независимость.

Хадда всплеснула руками и обиженно воскликнула:

— Ты скрыла от меня! Скрыла! Что подумает твой отец?!

— Ну зачем так сердиться, матушка! — сказала Шерифа с глазами, полными слез. — Да ничего не произошло, между нами ничего нет, ничего.

— Правда?

— Поверь мне, матушка.

— Ну, смотри у меня!

— Да не сомневайся же ты! — уверяла Шерифа.

— Ну тогда поцелуй меня, доченька! — сказала Хадда успокаиваясь.

Они обнялись. Шерифа хотела все разъяснить:

— Я не пойду замуж за кузена Хосина. Эго уж точно, я так решила, а то уйду в горы, как те женщины, которые сражаются там...

Хадда, задумчиво поднеся палец к губам, сказала:

— Ох-хо-хо! Что же делать-то? Ведь твой кузен может нас всех за это убить! Тебе известно, что и Бахта, жена твоего дяди Куидера, настаивает на вашей свадьбе? У нее,

чертовки, дальний прицел! Ей хочется заполучить твою долю наследства!

— Какого наследства?

— Ты знаешь, что я уже давно веду тяжбу с Куидером из-за земли, которую завещали нам родители.

— Да, мне известно.

— А ты знаешь, что си Халед вмешался, чтобы положить конец нашим долгим спорам, и разделил все по справедливости.

— Да, я знаю. И знаю, что Бахте не по нраву этот раздел, она не согласна и заставляет дядю подать на тебя жалобу в суд в Сур-аль-Гозлане.

— Вот, видишь, тебе все известно. Тогда зачем меня спрашиваешь?

— Да потому, что мне никакого дела нет до всего этого! Смешно, да и только! — сказала Шерифа с возмущением. Потом взяла себя в руки: — Прости меня, матушка! Ты же знаешь, я люблю тебя, — и поцеловала Хадду в лоб.

На самом деле Хадда одобряла решение своей дочери. Но она боялась Хосина, который мог все разнюхать и предать их. Дешимийя, где он жил, находилась недалеко. И Хадда подумала, что хорошо бы с помощью си Халеда проучить хорошенько Хосина. Ведь си Халед давно приговорил Хосина к смерти... У нее перехватило дыхание от волнения.

— Хоть бы аллах сжалился над нами!

— Да погоди ты, мама! — вдруг прошептала Шерифа. Она вытянула шею, прислушалась. — Мне кажется, я слышу чьи-то голоса. — Подойдя к оконцу, она сказала: — Муджахиды!

— Настоящие? — спросила ее мать с беспокойством.

Там, где стояли Три гурби, через заросли кустов пробирались трое мужчин. Двое несли третьего на самодельных носилках из веток и одеял. Четвертый шел впереди, держа на взводе автомат, прикрывая своих товарищей. Он все

время озирался по сторонам. Когда мужчины приблизились к источнику, он отделился от группы, пошел к дому, оставившись в нескольких метрах от двери и громко спросил:

— Сколько вас?

Дверь скрипнула, на пороге появилась Хадда, а за ней, вся дрожа, Шерифа.

— Я и моя дочь, — спокойно произнесла Хадда. — Мой муж уехал в Сур-аль-Гозлан, вернется к вечеру. Но все равно, заходите, будьте гостями!

Мужчина внимательно посмотрел на нее своими серыми глазами. Его суровое лицо потеплело.

— Враг не проходил здесь?

— Нет, — ответила женщина.

— И даже этой ночью?

— Мы только видели огонь там, на Горе.

— Так вы видели все?

— Да.

— Вам не страшно?

— А что поделаешь.

И Хадда в свою очередь внимательно оглядела пришельцев.

— У нас ночью останавливались двое джундиев.

Мужчина посмотрел на нее и улыбнулся.

— А... — На его покрытом пылью и каплями пота лице улыбка скорее казалась гримасой. «Значит, мы на месте», — подумал он и сказал: — Спасибо.

— За что? — спросила Хадда удивленно.

— О вашем доме мне рассказали бойцы, которых мы встретили по дороге: си Махмуд и си Абделькадер. Я видел с ними два часа назад.

— Проходите! Проходите же! — пригласила, улыбаясь, Хадда.

— Я — си Хасан, ваш брат перед господом богом,

— А я Хадда, а вот и моя дочь — Шерифа.

Уже с полным доверием си Хасан сказал им:

— У нас тут раненый, его несут два джундия.

— Ранение тяжелое? — спросила Шерифа, придя в себя от испуга.

— В грудь и бедро.

Ом сделал знак оставшимся с раненым.

— Сейчас они подойдут.

Си Хасан попросил у Хадды горячей воды и чистые полотенца. Те двое, что несли раненого, еле двигались от усталости, уже давно они были в пути. Лица их осветились радостью, когда они оказались в гурби. Заботливо и осторожно они положили раненого на матрас. Си Хасан склонился над ним, осмотрел раны. Они были тяжелыми, потеряно много крови.

— Мужайся, брат, — сказал си Хасан. — Да поможет тебе аллах. — Раненый не шевельнулся. Казалось, он спит или потерял сознание от боли. Си Хасан вынул из дорожной сумки хирургические инструменты, пузырьки с лекарствами и с помощью своих бойцов начал готовиться к операции. Хадда принесла горячей воды, полотенца и даже бинты.

Си Хасан тяжело вздохнул:

— Он отец четырех детей. — И печально посмотрел на раненого.

Хадда подошла поближе и вдруг сразу сникла, опустилась на стул.

— Да это же Куидер! — пробормотала она горестно. — Куидер! Куидер!

Шерифа побледнела. Она тоже узнала своего дядю, хотя лицо его было залито кровью и все заросло густой бородой. Мать тихо отстранила ее.

Хасан сглотнул слюну, голос его прерывался от волнения:

— Это случилось прошлой ночью, в горах, так неожиданно!

— Это всегда случается неожиданно, — посетовала Хадда.

По лицу ее текли слезы. У раненого глаза были закрыты, как будто он мирно спал.

— Он умер! — вдруг вскрикнула Хадда, схватившись за сердце.

— Нет, нет. Он дышит, — сказал Хасан.

— А его дети? — спросила Хадда с тревогой.

— Все дома сровняли с землей, — сказал си Хасан, и в голосе его послышалась злость.

— А его жена? Где его жена, эта старая ведьма?

— Я не знаю. Многие погибли. Их еще до сих пор хоронят.

— Какая бойня! — едва сдерживая слезы, всхлипывала Шерифа.

Раненый приоткрыл веки, узнал свою сестру Хадду. Его губы тихонько задвигались, на лице мелькнула слабая улыбка. Потом голова его склонилась на плечо...

— Аллах акбар! Аллах велик! — прошептал слова молитвы си Хасан.

Шерифа вздрогнула. Хадда отвернулась, подавленная горем.

— Да возьмет к себе аллах твою душу! О Куидер, брат мой! — пробормотала она, раскрыв объятия и протягивая руки к Куидеру, словно хотела вырвать у смерти своего брата.

Си Хасан притянул ее к себе, сердечно обнял. Джундии накрыли тело Куидера. Хадда опустила руку в горячую воду, в испуге отдернула ее.

— Ничего теперь ему не понадобится! — И голос ее задрожал от слез.

Втянув голову в плечи, разбитая горем, она сказала:

— Я его не видела вот уже три месяца.

— Си Куидер — да успокоит аллах его душу — был храбрый человек, — с грустью произнес си Хасан. — Человек слова. Ему можно было верить.

Похвалы муджахидов больно задели Хадду, которая не знала раньше, что ее брат сражается на их стороне, и думала, что он предатель.

— Я знал, что он умрет, — смущенно признался си Хасан. — Но я хотел сделать все, что в моих силах... — и смолк, словно раздумывая над тем, что еще было можно сделать... — Увы, — продолжал он прерывающимся от волнения голосом. — Против смерти я бессилен!.. А ведь мне удавались серьезные операции, хотя я нигде этому не обучался. Только хотел стать студентом-медиком, как случилась эта война... Но нет, я ни о чем не жалею, ни о чем. — Он посмотрел на закрытое простыней тело. — Куидера ведь враги посчитали мертвым и бросили. В доме, кроме него, никого не было. Я так и не знаю, куда делись его дети и жена. Я слышал, что до этого он три месяца не приходил домой. Может быть, поссорился с женой? А может, хотел уберечь свою семью на случай, если с ним что-нибудь произойдет... Он нам никогда ничего не говорил... Да! Он был настоящий мужчина...

— Теперь я понимаю! Теперь я все понимаю! — повторила Хадда, слушая его.

— Ну вот, аллах и оказал ему милость, позволил принять смерть в доме родной сестры... — сказал си Хасан с состраданием.

Хадда долго плакала и не заметила, как джундии подняли тело, вынесли покойного и ушли из дома.

Потом она вытянулась на матрасе и долго не могла прийти в себя. Только горели глаза на бледном лице, залитом слезами.

А Шерифа занялась домашними делами. Время от времени подходила к матери, разговаривала с ней, отвлекала от тяжелых мыслей.

Солнце уже поднялось высоко, сияло, как летом, разгоняло раньше времени зимние холода. Птицы весело прыгали около ручья, старая жаба удивленно высунула из зарослей полыни свою голову погреться, толстая ящерица тоже замерла на солнышке, прилепившись животом к большому плоскому камню...

## VI

День выдался жарким, как в разгар лета. Слышны были ранние стрекозы, что стрекотали в темных полях и зеленых лугах. К вечеру небо зарозовело на западе. На пригорке показался си Фодил верхом на муле. Он отер лоб и спрятал платок в карман.

«Как хорошо!» — подумал он, останавливая животное.

Трудно было вообразить более мирную картину: перед си Фодилом простирались обширные поля, зеленеющие луга вольно раскинулись меж холмов. По ним бежали уже пыльные, в рытвинах, дороги, изгибались, вились вокруг холмов, торопились к дому, к очагу.

Си Фодил всю свою жизнь провел на этих землях. Он трудился день и ночь с тайной надеждой, что перестанет когда-нибудь тянуть лямку, перестанет быть ломовой лошадьё. Что знал он, кроме работы круглый год, кроме забот? Что ведал, кроме страданий? Он знал, как трудно, когда есть работа, и как тяжело, когда ее нет. А теперь он поглупел от страха и бездействия. Может быть, просто состарился? Си Фодил боялся старости. Ведь тогда его жизнь станет совсем бесполезной. А столько надежд еще живет в нем, что все начнется заново, обретет смысл, когда придет независимость...

Грудь си Фодила поднималась от волнения, к горлу подступил комок. Он медленно перевел дыхание, глаза зажглись огнем веры... Си Фодил растерянно смотрел на горизонт, как будто оттуда шло к нему предчувствие, что вот-



вот все должно измениться, что во все эти хижины придет новая жизнь. А почувствовать уже означало понять. Понять, что возможно жить по-другому. «Не хлебом и водой быть сытым хочу, но жить по-человечески!»

Си Фодил испытывал радость от этих мыслей, хотя от напряжения, с каким он всматривался вдаль, у него и побаливал затылок, а шею свело. Однако он весело погонял своего мула: «Эпп! Эпп!»...

Си Фодил подъехал к дому как раз в тот момент, когда солнце село за гору Бу Седар. На какой-то миг оно яркой вспышкой осветило горизонт, а потом сразу опустилась ночь. Накормив и напоив своего мула, си Фодил вошел в дом с мешком в руке.

— Добро пожаловать, отец, — приветствовала его Шерифа, зажигая керосиновую лампу. Потом подошла к отцу и поцеловала его в лоб.

— Спасибо, дочка, — с улыбкой сказал он. — На-ка вот, возьми это. Я купил кофе, сахару, немного крупы для кускуса. — Скривив губы, добавил: — Конечно, из этой крупы не получится хороший, как делает твоя мать из нашей пшеничной муки, но все-таки, на худой конец...

Шерифа двумя руками подняла мешок.

— Мама заболела, — сказала она.

Си Фодил почему-то почувствовал себя виноватым.

— Понятно, понятно. Что там еще случилось? — спросил он с угрозой в голосе. — Когда-нибудь перестанут валить на меня все неприятности?

Хадда все еще лежала и, казалось, не видела и не слышала его. Глаза ее опухли от слез.

— Дядя Куидер умер, — тихо сообщила Шерифа.

— А-а! — разочарованно произнес он, махнув рукой. — Было отчего печалиться! — Он думал, что этими словами утешит жену. Но Шерифа прервала его:

— Дядя Куидер умер как герой.

Си Фодил чуть было не рассмеялся. Шерифа продолжала, не дав ему вставить слова:

— Его принесли сюда джундии, раненого. Хотели спасти, но он умер.

Си Фодил замер, лицо его вытянулось, лоб нахмурился.

— Его похоронили сегодня утром. Одному аллаху известно где, — сказала Шерифа помолчав.

— Он умер, — повторил как запоздалое эхо си Фодил. Потом подошел к жене: — Он умер как мученик. Да успокоит аллах его душу!

Хадда посмотрела на него, тело ее затряслось от рыданий. Си Фодилу хотелось поговорить с ней. Но раскаяние мешало ему. Он ведь раньше так часто обвинял Куидера в том, что тот «продался»...

— Человек может ошибаться, — сказал он и проглотил слезу.

Хадда покачала головой, ее терзали угрызения совести:

— В смерти не ошибаются! — вздохнула она. — Ведь я тоже понемногу убивала его, внесла свою лепту насмешками, бесконечными распрями из-за наследства, оскорблениями, разговорами о том, что он под каблуком у жены... О! Что я наделала! Я тоже убила его! Убила! Надо было отдать ему все наследство! Надо было...

Лицо си Фодила свело судорогой от горечи и сострадания; глубокие морщины собрались на лбу:

— Ну нельзя же так безумствовать! Ведь это судьба! Судьба, слышишь, женщина!

Она молчала, закрыв лицо руками. Шерифа подкатила к ней низенький круглый столик, но Хадда сказала, что есть не хочет.

Си Фодил повысил голос:

— Мы тоже умрем когда-нибудь! Кто переживет всех? В руках аллаха и наша жизнь, и наша смерть! — Он попросил Шерифу накрыть на стол, собрать ужин. Шерифа послушалась его.

Он переоделся с дороги, сел рядом с женой и потихоньку продолжил разговор:

— Пойми, ведь мы все умрем когда-нибудь! Подумай лучше о нашем бедном сыне Месауде, подумай о тех детях, что погибают каждый день в неизвестности под пулями или под пытками только за то, что хотят жить по-человечески. — Потом помолчал немного и совсем уж печально спросил: — Ну, а если бы это случилось со мной?

Хадда подняла на него свое лицо — оно под светом лампы блестело от слез.

Си Фодил, чтобы еще больше напугать ее, сказал:

— Ведь может же так случиться?

— Ну ладно, я поем немного, — сказала Хадда, всхлипывая.

Шерифа поставила блюдо с кускусом без соуса, без единого кусочка мяса — так, как принято во многих семьях, когда кто-то умирает.

— Бисмилла! Во имя аллаха! — сказал си Фодил, опустив свою ложку в кускус.

— Бисмилла! — вслед за ним повторила Шерифа.

— Как добралась умм Ида? — спросила Хадда.

— Ой! — спохватилась Шерифа. — Мы и забыли спросить у тебя про нее! Какой стыд!

— Добралась она хорошо, и дома у нее все в порядке, — ответил си Фодил. — Но мне было жалко ее оставлять.

— Да, я понимаю, — вздохнула Хадда.

— Как там в Сур-аль-Гозлане? — расспрашивала Шерифа.

— Да все то же самое, — ответил си Фодил, пожав плечами. — Я слышал, что через полицейское управление прошли десятки людей... — Он проглотил еще одну ложку кускуса и сказал: — А что вы хотите? В этом городе патриотов столько же, сколько предателей...

— Ну, ты уж преувеличиваешь, — сказала Хадда.

— Преувеличиваю? — подхватил он с хитрой улыбкой, обрадованный, что его жена наконец заговорила, ожила. — Так, значит, для тебя теперь жители Сур-аль-Гозлана не все предатели, как ты раньше считала?

Она попыталась улыбнуться в ответ. Но не смогла, ее мучили угрызения совести, она думала все время о своем брате Куидере.

— Каждый сам себе могилу готовит, — заявил си Фодил. — Кто знает, что ждет человека впереди? Мне вот, например, так хочется к людям, а они сторонятся меня, сами не знают почему!

Хадда с трудом съела ложку кускуса. Тяжело вздохнула.

— Мы-то думаем, что поступаем хорошо, а судит нас аллах, — произнесла она.

— Аллах милостив и всемогущ, — благочестиво ответил ей си Фодил. Глаза его блестели, он словно что-то внимательно разглядывал перед собой. Да, что там говорить! — Голос си Фодила был то сварливым, то срывался от волнения. — Мы живем в полном неведении. Живем, и все тут. Но разве это жизнь?.. Кто посмеет сказать, не солгав, что хорошо отдает себе отчет в своих поступках? Конечно, мы все жалуемся, что, мол, хватит с нас, сыты по горло черной мякиной, устали жевать и хлебать то, чем хозяин откармливает своих свиней. Ну, а зачем врать себе? Ведь мы сами все это терпим, соглашаемся работать задарма в дождь и в зной. Конечно, у нас нет выбора: затерявшийся в пустыне выпьет, мучимый жаждой, и, простите за нескромность, свою мочу... Да, это дико, но такова уж наша жизнь. И мы не знали другой, не видели ее. Были ослеплены собственным невежеством, задавлены всемогущим колоном. К тому же, чтоб разъединить нас, он умудрился посеять среди нас вражду, вызвать ненависть к собственным братьям! Даже в наш дом дотянулась его рука! Вот она правда! Есть, пить и спать, как животные, как звери! Порой и животных-то ценили больше, чем арабов. А я еще жалел

животных. Но все равно, мы считались худшими из худших, были мертвее мертвых. Несмотря на то, что дышали. Это — единственное, что у нас не отняли, на что мы имели право. Хотя не все то, что дышит, живет. Мы не двигались, словно оцепенели... Кто мог осмелиться на протест, осознать все это, сказать «нет» такой жизни? Надо было сидеть и ждать милости от хозяина или стать избранныком... Сегодня, слава аллаху, нам открыта дверь к счастью. Аллах сжалился над нами, увидев, как мы молча и терпеливоносим горести. А теперь моя душа поет. С того самого дня — с первого ноября пятьдесят четвертого... А чего скрывать? Я, правда, поздно все понял, но теперь я всем сердцем болею за общее наше дело. Теперь и глупцу все ясно, и у него сердце открыто добру, аллах наставит его... Что же касается меня, то мне глаза открыл си Халед. Да, он многому меня научил, помог многое понять...

Си Фодил высказался и почувствовал облегчение, словно сбросил с плеч груз...

— Но когда же кончится война? — В голосе Шерифы послышалась жалоба.

— Она продлится еще долго, — вздохнула Хадда.

— Долго, говоришь? — снова завелся си Фодил. — В городе ходят слухи, что скоро начнутся переговоры о прекращении огня между Францией и нами. Правда, надо сказать, что слишком уж много слухов-то всяких. Вот если аллаху будет угодно и я останусь жив, отправлюсь в воскресенье в город и порасспрошу людей как следует...

— Не забудь купить мыла и растительного масла, — напомнила ему Хадда.

— Конечно, конечно, — обрадовался си Фодил, видя, что жена его возвращается к жизни, глаза ее оживились. Он воздал хвалу аллаху, завершив трапезу. Шерифа начала убирать со стола.

— Какая там погода? — спросила Хадда поежившись.

— Очень тепло для начала февраля!

— Снег растаял! Совсем весенний денек. Если аллах хочет, он дарует милость людям! Те, кому удалось сегодня поработать на земле, соберут неплохой урожай! Прекрасный урожай!

— Ты что, думаешь, арабам дадут порадоваться? — усомнилась Хадда.

— Если подпишут соглашение о прекращении огня до сбора урожая, то почему бы и нет? — спросил си Фодил.

Хадда смотрела на него, подперев одной рукой щеку, а другую положив под локоть:

— Пока жива, не поверю в это.

— А! Да что с тобой говорить? — сказал он раздраженно.

Хадду снова охватил озноб.

— Приготовь-ка мне настой из травы, — попросила она дочь. — Что-то мне не по себе.

— Вот видишь, до чего ты себя довела! Это все твои волнения! И что уж так отчаиваться?! — нервничал си Фодил.

— Не ищи повода для ссоры.

— Он умер, твой брат? — ворчал муж. — Умер... Ну, и что можно теперь поделать? Ты же верующая. Не так ли? — Он встал, снова сел, скрестив ноги. По его лицу было заметно, что он искренне и глубоко огорчен. — Ладно! Чего уж тут сердиться друг на друга, — пробормотал си Фодил извиняющимся тоном.

Теперь все погрузились в молчание, каждый думал о своем. Шерифа заварила целебные травы и корни, приготовила настой и дала большую чашку матери.

Хадда пила маленькими глотками горячее лекарство, чувствуя его благотворную силу. Си Фодил потихоньку молился в углу. На низком столике стояла керосиновая лампа, и ее неровный желтоватый свет придавал спокойствие и мягкость угрюмой тишине дома...

Через некоторое время раздался стук в дверь. Шерифа, которая мыла посуду, прислушалась. Постучали еще два раза.

— Невероятно!

Ее отец и мать тоже слышали стук. Шерифа побежала открывать. Все увидели силуэт высокого мужчины в проеме двери. Лицо Шерифы осветилось радостью.

— О господи! Это он! — воскликнул си Фодил, вставая с молитвенного коврика.

Пришедший был совсем молодым человеком, крепкого сложения, с открытым, приветливым, хотя и строгим лицом.

На нем была форма французского парашютиста, на плече висел автомат, сбоку — пистолет. Он улыбнулся. Блеснула золотая коронка зуба.

— Си Халед! — обрадованно воскликнула Хадда. — Ну, входи же! Скорее, сын мой!

— Салам! — радостно приветствовал он всех, входя в дом. За руку он держал мальчика лет десяти, очень худого, с черным от копоти лицом, на котором горели, как два уголька, огромные глаза. Одет мальчик был в длиннополую домотканую шерстяную рубашку, а ноги были обуты в старые рваные сандалии.

— Салам! — отвечивал си Фодил.

Хадда хотела встать навстречу.

— Лежи, лежи, умм Хадда, — сказал ей си Халед, наклонившись и поцеловав ее. Он подвел к ней ребенка и, подчеркивая свое уважение к нему, произнес: — Это — си Саид, мой маленький товарищ.

Ребенок поцеловал Хадду и Шерифу, а потом подошел к си Фодилу и пожал ему руку.

— Прежде всего должен просить прощения за то, что не смог прийти вчера, — сказал си Халед, с размаху опустившись на матрас и вытянувшись на нем во весь рост... —

Вообще могло так случиться, что мне еще долго не удалось бы прийти сюда...

— Что-нибудь серьезное? — спросил озабоченно си Фодил.

Халед глубоко вздохнул и резко выдохнул.

— Еще никогда столько народу не погибало в этом районе, как в последние дни, — начал он глухим голосом свой рассказ, глядя на ребенка, на потемневшем лице которого он читал все пережитые ужасы. Бомбежка, тысячи трупов, туманный рассвет, крики о помощи, молитвы, жалобы, кровь и порох, запах которого чудится до сих пор...

Он зажмурился, тряхнул головой, словно хотел избавиться от воспоминаний.

— Расстреливали всех подряд без суда, всех, кто на глаза попадется. Иногда заставляли прежде вырыть себе могилу... Я-то всего посмотрелся в этой войне... Но ужасы, которые видел вчера, и вообразить невозможно... Нацисты, наверное, не убили столько людей. Просто так, ни за что, целый поселок смели с лица земли снарядами, все сожгли, уничтожили, чтобы ни одной живой души не осталось. И никому не удалось убежать с этой бойни... Мне говорили, что произошло там, на Горе, я узнал о смерти си Куидера, благословенно имя его! Но уверен — то, что творилось в местечке Кеф-Лахдар, где я находился вчера, было намного хуже... Зачем понадобились эти убийства? Да все оттого, что они чувствуют конец! Частенько им не удается провести операцию в горах, поймать нас, вот они и отыгрываются на гражданском населении, несчастных жителях деревень, горных селений, на жителях долин и равнин. «Ах наглецы! Хотите, чтобы Алжир был алжирским? Вот вам, алжирцы, получайте! Смерть вам и вашим землям!» — это гроыхало в грохоте снарядов всю ночь. Ну как вмешаться, как помочь? — И повторил растерянно: — Ну как вмешаться? Что противопоставишь адской, бездушной, бесчувственной



машине? Нет даже никаких законов в этой войне. Одно лишь: убивать, убивать, убивать!

Он поднял брови, наморщил лоб так, что даже голова заболела, и все повторял:

— Ужасно! Ужасно! — Потом успокоился, глубоко вздохнул: — В конце концов наше дело правое. И молодежь у нас, слава аллаху, гордая и отважная. — Он потрепал мальчика по голове и подмигнул ему: — Ничего, Саид, вот увидишь, скоро твоя страна освободится от ужасов и деспотизма. Я нашел тебя в слезах, твои лицо и руки были черны от копоти и дыма, но придет день, и ты скажешь мне, что твои мать и отец, братья и сестры погибли не напрасно. — Он посмотрел мальчику в глаза глубоким, нежным взглядом. Тот глядел на него, не мигая. Лицо мальчика было не по возрасту задумчивым и серьезным.

— Вы нас не покормите? — спросил си Халед, он не хотел выдавать свое волнение. — Си Саид сейчас уснет, он еле на ногах держится. Мы очень долго шли.

— О господи! Шерифа! — закричал си Фодил, прижимая к себе ребенка. — Приготовь-ка скорее чего-нибудь!

— Как это все прискорбно! — вздохнула Хадда. — Какой красивый мальчик, и вот теперь — сирота...

— О! — перебил ее, стараясь улыбнуться, Халед. — Саид настоящий мужчина, я вам его доверяю. Я ему рассказывал о вас по дороге. Он согласен остаться у вас.

Мальчик слегка наклонил голову.

Шерифа положила на стол скромный прибор и, пока еда разогревалась, повела мальчика умываться.

— Вокруг столько горя, — сказал Халед, — что я даже забыл спросить, как вы-то здесь справляетесь?

— Ты же видишь, — ответил си Фодил. — С самого утра Хадда не перестает оплакивать своего брата Куидера! Напрасно я ей объясняю, что он — мертв, мертв! И что она уже ничего не может сделать, ничем не поможет ему!

— Не каменное же у меня сердце! — заворчала Хадда.

— Ну ладно, хватит вам! — сказал Халед. — Все так же препираетесь друг с другом!

— А! — сердито откликнулся си Фодил. — Я всегда всему виной! Видел бы ты, как они вместе с си Абделькадером и си Махмудом насмехались надо мной!

— Лучше бы ты сказал ему, что умм Ида провела у нас вчерашнюю ночь, — упрекнула мужа Хадда.

Си Фодил замолчал, смущенный, забыв все свои обиды... Халед вздрогнул.

— Здесь была матушка?

— Да, — повторила Хадда, продолжая глядеть на мужа с укоризной.

Тот стоял, опустив голову, предчувствуя грозу.

— О аллах! Ну почему я всегда во всем виноват? — тихо взмолился он.

Халед вначале молчал, смотрел то на Хадду, то на си Фодила. Словно прислушивался к себе, а внутри у него все кипело.

— Матушка... — произнес он каким-то бесцветным голосом, задумчиво. И вдруг, словно выйдя из забытья: — Ну, да. Да. Я же просил си Махмуда и си Абделькадера привести ее к вам. И, совершенно забыл об этом... Ужасно... Так она приходила?

— Она всю ночь не спала, все надеялась, что ты появишься, — сказала тихо Хадда, положив ему руку на плечо.

Халед нахмурил свой обветренный и покрытый загаром лоб.

— Ну как она? Как мои братья?

— Да все хорошо! Хорошо! — уверял его си Фодил.

— Ну, а как там вообще?

— Где? В городе-то?

— Да.

— Да вроде ничего, все тихо. Но спокойствие это ненадежное.

Халед подался вперед, спросил:

— Так вы говорите, мать чувствует себя хорошо? Она в чем-нибудь нуждается? А отец, как он там?

— Не волнуйся, — прошептала Хадда, стараясь скрыть горе.

— Ох, несчастный он старик! — сокрушенно покачал головой Халед. — Как только кончится война, я займусь его здоровьем. — Помолчав немного, он воскликнул: — Забываю даже временами, что у меня есть мать, отец, родственники... Война забрала все... — Голова его гудела от усталости, в ушах звенело. Он сказал еле слышно, ни к кому не обращаясь: — Когда земля дрожит, позади предатели, а впереди — враг, когда чувствуешь запах смерти, когда только и думаешь, как ее отпугнуть, не хватает времени подумать даже об отце, о матери...

— Зато она все время думает о тебе, — ласково заметила Хадда.

Халед молчал, сидел неподвижно и прямо глядя перед собой, будто погрузился в пустоту, будто решил уйти от настоящего. Казалось, наступил момент, когда все чувства замерли в нем. Неужели это был сейчас тот неуловимый, непобедимый, бесстрашный командир си Халед? Неужели и ему были известны минуты слабости? Он коснулся руками висков, почувствовал, как кровь стучит в венах, ударил кулаком по матрасу.

— Ведь, по существу, что бы мы ни делали, что бы ни предпринимали, мы же остаемся людьми... — И еще раз возбужденно повторил: — Людьми! Понимаете? Людьми!

— Но есть же те, кто убивает, сеет смерть, и те, кто принимает ее! — возразил ему си Фодил.

— Да, те, кто убил моего сына Месауда, моего брата Куидера, те, кто всех убивает, убивает, убивает! — дрожащим от волнения голосом говорила Хадда. — Ты их называешь людьми?!

Она задыхалась, закрыла глаза, словно не хотела видеть ужасную картину — поле боя после сражения...

— Я ничего и никого не хочу оправдывать, — пояснил Халед. — Но иногда, выполняя свой долг, мы совершаем и несправедливости... А это ужасно... — Си Халед покачал головой. — Мне все это напоминает охоту дикарей или диких зверей, которые пожирают добычу, нанеся ей смертельный удар... Ведь у человека по самой его природе не должно быть врагов. Все люди— братья... Но достаточно, чтобы один из них сошел с ума... Жизнь становится невыносимой, если рядом с тобой безумец... О аллах, сделай так, чтобы и в славе своей, и в смерти своей я остался человеком, чтобы жил и умер достойно!

— Аминь, — с жаром сказала Хадда.

— Аминь, — повторил за ней си Фодил.

— Однако далеко завел нас этот разговор! — уже веселее произнес си Халед. — Совсем поздно!

Си Фодил посмотрел на карманные часы.

— Сейчас одиннадцать.

— У бойцов другое время! — улыбнулся Халед. — Твои часы идут неточно!

— Да нет! Нет! — заворчал си Фодил. — Случается, конечно, — часы выкидывают номер, подводят... Но вообще-то, больше чем на час за сутки они не уйдут.

Все засмеялись...

Шерифа принесла блюдо с кускусом. Саид, чистый и умытый, шел за ней.

— Как он хорош собой, этот мальчик! — воскликнула Хадда.

Саид поцеловал ее, обнял за шею и робко пожаловался:

— Я хочу спать...

Она прижала его к себе:

— Ну, конечно, сынок! Только в начале надо немного поест. А потом вот здесь и уснешь рядом со мной.

Халед ел долго, молча. Си Фодил пошел еще раз помолиться. Шерифа сидела в сторонке и только время от времени наклонялась к лампе поправить пламя. Мальчик так

хотел спать, что не мог уже сидеть прямо, глаза его сами собой закрывались, а ложка с кускусом валилась из рук. Хадда уложила его на свою постель. Он крепко спал, и на губах его, словно искушая судьбу, играла улыбка...

— Альхамду лилла! — поблагодарил Халед, наевшись досыта.

— Это, конечно, не царский пир, — заметил с сожалением си Фодил, садясь на его место.

— А мы и не боремся за то, чтобы пировать, как пировали в старину каиды, вожди племен, — сказал нахмурившись Халед. — Те времена давно прошли. Безвозвратно. У нашей революции, к счастью, другие цели. — Глубоко вздохнув, добавил: — Ну поймите же вы, наконец! На следующий день после окончания этой войны алжирский народ будет независим. Независим!.. И надо сказать уже сейчас, что цель наша трудна, нам будет нелегко, могут возникнуть всякие сложности, надо будет преодолевать и политические ссоры, и последствия ста тридцати лет отсталости и невежества, могут случиться и внутренние столкновения. Да, мы будем переживать самые суровые моменты в истории нашей Революции, и они доставят нам много, много огорчений! Но что бы там ни случилось, у нас будет собственное знамя, оно будет реять над нашей страной — и это главное. Ведь после всех бед и несчастий приходит мир, и мы получим его, надо только надеяться и верить. Цель должна вдохновлять нас. О! Столько еще надо разрушить! Да, да, я правильно говорю: разрушить. Разве можно оставить наследие феодализма? И весь народ должен быть ответствен за это. Весь народ — только тогда он будет свободным. А народ — это и ты, си Фодил, и ты, Шерифа, и даже этот малыш, который спит сейчас и видит сладкие сны. Надо мечтать уже сейчас о том, как взять в руки свою судьбу, во имя чего принесено столько жертв. Народ будет хозяином своей судьбы, поверьте мне. Я не пророк, но это сам смысл Истории, ее закон. — Он обращался к Хадде,

потом повернулся к си Фодилу, затем к Шерифе, и все говорил, охваченный приливом патриотических чувств, оживленно вскидывая руки, делая возбужденные жесты. — У тебя будет земля, свой дом, си Фодил, ты обретешь наконец человеческое достоинство, поверь мне! И ты, умм Хадда, и ты, Шерифа, вы обретете достойное место не только в семье, но в стране, станете настоящими алжирками. Ты, умм Хадда, станешь символом нашего незапятнанного, несмотря на вековое угнетение, прошлого, хранительницей традиций, идущих из глубины веков. А ты, Шерифа, ты будешь образом будущей алжирки, свободной от вековых предрассудков...

Да, я настаиваю на этом, Шерифа, ты станешь источником счастья, чистоты, ты будешь воплощением радости, отваги, ума, трудолюбия, любви и сострадания... И когда меня спрашивают, почему алжирки закрывают лицо, я отвечаю, что сейчас — это признак стыда, они скрывают свое несчастье. В будущем такой проблемы не будет, потому что не будет нищеты, несчастья, нечего будет прятать, когда страна станет счастливой и свободной. Но это все надо заслужить... — Он улыбнулся: — Мне кажется, что наша сегодняшняя трапеза, может быть, как никогда, исполнена святого смысла...

Си Фодил и Хадда кивали в знак согласия головами. А Халед продолжал:

— Счастлив тот, кто имеет пищу сегодня. Счастлив, кто спит спокойно, если даже не поел. Счастлив брат — боец, попавший в тюремную камеру, если там сломались уставшие от бесконечной работы машины для пыток, и он сможет передохнуть, пока их снова не починят...

Глаза его блеснули, в них было столько перенесенных мук и страданий, что си Фодил, на которого Халед пристально смотрел, смутился, словно почувствовал себя в чем-то виновным...

— Но мы будем независимыми, свободными и счастливыми, — с уверенностью закончил Халед, и голос его звучал радостно.

— Иншалла! — с надеждой произнесла Хадда.

— Аминь! — взволнованно повторил за ней си Фодил.

Шерифа убрала со стола и спросила мать, где она ляжет.

— Я лягу рядом с мальчиком, — ответила Хадда, — Это мне напомнит время, когда мои собственные дети спали вот так, прильнув ко мне.

Халед поднялся.

— Так значит, малыш останется у вас?

— Да, да, — ответила ему довольная Хадда.

— Пойди отдохни, — предложил Халеду си Фодил. — Я покараулю.

— Ты и так устал, а я чувствую себя неловко оттого, что прихожу вот так, без предупреждения, беспокою вас, — смущенно сказал Халед, потягиваясь.

— Да что ты, мы рады тебе всегда! — воскликнул си Фодил.

— Завтра воскресенье, надо ехать на базар, — напомнила мужу Хадда.

— Ты поедешь в Сур-аль-Гозлан? — поинтересовался си Халед. — Я пошлю с тобой письмо, которое ты, как обычно, вручишь си Насеру.

— Давай, — с гордостью ответил ему си Фодил.

— Ну ладно! — перебила Шерифа. — Давайте-ка идите и ложитесь спать. А я покараулю за всех вас, и, пожалуйста, не беспокойтесь.

Халед посмотрел на нее.

— Ты?!

Си Фодил широко открыл от удивления глаза, Хадда наклонила голову, не веря своим ушам.

— Да, я! — твердо сказала Шерифа, раздосадованная, что они ей не доверяют. — Надо иметь только зоркий глаз! А я, слава богу, не слепая! Я все вижу ясно! Так дайте же

мне пожить немного и вашей жизнью! Если это ваш долг, то значит — и мой! Согласитесь!

Халед выслушал ее, не проронив ни слова. Он весь напрягся, сжал губы, и ни единого звука не слетело с них. Потом, не отрывая глаз от Шерифы, сказал:

— Ну, уж сегодня ночью я наконец-то выплусь...

Он взял оружие и пожелал всем спокойной ночи.

— Вот и прекрасно, — сказал си Фодил, как только Халед вышел. — Я буду рядом с тобой, Шерифа.

Она запротестовала.

— Нет, нет, ты будешь караулить, — уверил он ее, — а я только побуду с тобой рядом. И поверь, конечно, буду спать.

Шерифа одела бурнус и вышла. Немного спустя си Фодил пошел за ней. Хадда накрыла голову и повернулась к Саиду.

Эта ночь была еще светлее и теплее, чем предыдущая. А легкий ветерок, пробегавший по кронам деревьев, напоминал о желанной прохладе летних ночей. В небе мерцали звезды, и их неровный, опаловый свет заливал поля и горы, принимавшие причудливые очертания. Холмы казались круглыми, беловатыми шапками в серую полоску, а вершины ушедшей далеко за горизонт гряды Дирах всплывали в синем сумраке ночи невероятными силуэтами — плоскими, круглыми, двурогими, угловатыми. Долина Эттуила простиралась, подобно куску черного бархата, развернутого под лунным светом, по ней пробегал сверкающий ручей, в котором отражались звезды, темнели лощины, где на дне искрились ровные полосы воды...

Си Фодил устроился, как и в прошлую ночь, под дубом, а Шерифа нашла для себя удобное местечко, откуда ей было все видно. Она села на большой камень, выпрямилась, готовая бодрствовать всю ночь. Ей хорошо было видно все окрестности. Там, внизу, из мрачного ущелья выходила ок-



ружная дорога, ползла потихоньку, распластавшись, словно скользкий червяк, извивалась все больше и больше, а потом с трудом карабкалась по склону пригорка, взбираясь все выше и выше, ложилась извилистым серпантинном. А вот и каменная тропа, протоптанная копытами животных си Фодила, она вела вниз, к источнику, где лепились друг к другу неказистые на вид четыре хижины. Одна из них предназначалась для загона животных, другая должна была использоваться как склад сельскохозяйственных орудий — самых простых, конечно. В нескольких метрах протекал ручей, около него — огородные грядки, пяток фруктовых деревьев, уже совсем одичавших и заросших густой травой... Дальше участок плавно спускался до самого шоссе. А вправо от источника Шерифа видела круто уходящий вверх заросший кустарником склон — там начиналась территория маки. У подножия этого склона стояли вытянувшиеся в ряд Три гурби: одна из них — несколько особняком, две других разделял проход, нечто вроде открытого коридора. Шерифа увидела, как Халед прошел по этому коридору с маленьким электрическим фонариком в руке. Она почувствовала весь груз ответственности, который теперь ложился на нее.

Халед вошел в хижину, что стояла посередине. Это было специально для него оборудованное помещение; отсюда он мог скрыться в одну секунду, так, что никто бы и не успел заметить. Он запер дверь, проверил, насколько надежно она закрыта. Потом чиркнул спичкой, поднес ее к свече, которая стояла всегда в подсвечнике на сундуке. Окинул взглядом комнату, чтобы удостовериться, что все в порядке и безопасности. Затем бесшумно передвинул лежанку. Одним махом поднял с полу ковер и лежащую под ним доску, и тогда открылось большое отверстие в земле — здесь находился его тайник. Халед наклонился и осветил подпол. Он был круглой формы, похожий на силосную башню, гораздо объемнее, чем можно было бы предположить. В нем

могли бы разместиться стоя сразу три человека или даже четыре. В гладких стенах были вырыты широкие ниши, которые служили полками, в одной из них проходила вентиляционная труба. Все было в полном порядке, на своих местах, главное — тяжелый, запертый на ключ, металлический ящик. Халед, опершись на край отверстия, осторожно спустился вниз. Он осветил фонариком нишу, потом пошарил в ней, поскреб землю, нащупал ключ. Ящик был закрыт на два оборота. В нем лежали важные документы: всякого рода бумаги, касающиеся военной и политической ситуации Фронта народного освобождения, положения в армии, военные сводки, донесения, финансовые отчеты, списки с именами предателей, неблагонадежных или, наоборот, — особо отличившихся, героев, сочувствующих, фотографии бойцов, расписки о положенных на счет в банке разного рода денежных взносах, пожертвованиях, налогах, собранных за последние недели...

Он взял лист бумаги, закрыл ящик и написал:

*Брату си Насеру*

*Это не упрек, а скорее предупреждение, которое я хочу тебе сделать. Сур-аль-Гозлан не достоин нашей Родины. Во всяком случае, еще не достоин.*

*Я вовсе не суров. Но сколько можно найти в Сур-аль-Гозлане истинных патриотов? Мне кажется, многие жители этих мест так и не поймут происходящего, так и останутся верны колонизаторам. Я опасаясь за них. Ибо подобные люди заслуживают смерти. Они ходят в бар к расисту-бармену, пьют его аперитивы и не понимают: вино — это кровь их братьев, которой смыты виноградники колонов! А некоторые, хоть и менее достойные презрения, шляются в безделье по улицам, воображают себя философами, торчат в восточных кофейнях и мусолят новости о том, что и где выгоднее купить-продать, слушают разговоры о том, кто сам*

*продался врагам, а кого «купили»... Будь бдителен. Эти люди могут завтра проникнуть и в наши ряды... Надо, дорогой мой брат, скорее кончать с этим. Но смотри, не соверши ошибки, сумей отличить плохое от хорошего. Отличи людей, кого нещадно мучает враг, заставляя работать в своей адской администрации, просто пользуется их именами, чтобы дискредитировать в наших глазах. Не надо, конечно, преувеличивать их несчастий, но нельзя забывать и о том, что они не защищены, что у них нет оружия, а главное, что они могут в будущем пойти за нами. В Сур-аль-Гозлане есть и братья, которые продолжают оказывать нам помощь. Спасибо им, и я знаю, что их немало! Брат Насер, я прошу тебя спасти мой родной Сур-аль-Гозлан. Его надо спасти!*

*Наконец, не забудь особо поблагодарить Жана за ту неоценимую и искреннюю помощь, которую он все время нам оказывает. Истинная Франция, будущий свободный Алжир будут ему благодарны».*

Добавив: «Братски обнимаю», поставил подпись, число и печать. Потом поднялся наверх и положил доску на место. Затем погасил свечу, которая уже почти догорела, лег в кровать на спину, вытянулся во весь рост. В его глазах можно было прочесть удивление: несмотря ни на что, он счастлив и спокоен? «Теперь я смогу и заснуть», — подумал он.

Но сон пришел к нему не сразу. Тишина, стоявшая во круг, воскресила для него звуки пережитых сражений. В висках стучало, сердце учащенно билось. Он чувствовал, как кровь ускоряет свой бег в теле, как пульсирует в ногах, измученных тяжелыми долгими переходами по горным тропам, как больно колет в онемевших от усталости мышцах. Голова гудела. Моментами в мозгу проносились воспоминания — острые, сильные, как вспышки молнии. Что не давало ему заснуть: мысли, одолевающие его? Ноги, гу-

дящие от бесконечных бросков в маки? Нет, он привык не обращать внимания на это. Грудь, хранящая память о рукопашных схватках? Нет, она давно стала твердой как панцирь. Глаза, в которых застыли картины бомбежек? Уши, в которых стояли звуки войны? Или все его тело? Нет, привычка закалила его, научила стойко переносить боль и страдания. Даже смерть товарищей по оружию он научился переносить стойко — ничего не поделаешь, война! Смерть братьев, что умирали за свободу как герои...

Нет, заснуть ему не давали мысли о матери. Он видел ее перед собой улыбающейся, радостной. И еще он представлял себе отца: одетого во все белое, с тюрбаном на голове, в длинной рубаше, в бурнусе... Но черты его расплывались, Халед силился различить знакомые черты. Но чем больше он напрягался, тем больше расплывалось лицо отца. И вдруг си Халеду почудился голос муэдзина... «Он счастлив, мой отец», — подумал Халед. Ему так захотелось поскорее встретиться с ним...

А потом он снова увидел мать. Она все еще улыбалась, и было такое ощущение, что она здесь, где-то рядом. Ему захотелось, чтобы время остановилось. Но оно бежало вперед, и Халед не мог ни в чем его упрекнуть... Потихоньку покой разлился в нем, овладел его сердцем, сосудами, головой... Он затих. Уснул, словно покачиваясь на плоту в открытом море. Затихала и погружалась в глубокое забвение и сама земля, уставшая, измученная. Все отдыхало, и горы, и долины. И Шерифа охраняла этот покой.

## VII

На фоне бледного рассветного неба фигура молящегося си Фодила казалась причудливым силуэтом, выделяющим какие-то балетные па на плоском пригорке. Он наклонялся, выпрямлялся, пригибал голову к коленям, касался лбом земли, потом вставал во весь рост.

Си Фодил благоговейно бил свои поклоны, и казалось, что его тело, то напряженное, то расслабленное, как струна, глухо звенело в пронзительной тишине утра.

Он молился, а вокруг все еще было в ночном оцепенении — долина, ущелье, вершины Дираха и Бу Седара, над ними еще властвовали сумерки, пока не рассеивающиеся, густые.

Закончив молитву, си Фодил произнес: «...ассальяму алейкум...»<sup>1</sup> Шерифа поставила столик, на него медный поднос с красивыми расписными чашками. Ее мать, хотя и чувствовала себя не очень хорошо, встала пораньше, сварила кофе и испекла манные лепешки, тонкие и хрустящие.

— Саиду понравится, — довольно проговорила она.

Шерифа улыбнулась и, казалось, совсем не устала.

Вошел си Фодил.

— А! Вот и наша героиня! — произнес он, глядя на дочь. — Ну что ж! Ты справилась вполне! Клянусь, я спал спокойно!

— Ну и прекрасно! — ответила она, держа в руках медный поднос с прибором и едой для си Халеда. — Пойду отнесу ему.

А ребенок все еще спал.

Сядясь завтракать, си Фодил нечаянно коснулся бедра своей жены. Глупо, конечно, но его вдруг охватило такое волнение, что, казалось, внутри заиграли, забушевали разные ветры. А Хадда вроде бы ничего и не замечала. Но в голове си Фодила гудело, и он чувствовал, что ветры его словно бросают на берег, разбивают о дюны... Его рука сжимала что-то мягкое, нежное — живую человеческую плоть. Но он сразу спохватился, сказал грустно:

— Извини, пожалуйста! — А в голове — снова вихрь, и снова его точно обдало горячим дыханием сирокко...

— За что?

---

<sup>1</sup> «...ассальяму алейкум...» — «...и да пребудете вы с миром...»

Горячая песчаная буря неслась на него с воем и свистом, готовая унести, закрутить его в своем вихре, потопить в огромных песчаных волнах...

— За что? — повторила Хадда нежно. — За что извинять тебя?

Бушевавший в нем поток уже захлестывал, еще немного — и он поглотит его. Си Фодил, спасаясь, цеплялся за самую живую владычицу этой огнедышащей пустыни:

— Не знаю. Ничего не знаю, — повторял он.

Она больше не взглянула на него.

— Неужели ты уже не испытываешь ко мне никаких чувств? — жалобно пробормотал он. — А ведь были и у нас прекрасные годы безоблачного счастья...

Может быть, тот ураган, который разбушевался в нем, захватит и ее, заставит заговорить по-другому?

— Зачем нам все это? — тихо и ласково спросила она. — Мы уже оба старые...

А он настойчиво убеждал ее:

— Немного нежности поможет нам в нашей старости. Это будет единственным нашим утешением, единственной ниточкой, соединяющей сегодня нашу с тобой совместную жизнь... Немножко нежного чувства...

Она все еще колебалась, потом вдруг повернулась к нему, и глаза ее радостно и светло заискрились, как молодой ручеек, свежий и звонкий... Он склонил к ней свое лицо, лицо пожилого, усталого, но счастливого человека...

Шерифа подошла к гурби Халеда. Первые, робкие лучи солнца только коснулись угрюмых вершин деревьев, а стволы еще утопали в густом предутреннем тумане.

Не слышно было ни голосов перекликающихся крестьян, идущих на работу в поле, ни пения петухов, ни лая собак — всех тех звуков, с которыми просыпается деревня... Здесь, в мрачных скалах, у жизни было другое лицо — суровое, окаменевшее. Страх смерти и пыток, шальной пули научил людей таиться, скрываться, развил в них инстинкт

самосохранения. Их преследовали нищета, голод, подстерегали, как отвратительная птица свою добычу, жадно расправившая крылья... Вечный страх заглушил в них чувства, очерствил души... Многие семьи разорились, многие заложили свои земли или ушли в город, где их ждала жизнь, полная унижений. А остальные продавали своих животных, пока та еще не околели с голоду — уже и сама земля отказывалась родить, дичала, умирала...

Но в этом году земля оживала, и феллаху, упрямо ожидавшему ее возрождения, оставшемуся, несмотря ни на что, верным ей, повезет. День обещал быть хорошим и ясным, солнце уже господствовало на небе и изливало на землю свое долгожданное живительное тепло, выводя ее из оцепенения... Было воскресенье — базарный день в Сур-аль-Гозлане...

Шерифа постучала в дверь. Но тут увидела, как Халед поднимается к дому от источника.

— Здравствуй! — крикнула ему она.

— Добрый день! — приветствовал он ее, помахав издали рукой. — Я умывался!

Она подождала его.

— Вот твой кофе.

Он улыбнулся:

— Спасибо. Я так обязан тебе.

Халед взял у нее поднос и поставил на кровать. Она даже была не разобрана.

— Ты что, не ложишься? — спросила Шерифа.

— Что ты, я спал! — Потом, смутившись, объяснил: — Я уснул сразу, не успев постелить...

Прервав неловкое молчание, Халед похвалил завтрак:

— Очень вкусная лепешка...

— Да, — прошептала девушка.

Он выпил кофе и протянул ей запечатанный конверт.

— Здесь важная бумага. Ты скажи, пожалуйста, отцу, чтобы он передал ее, как обычно, тому человеку в Сур-аль-Гозлане.

— Обязательно, — только и сказала Шерифа. Но было видно, что ей хочется с ним поговорить. И она начала торопливо: — Хосин становится опасным... В ту ночь в горах, то, что случилось, — я думаю, я уверена, что это все он...

— Не удивительно, — сказал Халед, хотя эти ее слова и были для него несколько неожиданными.

— И потом, это убийство дяди Куидера... — начала она со сдержанной яростью.

Халед посмотрел на нее с беспокойством.

— Ведь Хосин способен даже убить родного отца. Он мог заставить кого-нибудь совершить это убийство! Так очередь дойдет и до нас!

Халед уже готов был обнять ее, успокоить, руки сами раскрылись навстречу ей, но он сдержался. Она рыдала:

— Я не хочу за него замуж, не хочу! — И прижалась к нему.

У Халеда стало тревожно на душе. Он прошептал:

— Не стоит так волноваться, Шерифа. Ей-богу, он не уйдет от меня, я его из-под земли достану. Ты ведь знаешь, мы давно его приговорили к смерти, он заплатит за все. Не забывай о том, что я обещал, если, конечно, ты согласна, жениться на тебе, как только закончится война.

— А что изменится, если мы поженимся теперь?

— Многое! У нас будет трудная жизнь.

Она прильнула к его груди.

— Ну и пусть.

— Подумай. Сейчас я могу называть тебя только сестрой. Так угодно аллаху. Я ни на минуту не могу забыть, что я — муджахид.

Шерифа отступила — удивленная и смущенная. Глаза ее все еще блестели от волнения, но она уже не испытывала душевного напряжения.



— Ты прав, — сказала она, смахнув слезу. — Прости меня, не надо было мучить тебя.

Халед хотел ее как-то утешить, но она всхлипнула:

— Дура я несчастная...

Он не находил нужных слов, потянулся к ней, чтобы успокоить, но девушка отстранила его и с улыбкой сказала:

— Пойду отнесу письмо отцу — он уже собрался в дорогу и вот-вот отправится в Сур-аль-Гозлан.

Она вышла, не дожидаясь, пока Халед что-либо скажет, уверенная в его правоте, испытывая радость от того, что понимает его.

Си Фодил уже сидел на муле. Умм Хадда, умиротворенная и счастливая, просила его не забыть привезти конфет маленькому Саиду, который еще спал. Шерифа отдала письмо си Фодилу, напомнила ему наставления Халеда.

— Счастливого пути! — пожелала Хадда.

— Счастливого пути, отец! — повторила за ней Шерифа.

— Мир с вами! — попрощался си Фодил.

Мул поплелся по дорожке, которая вела к шоссе. В небе уже занимался новый день, горизонт был пурпурным, солнечный свет окрасил его. Поля сияли, как изумруды, а оттаявшая земля отсвечивала порфиром. Серо-голубая лента шоссе бежала, извиваясь и теряясь вдали.

В пути си Фодил встречал крестьян, одни шли пешком, другие ехали на ослах. Их качало от усталости. Глаза казались померкнувшими, безжизненными. Они передвигались как во сне, в каком-то бесконечном сне, правда если собирались в группы, то иногда переговаривались. Нет, этих людей нельзя было назвать отчаявшимися, потерявшими надежду. Им всем хотелось выразить свои мысли, довериться один другому, но они не осмеливались. Их унылое молчание было вызвано одной и той же причиной: они всегда ждали подвоха и предпочитали держать язык за зубами,

чтобы никто не мог обвинить их в политическом невежестве, в незнании военной обстановки...

И если кому-нибудь все-таки хотелось поговорить, то он произносил:

— Какой славный выдался денек!

И ему отвечали:

— Да, и вправду хороший!

— Как он милостив к нам!

А если кто-то выражал удивление, ему объясняли:

— Аллах! Кто же еще?

— Ну да, конечно, — согласно кивал он в ответ.

И этот бессмысленный диалог длился, пока длилась дорога и взаимное недоверие.

А Халед все утро провел в одиночестве в своем укрытии, читал и перечитывал сведения, донесения, составлял отчеты, рапорты.

Саид, проснувшись, очень удивился, что находится в чужом доме. Он хотел заплакать, но в глубине души что-то успокаивало его, говорило потихоньку, напоминая слова Халеда: «Вот увидишь, Саид, пройдет немного времени, и твоя страна станет свободной, свергнет гнет чужеземцев, избавится от страха. Ты поймешь, что смерть и твоего отца, и твоей матери, и твоих братьев и сестер не была напрасной...» И все-таки Саид не мог сдержать слезу, которая покатилась по его щеке.

Хадда подошла к нему, погладила его по голове, поцеловала. Она одела его, умыла и подала ему кофе.

— Ой, как я люблю эти лепешки! — радостно воскликнул он, откусив большой кусок.

Хадда посмотрела на него с умилением.

Мальчик спросил, где Халед. Она терпеливо объяснила ему, что Халед у себя в хижине, что его не надо беспокоить. И мальчик, казалось, понял. Она еще побыла с ним, но надо было уже идти помогать Шерифе по хозяйству, и

Хадда показала ему дуб, в тени которого он мог пока поиграть, никуда далеко не отлучаясь.

Ребенок вышел и робко направился к дубу. Лицо его было печально, сердце сжимала тоска, и его не могло согреть даже тепло наступившего дня. Он посмотрел на открывшийся перед ним вид полей и холмов, потом устроился у дерева и начал играть камешками...

## VIII

День запылал. Солнце, высоко поднявшись в небе, заливало зноем поля и горы, обдавало липким жаром людей и нагревало предметы. Во многих местах земля уже начала твердеть и трескаться, покрываться тонкой пылью.

— Какой ужасный день, — жаловалась Шерифа, с трудом поднимаясь от источника в гору и держа в каждой руке по ведру воды.

— Ну и жара сегодня! Так и земля может запылать стром! — ворчала Хадда, разжигая огонь в кухне.

Потом запахло паленой соломой, перегретой глиной, аид, играя, прибежал уже несколько раз попить воды, воздух постепенно густел, становился вязким, неподвижным, дышать было трудно, першило в горле. Деревья потрескивали, как поленья в печи, обнаженные поля казались расплывшимися лужами свинца, расплавившегося под добела раскаленным небом. Вся жизнь будто замерла, неподвижные вершины Дираха, Бу-Седара, долина Мерджа-Эттуила, ущелье, хижины — все теперь представлялось чудовищными декорациями самого ада, геенны огненной...

Потом, с трудом прорываясь через все поднимавшиеся вверх испарения разогретой солнцем земли, слышался далекий гудок из Сур-аль-Гозлана.

Наступил полдень.

Халед задыхался в своем убежище, где продолжал приводить в порядок документы и писать. Время от времени он припадал к вентиляционной трубе, думая, что при такой

жаре недолго и изжариться. Внезапно послышался грохот и лязг железа. Халед прервал работу и с беспокойством прислушался. Взгляд его стал суровым. Он встал, насторожился. Гул приближался, становился все отчетливее, понятнее. Халед вздрогнул, схватил автомат и судорожно вцепился в него.

В небе, вначале казавшемся пустым, в котором теперь собрался весь поднявшийся от земли пар, сияло белое солнце. Все вокруг содрогалось от нараставшего гула и грохота. Над гурби уже кружили и захлебывались от воя три вертолета, в густом воздухе хлопали лопастями винты. Шерифа вышла из дому, задыхаясь от охватившей ее тревоги. На окружной дороге, по полям, по склонам холмов, в саду уже давили землю смертоносные гусеницы танков, которые ползли вперед медленно, но упрямо, похожие на огромных, бесформенных, разъяренных чудовищ.

Множество солдат выскочило из грузовиков. Кто залег в дорожных рытвинах, кто пополз, кто попрятался в колючем кустарнике, кто за деревьями, кто за скалу, кто за танк. Все заняли позиции, окружили гурби, захватили ту часть дороги, которая вела от начала шоссе до тайной тропы, где обычно по заросшему склону уходили в горы муджахиды.

Внизу в джипах стояли командиры и смотрели в бинокли, пристально оглядывая всю местность. Теперь они были хозяевами положения, и все ждали приказа о начале атаки.

Шерифа окликнула мать и побежала к Трем гурби. Солдат грубо схватил ее за руку, потом за волосы и поволок по земле. Вертолет приземлился как раз там, где дорога разворачивалась и поднималась вверх. Под дубом был установлен пулемет, нацеленный прямо на Три гурби. Маленького Саида уже успели прогнать с того места, где он играл, и избить его. Кроме пулемета установили пушку, приготовили к бою и другие орудия.

— Собака! — завопил по-арабски один из солдат.

Глаза Шерифы расширились от ужаса. Она закричала до хрипоты, теряя над собой власть:

— А, это ты, Хосин! Ты! Предатель! Предатель! Продажная тварь! Предатель!

Он грубо толкал ее, бросал на землю, поднимал, снова бил, бил по голове, пинал в живот, разорвал на ней платье на глазах у бешеной солдатни, которая проникла уже в дом и перевернула там все вверх дном. Солдаты выкрикивали бранные слова, толкали Хадду, отвечивали ей удары. Доставалось и Саиду, все лицо его было разбито в кровь. Шерифа корчилась от боли и стыда, оставшись без одежды. Солдаты-европейцы спокойно наблюдали эту сцену, как невозмутимые зрители мирный спектакль. Некоторые, правда, были перепуганы. Шерифа все кричала хриплым, уже совсем обессиленным, каким-то мертвым голосом:

— Трус! Предатель! Продажная тварь!

А Хосин, чья ярость и бешенство уже не знали границ, все бил и бил ее. Танки остановились прямо перед Тремя гурби. Подразделения залегли в траве и лихорадочно, кроважно, словно изголодавшиеся, ждали приказа к атаке. Два вертолета без усталости продолжали свой грозный облет Трех несчастных гурби.

А что же делал Халед? Там, в его убежище, царило такое молчание, что можно было подумать: он мертв. Но Халед дышал, стоя между своим тайником и дверью, прислушивался к каждому звуку, к голосам, к плачу и крикам женщин, ребенка. В руках он сжимал автомат, ждал, когда начнут стрелять. Он думал, когда они ринутся сюда, к его труп? Успеет ли он принять решение, дадут ли ему время?

В голове Халеда звенело. Застыв у двери, словно гранитная статуя, он сглотнул, почувствовав горечь во рту. Едва он показался в проходе, как пули полетели в его сторону, не задев его. Шерифа дико закричала. Халед перебежал в соседнее помещение. Через щель в стене он увидел всю панораму вражеских позиций. Он поморщился, на

мгновение растерялся. Ну что может сделать он один против целой армии, замыслившей убить его? К тому же крики, яростные угрозы и команды, доносившиеся сюда, отдававшиеся эхом здесь, в проходе между гурби, не оставляли никакой надежды: враг был рядом, занял холм целиком.

Ему хотелось подумать спокойно, взвесить свои возможности, но его голова гудела и подавала лишь сигналы бедствия.

Бой начался, враг подступил слишком близко, чтобы можно было отступить.

— Сдавайся! — кричали ему.

— Тебе некуда идти!

— Ты умрешь!

Слышались и другие голоса, еще более грозные и ненавистные, голоса убийц, и среди них голос Хосина:

— Выходи, если ты мужчина!

— Выходи, собака! Выходи, собачий сын!

— Ты все равно подохнешь!

Вся эта брань, грубые выкрики, оскорбления градом сыпались на голову Халеда. Он тоже захотел что-то крикнуть, устыдить солдат, этих продажных убийц, у которых не было ни души, ни отечества! Но он снова услышал отчаянные вопли женщин, над которыми издевались солдаты.

Скоро голоса дорогих Халеду людей стихли. Хадда, Шерифа и Саид без сознания лежали на земле.

— Ты умрешь сейчас, собака! Ты умрешь! — истерично орал Хосин, обстреливая Три гурби. Ему казалось, что он один ведет бой с Халедом, и, ослепленный яростью, он казался сам себе могучим и великим. Но это, видно, было ему не под силу, нервы сдавали. Голос его походил уже на захлебывающийся собачий лай, угрожающие жесты становились все более непристойными. Он нашел наконец подходящий момент, чтобы отблагодарить своих благодетелей-колонизаторов, восславить их, доказать их превосходство, показать свою силу; он палил сам, заставил еще одного

солдата стрелять до тех пор, пока тот не опустошил обойму своего автомата. Халед, сжав челюсти, попробовал перебежать по проходу к себе в убежище. В него выпустили очередь, пули попали ему в грудь. Халед покачнулся, привалился к стене, хотел осмотреть свою рану, но не смог. Он задыхался, пот выступил на лбу, заливал глаза, тек по лицу, словно разразился ливень. Гимнастерка Халеда пропиталась кровью, на ней выступили красные пятна, похожие на звезды... Он стал сползать по стене... В него снова начали стрелять. Перед глазами поплыли огненные круги.

«Неужели меня настигла смерть? — подумал он, собрав последние силы, и подполз к кровати, где под ковром был вход в его тайник. Сколько мужества надо было, чтобы преодолеть эти несколько метров! — Неужели смерть?» — думал он и смутно слышал:

— Сдавайся!

— Выходи, если ты сын своей матери!

— Бросай оружие!

— Негодяй! Собака!

— Выходи! Выходи!

Но как же эти оскорбления поддерживали его силы! Лучше бы они не кончались! — молил Халед. Он ухватился рукой за край отверстия в полу. Потом оперся на другую руку и, преодолевая боль, упал на дно тайника. Собрав последние силы, повернулся на спину, боль снова пронзила его. Но он позабыл о ней, как только нащупал коробок со спичками. Раздались толчки от пушечного выстрела, потом послышался глухой звук обрушившейся стены. Потом — короткое затишье. Как отсрочка. И вдруг тень промелькнула над подполом. Халед услышал: щелкнул затвор заряжаемого ружья. Ему сказали:

— Выходи! Давай выходи!

Халед не отвечал, лежал без движения, без стоны. В го-  
лосе наверху звучало нескрываемое бешенство:

— Ну, выходи же! Иначе здесь все рухнет на тебя! И ты подохнешь в могиле, которую сам для себя вырыл!

Теперь голос был почти рядом, видно, разговаривавший наклонился над тайником.

— Выходи! Сдавайся! Это я — Хосин. Узнаешь меня? Хосин, наемник Хосин, которому на... на тебя! Выходи! Я знаю, что это ты, Халед! Выходи! Сдавайся! Нам надо свети счеты. Выходи!

Халед чиркнул спичкой и поджег документы. Хосин выстрелил. Халед застонал, сделав вид, что умирает. Тот, уверенный, что прикончил его, стоял с презрительным видом, однако потом все же решил посмотреть вниз, чтобы разглядеть свою жертву. Но едва Хосин опустил голову в тайник, как Халед выстрелил, яростно нажав на курок. Хосин свалился в подпол, как мешок с зерном.

Огонь быстро разгорелся, пламя поджаривало бумагу, скручивало листки, пожирало их целиком. Халед улыбнулся. Только сейчас он почувствовал, как кружится голова. Он выпрямился. Снова его пронзила боль. Кровь уже запеклась на груди, а одежда набухла, промокнув. Языки огня расплзались по стенам подпола, подбирались к лежавшему на земле Хосину, лизали его ноги.

«Надо бы его выволочь отсюда», — подумал Халед, безразлично глядя на распростертое тело.

Снова послышался пушечный залп и грохот обрушившейся стены.

Силы Халеда иссякли. Бросив взгляд на убитого Хосина, Халед проверил патронную обойму и попытался вылезти из тайника. Он подтянулся на руках, что было сил. Приподнялся еще немного, но с каждым движением грудь его разламывалась. Потом сделал последний рывок, всем телом, и, обессиленный, измученный, раздираемый болью, оказался на глиняном полу своего гурби. Он поцеловал землю предков, эту созданную богом землю, оросив ее своей кровью.



— Я отдаю тебе мою жизнь, о моя униженная, истерзанная, оскорбленная Земля! Тебе, мой плененный Алжир!

Ужасный взрыв, раздавшийся в соседнем гурби, повалил кусок стены, обрушил соломенную крышу. «Они боятся, — подумал Халед. — Но разве я здесь не один?»

Он осторожно, потихоньку, на коленях с большим трудом подполз к двери. Пристроился у стены и, лежа на животе, прижавшись грудью к земле так, казалось, что сердце стучит в ней, выстрелил наугад, уверенный, что обязательно поразит врага — ведь солдат было так много!

И в самом деле, двое или трое, а может быть, и четверо упали под его пулями, тела их покатались кубарем, поскакали, как кролики, по склону холма прямо на шоссе.

Вертолеты кружили и строчили из пулеметов. От Трех гурби осталась только та, в которой сейчас находился Халед. Враг хотел изолировать его, заставить сдаться.

— Выходи!

— Сдавайся!

— Мы с тобой будем обращаться как с офицером!

Но разве можно ждать пощады от диких зверей? Разве, набрасываясь, они соблюдают законы?

Потом воцарилось молчание, стало подозрительно тихо. Тайник Халеда превратился в пылающий жаром, коптящий, зловонный кратер. Оттуда столбом валил едкий дым, поднимаясь, вверх гигантскими кольцами. Халед смотрел теперь с удовлетворением. Даже слабо, по-детски, улыбнулся. И его снова охватила бушевавшая в нем ярость.

— Но я еще жив! Еще не умер! — застонал он.

И он стрелял короткими очередями, корчась от боли и душившего гнева.

Стоя в своем джипе, один из офицеров высоко поднял руку и взмахнул ею. Тотчас жерла танковых пушек засыпали снарядами несчастную хижину, заставили ее просто взлететь на воздух. Потом останки хижины опустились на прежнее место. Пучки горячей соломы, разнесенные по

воздуху взрывом, осели на колючих кустарниках, на сухой траве, и все загорелось. Пылало и то, что осталось от гурби и от ни в чем не повинного дома...

...Халеду казалось, что гул шел из-под земли, пронзал насквозь его тело; он приоткрыл глаза и подумал, что видит конец света. Но его слепила боль, жгла изнутри, оглушала, обугливала сердце. А мир рушился вокруг, пылал и отдавал его душу самому дьяволу, который требовал ее на разные голоса... В мозгу метались красные сполохи, потом опустились сумерки, потом наступила ночь. И вырвался вздох облегчения, а с ним словно улеглось все вокруг. Но Халед уже ничего не сознавал. Только странное чувство полета овладело им. Было ли это приближением смерти? В одно мгновение в его уже угасающей памяти пронеслись видения детства, юности... Он вспомнил мать. Она улыбалась ему. Но какой же грустной была эта улыбка!

Халед был счастлив, что к нему перед смертью вернулось сознание. Он приподнял голову. И все было кончено разом. Он больше не существовал. Его тело было отброшено взрывной волной. Потом запылал огонь. Земля разверзлась, как горло, раздираемое криком. Заполыхал огромный костер, спаливший все вокруг в радиусе нескольких метров. Другой взрыв, словно смялостивившись, засыпал этот костер землей. Два вертолета облетели еще несколько раз пепелище и направились в сторону Сур-аль-Гозлана. Офицеры рассматривали еще несколько секунд в бинокли то, что осталось от Трех гурби — кучки красноватой земли, угля и пепла... Один из них посмотрел на часы и с гордой ухмылкой произнес:

— Чистая работа. Вся операция длилась не больше пятнадцати-двадцати минут.

В молчании подобрали убитых солдат. Потом раздался приказ об отходе войск, и начался невообразимый грохот. Третий вертолет резко развернулся в направлении Дешемийи.

Наконец-то перестала давить эта нещадная жара, которая парила с утра. Солнце побледнело, небо затянулось тучами. Время меняет все. Это необъяснимое, непонятное время!..

Лежащая на земле Шерифа слабо шевельнулась. У нее сочилась кровь из раны на лбу, текла, застывая на лице, на шее. Она приподнялась, потом, пошатываясь, встала. Ее била дрожь. Все вокруг кружилось. С трудом, едва держась на ногах, она осмотрелась, заметила мать, мальчика, пришла в себя, все вспомнила. В глазах Шерифы застыл ужас, когда она увидела, что Три гурби разрушены дотла.

Какая тишина вокруг! Какое гробовое молчание! Она растормошила мать, мальчика и, словно охваченная внезапным приступом безумия, тихонько завывала:

— Они схватили его! Они убили его. Они схватили его! Убили его!

И Шерифа со всех ног бросилась бежать по склону, что-то бессмысленно выкрикивая. Остановилась как вкопанная перед тем, что было раньше гурби Халеда. У нее вырвался короткий смешок: ей еще никогда не доводилось видеть комнату Халеда одновременно и снаружи и изнутри! Да еще так, распахнутую настежь...

В голову что-то ударило. Голые ноги стали разгребать горячую золу, не ощущая жара. Еще несколько раз короткие смешки вырывались у нее из горла, потом она затихла. Опустив голову, с перекошенным лицом, горящими глазами, с искусанными губами она пошла по еще не остывшим углям костра.

Шерифа еще не знала, что ищет там, зачем оказалась здесь. Ноги по щиколотку погрузились в горячий пепел. Запах обуглившегося человеческого тела ударил ей в нос; она не поняла, что это такое. Споткнулась о пружину матраса, которая заскрипела и подпрыгнула. Глаза ее расширились от ужаса, пока она шла, задевая за другие пружины. И чуть было не выскочили из орбит, когда она остановилась,

наконец, у обломка стены. Тут она увидела грудку углей, очертания которой походили на человека...

Она наклонилась, присела, протянула руки. В некоторых местах еще видны были куски коричневого обгоревшего тела, кое-где выступали кости. Но когда она увидела обнажившиеся челюсти, то ей нечем стало дышать. Голова ее упала на грудь, словно она получила удар в затылок. Плечи передернулись, и ее охватил безудержный смех, похожий на рыдания. Из этого смятения ее вывела тень матери, нависшая над ней: Шерифа закрыла лицо руками и потихоньку заплакала.

Хадда сама на себя не была похожа, она казалась бесформенной, безликой массой. Эта смерть, это обугленное тело пробудило в ее сердце какую-то древнюю боль. Она тихо, подобно раненому зверю, застонала и опустилась на корточки. Потом замотала головой, затряслась всем телом, начала бить себя по бедрам, царапать в кровь лицо, громко причитать:

— Халед, о Халед! О как мне жаль твою маму! Как мне ее жаль! Что за смерть! Что за ужасная, несправедливая смерть после такой отважной и честной жизни! Муджахид не заслуживает подобной участи! Зачем умирают во имя чести? Разве жизнь героя — иная? Зачем ему умирать? О смерть! Ты, которая сжигаешь, пытаешь, разрываешь сердца несчастных матерей, зачем ты унесла именно его? Почему отбираешь наших лучших мужчин? Зачем эта смерть? Зачем эта ужасная смерть? Отвечай же, не молчи, не скрывай правду, пепел! Не молчи! О, я плачу, плачу по бедной матери! Плачу по умм Иде!

Потом она замолкла, потеряла голос. А тело ее продолжало вздрагивать от горя и боли. Шерифа подняла к ней почерневшее от горя лицо. Не в силах произнести ни слова, она только рассеянно и неловко водила руками, показывая на останки Халеда. Саид неподвижно стоял в сторонке, прислонившись к большому камню. Он не плакал, ничего

не говорил. И только дрожь побежала по его телу. Солнце поблекло, похолодело, словно вот-вот должно было померкнуть. Воцарилось молчание. Тягостное, невыносимое, мучительно сжимающее, давящее, как пар в каком-нибудь адском котле...

Когда си Фодил спрыгнул с мула на землю, он подумал, увидев то, что осталось от Трех гурби, что ужасный ураган пронесся над домом. Он побледнел, губы его задрожали от страха, в глазах потемнело, слезы покатались сами собой, горькие морщины глубокими складками легли на лоб. В отчаянии он хлопнул ладонями, испустил, точно раненое животное, пронзительный вопль и быстро, как в молодости, побежал к тому месту, где стояли Три гурби. Словно слепой, пошел по горячей золе, бормоча: «О аллах!» Подойдя к жене, он, потрясенный, положил ей руки на плечи и, как и она, тоже опустил на корточки перед обугленным телом. Он долго не мог прийти в себя и так и сидел, локти на коленях, обхватив голову руками. Казалось, что он оцепенел от ужаса, глаза сузились, застыли, а горячие слезы все катились, заливая его старческое, сморщенное в судорожной гримасе лицо. Мало-помалу он отошел, но движения его все еще были отрешенными, автоматическими, а губы шептали слова молитвы. Хадда, вся в слезах, тоже повторяла за ним: «Аллах всемогущ!» Потом си Фодил поднялся, скорбно наклонил голову и едва слышно, скороговоркой добавил: «Пусть аллах благословит мучеников!» Неутешная Хадда шептала: «Погибают самые отважные!..»

Си Фодил печально покачал головой, вспомнив слова из Корана: «...Не говорите о тех, кого убивают на пути аллаха. Мертвые. Нет, живые! Но вы не чувствуете...»

Хадда зажмурилась от нахлынувших слез и закусила губы от боли.

Жутковатая тишина становилась тягостной, давила, сжимала сердце, воздух был мутным от дыма. Вдруг свежий ветер пробежал по листве, поднял пыль. Си Фодил

взглянул на небо — его затянули серые тучи, потом посмотрел на груды угля и пепла у себя под ногами. И уже не таким глухим голосом, спокойно и четко произнес:

— Его надо похоронить немедленно, вон там, на склоне холма, и скрыть место захоронения, иначе они похитят у нас Халеда, вырвут из-под земли, это уж точно! Они еще вернутся! Обязательно вернутся!

Но Хадду мучила все та же неотвязная мысль.

— Конечно, аллах велик и всемогущ, — ломая руки, говорила она. — Но зачем ему понадобилась именно эта смерть? Ведь есть же и другие? Почему Халед погиб именно так? Именно так? — Она била себя рукой в грудь и, раскачиваясь всем телом, повторяла: — Мой храбрый Халед! Ведь ты был мне как сын, как старшин сын, справедливый, горячий, отважный, знаменитый герой! И ты пожертвовал собой! Отдал свою собственную жизнь! Отказался от нее сам, добровольно! Я плачу по твоей матери! Я сострадаю ей! Надо скрыть от нее правду о твоей смерти. Увы! Война еще не кончилась... И твоя мать будет жить нашей святой ложью!

У нее уже выступила на губах пена, похожая на белые погребальные цветы. Си Фодил пытался успокоить ее, увещевал ее, просил подумать о ребенке, который стоял рядом и испуганно смотрел на нее. Но она не могла затихнуть, пока не излила все свое огромное горе.

Уже совсем охрипшим голосом она все причитала:

— В какую же вечность ты канешь, когда земля и камни раздавят твое теперь ломкое тело?! Как же ты будешь там одинок, мой сын! Какое глубокое одиночество будет давить тебя! Один останешься там, совсем один, всегда один, и так до бесконечности... Ты умер, сын мой, навсегда перестал жить... Как представить себе теперь твою долю? О, нет! Нет, сын мой! Как же стыдно будет мне смотреть в глаза твоей матери! Ты пришел ко мне живой, а ушел — мертвым!..

— Ну ладно, хватит,— прервал ее си Фодил.— Вспомни святые слова: «О вы, которые уверовали! Не будьте, как те, кто не веровал и говорил своим братьям, когда они двинулись по земле или совершали поход: «Если бы они были при нас, то не умерли бы и не были бы убиты», чтобы аллах сделал это огорчением в их сердцах. Поистине, аллах оживляет и умерщвляет. И аллах видит то, что вы делаете!»

Шерифа постепенно выходила из забытья. Саид, наоборот, был охвачен каким-то тревожным оцепенением.

— Ну, мужайтесь же! Обретите силы! — воскликнул си Фодил. Он хотел проявить одновременно и твердость духа, и сострадание. — Халед ведь тоже мне был сыном!

Разве я не любил его?! Разве у меня нет сердца?.. Что я, бесчувственный какой? Ведь он так многому научил меня за то время, пока приходил сюда... Я стал благодаря ему другим человеком, не просто рабочей скотиной, что работает, ест да спит. Он был мне учителем. И я могу сказать тебе, женщина, что этой смертью еще будут восхищаться и гордиться люди! Именно этой удивительной смертью, которая не повторяется дважды в истории одной страны. Мир еще будет завидовать ему... — Его голос дрогнул, дыхание перехватило. — Да, женщина, не надо плакать! Зачем? Такую смерть не заслужишь, хотят ее или не хотят! А Халед испил эту муку, и нашел в ней свою славу, и обрел бессмертие! Так пойми же ты, женщина, и ты, дочь моя, что не надо плакать и особенно перед матерью его, если вы встретитесь с ней! Не лишайте ее, умоляю вас, той законной скромной гордости, которая единственное теперь, что будет согревать ее измученное сердце: быть Матерью павшего Героя.

Шерифа с трудом поднялась, покачиваясь, припала к своему отцу:

— Пойду принесу все необходимое для похорон, — сказала она, протирая набухшие от слез глаза.

И пошла, жалобно повторяя безотчетно вырывавшиеся у нее слова:

— Ох-хо-хо! Что ж, надо собрать этот пепел? Ох-хо-хо!.. Ох! Как же собрать этот пепел! Как собрать его мне? Ох! Как собрать этот пепел?

И вслед ей разносились повсюду, по полям и горам, под накрытым тучами солнцем, как эхо: «Этот пепел!.. Этот пепел!.. Этот пепел!..»

Тело похоронили до того, как началась гроза, неподалеку от сгоревших Трех гурби, на склоне холма, спускавшемся к дороге.

Чтобы не вызвать подозрения, си Фодил засеял это место бобами, оставив на могиле, как опознавательный знак, половинку старого металлического цилиндра...

Через некоторое время люди узнали об этой тайне и воздали почести герою-мученику — си Халеду, сыну Сураль-Гозлана.





**Прохожина Светлана Викторовна** закончила филфак МГУ им. М.В. Ломоносова. Работает в Институте востоковедения с 1976 г., главный научный сотрудник, профессор, доктор филологических наук, член Союза писателей РФ. В Отделе сравнительного культуроведения работает с 2004 г., занимаясь исследованием истории, теории и эволюции литературного франкоязычия стран Магриба (Алжир, Марокко, Тунис) в его социокультурном аспекте, а также в его транснациональном значении как особой части культуры современных иммигрантов во Франции. Автор «Истории национальных литератур стран Магриба», создатель концепции особой межлитературной общности в постколониальном пространстве стран Северной Африки. Среди многочисленных трудов С.В. Прохожиной – монографии «Новые идентичности». М., 2012, «Алжирская сюита». М., 2014, «Магрибинские лейтмотивы». М., 2018, «Антология магрибинской франкоязычной новеллистики». М., 2019, «Обречение Авеля», М., 2020, «Магрибинки рассказывают...». М., 2020, «Взятие слова». М., 2022. Награждена медалью Университета Кембриджа «За научные достижения XX века». Работы С.В. Прохожиной переведены на французский, португальский, арабский языки. В Институте востоковедения РАН неоднократно получала почетные грамоты на конкурсах научных работ. Ученым подготовлено значительное число специалистов в области изучения современных национальных литературных систем стран Азии и Африки, а также истории и социологии процессов миграции североафриканцев в Европу.

## **Краткое содержание монографии С.В. Прожогойной**

### **«ПРОТИВОСТОЯНИЕ (мир гор в творчестве магрибинских писателей XX–XXI вв.)»**

Книга продолжает ряд исследований, написанных С.В. Прожогойной, и посвящена теме отражения мира гор в творчестве писателей Алжира, Марокко и Туниса XX–XXI вв. Данное переиздание работы автора 2013 г. продиктовано объективной необходимостью ее остро актуального звучания и появлением новых источников, свидетельствующих о продолжающемся расширении семантической амплитуды образа Горы в творчестве современных писателей Магриба. В книге представлены образцы произведений Д. Дебеш, А. Джебар, М. Ферауна, М. Маммери, М. Уари, К. М'Хамсаджи, Т. Бенджеллуна, М. Хайреддина, М. Тлили, Б. Сансая и др. представителей литературного франкоязычия в Магрибе. Монография состоит из двух частей, Заключение, Библиографии и Приложения.

Материал, собранный в книге, позволяет на примере художественных творчества магрибинцев проанализировать процессы, связанные с эволюцией традиционных форм общественной жизни, политических трансформаций и их влияний на общественное сознание, отраженные в литературе. Внимание автора сосредоточено на способе отражения мира гор, связанном с тенденцией охранения традиций и процессами противостояния внедрения «чуждого» в национальное самосознание и в то же время невозможности сохранения только «замкнутого круга» жизни, неизбежность его встречи с Новым миром».

Часть первая посвящена теме оплота незыблемости традиций и включает главы: «Локус охранения “чести женщины” как надежды на возвращение Жизни»; «Обитель кровной мести как защиты “чести племени” и своей Земли»; «Гора как метафора защиты человека и народа от натиска

времени»; «Горы как “тупики” жизни, или Предчувствие необходимости Перемен». Детально раскрываются темы, актуальные в веке прошлом, но не утратившие важности и в веке настоящем: такие, как освобождение женщины-мусульманки, стремление матерей сохранить «алжирскую сущность» своих детей, вызов традиционному обществу, сохранение самобытности как залога освобождения, но которое в результате не приносит искомой свободы.

Часть вторая – «Горы как опора вечного сопротивления чужому и символ повстанчества», состоит из глав «Восхождение в Гору» как вступление в битву за Независимость и неизбежность Войны»; «Спуск» с Горы: как утрата цели и сомнения в необходимости «кровавого конфликта»; «Горы как напоминание об идеалах Освобождения и как пространство поиска новых горизонтов». В этой части на примере прозы магрибинских писателей содержится мнение писателей, имеющее и общечеловеческое значение о правильности «прожитого человеком Времени», о том, может ли война стать обязательным условием рождения нового мира.

В Приложении содержатся примеры в переводах на русский язык текстов, подтверждающих позицию автора монографии в отношении возможностей обращения к традиционному миру гор как к источнику понимания многих процессов современной реальности. Такие авторы, как Т. Ясин, М.Л. Джелар, А. Джебар, А. Бунемёр, К. М'Хамсаджи дают образцы этнологических и литературных отражений эволюции историко-культурных и историко-политических процессов развития алжирского общества колониальной эпохи. Страна отмечает 30-летие независимости в этом году.

*Научное издание*

В авторской редакции

**ПРОЖОГИНА Светлана Викторовна**

## **ПРОТИВОСТОЯНИЕ**

(мир гор в творчестве магрибинских  
писателей XX–XXI вв.)

Компьютерный набор – З.А. Исаева  
Оформление и оригинал-макет – В.С. Булатов

Утверждено к печати  
Редакционно-издательским советом ИВ РАН

Подписано к печати – 27.06.2022

*Работа выполнена в Отделе сравнительного культурове-  
дения Федерального государственного бюджетного учре-  
ждения науки Института востоковедения Российской  
Академии наук.*

Формат. 60х90/16. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 46,25  
Уч.-изд. л. 30,8 Зак. №.493 Тираж 150

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
науки Институт востоковедения РАН  
107031 Москва, ул. Рождественка, 12

---

Отпечатано в ООО «Издательство МБА»

Москва, ул. Рождественка, д. 12/1, стр. 1, офис 8, 9, 10, 11  
тел.: (495) 7263169; (495) 9682416; (495) 6234554; (495) 6253813.  
email: [izmba@yandex.ru](mailto:izmba@yandex.ru)

Генеральный директор С.Г. Жвирбо